UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00309470 3

ПОЛНОЕ
СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
М. Е. САЛТЫКОВА
(ЩЕДРИНА)

ТОМЪ
10

ИЗДАНІЕ
А. Ф. МАРКСА

Е. Гатцукъ и Гудковскій

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Saltykov, Mikhail Evgrafovich

М. Е. САЛТЫКОВА

Polnoe sobranie sochinenii

[Н. ЩЕДРИНА].

ИЗДАНІЕ ПЯТОЕ.

Съ «Матеріалами для біографіи М. Е. Салтыкова», К. К. Арсеньева, и съ двумя портретами М. Е. Салтыкова.

ТОМЪ ДЕСЯТЫЙ.

t. 10.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1906 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1906.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

PG
3361
S3
1905
v.10

696855
11.3.59

ПИСЬМА О ПРОВИНЦІИ.

(1868—1870 гг.).

П. Данич.

Письмо первое.

Съ нѣкотораго времени жизнь въ провинціи измѣняется. Мало-по-малу въ эту жизнь входятъ новые элементы, которые захватываютъ болѣе значительную массу дѣятелей. Образуются зачатки жизни умственной, и хотя еще далеко до самостоятельности, но, по крайней мѣрѣ, нѣтъ того повальнаго бездѣльничества, которое, въ буквальномъ смыслѣ слова, сокрушало провинціальное общество лѣтъ двѣнадцать-тринадцать тому назадъ.

Даже центры дѣятельности сдвинулись съ прежнихъ гнѣздъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнились и роли самихъ дѣятелей. Дѣятельность органическая видимо отдаляется отъ старыхъ центровъ и скромно пріурочивается къ новымъ. Совѣтники разныхъ палатъ и управленій, конечно, еще существуютъ, но прежде они ходили, окруженные свѣтозарнымъ облакомъ, теперь же путешествуютъ по административнымъ пажитямъ, большею частью инкогнито и въ значительно сокращенномъ видѣ.

Какъ и водится, такое перемѣщеніе дѣятельныхъ центровъ производитъ немалый переполохъ и въ самихъ дѣятеляхъ. Въ однихъ оно возбуждаетъ зависть и худо скрываемую досаду, въ другихъ — чувство робкой недовѣрчивости, смѣшанное съ нѣкоторымъ удивленіемъ. На одной сторонѣ сцены стоятъ люди, которые издревле привыкли понимать себя прирожденными исторіографами Россіи и зиждителями ея судебъ; на другой сторонѣ — люди новые, которыхъ девизомъ еще такъ недавно была знаменитая поговорка: «изба моя съ краю, ничего не знаю». Середку (хоръ) занимаютъ такъ-называемые фофаны, то-есть вымирающіе остатки эпохи богатырей. Понятно, съ какимъ чувствомъ смотрятъ исконные исторіографы на пришельцевъ,

которые отнынѣ обязываются раздѣлять ихъ труды по части сочиненія русской исторіи.

Съ призывомъ новыхъ сочинителей на поприще русской исторіи, старые исторіографы чувствуютъ себя неловко. Во-первыхъ, имъ стыдно, что исторія, которую они до сихъ поръ сочиняли, имѣетъ несомнѣнное сходство съ яичницей; во-вторыхъ, они боятся, что пришельцы, пожалуй, догадаются, что это не исторія, а яичница, и вслѣдствіе того не выдадутъ имъ квитанціи; въ-третьихъ, имъ сдается, что пришельцы наступаютъ имъ на ноги, и хотя говорятъ: pardon, но съ замѣтною въ голосѣ ироніей; въ-четвертыхъ, они чувствуютъ, что имъ нечего дѣлать, что празднаго времени остается пропасть, а дѣвать его рѣшительно некуда. Поэтому истинный исторіографъ съ ранняго утра мучится подозрѣніями и безпокоится мыслью, какъ бы ему на кого-нибудь такъ наѣхать, чтобъ отъ наѣзда этого громъ прокатился отъ одного конца вселенной до другого, и чтобы разумѣли языцы, что зубосокрушающая сила отнюдь еще не упразднилась.

Сдается, однако, что опасенія старыхъ исторіографовъ черезчуръ преувеличены и происходятъ оттого, что послѣдніе, погрузившись исключительно въ сочиненіе русской исторіи, недостаточно обогатили свой умъ знакомствомъ съ политической экономіей. Если-бъ этотъ пробѣлъ въ ихъ воспитаніи былъ пополненъ, они поняли бы, что первое условіе успѣшности всякаго труда есть его раздѣленіе, и что появленіе на сцену новыхъ сочинителей по части русской исторіи представляетъ собой не что иное, какъ ближайшее послѣдствіе этого условія. Чтобы изготовить надлежащую яичницу, необходимо, во-первыхъ, затопить печь, во-вторыхъ, вычистить сковороду, въ-третьихъ, выбрать и выпустить яйца и т. д. Каждая изъ этихъ операцій требуетъ особаго спеціалиста, ибо, ежели выпускать яйца примется истопникъ, то онъ легко можетъ помять желтки. Слѣдовательно стряпать яичницу силами совокупными не только не предосудительно, но даже пріятно. Работа на людяхъ идетъ спорѣе и веселѣе; истопникъ подстрекаетъ судомойку, судомойка поощряетъ повара; поютъ пѣсни, перебрасываются невинными шутками, а яичница между тѣмъ поспѣваетъ да поспѣваетъ. Не ясно ли, что такого рода зрѣлище ничего, кромѣ отрадъ, возбуждать не должно?

И дѣйствительно, наплывъ пришельцевъ отнюдь не означаетъ ни злоумышленія, ни посягательства, а есть просто

послѣдствіе признанія принципа раздѣленія труда. Внѣшнія формы труда безспорно видоизмѣнились, но сущность его осталась столь же обильною разнаго рода случайностями, какъ и въ то время, когда еще не было исторіи, а былъ мракъ временъ. Конечно, тутъ, кромѣ сущности труда, можетъ возникнуть еще вопросъ о томъ, кому-то придется съѣсть устроенную общими силами яичницу, но, по мнѣнію людей благомыслящихъ, такого рода вопросъ, по малой мѣрѣ, преждевременъ. Подобное забѣганье впередъ можетъ самаго кипучаго дѣятеля заставить опустить руки, можетъ тлетворно подѣйствовать на успѣхъ дѣла самаго несомнѣннаго. Политическая мудрость всѣхъ вѣковъ и народовъ убѣждаетъ, что цѣли ближайшія и непосредственныя суть, въ то же время, и наиболѣе желанныя; а какъ въ настоящемъ случаѣ ближайшую цѣль составляетъ производство яичницы, а не потребленіе ея, то примемся за это дѣло вкупѣ и не будемъ раздражать нашу мысль опасеніями будущаго. Ибо съѣстъ яичницу, навѣрное, тотъ, кому съѣсть ее надлежитъ.

Мысль объ отдавливаніи ногъ, объ ироническомъ выраженіи ртовъ и носовъ, есть именно порожденіе подобныхъ неполезныхъ забѣганій впередъ. Всякій согласится, что не изобрѣтено еще тѣхъ чувствительныхъ вѣсовъ, съ помощью которыхъ можно было бы взвѣсить вещь столь неуловимую, какъ выраженіе лица. Можно даже утверждать, что самое представленіе о томъ или другомъ выраженіи лица есть представленіе почти субъективное. Вы раздражены, ваша мысль напугана неизвѣстностью будущаго, и вотъ вамъ кажется, что всѣ носы иронизируютъ, что всѣ ноги направлены къ тому, чтобъ злоумышлять противъ вашихъ мозолей. Но успокойтесь на минуту, оторвите вашу мысль отъ сомнительнаго будущаго, и вы убѣдитесь, что глаза ваши лжесвидѣтельствовали, что уши были съ ними заодно въ заговорѣ, чтобъ отравить ваше душевное спокойствіе. Безчисленныя свидѣтельства людей опытныхъ и компетентныхъ удостовѣрятъ васъ, что въ провинціяхъ нашихъ могутъ быть выраженія лицъ почтительныя, безпечно-преданныя, исполнительныя, на все готовыя, но выраженій ироническихъ нѣтъ и никогда не бывало. Этого мало: въ провинціи даже положеніе человѣческаго тѣла невольнымъ образомъ принимаетъ характеръ устремительный, но никакъ не упирающійся или угрожающій,—ужели этихъ свидѣтельствъ не достаточно?

Нѣсколько болѣе основательными кажутся опасенія насчетъ сокращенія способовъ умерщвлять избытокъ празднаго времени. Опасенія эти возникли еще въ то время, когда возбужденъ былъ вопросъ о сокращеніи переписки. Уже тогда многимъ казалось, что власть значительно потрясется, ежели вмѣсто: «имѣю честь покорнѣйше просить», будутъ писать просто: «прошу», а вмѣсто: «о послѣдующемъ прошу не оставить увѣдомленіемъ» — «прошу увѣдомить». Ожидали, что экономія труда произведетъ праздность, праздность породитъ неуваженіе, неуваженіе—бунтъ. Впослѣдствіи къ этимъ ожиданіямъ присоединились соображенія еще болѣе вѣскія. Припомнили, что время каждаго дѣятеля распредѣляется съ такою точностью, что всякое нарушеніе однажды заведеннаго порядка не можетъ не произвести въ организмѣ законнаго безпокойства. Если пріобрѣтена привычка въ извѣстный часъ дня строчить, въ другой распекать и т. д., то нельзя себѣ представить, какая истома овладѣваетъ человѣкомъ при наступленіи урочнаго часа. Вотъ-вотъ, кажется, такъ бы и изстрочилъ насквозь всю природу, и вдругъ—о, ужасъ!—въ ту самую минуту, когда всѣ фибры ваши натянуты, когда длани ваши уже простерты, вамъ докладываютъ, что все уже выстрочено и перестрочено... Что̀ тутъ дѣлать? что̀ предпринять?

Нельзя не согласиться, что эти опасенія и вопросы далеко не безосновательны. Время—это издревле страшнѣйшій нашъ врагъ. Мы неустанно боремся съ нимъ, мы употребляемъ и коварство и хитрость, чтобы восторжествовать надъ этимъ призракомъ, всегда стоящимъ передъ нами, и постоянно изнемогаемъ въ неравной борьбѣ. У насъ положительно нѣтъ ресурсовъ, и если мы всегда довольно охотно беремся за всякую профессію, то единственно потому, что съ профессіей этой въ умѣ нашемъ соединяется понятіе совсѣмъ не о дѣлѣ, а о властномъ положеніи въ обществѣ, о безотвѣтственности и произволѣ. Всѣ условія прошлаго были такъ направлены, чтобы сдѣлать изъ насъ самолюбивыхъ тунеядцевъ и развить въ насъ одну страсть—страсть къ существованію на чужой счетъ. Понятно, какого рода идеалы при подобныхъ условіяхъ жизни могли обольщать наши умы, и какое озлобленное негодованіе должно закипать въ нашихъ сердцахъ, когда обстоятельства напоминаютъ, что время даровыхъ утѣхъ миновалось, и что ежели мы желаемъ продолжать жить, то обязываемся устроить нашу дѣятельность на иныхъ основаніяхъ.

Какъ бы то ни было, въ провинціальной жизни чувствуется разладъ, но разладъ, такъ сказать, односторонній. Собственно, нападаетъ и раздорствуетъ только одна сторона— исторіографы; другая сторона даже не обороняется, а только молится Богу, чтобы объ ней на время забыли. Это время ей нужно, чтобы доказать, что она невинна.

Извѣстно, что Россія съ древнѣйшихъ временъ періодически подвергается дѣйствію различнаго рода піонеровъ, которые обработываютъ ее всесторонне и съ старательностью, заслуживающею величайшей похвалы. Но небезъизвѣстно также, что піонеры всѣхъ странъ и временъ встрѣчали и встрѣчаютъ пріемъ непривѣтливый. Во-первыхъ, не всякому лестно, что его вотъ-вотъ сейчасъ начнутъ обработывать; во-вторыхъ, піонеры почти всегда являются на сцену снабженные прекраснѣйшими окладами, на которые очень многіе заглядываются. Ужъ на что благонамѣренными піонерами явили себя акцизные чиновники, а какого переполоха надѣлало ихъ появленіе! «Нигилисты!» — кричали одни; «коммунисты!»—кричали другіе, и нужно было цѣлую массу нечеловѣческихъ усилій, чтобъ доказать вселенной, что это совсѣмъ не нигилисты, а такіе же исторіографы и столпы, какъ и всѣ прочіе. Точно такой же фактъ совершился на нашихъ глазахъ съ піонерами контрольными: ихъ до тѣхъ поръ упрекали въ тайныхъ наклонностяхъ къ конституціонализму, пока они добрымъ своимъ поведеніемъ побѣдоносно не доказали, что за ними не только къ конституціонализму, но и къ счетоводству наклонностей никакихъ не водится.

Но піонеры слѣдуютъ за піонерами съ быстротою изумительною, и быстрота эта такъ вредно дѣйствуетъ на ясность понятій, что рѣшительно не знаешь, кого въ данную минуту называть піонеромъ, а кого столпомъ. Тѣ люди, которые еще вчера въ глазахъ всѣхъ казались завзятыми піонерами, сегодня именуютъ уже себя столпами и ни откуда не встрѣчаютъ на это возраженія. Въ настоящую минуту, сколько можно понять, піонеры самые свѣжіе—это земство и новый судъ.

Велико было озлобленіе противъ акцизниковъ и контрольныхъ, но невозможно рѣщи, какіе оно приняло размѣры и до какой дошло ядовитости относительно людей суда и земства. Въ виду этихъ новыхъ пришельцевъ, исторіографы становятся въ карѐ и показываютъ рѣшимость бодаться; они забываютъ взаимные междуисторіографскіе раздоры и

подаютъ другъ другу руку примиренія; околоточные торжественно лобызаютъ акцизниковъ и очищаютъ единство кассы отъ обвиненій въ либерализмѣ и конституціонализмѣ. И все для того только, чтобы противопоставить новому врагу армію сильную, способную поразить его на всѣхъ пунктахъ.

Способы дѣйствія исторіографовъ извѣстны достаточно: это—отчасти лганье, отчасти клевета. Лгутъ исторіографы простодушные, клевещутъ — злоумышленные; первые были бы подчасъ даже забавны, если бы въ большинствѣ случаевъ не служили вреднымъ орудіемъ въ рукахъ послѣднихъ.

Можно себѣ представить, какую богатую пищу представили для этихъ скудныхъ умовъ новыя судебныя и земскія учрежденія!

Прежде всего ихъ поражаетъ перемѣна внѣшнихъ формъ обращенія. Завелось какое-то «вы», какое-то неслыханное сажаніе на стулъ, — все это признаки революціи. Не то что прежніе орлы — налетятъ, бывало: «а ну, растакія-то дѣти! распоясывайтесь!» Потомъ поражаетъ преданность дѣлу (нѣсколько, впрочемъ, кропотливая), не позволяющая мѣшать его съ бездѣльемъ, — опять признакъ революціи; ибо издревле замѣчено, что человѣкъ необщежительный, человѣкъ, не принимающій участія въ провинціальныхъ folles journées, непремѣнно долженъ быть человѣкомъ неблагонамѣреннымъ и злоумышляющимъ. Въ-третьихъ, поражаетъ скромность образа жизни—новый признакъ революціи; ибо опытъ доказываетъ, что въ обществахъ благоустроенныхъ и богобоязненныхъ сановники должны быть представительные и прикармливать около себя толпу губернскихъ дармоѣдовъ. Въ-четвертыхъ, поражаетъ извѣстная доля начитанности и образованности; въ-пятыхъ...

Но нужно ли высчитывать всѣ такъ-называемые признаки революціи, которые заставляютъ блѣднѣть и трепетать архистратиговъ нашего болотнаго воинства? Въ сущности, они столько же понимаютъ значеніе слова «революція», какъ и та простодушная дама, которая увѣряла, что революцію развозятъ по деревнямъ разносчики: но исторіографы злоумышленные цѣпко хватаются за хлесткое словечко и дѣйствуютъ неукоснительно, чтобы популяризировать его обращеніе между исторіографами простодушными. И начинается тутъ то неслыханное лганье, которое могутъ выносить только крѣпкія обывательскія натуры.

У какого-нибудь болотнаго чибиса пропали старыя портянки, а онъ уже повѣствуетъ, что въ этихъ портянкахъ спрятана была тысяча рублей и женины приданныя ложки.

— И представьте себѣ, хоть бы воръ не сознался!—ораторствуетъ чибисъ въ порывѣ сочинительства: — сознался, сударь, и пойманъ, и уличенъ! да нигилисты-то, голубчики-то наши... Какъ же, молъ, это такъ — вѣдь воръ-то, чай, свой братъ!.. Ну, и отпустили! ступай, молъ, голубчикъ, воровать на всѣ четыре стороны!

— Слышали? слышали?—стономъ-стонетъ, проснувшись, болото.

— Нѣтъ, вы мнѣ вотъ что̀ скажите: съ которыхъ это поръ завелось у насъ равенство?—вопіетъ другой чибисъ:— прихожу я давеча къ «нашему», только, вижу, и Ѳенька моя тутъ!—Ну-съ, спрашиваю, что̀ угодно вашему высокородію?—А вотъ, говоритъ, сейчасъ будетъ разбираться ваше дѣло съ крестьянской дѣвицей Ѳедосьей Павловной (это съ Ѳенькой-то!).—Слушаю-съ, говорю (разсказчикъ, произнося это, иронически шаркаетъ ножкой). Только началось у насъ разбирательство: я—слово, Ѳенька такъ и сыплетъ! Не вытерпѣлъ: — Прикажите, говорю, замолчать этой поскудѣ!— Что-жъ бы вы думали, онъ-то?—«Во-первыхъ, говоритъ, Ѳедосья Павловна имѣетъ такое же право объяснять свое дѣло, какъ и вы, а во-вторыхъ, за то, что вы ее въ присутствіи моемъ оскорбили (это Ѳеньку-то!), штрафую, говоритъ, васъ тремя рублями». Хороша штучка-съ?

Исторій въ этомъ родѣ не оберешься, ибо чибисы зорко наблюдаютъ за каждымъ шагомъ пришельцевъ и каждое ихъ дѣйствіе подвергаютъ немедленному оболганію. Но изъ тьмы всякаго рода небылицъ и нелѣпыхъ претензій ярче другихъ выступаетъ впередъ претензія на такъ-называемое бездѣйствіе власти, на то, что подсудимыхъ не бьютъ по скуламъ и не сгибаютъ въ бараній рогъ. Припоминаются тутъ всякіе лихіе исправники и неслыханныхъ размѣровъ городничіе. Повѣствуется, какъ нѣкоторый Порфиръ Порфирычъ того-то засѣкъ, тому-то ребра переломалъ, того-то на всю жизнь оглушилъ.

— У этого, братъ, запоешь!—восторженно вопіютъ разомъ всѣ кулики:—этому, братъ, того наскажешь, чего никогда и не бывало! Ужъ это такъ.

Злоумышленные исторіографы съ удовольствіемъ прислушиваются къ этому повальному лганью и отъ времени до времени подогрѣваютъ его изобрѣтеніями своей фабрики.

Это тѣмъ для нихъ легче, что жизнь дѣйствительно представляетъ факты, по наружности подкрѣпляющіе эти изобрѣтенія. Въ мірѣ не безъ воровства, не безъ грабежей и не безъ убійствъ, въ мірѣ не безъ скверныхъ дорогъ и неисправныхъ переправъ,—все это такія житейскія невзгоды, которыя бывали, бываютъ и будутъ во всѣ времена. Но въ былое время невзгоды эти утопали въ безднѣ безмолвія и безотвѣтственности и потому не поражали, не возбуждали ничьихъ протестовъ. Нѣтъ сомнѣнія, что въ былое время кара настигала преступника еще рѣже, нежели нынче, но такъ какъ судъ и расправа были, такъ сказать, дѣломъ домашнимъ, то слѣдственныя неудачи и судебная безнаказанность не порождали ни толковъ, ни негодованій. Теперь дѣло иное. Теперь судъ есть нѣчто для всѣхъ осязаемое; теперь—это общее достояніе, на которое устремлены всѣ взоры. И столпы съ большою ловкостью воспользовались этимъ обстоятельствомъ, чтобы сдѣлать изъ него злонамѣренное орудіе. Попробуйте-ка не уличить, не поймать, не открыть во что бы то ни стало, попробуйте ошибиться, увлечься, упустить изъ вида подробность—и вы увидите, какой вдругъ гвалтъ поднимутъ столпы, и какъ, слѣдомъ за ними, застонутъ и захлопаютъ крыльями простодушные кулики!

— Нѣтъ, это такъ не дѣлается! ça ne se fait pas ainsi!—вопіетъ, сверкая глазами, какой-нибудь столпъ, пользующійся между куликами особеннымъ авторитетомъ.

— Возьмите однако въ соображеніе...

— Да нѣтъ, поймите меня, такъ не дѣлается!—долбитъ столпъ и тутъ же, обращаясь къ толпящимся вокругъ него чибисамъ, прибавляетъ:—я увѣренъ, что будь это дѣло въ рукахъ моихъ прежнихъ... моихъ вѣрныхъ!!!—ужъ давно было бы все раскрыто!

Этого достаточно, чтобы поддать масла въ огонь, которымъ пламенѣютъ сердца куликовъ. Опять выступаютъ на сцену Порфиры-реброломатели, Кузьмы-оглушители, Ѳомы-зубокрушители, а «революція», словно живая, такъ и смотритъ въ глаза каждому чибису, какъ будто говоритъ: а вотъ я тебя сейчасъ на сковороду да въ печку!

Вотъ какого рода разладъ существуетъ въ современномъ провинціальномъ обществѣ, и какого рода непрерывнымъ пиканствамъ подвергается тамъ піонерное ремесло. Что же за люди эти піонеры, и въ чемъ состоитъ ихъ вина передъ исторіографами?

Въ самомъ началѣ настоящаго письма выражена мысль, что жизнь въ провинціи измѣняется къ лучшему. Несмотря на то, что многое въ дальнѣйшемъ изложеніи условій этой жизни какъ будто противорѣчитъ этому завѣренію, оно все-таки остается въ своей силѣ. Къ чести новыхъ пришельцевъ нужно сказать, что, ежели въ современную провинціальную жизнь начинаютъ вторгаться умственные интересы, то этимъ она обязана исключительно имъ.

Путникъ, случайно забравшійся въ современную провинцію, не рискуетъ уже, какъ въ бывалыя времена, заблудиться въ ней, какъ въ дремучемъ лѣсу, или очутиться въ положеніи Робинзона на необитаемомъ острову. Конечно, нельзя утверждать, чтобы карты и доселѣ не играли преимущественной роли въ жизни провинціала, но это почти единственный обломокъ древней славы, уцѣлѣвшій на развалинахъ прежняго развеселаго житья. Ужъ одно то, что прежде постоянно кого-нибудь гдѣ-нибудь заушали, что прежде вы не могли сдѣлать шагу, не рискуя услышать: «батюшки! не буду!», что мысль объ этомъ повальномъ заушеніи не могла не терзать существованія честнаго человѣка, и что теперь честный человѣкъ несравненно рѣже подвергается подобнаго рода опасенію, — ужъ одно это представляетъ такую отраду, которую взвѣсить и достойно оцѣнить могутъ только люди, бывшіе непосредственными зрителями стариннаго столпотворенія. Метаморфоза, которая произошла на нашихъ глазахъ, поистинѣ заслуживаетъ удивленія; вы видите мастодонтовъ, которые, еще на вашей памяти, били въ ярости копытами землю, которые ревомъ своимъ заставляли содрогаться природу, которые безъ малѣйшихъ усилій обращали въ прахъ человѣческія челюсти,—и что-жъ? теперь эти самые мастодонты удивляютъ міръ своимъ кроткимъ поведеніемъ и все свое ехидство ограничиваютъ невиннымъ судаченіемъ по части судебныхъ и земскихъ учрежденій. Отчего эта метаморфоза? Отчего это превращеніе яростныхъ остатковъ допотопной формаціи въ безвредныхъ и ощипанныхъ куликовъ? А все оттого, милостивые государи, что явились новые люди, съ прекраснѣйшими манерами, и убѣдили вселенную, что сквернословіе отнюдь не составляетъ фаталистической принадлежности русской рѣчи. Да, нельзя не согласиться, что пришельцы оказались изрядными насадителями граціозныхъ манеръ и изящнаго обращенія! Ни одинъ танцмейстеръ, при самыхъ упорныхъ усиліяхъ, конечно, никогда не могъ

достигнуть такихъ результатовъ, какихъ они достигли въ самое короткое время и почти безъ усилій.

Сверхъ того, рядомъ съ картами, въ провинціи уже зарождается потребность чтенія и даже потребность мышленія. Конечно, опытнѣйшіе исторіографы и теперь утверждаютъ, что мышленіе во всѣ времена представляло, такъ сказать, оппозицію исполнительности, а слѣдовательно и благоустройству; но позволительно думать, что если однажды насъ уже посѣтила потребность разсуждать, то лучше искренно примириться съ этимъ прискорбнымъ фактомъ, нежели подкапываться подъ него. Это примиреніе дастъ намъ, по крайней мѣрѣ, возможность направить фактъ по усмотрѣнію, тогда какъ вражда непремѣнно оставитъ насъ съ носомъ.

Въ этомъ отношеніи пришельцы представляютъ кладъ безцѣнный, не требующій даже направленія. Мысли у нихъ не только благонамѣренныя, но, такъ сказать, очищенныя. Какъ люди милые и образованные, они, конечно, не могутъ временами не озабочиваться извѣстіями объ успѣхахъ или неуспѣхахъ Гарибальди, но не подлежитъ сомнѣнію, что пренія такого рода занимаютъ въ ихъ бесѣдахъ мѣсто весьма ограниченное. У нихъ такъ много своего насущнаго дѣла, притомъ ихъ до такой степени поглощаетъ забота о томъ, какъ бы послужить, услужить и заслужить, что, въ виду этихъ капитальныхъ интересовъ, невольно стушевывается даже вопросъ объ исправленіи французской границы на Рейнѣ.

И дѣйствительно, въ настоящее время мы присутствуемъ при такого рода внутренней работѣ, что насъ долженъ болѣе занимать вопросъ объ иныхъ поглощеніяхъ, нежели о поглощеніи Пруссіей маленькихъ государствъ Германіи. Щукъ развелось въ провинціи такъ много, и притомъ съ такимъ циническимъ желаніемъ глотать, глотать и глотать, что даже вчужѣ становится какъ-то не по себѣ. Извѣстно, что щука, во время жора, глотаетъ что ни попало, заглатываетъ даже собственныхъ щурятъ, эту надежду и цвѣтъ всего щучьяго рода,—мудрено ли, что прочія рыбы, плавающія въ мелкой и прѣсной водѣ, заслышавъ приближеніе ужаснаго хищника, мгновенно прекращаютъ невинныя забавы и устремляются къ своимъ норамъ?

Итакъ, пришлецъ благонамѣренъ, учтивъ, прилеженъ, кротокъ, занятливъ, почтителенъ и послушливъ. Онъ даже не огрызается, когда на него нападаютъ, хотя нападенія

эти нерѣдко бываютъ свойства довольно циническаго. Сверхъ того, онъ читаетъ книжки, а относительно исполненія того, что называется долгомъ, не имѣетъ себѣ равнаго. Это просто левъ. Казалось бы, что при видѣ такого соединенія драгоцѣннѣйшихъ качествъ щука самая прожорливая должна бы съ довѣріемъ повторять стихи Пушкина:

Въ надеждѣ славы и добра,
Идемъ впередъ мы безъ боязни...

А выходитъ совсѣмъ напротивъ...

Не ясно ли теперь, что разладъ, замѣчаемый въ провинціальномъ обществѣ, есть разладъ односторонній; что онъ возбуждается и питается исключительно исторіографами, которые, безъ всякой надобности, волнуютъ провинціальное общество своими личными тревогами и опасеніями, и что на долю пришельцевъ досталась въ этой распрѣ роль, хотя и симпатичная, но далеко не выгодная въ стратегическомъ смыслѣ? Не ясно ли также, что самая эта распря имѣетъ поразительное сходство съ столь знакомымъ и столь любезнымъ нашему сердцу дѣломъ о пререканіяхъ, на обложкѣ котораго читалась крупно начертанная надпись: «сіе дѣло есть дѣло о выѣденномъ яйцѣ»?

Но письмо о провинціальномъ житьѣ будетъ далеко не полно, если не упомянуть въ немъ о нашемъ beau sexe. Прежде всего должно отдать полную справедливость нашимъ дамамъ, въ томъ смыслѣ, что вопросъ объ эманципаціи женщинъ, о женскомъ трудѣ и проч. трогаетъ ихъ въ самой умѣренной степени. Въ этомъ отношеніи онѣ представляютъ оплотъ и притомъ весьма благонадежный. Существуетъ по этому поводу даже очень трогательный анекдотъ. Разсказываютъ, что когда одна юная дамочка, отъ лица всѣхъ женщинъ, заявила однажды претензію на фельдмаршальскій жезлъ, то присутствовавшій при этомъ предводитель въ упоръ спросилъ ее: «ну, а родить кто будетъ?» Этого простодушнаго вопроса было достаточно, чтобы покончить съ вопросомъ о женскомъ трудѣ, и чтобы дамы, даже судейскія, сдѣлались въ поступкахъ своихъ осмотрительнѣе и принялись родить пуще прежняго. Тѣмъ не менѣе разладъ, огорчающій мужское провинціальное общество, не могъ не отразиться и на дамскомъ. Не только жены и сестры, но даже племянницы охотно принимаютъ участіе въ турнирѣ и этимъ участіемъ нѣсколько смягчаютъ слишкомъ суровые тоны распри. Но сія послѣдняя и тутъ

поражаетъ своимъ неравенствомъ. Тогда какъ жены исторіографовъ отличаются неслыханнымъ великолѣпіемъ одеждъ, необычайными размѣрами шлейфовъ и бѣлизною и округлостью бюстовъ, жены пришельцевъ, напротивъ, представляются слегка ощипанными и даже какъ бы не совсѣмъ кормленными. Посему, когда эти два полка стоятъ другъ противъ друга въ безмолвіи, то симпатія проходящихъ невольно склоняется на сторону исторіографовъ. Кажется, что при подругахъ голодныхъ и мысли должны быть голодныя; напротивъ того, при подругахъ сытыхъ и мысли непремѣнно должны быть сытыя. Но, когда печать безмолвія упадаетъ, когда голодныя и сытыя начинаютъ чувствовать потребность провѣщевать, то симпатіи измѣняютъ характеръ и обращаются отъ послѣднихъ къ первымъ. Сколько сытыя блистаютъ тѣлами и шлейфами, столько голодныя плѣняютъ основательностью и либеральною умѣренностью своихъ сужденій. Тогда какъ первыя бесѣдуютъ о различіи любви и дружбы и о другихъ предметахъ, рѣшительно не приносящихъ никакой пользы для отечества, послѣднія повѣствуютъ о гражданской честности и непреоборимой вѣрности. Случается даже слышать весьма удачныя сужденія по слѣдственной части и по части судебныхъ ошибокъ, и любопытно видѣть, какъ пламенѣютъ, внимая этимъ рѣчамъ, юнѣйшіе изъ пришельцевъ мужского пола, и какъ исчезаетъ въ ихъ глазахъ весь суетный міръ съ его бюстами и шлейфами, въ виду одного ни съ чѣмъ несравнимаго блаженства... въ виду судейской ошибки!

Но еще любопытнѣе, что и сытыя по временамъ выходятъ изъ рамки невинныхъ размышленій о дружбѣ и любви и выступаютъ на скользкую арену судейскихъ ошибокъ. Вотъ тогда-то собственно и начинается такъ-называемый турниръ.

— Мы все съ своей стороны сдѣлали!—кричатъ жены, дочери и племянницы исторіографовъ:—мы открыли слѣды, мы указали виновныхъ... Ужъ если и послѣ этого...

Сытыя съ презрѣніемъ пожимаютъ полными и бѣлыми плечами.

— Подите! — не менѣе крикливо возражаетъ женскій штатъ пришельцевъ: — сейчасъ видно, что вы не читали дѣла Лезюрка!

— Какого Лезюрка? Какого такого Лезюрка? — наивно вопрошаютъ полногрудыя, сытыя и бѣлотѣлыя.

Голодныя язвительно хохочутъ и, какъ нѣкогда расколь-

ники, восклицая: «посрамихомъ! посрамихомъ!» — торжествуютъ побѣду.

Увы! они забываютъ, что возгласъ «посрамихомъ!» не помѣшалъ раскольникамъ и до сихъ поръ называться раскольниками...

И дѣйствительно, какъ ни грустно, а приходится сознаться, что шармы тѣлесные рѣшительно подавляютъ и, вѣроятно, долго еще будутъ подавлять шармы умственные. Оттого ли, что мы, провинціалы, не умѣемъ еще относиться какъ слѣдуетъ къ нетлѣннымъ красотамъ ума и сердца, или оттого, что въ самыхъ сихъ красотахъ скрывается нѣкоторый изъянъ,—какъ бы то ни было, но взоры наши невпримѣръ охотнѣе обращаются въ ту сторону, гдѣ блеститъ тлѣнная красота. Да и самое начальство наше какъ будто преимущественнѣе туда заглядывается... Да и въ самомъ дѣлѣ, женщина, которая не сіяетъ брильянтами, женщина, которая не декольтирована до тѣхъ предѣловъ, за которыми исчезаетъ всякое представленіе о неизвѣстномъ, женщина, которая, вмѣсто тонкаго анализа чувствъ любви и дружбы, идетъ напроломъ съ дѣломъ Лезюрка... скажите на милость, ужели это женщина?

На первый разъ однако-жъ довольно, тѣмъ болѣе, что сказанное выше объ изъянахъ, скрывающихся въ нашихъ нетлѣнныхъ красотахъ, представляетъ намъ естественный выходъ для заключенія настоящаго письма. Отчего въ самомъ дѣлѣ, несмотря на всѣ усовершенствованія и преуспѣянія, въ провинціи все продолжаетъ царствовать тотъ же тонкій запахъ скуки, противъ котораго мы такъ безнадежно боремся съ незапамятныхъ временъ? Отчего провинція не перестаетъ быть центромъ того безконечнаго переливанья изъ пустого въ порожнее, бездну котораго мы тщетно усиливаемся наполнить? Откуда это самошпіонство, самоподслушиваніе, самонаушничество, эти вѣчно гноящіяся три язвы, которыя неустанно точатъ провинціала и отравляютъ каждую минуту его незатѣйливаго существованія? Откуда эта распря о выѣденномъ яйцѣ?

Какъ ни запутаны эти вопросы, но, какъ кажется, они могутъ быть разрѣшены съ успѣхомъ, если мы внимательнѣе присмотримся къ тѣмъ упомянутымъ выше нетлѣннымъ красамъ, которыми съ нѣкотораго времени гордимся.

Нельзя отрицать, что вопросы о судейскихъ ошибкахъ, объ уликахъ, объ улучшенныхъ путяхъ сообщенія. о гражданской честности и проч. суть вопросы капитальные,

что интересоваться ими несомнѣнно согласнѣе съ человѣческимъ достоинствомъ, нежели потихоньку погрязать въ такъ-называемомъ миломъ распутствѣ. Но, очевидно, тутъ кроется какой-нибудь пробѣлъ, какая-нибудь вредная подмѣсь, которая даже у лучшихъ намѣреній и проявленій отнимаетъ ихъ жизненный характеръ и силу.

Искусственность и неискренность—вотъ первая вредная подмѣсь, которая губитъ насъ и распространяетъ вокругъ насъ атмосферу скуки. Подобно провинціальнымъ актерамъ, мы постоянно играемъ кожей, а не внутренностями. Въ насъ не волнуется кровь, не болитъ сердце: въ лучшихъ словахъ нашего лексикона не слышится ни внутренней силы, ни рѣшимости поддерживать ихъ. Чувствуется нѣчто рыхлое, легко поддающееся всякимъ вліяніямъ, безъ борьбы уступающее всякимъ напорамъ. Конечно, ужъ и то немалая заслуга, что мы, имѣя свободный выборъ, все-таки прилѣпились именно къ хорошимъ словамъ, а не къ растлѣннымъ и ехиднымъ, но заслуга эта значительно блѣднѣетъ передъ вопросомъ: что-жъ дальше? Самые убѣжденные люди провинціи съ трудомъ выдерживаютъ призывъ къ дѣлу, который такъ и напрашивается на языкъ собесѣднику. Мысль останавливается передъ своими естественными выводами и оттого получаетъ характеръ прискорбной недоношенности. Чувствуется какой-то изъянъ, какая-то нелѣпая недосказанность, которую отнюдь, впрочемъ, нельзя обвинить въ преднамѣренной сдержанности. Нѣтъ, это сдержанность естественная, наивная; это неминуемый плодъ недостатка внутренняго огня, это послѣдствіе закоренѣлой привычки вращаться въ заколдованномъ кругѣ, это замысловатая алгебраическая формула безъ малѣйшихъ приложеній и выводовъ.

Другая вредная подмѣсь нашей жизни—это неисправимая ограниченность кругозоровъ. Какъ ни возставайте противъ такъ-называемыхъ утопій, безъ нихъ истинно плодотворная умственная жизнь все-таки невозможна. Разумъ человѣческій не удовлетворяется безвозвратно, но испытуетъ все дальше и дальше. Въ этомъ вся тайна успѣха человѣческихъ обществъ, и ежели правда, что утопія не имѣетъ права заявлять претензію на немедленное практическое осуществленіе, то несомнѣнно и то, что плодотворное ея дѣйствіе на инициаторскія силы человѣческаго разума все-таки остается внѣ всякаго спора. Въ этомъ отношеніи провинція представляетъ совершенно тѣсный и за-

мкнутый кругъ, въ которомъ мысль окончательно теряетъ свою смѣлость и энергію. Теоретическія поползновенія (если таковыя существовали) слишкомъ скоро позабываются и покрываются плѣсенью; потребность инициативы дѣлается ничтожною. Умственный запасъ, вслѣдствіе скудости и безпрестаннаго самоповторенія, до такой степени быстро изнашивается, что даже вчужѣ становится совѣстно. Какъ ни стара истина, что только въ большихъ центрахъ человѣкъ можетъ смѣло мыслить и свободно дышать, но въ провинціи она даетъ себя чувствовать съ поразительною наглядностью и потому никогда не утрачиваетъ характера насущной новизны. Мысль, со всѣхъ сторонъ стѣсненная, ничѣмъ не питаемая, невольно бросается на мелочи и погрязаетъ въ нихъ. Вмѣстѣ съ нею погрязаетъ и весь человѣкъ...

Мы забываемъ, что, покуда будемъ играть только кожей, исторіографы и столпы не перестанутъ быть исторіографами и столпами.

Мы забываемъ, что покуда будемъ, вмѣстѣ съ исторіографами, ратовать противъ такъ-называемыхъ увлеченій (и гдѣ они, эти увлеченія?), покуда будемъ сдерживать и безъ того несмѣлую нашу мысль, мы останемся все тѣми же евнухами въ нравственномъ и умственномъ отношеніяхъ какими являли себя до сихъ поръ...

Письмо второе.

Опять о раздорѣ. Дрянное это явленіе до того усилилось, что сдѣлалось почти исключительнымъ содержаніемъ нашей жизни: оно отравляетъ всѣ наши удовольствія; оно поражаетъ даже пресловутое наше гостепріимство. Нѣтъ болѣе блиновъ красныхъ, гречневыхъ, со снитками, съ припекой— ихъ замѣнили блины полицейскіе, акцизные, судебные и земскіе! Нѣтъ болѣе той карточной игры, которая во всѣ времена ни о чемъ иномъ не свидѣтельствовала, кромѣ невинности играющихъ,—ее замѣнила иная игра, изъ которой участвующіе во что бы ни стало хотятъ сдѣлать орудіе для демонстрацій и преткновеній! Ни блины, ни преферансъ не избѣгли раздорнаго вѣянія, которое грозитъ надолго утвердиться въ нашемъ обществѣ.

Странно звучатъ для слуха выраженія въ родѣ: «блинъ

административный», «блинъ судебный» и т. д., а между тѣмъ выраженія эти отнюдь не выдуманы, а прямо выхвачены изъ нашей печальной дѣйствительности. И что всего грустнѣе—выраженія эти отнюдь не фигуральныя, а согласныя съ истиной даже по существу. Съѣшьте блинъ административный—и вы убѣдитесь, что онъ жиренъ, вкусенъ, хотя ложится нѣсколько комомъ; съѣшьте блинъ судебный—и увидите, что онъ тощъ и какъ будто припахиваетъ розовымъ масломъ. Очевидно, что здѣсь раздоръ уже перестаетъ быть просто раздоромъ, но оказываетъ свое пагубное вліяніе на самое блинное вещество.

Извѣстно, что никакія жизненныя отправленія не требуютъ такого спокойствія духа, такой твердой увѣренности во взаимномъ доброжелательствѣ соревнующихъ, какъ обѣденныя увеселенія и игра въ карты. Это совсѣмъ не то, что засѣданія академій или иныхъ ученыхъ обществъ, гдѣ примѣрные раздоры въ извѣстномъ случаѣ даже необходимы, потому что изъ нихъ, какъ слышно, рождается истина. Тутъ, напротивъ того, собираются люди, которые уже умудрились, которые никакого интереса въ отыскиваніи истины имѣть не могутъ, по той причинѣ, что она уже давно найдена. Поэтому въ этихъ случаяхъ не только неумѣстное галдѣніе, но даже простое сомнѣніе относительно благонамѣренности кого-либо изъ партнеровъ можетъ произвести въ остальныхъ линіи желудочную смуту, послѣдствія которой трудно даже предупредить. Представьте себѣ, напримѣръ, что на обѣдъ исторіографовъ по какому-нибудь случаю затесался піонеръ,—что хорошаго можетъ изъ этого выйти? Во-первыхъ, піонеръ будетъ пожирать нѣжнѣйшія суффлѐ съ трюфелями точно такъ, какъ бы пожиралъ трихинную углицкую колбасу; во-вторыхъ, ни одинъ исторіографъ все-таки ни за что не повѣритъ, что піонеръ ѣстъ взаправду, а непремѣнно будетъ думать, что онъ злоумышляетъ. И, весь отданный своимъ предубѣжденіямъ, онъ, какъ и слѣдуетъ ожидать, утратитъ на время всякую способность наслаждаться и смаковать.

Все это такъ, все это правда, и если мы видимъ, что исторіографы ѣдятъ блины въ своемъ кругу, а піонеры—въ своемъ, то удивляться тутъ нечему. Ихъ обязываетъ къ тому чувство самосохраненія, которое заставляетъ человѣка устранить все, что противно интересамъ его желудка.

Спрашивается однако-жъ, достигается ли въ дѣйствитель-

ности та цѣль, которую предположили себѣ при этомъ оба враждующіе лагеря? Обезпечивается ли обособленіемъ сторонъ то безмятежіе обжорства, къ которому онѣ стремятся? Какъ ни прискорбно, но должно сознаться, что результаты въ этомъ случаѣ болѣе нежели сомнительны. Раздоръ, въ теченіе какого-нибудь года, уже такъ крѣпко въѣлся въ наши нравы, что, гдѣ бы и въ какихъ бы обстоятельствахъ мы ни находились, онъ никогда не оставляетъ нашу мысль свободною. Даже въ сотрудничествѣ съ исторіографами, несомнѣнно заматерѣлыми, мы уже не отдадимся наслажденію съ тою беззавѣтною ребяческою рѣзвостью, съ которою отдавались ему лѣтъ двѣнадцать-тринадцать тому назадъ. Да, не предадимся, ибо въ тотъ самый моментъ, когда мы будемъ уже простирать руки, будемъ обонять и предвкушать, передъ нами внезапно, какъ грозный призракъ, встанетъ мысль, что подъ однимъ съ нами небомъ обитаетъ нѣкто, который также ѣстъ блины, но блины далеко не столь жирные, какъ наши, и который эту сравнительную тощесть ставитъ себѣ даже въ заслугу (у меня, дескать, на первомъ планѣ потребности духа и т. д.). Ужели одной этой мысли недостаточно, чтобъ отравить ѣду самую обольстительную? Но ежели мы пойдемъ еще далѣе, то увидимъ, что систематическое отметаніе нашихъ конкурентовъ по части исторіографіи отъ общенія мало того, что не умаляетъ нашей горечи, но даже значительно усугубляетъ ее. Въ самомъ дѣлѣ, ежели бы эти ненавистные конкуренты были налицо, то насъ, по крайней мѣрѣ, хоть на это время не тревожила бы неизвѣстность, не терзали бы поскудныя предположенія о наушничествѣ, судаченьѣ и сплетняхъ. Взирая на ихъ ненавистныя физіономіи, мы были бы, по крайней мѣрѣ, увѣрены, что они тутъ налицо, что они не дѣлаютъ болѣе того, что̀ дѣлаютъ, что они жуютъ или хоть притворяются жующими. Теперь же, когда мы ѣдимъ блины врозь, намъ поневолѣ думается: что-то дѣлается *тамъ*? какіе-то измышляются *тамъ* подвохи? И, покуда мы задаемъ себѣ подобные незамысловатые вопросы, блины стынутъ да стынутъ и, ложась комьями на наши желудки, производятъ дизентерію.

И выходитъ у насъ нѣчто совершенно нелѣпое: съ одной стороны, мы не можемъ сойтись, потому что этому препятствуетъ чувство самосохраненія; съ другой стороны, расходясь и обособляясь, мы это чувство самосохраненія попираемъ самымъ неразумнымъ для себя образомъ. Въ обоихъ

случаяхъ мы, стало-быть, дѣйствуемъ явно въ ущербъ себѣ...

Такимъ образомъ расколъ политическій, проникая въ наши повседневныя отношенія, окрашивая ихъ и, въ конечномъ результатѣ, производя расколъ въ пищѣ, питіи и играхъ, не только не упадаетъ, но разжигается съ каждымъ днемъ больше и больше. Изъ явленій, повидимому, даже не имѣющихъ мірового значенія, какъ, напримѣръ: блины, стуколка, преферансъ и т. д., мы сумѣли выработать нѣчто въ родѣ знаменъ. На одномъ знамени пишется: изящный вкусъ, утонченныя манеры и наслажденіе благами жизни; на другомъ — чиновническій аскетизмъ, подъ которымъ скромно подразумѣвается обиліе духовныхъ силъ. А въ сущности все это та же стуколка и тотъ же преферансъ— никакъ не болѣе. И вотъ обѣ партіи начинаютъ хвалиться своими знаменами и даже какъ будто пошаливаютъ ими и взаимно другъ друга поддразниваютъ.—«Даже удовольствія у нихъ какія-то глупыя!» говорятъ одни: «даже удовольствія у нихъ мужицкія!» говорятъ другіе,—и въ такихъ безплодныхъ разговорахъ тратятъ золотое время, которое съ пользой могли бы употребить за общимъ столомъ!

Справедливость требуетъ однако-жъ сознаться, что піонеры злоупотребляютъ этою игрою въ знамена гораздо болѣе, нежели исторіографы. Начнемъ хоть съ той же ѣды. Исторіографы—люди по бо́льшей части грѣшные и подъ веселую руку даже не скрываютъ этого. У нихъ залежались еще кое-какіе остаточки отъ тѣхъ избытковъ, которые, въ бывалыя времена, невзначай прилипали къ ладонямъ,—мудрено ли, что вмѣстѣ съ остаточками сохранились и изящный вкусъ, и привычка подмасливать? Напротивъ того, піонеры, хотя и снабженные прекрасными окладами, наѣзжаютъ въ губерніи почти au naturel, т.-е. въ однихъ вицмундирахъ, никакихъ остаточковъ прежнихъ лѣтъ не вѣдаютъ и не признаютъ, и смаху нанимаютъ такихъ неслыханныхъ кухарокъ, передъ трудами которыхъ даже кухонные тараканы останавливаются въ смущеніи. Въ переводѣ на удобопонятный языкъ, оба эти положенія могутъ быть выражены такъ: исторіографы ѣдятъ вкусно и притомъ изобильно: піонеры же невкусно и въ обрѣзъ,—казалось бы, что̀ можетъ быть проще этого, и есть ли тутъ поводъ къ какимъ-либо пререканіямъ? Исторіографы приблизительно такъ и смотрятъ на это положеніе; они не прикасаются къ піонерской трапезѣ потому просто, что она

невкусна, а ежели обзываютъ піонеровъ людьми, не имѣющими понятія о savoir vivre, то дѣлаютъ это не съ злобой, а съ сожалѣніемъ. Совсѣмъ иначе относится къ этому дѣлу піонеръ: какъ человѣкъ духа онъ въ эпикуреизмѣ исторіографа видитъ не просто предпочтеніе вкуснаго невкусному, но посрамленіе человѣческаго достоинства и непозволительное политическое чревоугодіе. И вотъ ѣда, этотъ законнѣйшій, простѣйшій, независимѣйшій изъ актовъ человѣческой жизни, вдругъ, благодаря страстямъ, возводится на степень принципа нравственнаго, соціальнаго и политическаго и, облеченная въ этотъ санъ, становится сѣменемъ раздоровъ и поводомъ для всевозможныхъ взаимныхъ обзываній.

То же самое можно сказать и объ игрѣ въ карты. Любимая игра исторіографовъ — это стуколка; любимая игра піонеровъ—преферансъ, и притомъ съ мизерами и легкимъ подсиживаньемъ. Надо сознаться, что стуколка—игра глупая по преимуществу; играется она въ три карты, и единственное соображеніе, которое при этомъ нужно имѣть, заключается въ томъ, чтобы, обладая козырнымъ королемъ, имѣть такую морду, какъ будто на рукахъ три семерки фоски. Ясно, что хитрость такого рода и для непрозорливаго ума весьма доступна. Благодаря этой простотѣ, исторіографы предаются стуколкѣ до самозабвенія и, начиная стучать съ утра, кончаютъ лишь поздней ночью. Что же касается до преферанса, то, конечно, это игра болѣе сложная, но, говоря по совѣсти, ужели же можно утверждать, чтобы человѣкъ, предающійся ей, тѣмъ самымъ доказывалъ преобладаніе духа надъ плотію, какъ это дѣлаютъ піонеры? А тѣмъ болѣе—придавать столь невиннымъ занятіямъ, какъ преферансъ и стуколка, значеніе нравственно-соціально-политическое и устраивать изъ нихъ предметъ для междоусобій и болѣе или менѣе кровопролитныхъ битвъ?

Но, при извѣстномъ настроеніи общества, всякое лыко пишется въ строку. Одни умѣютъ округлять руки — это признакъ благовоспитанности; другіе, видя это, нарочно начинаютъ махать руками, какъ мельничными крыльями,— это признакъ независимости; одни хвастаютъ своими связями въ высшихъ сферахъ; другіе, напротивъ, хвастаютъ тѣмъ, что у нихъ никакихъ связей въ высшихъ сферахъ нѣтъ. Всякая дрянь дѣлается предметомъ распри, которая такимъ образомъ грозитъ продлиться безъ границъ.

Піонеры въ этомъ случаѣ, конечно, болѣе виноваты, не-

жели исторіографы. Они виноваты уже тѣмъ, что ни къ какому дѣлу не приступаютъ просто, а все какъ бы священнодѣйствуютъ. И при этомъ тычутъ въ глаза: посмотри, какой я умный, какой я честный, какой я развитой и какъ твердо знаю уложеніе о наказаніяхъ! Исторіографы видятъ это и выходятъ изъ себя. Они втайнѣ сами сознаютъ превосходство піонеровъ; по секрету они даже ропщутъ. «Господи! да отчего же мы такіе глупые?» восклицаютъ они по временамъ; но существенно ихъ огорчаетъ совсѣмъ не то, что они глупы, а то, зачѣмъ имъ такъ явно тычутъ въ глаза ихъ недальновидностью. Скажите имъ это же самое обинякомъ, отнеситесь снисходительно къ ихъ слабости и безпомощности, и тогда, быть-можетъ, и для васъ, о, піонеры, отверзнутся ихъ объятія, и для васъ сдѣлаются доступными ихъ жирные блины.

Но, въ ожиданіи вожделѣнной минуты самообниманія, нельзя умолчать объ одномъ явленіи, хотя и довольно извѣстномъ, но которое въ послѣднее время въ особенности огорчительно вліяетъ на жизнь провинціальнаго общества. Явленіе это—такъ-называемыя «складныя души», число которыхъ, благодаря раздору, день ото дня возрастаетъ съ быстротою поистинѣ изумительною.

«Складныя души» — явленіе не новое; дѣятелями этой категоріи издревле изобиловали всѣ профессіи человѣческой дѣятельности, всѣ отрасли человѣческаго знанія. Издревле существовали сплетники политическіе, литературные, государственные и научные; тѣмъ не менѣе явленіе это настолько важно, что тотъ оказалъ бы немаловажную услугу, кто прослѣдилъ бы участіе «складныхъ душъ» въ исторіи человѣческой цивилизаціи, кто изложилъ бы то ученіе, въ силу котораго человѣческая душа, нимало не стыдясь, дѣлается складною. Не претендуя на выполненіе такой обширной задачи, мы займемся собственно современными и притомъ провинціальными «складными душами».

Если вы видите человѣка, который мечется, какъ угорѣлый, между двумя враждебными лагерями и называетъ это метаніе мудростью, будьте увѣрены, что это «складная душа»: если вы видите человѣка, который, называя себя піонеромъ, не прочь иногда въ сумерки забѣжать покалякать съ исторіографами насчетъ піонерскихъ дѣлъ и называетъ это дипломатіей,—будьте увѣрены, что это «складная душа»: если вы видите человѣка, который утверждаетъ, что въ иныхъ случаяхъ ломанная линія можетъ быть ко-

роче прямой, и называетъ это постепенностью въ преуспѣяніи,—будьте увѣрены, что это «складная душа».

Если намъ кажется мелкою распря, существующая между исторіографами и піонерами, если мы не можемъ безъ нѣкоторой ироніи отнестись къ тѣмъ потугамъ, при помощи которыхъ піонеры силятся доказать, что Россія достигла зенита своего благополучія, то это нимало не распространяетъ нашего недовольства на самыя личности піонеровъ, личности во всякомъ смыслѣ честныя. Мы въ этомъ случаѣ только задаемъ себѣ вопросъ: возможно ли видѣть въ піонерскомъ ремеслѣ что-либо дѣйствительно обновляющее (а не просто обязанность состоять лишь при исправленіи должности піонера), когда въ основаніи этого ремесла нѣтъ никакихъ необходимыхъ гарантій, которыя ограждали бы его будущность? И, задавши этотъ вопросъ, невольно пожимаемъ плечами. Но этого мало: при всей исключительности нашихъ симпатій къ піонерамъ, мы и къ ремеслу исторіографа относимся безъ ожесточенія, хотя и не питаемъ къ нему положительно никакихъ симпатій. Ужъ это такъ самимъ Богомъ устроено, чтобъ были на святой Руси піонеры и были исторіографы, и чтобъ они взаимно препирались. На что же тутъ претендовать? И такимъ образомъ обѣ *великія партіи*, раздирающія въ настоящую минуту наши губерніи, если не въ равной степени привлекаютъ наши симпатіи, то, по крайней мѣрѣ, находятъ себѣ нѣкоторую экспликацію.

Совсѣмъ другое дѣло—«складныя души». Ихъ дѣятельность есть именно та дрянная дѣятельность, о которой нельзя говорить безъ чувства гадливости. Не негодованія, а именно гадливости.

Во всѣ времена провинціи наши изобиловали «складными душами»; во всѣ времена водились въ ней охочіе люди, готовые по первому знаку травить на чужой счетъ хорошую ѣду. Въ бывалое время въ особенности суетились и оживлялись эти люди передъ наступленіемъ дворянскихъ выборовъ. Смиренные и заспанные незадолго передъ тѣмъ, они внезапно оживали и, словно сурки подъ вліяніемъ лучей весенняго солнца, выползали изъ своихъ норъ. И начиналась у нихъ тутъ суета, бѣготня и то безмѣрное жранье, передъ размѣрами котораго робѣетъ самая смѣлая человѣческая мысль. Здѣсь продавались за рюмку водки старые благодѣтели и покупались новые, и тутъ же сряду, за другую рюмку, продавались новые благодѣтели и вновь

покупались старые. «Складныя души» носились по улицамъ какъ озаренныя; глаза ихъ блестѣли, ноздри раздувались, уста источали слюну, утробы ныли.

Это было зрѣлище не весьма пріятное для глазъ, но оно выкупалось простодушіемъ своего содержанія. Какъ бы гадливо ни относились вы къ этимъ слюноточивымъ героямъ, вы все-таки могли быть увѣрены, что за ихъ бѣготнею ничего нѣтъ и не можетъ быть, кромѣ ѣды. Хватая съ изумительною ловкостью бросаемыя подачки, эти люди продавали, сплетничали и лгали такъ неискусно, что никому даже и на умъ не всходило заподозрѣть ихъ въ умыслѣ. Но съ усовершенствованіемъ нравовъ усовершенствовались и «складныя души». Это не прежніе халатники, едва не падавшіе въ обморокъ при видѣ куска колбасы; нѣтъ, это люди очень приличные, которыхъ помыслы хотя и вертятся около пироговъ, но около пироговъ, такъ сказать, невещественныхъ, около пироговъ почестей, славолюбія и карьеръ.

Нынѣшняя «складная душа», по положенію своему, въ большинствѣ случаевъ принадлежитъ къ піонерамъ. Но, обуреваемая жаждою почестей и постигнувъ въ совершенствѣ духъ вѣка сего, она скоро догадывается, что піонерское поле—безплодное поле, и что пироги заправскіе, румяные пироги съ начинкой, пекутся совсѣмъ не тутъ, а индѣ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ ни безпутничай, какую безлѣпицу ни твори исторіографъ, ему все какъ съ гуся вода. Для всѣхъ видимо, что онъ и невѣжественъ, и безполезенъ, и ни на что неспособенъ, что онъ только мутитъ общество нескончаемыми сплетнями и навязчивою праздностью. Кажется, мало въ преисподней пропасть такому человѣку—анъ нѣтъ! стоитъ себѣ какъ столбъ и даже не покачивается! «Стало-быть, сила-то еще тамъ!» говоритъ, замѣчая это, «складная душа» и въ то же время обдумываетъ, какъ бы такимъ манеромъ сыграть Іуду-предателя, чтобы никто этого не примѣтилъ. И, не откладывая дѣла въ дальній ящикъ, начинаетъ подвиливать.

Сначала дѣло идетъ хорошо, потому что піонеры на этотъ счетъ просты. Развѣ у самаго прозорливаго вырвется слово: «чудакъ!» при видѣ, какъ неуклюжая «складная душа» тщетно старается вытанцовать какое-то граціозно-исторіографическое па, какъ она округляетъ руки, въ знакъ благовоспитанности, какъ усиливается придать своимъ взорамъ умильно-почтительно-преданное выраженіе. «Складная

душа» всячески скрываетъ свою игру какъ можно долѣе и нерѣдко объясняетъ ее даже цѣлями пользы и дальновидности. Нужно, дескать, видѣть врага лицомъ къ лицу, нужно подробно знать его средства, чтобы съ успѣхомъ отражать наносимые имъ удары и разрушать его козни. И дѣйствительно, мелькнувъ между исторіографами, «складная душа» черезъ минуту опять поворачивается къ піонерамъ и вновь подтанцовываетъ имъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, какіе они чудаки!—говоритъ она, позѣвывая и потягиваясь:—даже разговоръ у нихъ словно дѣтскій. Обрывки какіе-то!

Піонеры слушаютъ это и восхищаются. Имъ лестно, что даже тотъ человѣкъ, который всѣхъ болѣе изъ нихъ оказываетъ способностей къ почтительно-умильному выраженію лица,—и тотъ сознается, что, въ виду этихъ полулюдей, не можетъ быть рѣчи о какомъ-либо общеніи. «Складная душа» даже пріобрѣтаетъ нѣкоторую популярность между піонерами: ей не только не вмѣняется въ порокъ подвиливанье передъ исторіографами, но даже усматривается въ этомъ какое-то доказательство «симпатичности» характера.

Но вотъ мало-по-малу на горизонтѣ показываются тучи, въ лагерѣ исторіографовъ слышится безмозглый шопотъ, виднѣются загадочныя улыбки, произносятся нелѣпыя односложныя слова. Піонеры начинаютъ чувствовать себя неловко; они стараются проникнуть въ смыслъ односложныхъ словъ, но слова эти такъ глупы, что проникнуть въ нихъ невозможно. Сдается однако-жъ, что въ нихъ скрывается какое-то смутное обвиненіе и едва ли не обвиненіе въ заговорѣ. И вдругъ—открытіе! Одному изъ піонеровъ-застрѣльщиковъ удалось сослѣдить «складную душу» и изловить ее на мѣстѣ преступленія. Онъ собственными глазами видѣлъ, какъ «складная душа» перемигивалась и перешептывалась, и какъ вслѣдъ за этимъ перешептываньемъ въ исторіографическомъ лагерѣ сдѣлались извѣстными нѣкоторыя піонерскія провинности. Піонеръ-застрѣльщикъ не слышитъ подъ собой земли при мысли, какую услугу Богъ привелъ ему оказать достолюбезному піонерскому дѣлу; онъ дѣлается краснорѣчивъ, онъ представляетъ факты, доказываетъ и убѣждаетъ.

— Прочь измѣнника!—рѣшаютъ хоромъ піонеры...

«Складной душѣ» нѣкоторое время не совсѣмъ ловко; сначала ей даже сдается, какъ будто ее побили; но такъ какъ она прежде всего имѣетъ природу общительную, такъ

какъ она минуты отдохнуть не можетъ безъ общества людей, хотя бы дрянныхъ, то никакія жизненныя невзгоды не ставятъ ее въ затрудненіе и не заставляютъ долго задумываться. И дѣйствительно, не успѣло еще остыть негодованіе, возбужденное открытіемъ піонера-застрѣльщика, какъ «складная душа» уже всецѣло предалась исторіографамъ.

Для исторіографовъ подобные перебѣжчики всегда драгоцѣнны. Во-первыхъ, какъ ни остерегаются передъ ними піонеры, но такъ какъ, говоря выраженіями пословицы, отъ своего вора уберечься нельзя, то всякое праздное слово, произнесенное въ піонерскомъ кружкѣ, неминуемо пересказывается исторіографамъ до точности. Во-вторыхъ, «складная душа» знаетъ слабыя стороны піонерскаго дѣла и потому можетъ наносить удары болѣе дѣйствительные и злохитрые, нежели тѣ, которые наносятся исторіографами. Въ-третьихъ, люди эти, хотя и съ подлинцою, все-таки имѣютъ внѣшніе признаки людей современныхъ и развитыхъ, и слѣдовательно присутствіе ихъ значительно скрашиваетъ общество исторіографовъ.

А посему, когда «складная душа» перебѣгаетъ къ исторіографамъ, то она нѣкоторое время катается какъ сыръ въ маслѣ. Обвороженные мужья кормятъ ее, потчуютъ наливками и охотно ввѣряютъ ей всѣ интересы, оставляя за собой только стуколку: бѣлотѣлыя жены сверкаютъ передъ глазами счастливца обнаженными бюстами, какъ будто говоря: «ну, скажи, дурашка, видалъ ли ты что-нибудь подобное у вашихъ некормленныхъ?»

«Складная душа», упоенная, пламенѣющая и алчущая, не ходитъ, а носится по стогнамъ града, какъ будто у нея выросли сзади невидимыя крылья.

Но увы! «складная душа», разсчитывая на пироги, обыкновенно упускаетъ изъ виду одно: великую глупость исторіографовъ. Это промахъ тѣмъ болѣе непростительный, что исторіографъ глупъ очевидно, глупъ по призванію, глупъ безъ уменьшающихъ вину обстоятельствъ, глупъ какъ чуланъ. Онъ отъ природы такъ устроенъ, чтобъ быть глупымъ, и потому чѣмъ нелѣпѣе исторіографъ, тѣмъ онъ исторіографичнѣе. Заручившись перебѣжчикомъ, исторіографъ, какъ сказано выше, сторяча всячески ублажаетъ его,—это первый періодъ или, лучше сказать, медовый мѣсяцъ этого незаконнаго союза. Затѣмъ, замѣчая, что «складная душа» идетъ ходко, исторіографъ мало-по-малу начинаетъ думать, что

тутъ съ ея стороны не принесено никакой жертвы, и что измѣна «складной души» есть не что иное, какъ должная дань превосходнымъ его, исторіографа, душевнымъ качествамъ. Поэтому онъ начинаетъ обходиться съ перебѣжчикомъ съ панибратскою откровенностью, вываливаетъ передъ нимъ пахучій хламъ своей души и, въ заключеніе, требуетъ, чтобы «складная душа» разыгрывала передъ нимъ, исторіографомъ, комедіи. Это періодъ второй. «Складная душа», упоенная и счастливая, сначала не только не огорчается подобными поползновеніями, но даже въ угоду благодѣтелямъ выкидываетъ нѣкоторыя колѣнца. Но чѣмъ больше выкидываетъ она колѣнцевъ, тѣмъ ненасытнѣе дѣлается относительно сего рода зрѣлищъ исторіографъ; избалованный угодливостью своего кліента, онъ начинаетъ предъявлять свои требованія безпрестанно, предъявлять ихъ даже тогда, когда «складной душѣ» вовсе не хочется откидывать колѣнца. Наступаетъ минута, когда несчастный кліентъ начинаетъ смутно понимать, что онъ изъ политическаго перебѣжчика сдѣлался просто увеселителемъ и шутомъ, и вслѣдствіе этого дѣлаетъ попытку надувать губы— это періодъ третій. Видя это, на него начинаютъ дуться въ свою очередь; мало того: въ глазахъ, передъ его носомъ, безъ всякаго зазрѣнія совѣсти, подыскиваютъ, на перемѣну ему, другую «складную душу»,—это періодъ четвертый...

«Складная душа» содрогается, ибо ее преслѣдуетъ представленіе о потерянномъ раѣ. Видя себя одинокою и не будучи въ состояніи сносить одиночество, она начинаетъ роптать на Провидѣніе. «Природа-мать! — вопитъ какой-нибудь опальный перебѣжчикъ:—зачѣмъ ты надѣлила меня душою складною, а не неуклонною? зачѣмъ ты направила стопы мои по стезѣ шаловливости, а не по стезѣ добродѣтели?» И, пороптавши такимъ манеромъ съ минуточку, онъ тщательнѣе прежняго складываетъ свою удобопереносную душу и предпринимаетъ цѣлую серію такихъ удивительныхъ извивовъ и зигзаговъ, что постороннему зрителю остается только восклицать: «экъ его ломаетъ!» Онъ легкими, чуть замѣтными прыжками перебѣгаетъ сцену и осторожно приближается опять къ тому лагерю, который былъ свидѣтелемъ его перваго грѣхопаденія, все озираясь, все обольщая себя надеждою, что никто его не замѣтитъ. Надежда тщетная! прежде, нежели успѣлъ онъ выполнить первое антраша, исторіографы уже заволновались. Они припоминаютъ весь хламъ, который такъ добродушно выбра-

сывался передъ «складной душою», и справедливо заключаютъ, что изъ этого хлама можно выработать безподобнѣйшій увеселительный матеріалъ.

— Прочь измѣнника!—восклицаютъ они въ свою очередь, и горе «складной душѣ», если она въ эту гнѣвную минуту не успѣетъ провалиться сквозь землю; ибо исторіографы, будучи постоянно глупы, нерѣдко бываютъ и пьяны.

Тогда наступаетъ новый фазисъ въ жизни «складной души», все еще не вѣрящей постигшему ее несчастію, все еще надѣющейся и колеблющейся. Приходитъ она, напримѣръ, въ общественное собраніе, гдѣ за однимъ столомъ ужинаютъ піонеры, за другимъ— исторіографы. Подходитъ она къ столу піонеровъ,—и вдругъ все общество, какъ бы по данному знаку, смолкаетъ. «Складная душа» однако-жъ не робѣетъ и начинаетъ заигрывать: она какъ-нибудь усаживается бочкомъ за общею трапезою (большею частью около того изъ піонеровъ, который подобрѣе) и изъявляетъ намѣреніе разсказать нѣсколько безцѣнныхъ анекдотовъ изъ жизни знаменитѣйшихъ исторіографовъ. Но никто не внимаетъ, никто не улыбается; собесѣдники хранятъ упорнѣйшее молчаніе и нетерпѣливо между собой переглядываются. Во рту у «складной души» дѣлается скверно; въ эту минуту она поцѣловала бы ручку у того изъ піонеровъ, который бы хоть крошечку, хоть изъ жалости улыбнулся ей. Тщетно. Нѣсколько времени «складная душа» продолжаетъ ораторствовать, и новые безцѣнные анекдоты одинъ за другимъ льются изъ ея устъ... И вдругъ голосъ ея прерывается на половинѣ анекдота. «Складная душа» понимаетъ, «складная душа» чувствуетъ. Неслышными шагами она ретируется отъ непріязненнаго ей стола и столь же неслышно, даже робко приближается къ другому столу. И опять подсаживанье бочкомъ, опять заигрыванье, опять анекдоты, но на сей разъ уже изъ жизни піонеровъ, и опять гробовое молчаніе, прерываемое отрывистыми возгласами: «водки! уксусу! горчицы!»

Кончается тѣмъ, что «складная душа» ужинаетъ посрединѣ залы, и ужинаетъ одна-одинешенька.

Дѣти! прочтите внимательно настоящій правдивый разсказъ и всякій разъ, какъ васъ будетъ соблазнять легкое ремесло «складной души», представьте себѣ муки, которыя ожидаютъ этихъ несчастныхъ въ семъ вѣкѣ и въ будущемъ! И, размысливъ о семъ, спѣшите, скорѣе спѣшите примкнуть или къ исторіографамъ, симъ піонерамъ про-

шедшаго, или къ піонерамъ, симъ исторіографамъ будущаго!

Но такъ какъ въ жизни вообще не существуетъ положеній вполнѣ безнадежныхъ, то нѣтъ резона, чтобы это общее правило не примѣнялось и къ опальнымъ «складнымъ душамъ». Да, и онѣ могутъ ласкать себя надеждами, и онѣ имѣютъ право разсчитывать на лучшее будущее. Въ самомъ дѣлѣ, источникъ «складныхъ душъ» такъ изобиленъ, что невозможно даже провидѣть, чтобы онъ когда-нибудь изсякнулъ. Предположите теперь, что съ каждою изъ этого легіона душъ произойдетъ тотъ самый процессъ превращеній, который описанъ выше, а именно, что каждая изъ нихъ будетъ сначала наверху славы и величія, а въ концѣ концовъ все-таки не минуетъ общей участи «складныхъ душъ», то-есть опалы и отчужденія. Очевидно, что число отверженцевъ должно будетъ постепенно возрастать и наконецъ образуетъ массу достаточно компактную, чтобы обнаружить признаки нѣкоторой самостоятельности. Вотъ тогда-то къ двумъ великимъ корпораціямъ исторіографовъ и піонеровъ прибавится еще третья великая корпорація— «складныхъ душъ». И будутъ организовавшіяся «складныя души» жениться и посягать, какъ и прочіе губернскіе люди, будутъ ужинать и танцовать на всей своей волѣ, будутъ принимать визиты и отдавать ихъ, будутъ мириться и враждовать... Однимъ словомъ, народится въ провинціи новая сила...

Письмо третье.

Съ 19-мъ февраля въ понятіи русскаго человѣка всегда соединяется представленіе о чемъ-то весьма доброкачественномъ. Въ особенности же ощутительно доброе вліяніе 19-го февраля въ провинціи. Тутъ 19-е февраля дѣйствовало непосредственно и воочію всѣхъ; тутъ оно и въ самой жизни провело черту, до такой степени яркую, что то̀, что̀ стоитъ надъ чертою, не имѣетъ почти ничего общаго съ тѣмъ, что̀ стоитъ подъ чертою. А такъ какъ *надъ* чертою хорошаго стояло мало, то весьма понятно, куда должны тяготѣть общія симпатіи.

Тѣмъ не менѣе нельзя не сознаться, что и въ провинціальномъ обществѣ существуютъ извѣстные слои, въ которыхъ 19-е февраля отозвалось послѣдствіями свойства

довольно неожиданнаго. Въ противность всякимъ соображеніямъ, оно выдвинуло впередъ въ этихъ слояхъ совсѣмъ не тѣхъ, кого слѣдовало внѣ дѣятельности поставить. Однимъ словомъ, вышла какая-то безпримѣрная и только у насъ возможная путаница, вслѣдствіе которой вліятельными практическими дѣятелями на почвѣ 19-го февраля явились люди, не могущіе и даже не дающіе себѣ труда воздержаться отъ судорожнаго подергиванія при малѣйшемъ намекѣ на эту почву; люди же, всецѣло преданные дѣлу, вѣрящіе въ его будущность, очень часто не только отстраняются отъ всякаго вліянія на правильный исходъ его, но даже, къ великой потѣхѣ многочисленнаго сонмища фофановъ и праздношатающихся, обзываются коммунистами, нигилистами, революціонерами и демагогами.

И дѣйствительно, взглядитесь нѣсколько въ нашихъ вліятельнѣйшихъ провинціальныхъ исторіографовъ, въ тѣхъ, которые и о сю пору еще пишутъ вольнымъ духомъ нашу исторію, что̀ составляетъ язву, непрестанно точащую ихъ существованіе? Эту язву составляютъ: упраздненное крѣпостное право, гласные суды, земство, то-есть именно то, въ чемъ замыкается существенный смыслъ 19-го февраля. Въ чемъ состоитъ самая яркая, характеристичная сторона ихъ дѣятельности? Эта сторона состоитъ въ жалкихъ усиліяхъ во что̀ бы то ни стало подорвать тѣ плодотворныя послѣдствія, которыя заключаютъ въ себѣ намѣренія 19-го февраля...

Какъ ни маловѣроятенъ кажется такой фактъ, но онъ составляетъ явленіе до того общеизвѣстное, что сомнѣваться въ его дѣйствительности нѣтъ ни малѣйшей возможности. Ненавистничество до такой степени подняло голову, что самое слово «ненавистникъ» сдѣлалось чѣмъ-то въ родѣ рекомендательнаго письма. Ненавистники не вздыхаютъ по угламъ, не скрежещутъ зубами втихомолку, но авторитетно, публично, при свѣтѣ дня и на всѣхъ діалектахъ изрыгаютъ хулу и, не опасаясь ни отпора, ни возраженій, сулятъ покончить въ самомъ ближайшемъ времени съ тѣмъ, что̀ они называютъ «гнусною закваскою нигилизма и демагогіи» и подъ чѣмъ слѣдуетъ разумѣть отнюдь не демагогію и нигилизмъ, до которыхъ ненавистникамъ нѣтъ никакого дѣла, а преобразованія послѣдняго времени.

Торжество ненавистничества есть фактъ недавній, происшедшій на нашей памяти въ какія-нибудь послѣднія

пять-шесть лѣтъ. Много метаморфозъ испытала провинція, много видѣла она видовъ, много вынесла на спинѣ своей всякихъ рукавицъ, а преимущественно ежовыхъ, но ничего подобнаго происходящему на нашихъ глазахъ не испытывала, не видала и не выносила. Цѣлые легіоны ничтожнѣйшихъ шалопаевъ рыскаютъ по градамъ и весямъ любезнаго отечества съ спеціальною цѣлью явно и тайно уничтожать и подрывать дѣйствіе 19-го февраля... скажите на милость, бывало ли когда-нибудь слыхано подобное чудовищное дѣло? Даже обидно становится, когда посмотришь на эту повальную непросвѣтную галиматью, и именно потому обидно, что ни подъ какимъ видомъ ничего нельзя понять. Нельзя понять, почему все это ничтожество, которое еще такъ недавно жалось около стѣнъ, смиренномудричало и притворялось, вдругъ всплыло наверхъ, заняло самую середину сцены и, какъ весенняя мошкара, кружится на солнцѣ, готовое залѣпить и глаза, и носъ, и уши всякому проходящему. Нельзя понять, почему вся эта неспособность, которая еще такъ недавно сама сознавала себя ни на что не годною, кромѣ граненія мостовыхъ, зуботычинъ и смертнаго боя, вдругъ загалдѣла о какихъ-то высшихъ соображеніяхъ, о какихъ-то священныхъ интересахъ и правахъ. Что такое произошло? невольно спрашиваешь себя. Что могло вызвать этихъ слѣпорожденныхъ изъ темныхъ ихъ норъ? Ужъ, полно, все ли спокойно въ любезномъ отечествѣ? ужъ нѣтъ ли гдѣ признаковъ, которые бы предвѣщали хоть какое-нибудь, хоть отдаленное замѣшательство?

Можно поручиться, что сами ненавистники затруднятся дать сколько-нибудь удовлетворительные отвѣты на эти вопросы, а если и укажутъ на какіе-нибудь признаки, по мнѣнію ихъ — зловредные, то въ этихъ указаніяхъ всего замѣчательнѣе будетъ не сущность ихъ (всегда ребячески пошлая и лживая), а то злорадство, съ которымъ они дѣлаются. Нельзя себѣ представить того наслажденія, съ которымъ ненавистникъ хватается за всякую поруху, за всякую фальшивую ноту, которою случайно зазвучитъ непріятное ему дѣло. Прослышитъ ли онъ, что народъ бѣднѣетъ, онъ ликуетъ; вычитаетъ ли, что въ дѣлахъ застой, — онъ торжествуетъ всею утробой; дойдетъ ли до него, что города и села опустошаются пожарами,—нѣтъ предѣла, нѣтъ границъ его поганымъ восторгамъ. Онъ всякую народную бѣду готовъ пріурочить къ 19-му февраля, потому что въ

дурацкой его головѣ нѣтъ ни одной мысли, кромѣ мысли объ обидѣ, нанесенной ему этимъ ужаснымъ для него числомъ. И можно быть увѣреннымъ, что, случись когда-нибудь всероссійское землетрясеніе, онъ съ радостью согласится погибнуть подъ развалинами, лишь бы имѣть случай лишній разъ прокричать: «это оно, это 19-е февраля!»

Да: ненавистникъ—существо жалкое, почти помѣшанное отъ злобы. Подобною злобою бываютъ одержимы только люди совершенно глупые, и именно потому, что въ ихъ наглухо-забитыя головы не можетъ проникнуть никакая связная мысль, никакое общее представленіе. Въ этомъ смыслѣ ненавистникъ представляетъ собой психологическое явленіе весьма замѣчательное; онъ, такъ сказать, не различаетъ ни прошедшаго, ни будущаго; онъ не можетъ отыскать начала, не можетъ предвидѣть конца; онъ не постигаетъ связи вещей, и потому существующее представляется ему произвольнымъ и разбросаннымъ, въ видѣ мелкихъ оазисовъ, раздѣленныхъ непроходимыми песками. Врядъ ли онъ даже имѣетъ ясное представленіе о томъ, что̀ называется отечествомъ. Единственное впечатлѣніе, завѣщанное ему прошедшимъ, это впечатлѣніе дарового куска, который нѣкогда тѣшилъ его утробу; единственное стремленіе его въ будущемъ — это стремленіе къ тому же даровому куску...

И за всѣмъ тѣмъ надо пожить среди этихъ людей, чтобы убѣдиться, какіе у нихъ здоровые зубы и какъ ловко они умѣютъ вгрызаться въ тѣла ненавистныхъ имъ субъектовъ!

Говорятъ, будто бы Россія изнемогаетъ подъ бременемъ либеральныхъ поползновеній; говорятъ, что эти поползновенія обуреваютъ ее до такой степени, что даже заставляютъ опасаться за ея драгоцѣнное здоровье. Вотъ, дескать, та причина, въ силу которой дѣлается необходимымъ появленіе такихъ дѣятелей, которымъ небезызвѣстна теорія ежовыхъ рукавицъ. Но спросите, гдѣ доказательства этого мнимо-либеральнаго изступленія, потребуйте, чтобы вамъ указали факты, свидѣтельствующіе объ основательности подобнаго рода опасенія, и вы, вмѣсто фактовъ и доказательствъ, получите цѣлый рядъ трогательно-нелѣпыхъ разсказовъ объ экипажахъ, мчащихся съ горы въ пропасть, о лошадяхъ, вырвавшихся на свободу и умирающихъ съ голоду, и пр. и пр. Мы, провинціалы, охотно прибѣгаемъ

къ образамъ (забывая, что это доказываетъ только нашу непривычку мыслить), до того охотно, что даже не даемъ себѣ труда провѣрить, имѣютъ ли эти образы какое-нибудь отношеніе къ данной мысли. Это даетъ намъ возможность уклониться отъ отвѣта: это дозволяетъ намъ безнаказанно клеветать, сколько душѣ угодно. Въ самомъ дѣлѣ, что вы можете предпринять послѣ трогательной исторіи объ экипажѣ, мчащемся съ горы въ пропасть? Что, кромѣ того, чтобы вновь потребовать фактовъ и доказательствъ? И вотъ, въ отвѣтъ вамъ, уже готова легенда о вырвавшейся на свободу и умирающей съ голоду лошади!.. Не правда ли, какъ все просто и незатѣйливо въ этомъ заколдованномъ кругѣ, и какъ хорошо должно житься въ немъ глупцамъ-ненавистникамъ?!

Дѣло въ томъ, что фактовъ нѣтъ и представлено быть не можетъ, по той простой причинѣ, что ихъ не существуетъ въ натурѣ. Нелѣпые разсказы о какихъ-то «дѣвкахъ-поганкахъ», требующихъ конституціи, объ отставныхъ солдатахъ и разносчикахъ, посѣвающихъ сѣмена революціи по деревнямъ и селамъ, свидѣтельствуютъ только о крайнемъ умственномъ убожествѣ самихъ разсказчиковъ. Намѣренія 19-го февраля пали на такую благодарную почву и укоренились въ ней такъ просто и естественно, что тутъ не можетъ быть мѣста для опасеній. Россія не только не мечется въ либеральной горячкѣ, не только не требуетъ лѣченія посредствомъ ежовыхъ рукавицъ, но даже относится къ этому лѣченію не безъ изумленія, хотя и принимаетъ его безъ ропота. Кажется, этого послѣдняго факта одного уже черезчуръ достаточно, чтобъ опровергнуть какую угодно систему доказательствъ въ пользу появленія дантистовъ и ненавистниковъ. И между тѣмъ несомнѣнно, что эти дантисты и ненавистники существуютъ и даже сознаютъ себя призванными къ чему-то высшему. Что за притча сія?

Чтобы понять, какъ трудно и какъ необходимо разрѣшить эту загадку, потрудитесь, читатель, изъ міра интересовъ общественности перенестись мыслью въ тотъ тѣсный міръ, въ которомъ замыкаются ваши частные интересы. Предположите, что вы задумали предпріятіе, которое не можетъ быть приведено къ концу одними личными вашими усиліями, а требуетъ сотрудничества многихъ другихъ лицъ. Къ кому вы прежде всего обратитесь? не къ тѣмъ ли, которые относятся къ вашему предпріятію сочувственно? не

къ тѣмъ ли, которые обладаютъ надлежащей суммой способностей и силъ, необходимыхъ для успѣха вашего дѣла? не къ тѣмъ ли, наконецъ, которыхъ вы, во всякомъ случаѣ, не имѣете повода заподозрѣть въ лукавствѣ или въ намѣреніи подкопаться подъ васъ? Да, конечно, къ нимъ, къ этимъ способнымъ и сочувствующимъ людямъ, вы и обратитесь; этого требуетъ и здравый смыслъ, и прямая ваша выгода. Законъ, направляющій въ этомъ случаѣ ваши движенія, до такой степени непроизволенъ, что, если вы, напримѣръ, затѣваете дѣло хорошее, то избираете для него и сотрудниковъ хорошихъ; а ежели затѣваете дѣло дрянное, или, лучше сказать, не дѣло, а только изворотъ, то и дѣятелей для него избираете изворотливыхъ, а отчасти и гнусныхъ.

Все это до такой степени очевидно, общепонятно и общепринято, что нѣтъ угла въ цѣломъ мірѣ, гдѣ какое-нибудь дѣло дѣлалось бы иначе, какъ при содѣйствіи людей, его понимающихъ, ему сочувствующихъ и къ нему подготовленныхъ. И вдругъ однако-жъ оказывается, что существуютъ такія сферы человѣческой дѣятельности, гдѣ теорія самоѣдства признаётся не только полезною, но даже необходимою!

Не правда ли, что мы имѣли полное основаніе назвать такое положеніе загадочнымъ?

Но ежели извѣстное явленіе не подходитъ ни подъ какое логическое объясненіе, то изъ этого слѣдуетъ, что для раскрытія его необходимо прибѣгнуть къ путямъ неестественнымъ. Такъ мы и дѣлаемъ.

Если бы у ненавистниковъ не было за душой ничего, кромѣ ненавистничества, то дѣло кончилось бы тѣмъ, что они пожрали бы другъ друга и сами себя, и такимъ образомъ вопросъ о достославной ихъ дѣятельности вскорѣ упразднился бы самъ собою. Однако-жъ дѣятельность эта продолжается и заставляетъ предполагать, что тутъ примѣшались кой-какія другія данныя, которыя, въ глазахъ поверхностнаго наблюдателя, смягчаютъ самое ненавистничество и позволяютъ взирать на него безъ негодованія. Данныя эти, какъ увидимъ ниже, чисто внѣшняго свойства и имѣютъ весьма слабое отношеніе къ сущности 19-го февраля: но такъ какъ у насъ внѣшность и до сихъ поръ еще всегда на первомъ планѣ, то нѣтъ ничего удивительнаго, что тлѣніе, которое за нею стоитъ, ускользаетъ отъ анализа неопытнаго и неискуснаго большинства.

Первое преимущество, которое ненавистникъ охотно выставляетъ впередъ, — это приличная и, такъ сказать, дисциплинированная внѣшность. И дѣйствительно, взирая на открытое и розовое лицо какого-нибудь ненавистника, вслушиваясь въ его умѣренно-пошловатую рѣчь, весь смыслъ которой резюмируется словами: «какъ прикажете?», видя этотъ учтивый носъ и эти ласковые, слегка закатывающіеся глаза, которые, кажется, такъ и говорятъ: «навѣкъ я твой и даже больше!», всматриваясь въ его плавную, преданно-спѣшащую походку, въ его мягкій, нѣсколько безцвѣтный жестъ, и не усматривая притомъ въ положеніи его тѣла ничего, кромѣ благодарно-устремляющагося и готовно-дерзающаго, — вамъ даже въ голову не придетъ сказать: «вотъ человѣкъ, у котораго въ сердцѣ завелось уксусное гнѣздо, у котораго въ головѣ засѣла каверза, у котораго внутренности поражены гноящимися струпьями!» Напротивъ того, вы скажете: «вотъ обворожительный малый, который отлично владѣетъ французскимъ діалектомъ и у котораго притомъ изъ всѣхъ поръ сочится нотъ готовности и признательности!» И однажды, сказавъ себѣ это, вы непремѣнно почувствуете къ этому человѣку влеченіе и начнете относиться къ нему съ упорнымъ пристрастіемъ. Неразвитость его вы назовете наивностью, невѣжество—простодушіемъ, незнаніе дѣла — неопытностью: даже въ его лукавствѣ вы будете видѣть не то вредное качество, которое и въ животныхъ низшаго разряда возбуждаетъ отвращеніе, а милую изобрѣтательность не очень обширнаго, но благонамѣренно-направленнаго ума. Вы не замѣтите ни той судороги, которая по временамъ мгновенно пробѣгаетъ по его лицу, ни тѣхъ подергиваній, ни того воздыманія ноздрей, въ которыхъ собственно и заключается ключъ къ его сердцу. Передъ вами только человѣкъ съ мягкими, смѣющимися глазками, съ устремленнымъ впередъ корпусомъ, однимъ словомъ, человѣкъ, котораго можно и намотать на клубокъ, и опять размотать—какъ угодно! Не кладъ ли такой субъектъ? И возможно ли сравнить его съ тѣми угрюмыми личностями, которыя не только не устремляются, но даже какъ будто назадъ опрокидываются? Нѣтъ, ни сравнить, ни промѣнять ни на что подобное невозможно,— это ясно какъ день. Это тѣмъ болѣе ясно, что каверзы, которыя выкидываетъ очаровательный ненавистникъ, совершаются не на глазахъ вашихъ, а тамъ, за кулисами, на какомъ-то заднемъ дворѣ...

И вотъ, благодаря граціознымъ манерамъ, прахъ, простой и ничтожнѣйшій прахъ, столбомъ кружится по градамъ и весямъ любезнаго отечества, залѣпляя глаза и носы изумленнымъ обывателямъ!

Другой фактъ, на который сильно упираютъ ненавистники и которымъ они въ особенности отводятъ глаза, заключается въ буквальномъ соблюденіи обрядной части 19-го февраля. Насчетъ обрядовъ ненавистникъ просто левъ, и ему тѣмъ легче геройствовать на этомъ поприщѣ, что самое пониманіе его не идетъ дальше обряда, что все воспитаніе его исключительно основано на обрядѣ, и что у него пропасть свободнаго времени, избытокъ котораго позволяетъ ему слѣдить за обрядомъ съ пунктуальностью изумительною. Мундиры, парады, обѣды, молебны — вотъ почва, на которой твердо стоитъ ненавистникъ, и плохо придется тому, кого проницательный взоръ его усмотритъ на этой почвѣ небрежнымъ или неисправнымъ. Нужды нѣтъ, что тутъ же, въ этомъ самомъ мундирѣ, ненавистникъ измышляетъ пакость тому самому дѣлу, въ пользу котораго онъ парадно вырядился,—повторяемъ: эта пакость совершится за кулисами, на заднемъ дворѣ; на сценѣ же будутъ красоваться всѣ внѣшніе признаки преданности дѣлу, на сценѣ будетъ обрядъ, — а много ли найдется людей, которые сумѣютъ отличить обрядъ отъ сущности? Итакъ: горе тому, кто оплошалъ въ мундирный день! горе тому, кто въ день сей страдалъ головною болью или коликами! горе тому, кто просто позабылъ о происходящемъ торжествѣ, а усмотрѣнъ былъ во время онаго гуляющимъ! Тысячи обвиненій, одно другого нелѣпѣе, одно другого зловреднѣе, посыплются на его голову и, ежели не поразятъ окончательно, то навредятъ и нагадятъ настолько, что человѣку опротивѣетъ не только провинція, но и самая дѣятельность, на которую онъ въ ней осужденъ.

Да: вотъ и дрянные, повидимому, людишки, а подите-ка, уберегитесь отъ ихъ бѣлыхъ, поганыхъ зубовъ! устойте-ка противъ ихъ козней, несмотря на явную нелѣпость и глупость послѣднихъ!

Читателю петербургскому всѣ эти неудобства и каверзы провинціальной жизни могутъ показаться паршивыми дрязгами — не больше. Многаго изъ нихъ онъ не пойметъ, о многомъ скажетъ, что все это дѣла, не стоящія плевка. Конечно, съ своей точки зрѣнія, петербургскій читатель будетъ правъ; но представьте себя, такъ сказать, водво-

реннымъ среди этихъ паршивостей, представьте, что вы вошли въ тучу комаровъ, которые и жужжаніемъ, и жаленіемъ до того одолѣваютъ васъ, что даже парализуютъ самую вашу мысль,—какъ отнесетесь вы къ подобному положенію? Прибѣгнете ли вы къ тѣмъ высшимъ соображеніямъ, въ виду которыхъ это положеніе не стòитъ плевка? Назовете ли его именемъ дрязговъ?.. Да, это дѣйствительно не больше, какъ дрязги, но потому-то именно они такъ больно и вліяютъ на человѣка, что ужъ черезчуръ паршивы. Смириться передъ ними—нѣтъ резона; уединиться среди нихъ—тѣмъ дряннѣе и омерзительнѣе встанетъ передъ вами картина этой властной и торжествующей паршивости. Однимъ словомъ, для провинціи это вопросъ совсѣмъ не пустой, а вполнѣ жизненный и совершенно неизбѣжный. Шпіонство, наушничество и вольный доносъ до того одолѣли ее, что некуда дѣваться порядочному человѣку, нельзя совершить самаго простого акта, чтобы не подвергнуться всякаго рода зловреднымъ толкованіямъ.

И сверхъ того, не надо забывать, что эта паршивость не потому только вредна, что она заѣдаетъ того или другого субъекта, но и потому, что она врѣзывается въ самую жизнь и растлѣваетъ наилучшія намѣренія. Не надо забывать, что это паршивость, не лишенная аттрибутовъ силы, а потому дѣйствующая самоувѣренно и почти безъ возраженій. Но это-то именно и не понимается въ Петербургѣ, и потому всякое, даже слабое, противодѣйствіе ненавистничеству представляется тамъ какою-то неумѣстною строптивостью.

Вообще Петербургъ не охотникъ до такъ-называемыхъ пререканій: они кажутся ему вредными; они тревожатъ его олимпическое спокойствіе: они мѣшаютъ ему думать, что въ любезномъ отечествѣ все обстоитъ благополучно. Петербуржцу кажется, что стòитъ какому-нибудь Ивану Иванычу хорошенько поцѣловаться съ Иваномъ Никифорычемъ,—и все пойдетъ какъ по маслу. «Помилуйте! вѣдь это все преувеличенія! вы тамъ деретесь, а мы должны изъ-за вашихъ ничтожныхъ дракъ оставлять наши общія соображенія!»—вотъ что̀ обыкновенно слышитъ страдалецъ-провинціалъ отъ любого петербуржца, которому вздумаетъ повѣдать повѣсть своихъ провинціальныхъ затрудненій. И никакъ не убѣдится глубокомысленный петербуржецъ, что есть же причина, которая обусловливаетъ эту организованную драку, и что ежели тутъ на первомъ планѣ пустяки,

то это именно тѣ пустяки, которые загораживаютъ живое и кровное дѣло, которое дѣлается отнюдь не въ Петербургѣ, а въ провинціи.

Надо сознаться, что въ послѣдніе три-четыре года въ провинціальной жизни выработалось много не весьма хорошаго, и между прочимъ явилась на свѣтъ цѣлая система обвиненій, противъ которыхъ предполагаются невозможными никакія возраженія. Таковы, напримѣръ, обвиненія въ нигилизмѣ, въ коммунизмѣ, въ демократизмѣ, въ безвѣріи и т. п. Обвиненія, при извѣстныхъ условіяхъ и при общей сбивчивости понятій объ истинномъ смыслѣ ихъ, очень вѣскія. Спросите любого ненавистника, что̀ онъ разумѣетъ подъ этими выраженіями, которыми онъ сыплетъ направо и налѣво,—онъ, навѣрное, разинетъ ротъ или понесетъ совершеннѣйшую чепуху. Но дѣло въ томъ, что ему совсѣмъ и не важно знать, какое значеніе имѣетъ то или другое выраженіе; для него достаточно быть увѣреннымъ, что есть на свѣтѣ такіе сладкіе термины, которые позволяютъ ему стрѣлять въ упоръ, и вотъ онъ пострѣливаетъ да пострѣливаетъ себѣ полегоньку, отнюдь не сомнѣваясь, что выстрѣлы его рано или поздно достигнутъ-таки надлежащей цѣли. Положимъ, напримѣръ, вы доказываете ненавистнику, что недозволительно доводить крестьянъ до разоренія подъ благовиднымъ предлогомъ казеннаго интереса, съ дѣйствительною же цѣлью—пускай, дескать, знаютъ поганцы, какова сладка хваленая ихъ свобода! — и вотъ, вмѣсто отвѣта, въ васъ стрѣляютъ обвиненіемъ въ коммунизмѣ! Или, положимъ, вы доказываете необходимость и пользу независимости судовъ, пользу, признанную закономъ, а въ васъ, вмѣсто отвѣта, стрѣляютъ обвиненіемъ въ неуваженіи къ власти! Что̀ предпримете вы противъ такихъ обвиненій? Станете ли возражать, что между коммунизмомъ и правильнымъ ходомъ крестьянской реформы, между неуваженіемъ власти и независимостью судовъ нѣтъ никакой связи? но развѣ тутъ можетъ быть рѣчь о какой бы то ни было связи? Развѣ тутъ что-нибудь требуется, кромѣ гнуснаго голословнаго обвиненія? Да, это положеніе почти безнадежное...

Есть, впрочемъ, одна сила, которая могла бы удерживать ненавистниковъ въ предѣлахъ благопристойности, ежели бы ей было дано надлежащее развитіе и ежели бы она сама сознавала, ка̀къ много она значитъ и ка̀къ много можетъ. Эта сила—печать.

Не можно измыслить тѣхъ проклятій, которыми осыпается въ провинціи бѣдное печатное русское слово, но въ то же время трудно себѣ представить трепетъ болѣе почтительный, нежели тотъ, съ которымъ ожидаетъ ненавистникъ печатной кары своимъ злоумышленіямъ. Совершивши свинство, ненавистникъ долгое время проводитъ въ весьма нелегкихъ терзаніяхъ. Съ тѣхъ поръ, какъ завелась такъ-называемая спасительная гласность, жизнь значительно опостылѣла ненавистнику. Гг. Катковъ, Аксаковъ, Скворцовъ и проч. кажутся ему не просто смертными, а какими-то недремлющими волшебниками, которые невидимо присутствуютъ при всякомъ паскудномъ дѣяніи и отъ которыхъ безполезно было бы даже что-нибудь таить. Они все видятъ, все знаютъ, все предугадываютъ. И вотъ, въ виду этого всевѣдѣнія, за содѣяннымъ свинствомъ всегда наступаетъ для ненавистника рядъ дней томительнаго ожиданія кары, ожиданія болѣе тяжкаго, нежели самая кара. «Не можетъ быть, чтобъ меня не сказнили?» резонно твердитъ себѣ ненавистникъ, и содѣянное свинство во всѣхъ малѣйшихъ подробностяхъ встаетъ въ его воображеніи, а дни полученія газетъ становятся днями трепета и невыносимѣйшихъ нравственныхъ истязаній.

Само собою разумѣется, что, въ большинствѣ случаевъ, эти ожиданія только трепетомъ и разрѣшаются; но велико бываетъ смятеніе въ тѣ рѣдкіе и памятные дни, когда и въ самомъ дѣлѣ въ одной изъ газетъ появляется краткое извѣстіе о нашихъ секретныхъ и явныхъ дѣяніяхъ.

Представьте себѣ физіономію ненавистника, который вдругъ вычитываетъ изъ газетъ, напримѣръ, слѣдующее извѣстіе:

Наилучшій способъ употребленія пожарныхъ лошадей. Изъ города Окова пишутъ: «Пожары въ нашемъ городѣ, благодареніе Богу, рѣдки, и вотъ мѣстные распорядители, чтобъ не лишить пожарныхъ лошадей полезнаго моціона, придумали ссужать ихъ подъ кавалькады туземнымъ аристократамъ. Недавно одна изъ такихъ кавалькадъ красовалась по улицамъ города, и обыватели имѣли случай убѣдиться, что лошади эти выѣзжены подъ верхъ весьма удовлетворительно».

Или:

Особенный видъ благотворительности. Изъ Окова пишутъ: «Недавно цвѣтъ нашего аристократическаго общества давалъ съ благотворительною цѣлью любительскій спек-

такль. При этомъ способъ привлеченія публики былъ избранъ хотя и не новый, но весьма оригинальный: билеты навязывались обывателямъ подъ угрозой мести: сказываютъ даже, будто нѣкоторые извозчики получили по нѣскольку билетовъ и были въ большомъ затрудненіи, въ какихъ костюмахъ явиться на драматическій фестиваль. Однимъ словомъ, явился новый, неожиданный налогъ».

Нельзя, конечно, сказать, чтобы замѣтки эти были очень ядовиты или глубоко захватывали наши провинціальныя немощи, тѣмъ не менѣе и онѣ, несмотря на свою невинность, производятъ дѣйствіе довольно существенное. Видя себя застигнутымъ, ненавистникъ нѣкоторое время смотритъ совершеннымъ именинникомъ. Онъ чаще обыкновеннаго появляется въ публику и, хотя старается игнорировать о поднесенномъ сюрпризѣ, но въ то же время озирается и ищетъ. Онъ перебираетъ въ умѣ своемъ личности, которыхъ можно заподозрѣть въ знаніи орѳографіи и знаковъ препинанія; онъ подслушиваетъ, подсматриваетъ, подсылаетъ: онъ то нападаетъ на слѣдъ, то теряетъ его. Конечно, ежели виновникъ обнаружится, то онъ, въ свою очередь, не останется безъ сюрпризовъ весьма существенныхъ: тѣмъ не менѣе можно поручиться навѣрное, что кавалькады уже не повторятся, и что аристократкамъ города Окова уже не придется щегольнуть передъ извозчиками богатствомъ блондъ и кружевъ. Что-жъ, и это результатъ хоть куда! По крайней мѣрѣ извозчики за насъ, бѣдныхъ литераторовъ-обывателей, Богу помолятъ!

Но ежели таковъ результатъ обличеній мелкихъ и случайныхъ, то можно себѣ вообразить, во сколько кратъ онъ былъ бы дѣйствительнѣе, если-бъ эти обличенія повторялись почаще (этакъ черезъ день по ложкѣ), или—что гораздо важнѣе—если-бъ эти обличенія затрогивали самый строй провинціальнаго быта и выводили наружу тѣ немыслимыя ни въ какомъ цивилизованномъ обществѣ противорѣчія, въ которыхъ мы путаемся на каждомъ шагу.

Письмо четвертое.

Въ прошломъ письмѣ было мимоходомъ упомянуто, что исторіографы наши снабжены бѣлыми и острыми зубами, которыми они ловко врѣзываются въ ненавистныхъ имъ субъектовъ. Считаю нелишнимъ подтвердить этотъ фактъ

и даже остановиться на немъ, такъ какъ чрезмѣрное развитіе плотоядныхъ инстинктовъ можетъ наконецъ привести къ совершенному обезлюденію нашихъ провинцій и превратить ихъ въ пустынныя пастбища, на которыхъ будутъ пастись лишь ожирѣвшіе фофаны, стрегомые бдительными исторіографами.

Въ провинціи до сихъ поръ пользуется большимъ авторитетомъ то совершенно неосновательное мнѣніе, въ силу котораго могущество и величіе общества зиждутся исключительно на фофанахъ. Чѣмъ гуще въ извѣстной мѣстности фофанское насажденіе, — говоритъ это диковинное ученіе,—тѣмъ та мѣстность счастливѣе, тѣмъ болѣе представляется залоговъ для обезпеченія будущаго благоденствія страны...

Основанія, изъ которыхъ вышло подобное убѣжденіе, понять довольно трудно; тѣмъ не менѣе можно догадываться, что главную роль тутъ играетъ едва ли не пресловутое фофанское смиренство. Предполагается, что человѣкъ, который вообще не имѣетъ наклонности къ мышленію, не можетъ мыслить худо; что человѣкъ, который ничего не дѣлаетъ, или же съ утра до вечера хлопаетъ себя по ляжкамъ, не можетъ дѣлать худа; что человѣкъ, который аккуратно каждый день напивается пьянъ, спитъ глубже, нежели человѣкъ, который пьянъ не напивается, а слѣдовательно не только противообщественныхъ, но и никакихъ сновъ видѣть не можетъ. Отсюда умозаключаютъ, что жить съ фофанами невпримѣръ удобнѣе, и это заставляетъ многихъ смотрѣть на фофановъ, какъ на какую-то каменную стѣну, подъ защитой которой можно радѣть и ревновать на всей своей волѣ.

Съ другой стороны, если человѣкъ имѣетъ видъ незаспанный и не сопитъ, то весьма естественно, что къ нему нельзя подойти съ тою бойкостью и развязностью, съ какой подходятъ къ мертвому тѣлу. Нельзя поставить его въ уголъ носомъ, чтобъ онъ этого не слыхалъ, нельзя ушибить, чтобъ онъ этого не почувствовалъ, нельзя замазать ротъ скверностью, чтобъ онъ этимъ не стѣснился. То-есть, коли хотите, все это сдѣлать можно, но насъ приводитъ въ негодованіе уже одно то, что вотъ человѣка пришибаютъ, а онъ еще, каналья, стѣсняется!

Но этого мало; не все же ушибать и замазывать рты: иногда необходимость заставляетъ побесѣдовать, посовѣтоваться и вообще поразмыслить. Какъ бы мы ни старались

избѣгать преткновеній, требующихъ работы мозгового вещества, но жизнь съ замѣчательнымъ упорствомъ становитъ ихъ передъ нами и дѣлаетъ умственный трудъ неизбѣжнымъ даже для самаго легкомысленнаго изъ исторіографовъ. Вотъ тутъ-то, среди этихъ преткновеній, собственно и познаётся, что разница между фофаномъ и человѣкомъ несопящимъ существуетъ несомнѣнная и притомъ весьма ощутительная.

Исторіографъ, съ внутренней стороны, очень мало чѣмъ отличается отъ фофана: онъ такъ же невѣжественъ, такъ же мало развитъ, нравственныя его убѣжденія и правила почерпнуты изъ того же классическаго источника, то-есть изъ романовъ Поль-де-Кока. Ихъ взаимное отличіе чисто внѣшнее и заключается единственно въ томъ, что исторіографъ можетъ распорядиться дѣятельно, а фофанъ имѣетъ право распорядиться лишь исполнительно. Слѣдовательно, если исторіографъ обращаетъ свое слово къ фофану, то онъ заранѣе увѣренъ, что слово это будетъ по инстинкту понято и принято безъ возраженій: мало того, онъ увѣренъ даже, что фофану непремѣнно покажется, что у него, исторіографа, вылетаютъ изъ устъ совсѣмъ не тѣ глупыя и пошлыя слова, которыя вылетаютъ на самомъ дѣлѣ, а огненные языки. Совсѣмъ другимъ характеромъ отличается слово, обращенное къ человѣку незаспанному и несопящему. Къ великой досадѣ исторіографовъ, этотъ послѣдній имѣетъ неудобную привычку усвоивать себѣ то, что̀ ему говорятъ, и потому на вѣру ничего понимать не умѣетъ. Такъ, напримѣръ: если ему говорятъ: «mais ça ne se fait pas ainsi!», то онъ, стремясь уяснить себѣ, что̀ именно ne se fait pas ainsi, непремѣнно объ этомъ спроситъ, и когда получитъ объясненіе: «mais c'est impossible!», то, пожалуй, и опять спроситъ.

Надо думать, что это дѣлается само собой, безъ всякаго дурного умысла. Человѣкъ незаспанный не только самъ желаетъ понять, что̀ ему говорятъ, но хочетъ, чтобы и говорящій былъ не совсѣмъ чуждъ этому пониманію. Исторіографъ, объясняющій свои намѣренія и предначертанія— вѣдь это такое любопытное существо, что самое обыкновенное чувство человѣколюбія предписываетъ употребить всѣ мѣры, дабы развить его, по крайней мѣрѣ, въ той степени, чтобы онъ позналъ самого себя. Спрашивается: гдѣ тутъ злокозненность? Согласитесь, читатель, что если мы предложимъ даже самое дурное, если мы посмотримъ на

это дѣло даже съ предупрежденіемъ, то и тутъ зрядъ ли отыщемъ что-нибудь иное, кромѣ неопытности. Мы охотно допускаемъ, что піонеръ, какъ и всякій другой человѣкъ, пускаясь въ опасное плаваніе между подводными камнями, носящими названіе исторіографовъ, обязанъ заранѣе подготовиться къ этому подвигу; что онъ прежде всего долженъ основательно изучить Поль-де-Кока и прочихъ классиковъ, потомъ выслушать курсъ наукъ въ заведеніи минеральныхъ водъ и затѣмъ уже, пришибивъ себѣ слегка голову, явиться въ міръ кормчимъ добрымъ и благонадежнымъ. Если онъ не исполнилъ этого—онъ виноватъ; но именно потому-то, что тутъ есть вина безспорная и несомнѣнная, самая простая справедливость требуетъ, чтобы вопросъ былъ ограниченъ его естественными предѣлами, а не усложнялся обвиненіями въ неблагонамѣренности. Зачѣмъ прибѣгать къ уголовщинѣ, когда преступленіе подходитъ къ категоріи дѣяній, вызывающихъ лишь дисциплинарное взысканіе? Не понимаетъ человѣкъ—надо его вразумить; а если вразумлять некогда—надо напомнить кратко, что пониманіе вредно, и указать, для лучшей видимости, на фофановъ, которые никогда ничего не понимаютъ, но живутъ.

Оказывается однако-жъ, что подобное ограниченіе вопроса не такъ легко, какъ можно было бы ожидать съ перваго взгляда; оказывается, что наивная піонерская пытливость до такой степени сразу огорошиваетъ исторіографа, что всякіе компромиссы дѣлаются невозможными. Его поражаетъ безконечно, что слова его не только не кажутся вылетающими изъ устъ въ видѣ огненныхъ языковъ, но даже принимаются съ нѣкоторою недовѣрчивостью относительно смысла, въ нихъ содержащагося. Ему кажется это предумышленнымъ притворствомъ. Онъ пробуетъ прибѣгнуть къ разъясненіямъ, но каждое новое толкованіе приводитъ за собою новую путаницу, а вмѣстѣ съ тѣмъ и новый поводъ кипятиться и негодовать. Раздраженное воображеніе начинаетъ рисовать разнообразнѣйшія картины, въ которыхъ по одну сторону стоятъ фофаны, все понимающіе и все исполняющіе, а по другую—піонеры, ничего не понимающіе и всему противодѣйствующіе. Разгоряченный непрошенною пытливостью, исторіографъ забываетъ даже свое знаменитое «parlez moi de ça!» и сразу озадачиваетъ своего собесѣдника восклицаніемъ: «а позвольте васъ, милостивый государь, попросить быть осторожнѣе въ

вашихъ выраженіяхъ!» И такимъ образомъ тайна словъ: «mais ça ne se fait pas ainsi!» остается неразъяснимою и нерѣдко даже уносится исторіографомъ въ могилу.

И вотъ начинается странный походъ за непониманіе «parlez moi de ça!». Поднимается генеральная пальба: въ воздухѣ пахнетъ доносомъ: на небѣ собираются тучи, изъ которыхъ, подобно молніямъ, изрыгаются извѣщенія. Внизу стоятъ фофаны, кидаютъ вверхъ шапки и кричатъ: «виватъ!» Близорукъ и легкомысленно самонадѣянъ будетъ тотъ, кто не пойметъ этихъ предзнаменованій и не поспѣшитъ во-время уложить свой багажъ!

Ни клевета, ни ложь, ни даже свой собственный срамъ не остановятъ исторіографа въ борьбѣ съ человѣкомъ, который не умѣетъ понять сразу значенія «mais c'est impossible». Не имѣя иныхъ желаній и помысловъ, кромѣ стремленія безпрепятственно расправлять локти, исторіографъ тѣмъ съ бо́льшею яростью нападаетъ на ненавистнаго ему субъекта, чѣмъ болѣе встрѣчаетъ въ немъ сознанія права и законности, чѣмъ болѣе усматриваетъ въ немъ сомнѣній относительно необходимости и полезности безграничной игры локтями. Законность — это тотъ многоглавый Минотавръ, съ которымъ сей новый Тезей искони ведетъ неустанную борьбу и ведетъ далеко не безуспѣшно...

Конечно, нельзя не сознаться, что въ безпрепятственности отношеній имѣется немалая доля привлекательности, и что этимъ весьма достаточно объясняется ненависть къ тѣмъ людямъ, которые не скоро поворачиваются и не идутъ навстрѣчу ушибаніямъ; но не слѣдуетъ забывать и того, что привлекательность эта чисто личная, и что для дѣла собственно тутъ пользы ни въ какомъ смыслѣ не предвидится. Мы желаемъ расправлять наши локти на всей своей волѣ — нѣтъ ничего пріятнѣе; но подумаемъ однако, не рискуемъ ли мы при этомъ, что намъ, въ конечномъ результатѣ, придется расправлять эти локти въ пустотѣ, что намъ некого будетъ со временемъ даже задѣвать ими?

Взглянемъ ближе на эту странную теорію, въ силу которой благополучіе общества ставится въ зависимость отъ размноженія фофановъ, и мы убѣдимся, что выгода, представляемая покладистостью и смиренствомъ фофановъ, есть та кажущаяся выгода, которая на дѣлѣ сейчасъ же сводится къ нулю. Прежде всего, передъ нами обнаружится совершенная неспособность фофановъ къ какой бы то ни было производительности, исключая унавоживанія

полей; потомъ обнаружится, что, при всей неспособности и непроизводительности, фофаны въ высокой степени прожорливы и не прочь погулять въ златотканныхъ одеждахъ, что̀ обходится странѣ довольно дорого; наконецъ обнаружится, что, несмотря на смиренство и послушливость, ихъ исполнительныя качества не стоятъ ломанаго гроша, ибо, даже въ этомъ смыслѣ, они могутъ только шарахтаться изъ стороны въ сторону, убивать, ушибать, а не исполнять. А потому, если мы захотимъ представить себѣ среду, исключительно составленную изъ фофановъ, съ полнымъ устраненіемъ какихъ бы то ни было живыхъ элементовъ (чего именно и вожделѣютъ столь пламенно нѣкоторые исторіографы), то въ самомъ ближайшемъ будущемъ убѣдимся, что подобная среда не только не изображаетъ пресловутой каменной стѣны, но представляетъ несомнѣннѣйшую пустоту, въ которой одиноко бушуютъ исторіографы.

Позволительно усомниться въ назидательности подобнаго зрѣлища, хотя и нельзя отказать ему въ нѣкоторой грандіозности. Опытъ съ достаточною убѣдительностью доказываетъ, что успѣхъ какой бы то ни было страны находится въ зависимости совсѣмъ не отъ страдательнаго и безсмысленнаго присутствованія въ ея исторіи фофановъ, а отъ дѣятельнаго участія въ ней живыхъ и сознательныхъ силъ. Истина эта стара, какъ міръ, и только одни исторіографы до сихъ поръ остаются ей чуждыми. Какъ ни вредны науки, но совершенно упразднить ихъ нельзя, потому что

Науки юношей питаютъ,
Отраду старцамъ подаютъ...

и слѣдовательно позволяютъ и тѣмъ и другимъ проводить время безъ ущерба для благочинія. Какъ ни неумѣстною кажется сознательность, но безъ нея обойтись невозможно, потому что только то дѣло прочно, которое дѣлается съ сознаніемъ. Летайте, сколько угодно, изъ края въ край, устрашайте, угрожайте, оглушайте, преслѣдуйте систематически всякое поползновеніе на обладаніе мыслью и убѣжденіемъ,—вы не получите въ результатѣ даже того смиренства, котораго такъ страстно добиваетесь, а будете имѣть только мертвенность.

Предположимъ, въ самомъ дѣлѣ, что какой-нибудь остервенившійся исторіографъ второй или третьей руки все совершилъ, что̀ совершить ему надлежало, то-есть: нигилистовъ истребилъ, коммунистовъ разорилъ, демократовъ разгромилъ,

науку упразднилъ, а Поль-де-Кока водворилъ; что онъ, весь потный отъ трудовъ смертнаго боя, почилъ наконецъ на лаврахъ, и лицо его сіяетъ удовлетворенною глупостью. Онъ сидитъ, окруженный своими Пьерами, Анатолями, Жоржами, Симонами и прочими бонвиванами польдекоковскаго закала; сидитъ и ведетъ благодушную бесѣду о томъ, какъ отвратительно жить въ Россіи, какъ развратенъ русскій народъ, и какъ должно быть теперь привольно тамъ, въ Петербургѣ, на минерашкахъ, подъ крылышкомъ у И. И. Излера...

— Je suis solide au poste,
Car j'ai un fier tempérament!

испускаетъ исторіографъ-побѣдитель, подражая несравненной M-lle Lafourcade.

Приносится мадера, являются исторіографскія жены, исторіографскія помпадурши, исторіографскіе прихвостни и прихвостницы и присутствіемъ своимъ усугубляютъ блескъ торжества.

Таковы первые плоды побѣды. Исторіографы счастливы безконечно.

— Je m'en fiche, contrefiche...—

раздается изъ края въ край, съ такимъ мастерствомъ исполненія, что даже становые—и тѣ вдали канканируютъ.

Но не забудемъ, что за первыми плодами всегда слѣдуютъ вторые. Пакостные разговоры имѣютъ ту слабую сторону, что не представляютъ никакого разнообразія, и потому немедленно изсякаютъ. Да и атмосфера въ провинціи какъ-то слишкомъ густа для канкана. Вольно и естественно танцуется этотъ танецъ только на минералкахъ; мы же, провинціалы, слишкомъ тяжелы на подъемъ, слишкомъ стѣснены окружающими сиволапыми мужиками, чтобъ имѣть возможность поднимать ноги до надлежащаго уровня. Такимъ образомъ нежданно-негаданно наступаетъ время для плодовъ иного рода, и плоды эти оказываются уже далеко не столь сочными и пріятными, какъ плоды нумера перваго.

Возникаютъ преткновенія, требующія непремѣнной и безотлагательной работы мозговъ; возбуждаются вопросы, тоже безъ участія мозговъ отнюдь не разрѣшимые; среда сиволапыхъ даетъ себя чувствовать все стѣснительнѣе и стѣснительнѣе. Въ какую сторону ни обернется исторіографъ—вездѣ видитъ препятствіе, вездѣ чуетъ сердцемъ противо-

дѣйствіе. Давно ли, казалось, онъ разорилъ нигилистовъ и истребилъ коммунистовъ, а противодѣйствіе не только не унимается, но угрожаетъ принять невеселые размѣры. Оказывается на повѣрку, что исторіографъ понимаетъ подъ противодѣйствіемъ все то, что имѣетъ ненавистное свойство заставлять его двигать мозгами.

Что дѣлать? какъ поступить?—мечется онъ отъ Симона къ Пьеру, отъ Анатоля къ Жоржу.

Увы! Симонъ только сосетъ палецъ въ отвѣтъ. Пьеръ молчитъ, потому что продолжаетъ страдать собачьею старостью: Анатоль хотя и стоитъ la loi à la main, но и въ этомъ трогательномъ положеніи усматриваетъ только фигу; что касается до Жоржа, то онъ, какъ малый скоропалительный, предлагаетъ перепороть всѣхъ до единаго, не взирая даже на особъ.

— Mais ce n'est pas pratique, mon cher, ce que vous proposez là!—восклицаетъ въ отчаяніи исторіографъ-побѣдитель и, съ угрызеніемъ впервые проснувшейся совѣсти, вспоминаетъ о разоренныхъ имъ коммунистахъ, которые въ данномъ случаѣ все-таки могли бы подать полезный совѣтъ и, пожалуй, даже оградить его отъ ожидаемыхъ въ будущемъ головомоекъ.

— Господи! да вѣдь это дураки!—въ первый разъ въ жизни дѣлаетъ онъ остроумное и притомъ несомнѣнно правдивое опредѣленіе окружающихъ его бонвивановъ.

Въ первый разъ онъ раскаивается; въ первый разъ онъ чувствуетъ, какъ несостоятельна и даже опасна теорія безпрепятственной игры локтями.

Читатель! не радуйся слишкомъ скоро этому вынужденному обращенію исторіографа къ чувствамъ болѣе или менѣе человѣческимъ, помни твердо, что онъ самъ малый со взломомъ, что для него самого всякое явленіе, заставляющее шевелить мозгами, есть явленіе противное, которое во что бы то ни стало слѣдуетъ исторгнуть вонъ съ корнемъ.

А такъ какъ явленій этихъ много, и дѣло вырыванія корней—дѣло не легкое, то исторіографъ, не находя ни въ себѣ, ни въ своихъ сотрапезникахъ никакихъ мало-мальски практическихъ указаній, дѣлается на время угрюмъ и задумчивъ. Онъ ищетъ глазами, не найдется ли гдѣ какого-нибудь завалящаго піонера, котораго онъ позабылъ второпяхъ разорить; но оказывается, что таковыхъ не обрѣтается. Вездѣ тишь да гладь да Божья благодать, вездѣ

усмтвенная нищета и изнурительное нравственное убожество: вездѣ погромъ, вездѣ безсиліе... Вдали пасутся откормленные фофаны, стрегомые сосущимъ палецъ Симономъ и подстегиваемые, для порядка, скоропалительнымъ Жоржемъ.

— Чѣмъ-то сегодня насъ будутъ кормить: бардой или жмыхами?—лѣниво урчатъ фофаны.

Сердце исторіографа сжимается.

— Хоть бы молчали, подлецы!—ворчитъ онъ, досадливо закусывая усы.

И вотъ онъ прибѣгаетъ къ средству самому простому и вмѣстѣ съ тѣмъ очень рѣшительному. Не находя возможности овладѣть жизнью съ помощью собственныхъ средствъ, онъ воздвигаетъ укрѣпленія за укрѣпленіями, окопы за окопами, и уводитъ туда за собой своихъ сотрапезниковъ. «Ужъ тамъ-то,—думаетъ онъ:—не найдетъ меня никто, и я могу свободно показывать носъ всевозможнымъ вопросамъ!»

Не думайте однако-жъ, чтобъ это были укрѣпленія настоящія, выстроенныя изъ гранита, кирпича и т. п. Нѣтъ, это укрѣпленія бросовыя, наскоро слѣпленныя изъ такихъ же бросовыхъ и давно повсюду признанныхъ негодными матеріаловъ. Тутъ есть и насиліе, и самоуправство, и безотвѣтственность поступковъ, и безцеремонное отношеніе къ человѣческой личности. И весь этотъ хламъ, весь этотъ бракъ кое-какъ слѣплены собственными слюнями исторіографовъ.

Оградивши себя и присныхъ своихъ этими нелѣпыми твердынями, исторіографъ мнитъ, что безсрочно окопался отъ всевозможныхъ запросовъ, и что въ крайнемъ случаѣ онъ будетъ имѣть возможность сокрушить безпокойныхъ и противляющихся посредствомъ пальбы.

И дѣйствительно, первое время въ этомъ укрѣпленномъ лагерѣ живется отлично. Поощренный кажущеюся безопасностью, исторіографъ не только не остепеняется, но съ каждымъ днемъ все больше и больше предается пагубнымъ страстямъ. Мало-по-малу онъ упрощаетъ свои пріемы до того, что только фыркаетъ, брыкается и ржетъ.

Все это хорошо: все это такъ, какъ и быть надлежитъ, но, говоря откровенно, какъ-то плохо вѣрится въ силу возводимыхъ исторіографами укрѣпленій. Вообще мы, русскіе, никогда не отличались особенною смѣтливостью по части сооруженія твердынь. Оттого ли, что наши инженеры недостаточно сообразительны, или отъ иной какой-либо причины, но какъ-то всегда оказывается: или что укрѣпленія

выстраиваются совсѣмъ не тамъ, гдѣ слѣдуетъ, или же что подъ видомъ укрѣпленій воздвигаются дрянные карточные домики. А потому, когда намъ приходится палить, то мы либо палимъ по своимъ, либо убѣждаемся, что безъ пороху палить невозможно. Было время (ужъ памятно же оно намъ!—да и гдѣ наконецъ тѣ времена, которыя были бы намъ не памятны!), когда мы укрѣплялись и окапывались съ особеннымъ рвеніемъ, когда мы думали даже, что вотъ-вотъ окопаемся отъ цѣлаго міра—и что̀ же?—въ ту самую минуту, когда мы мечтали, что дѣло окапыванія наконецъ завершилось, когда мы уже простирали руки, чтобы плотно-на̀-плотно закупорить себя какъ въ бутылкѣ... въ эту самую минуту оказалось, что инженеры наши по всей линіи сплоховали!

Это было зрѣлище потрясающее и въ то же время вполнѣ поучительное. Сколько рухнуло разомъ надеждъ, сколько вырвалось криковъ изумленія! Мы до сихъ поръ не можемъ забыть изумленія одного учителя географіи, который до того понадѣялся на прочность твердынь, что даже въ учебникѣ своемъ написалъ: «Россія есть бутылка, со всѣхъ сторонъ осмотрительно и благонадежно закупоренная» — и вдругъ долженъ былъ сознаться, во-первыхъ, что Россія совсѣмъ не бутылка, и, во-вторыхъ, что она закупорена очень неплотно, хотя денегъ на укупорку пошло съ три пропасти. Припоминается намъ много и другихъ изумленій, отчаяній и воплей, раздавшихся по поводу незакупоренности нашего отечества, и, сознаёмся откровенно, съ тѣхъ поръ нами овладѣло сомнѣніе.

Вотъ, думаемъ мы, уничтожены шлагбаумы — и сердце Россіи не дрогнуло; упразднилось крѣпостное право—и помѣщики возвеселились сугубо; сданъ въ архивъ откупъ—и кабаки пріумножились; наложена печать молчанія на суды земскіе, на суды уѣздные—и злодѣи не только не восторжествовали, но вострепетали пуще прежняго! А вѣдь какія были твердыни, и какого переполоха надлежало ожидать отъ ихъ паденія! И ничего! не только ничего, а какъ будто бы этихъ твердынь совсѣмъ и не бывало! Фактъ этотъ до такой степени поразителенъ, что мы полагаемъ, что если будетъ признано нелишнимъ упразднить казенныя палаты и особыя о земскихъ повинностяхъ присутствія, то и тогда не послѣдуетъ ни потопа, ни труса, то и этой невзгодѣ Россія подчинится съ благоразуміемъ и готовностью, достойными похвалы.

Сверхъ того, исторія всѣхъ временъ и народовъ доказываетъ довольно убѣдительно, что обиліе укрѣпленій всегда порождаетъ извѣстную долю подозрительности, и именно въ тѣ самыя минуты, когда подозрительность всего менѣе желательна. Теченіе жизни самое скромное можетъ наконецъ замѣтить, что противъ него умышляется что-то недоброе, и замѣтитъ это тѣмъ скорѣе, чѣмъ чаще напоминаютъ о томъ фальшивыми тревогами и искусственными страхами. Въ ту самую минуту, когда мы всего менѣе о томъ думаемъ, вдругъ съ поразительною ясностью выдвигается впередъ вопросъ: «за что-жъ ты дерешься?» и, постепенно овладѣвая помыслами обывателя, становится въ упоръ всѣмъ насущнымъ потребностямъ дня. И вотъ обыватель становится назойливъ и отчасти нахаленъ; хотя онъ еще не протестуетъ противъ оплеухъ, но уже хочетъ уяснить себѣ это явленіе, хочетъ дойти до сознанія, въ какихъ случаяхъ плюха съ обстоятельствами дѣла согласна и въ какихъ— нѣтъ. Казалось бы, что тутъ-то именно и ждать отъ твердынь всякой благодати, что вотъ тутъ-то онѣ и дадутъ отпоръ непрошенной обывательской любознательности, а выходитъ совсѣмъ напротивъ: выходитъ, что въ этихъ-то случаяхъ и проявляется во всемъ блескѣ сугубая ихъ несостоятельность.

Во-первыхъ, вопросъ: «за что̀ ты дерешься?» принадлежитъ къ тѣмъ изумительно яснымъ вопросамъ, которые въ самое короткое время пріобрѣтаютъ неимовѣрное количество прозелитовъ. Во-вторыхъ, не слѣдуетъ упускать изъ вида, что въ подобныхъ обстоятельствахъ всегда немаловажную роль играетъ измѣна. Она незамѣтно проползаетъ въ самое сердце твердынь и ядомъ своимъ растлѣваетъ сердце самихъ палителей. Всѣ эти Жоржи, Пьеры, Анатоли и сосущіе палецъ Симоны оказываются далеко не столь благонадежными и твердыми въ вѣрѣ, какъ это предполагается. Какъ ни запирайте ихъ на замо̀къ, какъ ни ограждайте отъ соблазна, соблазнъ настигнетъ ихъ неизбѣжно. И вотъ возникаетъ свара и галдѣніе въ самомъ святилищѣ бонвивановъ; зарождается и растетъ мысль о предательствѣ; число дезертировъ съ каждымъ днемъ увеличивается; костюмъ ренегата становится très élégant et très porté... Въ одно прекрасное утро бонвиваны, подъ предводительствомъ Жоржа, съ распущенными знаменами и подъ звуки пѣсни:

A Provins, trou-la-la-la!

выходятъ изъ укрѣпленнаго лагеря, и вслѣдъ за тѣмъ пресловутыя твердыни мгновенно покрываются паутиной и зарастаютъ репейникомъ.

Тѣмъ не менѣе, въ отношеніи къ нашимъ исторіографамъ, доводы самые убѣдительные оказываются безполезными, потому что они влекутся къ укрѣпленіямъ даже не по своей волѣ, а фаталистически.

Поговорите съ любымъ изъ губернскихъ исторіографовъ— что̀ вы услышите отъ него?—вы услышите жалобы на то, что его положеніе недостаточно твердо: вы услышите назойливыя домогательства объ укрѣпленіи этого положенія; вы услышите нахальныя угрозы, что вселенная разрушится, если въ самомъ непродолжительномъ времени не будутъ приняты дѣйствительныя и энергическія по сему предмету мѣры. Въ виду этихъ суровыхъ сѣтованій и предсказаній, вы вглядываетесь и прислушиваетесь кругомъ и, къ удивленію, не видите ни одного движенія, не слышите ни одного звука, которые хотя въ самомалѣйшей степени давали бы поводъ для столь трагическихъ опасеній. Вы обращаете ваши взоры на исторіографа—и видите, что у него, сверхъ того, виситъ цѣлый колчанъ стрѣлъ за спиною, и руки вооружены увѣсистыми булыжниками. Стало-быть, есть чѣмъ и отпоръ дать. «Господи! да рожна, что ли, ему надобно?»— невольно спрашиваете вы себя.

Не удивляйтесь этому тоскливому голошенію: мы, коренные обитатели губернскихъ палестинъ, можемъ разъяснить вамъ это явленіе очень просто. Все дѣло въ томъ, что насъ, провинціальныхъ исторіографовъ, съ одной стороны удручаетъ весьма замѣчательная умственная неразвитость, а съ другой стороны не менѣе притѣсняетъ изнуренное преждевременнымъ чтеніемъ Поль-де-Кока воображеніе.

По Поль-де-Коку, жизнь человѣческая представляется въ видѣ цвѣтущей долины, и теченіе ея обусловливается самыми несложными мотивами. Обыкновенно какой-нибудь Альфредъ, ремесломъ, по-французски, бонвиванъ, а по-русски—шалопай, шатается по бѣлу свѣту, не держа въ головѣ никакой другой мысли, кромѣ мысли о повсемѣстномъ распространеніи ученія о бездѣлицѣ. И вотъ ему сначала встрѣчается Армансъ, потомъ встрѣчается Бланшъ, потомъ Жюстинъ и множество другихъ ревностныхъ послѣдовательницъ этого ученія. Онъ смакуетъ, порхаетъ съ цвѣтка на цвѣтокъ и съ каждой поочередно разыгрываетъ водевиль

на тему: dansons, buvons... et chantons! Наконецъ, однако, онъ пропивается до тла и къ довершенію всего занемогаетъ истощеніемъ силъ. Очевидно, ему надлежитъ пропасть; но Поль-де-Кокъ слишкомъ добродушенъ, чтобы допустить столь справедливую, но печальную развязку. И дѣйствительно, въ самую отчаянную минуту у изголовья Альфреда является хорошенькій мальчикъ, который своимъ старательнымъ уходомъ оказываетъ благотворное вліяніе на возобновленіе истощенныхъ силъ шалопая. Послѣ довольно продолжительнаго любовнаго бездѣйствія, Альфредъ приходитъ въ себя, прикасается дрожащими руками къ хорошенькому мальчику и тутъ же начинаетъ чувствовать, какъ возвращаются къ нему способности селезня. Оказывается, что хорошенькій мальчикъ совсѣмъ не мальчикъ, а скромная, но грѣшная дѣвица Клемансъ, которая давно любила Альфреда и съ тайною грустью слѣдила за его истощающими здоровье похожденіями.

Вотъ и все. Незамысловато, но зато общедоступно и успокоительно въ томъ отношеніи, что указываетъ въ перспективѣ легкую поправку распутства, въ лицѣ дѣвицы Клемансъ. Легко себѣ представить, какъ дѣйствуетъ такое чтеніе на человѣка, который былъ основательно подготовленъ къ нему домашнимъ подобнаго же рода воспитаніемъ. Во-первыхъ, онъ получаетъ убѣжденіе, что жизнь есть не что иное, какъ торжество бездѣлицы; во-вторыхъ, онъ проникается мыслью, что для Альфредовъ ни въ чемъ не можетъ быть ни препонъ, ни отказа; въ-третьихъ, онъ пріобрѣтаетъ непреодолимое влеченіе къ легкому труду; въ-четвертыхъ, онъ окончательно растлѣваетъ и тотъ небольшой обрывокъ умственныхъ силъ, который составлялъ все наличное духовное богатство его. Вообразите же себѣ этого человѣка при первомъ столкновеніи съ дѣйствительною, а не шутовскою жизнью! Вообразите себѣ его въ ту минуту, когда въ головѣ его впервые зарождается подозрѣніе, что міръ населенъ не Клемансами и Жюстинами, а чѣмъ-то инымъ? Какъ долженъ онъ отнестись къ указаніямъ, требованіямъ и противорѣчіямъ жизни?

Очевидно, что сначала онъ отнесется къ этимъ невзгодамъ довольно легко. Онъ, подобно бабочкѣ, будетъ перелетать съ одного цвѣтка на другой, подобно наемной блудницѣ, будетъ расточать всякому встрѣчному поцѣлуи. Но вотъ наступаетъ періодъ истощенія: всѣ цвѣты перепробованы, всѣ поцѣлуи расцѣлованы, а невзгоды не унимаются,

шероховатости нимало не сглаживаются. «Клемансъ! гдѣ ты?»—восклицаетъ онъ въ изнуреніи; но—увы!—Клемансъ не является на выручку, потому что она солгана классиками, въ дѣйствительности же ея нѣтъ и не бывало...

Увы! какъ бы хозяйственно ни устроились исторіографы въ своемъ укрѣпленномъ лагерѣ, положеніе ихъ не сдѣлается отъ этого ни менѣе уединеннымъ, ни менѣе безпомощнымъ. Человѣческая природа слишкомъ сложна, чтобы въ продолженіе неопредѣленнаго времени довольствоваться одною и тою же гнилою пищею. Какъ ни сладки трактаты о прелестяхъ бонвиванства, но съ теченіемъ времени они пріѣдаются даже такимъ необширнымъ умамъ, каковы умы исторіографовъ. Тутъ, кромѣ неизмѣнности содержанія бесѣды, есть еще неизмѣнность пріемовъ и замашекъ, которыми сопровождается бесѣда. Заранѣе извѣстно, какой жестъ сдѣлаетъ Nicolas, какъ прищуритъ глаза Пьеръ, какъ облизнется Simon. Это становится подъ конецъ до того отвратительнымъ и невыносимымъ, что потребность освѣжить содержаніе жизни становится вопросомъ дня. Предлагаются различные проекты для улучшенія исторіографскаго быта, стуколка замѣняется игрою въ rouge ou noir; но такъ какъ мозги шевелятся лѣниво, то изобрѣтательная способность оказывается ничтожною. Начинается скука, за скукой сплетни, наушничество, шпіонство; исторіографы зѣваютъ, раскалываются и взаимно другъ друга поѣдаютъ.

Таковы конечные результаты торжества исторіографовъ въ провинціи.

Но все это только личная комедія; могутъ спросить, какъ отзывается она на дѣлѣ? На этотъ вопросъ можно отвѣтить такъ: въ настоящее время въ провинціи никто ничего не дѣлаетъ. Піонеры дѣлаютъ мало потому, во-первыхъ, что орудія дѣйствія находятся внѣ ихъ вліянія, а, во-вторыхъ, потому, что дѣятельность ихъ почему-то постигается параличомъ. Исторіографы совсѣмъ не дѣлаютъ ничего, потому что ихъ назначеніе канканировать и мѣшать дѣлать другимъ. Какимъ же образомъ идетъ какое бы то ни было дѣло? На это одинъ отвѣтъ: Провидѣніе...

Петербургская журналистика нерѣдко въ довольно рѣзкихъ формахъ осуждала убѣжденія такъ-называемыхъ «постепеновцевъ» (къ нимъ всего ближе подходятъ тѣ люди, которыхъ мы разумѣемъ подъ именемъ піонеровъ). Не будемъ входить здѣсь въ разсмотрѣніе сущности этихъ убѣжденій; скажемъ одно: люди этихъ убѣжденій—тѣ самые,

противъ которыхъ въ настоящее время направлены самыя ядовитыя стрѣлы исторіографовъ. Лицо исторіографа немедленно покрывается пурпуромъ при одномъ видѣ постепеновца, и покрывается не безъ основанія, ибо въ постепеновцѣ онъ видитъ человѣка, которому самою судьбою предназначено отнять у него лакомые куски. Насколько основательно это послѣднее предположеніе—мы сказать не можемъ, но знаемъ, что въ немъ заключается весь смыслъ распри. Не та или другая сущность дѣла, не то или другое направленіе его, а именно лакомые куски составляютъ все содержаніе исторіографскихъ наѣздовъ съ ихъ темною свитой вольныхъ доносовъ и извѣщеній. Не жалкое ли это зрѣлище? не жалкіе ли нравы?

Письмо пятое.

Изъ всего, изложеннаго въ предыдущихъ письмахъ, достаточно явствуетъ, что въ провинціи существуетъ немало препятствій, которыя въ значительной степени затрудняютъ правильное развитіе скромныхъ зачатковъ, положенныхъ въ основу русской жизни въ теченіе послѣдняго десятилѣтія. Препятствія эти, по нашему мнѣнію, заключаются, во-первыхъ, въ трудно объяснимомъ, но тѣмъ не менѣе весьма явственно ощущаемомъ недоброжелательствѣ къ этимъ зачаткамъ со стороны тѣхъ самыхъ лицъ, которыя, по всѣмъ видимостямъ, должны быть наиболѣе заинтересованы въ ихъ успѣхѣ; во-вторыхъ, въ исконномъ и неисправимомъ свойствѣ нашихъ бюрократовъ всякое общее дѣло связывать съ своими личными интересами и повсюду усматривать посягательство на ихъ власть; и, въ-третьихъ, въ крайнемъ невѣжествѣ губернскихъ исторіографовъ, которое фаталистически обрекаетъ ихъ на праздность и заставляетъ прибѣгать къ пререканіямъ и суесловію, какъ къ единственной формѣ, дающей ихъ полусознательнымъ движеніямъ какой-то видъ дѣятельности.

Но, само собою разумѣется, всѣ эти препятствія никакъ не могли бы имѣть той рѣшительной силы, какую они въ дѣйствительности имѣютъ, если бы рядомъ съ ними не существовало нѣчто другое, имѣющее корень въ самомъ складѣ губернской жизни и наносящее ея успѣхамъ ущербъ несравненно болѣе значительный, нежели нелѣпое самопожираніе обозлившихся бюрократовъ второй степени.

По неисповѣдимой волѣ судебъ, у насъ какъ-то всегда такъ случается, что никакое порядочное намѣреніе, никакая здоровая мысль не могутъ удержаться долгое время на первоначальной своей высотѣ. Намѣреніе находится еще въ зародышѣ, какъ уже къ нему со всѣхъ сторонъ устремляются разныя неполезныя примѣси и безцеремонно заявляютъ претензію на пользованіе предполагаемыми плодами его. Не успѣли вы порядкомъ оглядѣться въ новомъ порядкѣ, какъ уже замѣчаете, что въ немъ нѣчто помутилось. Вглядитесь пристальнѣе, и вы убѣдитесь, что тутъ суетится и хлопочетъ цѣлый легіонъ разнообразнѣйшихъ чужеядныхъ элементовъ.

Съ этими чужеядными элементами происходитъ довольно странная исторія. Такъ какъ существованіе ихъ лишено всякой самостоятельности и находится въ тѣсной зависимости отъ болѣе или менѣе удовлетворительнаго состоянія тѣхъ предметовъ, которые доставляютъ имъ питаніе, то казалось бы, что самый простой здравый смыслъ требуетъ, чтобы отношенія паразитовъ къ этимъ предметамъ были основаны на строгой разсчетливости, и чтобы въ дѣлѣ сосанія чужихъ соковъ была, по крайней мѣрѣ, соблюдаема извѣстная деликатность и экономія. На практикѣ однако-жъ всегда случается совершенно противное. Паразитъ непредусмотрителенъ и ограниченъ по преданію; ему не жаль расходовать *чужіе* соки, потому что онъ не понимаетъ, что это вмѣстѣ съ тѣмъ и *его* соки. Онъ наѣдается всегда досыта, т. е. до тѣхъ поръ, пока вмѣстить можетъ, потому что мысль о завтрашнемъ днѣ слишкомъ отвлеченна, чтобы умѣститься въ его головѣ. Поэтому, если въ жизнь закрадываются чужеядные элементы, то зрѣлище, которое на первыхъ порахъ являетъ ихъ плотоядность, бываетъ поистинѣ изумительно. Запримѣтивъ въ какомъ бы то ни было общемъ дѣлѣ извѣстнаго рода мякоть, они нападаютъ на нее съ безразсудною прожорливостью саранчи, высасываютъ ее до тла, не сознавая и не предусматривая, что своимъ невоздержаніемъ они не только отнимаютъ у общаго дѣла самые нужные соки (это-то, пожалуй, было бы имъ на руку!), но въ то же время нимало не устраиваютъ и своихъ личныхъ маленькихъ дѣлъ.

Чужеядство—это вреднѣйшее наслѣдіе нашего прошлаго. Нельзя сказать, чтобы этотъ элементъ когда бы то ни было заявилъ міру о своей устойчивости, и чтобы вообще прошлое оправдывало необычайную живучесть его; напротивъ

того, онъ постоянно показывалъ себя до того разсыпчатымъ, рыхлымъ и неразсудительно-жаднымъ, что даже не сумѣлъ выработать самаго простого понятія, безъ котораго не можетъ существовать ничто сколько-нибудь претендующее на живучесть,—понятія о дисциплинѣ. Но есть у него своего рода драгоцѣнное качество, замѣняющее и устойчивость, и дисциплину—это способность примелькаться, — и вотъ, благодаря этой простой и чисто страдательной способности, чужеядство сдѣлалось въ нашихъ глазахъ какъ будто даже не чужеядствомъ, а очень обыкновенной профессіей, которая не только не оскорбляетъ нашего нравственнаго чувства, но съ которой, напротивъ того, мы находимъ не лишнимъ, при всякомъ удобномъ случаѣ, считаться.

Съ одной стороны—способность примелькиваться, съ другой—способность ко всему привыкать, со всѣмъ сживаться — и вотъ въ итогѣ оказываются чудеса! Нельзя себѣ представить, какихъ неожиданныхъ результатовъ достигало иногда чужеядство при помощи одной мелькательной способности. Взору представлялась какая-то безпутная масса, въ которой незамѣтно было ни дѣйствительнаго порядка, ни обдуманной дисциплины, но которая была сильна единственно своими инстинктами. Проникнуть въ эту массу, застать ее на мѣстѣ преступленія, уличить въ чемъ бы то ни было—не представлялось рѣшительно никакой возможности, потому что она съ неимовѣрной быстротой засасывала всякую штуку и тутъ же безслѣдно хоронила концы въ воду. Виноватыхъ не находилось, не потому, чтобы ихъ не существовало въ натурѣ и чтобы въ толпѣ чувствовалось оскудѣніе въ предателяхъ, а потому просто, что въ самомъ воздухѣ была разлита какая-то таинственная симпатія къ чужеядству и ко всему, что изъ него проистекать могло. Припомнимъ, какою безплодностью всегда отличались самые грозные походы противъ многообразныхъ злоупотребленій, удручавшихъ русскую жизнь. При первомъ взглядѣ на паразитовъ казалось: вотъ бросовые, ничтожные люди, которыхъ ничего не значитъ смять какъ угодно!—а на повѣрку выходило, что эти люди далеко не бросовые, но сильные своимъ аппетитомъ, съ которымъ тѣмъ болѣе надлежало считаться, что онъ замѣнялъ имъ и убѣжденія, и чувство гражданственности, и даже инстинкты касты!

Въ это недавнее время не рѣдкость было встрѣтить цѣ-

лыя губерніи, въ которыхъ до такой степени буйствовала сила желудочныхъ страстей, что нельзя было повернуться, чтобы не встрѣтиться лицомъ къ лицу съ разверстымъ зѣвомъ и щелкающими челюстями. Это были какія-то укрѣпленныя преисподнія, въ которыхъ безъ вѣсти пропадалъ всякій человѣкъ, не обладающій твердыми желудочными убѣжденіями, въ которыхъ буквально совершались злодѣйства, не встрѣчая не только отпора, но даже робкаго протеста. Посылались туда всевозможные ревизоры и соглядатаи, иногда даже съ заранѣе принятымъ намѣреніемъ во что̀ бы то ни стало истребить, уничтожить, не оставить камня на камнѣ, но результатовъ никогда никакихъ не получалось. Все не чуждое дару слова — отъ рожденія было заражено чужеядствомъ; все, имѣющее силу и власть, поголовно и одинаково плутовало, лгало и подкупало. Всѣ члены этой плотоядной массы задыхались подъ игомъ взаимной солидарности, въ основаніи которой лежало не сознаніе, а простой животный инстинктъ. Ревизоры пріѣзжали — и сразу упирались въ стѣну, въ которую какъ ни стучи — ни до какого отвѣта не достучишься...

Существовали особыя профессіи звѣрства, и въ каждой изъ нихъ допускалась бо̀льшая или мѐньшая степень мастерства, въ каждой были свои виртуозы. Кто можетъ повѣрить, чтобы были виртуозы по части устраиванія внезапныхъ смертей? виртуозы по части подкидыванія мертвыхъ тѣлъ? виртуозы по части выдумыванія небывалыхъ преступленій?—а между тѣмъ они существовали достовѣрно; они пользовались въ обществѣ почетомъ и преимущественно передъ другими избирались членами и старшинами клубовъ. Кто повѣритъ, напримѣръ, чтобы въ губерніи могъ занимать видное мѣсто и виртуозничать человѣкъ, значащійся по всѣмъ документамъ умершимъ?—а между тѣмъ этотъ фактъ у всѣхъ на памяти, да и не одиночный какой-нибудь фактъ, но повторяющійся въ преданіяхъ очень многихъ мѣстностей, съ самыми незначительными варіантами. Кто повѣритъ, чтобы могли существовать такіе общественные кружки, въ которыхъ похвальбы воровствомъ и казнокрадствомъ служили бы единственнымъ содержаніемъ безконечныхъ и никогда не надоѣдающихъ бесѣдъ, а между тѣмъ мы всѣ, люди того времени, были свидѣтелями, съ какою безцеремонностью и съ какимъ безсознательнымъ безстыдствомъ велись эти растлѣнные разговоры.

— Когда я былъ командиромъ...—начиналъ одинъ.

— Когда я былъ исправникомъ...—продолжалъ другой.

— Когда я былъ судьей...—перебивалъ третій.

И всякій, наперерывъ, спѣшилъ перещеголять своего сосѣда какою-нибудь матёрою мерзостью, всякій усиливался неопровержимыми фактами доказать, что не кто другой, а именно онъ и есть тотъ самый злодѣй и негодяй, которому мало мѣста на каторгѣ!

Казалось бы, что, въ виду такого рода громкихъ и яркихъ фактовъ, раскрытіе ихъ не должно было представлять особенныхъ затрудненій, но на практикѣ выходило совершенно наоборотъ. Во-первыхъ, изслѣдованіе всегда встрѣчалось въ этомъ случаѣ съ тою солидарностью, о которой говорено выше и сквозь которую тѣмъ труднѣе было пробиться, чѣмъ большею она обладала безсознательностью. Во-вторыхъ, существовало и еще одно обстоятельство, о которомъ нелишне будетъ сказать здѣсь нѣсколько словъ.

Дѣло въ томъ, что, на случай излишней любознательности со стороны, у нашихъ губернскихъ виртуозовъ всегда хранились про запасъ извѣстные фортели, которые хотя и не блистали замысловатостью, но тѣмъ не менѣе достигали цѣли почти безъ промаха. Мы и теперь еще можемъ встрѣтить чуть ли не въ каждой губерніи не очень-то древнихъ старожиловъ, которые не прочь поразсказать намъ множество сам хъ характеристическихъ анекдотовъ по этой части. Главными и самыми простыми фортелями противъ излишней любознательности были: наивность, невѣдѣніе и забвеніе.

— А подайте-ка сюда дѣло объ обманномъ сведеніи отставнымъ майоромъ Негодяевымъ рощи, принадлежащей заштатному богословскому монастырю!—взывалъ ревизоръ къ оторопѣвшему канцелярскому стаду, прибавляя мысленно:—ну, теперь-то вы ужъ не отвертитесь отъ меня, крысы прожорливыя!

Но крысы таинственно переглядывались между собой и наивно недоумѣвали.

— Дѣло... о сведеніи... рощи?..—произносила съ разстановкою какая-нибудь изъ крысъ побойчѣе.

— Ну, да: дѣло объ обманномъ сведеніи майоромъ Негодяевымъ рощи, принадлежащей заштатному богословскому монастырю!—внятно повторялъ ревизоръ.

— Дѣло...—опять шепчетъ крыса, какъ будто припоминая. Вся физіономія, весь организмъ этой крысы дышитъ

такимъ наивнымъ удивленіемъ, какъ будто она сейчасъ только на свѣтъ Божій произошла, ничего не знаетъ и даже никакихъ прирожденныхъ идей о «такомъ обманномъ отставного майора Негодяева поступкѣ» не имѣетъ.

— Это точно-съ... такое дѣло было-съ!—выручаетъ другая канцелярская крыса:—только оно бывшимъ копистомъ Подгоняйчиковымъ неизвѣстно куда утрачено-съ!

Ревизоръ багровѣлъ, но сдерживался.

— А сдѣлано ли распоряженіе о возобновленіи дѣла?—спрашивалъ онъ.

— Какъ же-съ!—бойко отвѣчала крыса:—надъ самымъ этимъ Подгоняйчиковымъ и слѣдствіе въ то же время наряжено-съ... объ утратѣ, то-есть...

— Ну?

— Только самый этотъ Подгоняйчиковъ вскорѣ послѣ того волею Божіей помре...

Ревизоръ багровѣлъ пуще прежняго; слышалось легкое скрипѣніе зубами.

— Ну, а подайте мнѣ дѣло о расхищеніи тѣмъ же майоромъ Негодяевымъ принадлежащихъ приказу общественнаго призрѣнія суммъ!—вопіялъ онъ.

Опять шопотъ, опять недоумѣніе. Вполголоса раздаются восклицанія: «да кого же?»—«што врать-то? нѣшто не помнишь?»—«да вотъ еще Михалъ Михалычъ спрашивалъ!»—«Михалъ Михалычъ справку брали!» и проч., и проч.

— Скоро ли?—топалъ въ нетерпѣніи ревизоръ.

— Такое дѣло точно было-съ, только оно въ бывый пожаръ вмѣстѣ съ прочими сгорѣло! -отвѣчала одна изъ крысъ.

И такимъ образомъ подвигалась впередъ вся ревизія. Одно дѣло сгорѣло, другое пропало, третьяго, какъ ни бились, не нашли, четвертое продано въ кабакъ въ качествѣ оберточной бумаги. И если-бъ еще не было сдѣлано никакихъ по сему предмету распоряженій! о, если-бъ не было! но нѣтъ, всѣ распоряженія сдѣланы: о пропажѣ въ ту же минуту назначено слѣдствіе, а о возобновленіи дѣла со всѣми концами Россіи производится переписка.

— Странно! — скрипитъ ревизоръ зубами: — какія же у васъ дѣла есть?

— А вотъ-съ: дѣло о бунтѣ Тришки мордвина противъ предержащихъ властей; дѣло объ оскорбленіи Васькой чувашениномъ словомъ и дѣйствіемъ капитанъ-исправника; дѣло о пограбленіи черемисиномъ Алешкою съ товарищи мѣдной гривны... ведутся неупустительно-съ!

Ревизоръ углублялся, разсматривалъ продерзостныя дѣйствія Алешекъ и Васекъ и убѣждался, что дѣйствія эти преслѣдуются вполнѣ неупустительно, что обложки у дѣлъ чистыя и нерваныя, и описи при дѣлахъ исправныя. А зловредный оный майоръ Негодяевъ, который обманнымъ образомъ въ одну ночь увезъ на подводахъ цѣлую рощу, принадлежащую заштатному богословскому монастырю, и нѣсколько лѣтъ сряду потихоньку воровалъ казенныя деньги, такъ-таки и выскользалъ изъ-подъ ревизорскаго скальпеля!

Но этого мало: устраивались цѣлые пожары на случай ревизорской любознательности, и этотъ фактъ былъ однимъ изъ самыхъ оригинальныхъ, хотя и довольно обыденныхъ проявленій нашего чужеядства. У всѣхъ на памяти и всѣмъ вѣдомо, какъ сожигались цѣлые корпуса присутственныхъ мѣстъ и приносились въ жертву чужеядной мамонѣ необозримые вороха дѣлъ и бумагъ—и никто ни о чемъ не смѣлъ проронить слова! Когда же наѣзжалъ ревизоръ, то все было гладко и чисто, какъ на ладони. Мало и этого: устранялись даже люди, у которыхъ языкъ говорливъ не въ мѣру. То «угоритъ» въ тюрьмѣ партійка арестантовъ, въ которой не ко времени завелись такъ-называемые «похвальбишки», то невзначай помнутъ бока такъ-называемому «безпокойному», да такъ помнутъ, что онъ долго послѣ того и другу и недругу заказываетъ: «съ сильнымъ не борись!» и вотъ — какъ ни вертится ревизоръ, но нигдѣ ничего не усматриваетъ, кромѣ неукоснительнаго веденія дѣлъ объ Алешкахъ-грабителяхъ и Васькахъ-оскорбителяхъ.

Таково-то было это канцелярско-обывательское чужеядство, съ которымъ мы до сихъ поръ ни подъ какимъ видомъ разминуться не можемъ.

— И, батюшка!—не въ рѣдкость слышать и нынче отъ обывателей-старожиловъ:—и языка-то, кажется, недостанетъ, если поразсказать, что̀ въ прежніе годы бывало! Этотъ самый Негодяевъ-майоръ соберетъ, бывало, съ деревни всѣхъ дѣвокъ и бабъ, оголитъ ихъ какъ есть да и велитъ мужикамъ тѣхъ бабъ и дѣвокъ сѣкчи!

— Что-жъ мужики?

— Что̀ мужики! извѣстно, приказъ исполняютъ! Одинъ, было, этакой выпскался, сѣчетъ это свою бабу да и говоритъ, «неладно ты, майоръ, эко дѣло затѣялъ!» — Что̀? — взревѣлъ на него майоръ. — «Ничего, говоритъ, только неладно ты, майоръ, эко дѣло затѣялъ!» А самъ знай бабу

сѣчетъ да сѣчетъ! Только какъ отняли у него эту бабу— глядь, анъ она мертвая! засѣкъ, значитъ!

— Что-жъ дальше?

— А дальше, значитъ, этого самаго мужика въ Сибирь за грубость сослали!

Всему этому безпутному, безсознательному и ненужному злодѣйству, всѣмъ этимъ подвигамъ тьмы и безсмысленнаго варварства положило безвозвратный конецъ 19-е февраля. Какъ бы ни были обширны наши притязанія къ жизни, мы не можемъ не удивляться великости этого подвига. Разомъ освободить изъ плѣна етипетскаго цѣлыя массы людей, разомъ заставить умолкнуть тѣ скорбные стоны, которые раздавались изъ края въ край по всему лицу Россіи, — такое дѣло способно вдохнуть энтузіазмъ безпредѣльный! Но за работой освобожденія слѣдуетъ работа организаціи, и тутъ-то приходится намъ бороться съ препятствіями еще болѣе дѣйствительными, нежели даже тѣ, съ которыми мы боролись во время трудной работы освобожденія.

Въ настоящемъ случаѣ, то-есть относительно реформъ послѣдняго десятилѣтія, чужеяднымъ элементомъ, тормозящимъ правильное ихъ развитіе, является пресловутое наше крѣпостничество, одѣвшееся, въ послѣднее время, въ мантію консерватизма.

Совершенно основательно думаютъ тѣ, которые утверждаютъ, что истина въ концѣ концовъ всегда торжествуетъ, и что, въ согласность этой аксіомѣ, несомнѣнно должно восторжествовать и все то, что̀ исходитъ прямымъ и естественнымъ путемъ изъ дѣла освобожденія. Но не надо забывать, что и противная дѣлу сторона, то-есть чужеядство-крѣпостничество, также не остается въ бездѣйствіи. Оно не только не умерло, какъ это многіе утверждаютъ, но мало-по-малу сбрасываетъ съ себя иго распущенности и начинаетъ уже толковать объ организаціи и дисциплинѣ. Имѣя это въ виду, мы не только не должны, но даже не имѣемъ права впадать въ безпечность.

Къ сожалѣнію, мы видимъ на практикѣ очень много такого, что̀ прямо свидѣтельствуетъ о нашей опрометчивости и близорукости въ этомъ смыслѣ. Несмотря на то, что чужеядство доказало свой вредъ путемъ историческимъ, несмотря на то, что мы сами отлично сознаёмъ этотъ вредъ и на каждомъ шагу, такъ сказать, осязаемъ его руками, это явленіе, какъ объяснено выше, до того уже примелькалось, что мы считаемъ невозможнымъ обойти его, не

вступивъ съ нимъ въ извѣстнаго рода сдѣлки, и прито въ сдѣлки весьма рѣшительныя и нерѣдко компрометирующія самый смыслъ предпринятаго дѣла.

Задумывая какое-нибудь предпріятіе, мы на первыхъ же порахъ только о томъ и печалимся, какъ бы пристроить къ нему чужеядство. Напрасно и совѣсть, и память шепчутъ намъ, что, идя объ руку съ чужеядствомъ, мы дошли наконецъ до глухой стѣны; что, благодаря чужеядству, геній народный, не развернувшись, уже увядаетъ; какъ будто, испивъ до дна чашу рабства, онъ въ то же время оставилъ въ ней и всѣ свои силы! Мы, конечно, не прочь согласиться съ этими доводами, но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ будто такъ мало еще отрезвились, что не въ состояніи даже представить себѣ, какъ можетъ надъ нами такая бѣда стрястись, чтобъ жить намъ по простотѣ и безъ вредныхъ примѣсей. И вотъ мы ломаемъ многострадальныя головы, какимъ бы образомъ такъ ухитриться, чтобы и чужеядство было не безъ дѣла, да и намѣреніямъ нашимъ оно вредило какъ можно менѣе...

Результатъ такихъ сдѣлокъ и колебаній очень простой: задача, разрѣшенія которой мы, на первыхъ порахъ, такъ ревностно добивались, постепенно утрачиваетъ свою опредѣлительность и, дѣлаясь добычей всевозможныхъ посягательствъ, проникается другимъ, иногда даже совершенно неожиданнымъ для насъ, смысломъ.

Чтобы сдѣлать нашу послѣднюю мысль болѣе ясною, да позволено будетъ прибѣгнуть къ сравненію. Оставимъ на минуту провинцію, перенесемся воображеніемъ въ большіе, густо населенные центры, и мы безъ труда убѣдимся, что тамъ дѣло преобразованія русской жизни имѣетъ совершенно иной ходъ, нежели въ нашихъ губернскихъ палестинахъ. Мнѣніе о невозможности одинаковаго во всѣхъ случаяхъ примѣненія того или другого принципа, мнѣніе о томъ, что понятіе о правдѣ есть понятіе относительное, что она одна для Ивана и другая для Петра,—всѣ эти диковинныя мнѣнія, столь незыблемо стоящія въ провинціи, не только не имѣютъ въ большихъ центрахъ обязательнаго авторитета, но нерѣдко вызываютъ даже противорѣчіе. Скажемъ болѣе: въ этихъ центрахъ дѣло овладѣваетъ исполнителями даже помимо ихъ воли: если же, за всѣмъ тѣмъ, и можно указать на примѣры уклоненія отъ истиннаго смысла задачи, то факты такого рода, во всякомъ случаѣ, не остаются безъ указанія и болѣе или менѣе правдиваго обсужде-

нія. Нерѣдко случается даже такъ, что исполнитель несомнѣнно чувствуетъ надъ собой извѣстное тяготѣніе, которое такъ и нашептываетъ: да откинь же ты, милый человѣкъ, колѣнце, чтобы вѣдали добрые люди, каковы таковы въ русской землѣ реформы называются,—но колѣнце какъ-то не выкидывается, а ежели и выкидывается, то вяло, и восторговъ ни откуда не вызываетъ. Теперь вернемся назадъ въ нашу родную провинцію, и первое, что поразитъ нашъ умственный взоръ — это наивная невыработанность понятій о правдѣ и правѣ. Въ этомъ отношеніи у насъ существуетъ такое вавилонское столпотвореніе, что право и правда подраздѣляются чуть не на столько отдѣльныхъ и совершенно другъ на друга непохожихъ видовъ, сколько существуетъ отдѣльныхъ субъектовъ, до которыхъ эти понятія касаться могутъ. Это словно проклятый какой-то маскарадъ, въ которомъ право для однихъ является началомъ утучняющимъ, для другихъ—изнуряющимъ и уничтожающимъ. И это нимало не бросается въ глаза и не оскорбляетъ ничьего нравственнаго чувства, потому что провинція до того закалилась въ произволѣ, что тотъ день считается чуть-чуть не потеряннымъ, который не былъ свидѣтелемъ одного изъ безчисленныхъ и дикихъ проявленій его.

Отчего происходитъ такая разительная разница въ степени и способахъ примѣненія одного и того же начала—понять очень нетрудно. Явленіе это совершенно удовлетворительно объясняется тѣмъ, что въ большихъ центрахъ чужеядству сравнительно все-таки отведено гораздо менѣе мѣста, нежели въ тѣхъ безчисленныхъ мурьяхъ, въ которыхъ оно не только не представляетъ капли въ морѣ, но скорѣе наоборотъ. Вслѣдствіе великаго разнообразія жизненныхъ условій, сосредоточенія на ограниченномъ пространствѣ всевозможныхъ формъ человѣческой дѣятельности и легкости обмѣна мыслей, самый уровень жизни дѣлается выше и въ то же время не допускаетъ тѣхъ разительныхъ пропусковъ, какіе замѣчаются нами въ провинціи. Рядомъ съ правами традиціонными возникаютъ права новыя, предъявляющія искъ о своемъ признаніи не передъ судомъ привычки и закоснѣлаго предразсудка, а передъ судомъ разума и общественной совѣсти. Понятно, что въ кругу этихъ новыхъ соперничествующихъ силъ чужеядству не совсѣмъ-то ловко расправлять свои крылья во всю ширь, хотя бы искусственная обстановка и благопріятствовала такому рас-

правленію. Напротивъ того, провинціальная жизнь сплошь составлена изъ однихъ неровностей и пропусковъ, и вслѣдствіе того представляетъ такое множество пустыхъ мѣстъ, въ которыхъ изстари ничего дурного, кромѣ расправленія крыльевъ, не производилось, что, по самому простому разсчету, тутъ надлежитъ заботиться не столько объ умноженіи пустыхъ мѣстъ, сколько о сокращеніи ихъ.

Но такова наша несмѣлость передъ примелькавшимися явленіями жизни, что вмѣсто того, чтобы распутывать узелъ, мы направляемъ всѣ наши усилія къ тому, какъ бы покрѣпче затянуть его. Заявляя о своемъ стремленіи къ правдѣ общечеловѣческой, защищенной отъ наплыва чужеядныхъ примѣсей, мы въ то же время ставимъ ее въ такія условія, среди которыхъ она не можетъ свободно дышать. Признавши прежнія рамки жизни слишкомъ тѣсными для безпрерывно увеличивающагося содержанія ея, мы тѣмъ не менѣе до того неохотно разстаемся съ ними, что люди неопытные и въ рамкахъ не свѣдущіе легко ошибаются и утверждаютъ, что никакихъ новыхъ рамокъ нѣтъ и не было, а остались прежнія, тѣ самыя, въ которыхъ такъ удобно было расправлять крылья.

И вотъ, благодаря чужеядству, общее дѣло русской жизни, дѣло ея преуспѣянія и развитія, становится дѣломъ домашнимъ. Если читатель припомнитъ дѣйствія мировыхъ посредниковъ при самомъ началѣ крестьянской реформы и сравнитъ ихъ съ дѣйствіями послѣдующими, то онъ безъ труда пойметъ, какая громадная легла тутъ разница. Эта разница—фактъ несомнѣнный, засвидѣтельствованный общимъ сознаніемъ, но будемъ ли мы правы, если причину этого факта станемъ искать безусловно въ какой-то мнимой неустойчивости русскаго человѣка, въ его неумѣніи спокойно начать дѣло и столь же спокойно довести его до конца? Очевидно, что предположеніе такого рода не только голословно, но даже и неправдоподобно. Во-первыхъ, кругъ дѣятельности мировыхъ посредниковъ вовсе не былъ такъ обширенъ и сложенъ, чтобы отъ нихъ требовалось какого-то сверхъестественнаго напряженія умственныхъ силъ; во-вторыхъ, дѣло само по себѣ такъ просто, намѣренія законодателя такъ ясны, что совсѣмъ не нужно быть героемъ, чтобы выполнить ихъ во всей точности. Вездѣ и всегда исполнителями являются люди, нимало не претендующіе на геніальность, но никто этимъ не смущается, да и дѣло отъ того нимало не терпитъ. Отчего же только у насъ,

и у насъ однихъ, происходятъ сіи неожиданныя превращенія? Не оттого ли, что мы великіе мастера отыскивать во всякомъ дѣлѣ такую мякоть, которая позволяетъ намъ пріурочивать это дѣло для нашего личнаго, домашняго употребленія?

Но ежели мы мастера отыскивать эту мякоть, то естественно возникаетъ вопросъ: дѣйствительно ли это мастерство столь драгоцѣнно, что необходимо его поощрять и воспитывать?

Та метаморфоза, которая произошла у всѣхъ на глазахъ съ учрежденіемъ мировыхъ посредниковъ, можетъ легко постигнуть и другіе зачатки развитія русской жизни. Въ послѣднее время провинціалъ охотно и чаще другихъ словъ повторяетъ прилагательное *вотчинный,* и повторяетъ его съ такою увѣренностью, которая невольнымъ образомъ заставитъ задуматься. Очень можетъ быть, что это увѣренность ни на чемъ не основанная и преувеличенная, и что въ будущемъ она окончится пшикомъ, но несомнѣнно, что въ *настоящемъ* она наноситъ дѣлу преуспѣянія вредъ явный и положительный.

Трудно себѣ представить зрѣлище болѣе поразительное, нежели зрѣлище добра, изнемогающаго въ мукахъ рожденія. Правда, какъ только показала въ провинцію лицо свое, такъ уже, такъ сказать, распалась на ся. Есть правда княжеская и графская, есть правда дворянская, правда чиновническая, правда мѣщанская, правда мужицкая. Титулярный совѣтникъ имѣетъ право на бо̀льшую долю въ правдѣ противъ коллежскаго регистратора, дворянинъ—на бо̀льшую противъ мѣщанина и мужика. Злосчастный ремесленникъ, обозвавшій дворянина *гнуснымъ именемъ* мѣщанина, оказывается болѣе виновнымъ, нежели дворянинъ, угрожавшій этому ремесленнику палкой... Вотъ новый фазисъ, въ который вступаетъ дѣятельность пресловутаго чужеядства.

Всюду, куда вы ни обернетесь въ провинціи, всюду встрѣтитесь съ этимъ вѣдчивымъ элементомъ, который, повидимому, поставилъ себѣ задачею заполонить вселенную. Сильный противъ безсилія, безсильный противъ силы, онъ обдѣлываетъ свои дѣла, вопреки истинѣ, вопреки свидѣтельству здраваго смысла. Тщетно собственная выгода подсказываетъ ему о необходимости уступокъ и соглашеній—онъ сосетъ, сосетъ и сосетъ, не сознавая, что въ то же время высасываетъ до тла и свои собственные соки...

Удивительно ли, что, чувствуя подъ собой такое твердое основаніе, наши исконные губернскіе исторіографы не только не укромняются, но дерзаютъ пуще прежняго? Представьте себѣ эти двѣ силы: исторіографство и чужеядство, простирающія другъ другу объятія и заключающія твердый и ненарушимый (до первой кости) союзъ, и спросите себя: что̀ можетъ выйти изъ этого союза?

Въ будущемъ—конечно, ничего; но кто вознаградитъ за тѣ ущербы, которые наносятся въ настоящемъ?

Письмо шестое.

Историки увѣряютъ, что Западная Римская имперія пала отъ изнѣженности нравовъ, а Византійская—отъ коварства царедворцевъ, которые ничего будто бы не дѣлали, а только коварствовали. Какъ бы то ни было, но паденію этому, во всякомъ случаѣ, предшествовалъ извѣстный внѣшній фактъ. Явились съ востока гунны, лонгобарды, османлисы и другіе человѣкообразные и сразу доказали то, чего не могъ доказать цѣлый рядъ Мессалинъ, Агриппинъ и не менѣе замѣчательный рядъ иконописныхъ Никифоровъ и Евдокій. Не будь этого внѣшняго факта, очень можетъ статься, что римляне и до сихъ поръ продолжали бы предаваться изнѣженности нравовъ, а византійцы—коварствовать, то-есть сплетничать, цѣловать въ плечико и подставлять другъ другу ножку.

Мы, провинціалы, историковъ не имѣемъ, но у насъ есть исторіографы (чиномъ повыше), которые занимаются не столько исторіей нашего прошлаго, сколько предусмотрительными набѣгами въ наше будущее.

Если вѣрить этимъ глубокомысленнымъ людямъ, Россія должна погибнуть въ самомъ ближайшемъ времени, и погибнуть втихомолку, безъ всякаго внѣшняго натиска, единственно силою собственныхъ пороковъ. Такъ что если, напримѣръ, вы сегодня видите Россію, а завтра на этомъ самомъ мѣстѣ увидите пустое мѣсто, то не имѣете права даже удивляться этой пропажѣ, ибо она есть естественное слѣдствіе нашей заранѣе доказанной и предсказанной исторіографами развращенности.

Само собою разумѣется, что, по внутреннему убѣжденію исторіографовъ, главный нашъ порокъ, это — уничтоженіе

крѣпостной зависимости; но такъ какъ это порокъ секретный, о которомъ распространяться не всегда удобно, то найденъ другой порокъ, не столь капитальный, но служащій для нашихъ исторіографскихъ философствованій немаловажнымъ подспорьемъ. Порокъ этотъ—пресловутое всероссійское пьянство.

Было время, когда надежды исторіографовъ на паденіе Россійской имперіи покоились преимущественно на грубости нравовъ. Предполагалось, что, тотчасъ по освобожденіи крестьянъ, русская земля немедленно запустѣетъ, что Ваньки будутъ сидѣть задравши на столъ ноги и бесѣдовать объ изящныхъ искусствахъ, что Тришки перестанутъ чистить сапоги и унавоживать поля, что торговля упразднится, потому что не будетъ разносчиковъ, и т. д. «Кто будетъ сѣять, жать, варить и печь, кто будетъ шапки передъ нами ломать?»—спрашивали другъ друга испуганные исторіографы, и къ чести ихъ должно прибавить, что никому не пришло на мысль сказать: «мы будемъ сѣять! мы будемъ жать!» Однако надежды насчетъ грубости нравовъ не выгорѣли, отчасти, быть-можетъ, потому, что тогда еще бодрствовалъ откупъ (все-таки хоть какое-нибудь утѣшеніе!), отчасти же потому, что всѣ эти Ваньки и Тришки совсѣмъ не такъ воспитаны, чтобы сидѣть задравши на столъ ноги и бесѣдовать объ изящныхъ искусствахъ.

Потребовалось другое основаніе для исторіографскихъ погибельныхъ предсказаній, а такъ какъ жизнь никогда не скупится подачками подобнаго рода, и такъ какъ тутъ же кстати послѣдовало и упраздненіе откуповъ, то на смѣну грубости нравовъ естественнымъ образомъ явилось пьянство.

И подлинно, вышло нѣчто весьма подходящее.

Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ страну, которой жители поголовно пьяны, въ которой господа съ утра до ночи пьютъ мадеру, а рабочій и прочій «подлый» народъ сивуху:—какое будущее можетъ ожидать такую страну?

Представьте себѣ: въ этой странѣ есть правосудіе, но оно отправляется въ пьяномъ видѣ; есть арміи, но онѣ защищаютъ отечество въ пьяномъ видѣ; есть администрація, но она повелѣваетъ въ пьяномъ видѣ; есть наконецъ администрируемые, но они повинуются въ пьяномъ видѣ... Вы, конечно, скажете, что все это не больше, какъ плоская и невѣроятная шутка, что это нелѣпо-волшебное представленіе, въ которомъ неожиданности и сверхъестественности превращеній дозволено замѣнить здравый смыслъ;—да, это

такъ, это дѣйствительно наглая и смѣха достойная шутка; но таковъ именно фонъ той картины, которую всласть рисуютъ передъ нами исторіографы.

Если вѣрить разсказамъ исторіографовъ, въ губерніяхъ нашихъ происходятъ чудеса. Опиваются цѣлыя деревни, цѣлыя села замерзаютъ въ безсознательномъ положеніи. Удивительно, какъ только Богъ грѣхамъ терпитъ! Стыдъ забытъ, понятіе о выкупныхъ платежахъ упразднилось; мужикъ бросилъ семью, перетаскалъ изъ дома все до послѣдней бечевки и оретъ въ кабакѣ дурацкія пѣсни. Пресловутая мужицкая полоса лежитъ въ полѣ непаханною, и ежели на ней за всѣмъ тѣмъ растетъ рожь, то не та тучная рожь, которая однимъ своимъ видомъ свидѣтельствовала о непреоборимой твердости россіянъ въ бѣдствіяхъ, а какая-то тощая, безпутная. Мѣсто семейныхъ добродѣтелей замѣнило кровосмѣшеніе, мѣсто сыновней почтительности— увѣчье и убійство. Снохачи открыто пристаютъ къ сыновнимъ женамъ и даже не свидѣтельствуются при этомъ историческими примѣрами; жены, безъ всякаго стыда, понимаются съ прохожими молодцами и не приводятъ въ свое оправданіе que c'est ainsi que cela se pratique dans le monde. Даже невинное дѣтство—и то не избѣгло общей участи распаденія; и оно слоняется по улицамъ, задеря хвосты и оскорбляя стыдливые взоры проѣзжающихъ исторіографовъ. Вдали виднѣется грозная фигура цѣловальника, сплошь увѣшенная синими и зелеными патентами.

— Où allons-nous? dieux! où allons-nous? — восклицаетъ встревоженный такою картиной исторіографъ.

— А вотъ, выпьемъ мадеры, такъ оно виднѣе будетъ,— цинически отвѣчаетъ другой исторіографъ.

— Позвольте! Мы изстари были сильны нашими семейными добродѣтелями—такъ или нѣтъ?

— Это такъ. Наши бабушки... кромѣ какъ куафферовъ... ни-ни!

— Позвольте! Il ne s'agit pas de cela! рѣчь совсѣмъ не о péchés mignons нашихъ бабушекъ! Я васъ спрашиваю, были ли мы сильны нашими семейными добродѣтелями или нѣтъ?

— Что толковать! Ужъ насчетъ чего другого...

— Eh bien! je vous le donne en mille... благодаря этой отвратительной сивухѣ, теперь вы не насчитаете ни одной невинности на квадратную милю! Вы понимаете, куда это насъ ведетъ?

Исторіографы выпиваютъ по рюмкѣ и впадаютъ въ уныніе.

— Теперь другой вопросъ: не были ли мы сильны своимъ трудолюбіемъ, не поражали ли наши поля своимъ плодородіемъ? Eh bien! je vous le certifie: благодаря этой сивухѣ, мои поля шесть лѣтъ сряду лежатъ пустыя, и хоть бы *они* ухомъ повели!

Выпиваютъ по другой рюмкѣ и снова впадаютъ въ уныніе.

— Третій вопросъ: какое будущее ожидаетъ нашу армію? Могутъ ли у насъ быть надежные солдаты? Спрашиваю я васъ: не были ли мы сильны непобѣдимостью и натискомъ своихъ армій? Souvoroff! mais c'est un nom, qui à lui seul vaut bien une époque! И вотъ взгляните, благодаря сивухѣ, *онъ* уже съ пятилѣтняго возраста начинаетъ постепенно терять свою силу; ноги у него дрожатъ, грудь дѣлается впалою, глаза меркнутъ, открытость лица исчезаетъ... Какой можетъ выйти изъ него фрунтовикъ? какая можетъ быть въ немъ непобѣдимость?

Новая рюмка; новое уныніе.

— Еще вопросъ: не были ли мы сильны своею субординаціей, своею безпрекословною готовностью исполнять приказанія старшихъ? Теперь послушайте, что̀ пишутъ со всѣхъ сторонъ исправники: «строптивость и грубость нравовъ,—пишутъ они:—поддерживаемая и развиваемая употребленіемъ горячихъ напитковъ, есть то самое зло, которое въ наискорѣйшемъ времени россійское государство въ бездну погибели увлечь можетъ...» Joli?

Еще рюмка; еще уныніе.

— Pardon, mais il y a encore une question. Мы изстари были сильны своею торговлею. Наши предки еще съ Византіей вели торговлю медомъ, воскомъ, звѣриными шкурами и щетиною... avec Byzance—vous concevez? Спрашиваю я васъ: куда дѣвалось все это баснословное богатство? Гдѣ этотъ медъ, этотъ воскъ, эта щетина... «Стальной щетиною сверкая...» куда все это ушло? Пойдите на нашу базарную площадь — что̀ вы увидите? — лапти и веревки, веревки и лапти! Et notez bien, что наши предки изстари всегда ходили въ сапогахъ — и вдругъ... лапти! Куда же дѣвались эти звѣриныя шкуры, о которыхъ повѣствуютъ историки? Куда, какъ не въ кабаки, гдѣ онѣ ждутъ своей очереди, вмѣстѣ съ пудо̀вками хлѣба, дугами, шлеями, новинами и прочимъ скарбомъ мужицкаго хозяйства!

Рюмка.

— Où allons-nous? Кто будетъ платить подати? qui suffira aux besoins du budjet? Исправники пишутъ: «въ случаѣ распространенія пьянства, въ уплатѣ податей большое чувствуется затрудненіе и даже самый недоборъ...» Недоборъ! чувствуете ли, понимаете ли, чѣмъ это пахнетъ!

И такъ далѣе, и такъ далѣе. Сколько вопросовъ, столько рюмокъ; сколько рюмокъ, столько вопросовъ. Количество тѣхъ и другихъ вполнѣ солидарно и идетъ рука объ руку до тѣхъ поръ, пока бесѣдующіе окончательно не перестаютъ понимать другъ друга. Тогда начинается та общая, безобразная ламентація, смыслъ которой заключается въ томъ, что мы противъ всего устояли, все побѣдили, но не можемъ устоять противъ одного... противъ сивухи!

Столичный читатель, конечно, воленъ вѣрить или не вѣрить существованію подобныхъ разговоровъ, но что они записаны со словъ самихъ ихъ авторовъ, въ томъ удостовѣритъ всякій сколько-нибудь добросовѣстный провинціалъ. Всякому приходилось быть свидѣтелемъ и даже участникомъ подобныхъ бесѣдъ, и—увы!—нерѣдко даже случалось находить въ нихъ тѣнь человѣческаго смысла, а не исключительное свидѣтельство размягченія мозга!

Да; такова эта мадерорастлѣвающая среда, что человѣку, хотя и не зараженному ею вполнѣ, но не искушенному провинціальной опытностью, нелегко бываетъ совершенно отрѣшиться отъ ея воззрѣній на жизнь. Всѣ эти бонвиваны, напоминающіе французскій водевиль, переложенный на русскіе нравы, всѣ эти изнѣженные воспитанники Поль-де-Кока прежде всего бросаются въ глаза своимъ добродушіемъ, за которымъ довольно трудно бываетъ распознавать ту жестокую глупость, которая, по пословицѣ, считается хуже воровства, Конечно, безсмыслица ламентацій настолько очевидна, что поводовъ для дѣйствительныхъ сомнѣній относительно ихъ внутренней стоимости не можетъ даже существовать, но все-таки почему-то кажется, что сквозь массу преувеличеній и нелѣпостей просвѣчиваетъ и малѣйшая частица истины.

Куда, въ самомъ дѣлѣ, дѣлась наша торговля медомъ, воскомъ, звѣриными шкурами и щетиной?

Отчего нашъ мужикъ ходитъ въ лаптяхъ?

Отчего въ деревняхъ царствуетъ такое сплошное, поголовное невѣжество?

Отчего мужикъ почти никогда не ѣстъ мяса и даже скоромнаго масла?

Отчего почти ни одинъ не знаетъ, что̀ такое постель?

Отчего во всѣхъ движеніяхъ мужика замѣчается что-то фаталистическое, не отмѣченное сознаніемъ? Отчего, если онъ идетъ впередъ, то его какъ-будто гонитъ какая-то невѣдомая сила, которую даже анализировать невозможно? Отчего онъ родится какъ муха и какъ муха же мретъ?

На всѣ эти вопросы исторіографы заладили одно: все отъ нея, все отъ проклятой сивухи (читай: все вслѣдствіе упраздненія крѣпостного права). Нѣкоторые изъ нихъ, въ своей наивной ограниченности, доходятъ до того, что въ регламентаціи распивочной продажи водки видятъ единственный способъ выйти изъ періода лаптей и вступить въ періодъ сапоговъ. О! если-бъ это было такъ! если-бъ было можно, съ помощью одного ограниченія числа кабаковъ, вселить въ людей довѣріе къ ихъ судьбѣ, возвысить ихъ нравственный уровень, сообщить имъ ту силу и бодрость, которыя помогаютъ бороться и преодолѣвать желѣзныя невзгоды жизни! если-бъ можно было доказать людямъ, что съ измѣненіемъ системы патентнаго сбора ихъ ждетъ въ перспективѣ тотъ отрадный, свѣтящійся пунктъ, къ которому они искони безплодно стремятся! Какъ легка была бы наука человѣческаго существованія! и какихъ ничтожныхъ усилій стоило бы разомъ покончить со всѣмъ безобразіемъ прошлаго, со всѣми неудачами настоящаго, со всѣми сомнительными видами будущаго!

Оставимъ на время въ сторонѣ нашихъ нелѣпыхъ исторіографовъ съ ихъ нелѣпыми воздыханіями и обратимся къ тому, что̀ составляетъ дѣйствительную суть дѣла.

Едва ли, разумѣется, нужно доказывать, что не упраздненіе крѣпостного права обусловило существованіе тѣхъ вопросовъ, которые намѣчены выше. Только очень ограниченные и совсѣмъ глупые люди могутъ утверждать, что нашъ крестьянинъ или что мы, русскіе вообще, представляемъ въ общей человѣческой семьѣ такую особенную разновидность, на которую свобода оказываетъ дѣйствіе совершенно противоположное, нежели на прочихъ членовъ этой семьи. Нѣтъ нужды также утверждать, что предположеніе о пьянствѣ, какъ объ органическомъ порокѣ цѣлаго народа, есть предположеніе глупое, могущее возникнуть только подъ вліяніемъ паровъ мадеры. Подобнаго рода

ребяческія клеветы свидѣтельствуютъ только о низкой степени умственнаго развитія ихъ слагателей.

Тѣмъ не менѣе невозможно ни на минуту усомниться, что русскій мужикъ бѣденъ дѣйствительно, бѣденъ всѣми видами бѣдности, какіе только возможно себѣ представить, и—что̀ всего хуже—бѣденъ сознаніемъ этой бѣдности.

Для того, чтобы понять, до какой степени настоятельны бываютъ нѣкоторыя нужды, необходимо или пройти сквозь нихъ, или, по крайней мѣрѣ, видѣть ихъ лицомъ къ лицу. Бываютъ очень запутанныя нравственныя положенія, но до постиженія ихъ можно дойти и безъ указаній личнаго опыта, съ помощью однихъ логическихъ выводовъ, по той простой причинѣ, что трудно назвать такую нравственную смуту, зерно которой, вліяніемъ времени, не заносилось бы во внутреннее святилище каждаго современнаго человѣка. Совсѣмъ другое дѣло — смута матеріальная. Цивилизованному меньшинству она представляется въ видѣ такого исключительнаго и неразрѣшимаго положенія, которое, во всемъ своемъ объемѣ, можетъ существовать только въ сильно-настроенномъ воображеніи художника.

Мудрено представить себѣ то убожество, въ которомъ живутъ массы и которому онѣ, повидимому, вполнѣ подчинились. Негодованіе, которое проникаетъ человѣка при видѣ явленій легковѣрія, одичалости и насильства, непрерывно сочащихся изъ сердца народныхъ массъ, невольно утихаетъ, когда собственными руками прикасаешься къ той проказѣ, которою онѣ заражены, и собственными легкими вдыхаешь струю той затхлой атмосферы, которою онѣ дышатъ. Самое ничтожное обстоятельство, мимо котораго мы, люди меньшинства, проходимъ не только не задумываясь, но просто безъ всякой мысли, вліяетъ на жизнь бѣднаго труженика до того рѣшительно, что сразу парализуетъ въ немъ всякую энергію. Интересы, повидимому, грошовые, будучи взяты въ своей совокупности, составляютъ такую сумму, подъ бременемъ которой совершенно непримѣтно погибаетъ членъ «несуществующаго» у насъ пролетаріата. Да, «пролетаріата» нѣтъ, но загляните въ наши деревни, даже подстоличныя, и вы увидите сплошныя массы людей, для которыхъ, напримѣръ, вопросъ о лишней полукопейкѣ на фунтъ соли составляетъ предметъ мучительнѣйшихъ думъ и для которыхъ даже не существуетъ вовсе вопроса о матеріальныхъ удобствахъ; вы найдете тысячи безпріютныхъ бобылокъ, которыхъ весь

годовой бюджетъ заключается въ пятнадцати-двадцати рубляхъ, съ трудомъ вырабатываемыхъ мотаніемъ бумаги. А пролетаріата нѣтъ. Правда, что массы предполагаются грубыми и безчувственными, но тутъ однако возникаетъ вопросъ, что̀ чему предшествуетъ: безчувственность ли обязательному отсутствію на столѣ соли, или наоборотъ? Намъ, людямъ, живущимъ особнякомъ отъ массъ, даже трудно себѣ представить, до какой наглости можетъ доходить это вѣчное притязаніе желудка, изъ-подъ гнета котораго ни на минуту не освобождается жизнь мужика; но тѣмъ не менѣе оно не выдумка, а одинъ изъ тѣхъ безспорныхъ и всѣмъ видимыхъ фактовъ, для подтвержденія которыхъ не требуется ссылаться на статистическія изслѣдованія.

Положеніе человѣка, фаталистически осужденнаго не думать ни о чемъ иномъ, какъ о средствахъ не умереть съ голода, не замерзнуть, не утонуть въ болотѣ и вообще «не пропа̀сть какъ собакѣ», есть одно изъ тѣхъ противоестественныхъ положеній, которыя настоятельно приковываютъ къ себѣ вниманіе мыслящаго человѣка. Это тѣ самыя первоначальныя нужды, при неудовлетвореніи которыхъ немыслимо развитіе никакихъ иныхъ нуждъ. А въ развитіи этихъ «иныхъ» нуждъ вся сила. Если человѣкъ обезпеченъ, по малой мѣрѣ, отъ необходимости исключительно останавливать свое вниманіе на средствахъ примириться съ желудкомъ, онъ непремѣнно пойдетъ далѣе, онъ прикуетъ свою мысль къ другимъ предметамъ и перенесетъ свои требованія въ высшую сферу. Сегодня онъ думаетъ только о хлѣбѣ матеріальномъ; завтра онъ уже будетъ думать о хлѣбѣ духовномъ; но, покуда онъ не имѣетъ положительныхъ средствъ обезпечить свободу желудка, онъ, конечно, не предприметъ никакихъ мѣръ, чтобы обезпечить свободу мысли. Слѣдовательно, несправедливо и едва ли даже возможно ожидать, чтобы бѣдность духовная была побѣждена прежде, нежели будетъ побѣждена бѣдность матеріальная.

Конечно, такое предпріятіе заключаетъ въ себѣ трудности почти непреоборимыя. Человѣкъ массы мало того, что страдаетъ: онъ, сверхъ того, имѣетъ слабое сознаніе этого страданія; онъ смотритъ на него, какъ на прирожденный грѣхъ, съ которымъ не остается ничего другого дѣлать, какъ только нести его, насколько хватитъ силъ. Скажите ему, что обязанность не наѣдаться до̀сыта, обязанность зябнуть, утопать въ болотахъ и не въ мѣру напрягать

мышцы—вовсе не есть необходимый удѣлъ, что тутъ нѣтъ даже никакого предопредѣленія,—и вы увидите, что первое чувство, которое изобразится на его лицѣ при такомъ разъясненіи, будетъ чувство недоумѣнія. Не ясно ли, что, покуда такое недоумѣніе существуетъ, никакія намѣренія относительно измѣненія характера его судьбы не могутъ быть дѣйствительны?

— Куда я теперь дѣнусь! куда я дѣнусь!—голосила надняхъ при нашихъ глазахъ нѣкоторая баба, бѣгомъ устремляясь по дорогѣ и размахивая руками.

Оказалось, что мужа этой бабы раздавило мельничнымъ колесомъ, и она бѣжала на мельницу посмотрѣть, какъ его раздавило. За нею слѣдомъ бѣжала туда же чуть ли не вся деревня. Покойный былъ хозяинъ зажиточный, имѣлъ изрядный домъ и на міру былъ извѣстенъ, какъ человѣкъ ревнивый къ общественному дѣлу. По смерти его осталась вдова съ маленькими дѣтьми, и то относительное «благосостояніе», въ которомъ находилась эта семья, *въ одну минуту* рушилось. Вдова платить подати не могла, и слѣдовательно земля отъ семьи немедленно отбиралась (да она не имѣла и средствъ обрабатывать ее); міръ, съ своей стороны, несмотря «на радѣнье» покойника, смотрѣлъ на вдовьи слезы тупо.

— Да, добышникъ былъ, царство небесное! — молвилъ дядя Миняй.

— Къ крестьянскому дѣлу радѣльщикъ былъ! — подтвердилъ дядя Митяй.

И пошли-себѣ дяди Митяи по домамъ, а вдова осталась одна съ своими слезами, приготовляясь на завтра же начать изученіе той бѣдственной жизни, которая учитъ на двадцать рублей въ годъ прокормить себя и дѣтей, и въ концѣ которой (вотъ подлинно сладкіе-то плоды!) стоитъ для сына красная шапка, для дочери—названіе деревенской сахарницы, для нея самой — безконечное голодное мыканье по бѣлу-свѣту.

Можетъ ли эта баба о чемъ-нибудь думать? Можетъ ли она что-нибудь ощущать, кромѣ безотчетнаго, паническаго ужаса? Нѣтъ, она не можетъ ни думать, ни ощущать. Она не имѣетъ времени обсудить свое положеніе, размыслить о средствахъ выйти изъ него; она должна безъ оговорокъ принять его, какъ неизбѣжное, и прямо вступить въ ту колею, которую уже до нея проторили подобныя ей бобылки. Она не можетъ даже вдоволь наплакаться надъ тѣ-

ломъ своего добышника, да и тѣ немногія слезы, которыя она прольетъ по этому случаю, будутъ слезы не безкорыстныя, но отравленныя мыслью: «на кого-то ты меня покинулъ? какъ-то я завтра хлѣба добуду себѣ съ дѣтьми малыми?»

Спросите теперь эту самую бабу, что̀ она предполагаетъ съ собой дѣлать?

— А что̀ дѣлать?—отвѣтитъ она:—стану бумагу мотать, а ребятокъ по міру посылать буду!..—И въ глазахъ ея не блеснетъ ни злобы, ни негодованія, съ языка ея не сорвется ни одной жалобы на этихъ дядей Митяевъ, которые оставляютъ ее безпомощною, а ежели по временамъ и поглаживаютъ старшаго ея сынишку по головѣ, то непремѣнно съ тайной мыслью: «славный будетъ солдатъ!»

Вотъ истинная истина изъ жизни полудикой толпы. За эту истину мы, конечно, не имѣемъ особенныхъ основаній относиться къ толпѣ съ уваженіемъ—это правда: но отчего же тѣмъ не менѣе, обдумавши предметъ серьезно, мы не торопимся обвинять ее? Почему представленіе о толпѣ, несмотря на явную ея жестокость, дикость и неразвитость, имѣетъ для насъ нѣчто заманчивое и симпатичное? А вотъ почему.

Всѣ эти Митяи — народъ вовсе не злой и даже внутренно не испорченный; они равнодушно поглядываютъ на чужое несчастье совсѣмъ не по окаменѣлости сердечной, а просто потому, что и опытъ и исторія доказали имъ слишкомъ достаточно, что всѣ они равны передъ несчастіемъ, что каждый изъ нихъ имѣетъ одинаковые шансы на всякаго рода невзгоду. Слѣдовательно никакой случай въ этомъ родѣ не только не удивляетъ, но даже не останавливаетъ надолго ихъ вниманія. Есть ли поводъ плакаться надъ чужою бѣдой, когда завтра та же бѣда можетъ стрястись надъ ними самими? Да есть ли еще и время плакать? Да и не стряслась ли ужъ эта бѣда? не вѣковѣчная ли она спутница, которой и ждать даже совсѣмъ излишне?

Имѣемъ ли и мы, съ своей стороны, поводъ удивляться тому, что толпа до сихъ поръ сумѣла выработать изъ себя только слѣпое орудіе, при помощи котораго могутъ свободно проявлять себя въ мірѣ всевозможныя темныя силы? Конечно, мы имѣли бы этотъ поводъ, но въ такомъ лишь случаѣ, если-бъ могли указать на существованіе какихъ-либо образовательныхъ элементовъ, участіе которыхъ было

бы способно подвинуть толпу на пути самосознанія. Но этихъ элементовъ исторія намъ не приготовила, а если они когда-нибудь и существовали (какъ силятся доказать нѣкоторые), то, очевидно, корни ихъ были слишкомъ слабы, чтобы при помощи ихъ можно было устоять даже противъ простой случайности.

Чѣмъ больше представляетъ извѣстное положеніе однообразія, чѣмъ меньше видится въ немъ посредствующихъ историческихъ построеній, которыя бы свидѣтельствовали о постепенномъ измѣненіи и расширеніи формъ жизни, тѣмъ больше рискуемъ мы встрѣтить въ немъ всякаго рода трудностей. Если намъ даны два крайніе полюса, между которыми брошена безграничная гладкая степь, то очевидно, что утомительность пути по этой степи будетъ совершенно пропорціональна ея наготѣ. Какъ ни мало удовлетворяютъ чувству справедливости нѣкоторыя явленія и результаты исторической борьбы, но они важны тѣмъ, что облегчаютъ работу послѣдующихъ поколѣній и вырабатываютъ извѣстные средніе идеалы, доступъ къ которымъ несравненно менѣе труденъ, нежели изнурительный бѣгъ по необозримому пространству пустыни. Тутъ всякій шагъ впередъ пріобрѣтаетъ силу аксіомы, въ провѣркѣ которой, для грядущихъ поколѣній, не предстоитъ уже никакой нужды. Въ голой степи нѣтъ мѣста для подобныхъ аксіомъ: тутъ все подлежитъ провѣркѣ, утомительной работѣ сызнова. Конечно, мы вовсе не хотимъ этимъ сказать, что масса, находящаяся въ подобномъ положеніи, обязана создавать свою исторію съ начала; но мы будемъ совершенно правы, утверждая, что для этихъ массъ путь къ достиженію самосознанія представляетъ безчисленное множество такихъ затрудненій, которыя, при другихъ историческихъ условіяхъ, были бы даже немыслимы.

Да, русскій мужикъ бѣденъ; но это еще не столько важно, какъ то, что онъ не сознаётъ своей бѣдности. Приди онъ къ этому сознанію — его дѣло было бы уже наполовину выиграно, и главныя причины нашего экономическаго неустройства, то-есть случайность, неожиданность, произволъ и т. д., устранились бы сами собою. Но что могло привести его къ этому сознанію? Гдѣ тѣ средніе, доступные его пониманію, идеалы, оперевшись на которые, онъ могъ бы помочь себѣ въ трудномъ странствованіи по житейскому морю? Ничто и нигдѣ. Повторяемъ: онъ не болѣе, какъ крайній полюсъ той безграничной голой степи, на которой

исторія не бросила ни одного этапа, ни одного освѣщающаго путь маяка...

Итакъ, главная и самая существенная причина бѣдности нашей народной массы заключается, по нашему мнѣнію, въ недостаткѣ сознанія этой бѣдности; причина же этого послѣдняго явленія, очевидно, скрывается въ исторіи. Тѣ, которые негодуютъ на нашего крестьянина за то, что онъ ходитъ не въ сапогахъ, а въ лаптяхъ, за то, что онъ круглый годъ довольствуется пустыми щами да чернымъ хлѣбомъ, никогда даже не размышляли о томъ, что развитіе матеріальнаго довольства неминуемо влечетъ за собою и сознаніе иныхъ потребностей. Навѣрное, ежели бы они обсудили этотъ предметъ пристальнѣе, ежели бы они представили себѣ картину матеріальнаго довольства во всей ея полнотѣ, негодованіе ихъ значительно бы смягчилось. Они поняли бы, что особенной выгоды тутъ для нихъ нѣтъ. Но въ томъ-то и дѣло, что понятія этихъ господъ до того перепутались, что они даже утратили способность понимать и не могутъ дѣйствовать иначе, какъ подъ вліяніемъ тѣхъ непосредственныхъ впечатлѣній, которыя испытываются ими въ данную минуту. И такимъ образомъ близорукость и несообразительность являются невольнымъ коррективомъ ехидному исторіографскому злопыхательству.

Съ этой точки зрѣнія, сѣтованія нашихъ губернскихъ исторіографовъ на грубость и безсознательность русскаго мужика не лишены даже нѣкоторой забавности. Куда дѣвалась наша торговля? спрашиваете вы, милостивые государи; но какое вамъ дѣло до нашей низменной мужицкой торговли? кто, кромѣ древней Византіи, могъ пострадать отъ того, что она исчезла? Вы сѣтуете на то, что мужикъ не ходитъ въ сапогахъ? но сообразили ли вы, что субъектъ, обутый въ лаптяхъ, поворачивается всегда проворнѣе, нежели таковой же, обутый въ сапогахъ? Вы говорите, что мужикъ невѣжестьенъ? но подумали ли вы когда-нибудь, что невѣжественность и невѣжливость — понятія совсѣмъ не однозначащія, что нерѣдко они даже взаимно другъ друга исключаютъ? Опомнитесь, милостивые государи! Дойдите, по крайней мѣрѣ, хоть сами-то до сознанія того, объ чемъ вы сокрушаетесь и на что жалуетесь!

Картина, на которой мы изображаемъ мужика, конечно, вышла бы во сто кратъ занимательнѣе (да и во всѣхъ отношеніяхъ поучительнѣе), ежели бы вмѣсто того, чтобы безплодно обзывать мужика—мужикомъ, мы дали себѣ трудъ

добросовѣстно изобразить наши собственные исторіографскіе наѣзды противъ этого самаго мужика. По крайней мѣрѣ, мы убѣдились бы тогда, что слѣдуетъ дѣлать именно совершенно противное тому, что̀ мы дѣлаемъ, что̀бы дать русскому крестьянину возможность, безъ напряженія, перейти изъ періода лаптей въ періодъ сапоговъ...

Итакъ, оказывается, что, несмотря на вѣковѣчное существованіе, масса успѣла воспитать въ себѣ только раболѣпное тяготѣніе къ силѣ да еще безсознательно-равнодушное отношеніе не только къ общимъ интересамъ, но даже и къ тѣмъ, которые ближайшимъ образомъ затрогиваютъ ея собственную жизнь. Кто болѣе всего долженъ страдать отъ такого положенія? чьимъ интересамъ оно должно наносить ущербъ наиболѣе чувствительный? Очевидно, что, при отсутствіи сознанія въ самыхъ массахъ, наибольшая доля ущерба должна пасть на того, кто наименѣе свободенъ отъ пониманія тѣхъ послѣдствій, которыя влечетъ за собою предоставляемый силѣ безусловный разгулъ. Какъ бы отрѣшенно мы ни жили отъ жизни массъ, уровень этой послѣдней слишкомъ рѣшительно воздѣйствуетъ на уровень нашей собственной жизни, чтобы мы не чувствовали этого на каждомъ шагу. Мы не можемъ считать себя водворенными въ мірѣ законности, пока представленіе о законности не имѣетъ въ понятіяхъ массъ никакого опредѣленнаго смысла. Мы не имѣемъ основанія считать себя обезпеченными отъ неожиданностей, покуда эти неожиданности будутъ имѣть въ массахъ свои добровольныя и всегда готовыя къ услугамъ орудія. Что̀ можемъ мы сдѣлать съ нашимъ бѣднымъ одиночнымъ сознаніемъ, когда вокругъ насъ кишитъ ликующая безсознательность? На что намъ оно нужно, кромѣ того, чтобы во всей полнотѣ дать почувствовать всю горечь нашего одиночества?

Выше мы сказали, что всѣ эти дяди Митяи, которыми кишатъ наши палестины, вовсе не злой и не настолько испорченный народъ, какъ это кажется съ перваго взгляда. Это первый поводъ, сообщающій нашимъ отношеніямъ къ толпѣ характеръ симпатичности. Въ самомъ дѣлѣ, нельзя же выступать съ обвиненіемъ противъ того, что̀ не имѣетъ никакихъ признаковъ вмѣняемости; а въ этомъ смыслѣ безсознательность, конечно, принадлежитъ къ такимъ явленіямъ, относительно которыхъ гораздо приличнѣе сожалѣніе, нежели укоръ. Но есть еще и другой поводъ для симпатичности отношеній къ толпѣ — онъ заключается въ тѣхъ

внутреннихъ нитяхъ, которыя отъ самаго рожденія связываютъ насъ съ массами и которыя проходятъ потомъ неизмѣнно чрезъ все наше существованіе.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что извѣстныя движенія толпы могутъ поселять въ насъ чувство горечи. Но, негодуя на толпу и сознавая вполнѣ свое право на это негодованіе, мы все-таки не можемъ скрыть отъ себя, что не въ другомъ чемъ-нибудь, а именно въ ней, въ этой безсознательной толпѣ, заключается единственное основаніе нашей собственной силы (или, лучше сказать, возможность его), что безъ нея (безъ толпы), безъ ея участія и вниманія мы хуже, чѣмъ слабы—до насъ никому нѣтъ и не можетъ быть никакого дѣла. Въ этой зависимости отъ толпы, конечно, мало привлекательнаго (въ самомъ дѣлѣ, не горько ли зависѣть отъ чего-то безсмысленнаго, не имѣющаго никакого самосознанія?); но такъ какъ это фактъ глухой и неизбѣжный, то не подчиниться ему нѣтъ никакой возможности. Есть что-то фаталистическое въ томъ, что мы всѣ завѣтныя свѣтлыя думы наши посвящаемъ именно той забитой, малосмысленной и подчасъ жестокой толпѣ, что самый великій мыслитель, котораго мысль, повидимому, не можетъ имѣть ничего общаго съ мыслью толпы, именно ей отдаетъ лучшую часть своей дѣятельности. Да, тутъ есть своего рода фатализмъ, но не въ томъ смыслѣ, въ какомъ обыкновенно клеймятъ этимъ словомъ какое-нибудь положеніе, которое не хотятъ или не могутъ объяснить, а фатализмъ объясняемый тою общечеловѣческою основой, которая именно и составляетъ соединительное звено между неразвитою толпою и наиболѣе развитою отдѣльною человѣческою личностью.

Исторія показываетъ, что тѣ люди, которыхъ мы не безъ основанія называемъ лучшими, всегда съ особенною любовью обращались къ толпѣ, и что только тѣ политическіе и общественные акты получали дѣйствительное значеніе, которые имѣли въ виду толпу. Это вовсе не значитъ, чтобъ эти люди идентифировались толпѣ, чтобъ они принимали ея инстинкты за руководящій законъ, а значитъ только, что мысль о толпѣ, какъ о конечной цѣли всякаго полезнаго человѣческаго дѣйствія, сообщала ихъ дѣятельности то живое содержаніе, котораго она не имѣла бы, если-бъ исключительно вращалась въ сферѣ отвлеченностей. Тутъ, въ этомъ служеніи толпѣ, имѣется даже очень ясный эгоистическій разсчетъ, ибо, какъ бы мы ни были развиты и обез-

печены, мы все-таки до тѣхъ поръ не получимъ возможности быть нравственно-покойными и мирно наслаждаться нашимъ развитіемъ, покуда все, что насъ окружаетъ, не придетъ хотя въ нѣкоторое съ нами равновѣсіе относительно матеріальнаго и духовнаго благосостоянія. Человѣкъ нуждается въ обществѣ себѣ подобныхъ совсѣмъ не по капризу, а потому, что природа его по преимуществу общительная. Слѣдовательно, стоя на недосягаемой высотѣ, онъ тѣмъ сильнѣе почувствуетъ свое одиночество, чѣмъ забитѣе и безотвѣтнѣе будетъ масса, которой чуждается его гордая мысль. И онъ, конечно, загрубѣлъ бы въ своемъ уединеніи, если-бъ, къ счастію, толпа сама, на каждомъ шагу, не напоминала ему о себѣ, не указывала на зависимость его положенія и такимъ образомъ не выводила его изъ того одиночества, на которое онъ неразсчетливо себя обрекъ.

Такимъ образомъ, какъ бы подчасъ ни казалась горька наша зависимость отъ толпы, мы все-таки едва ли отважимся обвинить ее въ томъ, въ чемъ она совершенно неповинна. Вся наша умственная дѣятельность въ этомъ случаѣ должна быть обращена не къ обвиненіямъ, а исключительно къ тому, чтобы отыскать для массъ выходъ изъ той глубокой безсознательности, которая равно вредна для нихъ, какъ и для насъ. Какія существуютъ средства, чтобы отыскать и указать такой выходъ, —объ этомъ мы покуда распространяться не будемъ и даже думаемъ, что средства тѣ откроются сами собою всякому человѣку, взирающему на народъ не съ высоты безсмысленнаго величія. Но не можемъ умолчать здѣсь о томъ основаніи всѣхъ средствъ, которое, по нашему мнѣнію, само по себѣ уже можетъ оказать весьма важное воспитательное дѣйствіе. Мы говоримъ о сближеніи съ народомъ, или, иными словами, о симпатическомъ отношеніи къ тѣмъ разнороднымъ и безчисленнымъ убожествамъ, которыя опѣпляютъ его жизнь.

Много было у насъ писано и толковано о такъ-называемомъ сближеніи съ народомъ, и въ концѣ концовъ мы пришли только къ необходимости подвергнуть осмѣянію всѣ попытки, которыя дѣлались въ этомъ смыслѣ въ тѣхъ или другихъ пунктахъ нашихъ обширныхъ палестинъ. И въ самомъ дѣлѣ, поводовъ для смѣха было достаточно. Вездѣ на первомъ планѣ была какая-то меньшая братія, которую мы, съ самой серьезной наивностью, старались возвысить до себя посредствомъ сидѣнія на одинаковыхъ съ нами крес-

лахъ и сотрапезованія на одинаковыхъ съ нами тарелкахъ. Какъ мы ни стары, какъ ни велика наша опытность, однако мы ни до чего другого, кромѣ тарелокъ и стульевъ, не додумались. Въ равенствѣ тарелокъ мы уже видѣли какое-то начало, уравнивающее людей, а въ равенствѣ объяденія усматривали какую-то эмблему, существованіе которой давало намъ поводъ надолго успокоиться отъ дальнѣйшихъ попытокъ въ этомъ родѣ.

Нигдѣ, ни въ одной изъ этихъ безчисленныхъ попытокъ, членъ народной массы не являлся—не въ качествѣ меньшей братіи, а просто въ качествѣ человѣка.

Всѣмъ намъ памятны эти полуребяческія торжества, въ которыхъ преимущественно выражалось наше такъ-называемое сближеніе съ народомъ; всѣ мы твердо знаемъ, сколько было тутъ высказано чувствительныхъ и, пожалуй, даже искреннихъ словъ, сколько было пріѣдено прекраснѣйшей провизіи и выпито вина, вина, вина... И всѣ мы никакого другого чувства изъ этихъ торжествъ не вынесли, кромѣ самаго тяжелаго. Отчего?

А оттого, милостивые государи, что мы и тогда очень хорошо понимали и теперь понимаемъ, что тутъ, въ самомъ благопріятномъ случаѣ, не присутствовало ничего другого, исключая минутнаго нервнаго раздраженія. Это была поэзія, это было мгновенно разыгравшееся вдохновеніе, вліянію котораго такъ охотно поддается русскій человѣкъ и которое такъ же быстро и такъ же безпричинно потухало, какъ и возбуждалось. Всѣ эти вольные художники, распаленные любовью къ народу, утихали и успокоивались немедленно, какъ только убирали со стола тарелки. Зрители, присутствовавшіе при рѣчахъ, которыя впору произнести иному влюбленному, не успѣвали опомниться, какъ уже повсюду усматривали одни объѣдки. Омужиченные благородные ораторы удалялись предаваться новымъ вдохновеніямъ, облагороженные мужики уходили во-свояси, мечтая о томъ, какого новаго пришибанія слѣдуетъ ожидать отъ разыгравшихся ораторовъ. Это было общее поголовное упоеніе звуками своего собственнаго голоса; это было торжество того неприличнаго явленія, въ силу котораго Хлестаковъ могъ въ одно и то же время и понимать, что онъ говоритъ небывальщину, и искренно вѣрить этой небывальщинѣ. Ясно, что попытки такого рода не могли даже претендовать на названіе серьезныхъ.

Но, за всѣмъ тѣмъ, даже и онѣ не остались безслѣдными,

даже равенство тарелочное не вполнѣ оказалось безплоднымъ. Вездѣ, гдѣ прошла эта ребяческая струя, оказалось, что человѣческая совѣсть уже заручилась какимъ-то воспоминаніемъ, какимъ-то смутнымъ вожделѣніемъ. Какъ ни мало обязываетъ сидѣніе за однимъ столомъ и ѣда вилками, сдѣланными изъ одинаковаго металла, но и они къ чему-то обязываютъ, хоть къ тому, напримѣръ, что нельзя развязно бить по лицу и обзывать курицынымъ сыномъ того самаго субъекта, который не дальше, какъ вчера, былъ нашимъ сотрапезникомъ и собутыльникомъ. Съ этой точки зрѣнія, всякая новая формальность, становящаяся между мужикомъ и членомъ цивилизованнаго меньшинства, есть уже формальность не безполезная, а могущая служить отправнымъ пунктомъ для многихъ другихъ, тоже небезполезныхъ, формальностей.

Тѣмъ несомнѣннѣе должны быть слѣды, которые имѣетъ оставить по себѣ то серьезное сближеніе, гдѣ народъ является не въ качествѣ меньшей братіи, наряженной и приглаженной по-праздничному, а въ качествѣ собранія людей, выросшихъ въ мѣру взрослаго человѣка. Сближеніе такого рода не имѣетъ въ себѣ ничего фантастическаго, это не славянофильское любованіе какими-то таинственными и всегда запечатлѣнными клеймомъ безсознательности задачами, которыя суждено будто бы, въ ущербъ себѣ и вопреки здравому смыслу, выполнить русскому народу; это не ласкательство предразсудкамъ, жестокости и дикости, потому только, что они родились въ народѣ; нѣтъ, это просто изученіе народныхъ нуждъ и представленій, сложившихся болѣе или менѣе своеобразно, но все-таки принадлежащихъ несомнѣнно взрослому человѣку.

Чтобы понять, что именно нужно народу, чего ему недостаетъ, необходимо поставить себя на его точку зрѣнія, а для этого не требуется ни нагибаться, ни кокетничать. Если кому-нибудь изъ читающихъ эти строки случалось быть въ положеніи человѣка, пораженнаго большимъ несчастіемъ, понесшаго тяжкую для сердца утрату, то онъ, безъ сомнѣнія, помнитъ, какъ тягостны и даже противны казались тѣ безплодныя утѣшенія, тѣ безсодержательныя соболѣзнованія, которыя сыпались на него по этому случаю со всѣхъ сторонъ, и какъ драгоцѣнны были тѣ немногія попытки, которыя уяснили ему его положеніе и указывали практическій выходъ изъ него. Толпа народная

находится именно въ положеніи этого глубоко-огорченнаго человѣка, которому въ равной степени противны и безсознательныя сѣтованія, и пошлыя, всегда лицемѣрныя, заигрыванія насчетъ претерпѣваемыхъ ихъ утратъ...

Письмо седьмое.

У насъ до сихъ поръ не возникалъ еще вопросъ о томъ, можетъ ли и въ какой мѣрѣ провинція заявлять претензію на самостоятельность. Чувствуется ли, напримѣръ, потребность въ мѣстныхъ органахъ печати? возможно ли въ провинціи самостоятельное общественное мнѣніе? настолько ли дѣйствительны и живы мѣстные интересы, чтобы ради нихъ лучшія силы губернской интеллигенціи имѣли поводъ задерживаться въ провинціи, а не устремляться вонъ изъ нея, чтобы отыскивать для себя поприще болѣе обширное и дѣятельное?

Должно сознаться, что даже и въ настоящее время, когда уже начинаетъ мало-по-малу сказываться связь между центромъ и окружностью, столичное общественное мнѣніе все еще смотритъ на провинцію, какъ на какой-то придатокъ, существующій не ради себя самого, а для удовлетворенія инымъ, иногда даже весьма не близкимъ, цѣлямъ.

Такъ-называемая мысль провинціи, ея желанія, инстинкты предполагаются до такой степени общеизвѣстными, что никому даже въ голову не приходитъ провѣрить—въ самомъ ли дѣлѣ эта общеизвѣстность такова, какъ предполагается. Нѣтъ ли тутъ какой-нибудь игры словъ? Не слѣдуетъ ли, вмѣсто выраженія: «общеизвѣстность», употребить болѣе подходящее: «обязательность»?

Что такое отношеніе столичнаго общественнаго мнѣнія къ провинціи существуетъ — это доказывается уже тѣмъ, что даже въ такихъ случаяхъ, когда первое почему-нибудь считаетъ нелишнимъ, чтобы провинція подала свой голосъ въ извѣстномъ вопросѣ, то оно ожидаетъ отъ этого голоса не провѣрки, а только подтвержденія. И факты никогда не обманывали подобныхъ ожиданій; напротивъ того, они постоянно и упорно подтверждали, что столичное мнѣніе имѣетъ полное право называть провинціальную мысль и общеизвѣстною, и обязательною.

Испытайте мысль любого изъ столичныхъ бюрократовъ о провинціи, очистите эту мысль отъ тѣхъ оговорокъ, кото-

рыми она почти всегда затемняется, и вы навѣрное прочтете такъ: провинція есть среда, въ которой собираются подати и налоги, необходимые для безостановочнаго дѣйствія центровъ. Испытайте мысль объ этомъ же предметѣ любого члена нашей праздношатающейся интеллигенціи, и вы прочтете такъ: провинція есть то злачное мѣсто, изъ котораго извлекаются матеріальныя средства, необходимыя для удобнаго существованія въ столицѣ. Спросите наконецъ любого изъ исторіографовъ, преждевременно одряхлѣвшихъ отъ волненій, испытанныхъ въ столичныхъ танцклассахъ, и въ настоящую минуту дѣлающихъ наѣзды на наши провинціальныя палестины, — спросите ихъ, зачѣмъ они приволокли сюда свою дряблость и истасканность?—и вы навѣрное услышите отвѣтъ: надо же наконецъ отдохнуть! Даже купцы, въ рукахъ которыхъ скапливалось въ былое время большинство мѣстныхъ капиталовъ и которые всегда охотно сживались съ родными гнѣздами, нынче, благодаря торговому космополитизму, знаютъ, куда обратить дѣятельность, для которой провинція уже не представляетъ выгоднаго поприща. Правда, остается мужикъ, который попрежнему сидитъ крѣпко на мѣстѣ; но что же такое мужикъ, какъ не тягловая единица, которая постоянно производитъ и у которой постоянно же производимое болѣе или менѣе проходитъ между пальцевъ?

Все чувствующее въ себѣ силу неудержимо стремится вонъ изъ провинціи. Сами провинціальные обыватели, повидимому, совершенно искренно убѣждены, что провинція не что иное, какъ придатокъ, и что это самое приличное для нея положеніе. «У насъ просто, у насъ безъ хитрости, у насъ всякой борзой собакѣ мѣсто найдется», скажутъ вамъ одни, и вы почувствуете, что это слова не бросовыя, что они произносятся даже не съ ожесточеніемъ, а съ добродушнѣйшею искренностью. «У насъ скука! у насъ отъ нея одной не поглупѣть невозможно!» скажутъ другіе; но и въ этихъ словахъ вы не почувствуете ни озлобленія, ни ропота, а развѣ какую-то робкую, почти неумѣстную иронію. «Ничего у насъ не подѣлаешь, да и дѣлать, признаться, нечего», присовокупляютъ третьи и, ежели угодно, даже докажутъ фактически, что дѣлать дѣйствительно нечего. И наконецъ: «у насъ безъ того, чтобы не пить, нельзя...»

Нѣсколько разъ въ теченіе настоящихъ писемъ была выражена мысль, что современная провинція уже не пред-

ставляетъ собою того дремучаго лѣса, какимъ она была въ прежнее и даже весьма недавнее время. Повидимому, мысль эта противорѣчитъ мнѣнію, высказанному выше; но это противорѣчіе только кажущееся. Нѣтъ спора, внѣшнія формы провинціальнаго быта улучшились, даже внутреннее его содержаніе значительно видоизмѣнилось; но никто не скажетъ, что это улучшеніе и измѣненіе выработалось провинціей самостоятельно, чтобы оно не было наслано на нее извнѣ, въ такую минуту, когда она меньше всего о томъ помышляла.

Жизнь обновилась, но по поводу этого обновленія провинція не выказала ни малѣйшей инициативы. Мало того: это обновленіе потребовалось въ нее *вводить* точно такимъ же порядкомъ, какъ вводится, напримѣръ, шестипольное хозяйство вмѣсто трехпольнаго. Раздѣлятъ каждое поле на-двое и начнутъ пахать, боронить и сѣять по-новому. Земля непосредственно не возражаетъ противъ нововведеній, но и не содѣйствуетъ имъ; то-есть, коли хотите, и у нея есть способъ откликаться на нововведенія земледѣльца посредствомъ урожаевъ или неурожаевъ, но это способъ чисто страдательный, свойственный ея неорганической природѣ. То же самое можно сказать и относительно провинціи, съ тою только разницей, что тутъ не можетъ быть рѣчи объ урожаяхъ или неурожаяхъ.

Мы живо помнимъ конецъ пятидесятыхъ и начало шестидесятыхъ годовъ; въ то время столичное общественное мнѣніе кипѣло и волновалось такъ-называемыми вопросами; кипѣла и волновалась ими и провинція. Но и въ этомъ, повидимому, искреннемъ кипѣніи она на каждомъ шагу путалась въ противорѣчіяхъ: съ одной стороны преувеличивала, съ другой — пасовала; но ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ не сумѣла выказать одного: самостоятельной творческой способности. Провинціальный нервъ напрягался и ослабѣвалъ, повинуясь какой-то случайности, такъ что со стороны можно было заподозрѣть, нѣтъ ли тутъ какого-нибудь начальственнаго предписанія. Но предписанія никакого не было, а было одно: отсутствіе сознательности. Замутилось столичное общественное мнѣніе—замутилась за нимъ и провинція. Не потому замутилась, чтобы дошла до сознанія, что кипѣть довольно, а просто замутилась—да и все тутъ. И даже не постепенно произошла въ ней эта перемѣна, а вдругъ; вчерашніе рьяные либералы проснулись либералами стыдливыми, и не могли ни другимъ, ни себѣ дать отчета, почему это такъ сдѣлалось.

Все это факты, совершившіеся на нашихъ глазахъ. Высказала ли провинція по поводу ихъ свое слово? выразила ли она хоть чѣмъ-нибудь, что ея мнѣніе не есть то заранѣе извѣстное и обязательное мнѣніе, узнавать о которомъ было бы совершенно лишнею формальностью, ведущею только къ проволочкѣ времени?

Нѣтъ; не высказала и не выразила ничего, потому что нѣтъ у нея главнаго условія, которое необходимо для жизни дѣятельной и полагающей починъ—нѣтъ самосознанія, а слѣдовательно нѣтъ и слова для выраженія его. Конечно, и въ провинціи вы можете встрѣтить—и даже нерѣдко — людей несомнѣнно талантливыхъ и даже энергическихъ; но самая характеристическая черта этихъ талантливостей заключается въ томъ, что онѣ постоянно какъ будто торопятся и постоянно же чего-то ожидаютъ. Знаете ли, что собственно составляетъ предметъ этихъ тревожныхъ ожиданій? Увы! Это не болѣе и не менѣе, какъ пріѣздъ сановника, флигель-адъютанта или вообще лица власть имѣющаго. И совсѣмъ не потому, чтобы лицезрѣніе сихъ особъ заключало въ себѣ нѣчто необычайно лестное для дальновиднаго провинціала, а просто потому, что въ каждой «особѣ» талантливость усматриваетъ орудіе, которое можетъ извлечь ее изъ неизвѣстности, то-есть опять-таки вывезти изъ провинціи. «Вотъ,—думаетъ талантливость:— пріѣдетъ W; сейчасъ я его плѣняю и пріятно изумляю: онъ меня, я его, и...» И уже видитъ себя окруженною нѣкоторымъ бюрократическимъ ореоломъ и вносящею такъ-называемую новую струю въ разнообразный департаментскій соръ, вѣками накопленный въ столицахъ.

Таковы тайныя стремленія такъ-называемыхъ провинціальныхъ талантливостей. И наяву, и во снѣ онѣ видятъ одно: какъ бы развязаться съ провинціей. Имъ не улыбается мысль, что лучше быть первымъ въ деревнѣ, нежели вторымъ въ Римѣ; имъ не приходитъ въ голову даже то совершенно естественное предположеніе, что, сдѣлавшись участникомъ столичнаго движенія, онѣ не только не внесутъ никакой новой струи, но сами утонутъ въ департаментскомъ сорѣ. Нѣтъ, онѣ фаталистически и безъ всякихъ соображеній влекутся вонъ изъ провинціи, всѣ интересы которой кажутся имъ и ограниченными и пошлыми.

Примѣры подобныхъ неудержимыхъ стремленій истинно поразительны; укажемъ здѣсь на одинъ изъ нихъ. Извѣстно,

что нигдѣ такъ не распространенъ классъ такъ-называемыхъ самоучекъ, какъ въ провинціи. Эти люди всѣ свои способности употребляютъ или на то, чтобы изобрѣтать изобрѣтенное, или на то, чтобы разрѣшать неразрѣшимое. Очень можетъ статься, что это личности въ своемъ родѣ весьма способныя, но не подлежитъ спору, что, въ то же время, нѣтъ на свѣтѣ породы людей болѣе безполезной и болѣе бросающейся въ глаза своею неразвитостью. И что-жъ? попробуйте испытать сокровенную мысль одного изъ этихъ рѣшителей неразрѣшимаго, и вы навѣрное прочтете ее такъ: «а вотъ погоди! ужо, какъ открою квадратуру круга, въ ту-жъ минуту махну въ Петербургъ!» Вотъ, видите ли, даже эти недоразвившіеся организмы находятъ для себя провинцію слишкомъ тѣсною; даже они, почувствовавъ смутные признаки умственнаго вожделѣнія, уже ищутъ для него поприща болѣе свободнаго и просторнаго!

Но ежели провинціальная жизнь представляетъ такъ мало интересовъ, что лучшія силы провинціи не имѣютъ повода задерживаться въ ней; ежели провинція постоянно много даетъ и постоянно же мало получаетъ въ возвратъ, то весьма естественно возникаетъ вопросъ: до какихъ поръ можетъ продолжаться подобный несоразмѣрный обмѣнъ услугъ, и не должна ли эта явная несоразмѣрность привести къ постепенному обѣднѣнію и даже разоренію той страны, которая, по обстоятельствамъ, поставлена въ болѣе невыгодное положеніе? Что это вопросъ дѣйствительный, а не призракъ, вызванный взволнованнымъ воображеніемъ,—въ этомъ легко убѣдится всякій, у кого есть глаза для сравненій и здравый смыслъ для выводовъ.

Всякій земледѣлецъ, даже рутинеръ, нынче хорошо понимаетъ, что, какъ бы ни были богаты производительныя силы земли, она постепенно бѣднѣетъ и даже совсѣмъ перестаетъ производить, если относительно нея принята система все брать и ничего не возвращать. Всякій не совсѣмъ безумный помѣщикъ добраго стараго времени, желая извлекать выгоду изъ своего двороваго человѣка, никогда не упускалъ изъ вида, что достигнуть этой выгоды нельзя иначе, какъ предварительно вооруживъ этого двороваго средствами для добыванія нужнаго оброка. Съ этою цѣлью дворовыхъ людей съ малолѣтства обучали мастерствамъ; убогихъ же и калѣкъ, по малой мѣрѣ, снабжали сумою. Но и тутъ нерѣдко оказывалось, что человѣческая кожа не безъ конца растяжима, и что человѣческія мышцы

не могутъ безгранично напрягаться. Кажется, этихъ двухъ простыхъ примѣровъ весьма достаточно, чтобы доказать, что вообще въ цѣлой природѣ нѣтъ и не можетъ быть такой благодатной сокровищницы, изъ которой можно было бы черпать, и только черпать.

Тѣмъ не менѣе насъ не вразумляютъ ни свидѣтельства опыта, ни подсказыванія здраваго смысла. Мы ухитряемся возсоздать для себя миѳологическій образъ древней фортуны, слѣпой и неразумной, но въ то же время никогда не истощающейся. Эта фортуна—провинція; она и слѣпа, и безсильна, и скудна начинаніями, но—о, чудо!—кошель ея дѣйствительно какъ будто не опоражнивается, несмотря на то, что усилія, дѣлаемыя въ видахъ этого опорожненія, не подлежатъ никакому сомнѣнію.

Какимъ образомъ происходитъ, что безплодіе производитъ плоды, а безсиліе даетъ силу—это объяснить довольно трудно. Впрочемъ, едва ли кто-нибудь и старается выяснить себѣ эту странную аномалію, ибо тутъ, повидимому, важенъ только непосредственный практическій результатъ. Что провинція слѣпа—это даже хорошо, потому что если бы на свѣтѣ все были люди зрячіе, они, пожалуй, и на солнцѣ не замедлили бы усмотрѣть пятна; что провинція нехитра на выдумки—и это недурно, потому что все наше несчастіе именно въ томъ и состоитъ, что мы желаемъ быть умнѣе умныхъ. Сущность не въ томъ, чтобы провинція представляла собой бодрую производительную силу, а въ томъ, чтобы такъ или иначе изъ нея лѣзло на украшеніе и вящшую утѣху центровъ. И лѣзетъ.

Когда случается завести въ этомъ смыслѣ разговоръ съ нашими провинціальными исторіографами, то они обыкновенно только таращатъ глаза. Въ этихъ простыхъ соображеніяхъ все кажется имъ дикимъ, непривычнымъ, почти карбонарскимъ. Они положительно думаютъ, что производительность и распорядительность—два выраженія однозначащія и легко замѣняющія одно другое, и что ежели первая прекращается или оскудѣваетъ, то не потому, что всякому напряженію имѣются извѣстные предѣлы, а просто по какому-то упорству со стороны производителей,—упорству, противъ котораго имѣется подъ руками вѣрнѣйшее средство, а именно, та самая пресловутая распорядительность, которая, по ихъ мнѣнію, можетъ замѣнить все.

Съ помощью этого безсмысленнаго выраженія, да еще съ помощью благоразумной строгости (тоже выраженіе не очень

богатое смысломъ), эти несчастные надѣются всего достигнуть: и проблесковъ народнаго генія, и разумнаго распоряженія силами природы, и рѣкъ, текущихъ млекомъ и медомъ. По мнѣнію ихъ, стòитъ человѣка высѣчь, чтобы изъ него полѣзло всякое изобиліе плодовъ земныхъ; стòитъ продать у человѣка корову или лошадь, чтобы у него сейчасъ же, на мѣсто проданныхъ, явились двѣ коровы и двѣ лошади.

— Je voudrais bien voir!—гремитъ одинъ.

— Явится все-съ: и хлѣбъ-съ, и деньги!—повѣствуетъ другой.

— Какъ примутся, знаете, за нихъ вплотную... запоютъ-съ! откуда чтò возьмется! -угрожаетъ третій.

Напрасно вы будете доказывать, что пѣніе, какъ результатъ распорядительности, ровно ничего не значитъ, что въ этомъ случаѣ выраженіе «откуда чтò возьмется», хотя и оправдываемое кажущимся успѣхомъ, все-таки не болѣе какъ миражъ, которому довѣряться опасно,—исторіографы будутъ въ отвѣтъ на ваши доводы только больше и больше сверкать глазами и издавать неясные звуки. Это сверканіе глазъ, это вращаніе зрачками, эти звуки... все это вмѣстѣ взятое составляетъ такое зрѣлище, которое почти невозможно изобразить.

Такимъ образомъ предусмотрительность, съ одной стороны, и молчаніе, съ другой, производятъ то кажущееся отсутствіе затрудненій, которое вводитъ въ обманъ. Въ самомъ дѣлѣ, покуда будетъ возможность ссылаться на распорядительность или нераспорядительность, до тѣхъ поръ, конечно, никто не имѣетъ права предъявлять никакихъ претензій ни на дальновидность, ни на сообразительность, ни на глубокомысліе со стороны исторіографовъ. Они не видятъ—это правда; они не размышляютъ—и это опять правда; но они имѣютъ полное основаніе не видѣть и не размышлять—вѣдь и это не парадоксъ, а истинная истина. Если невиннѣйшая изъ дѣвицъ можетъ дать только то, чтò имѣетъ, то тѣмъ болѣе должно быть примѣнимо это правило къ исторіографамъ, которые ужъ совсѣмъ ничего не могутъ дать, потому что ровно ничего не имѣютъ. Исторіографъ — человѣкъ ближайшихъ и непосредственныхъ средствъ, онъ не разсуждаетъ, не заглядываетъ въ даль, не путается въ мысляхъ, а просто махаетъ жердью направо и налѣво. И когда жердь ушибаетъ, онъ не догадывается, что сдѣлалъ одно изъ тѣхъ глупыхъ дѣлъ, изъ которыхъ

даже для него лично ничего, кромѣ вреда, не выйдетъ, а просто упивается своимъ торжествомъ и, самодовольно восклицая: «га! опомнились!»—ставитъ до времени побѣдоносную жердь въ уголъ.

Тѣмъ не менѣе постепенное отощаніе провинціи уже начинаетъ сказываться во всемъ. Чувствуется, что провинція какъ будто перестаетъ жить, что она расплачивается не доходами, а капиталомъ. Повсюдная дороговизна свидѣтельствуетъ, что даже выраженіе «откуда что возьмется» скоро сдѣлается преданіемъ, сохранившимъ свой авторитетъ развѣ только въ глазахъ становыхъ приставовъ и исправниковъ; всеобщее равнодушіе, апатія, лѣнь доказываютъ, что та же самая участь постигнетъ, ежели уже не постигла, плоды умственные. «Нѣтъ дѣятелей, нѣтъ денегъ, некуда идти!» жалуются люди, стоящіе у самаго источника провинціальной производительности, какъ матеріальной, такъ и умственной. Оказывается, стало-быть, что безмолвіе и отсутствіе инициативы вовсе не такое драгоцѣнное явленіе, какъ можно было ожидать. Каждый провинціалъ чувствуетъ, что въ его существованіе закралась небывалая доселѣ тяжесть; каждый видитъ себя опутаннымъ какими-то сѣтями которыхъ онъ ни распутать, ни разорвать не можетъ. Куда бы онъ ни ступилъ, вездѣ его нѣчто гнететъ и гложетъ, и въ то же время все даже это гнетущее—такъ ему постыло такъ противно, такъ само по себѣ ничтожно, что ни на что бы онъ не смотрѣлъ, ни къ чему бы не прикоснулся.

И вотъ поднимаются сѣтованія и припоминанія; пускаютъ въ ходъ обращенія къ прошлымъ, вѣчно памятнымъ блистательнымъ днямъ... назадъ! назадъ!

Въ провинціи не въ рѣдкость и теперь встрѣтить апологистовъ добраго стараго времени. Огромное большинство подобныхъ апологистовъ, конечно, представляетъ собой ходячія вѣтряныя мельницы, которыя мелютъ всякій вздоръ, какой случайно попадетъ на языкъ; но есть и такіе, у которыхъ по временамъ прорываются нѣкоторые признаки мысли. Какъ и слѣдуетъ ожидать, апологисты эти вертятся исключительно около крѣпостного права, этого единственнаго явленія нашего прошлаго, которое представляло собой нѣчто сложившееся и окрѣпшее. По мнѣнію апологистовъ, крѣпостное право хотя и не въ полной мѣрѣ, но все-таки до извѣстной степени прикрывало жизнь отъ наѣздовъ, случайностей и сюрпризовъ.

— Прежде,—говорятъ апологисты крѣпостного права:— каждый, по крайней мѣрѣ, зналъ, гдѣ онъ находится; каждый имѣлъ возможность опредѣлить тѣ границы, въ которыхъ его не могъ настигнуть сюрпризъ. Оттого жизнь держалась тверже, и нельзя было не считаться съ нею: въ провинцію не наѣзжали канканирующіе сорванцы, которые даже и до того не могутъ додуматься, что человѣческая дѣятельность должна управляться мыслью, а не похотью. Бывали, конечно, и прежде люди нестерпимые и даже, пожалуй, они составляли большинство,—но они все-таки знали, чего хотѣли, да и другихъ въ заблужденіе не вводили. Теперь же, куда ни взглянешь, кажется, и свободнѣе, и легче дышать стало, а не дышится, да и все тутъ! А отчего? Оттого, милостивые государи, что жизнь оголилась, что со всѣхъ сторонъ ее такъ и заноситъ всякаго рода неожиданностями.

Въ этомъ разсужденіи есть громадная и глубокая неправда, о которой будетъ сказано ниже; но съ точки зрѣнія непосредственныхъ результатовъ въ немъ все-таки слышится какое-то подобіе истины. Какъ ни ужасно представить себѣ жизнь, стоящую подъ защитой крѣпостного права, но еще невыносимѣе, еще больнѣе сознавать полное оголеніе жизни. Въ самомъ дѣлѣ, куда ни обратите взоры, вездѣ вы услышите жалобу на то, что жизнь вышла изъ старой колеи, а новой колеи не находитъ; вездѣ увидите людей, изнемогающихъ подъ игомъ неизвѣстности, ищущихъ къ чему-нибудь пріурочиться и не находящихъ убѣжища. Это до такой степени вѣрно, что даже тѣ, которымъ именно слѣдовало бы дышать легче, и тѣ пришли къ недоумѣнію: отчего, въ самомъ дѣлѣ, не дышится легче? Не рѣдкость даже встрѣчать бывшихъ крѣпостныхъ людей, которые со вздохомъ вспоминаютъ о крѣпостномъ правѣ. Ужели же они защищаютъ его? ужели они желали бы возвратиться къ нему? Конечно, нѣтъ; но такъ какъ обращеніе къ воспоминаніямъ прошлаго не выдумка, то поневолѣ приходитъ на мысль, что эти обращенія, эти вздохи вызываются совсѣмъ не прелестями упраздненнаго, а наготою настоящаго. Не могила крѣпостного права привлекаетъ къ себѣ, а представленіе о томъ цвѣтѣ, который имѣлъ возрасти на этой могилѣ. Очевидно, что упраздненіе есть только односторонняя форма человѣческой дѣятельности; очевидно, что она составляетъ отрицаніе, которое, конечно, можетъ на время увлечь кажущимися перспекти-

вами, но которое, при продолжительномъ дѣйствіи, производитъ одно недоумѣніе. Никто, конечно, не станетъ защищать финансиста, который, вмѣсто того, чтобы отыскивать новые источники государственныхъ доходовъ и заботиться о сокращеніи государственныхъ расходовъ, предложилъ бы удовлетворять нужды бюджета посредствомъ безконечныхъ займовъ: но съ русскою провинціальною жизнью именно происходитъ нѣчто въ этомъ родѣ. Она ничего новаго не вырабатываетъ, ничего стараго не сокращаетъ (да и сократить-то, кажется, нечего), а живетъ какими-то займами, настолько темными, что никто не можетъ даже достовѣрно указать на ихъ источникъ.

Такимъ образомъ, съ одной стороны, освобожденіе жизни отъ путъ, ее связывающихъ, съ другой, вмѣсто ожидаемыхъ благотворныхъ результатовъ, несомнѣнное оскудѣніе жизни - вотъ печальная истина современнаго провинціальнаго быта.

Откуда же происходитъ эта неприкрытость жизни? Гдѣ искать причину повальнаго безсилія, которое заставляетъ человѣка останавливаться на половинѣ дороги, задерживаетъ его въ подробностяхъ и мелочахъ и не допускаетъ до обобщеній и выводовъ?

Вотъ тутъ-то именно мы и встрѣчаемся съ тою вопіющею неправдой, о которой вскользь упомянуто выше и которую апологисты крѣпостного права считаютъ за лучшее скрыть.

Дѣло въ томъ, что хотя крѣпостное право и давало жизни извѣстное прикрытіе, но прикрытіе это было только мнимое. Въ сущности, оно не только ничего не защищало, но, напротивъ того, систематически и на неопредѣленное время подрывало у жизни всякую возможность выработать себѣ какое-нибудь прикрытіе въ будущемъ. Случайность и неожиданность, лежащія въ его основѣ, служили защитой только тому, что̀ само по себѣ было растлѣвающимъ началомъ жизни, тому, отъ чего жизни не было бы ни тепло, ни холодно, если-бъ горькій фатализмъ не связывалъ здѣсь двѣ противоположныя сложности—упорный трудъ и не менѣе упорное бездѣлье, и не ставилъ первый въ зависимость отъ второго. Такого рода защита, пожалуй, и теперь есть—стóитъ только взглянуть на сытыя и довольныя лица губернскихъ исторіографовъ, чтобъ убѣдиться въ этомъ,—но результаты, къ которымъ она приходитъ, стали до такой степени ясны, что никому даже въ голову не приходитъ

назвать ихъ результатами. И прежде, какъ и нынѣ, произволъ никого не воспитывалъ, ничего положительнаго, добраго и плодотворнаго не достигалъ; и прежде, какъ и нынче, онъ былъ только нарадным пугаломъ, за которымъ таился прахъ. И вотъ тѣ бросовыя, размалеванныя стѣнки, которыя казались намъ несокрушимыми укрѣпленіями, разлетѣлись при первомъ дуновеніи вѣтра и сразу обнаружили изумленному міру скрывавшееся за ними умственное и матеріальное убожество...

Есть ли же послѣ этого поводъ утверждать, что крѣпостное право что-то прикрывало, что-то ограждало? Нѣтъ, этого повода нѣтъ, и жизнь того времени была еще менѣе прикрыта, нежели нынѣшняя, только это не замѣчалось тѣми, которые, по своему положенію, одни и могли что-нибудь замѣчать. Искусственныя связи, которыми мы съ такими неслыханными усиліями старались сплотить наши разлѣзающіяся во всѣ стороны немощи, хотя и могли временно ввести въ заблужденіе неопытныхъ, но дѣйствительной связи никогда не представляли. Не говоря уже о томъ, что въ этомъ случаѣ именемъ «связей» прикрывался простой гнетъ, который убивалъ въ самомъ зародышѣ всякій проблескъ народной самодѣятельности, эти такъ-называемыя связи все общество дѣлили на двѣ половины, которыя равно другъ друга чуждались, а можетъ-быть, даже и равно другъ друга ненавидѣли. Можно ли назвать прикрытою такую жизнь, въ которой каждая составная часть идетъ врозь, въ которой нѣтъ ни силы, ни почина, ни поводовъ для энергіи, въ которой все, что̀ ни дѣлается, дѣлается безучастно, апатически, почти съ ненавистью?

Нѣтъ, не въ упраздненіи крѣпостного права слѣдуетъ искать причину современнаго оголенія нашей провинціальной жизни, а въ чемъ-то другомъ, и это другое едва ли не въ томъ состоитъ, что мы выраженію «крѣпостное право» придаемъ слишкомъ тѣсный и спеціальный смыслъ.

Крѣпостное право не въ томъ только заключается, что тутъ съ одной стороны —господа, а съ другой—рабы. Это только внѣшняя и притомъ самая простая форма, въ которой выражается крѣпостничество. Гораздо важнѣе, когда это растлѣвающее начало залегаетъ въ нравы, когда оно поражаетъ умы, и вотъ въ этомъ-то смыслѣ все, что̀ носитъ на себѣ печать произвола, все, что̀ не мѣшаетъ проявленіямъ его дикости, можетъ быть столь же безошибочно названо тѣмъ именемъ, въ силу котораго какой-нибудь Ивашка

или Сёмка, ложась на ночь спать, не знали, чѣмъ они завтра встанутъ: ключниками ли, хранителями господскаго добра, или свинопасами.

Отвѣтимъ себѣ хоть разъ откровенно: знаемъ ли мы, бѣдные, неприкровенные провинціалы, чѣмъ встанемъ завтра съ постелей нашихъ? Знаемъ ли мы, что̀ мы дѣлаемъ и для чего дѣлаемъ? Увѣрены ли мы, что наше разумное дѣйствіе дастъ и результатъ разумный, что дѣйствіе неразумное и послѣдствія будетъ имѣть соотвѣтствующія? Отвѣтимъ на эти вопросы и тогда уже спросимъ себя: ужели мы не погрязли по горло въ томъ самомъ крѣпостномъ правѣ, которое дѣлало такъ нестерпимымъ, по своей безалаберной шаткости, положеніе всевозможныхъ Ивашекъ и Сёмокъ?

Порокъ такъ-называемаго крѣпостного права не въ томъ одномъ состоитъ, что оно допускаетъ явно безнравственныя отношенія между людьми, а въ томъ, что при существованіи его невозможенъ успѣхъ, невозможна жизнь. Въ какихъ бы видахъ, подъ какими бы наименованіями ни проникало въ жизнь это разлагающее начало, оно настигнетъ свою жертву и доканаетъ ее во что̀ бы то ни стало. Какъ хотите хитрите, придумывайте какіе угодно извороты, но когда источникъ изсякнетъ, то воды не будетъ—это несомнѣнно. Напрасно мы будемъ классифицировать наши пороки, напрасно будемъ отдѣлять ихъ перегородками и отыскивать для каждаго свое мѣсто—нѣтъ, это все дѣти одного и того же отца, и имя имъ всѣмъ: крѣпостное право. Не потому оголилась и оголяется жизнь, что крѣпостничество уничтожено, а потому, что оно еще дышитъ, буйствуетъ и живетъ между нами.

Намъ тяжело жить — это правда, намъ тяжелѣе, нежели отцамъ нашимъ — и это опять правда; но не оттого совсѣмъ, чтобы условія современной жизни измѣнились къ худшему, а оттого, что они *мало измѣнились къ лучшему*. Отцамъ нашимъ много помогало въ жизни безсознательное отношеніе къ ней; мы же хотя и не вышли совершенно изъ положенія безсознательности, но все-таки нѣсколько порастлились. Это дѣлаетъ наши горести еще болѣе чувствительными, и хотя средствъ, чтобы выйти изъ произвола, мы еще не измыслили, но чувствуемъ, очень чувствуемъ, что не розами около насъ пахнетъ.

Какое заключеніе можно вывести изъ всего сказаннаго выше? Какое будущее ожидаетъ провинцію, ежели мате-

ріальныя и умственныя ея силы будутъ попрежнему устремляться къ центрамъ? и возможно ли придумать такую комбинацію, которая остановила бы это стремленіе и задержала въ провинціи то, что̀ необходимо для успѣховъ ея развитія?

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что ежели положеніе вещей въ провинціи останется въ томъ же видѣ, въ какомъ оно находится нынѣ, ежели всякая попытка внести въ мѣстную дѣятельность смыслъ будетъ и впредь приниматься нашими исторіографами за попытку подорвать общественныя основы, то провинція въ концѣ концовъ заглохнетъ и порастетъ репейникомъ. Повторяемъ: несогласно съ законами здраваго разсудка: брать, брать и брать, и никогда ничего не возвращать. Несогласно съ справедливостью называть взаимнымъ обмѣномъ услугъ такой обмѣнъ, когда одна сторона все получаетъ, а другая все отдаетъ, а ежели и получаетъ, то въ видѣ какого-нибудь канканирующаго исторіографа, то-есть опять-таки получаетъ убытокъ и огорченіе, а не прибыль и утѣху. Но какого же рода услугу могутъ оказать въ этомъ случаѣ центры своимъ окраинамъ, чтобъ оживить ихъ?

На первый разъ, по моему мнѣнію, совершенно достаточно будетъ, если услуга эта выразится въ четырехъ словахъ: не мѣшать жить провинціи...

Позволительно думать, что требованіе это не заключаетъ въ себѣ никакой притязательности. Мысль объ освобожденіи жизни отъ излишнихъ опекательствъ вовсе не новая; она составляетъ самый явственный и непремѣнный результатъ реформаторскихъ попытокъ послѣдняго времени. Что этотъ результатъ выясняется довольно туго, это еще не доказываетъ ни ненужности, ни даже преждевременности его, а доказываетъ только, что изъ жизни нашей не исчезла еще случайность, которая на каждомъ шагу потчуетъ насъ всевозможными сюрпризами. Пускай исторіографы буйствуютъ и преднамѣренно или по глупости извращаютъ смыслъ того, что̀ составляетъ драгоцѣннѣйшее достояніе современной жизни,—мы вѣримъ горячо и искренно, что истинный смыслъ реформы 19-го февраля не потеряется никогда.

Въ чемъ же должно заключаться осуществленіе выраженія «не мѣшать жить»? По нашему скромному мнѣнію, это осуществленіе заключается въ слѣдующемъ: какъ можно менѣе заниматься провинціей, не окружать ее цѣпью неловкихъ опекателей, которые только смущаютъ и запуты-

ваютъ общественное мнѣніе, и не пугаться (именно только не пугаться) при появленіи въ ней признаковъ самодѣятельности.

Намъ, провинціаламъ, очень часто указываютъ на современное земство, на бѣдность добытыхъ имъ результатовъ и на нѣкоторую азбучность понятій, высказываемыхъ въ земскихъ собраніяхъ. Но причины этого явленія отчасти указаны уже въ предыдущихъ письмахъ. Это, во-первыхъ, тѣ пререканія, которыя встрѣтили земство въ самую минуту его появленія, а во-вторыхъ, тѣ неполезныя примѣси, которыя имѣютъ обыкновеніе привязываться у насъ къ каждому дѣлу и которыя не преминули привязаться къ земству. Есть, конечно, и другія, еще болѣе рѣшительныя причины, временно обрекающія земство на безсиліе, но объ этихъ причинахъ находимъ благоразумнымъ до времени умолчать.

Не мѣшать жить! Повидимому, какой скромный и нетребовательный смыслъ заключаетъ въ себѣ это выраженіе! А между тѣмъ какъ оно выпрямляетъ человѣка, какую бодрость вливаетъ въ его сердце, какъ просвѣтляетъ его умъ! Не мѣшать жить! — да вѣдь это значитъ *разрѣшить* жить, искать, двигаться, дышать, шевелить мозгами! Шутка!

Мы очень хорошо понимаемъ, что мысли самыя простыя и естественныя всегда кажутся и самыми страшными; мы понимаемъ также, что простой взглядъ на вещи, при современной путаницѣ понятій, есть взглядъ наименѣе симпатичный. Но мы не можемъ забыть и то, что всякая путаница, даже самая любезная, должна имѣть свой предѣлъ, и что нежеланіемъ посмотрѣть ей въ глаза мы не устраняемъ затрудненіе, а еще болѣе усложняемъ его.

Письмо восьмое.

Говоря въ прошломъ письмѣ о чрезвычайной скудности творческой силы провинціи, а выразилъ мнѣніе, что причина этого явленія заключается въ томъ, что провинція испоконъ-вѣка только отдаетъ и ничего въ возвратъ не получаетъ, или получаетъ ненужный хламъ въ лицѣ канканирующихъ исторіографовъ. Отсюда—равнодушіе провинціи даже къ тѣмъ интересамъ, которые ей всего болѣе близки;

отсюда — ея неспособность. И если еще нельзя сказать, что провинція совсѣмъ заснула, то можно сказать за вѣрное, что она не вѣритъ своимъ силамъ и ждетъ поправки своихъ обстоятельствъ не отъ себя самой, а откуда-то издалека.

Очень можетъ быть, что многіе читатели увидѣли тутъ не больше какъ парадоксъ; но въ послѣднее время провинція сама взяла на себя трудъ придти на помощь высказанному выше мнѣнію. Передъ нами лежитъ нѣсколько сочиненій, имѣющихъ предметомъ характеристику провинціи и ея существеннѣйшихъ интересовъ. Сочиненія эти принадлежатъ лицамъ, близко знакомымъ съ ходомъ нашихъ провинціальныхъ дѣлъ, лицамъ, живущимъ въ провинціи и несомнѣнно принимающимъ самое дѣятельное участіе въ ея судьбахъ. Ежели даже они подтверждаютъ мнѣнія, выраженныя въ настоящихъ письмахъ, то можно сказать прямо, что мнѣнія эти нимало не страдаютъ преувеличеніемъ.

Что же мы видимъ въ сочиненіяхъ этихъ «свѣдущихъ людей» провинціи, какое поученіе можемъ мы извлечь изъ нихъ? А вотъ что прежде всего: сознаніе безсилія провинціи, сознаніе ея неподготовленности къ принятію удобствъ и преимуществъ самоуправленія.

Всѣмъ извѣстно, что провинція недавно обзавелась земствомъ; извѣстно также, что со стороны общественнаго мнѣнія земство встрѣтило скорѣе апологистовъ, нежели порицателей. Ничего не совершивъ, оно уже было возвеличено: будучи еще въ зародышѣ, оно предполагалось уже способнымъ оправдать нѣкоторыя надежды. Какія надежды? чего именно могло ожидать русское общественное мнѣніе отъ этого новаго учрежденія?

Съ достовѣрностью можно сказать, что въ этомъ случаѣ первую роль играло слово «самоуправленіе». Произнесенное рядомъ со словомъ «земство», оно должно было оказать магическое дѣйствіе. Оно обязывалось сдѣлать изъ провинціи нѣчто въ родѣ маленькаго земного рая, обязывалось поднять умственный и матеріальный уровень страны, способствовать сближенію и даже сліянію сословій, уничтожить злоупотребленія мѣстной администраціи, положить предѣлы ея притязаніямъ,—словомъ сказать, обновить провинціальную жизнь, сдѣлавъ ее возможною не для однихъ брюхопоклонниковъ, но и для людей, не чуждающихся интересовъ мысли. Нѣкоторые восторженные умы шли да-

лѣе и возлагали на земство разныя другія обязательства, какъ, напримѣръ: по освобожденію человѣческой личности отъ непроизвольныхъ передвиженій, наѣздовъ, наскоковъ, по огражденію домашняго очага и т. д. Эти послѣднія надежды были, конечно, и преувеличены, и преждевременны, но во всякомъ случаѣ казалось не невѣроятнымъ, что съ водвореніемъ земства хоть одно будетъ достигнуто: возможность жить и безъ помѣхи заниматься своимъ дѣломъ.

Но для того, чтобы отвѣтить на эти ожиданія мало-мальски достойнымъ образомъ, надлежало, чтобы земство съ самаго начала поняло свои задачи въ самомъ широкомъ смыслѣ. Суженіе задачъ вообще плохая школа для вновь выступающихъ учрежденій. Когда мы говоримъ себѣ: теперь не мѣсто и не время обобщать и расширять вопросы; останемся при тѣхъ подробностяхъ, которыя у насъ подъ руками и которыхъ никто у насъ не оспариваетъ,—то на пути этомъ насъ очень скоро настигнутъ всякаго рода разочарованія. Во-первыхъ, мы убѣждаемся, что границы, существующія между общимъ и частнымъ, совсѣмъ не такъ строго опредѣлены, какъ это можетъ показаться съ перваго взгляда, и что, какъ бы мы ни усиливались изолировать то или другое частное явленіе, нашъ успѣхъ никогда не будетъ настолько великъ, чтобы исторгнуть изъ него ту интимную сущность, которая вводитъ его въ область общаго. Во-вторыхъ, увлекаясь исключительно подробностями, мы теряемъ изъ виду тѣ общія перспективы, которыя собственно и даютъ подробностямъ смыслъ и цѣну; поэтому мы дѣлаемъ дѣло, можетъ-быть, очень трудное и кропотливое, но во всякомъ случаѣ мало полезное, почти мертворожденное. Въ-третьихъ, наконецъ, мы удостовѣряемся горькимъ опытомъ, что, не обезпечивъ широкой и прочной постановки вопросовъ, мы тѣмъ самымъ лишаемъ себя возможности свободно обсуждать и подробности. Въ результатѣ—или безпутное блужданіе безъ цѣли и плана, или безпрерывный выходъ изъ тѣхъ границъ, которыя мы сами себѣ назначили, и безпрерывное же самоводвореніе въ нихъ. Въ первомъ случаѣ мы будемъ заниматься подробностями не въ зависимости отъ той живой связи, которая соединяетъ ихъ, а по мѣрѣ того, какъ онѣ механически будутъ представляться нашему вниманію; во второмъ случаѣ мы будемъ вращаться въ заколдованномъ кругѣ полумѣръ и въ безплодномъ наблюденіи за самими собою.

Понятно, что такого рода перспектива можетъ привлечь

къ себѣ дѣятелей только на первыхъ порахъ, то-есть тогда, когда еще не вполнѣ раскрылась ея сущность. Но чѣмъ болѣе разъясняется эта послѣдняя, чѣмъ рельефнѣе выступаютъ впередъ ея блужданія, сомнѣнія и оговорки, тѣмъ быстрѣе стихаетъ первоначальная горячность и уступаетъ мѣсто равнодушію.

Итакъ, повторяемъ: чтобы не впасть въ одну изъ упомянутыхъ выше крайностей, чтобы устроить земское дѣло на основаніяхъ дѣйствительно прочныхъ и плодотворныхъ, провинція должна была прежде всего остеречься отъ какихъ бы то ни было суживаній. Посмотримъ же теперь, какъ она сама взглянула на свое призваніе въ этомъ случаѣ, что̀ говоритъ она объ этомъ призваніи устами своихъ «свѣдущихъ людей».

Пунктъ первый—сознаніе въ неподготовленности. Исторія съ этою неподготовленностью—довольно забавная исторія: это своего рода несокрушимая крѣпость, въ которую мы, провинціалы, охотно укрываемся всякій разъ, когда приходится держать отвѣтъ передъ общественнымъ мнѣніемъ. О чемъ бы ни начался разговоръ, мы никогда не упустимъ оговориться, что мы невѣжды, что мы ни къ чему не подготовлены, что мы чуть-чуть не глупы. Это горькое хвастовство неумѣлостью могло бы привести въ отчаяніе, если-бъ несостоятельность его слишкомъ ярко не бросалась въ глаза.

Когда, говоря о человѣкѣ, который никогда не испытывалъ на спинѣ своей воспитательнаго вліянія палки, мы утверждаемъ, что онъ не подготовленъ къ воспріятію его,—это будетъ вполнѣ справедливо и понятно; но если мы ту же мысль перевернемъ, если мы скажемъ: вотъ человѣкъ, который всю жизнь ощущалъ дѣйствіе палки и котораго прекращеніе этого дѣйствія повергло въ смущеніе, — мы скажемъ положительную и очевидную нелѣпость. Существовало у насъ крѣпостное право, и крестьяне довольно продолжительное время пользовались имъ; но когда оно было уничтожено, то едва ли нашелся хоть одинъ человѣкъ, который оказался бы неподготовленнымъ къ этому уничтоженію. Точно то же произошло и относительно судебной реформы; новые суды принялись сразу и никого не нашли неподготовленнымъ.

Неужели и въ самомъ дѣлѣ нужно особенную подготовку, чтобы сразу освоиться съ такою, напримѣръ, вещью, какъ отмѣна тѣлесныхъ наказаній? Ужели это было такое благо,

къ которому можно прилѣпиться душою и разлука съ которымъ могла бы кому-нибудь стоить колебаній и борьбы? Нѣтъ, это не такъ. Есть вещи, разставаться съ которыми никогда не рано, точно такъ же какъ есть вещи, для непосредственнаго пользованія которыми не требуется быть ни философомъ, ни политико-экономомъ. Къ числу такихъ простыхъ вещей принадлежитъ несомнѣнно и то, что̀ мы называемъ самоуправленіемъ. Чѣмъ больше мы будемъ расширять значеніе этого слова, тѣмъ менѣе рискуемъ впасть въ ошибку, потому что оно обнимаетъ собой всѣ свойства и потребности, которыя опредѣляютъ человѣка. Право на обезпеченность человѣческой личности и на свободу человѣческаго труда, право на неприкосновенность домашняго очага—все это точно такія же простыя и удобопонятныя права, какъ и право считать деньги въ своемъ карманѣ, право носить черный или голубой сюртукъ. Чтобы пользоваться этими правами, не требуется ни особенной мудрости, ни чрезмѣрныхъ усилій; нужно только, чтобъ они были подъ руками.

Слѣдовательно жалобы на неподготовленность къ самоуправленію едва ли можно принимать буквально. Скорѣе всего ихъ можно объяснить или извѣстною русскою пословицей: «и близокъ локоть, да не укусишь», или тѣмъ обстоятельствомъ, что мы, провинціалы, охотно ѣдимъ пирожное, когда намъ подадутъ его, а если не подадутъ, то довольствуемся и арестантскими щами съ несвѣжею солониной. Мы до того привыкли постепенно обнажать себя, что въ концѣ концовъ обнажились даже отъ стыда и теперь стоимъ въ раздумьѣ, точно ли мы способны разсудить, что жить безъ розогъ гораздо удобнѣе, нежели жить съ розгами?

Во всякомъ случаѣ, изъ этого невысокаго мнѣнія нашего о самихъ себѣ естественно выходитъ другой любимый нашъ тезисъ. «Ограниченность круга нашей дѣятельности,—говоримъ мы:—есть залогъ ея прочности». Истина соблазнительная, но едва ли она не сдѣлается еще болѣе соблазнительною, если мы выведемъ изъ нея всѣ логическія послѣдствія, которыми она такъ богата. Вѣдь тогда, пожалуй, окажется, что если совсѣмъ ничего не будетъ, то-есть никакого круга дѣятельности, то дѣло, пожалуй, сдѣлается еще прочнѣе...

Поощряя себя подобными изреченіями, мы пріобрѣтаемъ цѣлый арсеналъ недорогихъ истинъ, все достоинство которыхъ въ томъ заключается, чтобы оградить насъ отъ

возникающихъ притязаній жизни и устроить то тихое и безмятежное житіе, память о которомъ завѣщана еще столь любезнымъ намъ крѣпостнымъ правомъ. Въ былое время существовалъ у насъ конекъ: патріархальность; теперь мы выдумали другой конекъ — сближеніе. Несмотря на кажущуюся разницу, и тотъ и другой ведутъ къ одному результату: къ тому, чтобы постепенно запутать дѣйствительные вопросы жизни, а на мѣсто ихъ выдвинуть впередъ безсодержательныя общія мѣста. Конечно, тихое и безмятежное житіе не лишено своей прелести, но спрашивается: можно ли остаться при немъ одномъ, не пожертвовавъ при этомъ самыми лучшими потребностями человѣческой природы?

Положа руку на сердце, имѣемъ ли мы поводъ сказать, что поприще, которое время и обстоятельства отвели для нашей дѣятельности, настолько пространно, что увеличеніе его угрожало бы намъ опасностью раскидаться и растеряться? Нѣтъ, поистинѣ такого повода не имѣется, потому что предметы этой дѣятельности, въ настоящемъ составѣ ихъ, безъ малѣйшаго затрудненія можно пересчитать по пальцамъ, да и тутъ, навѣрное, останется нѣсколько пальцевъ лишнихъ. Все это такія некрупныя подробности, которыя, быть-можетъ, дѣйствительно доставляютъ нѣкоторыя матеріальныя удобства, но которыя отнюдь не вносятъ ничего новаго въ умственную и нравственную жизнь массъ. Это подробности слишкомъ низменныя, чтобы рѣшительно вліять на развитіе провинціальнаго быта; не тому надобно удивляться, что онѣ, благодаря земству, представляются, сравнительно съ прежнимъ временемъ, въ лучшемъ видѣ, а тому, что для приведенія ихъ въ этотъ видъ потребовалась столь обширная комбинація силъ. Сельскій сходъ, волостной сходъ—вотъ достаточныя и вполнѣ компетентныя единицы для такихъ немудреныхъ дѣлъ, какъ устройство грунтовой дороги, моста или перевоза въ извѣстномъ районѣ, или равномѣрное распредѣленіе квартирной и постойной повинности...

Намъ возразятъ, конечно, что и волости, и сельскія общества (или замѣнявшая ихъ помѣщичья власть) существуютъ издавна, но земское хозяйство никогда не пользовалось ихъ содѣйствіемъ и ни на волосъ не подвинулось впередъ. Прекрасно: но вѣдь есть же какая-нибудь причина тому, что обыватель не видитъ достаточныхъ побужденій, чтобы заняться даже такимъ близкимъ дѣломъ, какъ мѣстная по-

винность, которая и прямо, и косвенно опутываетъ все его существованіе! Ему худо; онъ топитъ въ грязи свой возъ; лошадь его ломаетъ ноги на неисправномъ и ветхомъ мосту; въ избѣ у него располагается постоемъ солдатъ, который, при самыхъ лучшихъ условіяхъ, все-таки составляетъ лишній ротъ—воля ваша, а надобны очень существенныя причины, чтобы молча переносить невыгоду подобнаго существованія. Не въ томъ ли онѣ заключаются, что онъ все уже отдалъ, что̀ былъ въ силахъ отдать? не въ томъ ли, что у него нѣтъ ни времени, ни возможности убраться кругомъ себя, потому что на немъ *прежде всего* лежитъ исполненіе требованій, слывущихъ болѣе настоятельными, нежели его бросовое копеечное хозяйство, хотя и касающихся его лишь косвеннымъ образомъ?

Мы всѣ, добровольно или невольно, живемъ не для себя, и примѣровъ показной жизни намъ не занимать стать. Посмотрите на любого чиновника, когда онъ находится на службѣ или въ гостяхъ: какъ на немъ все чистенько, какъ онъ подтянутъ, приглаженъ, умытъ! Но загляните слѣдомъ затѣмъ на тотъ скотный дворъ, въ которомъ онъ живетъ и который называетъ своимъ домомъ, и вы удивитесь поразительной метаморфозѣ, какая представится вашимъ взорамъ. Ужели же его руководитъ въ этомъ случаѣ какое-то трудно объяснимое пристрастіе къ нечистотѣ? Нѣтъ, скорѣе всего можно объяснить это превращеніе тѣмъ, что несчастный истратилъ послѣднія средства на поддержаніе наружнаго декорума, и затѣмъ, относительно всего остального, его заботитъ только мысль, какъ бы не пропасть и не сгибнуть въ конецъ. Кто будетъ такъ смѣлъ, чтобы упрекнуть этого человѣка въ равнодушіи къ тому, что̀ самымъ непосредственнымъ образомъ къ нему прикасается? Помилуйте! да тутъ и равнодушія совсѣмъ никакого нѣтъ, а просто есть законъ горькой необходимости, котораго не отвратятъ никакія требованія о соблюденіи чистоты и опрятности!

Но не въ этомъ вопросъ. Фактъ совершился, и наблюденіе за нѣкоторыми подробностями земскаго хозяйства перешло въ руки особаго учрежденія, называемаго земствомъ. Спрашивается: неужели же тутъ конецъ пути?

Увы! если провинція такъ упорно ссылается на свою неподготовленность, то это означаетъ отнюдь не дѣйствительную неподготовленность, а то, что она заранѣе истратила весь свой духовный и вещественный капиталъ и

истратила его совсѣмъ не для себя. При такой оголтѣлости весьма естественно, что она страшится всякихъ новыхъ жертвъ, въ какомъ бы видѣ онѣ отъ нея ни требовались, и что въ каждомъ новомъ явленіи, втирающемся въ ея жизнь, она видитъ не что иное, какъ новую форму новыхъ жертвъ. Съ старинными неудобствами своей обстановки она примиряется совсѣмъ не потому, чтобы они были ей милы, а потому, что на пріобрѣтеніе дѣйствительныхъ удобствъ у нея нѣтъ средствъ. Нельзя сказать даже, чтобы она не сознавала, въ чемъ заключается то зло, которое ее гложетъ; она очень хорошо видитъ, какъ уходятъ изъ нея, невѣдомо куда, ея умственные и общественные капиталы; но для того, чтобы поставить подобные вопросы ясно, не всегда можно обойтись безъ риска. Люди, рѣшающіеся на подобную постановку, очень часто бываютъ дурно приняты, а еще чаще дурно растолкованы. Ихъ называютъ мечтателями — слово, которое въ переводѣ почти равносильно разбойнику; ихъ обвиняютъ въ томъ, что они вносятъ смуту и рознь туда, гдѣ до ихъ появленія все было тишь да гладь да Божья благодать. Перспектива всѣхъ этихъ удовольствій покоробитъ любого героя. «А не лучше ли, скажетъ онъ себѣ, бѣжать изъ этой постылой провинціи, а если не бѣжать совсѣмъ, то не укрыться ли подъ защитой неподготовленности?»... неподготовленности къ чему? Право, неловко и горько становится при одной мысли о тѣхъ простыхъ и общедоступныхъ благахъ, о которыхъ мы съ такою постыдною откровенностью говоримъ, что они представляютъ для насъ «зеленый виноградъ»!

Въ послѣднее время эта провинціальная оголтѣлость сказалась болѣе опредѣленнымъ образомъ: газеты наши все чаще и чаще оглашаются извѣстіями о неудачахъ, претерпѣваемыхъ земствомъ. Въ иномъ мѣстѣ земское собраніе совсѣмъ не состоялось, потому что не съѣхалось законнаго числа членовъ; въ другомъ мѣстѣ собраніе хотя и состоялось, но не докончило своихъ занятій, потому что часть членовъ разъѣхалась прежде срока. Мы знаемъ случаи, когда гласныхъ разыскивали по городу, когда за ними посылали нарочныхъ, съ покорнѣйшею просьбою прибыть въ собраніе. Нѣтъ сомнѣнія, что радоваться такому положенію дѣлъ нельзя, но и видѣть тутъ поводъ для обвиненія кого бы то ни было въ постыдномъ равнодушіи тоже нѣтъ возможности. Мы, провинціалы, и безъ напоминаній слишкомъ скромны; но когда, несмотря на это похвальное ка-

чество, намъ только и дѣла, что напоминаютъ о скромности, да угрожаютъ тѣмъ, что мы раскидаемся и растеряемся,— мы естественно приходимъ къ заключенію, что вѣдь и въ самомъ дѣлѣ горячиться нѐ изъ-за чего. Всякій пойметъ, что подобныя напоминанія, если они не въ мѣру часты, дѣлаются даже противными; но, сверхъ того, мы можемъ встрѣтиться на этомъ поприщѣ съ другою опасностью: съ обвиненіемъ въ карбонаризмѣ. Кому охота претерпѣвать такія напраслины, хотя бы, напримѣръ, по вопросу о распредѣленіи пунктовъ для стоичныхъ лошадей? Не ясно ли, что всякій благоразумный человѣкъ, при первомъ намекѣ на возможность подобной случайности, возьметъ

. . . . въ охапку
Кушакъ и шапку,

такъ какъ положительно нѣтъ ни славы, ни выгоды въ томъ, чтобы прослыть страдальцемъ по вопросу о стоичныхъ лошадяхъ...

Но неужели наша провинціальная голытьба ни къ чему другому не выказала поползновенія, кромѣ ограниченія и безъ того ограниченнаго круга дѣятельности? Нѣтъ, если вѣрить «свѣдущимъ людямъ», она по временамъ не чуждается и политики—разумѣется, скромной...

Область этой политики весьма неразнообразна. Предметы ея суть: сближеніе сословій, стремленіе пристроить куда-нибудь дворянство (преимущественно однако-жъ «во главу») и отыскиваніе «великолѣпныхъ свойствъ русскаго народа: не помнить зла и соединяться. Постараемся однако-жъ разобрать въ подробности сущность этихъ задачъ нашего провинціальнаго политиканства.

Вопросъ о «сближеніи» или «сліяніи» необходимо разсматривать въ связи съ вопросомъ о «великолѣпныхъ свойствахъ» русскаго народа, потому что ежели первый можетъ имѣть какую-нибудь силу, то исключительно только благодаря второму. Литература по вопросу о «сближеніяхъ» очень обширна; достаточно взглянуть въ любой журналъ, въ любую газету начала шестидесятыхъ годовъ, чтобы непремѣнно встрѣтиться ежели не съ ясно формулированными предположеніями, то съ нѣкоторыми пожеланіями по этому предмету. Нѣтъ сомнѣнія, что въ свое время стремленія эти принесли извѣстную пользу. Одна сторона надѣялась найти въ нихъ исходный пунктъ, изъ котораго со временемъ можетъ что-нибудь выработаться и косвеннымъ

образомъ пополнить понесенные внезапно ущербы; другой сторонѣ они придали бодрость и внушили сознаніе (очень, впрочемъ, темное) того значенія, которое она неожиданно для себя получала. Но дальнѣйшаго развитія стремленій все-таки не послѣдовало, а равно и трактатовъ сколько-нибудь полезныхъ по сему предмету издано не было, по той простой причинѣ, что какъ ни тискайте слово «сближеніе», никакого реальнаго представленія, ничего, кромѣ тавтологіи «жалкихъ словъ», изъ него не выжмете.

Но люди неохотно разстаются съ своими мечтами, хотя бы онѣ представляли одинъ пустой звукъ. За недостаткомъ здоровой и реальной почвы, за отсутствіемъ общественныхъ и политическихъ интересовъ, они гоняются за звуками, пріятно раздражающими слухъ, и думаютъ наполнить ими пустоту своего существованія.

Чтобы поставить вопросъ о сближеніи или сліяніи на почву сколько-нибудь реальную, необходимо, чтобы онъ разрабатывался не трансцендентальнымъ какимъ-нибудь путемъ, а путемъ вещественнымъ, для всѣхъ виднымъ и осязательнымъ. Скажемъ болѣе: необходимо, чтобы о самыхъ этихъ выраженіяхъ не было помину, чтобы они были вычеркнуты и замѣнены другими, болѣе опредѣлительными.

Если Петръ или Павелъ объявляютъ во всеуслышаніе, что они «добрые», что они любятъ и жалѣютъ «сихъ малыхъ», то изъ этого объявленія покамѣстъ ничего еще не выходитъ, кромѣ сотрясенія воздуха. Они, конечно, могутъ подкрѣпить свое объявленіе тѣмъ, что, имѣя возможность быть грубыми съ меньшею братіею, не воспользуются этою возможностью, но и это только сдѣлаетъ честь имъ лично, но особенныхъ плодовъ не принесетъ, по той причинѣ, что гуманное обращеніе съ людьми принадлежитъ къ числу тѣхъ простыхъ вещей, которыя всѣми, даже непривычными къ нему, сразу принимаются, какъ должное. Затѣмъ, если тѣ же Петръ и Павелъ, недовольные тощими результатами, полученными отъ ихъ объявленія, пожелаютъ идти далѣе, то они уже обязаны пріискать для своихъ поползновеній форму болѣе положительную. Вѣрнѣйшій путь, который представляется имъ въ этомъ случаѣ, есть путь болѣе равномѣрнаго распредѣленія правъ и благъ. Но такъ какъ этотъ путь тернистый, который могъ совсѣмъ и не быть въ ихъ разсчетахъ, то существуетъ другой путь, хоть

и не столь рѣшительный, но во всякомъ случаѣ приличный. Путь этотъ можно формулировать такъ: рѣшить однажды навсегда, что отношенія между людьми, въ какихъ бы положеніяхъ они ни находились, должны быть основаны на идеѣ *равноправности*.

При такомъ воззрѣніи на дѣло отношенія между людьми становятся совершенно ясными. Конечно, безполезно было бы связывать съ подобнымъ положеніемъ понятіе о нормальности, но, по крайней мѣрѣ, оно не отуманиваетъ ничьихъ глазъ, исключаетъ всякую идею о лицемѣріи и допускаетъ борьбу и поправки. Несомнѣнно, что борьба съ организованной силой представляетъ очень мало утѣшительнаго, но все же она имѣетъ болѣе шансовъ успѣха, нежели борьба съ пустыми звуками или даже съ обманомъ, надѣвающимъ на себя лицемѣрную маску благосклонности.

Нѣтъ ничего хуже и несноснѣе того положенія, когда васъ куда-то заманиваютъ и при этомъ не сказываютъ, куда. Почему не сказываютъ?—потому отчасти, что сами не знаютъ, а отчасти и потому, что слишкомъ хорошо знаютъ. Кому нужно сближеніе? Для чего оно нужно? Разберите эти вопросы внимательно, и вы убѣдитесь, во-первыхъ, что «сближеніе» въ данномъ случаѣ есть терминъ односторонній и, во-вторыхъ, что это терминъ или совсѣмъ пустой, или неблаговидный. Во всякомъ случаѣ, это терминъ вредный, ибо при его посредствѣ отрывается масса людей отъ дѣйствительныхъ интересовъ и дѣлается добычей интересовъ мнимыхъ; отнимается у производительнаго труда и приглашается къ празднованію.

Возможность сближенія есть дѣло вполнѣ законное, но надобно, чтобы въ основѣ его лежала обоюдная свобода и обоюдная равноправность. Провинція говоритъ: этой возможности данъ широкій исходъ въ земствѣ и его органахъ; апологисты же сближенія прибавляютъ: «гласные отъ землевладѣльцевъ-помѣщиковъ и гласные отъ крестьянъ сѣли за одинъ столъ, какъ будто вѣкъ за нимъ сидѣли, и занялись общими дѣлами, не поминая прошлаго» («Голосъ изъ земства», стр. 9). Прекрасно. Но, во-первыхъ, гласные земскихъ собраній занимаются не теоріями сближеній, а какимъ ни на есть дѣломъ; во-вторыхъ, сословные элементы въ этихъ собраніяхъ распредѣлены (практикою, а не закономъ) далеко не столь равномѣрно, чтобы можно было вывести положительное заключеніе, насколько послѣдовало

или не послѣдовало предполагаемое сближеніе; въ-третьихъ, наконецъ, чтобы убѣдиться въ дѣйствительности этого сближенія, нелишне было бы предварительно испытать гласныхъ отъ крестьянъ, хорошо ли они себя чувствуютъ, «сидя за однимъ столомъ съ гласными отъ землевладѣльцевъ-помѣщиковъ». И вотъ провинція проговаривается. «Всего важнѣе,—говоритъ она:—что дворяне-землевладѣльцы становятся во главѣ земства». Вотъ это такъ, это дѣйствительно важно. Но съ этого-то именно и надлежало начать разговоръ, а не запутывать его сѣтью вводныхъ предложеній, трактующихъ невѣдомо о чемъ.

Предположимъ однако-жъ, что вопросъ о сближеніяхъ какимъ-нибудь чудомъ дѣйствительно приводится къ разрѣшенію—какой результатъ предвидится получить отъ него? Результатъ одинъ: возвращеніе къ патріархальности и ко всѣмъ послѣдствіямъ, изъ нея вытекающимъ. Иного, при всемъ желаніи, придумать нельзя.

Нельзя, потому что нѣтъ довольно содержательнаго общаго дѣла, по поводу котораго могло бы произойти сближеніе. Современное дѣло, которое выставляетъ впередъ провинція, не можетъ быть этимъ поводомъ, покуда въ принципѣ его лежитъ опасеніе раскидаться и растеряться; другихъ же дѣлъ покамѣстъ не предвидится. Вотъ если бы провинція поставила себѣ къ разрѣшенію такой вопросъ: отчего она годъ отъ году бѣднѣетъ; отчего она живетъ не для себя и не своею, а заимствованною жизнью; отчего наконецъ исчезаютъ изъ нея ея умственные и вещественные капиталы; тогда, несомнѣнно, она получила бы и возможность, и поводъ для сближеній въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ. Тогда, если-бъ поползновенія ея и встрѣтили фіаско, она имѣла бы, по крайней мѣрѣ, дѣйствительное право упрекнуть кого слѣдуетъ въ неподготовленности и закоснѣлости.

Но провинція очень хорошо понимаетъ, что такого содержательнаго и общаго дѣла нѣтъ, и потому всѣ надежды устремляетъ къ «великолѣпнымъ свойствамъ» русскаго народа. Эти свойства, на которыхъ основанъ весь процессъ сліятельной операціи, называются такъ: способность не помнить зла и соединяться. Постараемся придать этимъ темнымъ общимъ мѣстамъ сколько-нибудь вразумительную и осязательную форму.

Какъ слѣдуетъ понимать «зло»? Есть ли это нѣчто такое, что необходимо и даже полезно помнить и въ какомъ

смыслѣ помнить? или же относительно этого предмета во всякомъ смыслѣ должно руководствоваться словами поэта:

То, что̀ было, то̀ пройдетъ;
Что̀ пройдетъ, то̀ будетъ мило...

Какъ бы мы ни старались ограничивать смыслъ употребляемыхъ нами словъ, но есть выраженія, относительно значенія которыхъ сомнѣнія невозможны. Къ числу такихъ выраженій принадлежитъ и «зло». Какъ ни укорачивайте его смыслъ, оно всегда будетъ означать совокупность такихъ явленій, которыя приносятъ вредъ обществу, останавливаютъ свободное и естественное развитіе народныхъ силъ, дѣлаютъ изъ людей автоматовъ, подчиняющихся не сознательной идеѣ добра и пользы, а ужасу, внушаемому гнетомъ преслѣдующей ихъ силы, и обрекаетъ полному устраненію творческія способности громаднаго количества людей. Вотъ дѣйствительный смыслъ слова «зло», и въ этомъ, конечно, смыслѣ несомнѣнно понимаетъ его и провинція, когда хлопочетъ о «забвеніи зла». Это «зло» очень недавно называлось у насъ крѣпостнымъ правомъ и дѣйствительно заключало въ себѣ признаки, которые указаны выше.

Это зло, произведенное не Петромъ и не Иваномъ, а зло историческое, зло, разлитое въ цѣломъ порядкѣ вещей, поглощавшее въ себѣ одинаково и Петра, и Ивана. Правильно ли и благоразумно ли настаивать на забвеніи такого зла? Не равносильно ли это требованію забыть уроки прошлаго, забыть исторію?

Источникъ подобныхъ настояній очень понятенъ. Несмотря на наши ревнивыя старанія отдѣлить частное отъ общаго, мы безпрестанно смѣшиваемъ и то, и другое. Поэтому намъ кажется, что когда говорятъ о «злѣ», то непремѣнно подразумѣваютъ тутъ или Петра, или Ивана, которые были видимымъ олицетвореніемъ этого зла. Но это не такъ. Вмѣсто того, чтобы говорить: забудьте зло, слѣдуетъ выражаться проще: не мстите Ивану, не отплачивайте ему зломъ за зло. Но и тутъ мы понимаемъ подобныя увѣщанія только потому, что такого рода фразы, вслѣдствіе частаго и не совсѣмъ осмысленнаго употребленія, до того пріучили къ себѣ нашъ слухъ, что мы уже не формализируемся нелогичностью, которая въ нихъ заключается. Въ сущности Иванъ не имѣетъ никакой надобности ни въ прощеніи, ни даже въ молчаливомъ забвеніи зла. На объявленіе ему прощенія онъ съ полнымъ основаніемъ мо-

жетъ отвѣтить: «за что же вы стали бы мстить мнѣ? гдѣ ваше право для мести? развѣ я повиновался не тому же закону, какому повиновались и вы? развѣ я обязывался быть героемъ и одного себя поставить внѣ вліянія общаго закона? развѣ геройство не исключительное явленіе? развѣ большинство людей обязано къ чему-нибудь, кромѣ дѣлъ среднихъ?» И Иванъ, несомнѣнно, будетъ правъ, ибо массы хоть и могутъ по временамъ припоминать разнымъ Петрамъ и Иванамъ нѣкоторыя ихъ излишества, но случаи такихъ припоминаній такъ исключительны, что совершенно утопаютъ въ общемъ принципѣ забвенія. Въ дѣйствительности всѣ частные ущербы давно схоронены и забыты, и ежели, напримѣръ, помѣщикъ, включенный съ крестьянами въ составъ одной и той же волости, ни подъ какимъ видомъ не уживется съ ними, то это имѣетъ произойти не вслѣдствіе живой памяти прошедшаго, а вслѣдствіе полнаго несходства въ обстановкѣ и привычкахъ того и другого сословія.

Представленіе о злѣ сопрягается не съ Иванами и Петрами, а съ мыслью объ извѣстномъ положеніи. А относительно этого послѣдняго вопросъ заключается не въ томъ, чтобъ озлобляться и кипѣть, а въ томъ, чтобы на будущее время предотвратить возобновленіе зла подъ какими бы то ни было формами и наименованіями. Не къ ненависти и преслѣдованію призывается потерпѣвшая сторона, а къ осторожности и осмотрительности. Она на собственномъ опытѣ, собственною грудью убѣдилась, какія тяжкія послѣдствія могутъ содержать въ себѣ нѣкоторыя явленія жизни, и должна воспользоваться этимъ опытомъ, чтобъ оградить себя отъ подобныхъ послѣдствій въ будущемъ. Не одну себя она ограждаетъ, поступая такимъ образомъ, а настоящее и будущее цѣлой страны. Отвѣтственность, лежащая на ней, слишкомъ серьезна, чтобъ можно было рисковать ею за чечевичную похлебку, или изъ-за желанія добыть тихое безмятежное житіе, или даже... изъ-за чести сидѣть за какимъ-то «однимъ столомъ».

Изъ всего сказаннаго выше можно вывести заключеніе о степени великолѣпія тѣхъ свойствъ, на которыя возлагаетъ надежды провинція. Ежели они существуютъ на дѣлѣ, то это обстоятельство не только не можетъ служить предметомъ для восхищеній, но, напротивъ того, должно свидѣтельствовать о самомъ изумительномъ и безпримѣрномъ легкомысліи. Способность забыть—это не способность развиваться, это безнадежность въ будущемъ. Но этого

нѣтъ, этому невозможно повѣрить. Какъ-то легче дышится при мысли объ отсутствіи этого качества, нежели при мысли о его присутствіи. Конечно, твердыхъ доказательствъ ни за, ни противъ представить нельзя, ибо въ той путаницѣ понятій и отношеній, которая развивается передъ нашими глазами, трудно отличить, что̀ составляетъ признакъ способности забывать и что̀ принадлежитъ простому равнодушію; но, какъ ни затруднителенъ выборъ между этими двумя альтернативами, будемъ думать, что равнодушію принадлежитъ здѣсь первое мѣсто. Это также не совсѣмъ утѣшительно, но все-таки лучше, нежели забвеніе вчерашняго дня.

Третій предметъ нашего провинціальнаго политиканства составляютъ заботы объ устройствѣ дворянства. Можно даже сказать, что и прирученіе массъ, и открытіе въ нихъ великолѣпнаго свойства забвенія вчерашняго дня— все это не болѣе, какъ приличный подходъ къ главной задачѣ, долженствующей увѣнчать зданіе. Это фундаментъ, безъ котораго вся послѣдующая махинація не можетъ имѣть прочности.

Странное дѣло! покуда существовало крѣпостное право, никому не приходило въ голову усомниться въ существованіи русскаго дворянства. Это существованіе заявляло себя цѣлымъ рядомъ такихъ дѣйствій, которыя самаго невѣрующаго человѣка заставляли вѣрить. Дворянство имѣло свои собранія и своихъ представителей; оно разсуждало о своихъ нуждахъ; оно, въ извѣстной степени, имѣло право суда надъ своими членами, оно управляло не только своими дѣлами, но пользовалось значительной долей въ отправленіи дѣлъ общегосударственныхъ, имѣя въ своихъ рукахъ судъ и полицію. Трудно было не повѣрить тому, что̀ всегда стояло какъ живое передъ глазами, то въ видѣ помѣщика, творящаго судъ и расправу, то въ видѣ исправника, творящаго судъ и расправу, то въ видѣ судьи или засѣдателя, творящихъ судъ и расправу. Это было сословіе, какъ бы предназначенное природой для суда и расправы; оно одно имѣло возможность предъявлять нѣкоторую силу среди общаго безсилія, нѣкоторую иниціативу среди общаго безмолвія. Но главная и самая характеристическая черта, которая проходитъ сквозь всю исторію этой корпоративной силы, заключается все-таки въ томъ, что, однажды устроившись, она до самаго конца оставалась при этомъ устройствѣ, занимаясь повтореніемъ задовъ и ни разу не поставивъ себѣ вопроса, возможно ли для нея дальнѣйшее развитіе,

въ какомъ именно смыслѣ и въ какую сторону? Будущее для нея не существовало.

Но будущее имѣетъ за собой то неудобство, что оно непремѣнно является въ срокъ. Въ настоящемъ случаѣ оно пришло въ видѣ упраздненія крѣпостного права—и что же оказалось? Что одного удара было достаточно, чтобы ослабить всѣ связующія нити; что, вмѣстѣ съ исчезновеніемъ крѣпостного права, исчезло и дворянство!

Это говоритъ не нашъ одинокій голосъ; это говорятъ компетентные люди провинціи. Конечно, не слѣдуетъ понимать это исчезновеніе въ буквальномъ смыслѣ, но жалобы на то, что дворянство осталось какъ будто не при мѣстѣ, пріобрѣтаютъ значительную долю основательности. «Дворянство,—пишетъ г. Кошелевъ:—перестало существовать на дѣлѣ... правда, оно еще собирается имѣть своихъ предводителей, свое депутатское собраніе, но собственно дѣлъ сколько-нибудь важныхъ у него не осталось никакихъ». Все это истинная правда, но какъ выйти изъ этого положенія? Какъ наполнить досугъ большого количества людей, какъ будто оставшихся за штатомъ? Ближе всего было бы сказать имъ: пользуйтесь тѣми правами, которыя всецѣло при васъ оставлены, пользуйтесь вашею сравнительною политическою взрослостью и помышляйте о себѣ сами; но оказывается, что это легче сказать, нежели исполнить. «Мы не подготовлены!—вопіетъ провинція:—насъ учили, что мы оплотъ! растолкуйте, по крайней мѣрѣ, что это за должность, и какія соединены съ нею права?» Вотъ невыгода туманныхъ опредѣленій. Казалось, хорошее слово «оплотъ», и было даже время, когда всѣ понимали его безъ толкованій, и вдругъ обнаружилось, что его даже объяснить нельзя! Обнаружилось, что, несмотря на скрывавшуюся за нимъ корпоративную связь, такихъ правъ, за которыя можно было бы удержаться, чтобы обставить ими новое положеніе, оно совсѣмъ не представляетъ.

Вслѣдствіе этого возникла потребность прибѣгнуть, для устройства этого положенія, къ искусственнымъ мѣрамъ, и первою желательною мѣрой въ этомъ смыслѣ, конечно, представилась *приписка* къ чему-нибудь.

Провинція не можетъ понимать, не можетъ терпѣть человѣка, къ чему-нибудь не *приписаннаго*. Куда же приписать? Казалось бы, всего естественнѣе для человѣка приписать его къ свободѣ, но тутъ встрѣчаются серьезныя, почти непреодолимыя препятствія. Что такое свобода?—

Это, по мнѣнію провинціи, какое-то странное положеніе между небомъ и землею, это безвоздушная пустота. Выпустить человѣка на свободу—значитъ подвергнуть его всевозможнымъ бѣдствіямъ и горькимъ случайностямъ; это все равно, что пустить его слоняться по свѣту безъ паспорта, заставить жить со дня на день въ вѣчныхъ поискахъ за кускомъ хлѣба. «Кто ты таковъ?—спросятъ его на первой заставѣ:—какъ твое имя и къ чему ты приписанъ?»—Я ни къ чему не приписанъ,—отвѣтитъ свободный человѣкъ:—по упущенію, я приписанъ къ свободѣ.—«Такъ, значитъ, ты непомнящій родства? взять его въ часть!»—скажетъ заставная стража, и скажетъ весьма основательно, ибо слыханное ли дѣло—встрѣтить человѣка, приписаннаго къ свободѣ?

Понятно, что такое неопредѣленное, почти тревожное положеніе не можетъ казаться привлекательнымъ нашей провинціальной интеллигенціи. Она привыкла, чтобы ея паспорты были безукоризненно чисты, чтобы, при появленіи ея на заставахъ, не раздавалось никакихъ другихъ восклицаній, кромѣ: «подвысь!» Да, надобно приписаться, надобно во что̀ бы то ни стало. Куда? къ дворянскому собранію? но вѣдь у него даже дѣлъ никакихъ нѣтъ! Къ земству? но вѣдь мы и безъ того тамъ находимся? вѣдь никто насъ оттуда не выгоняетъ?

Въ томъ-то и дѣло, что приписка припискѣ рознь, что бываетъ приписка, на достиженіе которой нужно потратить немало времени, труда и способностей, и бываетъ другая приписка, которая приходитъ сама собою. Сверхъ того, надо приписаться не туда, куда Богъ пошлетъ, а именно «во главу», иначе намъ не приходится. Но вѣдь вы сами же говорите, что земское дѣло—дѣло общее, всесословное; это же явствуетъ и изъ смысла законодательства?—Да, это такъ, но посудите сами! образованность, матеріальная обезпеченность... — Очевидно однако-жъ, что всѣ эти оговорки очень плохо вяжутся съ сущностью вопроса. Образованность и матеріальная обезпеченность, конечно, представляютъ права на вниманіе, но онѣ никогда не считались въ числѣ сословныхъ принадлежностей и привилегій. По временамъ обстоятельства сосредоточиваютъ эти блага въ томъ или другомъ сословіи; но невозможно же допустить, чтобы они служили для прикрытія сословныхъ претензій. Передъ вами человѣкъ, который имѣетъ въ свою пользу преимущество образованности—это несомнѣнно дѣлаетъ ему честь; но было бы въ высшей степени странно, если-бъ онъ связывалъ съ

этимъ преимуществомъ какое-нибудь право, исходящее не изъ него самого, а напоминающее идею сословности...

Но возвратимся къ исходной точкѣ настоящаго письма. Не можетъ подлежать сомнѣнію, что провинція сама признаётся въ своемъ безсиліи. Даже въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда ей дѣйствительно приходится задуматься надъ мыслью о необходимости обновить свои силы, она приступаетъ къ дѣлу не прямо, а изобрѣтаетъ искусственную обстановку, не только не ведущую къ разрѣшенію возникающихъ вопросовъ, но положительно затемняющую ихъ. Понятно, что, при такомъ неумѣніи освободить свою мысль, свои взгляды на положеніе, она остается на одномъ мѣстѣ и не можетъ извлечь всѣхъ выгодъ даже изъ тѣхъ реформъ послѣдняго времени, которыя наиболѣе благопріятствуютъ ея развитію.

Крестьяне, между прочимъ, составляютъ одинъ изъ главныхъ кошмаровъ провинціальной интеллигенціи. Какъ были они «меньшею братіей», такъ и остались ею, несмотря на вновь открытыя «великолѣпныя свойства соединяться и не помнить зла». Они поголовно пьянствуютъ, они не выполняютъ принимаемыхъ ими на себя обязанностей, они допускаютъ безразсчетные раздѣлы семей; словомъ сказать, совершенно отбились отъ рукъ, пріобрѣли привычку грубить и почти утратили человѣческій образъ, сохранивъ однако... «великолѣпныя свойства соединяться и не помнить зла». Не мѣшаетъ прибавить къ этому перечню, что, кромѣ того, они сохранили еще «великолѣпное свойство» уплачивать подати и отбывать натуральныя повинности, и что всѣ расходы по части сближеній и сліяній должны пасть не на кого иного, а на тѣхъ же пьяныхъ и отбившихся отъ рукъ крестьянъ. Мы охотно рисуемъ картины разврата русскаго крестьянина, а въ результатѣ оказывается, что нигдѣ не выпивается вина такъ мало, какъ въ Россіи, и что, въ большинствѣ случаевъ, отъ крестьянъ же идетъ инициатива относительно учрежденія сельскихъ школъ. Это должно было бы воздержать насъ отъ голословныхъ обвиненій.

Для того, чтобы лучше понять, въ какомъ видѣ представляетъ дѣйствительность общественное положеніе нашего крестьянина, возьмемъ для примѣра хоть вопросъ о правоспособности. Говорятъ, крестьянинъ правоспособенъ, и дѣйствительно, мы думаемъ, что правоспособность крестьянъ составляетъ одно изъ лучшихъ пріобрѣтеній, дан-

ныхъ реформою 19-го февраля. Затѣмъ спрашиваютъ: что же сдѣлали крестьяне изъ этой правоспособности? Какую пользу они извлекли изъ нея для себя и для общества? Этого одного вопроса бываетъ совершенно достаточно, чтобъ возбудить цѣлый потокъ самыхъ непринужденныхъ шутокъ. Но позвольте, милостивые государи! Во-первыхъ, этотъ вопросъ можно предложить и не однимъ крестьянамъ, въ пользу которыхъ все-таки найдутся кое-какія оправданія, а и другимъ, для которыхъ возможность оправдаться гораздо труднѣе; а во-вторыхъ, ужели же не всѣмъ достаточно извѣстно, что слишкомъ часто намѣренія самыя добрыя и совершенно ясныя не ограждены отъ сюрпризовъ самыхъ невѣроятныхъ и неожиданныхъ? Стоитъ только сослаться на такъ-называемые мужицкіе бунты, чтобъ убѣдиться въ томъ, въ какомъ тѣсномъ положеніи иногда находится крестьянская правоспособность.

Извѣстно, что у насъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ каждогодно происходитъ по нѣскольку бунтовъ. Это словно болѣзнь какая-то, или, пожалуй, просто дурная привычка. Во всякомъ случаѣ, это явленіе очень любопытное; но чтобы читатель не пришелъ отъ него въ отчаяніе и могъ убѣдиться, что «чортъ совсѣмъ не такъ страшенъ, какъ его малюютъ», мы постараемся разсказать здѣсь одинъ примѣрный бунтъ, не въ томъ, разумѣется, видѣ, какъ его обыкновенно малюютъ, а въ томъ, какъ онъ зарождается и происходитъ въ дѣйствительности.

Въ силу упоминаемой выше правоспособности, крестьяне, какъ и всѣ вообще члены русской семьи, обладаютъ правомъ петиціи или ходатайства. Они могутъ терпѣть стѣсненія со стороны поставленныхъ для управленія ими лицъ, могутъ терпѣть ущербы вслѣдствіе предпринимаемыхъ относительно ихъ и не оправдываемыхъ закономъ мѣръ; наконецъ, въ качествѣ людей, они могутъ даже ошибаться, то-есть видѣть нарушеніе права тамъ, гдѣ его въ дѣйствительности нѣтъ, въ каковыя ошибки они впадаютъ, впрочемъ, весьма осмотрительно, ибо знаютъ, что отъ нихъ, и только отъ нихъ однихъ, требуется, чтобъ они были мудры какъ змѣи и кротки какъ голуби. Состоя подъ ярмомъ общиннаго управленія, они всякую мѣру, всякое распоряженіе, а стало-быть, и всякое злоупотребленіе закона ощущаютъ живѣе, ибо ощущаютъ его, во-первыхъ, лично каждый за себя и, во-вторыхъ, за всю общину. Отсюда необходимость сходокъ, необходимость общаго совѣта; а

такъ какъ цѣлымъ обществомъ ходатайствовать неудобно и неучтиво, то изъ этого проистекаетъ надобность въ избраніи ходаковъ или ходатаевъ. Кажется, до сихъ поръ все идетъ законно, и ежели дѣло пойдетъ дальше своимъ естественнымъ путемъ, то никакого замѣшательства отъ подобныхъ ходатайствъ быть не должно. Если ходатаи правы — требуется удовлетворить ихъ; если неправы — слѣдуетъ отказать, употребивъ, конечно, нѣсколько лишнихъ минутъ, чтобы отказъ былъ выраженъ въ формѣ для нихъ вразумительной.

Но мы, провинціалы, смотримъ на это дѣло иначе, ибо у насъ на первомъ планѣ «принципы». Въ нашихъ глазахъ, крестьянинъ совсѣмъ не обыватель, а подчиненный. Ежели онъ правъ, то хотя и можно удовлетворить его, но или только въ половину, чтобъ очень не возмечталъ, или не сейчасъ, а со временемъ, и во всякомъ случаѣ такъ, чтобъ нельзя было примѣтить, что при этомъ обвиняется то лицо, на которое приносится жалоба. Обвинить начальника! да вѣдь это значитъ нарушить основной принципъ! Entendons-nous, que diable! Можно со временемъ, при случаѣ, наединѣ замѣтить, распечь, можно даже отыскать какой-нибудь посторонній поводъ, чтобъ приличнымъ образомъ отдѣлаться отъ неумѣлаго, но обвинить его тутъ... сейчасъ, въ глазахъ жалобщика — сохрани Боже! это значитъ поощрять бунты. Это значитъ прямо сказать бунтовщикамъ: бунтуйте, голубчики! мы сейчасъ все по-вашему сдѣлаемъ. Таковъ образъ дѣйствія, на случай правоты. Если же ходатаи неправы, то исторія упрощается еще больше. Разсуждать съ мужикомъ, доказывать, почему онъ неправъ, объяснять, что обычное право, которымъ онъ зачастую руководствуется, не всегда находится въ согласіи съ правомъ писаннымъ, что онъ въ извѣстныхъ случаяхъ обязанъ отказаться отъ перваго и подчиниться второму,—все это далеко не въ нашихъ обычаяхъ. Это опять-таки значило бы поощрять бунты и вызывать къ неповиновенію властямъ. Мы любимъ, чтобы насъ понимали сразу, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда мы сами себя не понимаемъ; а если насъ не понимаютъ, то гораздо легче простереть руки, нежели надсаживать грудь объясненіями.

Такимъ образомъ источникъ нашихъ бунтовъ намѣчивается самъ собою; онъ можетъ быть формулированъ такъ: бунты происходятъ отъ невозможности вывести какое-либо поученіе изъ безмолвнаго или сопровождаемаго однослож-

ными звуками простиранія рукъ. Затѣмъ уже начинается дальнѣйшее развитіе зародившагося бунта.

Возвращаются сконфуженные ходаки домой и ничего толкомъ разсказать не могутъ, кромѣ одного: всего довольно было! Однако общинники любознательны. Каждый изъ нихъ, взятый порознь, можетъ-быть, махнулъ бы рукой, но ихъ связываетъ общинное начало, которому дѣло до всего, даже до коробьи крестьянской дѣвки.

Отвѣтъ: всего было довольно!—не можетъ удовлетворить общину. Этотъ отвѣтъ нимало не подвигаетъ впередъ ея дѣла, а это дѣло должно быть во что бы то ни стало подвинуто, потому что община не можетъ ни выжидать, ни извернуться. Во-первыхъ, она слишкомъ велика, чтобы извертываться какими-нибудь замѣняющими средствами; во-вторыхъ, она именно на то и община, чтобъ все въ ней было прочно и загодя опредѣлено. И вотъ община невольнымъ образомъ рѣшается продолжать свое домогательство, потому что ей некуда уйти отъ него, потому что это домогательство завтра вновь встанетъ передъ нею въ той же силѣ, какъ и сегодня. Это служитъ поводомъ для выбора новыхъ ходаковъ; а такъ какъ неразвитый умъ прежде всего поражается количественностью, то для пущей вѣрности число выборныхъ увеличивается. Но съ этими уже и не разговариваютъ, а прямо ведутъ въ кутузку, потому что новая настойчивость общины кажется уже не проступкомъ и недоразумѣніемъ, а явнымъ и сугубымъ посягательствомъ къ возмущенію противъ властей.

Не будемъ описывать дальнѣйшія перипетіи бунтовской драмы; онѣ извѣстны всякому, кто не на одну только минуту заглядывалъ въ провинцію, а жилъ въ ней и присматривался къ ея дѣламъ. Спрашивается: ужели въ этомъ фактѣ (одномъ изъ множества) можно видѣть хоть малый признакъ того, что называется самоуправленіемъ? и неужели не первая обязанность людей, произвольно или по праву называющихъ себя «лучшими», обратить вниманіе на освобожденіе провинціальной жизни отъ той нестерпимой рутины, которая наложена на нее исторіей, хотя бы это было даже въ ущербъ нѣкоторымъ несомнѣнно полезнымъ подробностямъ, составляющимъ нынѣ предметъ слишкомъ исключительной ихъ заботливости?

Но покамѣстъ довольно. Провинція говоритъ: «ограничимъ кругъ нашей дѣятельности, ибо, въ противномъ случаѣ, мы можемъ раскидаться и растеряться». И, говоря

такимъ образомъ, она думаетъ, конечно, быть представительницею консервативнаго элемента, не подозрѣвая, что послѣдній имѣетъ свои границы, переступивъ которыя онъ становится уже не консервативнымъ, а разрушающимъ и истощающимъ...

Письмо девятое.

Какъ дѣлается русская деньга? Та русская деньга, которая, съ одной стороны, служитъ на пополненіе общаго ящика, а съ другой стороны, на удовлетвореніе эстетическихъ потребностей досужихъ людей,—вотъ вопросъ, котораго отнюдь не слѣдуетъ предлагать нашимъ губернскимъ исторіографамъ. Они, навѣрное, отвѣтятъ, что деньга родится въ голенищѣ мужицкаго сапога, или, по малой мѣрѣ, притаилась у мужика въ спинѣ. Больше ничего эти люди не знаютъ, и, надо сказать правду, это неизреченное невѣжество страннымъ образомъ способствуетъ успѣху тѣхъ операцій, которыя совершаются ими. Обладай они хотя скуднымъ пониманіемъ того, что̀ происходитъ вокругъ нихъ, внеси они въ свои дѣйствія, въ свои отношенія къ людямъ и къ дѣлу хотя малѣйшій признакъ сознательности, въ нихъ, безспорно, не сохранилось бы и сотой доли той развязности и безсовѣстной рѣшимости, которыя обуреваютъ ихъ теперь.

— Куда дѣвалась наша торговля?—вопрошаютъ другъ друга исторіографы, встревоженные тѣмъ, что говядина поднялась съ трехъ до семи копеекъ на фунтъ:—помните ли, какое множество возовъ покрывало наши площади въ базарные дни, и какіе были возы! чего-чего только на нихъ ни было! Куда все это дѣвалось? спрашиваю я васъ... je vous le demande un peu!

И, не ожидая отвѣта, котораго, впрочемъ, ни одинъ изъ этихъ несчастныхъ и дать не можетъ, присовокупляетъ:

— Ммерзавцы!

Къ кому относится послѣднее восклицаніе — этого, разумѣется, не сумѣетъ опредѣлить ни одинъ исторіографъ. Тутъ какая-то путаница, подъ которою скорѣе слѣдуетъ понимать общее, смутно чувствуемое положеніе вещей, нежели факты или лица. Тутъ и мужики примѣшались, и къ нигилистамъ имѣется какая-то темная прикосновенность, и еще о какихъ-то господахъ идетъ рѣчь, которые никогда,

впрочемъ, прямо не поименовываются, но извѣстны подъ названіемъ «подлецовъ» и «измѣнниковъ».

Легкомысліе исторіографовъ вообще, изумительно, но оно положительно не знаетъ предѣловъ, когда дѣло касается до причиненныхъ имъ обидъ. Въ этомъ случаѣ исторіографъ рѣшительно не знаетъ, на чемъ сосредоточить бродячую мысль свою: онъ мечется изъ стороны въ сторону, обвиняетъ, оправдываетъ, потомъ опять обвиняетъ, опять оправдываетъ. Ни къ какому положительному заключенію онъ никогда не приходитъ, такъ что можно подумать, что всю эту исторію онъ для того только и затѣялъ, чтобъ обнаружить встревоженное состояніе своей души.

— Нѣтъ! Это что̀—мужики!—говоритъ онъ съ налитыми мадерой глазами:—нашъ мужикъ добръ, смиренъ, простосердеченъ! Онъ отдастъ послѣднюю курицу, если видитъ, что отечество въ опасности! Vous comprenez?.. sa poule! sa dernière poule! Слѣдовательно не въ мужикахъ зло, а вотъ въ этихъ, въ волосатыхъ, да въ тѣхъ, что̀ бѣгаютъ по ночамъ по Невскому съ стрижеными косами! Вотъ гдѣ корень всей смуты!

Черезъ минуту:

— Нѣтъ! Это что̀—нигилисты! Что онѣ бѣгаютъ по Невскому стриженыя — кому отъ того бѣда! Да по мнѣ хоть подолы на головы заворотн — еще видь пріятнѣе будетъ! А вотъ гдѣ зло: въ этихъ «измѣнникахъ», которые своимъ коварствомъ, своею лестью... вотъ кого слѣдовало бы пробрать!

И еще черезъ минуту:

— И все-таки я утверждаю: весь корень зла въ мужикѣ! Тамъ что̀ ни говорите, а около него вся смута вертится. Покуда онъ былъ въ ежовыхъ рукавицахъ, онъ былъ прекрасенъ. Онъ былъ трудолюбивъ, послушенъ и простосердеченъ. Онъ отдалъ бы послѣднюю курицу... Vous comprenez?.. sa poule! sa dernière poule! чтобъ только выручить отечество въ минуту опасности! Теперь—куда все дѣвалось? спрашиваю я васъ: гдѣ у него, чорта съ два, эта *послѣдняя* курица?

И вдругъ, какъ бы спохватившись:

— А все онѣ! все эти скверныя стрижки! Онѣ *тамъ* ходятъ, заворотивши подолы, и прельщаютъ полицейскихъ, а мы *здѣсь* расхлебываемъ! И вотъ еще тѣ! эти подлецы и измѣнники!

Однимъ словомъ, это тотъ самый «порочный кругъ», въ

которомъ можно проблуждать всю жизнь и никогда не почувствовать ни малѣйшей неловкости. Какъ ни кинь—все ладно; какъ ни скажи—все хорошо.

А между тѣмъ вопросъ о томъ, какъ дѣлается русская деньга, есть именно одинъ изъ тѣхъ, въ разрѣшеніи которыхъ заключается вся суть нашего провинціальнаго существованія. Независимо отъ того, что процессъ зарожденія и образованія деньги самъ по себѣ очень интересенъ, разъясненіе его представляетъ единственный ключъ, съ помощью котораго мы можемъ проникнуть въ самое святилище нашей провинціальной заботости. Чтобъ облегчить читателю этотъ трудъ, возьмемъ, на первый разъ, хоть одинъ изъ способовъ дѣланія русской деньги, и именно тотъ, который преимущественно ставитъ втупикъ нашихъ исторіографовъ и который на офиціальномъ языкѣ извѣстенъ подъ именемъ торговли и промысловъ.

Начать съ того, что наши исторіографы всѣ виды торговли смѣшиваютъ въ одно смутное и легко расплывающееся понятіе. Они судятъ о торговлѣ по тѣмъ пирогамъ, которые ѣдятъ по воскресеньямъ у градскихъ головъ, у оптовыхъ складчиковъ и, въ послѣднее время, у различныхъ прохожихъ молодцовъ, сдѣлавшихся, къ своему собственному изумленію, предпринимателями желѣзнодорожнаго дѣла. Вкусивъ пирога и слегка посоловѣвъ отъ изліяній, исторіографъ разсуждаетъ такъ: «Стало-быть, торговля возможна, коль скоро этотъ почтенный негоціантъ угощаетъ меня такими отмѣнными пирогами? Отчего же на площади дѣло имѣетъ совсѣмъ другой видъ? отчего тамъ, вмѣсто прежнихъ десяти-двадцати возовъ, стоитъ нынче какой-то одинъ тощій возишко? Не оттого ли, что этотъ почтенный негоціантъ—простой и добрый русскій человѣкъ, который и объ начальствѣ думаетъ, и для себя копейку бережетъ, а тѣ, прочіе—люди злые и развращенные, которые послѣднее свое добро тащатъ въ кабакъ?»

И, поощренный этимъ силлогизмомъ, онъ дѣлается шаловливымъ и пускается въ разспросы.

— Ну, а какъ, Иванъ Иванычъ, — спрашиваетъ онъ своего амфитріона, подмигивая однимъ глазомъ:—если этакъ копнуть кубышечку-то... барышки, чай, изрядные окажутся?

— Что̀ же собственно изволите желать знать, ваше растаковство?—спрашиваетъ, въ свою очередь, негоціантъ, не могущій сразу взять въ толкъ вопроса.

— Ну, напримѣръ, съ ведра... или, тамъ, съ куля?

— По малости, ваше растаковство. Конечно, благодареніе Господу, безъ пользы не торгуемъ. Есть, ваше растаковство, такая пословица: съ голаго по ниткѣ—сытому рубашка! — заключаетъ негоціантъ, самъ усмѣхаясь своей остротѣ.

— Voici le bon!—восклицаетъ исторіографъ и, утѣшенный отвѣтомъ своего амфитріона, еще болѣе погрязаетъ въ увѣренности, что развитіе торговли находится въ прямой зависимости отъ добросердечія и простоты нравовъ, и что люди, которые не торгуютъ и не занимаются промыслами, дѣлаютъ это просто на смѣхъ, потому что они «злые».

Нѣтъ спора, что исторіографъ въ этомъ случаѣ подкупленъ возліяніями. Но дѣло не въ томъ, чѣмъ и какъ онъ подкупленъ, а въ томъ, что съ этой минуты его ни подъ какимъ видомъ не вышибешь изъ позиціи. Онъ не понимаетъ, что деньга, о которой шла рѣчь въ разговорѣ съ негоціантомъ, совсѣмъ не та, по поводу которой у него щемитъ сердце. Эта послѣдняя деньга родится въ другомъ мѣстѣ и служитъ для сооруженія совершенно иного пирога, пирога абстрактнаго, котораго никто въ натурѣ не видалъ, но о которомъ всякій изъ членовъ такъ-называемой россійской интеллигенціи можетъ разсказать самыя мельчайшія подробности, точно такъ, какъ бы онъ вынутъ и воочію стоялъ между нами, вполнѣ сервированный. Мы подходимъ къ этой фикціи, закусываемъ, пляшемъ, говоримъ des amabilités, измышляемъ мѣропріятія... и—увы!—все-таки не знаемъ, какъ этотъ пирогъ сооружается! Мы чувствуемъ только, что въ послѣднее время это сооруженіе пошло какъ-то вяло, и, не понимая, въ чемъ тутъ сила, прибѣгаемъ за объясненіями къ негоціантамъ, для которыхъ рѣшительно все равно, почемъ мы покупаемъ на рынкѣ говядину и много ли терпимъ отъ того, что въ цѣломъ городѣ нѣтъ ремесленника, который былъ бы способенъ пришить пуговицу къ сюртуку.

Этотъ негоціантъ, съ которымъ такъ благодушно бесѣдуютъ наши исторіографы—нуль или почти нуль въ томъ отвлеченномъ пирогѣ, въ постройкѣ котораго мы преимущественно заинтересованы. «Польза», о которой онъ такъ скромно повѣствуетъ, есть его собственная, личная «польза», и отъ нея въ общій пирогъ упадетъ развѣ микроскопическая крупица, да и та упадетъ только для видимости, а въ сущности немедленно вновь займетъ мѣсто въ карманѣ

своего законнаго обладателя, да еще и не одна, а въ сообществѣ многихъ другихъ крупицъ. Для того, чтобы видѣть наглядно, какъ дѣлается русская деньга, надобно оторваться отъ негоціантскаго пирога и отправиться вглубь, въ какую-нибудь Богомъ забытую Крапивну или въ утопающій въ навозѣ Керенскъ, или, пожалуй, даже въ цвѣтущій фабриками Егорьевскъ. Только тамъ можно настоящимъ образомъ насладиться зрѣлищемъ, какъ сооружается тотъ пресловутый всероссійскій пирогъ, который нѣкогда доставлялъ намъ столько радостей, а теперь служитъ источникомъ однихъ огорченій. Такъ мы и сдѣлаемъ, то-есть поѣдемъ не въ Крапивну, не въ Керенскъ и даже не въ Егорьевскъ (упаси насъ Богъ вступать въ какія-нибудь пререканія съ почтенными жителями этихъ городовъ!), а просто въ какую-нибудь называемую городомъ дыру, про которую и въ народѣ какъ будто сама собой складывается пословица: такой-то городъ (имя рекъ) чортъ три года искалъ, да такъ ни съ чѣмъ и отсталъ!

Лѣтомъ ѣхать хорошо. Воздухъ теплый, трактъ широкій, вольный; по бокамъ дороги зеленѣютъ ракиты. Правда, что колеса экипажа безпрерывно врѣзываются въ колеи, что при въѣздѣ на каждый мостъ, на каждую трубу путнику неизмѣнно взбудораживаетъ всѣ внутренности, что наконецъ тончайшая пыль, то черная, то бурая, то желтая, забирается и въ глаза, и въ уши, и въ носъ; но оставимъ въ сторонѣ эти мелкія дорожныя неудобства и будемъ благодарить судьбу, позволившую предпринять наше путешествіе лѣтомъ, а не зимою. Справа и слѣва у насъ мелькаютъ города. Вотъ направо: городъ Соломенный, городъ Навозный; вотъ налѣво: городъ Мякинный, городъ Глуповъ. Заглянемъ въ него, благо мы тамъ уже бывали.

Мы много наслышаны о Глуповѣ изъ газетъ. Въ прошломъ году онъ устроилъ такую иллюминацію (не пожаръ, а настоящую иллюминацію изъ смоляныхъ бочекъ, плошекъ и шкаликовъ), отъ которой было небу жарко; въ третьемъ году онъ задалъ фейерверкъ (тоже настоящій); въ четвертомъ году какого-то заѣзжаго исторіографа такъ угостилъ и возвеселилъ, что тотъ послѣ этого десять станцій скакалъ сломя голову и не могъ придти въ себя, покуда не прискакалъ въ городъ Полоумновъ, гдѣ его опять угостили и возвеселили до потери сознанія. Все это припоминается нами въ ту самую минуту, когда мы въѣзжаемъ въ предмѣстье города. Оно не поражаетъ великолѣпіемъ; по обѣимъ

сторонамъ дороги стоятъ крошечныя избы, изрѣдка вымазанныя глиной и сплошь крытыя почернѣвшей соломой; улица довольно равномѣрно вымощена перебродившимъ и вытолченнымъ навозомъ; колеса тонутъ въ густой, непросыхающей массѣ; лошади едва передвигаютъ ноги; ямщикъ гикаетъ и хлещетъ кнутомъ, потому что безъ этого средства онѣ навѣрное станутъ. По сторонамъ также лежатъ кучи навоза, около которыхъ хлопотливо суетятся тощія куры: у воротъ, позѣвывая, стоятъ сердитые, съ насупленными бровями, мужики; около домовъ мечутся тощія, блѣдныя женщины. Русская женщина вездѣ одинакова: и въ городѣ, и въ деревнѣ; она вѣчно что-то ищетъ, какую-то потерянную булавку, и никакъ не можетъ умолчать, что находка этой булавки должна повести за собой спасеніе міра. Тамъ и сямъ виднѣется вывѣска питейнаго дома и стоитъ почернѣвшій и покачнувшійся на сторону столъ, на которомъ положено нѣчто такое, чему нѣтъ имени: бублики не бублики, калачи не калачи, что-то сѣрое, бѣлесоватое, почти ископаемое...

— Такъ это-то вашъ городъ? — обращаетесь вы къ ямщику.

— Нѣтъ, это не городъ, — отвѣчаетъ онъ: — это только Поганая слобода! а городъ вонъ онъ—за мостомъ!

И дѣйствительно, меньше чѣмъ черезъ минуту вы переѣзжаете мостъ надъ рѣчкой, берега которой сплошь унизаны навозными кучами, и въѣзжаете въ городъ. Опять навозъ, опять экипажъ и лошади тонутъ, съ тою только разницею, что прежде вы ѣхали по ровному мѣсту, а теперь приходится карабкаться по косогору. Съ правой стороны косогора, во рву, вьется та самая рѣчка, которую вы только-что переѣхали и отъ паденія въ которую съ крутизны косогора вы защищены жидкимъ балясникомъ; впереди виднѣется соборная колокольня, выкрашенная усердіемъ обывателей въ голубую краску; неподалеку отъ нея бѣлѣется зданіе присутственныхъ мѣстъ и неизбѣжный острогъ. Тѣ же бревенчатые домики, покрытые соломой, тотъ же навозъ, тѣ же покачнувшіеся столы, и вдругъ рядъ какихъ-то странныхъ построекъ, не то будокъ, не то шалашей. Это центръ города («le Kremlin», какъ выражаются исторіографы), это средоточіе его торговли. Тутъ вы можете во всякое время найти веревку, нѣсколько аршинъ ситцу, заржавѣвшую отъ времени колбасу, связку окаменѣлыхъ баранокъ, пару лаптей и проч. Тутъ же стоятъ

каменныя хоромы купца Бѣлобрюхова, въ нижнемъ этажѣ которыхъ расположена бакалейная лавка, мучной лабазъ и ренсковый погребъ. Это тотъ самый негоціантъ Бѣлобрюховъ (le bon), у котораго мѣстные исторіографы ѣдятъ по праздникамъ пироги и который со всего собираетъ по малости. Едва вы въѣхали въ городъ, какъ уже видите конецъ его. Иногда (если Глуповъ не черноземный, а промышленный) за этимъ концомъ синѣетъ большая рѣка, знаменитая своими песчаными перекатами; если эта рѣка существуетъ, то по берегу ея устраивается набережная, обстроенная каменными домами, въ которыхъ ютятся тѣ же негоціанты Бѣлобрюховы, съ безконечнымъ числомъ складовъ, амбаровъ, воротъ, желѣзныхъ запоровъ и суетящимся людомъ приказчиковъ, рабочихъ и т. д.

Но вотъ и постоялый дворъ. Гостиницъ въ городѣ нѣтъ, а ежели и есть какія-то странныя заведенія, носящія это имя, то они отличаются именно тѣмъ, что въ нихъ невозможенъ пріютъ ни для чего живущаго. Дворъ довольно обширенъ и покрытъ навѣсомъ; темно, грязно, воняетъ. Среди общей тишины слышатся какіе-то особенные звуки: лошадь фыркнетъ, свинья взвизгнетъ, голубь перепорхнетъ съ мѣста на мѣсто. Вы вступаете на крылечко, котораго половицы колеблются подъ ногами; затѣмъ темныя сѣни, въ углу которыхъ пыхтитъ самоваръ; затѣмъ рядъ сколоченныхъ изъ сосновыхъ досокъ дверей, неокрашенныхъ, необитыхъ; на одну изъ нихъ вамъ указываютъ. Вы въ горницѣ.

Нѣтъ ничего унылѣе, какъ русскій уѣздный городъ лѣтомъ, особливо часовъ съ десяти утра до шести пополудни, когда жаръ не то что палитъ, а словно льетъ съ неба и окачиваетъ человѣка съ головы до ногъ. Вы не увѣрены, что городъ не спитъ, но въ то же время не можете утверждать и того, что онъ спитъ, потому что повсюду слышится не то что движеніе, а какой-то странный шорохъ, какъ будто гдѣ-то кто-то роется... По временамъ въ окошко, около самаго вашего уха, совершенно неожиданно раздается съ трудомъ окрикъ, вылетающій изъ пересохшаго горла:

— Клубнички... не надо ли?.. клубнички!

Передъ вами стоитъ баба въ бѣлой рубахѣ, въ такой же, испещренной красными узорами, юбкѣ и съ цвѣтною повязкой на головѣ. Она предлагаетъ черезъ отворенное окно плетеную коробью краснобокой и пахучей лѣсной клубники, а сама между тѣмъ отираетъ рукавомъ потъ,

горошинами выступающій на лицѣ. Очевидно, она рада остановиться у вашего окна, потому что тутъ она, по крайней мѣрѣ, въ тѣни. Она ужъ съ часъ шляется по улицамъ, заглядываетъ во всѣ окна, во всѣ двери и нигдѣ никого не видитъ, кромѣ лѣниво вспархивающихъ при ея приближеніи голубей. И вотъ наконецъ передъ нею живое существо, устроившееся около окна и какъ будто прислушивающееся къ преисполненной шороха тишинѣ...

— Что стоитъ? — спрашиваете вы бабу, не столько соблазненные видомъ захватанной клубники, сколько чтобъ положить конецъ ея безплоднымъ странствованіямъ.

— Десять копеекъ,—отвѣчаетъ она, но такимъ голосомъ, какъ будто сама удивляется своей дерзости.

— Et jadis on ne payait ça que deux kopeks! — восклицаетъ выросшій тутъ же словно изъ-подъ земли исторіографъ:—и замѣтьте, что вѣдь онѣ торгуютъ безъ всякихъ патентовъ... ммерзавки!

Вы колеблетесь. Первымъ вашимъ движеніемъ было заплатить десять копеекъ, но теперь, послѣ словъ исторіографа, вамъ кажется, что дать сразу такую груду денегъ,— значитъ либеральничать, значитъ баловать народъ и поселять въ немъ духъ революцій. Вамъ приходятъ въ голову тысячи сентенцій прежняго добраго времени о томъ, что состоянія наживаютъ копейками, о томъ, что копейку нужно беречь пуще глаза, и вы невольно начинаете выказывать непоколебимую твердость души.

— Шесть копеекъ! — говорите вы, соображая, что десять да два—двѣнадцать, раздѣленные на два, составляютъ шесть.

— Батюшка! дай хоть восемь!—канючитъ тотъ же надтреснутый, словно силой выдавляемый изъ горла голосъ.

На этотъ разъ либерализмъ торжествуетъ: восемь копеекъ выложены и отданы; баба улепетываетъ домой, верстъ за пять, счастливая и утѣшенная. Нѣтъ сомнѣнія, она даже думаетъ, что порядкомъ-таки надула васъ. Лёгко ли дѣло! Она встала въ три часа утра, часа два нагибалась, собирая клубнику; потомъ, убравшись около дома, часъ шла въ городъ, болѣе часа шлялась по дворамъ и теперь употребитъ часъ, чтобы возвратиться домой... и восемь копеекъ! Такой результатъ хоть кому дастъ крылья! И, конечно, она отнюдь не пренебрежетъ этой благостыней и завтра же опять явится у вашего окна съ такою же ношей клубники, и если васъ уже не будетъ въ городѣ, то глубоко и горько вздохнетъ...

Это первый и самый простой видъ торговли, той торговли, которая именуется свободною и которая разрѣшается всякому, имѣющему возможность отдать пять-шесть часовъ времени за восемь-десять копеекъ.

Баба ушла. Опять не слышно человѣческаго голоса, опять тотъ же смущающій душу шорохъ. Напротивъ, черезъ улицу, въ деревянномъ некрашенномъ домѣ, бѣлѣются кисейныя створчатыя занавѣски, закрывающія только нижнія два стекла оконъ и засиженныя мухами; сквозь занавѣски и поверхъ нихъ виднѣется какая-то масса, не то одѣвающаяся, не то раздѣвающаяся. Богъ вѣсть откуда, словно полоумная, бѣжитъ стремглавъ индѣйка, завидѣвшая, что вы что-то ѣдите и что-то кидаете въ окно. А солнце такъ и льетъ цѣлыя волны зноя.

— Ужъ я, братъ, не обману! ужъ коли я сказалъ, что животина хорошая, такъ бери съ Богомъ!—раздается голосъ на дворѣ.

Заслышавъ этотъ голосъ, вы покидаете «горницу» и отправляетесь на крыльцо. Въ уѣздномъ городѣ все настораживаетъ чувства, все возбуждаетъ любопытство. Желаніе хоть что-нибудь высмотрѣть или услышать овладѣваетъ человѣкомъ невольно, когда кругомъ царствуетъ только безмолвіе. На дворѣ, подъ навѣсомъ, стоитъ на колѣняхъ бородатый мѣщанинъ и рѣжетъ овцу. Онъ рѣжетъ ее потихоньку, не торопясь; порѣжетъ, воткнетъ ножъ въ навозъ, вздохнетъ и опять примется рѣзать. Хозяинъ овцы (онъ же и хозяинъ постоялаго двора) стоитъ подлѣ и смотритъ. Овца лежитъ смирно, до такой степени смирно, что въ вашу душу закрадывается ужасъ. Ее не нужно даже связать, чтобъ рѣзать: она упрямится только тогда, когда ее выволакиваютъ изъ хлѣва, въ который ее предварительно загоняютъ вмѣстѣ съ прочими подругами, предлагаемыми на выборъ. Но какъ скоро она уже на мѣстѣ, то безпрекословно ложится на бокъ, безпрекословно протягиваетъ вверхъ голову и ждетъ. Разъ... разъ... разъ... Показывается небольшая струйка крови, затѣмъ какая-то нерѣшительная корча... еще и еще... все кончено!

— Ишь!—говоритъ бывшій хозяинъ овцы, взирая, какъ она подрыгиваетъ ногами.

Другія, выпущенныя изъ хлѣва, овцы не вдругъ идутъ за ворота, а останавливаются и какъ будто удивляются, какія-такія неслыханныя почести посыпались на ихъ недавнюю подругу.

— Смотри, гривенъ семь на животинѣ выгадаешь,—продолжаетъ хозяинъ и, какъ будто самъ дивясь своей умѣренности, прибавляетъ:—какое семь гривенъ! тутъ, братъ, рублемъ пахнетъ—вотъ что!

— Оно, конечно, рубликъ нажить можно, — отвѣчаетъ бородатый мѣщанинъ, распяливая свою жертву на доскахъ, перекинутыхъ черезъ прясла, и принимаясь тѣмъ же ножикомъ отдѣлять шкуру отъ мяса: — да вѣдь тоже пить-ѣсть, Прохоръ Прохорычъ, нужно; опять же патентъ годовой взяли — его воротить тоже требуется.

Это ужъ торговля по патенту. Вы узнаёте, что городъ Глуповъ, несмотря на иллюминаціи и фейерверки, почти не ѣстъ говядины (въ особенности лѣтомъ), что мясниковъ однако въ городѣ довольно, и что рѣдкій изъ нихъ выручаетъ барыша больше, нежели на полтину въ день. Между тѣмъ на эту торговлю нужно выправить въ казнѣ свидѣтельство мелочного торга, которое въ уѣздномъ городѣ стоитъ отъ 8-ми до 15-ти руб., да билетъ къ нему, цѣной отъ 2-хъ до 6-ти руб., и сверхъ того заплатить разные сборы въ городъ и земство.

— Зачѣмъ же вы торгуете? — спрашиваете вы у этихъ своеобразныхъ негоціантовъ, изумленные ничтожностью результатовъ:—неужели нѣтъ другихъ способовъ зарабатывать деньги?

— А куда дѣваться, позволь тебя спросить! — отвѣтитъ вамъ одинъ: — намъ и утопиться-то негдѣ; потому наша рѣка и для этого даже не годится!

— Вѣдь мы, сударь, около рублишка ходимъ!—отвѣтитъ другой: — день не поѣшь, на другой поневолѣ начнешь поворачиваться! Убоину-то мы, сударь, только въ Свѣтло-Христово Воскресенье да объ Рождествѣ ѣдимъ!

— Вотъ хоть бы нашъ мясной торгъ!—вступаетъ мѣщанинъ, только-что зарѣзавшій овцу: — здѣсь, въ городѣ, говядину почесть-что одинъ исправникъ и ѣстъ! Зарѣзалъ теперича барана да и бейся съ нимъ два дня, а на третій, гляди, онъ и протухъ!

— Да вѣдь можно же отыскать какое-нибудь другое занятіе, болѣе прибыльное! — настаиваете вы.

— Ты выдь на улицу да и посмотри на всѣ на четыре стороны! можетъ, и найдешь что-нибудь, а намъ не слыхать!

Бьетъ два часа; съ одной стороны одолѣваетъ скука, съ другой стороны начинаетъ напоминать о себѣ голодъ.

— Гдѣ бы у васъ въ городѣ пообѣдать? — спрашиваете вы у хозяина.

Онъ смотритъ на васъ такими изумленными глазами, какъ будто вы у него спросили, гдѣ бы достать взаймы милліонъ рублей.

— Гдѣ обѣдать? — смущенно повторяетъ онъ вашъ вопросъ.

— Да, вѣдь у васъ есть гостиница?

— Гостиница?.. оно точно... только въ ней кушанья не готовятъ... Чай, водка—это имѣется!

— Сами-то вы что же нибудь да ѣдите?

— Сами?.. ѣдимъ! Только вы нашего кушанья ѣсть не станете! -прибавляетъ онъ какимъ-то такимъ убѣжденнымъ тономъ, что у васъ мгновенно пропадаетъ всякая охота узнавать, чѣмъ питается вашъ хозяинъ.

Вы узнаете, между прочимъ, что, года два тому назадъ, въ городѣ существовалъ клубъ, и тогда пріѣзжій могъ раза два въ недѣлю найти себѣ обѣдъ, ежели попадалъ въ счастливые дни: но клубъ существовалъ только три мѣсяца, потому что никто туда не ѣздилъ, а тѣ, которые ѣздили, не платили денегъ.

— Нельзя ли достать хоть хлѣба бѣлаго къ чаю? спрашиваете вы, соглашаясь мало-по-малу на компромиссъ.

— Хлѣба?—опять повторяетъ хозяинъ:—хлѣбъ здѣсь по субботамъ поляки пекутъ, а теперь... да нѣтъ, вы нашего хлѣба ѣсть не станете!

— Какіе же это поляки пекутъ хлѣбъ?

— Да ссыльные... пекутъ про себя, ну и прочіе пользуются...

Вы совершенно сконфужены. Вы спрашиваете себя: какъ существуетъ этотъ городъ? И какимъ образомъ случилось, что въ городѣ, имѣющемъ все-таки тысячу жителей, устраивающемъ по временамъ «премиленькія иллюминаціи», вы не можете дня прожить, чтобъ вдоволь не наголодаться?

Мимо города чуть ли не каждый день проходятъ гурты, ѣдутъ возы, нагруженные живностью, телятами и проч., а говядину (въ лѣтнее время) можно имѣть только въ базарный день, къ которому бьютъ какую-нибудь злосчастную корову, переставшую давать молоко. Все, что везется или гонится,—все это направляется въ Москву или въ Петербургъ, а несчастный городъ глядитъ и даже губъ не облизываетъ: такъ ужъ онъ свыкся съ мыслью, что все, что съѣдобно, удобно или пріятно, существуетъ не для него.

Если въ городѣ существуетъ рѣка, и вы полюбопытствуете, какъ идетъ рыбный промыселъ, вамъ отвѣтятъ, что рыбы совсѣмъ мало, и всякій объяснитъ вамъ это исчезновеніе по-своему.

— Съ тѣхъ поръ, какъ эти пароходы пошли,—скажетъ одинъ: — совсѣмъ у насъ въ рѣкѣ рыбы не стало.

— Что̀ врешь-то! — возразитъ другой: — кабы пароходы разогнали рыбу, все-таки она куда бы нибудь дѣвалась, а то ея и вездѣ, по всей рѣкѣ, стало въ десять да въ двадцать разъ противъ прежняго меньше. А ты вотъ что̀ лучше скажи: весной, молъ, ваше благородіе, въ то самое время, какъ ей икру метать, эту самую рыбу вылавливаютъ, ну и плодится она годъ отъ году меньше.

Во-вторыхъ, вамъ скажутъ, что хотя рыба въ садкахъ и есть, но не для мѣстнаго употребленія, а опять-таки для Москвы и для Петербурга, куда она ужъ и заподряжена.

— Что-жъ наконецъ тутъ ѣдятъ?—спрашиваете вы уже съ нѣкоторымъ любопытствомъ.

— Да кому у насъ, сударь, ѣсть-то?—отвѣтятъ вамъ:— развѣ что вотъ у исправника столы бываютъ: а что про прочихъ жителей можно сказать одно: ѣдятъ, что̀ Богъ послалъ.

И, подумавъ немного, непремѣнно присовокупятъ:

— Вы нашего кушанья и ѣсть-то, сударь, не станете!

Въ городѣ два училища: уѣздное и приходское, но что̀ въ нихъ дѣлается—про то знаютъ только тѣ немногія дѣти, которыя посѣщаютъ ихъ: никто изъ взрослыхъ этимъ дѣломъ не интересуется. Нѣтъ ни клуба, ни библіотеки; читать нечего и негдѣ. Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, когда всякій литераторъ-обыватель не иначе начиналъ свою корреспонденцію, какъ словами: «въ наше время, когда...», штатный смотритель училищъ завелъ-было кое-какую скудную библіотеку, и просвѣщенье въ городѣ на мгновенье просіяло: но въ 1862 году оно опять потухло, и просіялъ навозъ. Въ почтовой конторѣ получается нѣсколько экземпляровъ журналовъ и газетъ, но подписчиковъ, живущихъ въ городѣ, почти нѣтъ, а выписываютъ матеріалъ для чтенія только помѣщики, попрятавшіеся въ своихъ усадьбахъ.

Куда дѣваться? что̀ дѣлать?

Седьмой часъ: жаръ начинаетъ понемногу сдавать, хотя все еще печетъ. Вы видѣли какое-то подобіе движенія въ третьемъ часу, когда приказные вереницей потянулись изъ присутственныхъ мѣстъ по домамъ отвѣдывать того кушанья,

котораго вы «ѣсть не станете», и за ними, изъ тѣхъ же присутственныхъ мѣстъ, выбрело съ пятокъ мужиковъ, очевидно, искавшихъ себѣ удовлетворенія у мѣстной Ѳемиды. Почти такое же движеніе оказывается и теперь: опять плетутся приказные, но уже въ обратномъ смыслѣ: всѣ направляются изъ домовъ въ присутственныя мѣста, для вечернихъ занятій. Выйдемъ и мы и заглянемъ въ средоточіе мѣстныхъ торговыхъ интересовъ, въ такъ-называемые ряды.

Ряды эти состоятъ изъ одного-двухъ десятковъ деревянныхъ построекъ, потемнѣвшихъ отъ времени и сильно накренившихся на-бокъ: тамъ и сямъ расположены дощатые прилавки съ устроенными надъ ними отъ жары и непогоды навѣсами: у прилавковъ сидятъ старыя и молодыя торговки и что-то вяжутъ, переговариваясь между собою. Подъ столами, въ коробьяхъ и лукошкахъ, заключается запасной товаръ: на прилавкахъ тотъ товаръ, который предлагается покупателю. Первую роль играютъ гречневики, гороховый кисель и ржаной хлѣбъ. Сбоку: въ искалѣченномъ чайникѣ— конопляное масло и въ кружкѣ — какое-то темное сладковатое пойло, которое называется сусломъ. Когда покупатель желаетъ пріобрѣсти гречневикъ, торговка предварительно поваляетъ его въ рукахъ, польетъ масломъ и затѣмъ уже подаетъ потребителю. Очевидно, что это и есть то самое кушанье, о которомъ вамъ говорили, что «вы его, сударь, ѣсть не станете».

— Ну, что̀, какъ торгуете?

— Какая наша торговля! всѣхъ-то насъ собрать—десяти копеекъ дать не за что.

— А вы бы, старушки, поживѣе!

— Чего тутъ! еще зимой ништò! мужики ѣздятъ—иной разъ и на полтину поторгуешь, а лѣтомъ и вовсе худо. Да хорошо еще, какъ за день-то тебя не убьетъ кто-нибудь.

— Ужъ и убьетъ!

— А то ка̀къ же! то чиновникъ палатскій на тебя налетитъ, то изъ думы, а тутъ еще полиція — штрафъ подавай!

— Это значитъ, что вы не снабжаете себя своевременно документами! поймите, старушки, вѣдь это тоже нехорошо!

— Нехорошо-то, нехорошо, что̀ про то говорить. Только и тягости-то нонче очень ужъ велики стали.

— А ка̀къ?

— Да вотъ какъ: ты вотъ видишь ли этотъ столъ? такъ это, сударь, не столъ называется, а «торговое помѣщеніе», и потому отдай за него въ думу два рубля. Потомъ чиновникъ палатскій дастъ тебѣ билетъ — этому заплати четыре рубля, потомъ въ земскую сорокъ копеекъ... а робятъ-то! робятъ-то! и на что только они, каторжные, на свѣтъ урожаются!

— Ну, вотъ видите ли, какое вамъ снисхожденіе дѣлается! Вы, по-настоящему, билетъ-то еще въ декабрѣ прошлаго года должны были выправить, а вамъ чиновникъ выдалъ его уже въ маѣ, при повѣркѣ торговли. Штрафъ вѣдь за это съ васъ слѣдуетъ.

— И то взыскиваютъ. Только у насъ, баринъ, у всѣхъ-то вмѣстѣ четырехъ рублей никогда не бываетъ, такъ намъ пожалуй что и все равно!

— Да вѣдь въ законѣ-то сказано: «если кто откроетъ безъ взятія свидѣтельства или билета промышленное заведеніе... то таковое должно быть немедленно закрыто». Какъ же не закрываютъ ваши «заведенія»?

— И закрывали! не одинъ разъ ужъ закрывали! «Ступайте, говорятъ, вонъ, плёхи!» Ну, а мы тоже свое: куда, молъ, ваше благородіе, идти прикажете? насъ и земля-то не принимаетъ!

— Что-жъ «онъ»?

— Что̀! постоитъ-постоитъ, разведетъ руками, скажетъ: «курвы!» да и пойдетъ прочь.

Мы подходимъ напротивъ къ лавочкѣ, въ которой ведется такъ-называемый мелочной торгъ. Мѣшокъ съ крупою, другой съ ржаной мукою, третій съ мукой пшеничной второго или третьяго сорта; нѣсколько пучковъ веревокъ, связка гвоздей, обрѣзки желѣза, съ десятокъ фунтовъ сальныхъ свѣчей, осколокъ сахару, банка, на днѣ которой разсыпанъ пыльный чай, кусокъ мыла, нѣсколько паръ висящихъ лаптей—вотъ внутреннее убранство лавочки.

— Какъ поторговываете?

— На десять копеекъ товару-съ, на рубль хлопотъ-съ!

— Что̀ такъ?

— Продажи нѣтъ-съ. Народъ, значитъ, обнищалъ. Никому ничего не требуется-съ.

— Однако барыши все же должны быть?

— Ужъ это разумѣется-съ; безъ барышовъ какъ же возможно! На полтину въ день торгуемъ, а ино мѣсто и рубль выручишь!

— Какъ же вы дѣлаете? Какъ воспитываете дѣтей?

— Мрутъ тоже-съ. Стараемся, кажется, довольно, а все какъ-то надежды не видимъ. Годъ-то бьешься-бьешься, а къ концу либо ничего не останется, либо самъ еще Бѣлобрюхову задолжаешь!

— Странный однако у васъ городъ! не ѣстъ, не пьетъ: цѣлые дни либо на солнцѣ печется, либо на морозѣ зябнетъ—и все не въ прокъ!

— Такъ ужъ ему, сударь, удалось! Осмѣлюсь доложить, что тягости наложены на насъ ужъ очень безпримѣрныя!

— Напримѣръ?

— Какъ же-съ! Вотъ теперь за это пристанище въ думу пять рублей заплати; за свидѣтельство въ казначейство десять рублей снеси, за билетъ къ нему четыре рубля, да въ земскую—рубль сорокъ. Денегъ-то сколько вышло! Годъ-то торгуешь, а къ концу и разноси барышъ по мытарствамъ, да, пожалуй, еще на сторонѣ гдѣ-нибудь перехвати! Вонъ этимъ плѣхамъ рай, а не житье! — прибавляетъ мелочникъ, указывая на торговокъ: — а наша жизнь — какъ есть каторга

— Чѣмъ же однако ихъ житье лучше вашего?

— Ихъ-то! да помилуйте! онѣ и патентовъ никакихъ не знаютъ: такъ, по-дворянски блаженствуютъ. Намеднись палатскій чиновникъ пріѣзжалъ: берите, говоритъ, старушки, патенты! А на что намъ, говорятъ, твои патенты! мы и безъ нихъ съ голоду умереть свободны! Сволочи!

— А вамъ безъ патента нельзя?

— Намъ-съ? намъ это никогда невозможно. Потому у меня «заведеніе» настоящее, закрытое, съ дверями, какъ слѣдуетъ. Сейчасъ это пришелъ депутатъ съ полицейскимъ, закрылъ двери, запечаталъ... куда я пошелъ? А имъ развѣ можно запретить! сегодня ты ее съ мѣста согналъ, а завтра она опять либо тутъ, либо на другомъ мѣстѣ чулокъ вяжетъ! И какую онѣ, сударь, пакость намъ дѣлаютъ! такъ и рвутъ, такъ и рвутъ къ себѣ покупателя!

— Однако вѣдь онѣ совсѣмъ другимъ товаромъ торгуютъ!

— Да и мы бы ихнимъ товаромъ торговать стали, потому что товаръ нужный, ходкій; только противъ ихъ потрафить никакъ невозможно! Ты двѣ копейки, она полторы! сколько мы на нихъ жаловались — все толку нѣтъ! Вотъ тутъ, подлѣ, сосѣдъ краснымъ товаромъ торгуетъ, такъ противъ него этакая же тесемщица проявилась—не даетъ торговать да и шабашъ!

Такимъ образомъ идетъ мелочная розничная торговля. Всякій торговецъ непремѣнно пожалуется на недостатокъ потребителей, на возрастаніе конкуренціи и на тяжесть налоговъ. Всякій готовъ перервать горло своему сосѣду, нажаловаться, наябедничать, и въ результатѣ этой вражды, этой ненависти, при самыхъ удачныхъ обстоятельствахъ, получается полтина.

— И куда только покупатель дѣвался? словно онъ, сударь, сквозь землю провалился! никому ничего не надо! раздается со всѣхъ сторонъ.

Одинъ купецъ Бѣлобрюховъ не унываетъ. Въ его каменныхъ палатахъ вы можете найти все: тутъ и ренсковый погребъ, тутъ и бакалейная лавка, а на дворѣ амбаровъ, амбаровъ! Но зато онъ объявляетъ капиталъ по второй гильдіи и, имѣя до десяти помѣщеній, платитъ въ казну за одни свидѣтельства и билеты (по 4-му классу) сто тридцать пять рублей, за членовъ семейства (до десяти человѣкъ сыновей, братьевъ, дядей и проч., записанныхъ въ одинъ капиталъ) пятьдесятъ рублей, за двоихъ или троихъ приказчиковъ 2-го класса 15 рублей, а въ земскую управу около пятидесяти рублей.—всего, стало-быть, около двухсотъ пятидесяти рублей. Исполнивши это, онъ можетъ дѣлать обороты на милліоны и радоваться на міръ Божій, сколько душѣ угодно. Для него не существуетъ ни повышенія цѣнъ, ни пониженія: это торговецъ основательный («le bon»), и цѣны у него всегда настоящія. Рядомъ съ нимъ, въ его же домѣ, торгуетъ краснымъ товаромъ нѣкто Поганкинъ, который продаетъ въ годъ на тысячу рублей и тоже уплачиваетъ до ста рублей въ годъ, потому что продаетъ спецъ (товаръ купеческій) и, сверхъ того, записывается въ гильдію, чтобъ избавить семью отъ рекрутства.

— Кабы не рекрутство,- говоритъ онъ: какой же чортъ толкалъ бы меня въ гильдію лѣзти!

Такимъ образомъ въ городѣ оказывается до пятидесяти гильдейскихъ капиталовъ, а въ сущности купцовъ только двое: Бѣлобрюховъ и Бѣлобоковъ. Они ѣдятъ и по буднямъ, и по праздникамъ щи, которыхъ «не продуешь», пироги и свинину: они спятъ на перинахъ и съ перепою не чувствуютъ даже клоповъ. Все остальное питается чуть не древесною корою и спитъ въ повалку на войлокѣ, а подчасъ и на той ветхой «лопоти», въ которой слоняется днемъ.

Однако въ рядахъ больше дѣлать нечего; вездѣ бѣдность, завидующая бѣдности же и кланяящаяся въ поясъ богатству. Бѣдность разрозненная, забитая, разбѣгающаяся въ разсыпную при одномъ имени Бѣлобрюхова. Зато Бѣлобрюховъ устроилъ бульваръ по берегу рѣки, исправилъ какой-то въѣздъ, основалъ богадѣльню на десять человѣкъ, внесъ десять тысячъ на основаніе общественнаго банка и теперь серьезно помышляетъ о желѣзной дорогѣ. Граждане не нарадуются имъ и съ гордостью говорятъ, что и ихъ городъ будетъ въ скоромъ времени соединенъ желѣзнымъ путемъ съ обѣими столицами.

— Что-жъ, навозъ, что ли, вы перевозить будете?— спрашиваете вы у черезчуръ расхваставшагося обывателя.

Обыватель очень чувствительно оскорбленъ вашимъ вопросомъ.

— Навозъ не навозъ,—говоритъ онъ:—а всякое произведеніе. Примѣромъ, теперича, коноплю, рожь, овесъ, говядину, сало, ленъ, пеньку, веревку, рыбу, клей, солодъ, щетину, перьё, птицу, свиней, медъ, воскъ, деготь, поташъ, мыло, смолу, хмель, спиртъ, шерсть, холстъ...

Онъ поименуетъ вамъ цѣлую уйму разныхъ названій. Слушая эту разнообразную номенклатуру, вы изумитесь: но ежели вникнете въ сущность дѣла, то поймете, что всѣ эти названія способны только испортить нынѣ существующіе способы сообщенія и нимало не напитать способовъ сообщенія усовершенствованныхъ.

— У насъ, сударь, третьяго-года такую иллюминацію задали—страсть! стало-быть, будетъ что перевозить! -прибавляетъ словоохотливый обыватель.

Но воротимся на постоялый дворъ. У воротъ высыпало все хозяйское семейство и, позѣвывая, наслаждается вечерней сіестой. Съ чего они зѣваютъ?—думается вамъ:—неужто съ голоду? Тутъ же пріютилась какая-то темная, юркая фигура въ затасканномъ и мѣстами порванномъ сюртучишкѣ, въ которой вы узнаёте бывшаго двороваго господъ Безпорточныхъ, Ардашку.

— Ба! Ардальонъ! здорово!

— Здравія желаемъ, ваше высокоблагородіе!—восклицаетъ Ардальонъ, видимо желая выкинуть какой-нибудь артикулъ, но не успѣваетъ въ этомъ, по недостатку потребной для того физической силы.

Вы знаете Ардальона съ дѣтства. Онъ всегда былъ ма-

лый проворный и смышленый: въ домѣ помѣщика онъ былъ очень хорошимъ портнымъ: и по оброку ходилъ, и въ наказаніе за всякія провинности былъ высылаемъ въ деревню, гдѣ одѣвалъ и обшивалъ весь домъ. Никогда его не замѣчали пьянымъ, кромѣ, разумѣется, годовыхъ праздниковъ, которые онъ неизмѣнно и неизбѣжно проводилъ безъ чувствъ.

— Золотыя у этого человѣка руки!—говорилъ про него господинъ Безпорточный:—и, кажется, ежели бы не чарочка да не женскій подолъ, никакому бы Шиллингу и Тёпферу (знаменитые въ то время портные въ Москвѣ) передъ нимъ не выстоять!

Теперь этотъ человѣкъ очутился на волѣ, или, иными словами, онъ пущенъ въ пространство съ увольнительнымъ свидѣтельствомъ въ рукахъ и въ продранномъ сюртучишкѣ. Натурально онъ тотчасъ же устремился въ городъ. Но каково же было его изумленіе, когда онъ узналъ, что въ городѣ никому ничего не нужно; что тутъ никто не ѣстъ, не пьетъ, не обувается, не одѣвается, и что, вдобавокъ, съ него требуютъ рубль серебромъ «на призрѣніе» да еще два съ полтиной за патентъ!

— Ну, что, какъ дѣла?—спрашиваете вы его, но, оглядѣвши съ ногъ до головы его фигуру, начинаете понимать, что вопросъ вашъ, по малой мѣрѣ, излишенъ.

— Что дѣла-съ! наши дѣла какъ сажа бѣла!

— Что такъ?

— Работать не дозволяютъ!

— Не можетъ быть!

— Точно такъ-съ. Намеднись сижу я это въ квартирѣ, жилетку господину Бѣлобрюхову работаю. Вдругъ входитъ чиновникъ: «Ты что дѣлаешь?» Я даже самъ испугался, точно и не-вѣсть какое преступленіе дѣлаю.—Жилетку, говорю, для господина Бѣлобрюхова шью.—«А патентъ, говоритъ, есть?» — Какой патентъ?—Тутъ я, сударь, узналъ, что работать безъ патента воспрещается-съ, а цѣна ему два съ полтиной. Тутъ же и актъ объ этомъ составили, что я, значитъ, обманнымъ манеромъ работаю, а черезъ два мѣсяца вышло рѣшеніе: взять мнѣ патентъ и взыскать, кромѣ того, другіе два съ полтиной, а до тѣхъ поръ «заведеніе» мое запечатать. Вотъ и все мое ремесло.

— Какое же заведеніе закрыть? магазинъ, что ли, у тебя былъ?

— Какой магазинъ! такъ, уголъ нанималъ у одного мѣ-

щанина! Ужъ и мы съ полицейскимъ тогда дивились, какое такое заведеніе опечатать! Только полицейскій все-таки вывернулся: «заведеніе, говоритъ, я твое опечатать не могу, а инструментъ отберу!» Было у меня тутъ иголъ съ дюжину — взялъ, завернулъ въ бумажку и запечаталъ; былъ кирпичъ (родъ подушки, въ которую портные втыкаютъ иглы) — тоже взялъ и опечаталъ; даже къ столу, на которомъ я сидѣлъ, и къ тому приложилъ печать!

— А ты бы спросилъ: что-жъ тебѣ теперь дѣлать?

— И то спрашивалъ. «Нечего, говоритъ, теперь тебѣ другого дѣлать, кромѣ какъ въ кабакъ идти!»

— Чѣмъ же ты живешь?

— Чѣмъ живу-съ? кой-куда въ дома пошить зовутъ, тѣмъ и кормлюсь! А впрочемъ, какой у насъ городъ, только-что зовется городомъ! Кто побогаче — нашей работой гнушается, въ Москвѣ да въ Петербургѣ норовитъ аммуницію себѣ сшить, а побѣднѣе, такъ и самъ иголкой ковырять можетъ.

— Видно, братъ, богатому вездѣ хорошо, а бѣдному вездѣ худо. Такъ ли?

— Такъ точно-съ. Только этимъ и обнадежены, отвѣчаетъ онъ и потомъ, спохватившись, что сказалъ глупость, продолжаетъ:—вотъ, сударь, что я хотѣлъ васъ спросить: какъ теперича жить намъ будетъ?

— А что?

— Да вотъ-съ: третьяго года городъ-то нашъ горѣлъ, прошлаго года ничего, кромѣ лебеды, въ уѣздѣ не уродилось, а нынче, слышно, скотина вальмя-валится.

— Богъ поможетъ, справитесь какъ-нибудь...

— Это точно-съ. Велика милость Божья.

— Подати будутъ заплачены? Не такъ ли?

— Это такъ-съ. Господинъ исправникъ на этотъ счетъ довольно строги. Какъ ни хоронись, а подъ рубашкой всегда эта подать найдется!

— Нехорошо, Ардальонъ! Роптать, братецъ мой, это послѣднее дѣло.

— Ужъ на что хуже! Однако прощенія просимъ, ваше высокоблагородіе.

Ардальонъ уходитъ. Уже совсѣмъ смерклось, а васъ одолѣваетъ зѣвота. Все, что можно было высмотрѣть въ городѣ, все высмотрѣно. Два, три часа времени—вотъ все, что нужно, чтобы его внутренняя жизнь выступила наружу. Конечно, вечеромъ замѣтно какъ будто больше оживленья

на улицахъ: семейство исправника проѣхало въ долгушѣ; купецъ Бѣлобрюховъ пролетѣлъ на тысячномъ рысакѣ, запряженномъ въ одноколку; вереница чиновниковъ, съ папиросами въ зубахъ, потянулась къ бульвару, но все это словно во снѣ дѣлается. Чувствуешь, что этимъ людямъ жить надоѣло, что они вполнѣ равнодушны къ дѣйствительности и живутъ мечтаніями. Даже не трудно угадать, о чемъ они мечтаютъ. Скоро наступитъ 1-е іюля и послѣдуетъ розыгрышъ лотерейнаго займа перваго выпуска. Люди, обладающіе хоть однимъ билетомъ, надѣются и строятъ планы, что они сдѣлаютъ, если на ихъ долю выпадетъ двѣсти тысячъ; люди, которые не обладаютъ ни однимъ билетомъ, тоже строятъ планы... что они сдѣлали бы, если-бъ на ихъ долю выпало двѣсти тысячъ. Люди компетентные увѣряютъ, что вся Россія только и живетъ нынѣ этими надеждами...

Но вотъ и совсѣмъ смерклось: по мѣстамъ замелькали въ окнахъ огни, но большинство домовъ тонетъ во мракѣ, ибо сальная свѣча стоитъ денегъ, и хозяева не всегда могутъ дозволять себѣ эту роскошь. Городъ зѣваетъ, стелетъ армяки и полушубки...

Блохи, клопы, тараканы освѣжаютъ сонъ истомленнаго дневнымъ зноемъ рыцаря ломанаго гроша.

Зимой дѣло идетъ поживѣе. Навозъ, покрывающій площадь, показываетъ, что по временамъ здѣсь бываетъ людно. Вмѣсто одного гроша, торговецъ получаетъ два и три, но изъ грошей все-таки никакъ выйти не можетъ. Разъ десять въ день онъ перевернетъ этотъ заколдованный грошъ, и все-таки онъ очутится въ его карманѣ тѣмъ же грошомъ, частицу котораго необходимо отдѣлить въ общій ящикъ. И какъ онъ бьется изъ-за этого гроша, какъ ругается, какъ льститъ и подличаетъ, какъ коститъ своего сосѣда! Глядя со стороны, можно подумать, что дѣло идетъ объ обезпеченіи долгаго-долгаго будущаго, а не о томъ, чтобъ какъ-нибудь сбыть съ рукъ распроклятый сегодняшній день!

Это правда, что зимой торгъ живѣе и выгоднѣе, но въ то же время зимой и расходовъ больше. Хотя посадскій человѣкъ въ недавнее время и освобожденъ отъ подушной подати, но зато явилось много новыхъ повинностей, которыя нужно очистить именно въ декабрѣ и въ январѣ. Первое — государственная повинность; второе — налогъ съ

недвижимыхъ имуществъ, то-есть съ той хижины, въ которой онъ не столько живетъ, сколько, такъ сказать, хоронится отъ жизни: третье — патентъ. А тутъ еще рекрутскій наборъ на дворѣ: если не приходится отвѣчать своею личностью, то во всякомъ случаѣ придется отвѣчать деньгами: на обмундированіе, на продовольствіе, на наградныя рекрутамъ, на вознагражденіе рекрутскихъ сдатчиковъ... Откуда взять? какъ извернуться? Волею-неволею приходится отдѣлить ложку или двѣ отъ тѣхъ пустыхъ щей, которыми мѣщанинъ наливаетъ ежедневно свое несытое брюхо, или отлить четверть шкалика отъ той сивушной порціи, на которую заглядываются его завидущіе глаза.

— Нынче мы, сударь, дровами никогда не топимъ! — говорятъ вамъ въ одномъ мѣстѣ: — нынче у насъ щепа да солома въ моду пошли. Было наше времечко! Поцарствовали! пороскошествовали!

— Когда съ насъ подушныя брали, намъ невпримѣръ легче было!—говорятъ въ другомъ мѣстѣ: — первое дѣло, платили мы по общественной раскладкѣ: стало-быть, у кого засилія больше, тотъ и душъ больше оплачивалъ; второе дѣло: коли много ужъ очень недоимки накапливалось, такъ или голова, или другой благодѣтель, бывало, вынщется: нѣтъ-нѣтъ, да и внесетъ за общество! А нынче всякъ за себя отдувайся, патента-то никто тебѣ ужъ не купитъ!!

— А тутъ еще дворовыхъ голышей нагнали! — вопіютъ въ третьемъ мѣстѣ:—дохнуть отъ нихъ, канальевъ, нельзя. Гдѣ прежде было два сапожника, тамъ нынче ихъ двадцать два, и всѣ норовятъ на одномъ сапогѣ заплату наставить!

И какую жизнь ведетъ этотъ дикій, озлобленный отъ голода народъ—это невозможно даже представить себѣ. Не говоря уже о тѣхъ черныхъ, покосившихся избушкахъ, въ которыхъ ютится большинство, посмотрите, какое зрѣлище представляетъ зимой самый лучшій постоялый дворъ, въ которомъ отдаются такъ-называемыя «чистыя комнаты»! Чернота, которая поражала васъ еще лѣтомъ, сдѣлалась еще чернѣе, увеличившись всею суммою грязи и слякоти, приносимой на сапогахъ, шубахъ, полушубкахъ, рукавицахъ и проч. Мокро, скользко, стѣны проникнуты сыростью, въ воздухѣ стоитъ паръ. И при этомъ запахъ — смѣсь всевозможныхъ отвратительныхъ воней, немыслимыхъ ни въ какой гюрьмѣ. Тутъ и промозглая сметана, котовая поставлена гдѣ-то подъ лавкой киснуть; тутъ и

овчина, и кислая капуста, и махорка, и телячій пометъ... Читатель! если вы когда-нибудь рѣшитесь отчетливо представить себѣ эту картину нашей провинціальной торговли и ремесленности, вамъ, навѣрное, сдѣлается если не страшно, то тошно.

Письмо десятое.

Оставимъ на время вопросъ о томъ, какъ дѣлается русская деньга, и обратимся къ другому, который въ настоящее время поглощаетъ все вниманіе провинціи и слѣдовательно имѣетъ за собой преимущество насущнаго интереса.

Вопросъ этотъ формулируется такъ: представляетъ ли строгость самостоятельную творческую силу въ отношеніи къ матеріальному и нравственному развитію народа? или, выражаясь точнѣе: возможно ли, съ помощью однѣхъ, такъ-называемыхъ, рѣшительныхъ мѣръ, увеличить производительныя силы страны, повысить нравственный и умственный уровень ея жителей, устранить задержки въ фискальныхъ сборахъ, поселить довѣріе и т. д.?

Какъ ни младенчески-наивны эти вопросы, но, къ сожалѣнію, въ жизненности ихъ невозможно усомниться. За ними стоитъ цѣлая исторія, и мы, провинціалы, безвыходно живемъ въ атмосферѣ, ими насыщенной. По временамъ безплодность подобныхъ задачъ дѣлается для насъ болѣе или менѣе ясною; но едва начинаютъ онѣ настоящимъ образомъ умирать, какъ вновь откуда-то является убѣжденіе въ ихъ необходимости, и съ новою энергіей онѣ заявляютъ о своемъ существованіи. Пускай одни утверждаютъ, что главный двигатель производительности есть капиталъ; пускай другіе приписываютъ это труду, третьи — знанію, усовершенствованнымъ способамъ производства, равномѣрному участію въ прибыляхъ и т. д. Мы, жители провинціи, стоимъ на одномъ: что производительность возрастаетъ и упадаетъ единственно по мѣрѣ того, какъ возрастаетъ и упадаетъ строгость. Проще не можетъ быть.

Надо сказать, впрочемъ, правду, что характеръ строгости подвергся въ послѣднее время значительному измѣненію. Когда-то въ провинціяхъ нашихъ господствовала строгость простодушная. Были такіе счастливчики, которымъ стоило выйти на улицу, чтобъ сказать себѣ: «все мое! и стихіи мои!

и все, что множится, растетъ и дышитъ при содѣйствіи этихъ стихій, — все мое!» Нѣкоторые до того простирали свою строгость, что даже говорили: «моя наука, мой климатъ» и т. д., и никому не приходило въ голову возражать противъ такихъ похвальныхъ словъ. Эта безпрекословность порождала увѣренность; увѣренность же, съ своей стороны, значительно смягчала проявленія строгости. Теперь противъ прежняго сдѣлалось гораздо обременительнѣе. Тотъ же счастливчикъ выходитъ на улицу и уже сомнѣвается: точно ли все его? Но такъ какъ прежнее вожделѣніе еще не остыло, то необходимость признать извѣстную долю конкретности за тѣмъ, въ чемъ предполагалась лишь способность мелькать или метаться, невольнымъ образомъ вноситъ во всѣ властныя отношенія какой-то желчно-завистливый, почти что мстительный характеръ. Прежняя добродушная строгость уже не удовлетворяетъ потребностей времени: мерещится что-то въ родѣ прекраснаго зданія, у котораго и въ основаніи положена строгость, и стѣны сложены изъ строгости, и крышу, то-есть вѣнецъ зданія, составляетъ строгость же.

Построить такое зданіе и засадить туда россіянъ — вотъ идеалъ, надъ которымъ мы въ настоящую минуту задумываемся. Разногласія на этотъ счетъ хотя и существуютъ, но незначительныя. Одни призываютъ строгость потому, что вообще не могутъ совмѣстить свое существованіе съ существованіемъ другихъ; другіе, болѣе добродушные, призываютъ ту же строгость, какъ мѣру временную, при помощи которой должны, по ихъ мнѣнію, исчезнуть фантомы, которые все мрачнѣе и мрачнѣе рисуются на общемъ фонѣ жизни.

— Только на этотъ разъ! дайте только почувствовать,— но почувствовать сознательно и неуклонно, — что спасительное иго еще не упразднилось, и вы увидите, какъ быстро исчезнутъ неурядицы и смуты, которыя загромождаютъ наше существованіе.

Вотъ рѣчи, которыя говорятся людьми совершенно незлобивыми. Но ежели спросить у этихъ ревнителей общественнаго благополучія, что собственно они разумѣютъ подъ словомъ «неурядицы», то сквозь тьму всевозможныхъ запутанностей и оговорокъ вы различите, что это названіе прилагается безразлично ко всякому проявленію самостоятельности и правоспособности. Есть цѣлый классъ индивидуумовъ, который, по мнѣнію теоретиковъ строгости, дол-

женъ, для собственнаго своего блага, сидѣть смирно и ждать погоды. Такъ, напримѣръ, ежели подрядчикъ притѣсняетъ рабочихъ, и послѣдніе начинаютъ чувствовать это, имъ говорятъ: «подождите, любезные! потерпите!» Если человѣкъ изнемогаетъ подъ бременемъ разнаго рода непредвидѣнностей и начинаетъ доказывать ненормальность такого положенія, ему говорятъ: «нельзя же, мой милый, вдругъ! потерпи!» О чемъ бы ни высказывалось мнѣніе, на что бы ни приносилась жалоба, всему одно опредѣленіе: безпокойный характеръ! на все одинъ отвѣтъ: «потерпи!» Сроковъ не назначается, уважительныхъ причинъ не приводится. Одно ясно: это присутствіе какого-то неслыханнаго ученія, въ силу котораго къ легальности нельзя придти иначе, какъ путемъ упраздненія той же легальности.

Слушать подобныя разсужденія тяжело до крайности. Точно тѣни мечутся передъ глазами, точно проходитъ безобразное сновидѣніе. Положеніе слушающаго дѣлается ненормальнымъ до болѣзненности. Но нѣтъ, это не тѣни и не порожденія кошмара—это живые и очень крѣпкіе организмы, въ которыхъ есть все (даже есть своеобразное добросердечіе), кромѣ разумнаго отношенія къ дѣйствительности. Это первобытные люди-самоучки, которые прикрываютъ свою наготу первымъ попавшимся древеснымъ листомъ, не зная и не желая знать, что на свѣтѣ уже придуманы другія одежды, гораздо болѣе приспособленныя къ удобствамъ человѣка. Первобытный человѣкъ неприхотливъ и еще менѣе изобрѣтателенъ. Дѣйствовать на сознаніе, убѣждать, доказывать и вообще «разговаривать»—все это представляется ему потерей времени. Зачѣмъ трудиться развязывать узелъ, когда его можно сразу разрубить? И, къ сожалѣнію, повторяемъ, это совсѣмъ не тѣни, а дѣйствительные организмы, которые имѣютъ полную возможность доказать свою несомнѣнную конкретность. И если невыносимо тяжело слушать ихъ безазбучныя разглагольствованія о пользѣ строгости, какъ живоноснаго начала всякаго благополучія, то можно себѣ представить, въ какой мѣрѣ увеличивается эта тяжесть, когда приходится видѣть примѣненіе этихъ разглагольствій на практикѣ, когда приходится жить въ атмосферѣ, ими отравленной. А между тѣмъ можно сказать, что это почти насущный нашъ хлѣбъ, что мы, жители провинціи, издавна никакой иной пищи не знаемъ, кромѣ строгости, которая упитываетъ насъ едва ли не свыше самой широкой потребности.

Много сочиняется у насъ проектовъ насчетъ возстановленія энергіи, но наибольшею популярностью пользуется тотъ, который предполагаетъ концентрировать эту энергію въ одномъ вмѣстилищѣ. Безобразіе раздѣленія властей нынѣ вполнѣ сознано, но, къ сожалѣнію, не сознано, что въ этомъ раздѣленіи все-таки заключалось нѣчто похожее на гарантію. Я чувствую, что эти слова изумятъ читателя. Возможно ли, скажетъ онъ, утверждать, что безсмыслица можетъ представлять какое-то обезпеченіе? Да, милостивые государи, возможно. Бываютъ положенія, когда не только безсмыслица, но даже прямое злоупотребленіе, въ родѣ, напримѣръ, взяточничества, представляетъ обезпеченіе. Дѣло въ томъ, что человѣческія общества такъ устроены, что для процвѣтанія ихъ необходимо, чтобы единоличный произволъ имѣлъ противовѣсъ, и ежели сравнивать положеніе, въ которомъ есть хоть какой-нибудь шансъ спасти что-либо отъ поползновеній широковѣщательности, съ такимъ, въ которомъ совсѣмъ нѣтъ такихъ шансовъ, то едва ли придется отдать предпочтеніе первому изъ нихъ, какъ бы ни велико было его внутреннее безобразіе.

Сжигая наши корабли окончательно и давая нашей дѣятельности направленіе исключительное (въ смыслѣ безповоротной строгости), мы, конечно, можемъ достигнуть результатовъ очень непуточныхъ. Но, во-первыхъ, подобные результаты едва ли будутъ въ нашихъ разсчетахъ и, во-вторыхъ, они еще менѣе подойдутъ къ среднему уровню человѣческихъ желаній. Средній человѣкъ, съ которымъ преимущественно приходится имѣть дѣло, всего болѣе цѣнитъ возможность свободно устраиваться и распоряжаться въ той небольшой сферѣ, которую онъ привыкъ называть своею. Поэтому, если и можно убѣдить его, что образъ дѣйствій, наиболѣе враждебный этой возможности, есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и такой, который всего скорѣе сдѣлаетъ ее общимъ достояніемъ, то это убѣжденіе будетъ чисто теоретическое. На практикѣ онъ будетъ всегда искать и отдавать предпочтеніе такимъ комбинаціямъ, которыя дѣлаютъ жизнь болѣе легкою и удобовыносимою. Коли хотите, это ошибка очень капитальная, но что же дѣлать, если въ натурѣ человѣка не подставлять голову подъ удары, а защищать ее отъ нихъ?

Поэтому казалось бы болѣе раціональнымъ, покуда не отыщется дѣйствительно компетентная среда для противовѣса широковѣщательности, не уничтожать, по крайней

мѣрѣ, тѣхъ противовѣсовъ, которые утвердились уже сами собою. Представьте себѣ балетъ, въ которомъ не было бы ни второстепенныхъ корифеевъ и корифеекъ, ни кордебалета, и въ которомъ на голомъ, обнаженномъ отъ декорацій полу плясали бы только первый танцовщикъ и первая танцовщица? Конечно, такой балетъ показался бы для зрителей утомительнымъ, даже въ томъ случаѣ, если-бъ танцующій сюжетъ показалъ искусство самое неслыханное. Голо, безсвязно, и, главное, не видно, для чего сюжетъ пляшетъ. Но этого мало: плясаніе столь неистовое утомительно и для самого пляшущаго. Нѣкоторое время онъ пляшетъ съ увлеченіемъ, но подъ конецъ силы его истощаются, онъ начинаетъ утрачивать смыслъ своей пляски, начинаетъ тяжело дышать и видимо тяготиться тѣмъ, что онъ одинъ занимаетъ всю ширину сцены. «Эй! кордебалетъ!» восклицаетъ онъ въ отчаяньи, но—увы!—кордебалетъ ужъ распущенъ, и на мѣсто его выступаютъ плотники, машинисты, устранители проваловъ, адовъ и т. п. Положимъ, что это сказаніе о балетѣ—не болѣе какъ притча, но примѣните ее къ настоящему случаю, т.-е. къ вопросу о концентрированіи широковѣщанія, и вы увидите, что притча эта имѣетъ свой смыслъ.

Но такъ какъ чувство дѣйствительности, повидимому, утрачено, то очень понятно, почему на мѣсто его такъ рѣшительно выступаетъ сознаніе строгости, и почему оно съ каждымъ днемъ пріобрѣтаетъ все бо́льшую и бо́льшую силу. Отсутствіе дѣйствительной силы образуетъ пустоту, которую предполагается наполнить силою мнимою. Появляются люди безсильные, но озлобленные, которые ни о чемъ не хотятъ слышать, ничего не желаютъ знать, кромѣ одного: строгости. Нѣтъ ни прошедшаго, ни будущаго; есть лишь настоящее, которое имѣетъ въ виду послѣднюю курицу, которое разсчитываетъ на чувствительность человѣческаго организма.

Предположимъ однако-жъ, что идеалы, къ которымъ мы стремимся, осуществились. Предположимъ, что широковѣщаніе утвердилось безраздѣльно и на прочномъ основаніи, что положеніе «шаромъ покати» достигнуто, что смолкли даже и тѣ слабые писки, которые доселѣ нарушали общее безмолвіе. Что-жъ дѣлать? вотъ вопросъ, который изъ нѣдръ самого безмолвія возникаетъ совершенно естественно и неудержимо.

Какъ бы ни восхваляли строгость, все-таки это не больше, какъ форма, которую слѣдуетъ наполнить какимъ-нибудь

содержаніемъ, если мы желаемъ, чтобы она имѣла значеніе. Нѣкоторые даже думаютъ, что это совсѣмъ и не форма, а просто уклоненіе человѣческаго разума, до котораго здоровой жизни нѣтъ никакого дѣла. Но допустимъ, что говорящіе такимъ образомъ суть утописты; сузимъ нашу задачу до безконечности и спросимъ себя: давала ли, можетъ ли дать строгость какіе-либо иные результаты, кромѣ безмолвія? и, въ свою очередь, давало ли безмолвіе иные результаты, кромѣ общаго нравственнаго и матеріальнаго оскудѣнія?

Исторія отвѣчаетъ на эти вопросы отрицательно. Когда Чингисъ-Ханъ, Батый, Аттила и проч. проходили черезъ страну съ огнемъ и мечомъ, она не просіявала свѣтомъ наукъ, и рѣки ея не закипали ни млекомъ, ни медомъ—это фактъ неопровержимый. Напротивъ того, тамъ, гдѣ до ихъ прихода были города и селенія, гдѣ копошился человѣкъ и существовали полныя житницы, тамъ очутились голое, безмолвное мѣсто. Причина такого явленія весьма понятна. Всѣ названные нами люди ничего не приносили съ собой, кромѣ строгости; а такъ какъ строгость есть понятіе отвлеченное, которое никого не питаетъ, то и вышло, что они исполнили только ту половину своей предполагаемой задачи, которую они дѣйствительно способны исполнить, то-есть сожгли, разрушили, разорили, и затѣмъ пошли дальше и дальше, покуда имъ не сказали: довольно! Это «довольно!» имѣетъ свое значеніе, надъ которымъ не лишне размыслить. Если люди кричатъ извѣстному явленію «довольно!», то это значитъ, что оно имъ не надобно, что они могутъ гораздо лучше устроить свою жизнь, если его не будетъ. Пренебрегать подобными заявленіями нельзя уже потому, что мѣропріятіе самое строгое все же обрушивается не на комъ другомъ, а на людяхъ, и слѣдовательно ихъ мнѣніе въ этомъ дѣлѣ должно имѣть вѣсъ. Основываясь на этомъ, многіе полагаютъ даже, что выраженія въ родѣ: «строгость спасительна» или «строгость своевременна» суть выраженія, внесенныя въ лексиконъ самовольно, безъ согласія тѣхъ, до которыхъ они относятся. Ибо если бы Чингисъ-Ханъ истреблялъ людей даже съ полезною цѣлью истребленія въ нихъ невѣжества, то и тогда онъ былъ бы неправъ, такъ какъ, съ истребленіемъ людей, какимъ же образомъ онъ могъ бы приступить къ насажденію просвѣщенія?

Представьте себѣ группу людей, изнемогающихъ подъ игомъ предразсудковъ и невѣжества. Эти люди довольству-

ются указаніями самаго грубаго эмпиризма и потому ничего не могутъ ни предвидѣть, ни предотвратить; они ребяческимъ образомъ пользуются находящимися въ ихъ распоряженіи богатствами природы и слѣдовательно извлекаютъ изъ нихъ такъ мало, что понятіе о дѣйствительныхъ удобствахъ жизни не можетъ даже существовать для нихъ. Такое положеніе очень печально; но оно не безвыходно, потому что для него есть поправка въ распространеніи знанія. И вотъ къ этимъ несчастнымъ людямъ приходитъ человѣкъ просвѣщенный, обладающій массой полезныхъ знаній, и предлагаетъ подѣлиться съ ними имѣющимся у него запасомъ. Первое, что̀ поразитъ его въ этомъ случаѣ, будетъ, конечно, то̀, что эти люди, несчастнѣе которыхъ, кажется, нѣтъ на свѣтѣ, еще не настолько однако-жъ несчастны, чтобы стремглавъ броситься въ его объятія и сказать: «благодѣтельствуй! мы все потерпѣть согласны!» Но, какъ ни огорчителенъ можетъ показаться подобный фактъ, все-таки благо будетъ просвѣтителю, если онъ въ этомъ колебаніи увидитъ только признакъ общаго всѣмъ людямъ желанія сначала понять то, что̀ предлагается, а потомъ уже, по мѣрѣ уразумѣнія, и принять предлагаемое. Но ежели онъ человѣкъ строгій, то колебаніе приметъ въ его глазахъ всѣ размѣры преднамѣреннаго противодѣйствія и въ этомъ качествѣ, навѣрное, возбудитъ негодованіе. Послушный этому чувству, что̀ онъ предприметъ? Ежели онъ начнетъ стрѣлять, то очевидно, что достигнетъ истребленія—и ничего больше. Ежели онъ воздержится отъ стрѣльбы, а только будетъ бить палкою, то и тогда его просвѣтительная миссія значительно задержится. Это до такой степени вѣрно, что нѣтъ въ мірѣ страны, въ которой разоренная мѣстность не называлась бы разоренною, а забитые люди—забитыми, и въ которой смыслъ этихъ названій означалъ бы что-нибудь лестное. Какъ хотите, а номенклатура эта имѣетъ свой смыслъ. Она означаетъ, что, съ какою бы цѣлью ни было предпринято разореніе, изъ него ничего не можетъ выйти, кромѣ разоренія же, и что глубоко ошибаются тѣ, которые, устраняя у обывателя послѣднюю курицу, думаютъ, что вслѣдствіе этого у него явятся двѣ.

Несмотря на столь жалкій результатъ, приведенный выше примѣръ однако-жъ еще слишкомъ благопріятенъ для строгости, чтобъ можно было остановиться на немъ. Роль просвѣтителя предполагается въ немъ принадлежащею человѣку, дѣйствительно обладающему знаніями. Но гораздо чаще

бываетъ, что человѣкъ считаетъ себя имѣющимъ право на широковѣщаніе совсѣмъ не вслѣдствіе высшаго нравственнаго и умственнаго уровня, а только потому, что носитъ на плечахъ другого покроя одежду, нежели та, которую носятъ люди, подлежащіе напору просвѣтительной дѣятельности. Кто можетъ поручиться, что этотъ человѣкъ, изъ всѣхъ ходячихъ понятій о томъ, что̀ для людей полезно и что̀ неполезно, принимаетъ именно то, которое наиболѣе соотвѣтствуетъ настоящимъ потребностямъ минуты? Кто будетъ такъ смѣлъ, чтобъ утверждать, что этотъ человѣкъ не невѣжественъ, не односторонненъ... наконецъ не глупъ? Развѣ право на широковѣщаніе не лотерея? развѣ всѣ эти Дарьи Петровны, Марьи Ивановны, Татьяны Ѳедоровны, ежеминутно рождающія людей широковѣщательныхъ, обязывались клятвенно, что чада ихъ непремѣнно будутъ сердцевѣдцами? Представьте же себѣ, что чадо это родилось со всѣми качествами человѣка непроницательнаго, и затѣмъ сообразите, что̀ можетъ надѣлать этотъ непроницательный человѣкъ, какъ только почувствуетъ, что широковѣщанію его никакихъ граней не полагается!

Картина просвѣтительно-опустошительныхъ подвиговъ, которымъ предаются люди, считающіе себя просвѣтителями потому только, что ходятъ въ пиджакахъ, а не въ зипунахъ, и пьютъ шампанское, а не сивуху, извѣстна каждому, кто хоть малое время жилъ въ провинціи. Это своего рода «Послѣдній день Помпеи». Но каждый разъ, какъ приходится описывать эти подвиги, рука дрожитъ, и самая мысль нѣмѣетъ. Поэтому мы и не пытаемся описывать ихъ, а только спрашиваемъ: ужели мало того, что̀ есть и чѣмъ мы и безъ того безспорно пользуемся? ужели есть еще надобность прибавлять, усиливать, концентрировать?

Если отъ кого-нибудь требуютъ, чтобъ онъ исправно обработалъ, напримѣръ, десятину земли, то всякій сколько-нибудь разумный человѣкъ согласится, что для этого надобно, во-первыхъ, чтобъ индивидуумъ, къ которому обращается требованіе, былъ знакомъ съ пріемами обработки; во-вторыхъ, чтобъ у него былъ исправный инструментъ; въ-третьихъ, чтобъ онъ былъ до извѣстной степени заинтересованъ въ этомъ дѣлѣ. Представьте же себѣ, что вмѣсто этихъ условій человѣку предлагается только строгость, что ему не даютъ ни свѣдѣній, ни инструментовъ, ни вознагражденія, а только отъ времени до времени сѣкутъ. Насколько подвинется отъ этого обработка показанной десятины?

Конечно, мнѣ могутъ возразить, что примѣръ этотъ слишкомъ фантастиченъ, что дѣйствовать подобнымъ образомъ, то-есть въ сѣченіи видѣть замѣну матеріальныхъ и нравственныхъ посредничествъ, можетъ только человѣкъ совершенно безумный. Нѣтъ, милостивые государи, этого человѣка нельзя назвать вполнѣ безумнымъ; онъ тотъ же неразвитой, выросшій въ извѣстныхъ привычкахъ, какъ и множество другихъ, которыхъ мы вовсе не разумѣемъ безумными. Сказать ли болѣе? едва ли это не тотъ самый индивидуумъ, о которомъ вы сами, милостивые государи, мечтаете и котораго имѣете въ виду въ тѣ сладкія минуты, когда васъ осѣняетъ мысль объ усиленіи и концентрированіи власти.

Да, это онъ. Вообразите себѣ, что власть концентрирована достаточно; что она простирается на всѣ дѣла рукъ человѣческихъ, что она опутала весь видимый и невидимый міръ,—что̀ можетъ изъ этого выйти? Изъ этого выйдетъ то непремѣнное послѣдствіе, что она всюду будетъ совать свой носъ и всюду предъявлять требованія. Но міръ разнообразенъ, и столь же разнообразенъ характеръ человѣческой дѣятельности. Каждая отрасль этой дѣятельности представляетъ собою спеціальность, и для того, чтобы достигнуть правильнаго отношенія къ какой-нибудь изъ нихъ и быть судьею или наставникомъ, необходимо самому быть спеціалистомъ въ ней. Если этого нѣтъ, если во главѣ дѣла является человѣкъ, у котораго нѣтъ ничего, кромѣ энергіи, то ему остается только говорить: «поди туда, невѣдомо куда, подай то, невѣдомо что̀». И чѣмъ сильнѣе будетъ энергія, съ которою будутъ исходить подобныя распоряженія, тѣмъ сильнѣе будетъ путаница, потому что ничто такъ не запутываетъ исполнителей, какъ зрѣлище человѣка, мечущагося во всѣ стороны и говорящаго невнятныя слова. А такъ какъ путаница не успокаиваетъ, а, напротивъ, еще болѣе возбуждаетъ энергію, то въ результатѣ непремѣнно окажется порочный кругъ, изъ котораго нѣтъ никакой возможности выбраться иначе, какъ посредствомъ генеральнаго обращенія людей въ стадо безсловесныхъ.

Этого-то, повидимому, и добиваются наши провинціальные поборники единоначалій, концентрированій, усиленій и т. п. Достать такого спеціалиста, передъ строгостью котораго смолкали бы всѣ спеціалисты, добиться такого порядка вещей, который бы резюмировался въ одномъ словѣ: «молчать!»—вотъ завѣтная мечта, надъ которою ломаютъ

головы представители провинціальной интеллигенціи. Одни хлопочутъ тутъ по невѣдѣнію, потому что такъ издавна заведено, что строгость считается творческимъ началомъ всевозможныхъ благополучій; другіе хлопочутъ, мотая себѣ на усъ и не безъ нѣкоторыхъ дальновидныхъ разсчетовъ на будущія блага, отъ того произойти могущія. Но какъ тѣ, такъ и другіе равно упускаютъ изъ вида, что всякая спина принадлежитъ тому, кто ею обладаетъ, и что, слѣдовательно, только обладатель спины можетъ быть дѣйствительно компетентнымъ судьею относительно того, что̀ она выноситъ.

Письмо одиннадцатое.

Еще одно отступленіе.

Въ послѣднее время большою благосклонностью со стороны провинціаловъ пользуется то мнѣніе, что наши административныя и экономическія неудачи оттого происходятъ, что въ дѣлахъ большое участіе принимаютъ спеціалисты. Не думайте, впрочемъ, что бѣда усматривается тутъ въ томъ, что исключительное увлеченіе какою-нибудь спеціальною отраслью знанія или дѣятельности въ значительной степени ослабляетъ въ человѣкѣ способность къ обобщеніямъ и слѣдовательно дѣлаетъ его какъ бы чуждымъ всѣмъ явленіямъ жизни, кромѣ тѣхъ, которыя прямо входятъ въ сферу его спеціальности. Нѣтъ, мы, провинціалы, такъ далеко не ходимъ, и у насъ спеціалистомъ называется вообще всякій человѣкъ, обладающій какимъ бы то ни было знаніемъ, или, лучше сказать, всякій человѣкъ, умѣющій сдѣлать то дѣло, за которое онъ взялся.

По мнѣнію нашему, спеціалисты слишкомъ ужъ тонки: сразу и не поймешь, дѣло ли они дѣлаютъ или надуваютъ. При этомъ, когда спеціалистъ совершаетъ какія-либо дѣйствія, то думается, что онъ словно колдунъ. Станешь наблюдать за нимъ—ровно ничего не понимаешь; бросишь наблюдать—сдѣлается совѣстно: что̀ же я-то, въ самомъ дѣлѣ, такое? ужели я и впрямь лишній человѣкъ? Все равно какъ съ математикомъ: задашь ему задачу—и уходи. Начнетъ онъ дѣлать свои выкладки, сидитъ, думаетъ, пишетъ, чертитъ — готово! Молодецъ математикъ! рѣшилъ. Однако-жъ кто его знаетъ, точно ли онъ рѣшилъ? А что̀ ежели онъ даже не математикъ, а просто прохвостъ, притворившійся математикомъ? Развѣ такихъ примѣровъ не

бывало? Всѣ эти сомнѣнія возникаютъ вдругъ, помимо нашей воли, и такъ они для насъ обидны, такъ обидны, что даже сказать нельзя...

Разумѣется, эта обида сейчасъ же облекается въ соотвѣтствующія жалобы.

— Представьте себѣ, онъ тамъ какую-то чертовщину плететъ, а я, какъ дуракъ, долженъ смотрѣть на него!— негодуетъ одинъ.

— Да это еще что̀-съ!—разжигаетъ другой:—намеднись сидѣлъ я это, сидѣлъ—ну, одурь взяла! Подхожу, знаете, къ нему: покажите, ради Христа, говорю, что̀ вы тутъ кудесничаете? Что-же-съ! всталъ это, бестія, улыбается, подаетъ... Ну, посмотрѣлъ, плюнулъ и отошелъ.

Нѣтъ, рѣшаемъ мы, ну ихъ къ Богу, этихъ спеціалистовъ! лучше хлѣбъ съ водой ѣсть да знать, что это дѣйствительно хлѣбъ и вода, нежели смаковать какія-то хитро приготовленныя яства, которыя, ежели хорошенько ихъ разобрать, окажутся, пожалуй, такою мерзостью, что потомъ всю жизнь тошнить будетъ!

Сверхъ того, намъ кажется нѣсколько подозрительнымъ и то обстоятельство, что съ тѣхъ поръ, какъ завелись на Руси спеціалисты, какіе-то такіе длинные счеты появляться стали, что невольно останавливаешься передъ ними въ священномъ ужасѣ. Такъ, напримѣръ, благодаря спеціалистамъ, скоро на Руси совсѣмъ жилищъ не будетъ. Старыя жилища постепенно придутъ въ ветхость, а новыхъ никто строить не рѣшится. Причина очень простая: сами мы ничего, кромѣ карточныхъ домиковъ, строить не умѣемъ, а ежели вздумаемъ обратиться къ спеціалисту, то гибель наша неизбѣжна. Спеціалистъ докажетъ, что желѣзная крыша невпримѣръ прочнѣе деревянной, что паркетные полы красивѣе простыхъ крашенныхъ, что дубовыя рамы благонадежнѣе еловыхъ или сосновыхъ и т. д. Одно только упуститъ онъ изъ вида: что у васъ въ карманѣ всего одинъ грошъ, да и то ломаный, и упуститъ это совершенно основательно, потому что, въ сущности, слѣдить за положеніемъ вашего кармана совсѣмъ не его дѣло. Но и вы, заслушавшись его, тоже упустите это изъ вида, потому что очень ужъ онъ обстоятельно говоритъ.

— Помилуйте!—говоритъ онъ:—вѣдь дубъ—это что̀? вѣдь онъ противъ какой-нибудь ели впятеро да вшестеро выстоитъ! сосчитайте же теперь, сколько денегъ-то у насъ въ карманѣ останется.

И вотъ, въ этой крайности, вы непремѣнно скажете себѣ: что-жъ, въ самомъ дѣлѣ! человѣкъ я неученый, всю жизнь только водку пилъ да закусывалъ—куда мнѣ въ такія дѣла входить! Поручу-ка я мою постройку молодому человѣку, который сквозь огнь и мѣдныя трубы прошелъ (это-то и есть спеціалистъ); онъ мнѣ все это обдѣлаетъ, а я только буду жить да поживать! Но проходитъ мѣсяцъ, и вамъ подаютъ счетъ—эге! Проходитъ другой мѣсяцъ—еще счетъ! Самыя изысканныя потребности ваши предусмотрѣны; счастливое сочетаніе фестончиковъ съ амурчиками и вырѣзочками изумительно; вездѣ водопроводы, ватерклозеты... четыре ватерклозета для васъ, когда вы даже въ одномъ никогда не ощущали потребности! Вы ничего ужъ не помните: вы позабыли, что на всѣ эти изысканности вами дано заранѣе безусловное согласіе; вы сознаёте только, что вы нищій, котораго насильственно ведутъ въ замасленномъ халатѣ, немытаго, нечесаннаго, въ какой-то палаццо; вы чувствуете, что съ вами ознобъ... И вотъ вы рѣшаетесь на геройскій поступокъ: на половинѣ вы бросаете начатое дѣло и кое-какъ вѣнчаете зданіе соломенною крышей; вы съ омерзѣніемъ смотрите на малахитовую колонну, которая какъ-то одиноко (предполагалось прикупить и другую, да денегъ недостало) пріютилась у входа въ ватерклозетъ, и отправляетесь въ клубъ, чтобъ на досугѣ предать проклятію ученыхъ и спеціалистовъ, которые не умѣютъ угадать, что намъ надобенъ хлѣбъ, а не палаццо.

Но этого еще недостаточно. Въ послѣднее время мы изъ достовѣрныхъ источниковъ узнали, что спеціалисты просто-на-просто исподволь революцію производятъ. Всякій изъ нихъ на что-нибудь да посягаетъ. Физіологи посягаютъ на безсмертіе души; химики посягаютъ на цѣльность матеріи, физики—на молнію и громъ и т. д. До сихъ поръ мы говорили: вотъ человѣкъ, вотъ заяцъ, вотъ ворона, вотъ налимъ—и были вполнѣ убѣждены, что этимъ сказано все, что̀ о семъ предметѣ сказать надлежитъ. Теперь насъ въ глаза увѣряютъ, что, говоря такимъ образомъ, мы ничего не высказываемъ, кромѣ названій, и что жить съ одними названіями ни подъ какимъ видомъ нельзя. Но ежели эти люди уже начали разлагать громъ небесный, то можно себѣ представить, ка̀къ они поступятъ относительно прочаго!

Самый лучшій способъ избавиться отъ спеціалистовъ - это замѣнить ихъ кантонистами. Хотя и это тоже своего рода спеціальность, но она тѣмъ хороша, что ее можно во

всякое время и во всѣ стороны распространить. Появись въ настоящую минуту проектъ о замѣнѣ спеціалистовъ кантонистами — не подлежитъ никакому сомнѣнію, что онъ имѣлъ бы въ провинціяхъ успѣхъ громадный, именно потому, что онъ доступенъ всякому пониманію. Всякій знаетъ навѣрное, что любого кантониста можно призвать, сказать ему: изслѣдуй природу и человѣка! — и онъ изслѣдуетъ. Мало того, что изслѣдуетъ, но въ то же время ни до какихъ подозрительныхъ результатовъ не дойдетъ. Химикъ-спеціалистъ никогда не остановится вò-время, а все хочетъ что-то исчерпать, до чего-то дойти; химикъ-кантонистъ, дойдя до извѣстной границы, не только самъ благоразумно отретируется, но и другимъ скажетъ: «цыцъ!» Зачѣмъ въ академіяхъ сидятъ Беры да Зинины? гораздо лучше на ихъ мѣста посадить кантониста Чимпандзе! Онъ всѣ науки съ быстротою молніи приведетъ къ одному знаменателю и тѣмъ удовлетворительно докажетъ, что ничто человѣческое ему не чуждо!

Однимъ словомъ, начало всѣхъ нашихъ золъ приписывается не кому другому, а именно спеціалистамъ, то-есть людямъ, знающимъ и умѣющимъ что-нибудь дѣлать. Съ экономической точки зрѣнія, всякій спеціалистъ — непремѣнно воръ; съ точки зрѣнія нравственно-политической — непремѣнно революціонеръ. И, чтò всего опаснѣе, ни подъ какимъ видомъ нельзя его уличить.

— Ужъ кружилъ онъ меня, кружилъ — до сихъ поръ опомниться не могу!

Вотъ единственный критеріумъ, съ которымъ провинціалъ относится ко всякому знанію. Онъ чувствуетъ, что жизнь его расклеивается, и относитъ это не къ тому, что онъ ни къ чему приступиться не можетъ, ничѣмъ самъ себѣ помочь не въ силахъ, а къ тому, что явились люди, которые какъ-то такъ таинственно орудуютъ, что онъ вынужденъ только хлопать глазами да вынимать изъ кармана деньги. Положеніе дѣйствительно унизительное, но какое же имѣется основаніе ставить его на счетъ знанію, а не невѣжеству?

Мы, провинціалы, живо помнимъ то время, когда въ средѣ нашей сложилась знаменитая пословица: «тяпъ да ляпъ—и корабль». Всякій тогда приходилъ и объявлялъ себя способнымъ повелѣвать стихіями. Пѣхотинцы ходили по морю, яко по суху; кавалеристы строили фортеціи и ретраншементы, а гарнизонные офицеры, въ свободное отъ постройки рекрутскихъ полушубковъ время, выдумывали

порохъ. И казалось тогда, что все кипѣло. Курьеры скакали, нарочные летали, предписанія опережали вѣтеръ. Поистинѣ это была какая-то фантасмагорія исполнительности, о которой безъ слезъ вспомнить нельзя. Человѣкъ неученый, рыбакъ, пастухъ — все это принимало на себя обязательство уловлять людей, и уловляло. Это были какія-то апостольскія времена, когда казалось, что изъ всѣхъ существующихъ спеціальностей спеціальность уловленія людей есть самая легчайшая. Но гораздо труднѣе оказывалось уловлять вещи, какъ, напримѣръ, достигнуть того, чтобы флоты не гнили, когда они ремонтируются одною исполнительностью, чтобы ружья стрѣляли, когда у нихъ должность курка исполняетъ исполнительность, чтобы фортеціи не обрушивались, когда въ основаніе ихъ положена только исполнительность.

Но намъ, провинціаламъ, ничего объ этомъ извѣстно не было, ибо мы и въ этомъ случаѣ, какъ и всегда, исправляли должность пятаго колеса въ колесницѣ. Наше самолюбіе было польщено тѣмъ, что мимо насъ мчатся курьеры, скачутъ верховые и все что-то везутъ, что-то экстренное, не терпящее ни разсужденій, ни отлагательства.

— Что̀, любезный, флоты сооружать поспѣшаешь? — спрашивали мы курьера, на̀скоро перехватывавшаго на станціи.

— Точно такъ, ваше благородіе! — отвѣчалъ курьеръ, проглатывая кусокъ съ такою поспѣшностью, какъ будто это былъ не кусокъ чего-то съѣдобнаго, а раскаленный уголь.

— Поспѣшай, мой другъ, поспѣшай!

И мы были довольны. Пускай нашъ порохъ оказывался такимъ, что лучше было бы палить безъ пороху, все-таки мы видѣли, что люди не сидятъ праздно, не задумываются, а прямо берутъ, что̀ попало подъ руку, и складываютъ въ одну кучу.

Теперь эта судорожная дѣятельность уже достаточно выяснилась и зарекомендовала себя; тѣмъ не менѣе воззрѣнія, которымъ она дала начало, слишкомъ живучи, чтобы скоро уступить не только вліянію времени, но даже подтвержденіямъ опыта. Во-первыхъ, для толпы всегда очень выгодно признавать себя во всѣхъ отношеніяхъ компетентною; во-вторыхъ, она видитъ, что въ глазахъ ея во множествѣ совершаются глупыя дѣла, и мало-по-малу убѣждается, что глупость есть нормальный уровень всѣхъ

вообще дѣлъ. Какая надобность привлекать къ ихъ совершенію какихъ-то избранныхъ людей? Ибо что̀ такое, въ самомъ дѣлѣ, эти такъ-называемые избранные люди?—это тѣ самые, которые способны только усложнить и затруднить дѣло, а не разрѣшить его. Разрѣшить дѣло, то-есть устроить натискъ и генеральную пальбу, можетъ въ надлежащемъ видѣ только вотъ этотъ молодецъ, который въ сію минуту идетъ по улицѣ и ковыряетъ въ носу. Позовите его, и вы не успѣете оглянуться, какъ онъ—трахъ!—и повернулъ, и вывернулъ, и перевернулъ!

— И совѣтовъ, батюшка, ни у кого не спроситъ, а просто придетъ, взглядомъ окинетъ—и разрѣшитъ.

Съ точки зрѣнія воспоминаній прошлаго, эти рѣчи не лишены извѣстной доли основательности. Мы еще такъ недавно выдержали крѣпостное право, а сущность его, конечно, въ томъ и состояла, чтобъ упростить формы и отношенія до самыхъ крайнихъ предѣловъ. Когда въ человѣкѣ усматривается лишь матеріалъ, который можно, по усмотрѣнію, и скорчить, и вытянуть, тогда, разумѣется, не можетъ быть повода задумываться надъ тѣмъ, что̀ слѣдуетъ предпринять, дабы успѣшнѣе уловлять людей. Всѣ люди отъ рожденія уже находятся въ западнѣ и даже не бьются въ ней, а только стараются какъ-нибудь половчѣе примоститься, чтобъ не очень сильно чувствовались вывихи, переломы и оглушенія. Арена дѣйствія настолько суживается, что сѣченіе представляется совершенно достаточнымъ средствомъ для урегулированія общественныхъ потребностей и стремленій. Хочу, чтобъ на этомъ мѣстѣ былъ городъ—и бысть; хочу, чтобъ была вавилонская башня — и будетъ.

Вопросъ въ томъ: возможно ли продолженіе подобныхъ воззрѣній съ упраздненіемъ крѣпостного права, то-есть съ наступленіемъ такого порядка вещей, при которомъ самый взглядъ на человѣка радикально измѣняется?

Что это дѣло возможное—насъ убѣждаетъ въ томъ дѣйствительность. Мнѣ скажутъ, можетъ-быть, что всякія ссылки на крѣпостное право въ настоящую минуту совершенно запоздали, ибо даже самый заскорузлый провинціалъ—и тотъ махнулъ на него рукой; но возраженіе это можетъ быть принято только съ оговоркою. Мы, дѣйствительно, примирились съ идеей, что крѣпостное право не существуетъ; но спросите любого, въ чемъ заключается это примиреніе, и вы, навѣрное, не добьетесь отвѣта сколько-нибудь яснаго.

Что внѣшняя сторона совершившагося акта вполнѣ нами признана—это несомнѣнно; что мы до извѣстной степени сознали, что руки у насъ противъ прежняго стали гораздо короче—этого тоже отрицать нельзя. Но что-жъ изъ того, если мы нашими укороченными руками желаемъ махать точно такъ же, какъ бы онѣ были неукорочены?

Въ томъ-то и дѣло, что, кажется, только на внѣшности и прервались наши сознательныя отношенія къ этому дѣлу, и что ни одного изъ послѣдствій, которыми оно такъ богато, мы не провидѣли, а потому и признать добровольно не можемъ. Наши отношенія къ жизни остаются столь же запутанными, какъ и прежде; если одна часть ихъ и похерена (едва ли, впрочемъ, не механически только), то все остальное продолжаетъ держаться и воспитывать представленія самыя противорѣчивыя и другъ друга побивающія. И когда жизнь цѣлою цѣпью неудачъ протестуетъ противъ невѣжества, какъ творческой силы, мы нисколько не затрудняемся этимъ, но думаемъ, что это не больше, какъ начальственное послабленіе, которому очень легко пособить. Стòитъ только припугнуть хорошенько знаніе и обратиться съ усиленной просьбой ко всѣмъ невѣждамъ праздношатающимся—и всѣ нужныя распоряженія по части уловленія вселенной будутъ неупустительно приведены въ исполненіе!

Вотъ почему между нами и по сіе время въ такомъ ходу разсказы о дѣятеляхъ-кантонистахъ, которые въ былое время оказывались и исправными статистиками и исполнительными экономистами, и даже являлись небезыскусными по части философіи и астрономіи. Если исправники до сихъ поръ были созидателями и руководителями нашей жизни, то почему же и впредь имъ въ сихъ должностяхъ не состоять? Какія такія новыя прихоти появились, чтобъ измѣнять этотъ порядокъ? Мужики, что ли, носъ начали задирать? Такъ на этотъ предметъ имѣются у исправниковъ такія полномочія, при посредствѣ которыхъ всякій задирайка очень скоро пойметъ, что уши выше лба, и по упраздненіи крѣпостного права, расти не могутъ!

Со всѣмъ этимъ не согласиться нельзя, ибо у исправниковъ имѣется уполномочій очень достаточно. Но есть ли надобность въ этихъ полномочіяхъ? Но приводятъ ли они къ какимъ-нибудь существеннымъ результатамъ?—вотъ въ чемъ вопросъ, вотъ что слѣдуетъ разрѣшить прежде, чѣмъ принимать угрожающіе тоны и зря кидаться впередъ съ кулаками, полными полномочій.

Никто не споритъ, что не только въ прошломъ, болѣе или менѣе отдаленномъ, но даже и въ сію минуту міръ полонъ кантонистами-статистиками и кантонистами-астрономами. Споръ идетъ лишь о томъ, въ какой мѣрѣ они полезны, и кажется, что онъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ кончиться въ пользу кантонистовъ. Даже приподнявши завѣсу давно минувшаго, мы все-таки убѣдимся, во-первыхъ, что ни одна составленная кантонистомъ статистика ни въ одномъ военно-учебномъ заведеніи никогда въ руководство принята не была, и во-вторыхъ, что всѣ академіи, какія когда-либо существовали, всегда отзывались о дѣятельности кантонистовъ на поприщѣ наукъ съ чрезвычайною сдержанностью, почти что съ холодностью. Каждый гимназистъ можетъ доказать кантонисту, что онъ или соврал или не понялъ, и что, по-настоящему, ему слѣдовало бы надѣть на голову колпакъ съ длинными ушами. Что̀ возразитъ кантонистъ противъ такой аргументаціи? Смолчитъ ли?—но тогда какой же онъ будетъ патентованный статистикъ и астрономъ? Бросится ли на своего обличителя и начнетъ его истязать?—но тогда какая получится въ результатѣ статистика?

Изъ этой дилеммы выйти невозможно, какъ скоро однажды признано, что статистика есть фактъ, что наука о производствѣ цѣнностей и распредѣленіи ихъ—тоже фактъ, и что астрономы не совсѣмъ напрасно доказываютъ, что земля обращается вокругъ солнца. Не признать же всего этого нельзя, во-первыхъ, потому, что есть очень много людей, для которыхъ это признаніе выгодно, а во-вторыхъ, потому, что если, напримѣръ, этого не признаетъ Иванъ, то признаютъ его сосѣди, а дѣло Ивана все-таки не выгоритъ. Ни знаніе, ни право, ни тѣ отношенія, которыя изъ нихъ вытекаютъ, ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть спрятаны въ карманъ, подобно кукишу. Нѣтъ столь солиднаго кармана, который бы не порвался отъ тяжести подобной поклажи.

Раздѣлять одну и ту же задачу на двѣ половины, изъ которыхъ на одну соглашаться, а о другой игнорировать,—значитъ добровольно обманывать самихъ себя. Задача, которая стоитъ передъ нами, до такой степени захватываетъ насъ всѣми своими подробностями, что непризнаніе одной изъ нихъ вредитъ не столько цѣнности самой задачи, сколько общему уровню нашего собственнаго существованія. Если жизнь наша раскленвается, если новое или совсѣмъ не со-

зидается, или созидается туго, безъ всякаго соотвѣтствія даже съ самыми неприхотливыми потребностями, то вина этого заключается именно въ объясненной выше раздвоенности нашего взгляда. А мы, вмѣсто того, чтобъ обратить вниманіе на ту роль, которую играетъ въ этомъ дѣлѣ наша недальновидность, злорадно подмѣчаемъ каждую неудачу, которую испытываетъ новое дѣло въ своихъ усиліяхъ встать на ноги. Всякій фактъ насилія радуетъ насъ безпримѣрно; всякое извѣстіе о потоптаніи, посрамленіи и проч. производитъ восторгъ. Вотъ, напримѣръ, крѣпостное право хоть и уничтожено, а тамъ-то и тамъ-то поступлено такъ, что хоть бы и при крѣпостномъ правѣ такъ впору. Или еще: новые суды хоть и введены, однако тамъ-то и тамъ-то, какъ захотѣли, такъ и безъ судовъ расправу нашли. Разсказы такого рода приводятъ насъ въ восхищеніе. И такіе тутъ начинаются у насъ смѣхи и утѣхи, что у чувствительнаго человѣка волосы дыбомъ становятся, а человѣкъ нечувствительный въ изумленіи спрашиваетъ себя: надъ чѣмъ однако-жъ они смѣются?

Если мы вдумаемся хорошенько въ этотъ вопросъ, то убѣдимся, что это смѣхъ ограниченнаго человѣка надъ собственною ограниченностью. Непривычка къ обобщеніямъ такъ велика въ насъ, что мы понимаемъ всякое нарушеніе правильнаго хода жизни только изолированно и никакъ не хотимъ сознаться, что это лишь звено цѣлой цѣпи. Система нарушенія имѣетъ свою горькую послѣдовательность, которая захватываетъ не одни непріятные намъ элементы, но подчасъ и насъ самихъ, ибо тутъ общимъ принципомъ является нарушеніе, передъ которымъ всѣ элементы равны. Мы слишкомъ надѣемся на то, что будто бы наше званіе фофановъ можетъ, во всякомъ случаѣ, оградить насъ отъ напастей. Нѣтъ, мы ограждены лишь настолько, насколько ограждено и все прочее, живущее съ нами рядомъ, или, лучше сказать, мѣра этого огражденія совершенно пропорціональна мѣрѣ пониженія общаго уровня системы нарушеній. Вѣдь было же время, когда если не всѣ поголовно были фофанами, то, по крайней мѣрѣ, признавались таковыми, но развѣ это кого-нибудь ограждало?

При извѣстной степени осложненія жизни вопросъ о кантонистахъ-статистикахъ и кантонистахъ-финансистахъ пріобрѣтаетъ значеніе очень существенное. До тѣхъ поръ, пока права и обязанности сохраняютъ свою первоначальную грубую форму, кантонисты имѣютъ хоть нѣкоторое основа-

ніе признавать себя отвѣчающими потребностямъ минуты. Не то, чтобы они были полезны дѣйствительно, но пятна, которыя они кладутъ на общій фонъ жизни, благодаря неясности послѣдняго, не настолько видны, чтобъ возбуждать серьезныя опасенія. Но съ той минуты, когда для каждаго человѣка обязательнымъ образомъ выступаетъ необходимость опознаваться въ великомъ разнообразіи жизненныхъ явленій и соразмѣрять съ ихъ сущностью каждое дѣйствіе, имѣющее къ нимъ какое-нибудь отношеніе, — съ этой минуты никакое невѣжество, какъ бы оно ни было самолюбиво и предпріимчиво, полезныхъ результатовъ достигнуть не можетъ. Чтобы извлечь, напримѣръ, доходъ изъ извѣстной статьи, надо прежде всего доискаться, что̀ это за статья, какъ велика степень ея производительности и при какихъ условіяхъ эта послѣдняя можетъ быть усилена. Очевидно, что вопросы эти можетъ разрѣшить человѣкъ только знающій и мыслящій, и притомъ только тогда, когда онъ рѣшаетъ ихъ не впопыхахъ и не подъ давленіемъ страховъ, нагоняемыхъ слишкомъ рьяными кантонистами. Но ежели къ этой же статьѣ подойти съ крикомъ и гамомъ: подавай! — то она не только не дастъ больше того, что̀ даетъ и давала, но, напротивъ того, постепенно оскудѣетъ, потому что система оглушенія и тутъ, какъ и вездѣ, можетъ проявить только безразсудную жадность, уравновѣшиваемую лишь безсиліемъ.

Очень возможно, что примѣръ этотъ найденъ будетъ недоказательнымъ. Могутъ сказать, что и во времена крѣпостного права не считалось безполезнымъ разумное отношеніе къ источникамъ производительности, и что каждому индивидууму изъ легіона «способныхъ и достойныхъ» непремѣнно и безусловно поставлялось на видъ, что «только благоразумная экономія и доброе смотрѣніе могутъ привести къ полезнымъ для государства послѣдствіямъ, безъ отягощенія народнаго». Не ясно ли, стало-быть, что благоразуміе и умѣлость и тогда уже предпочитались безумію и невѣжеству?

Да, это правда; здравый смыслъ заявляетъ свои требованія не со вчерашняго дня; онъ существовалъ во всѣ времена. Всегда призывалъ онъ къ благоразумію; всегда утверждалъ, что умѣлое обращеніе съ вещами полезнѣе, нежели обращеніе неумѣлое. Но какія были практическія послѣдствія этихъ призывовъ и утвержденій? — на этотъ вопросъ можно съ полною увѣренностью отвѣтить: послѣд-

ствія эти были вполнѣ недостаточныя. Для того, чтобы умѣлое обращеніе съ вещами сдѣлалось явленіемъ не исключительнымъ, не диковиннымъ, какъ это всегда случалось въ оныя времена, надобно, чтобы оно представляло единственное средство, которое обезпечивало бы спокойное существованіе общества, и чтобы средство это не могло быть замѣнено никакимъ другимъ. Сказать, что умѣлость и благоразуміе не безполезны — значитъ сказать одну изъ тѣхъ pia desideria, которыя во множествѣ выпускаются въ обращеніе, именно потому, что дѣйствительная ихъ стоимость весьма невелика. Такъ что, если при этомъ не полагается ясныхъ и твердыхъ преградъ для безумія, то выигрышъ отъ похвалъ, произносимыхъ благоразумію, будетъ самый пустой. Первая неудача, недостатокъ терпѣнія, отсутствіе средствъ—все это представляетъ такую совокупность условій, которая дѣлаетъ переходъ отъ благоразумія къ безумію до крайности легкимъ. И переходъ этотъ сдѣлается невозможнымъ лишь тогда, когда самая жизнь отвѣтитъ отказомъ на притязанія самолюбиваго невѣжества, когда она наградитъ сторицею не того, кто ничего не имѣетъ ни за собой, ни передъ собой, кромѣ угрозъ, а того, кто дѣйствительно нѣчто умѣетъ и можетъ.

Если подобное положеніе вещей еще не вполнѣ наступило для нашихъ провинцій, то, во всякомъ случаѣ, есть признаки, дозволяющіе угадывать его приближеніе. Признаки эти, къ сожалѣнію, выражаются только въ неудачахъ, которыми такъ обильна современная жизнь, и въ той ея неклейности, которая дѣлаетъ тщетными всякіе разсчеты и сообщаетъ прискорбный характеръ колебанія всѣмъ дѣйствіямъ современнаго человѣка. Что̀ обнаруживаютъ эти колебанія? ужели они свалились къ намъ съ неба, безъ всякой связи съ жизнью? или они и впрямь выражаютъ только начальственное послабленіе? Нѣтъ, они доказываютъ, что первоначальные источники, которые питаютъ жизнь общества, до такой степени измѣнились въ своей сущности, что требуютъ совершенно иныхъ пріемовъ противъ тѣхъ, которые прежде казались удовлетворительными. Если бы прежніе пріемы были достаточны для урегулированія новаго положенія вещей, то вѣдь арсеналъ таковыхъ еще не уничтоженъ; однако-жъ, несмотря на это, колебанія не кончаются, и жалобы на неудачи и затрудненія всякаго рода идутъ, все болѣе и болѣе возрастая. Отчего-жъ это? А оттого, милостивые государи, что въ насъ нѣтъ доста-

точной рѣшимости, чтобъ послѣдовательно вступить на новый путь, что насъ все еще соблазняетъ арсеналъ «прежнихъ пріемовъ», который и будетъ продолжать запутывать соображенія наши до тѣхъ поръ, пока мы окончательно не рѣшимся отвернуться отъ него.

Какъ ни больно, но придется же когда-нибудь сознаться, что вопросы жизни рѣшаются не строгостью, а умѣньемъ и знаніемъ, не единоличною прихотью, а обсужденіемъ. Не то больно, что сознаніе такого рода неизбѣжно, а то, что мы до сихъ поръ не можетъ отнестись къ этой неизбѣжности безъ болѣзненнаго, почти враждебнаго чувства. Въ сущности, какія особенныя радости принесла намъ эта хваленая строгость, этотъ пресловутый кантонистскій энциклопедизмъ, не развязывавшій, но разсѣкавшій всевозможные узлы? Если мы вникнемъ въ этотъ вопросъ, то убѣдимся, что даже тѣ изъ насъ, которымъ дѣйствительно этотъ порядокъ вещей давалъ кое-какую поддержку, могли принимать ее съ спокойнымъ духомъ только до тѣхъ поръ, покуда они сами находились въ состояніи безсознательности...

Можно бы привести здѣсь множество примѣровъ безсилія этого прискорбнаго энциклопедизма, можно бы доказать фактически, что онъ до сихъ поръ только безплодно волновалъ общественное мнѣніе, а ни одного вопроса ни въ какую сторону никогда не разрѣшилъ. Но для того, чтобы убѣдиться въ этомъ, не требуется даже доказательствъ; достаточно дать волю самимъ поборникамъ энциклопедизма: каждый изъ нихъ, въ какіе-нибудь четверть часа времени, наскажетъ по этому предмету такую кучу самыхъ вопіющихъ невозможностей, что вамъ останется только на досугѣ разрѣшить вопросъ: какимъ же образомъ эти люди ухитряются жить?

Письмо двѣнадцатое.

Одна изъ самыхъ яркихъ особенностей нашихъ захолустныхъ городковъ заключается въ томъ, что тамъ почти совсѣмъ нельзя встрѣтить посторонняго, наѣзжаго люда. Все, что ни видится на улицахъ, на площадяхъ, въ присутственныхъ мѣстахъ, въ лавкахъ—все это *тутошное*, живущее здѣсь только потому, что постепенно нагуляло себѣ какъ бы естественные кандалы. Постороннему здѣсь нечего

дѣлать, а потому не зачѣмъ пріѣзжать. Это до такой степени вѣрно, что нѣтъ ни одного провинціала, который не сознавалъ бы этой истины и не взглянулъ бы удивленными глазами на пріѣзжаго, не спѣшащаго сломя голову вонъ. Провинціальный городъ никогда ни для кого не служилъ цѣлью, а только стоялъ на пути, на томъ безконечномъ, постыломъ пути, который такъ, кажется, и перелетѣлъ бы, если-бъ были крылья. Заспанный путешественникъ, зѣвая, вылѣзалъ изъ тарантаса, потягиваясь, напивался на станціи своего собственнаго чая, закусывалъ собственною провизіей, проглатывалъ рюмку собственной водки и мчался дальше куда-то *въ свое мѣсто*. Даже на соборъ не засматривался, потому что всякій соборъ, такъ сказать, отъ рожденія стереотипомъ напечатлѣнъ въ сердцѣ каждаго русскаго проѣзжаго человѣка. Впереди у него есть *свое мѣсто*, съ *своимъ* неудобнымъ для обитанія домомъ, съ *своею* несъѣдобною провизіей, со своими тараканами, клопами и прочею нечистью. Зачѣмъ же ему заглядываться на *чужую* нечисть?

Мѣстный обыватель понималъ эти соображенія и никогда не претендовалъ на проѣзжаго человѣка за то, что онъ ни о чемъ не разспрашиваетъ, ни на что не глядитъ. Не о чемъ спрашивать, не на что глядѣть: все, что увидишь или узнаешь здѣсь — все это увидишь или узнаешь тамъ, *въ своемъ мѣстѣ*. Даже путешественникъ-спеціалистъ, командированный отъ какого-нибудь вѣдомства, а пожалуй, и отъ двухъ (у насъ путешествіе безъ командировки немыслимо), и тотъ лишь для проформы останавливался на нѣсколько часовъ на почтовой станціи и для проформы же записывалъ въ свой ученый дневникъ: «Былъ въ городѣ Навозномъ и имѣлъ совѣщаніе съ хлѣбными торговцами, при чемъ оказалось, что хлѣба за границу и на внутренніе рынки отправляется множество (NB: *цифру проставить дома, по возвращеніи въ Петербургъ*); на станціи видѣлъ собственными глазами, что ямщики ѣдятъ не только хлѣбъ безъ примѣси лебеды, но и ватрушки, имѣвшія очень вкусный видъ (NB: *по этому поводу пустить нѣчто пикантное противъ нашихъ охранителей и прогрессистовъ, утверждающихъ, что благосостояніе народа находится въ упадкѣ*); сверхъ того, видѣлъ (NB: *самъ не видѣлъ, но написать, что видѣлъ*) — въ соборѣ хранится пуговица отъ мундира великаго князя Святослава Игоревича, потерянная во время битвы съ Цимисхіемъ. Пуговица мѣдная, свѣтлая, какъ бы снятая съ новѣйшей ливреи», и т. д.

Записавши это, путешественникъ (съ ученою цѣлью) скакалъ дальше, въ городъ Ненасыть, за такою же надобностью, а по возвращеніи въ Петербургъ выпускалъ книжицу, съ громкимъ названіемъ: «Изслѣдованіе о хлѣбной торговлѣ въ Россіи», за которую получалъ премію или двѣ, смотря по тому, отъ одного или двухъ вѣдомствъ былъ командированъ.

Таково было еще въ недавнее время положеніе нашихъ провинціальныхъ городковъ относительно привлеченія пришлаго населенія; въ будущемъ оно едва ли обѣщаетъ сдѣлаться болѣе разнообразнымъ. Съ развитіемъ желѣзныхъ дорогъ всѣ заспанные люди, которые до настоящаго времени хоть лошадей перемѣняли на станціяхъ, конечно, устремятся въ *свое мѣсто* путемъ болѣе краткимъ и удобнымъ. И сдѣлаются эти городки еще болѣе пустынными, и побѣгутъ изъ нихъ *тутошные* люди, которые до сихъ поръ кое-какъ кормились около проѣзжаго человѣка, сбывая ему на двѣ копейки веревокъ да на копейку дегтя и по временамъ вытаскивая изъ невылазной пучины его загрязнувшій тарантасъ.

Что-то будетъ! какія-то измѣненія принесутъ за собою эти новые пути, новыя экономическія условія, свободный трудъ, попытки самоуправленія и проч., и проч.! Возьмется ли провинціалъ за живое дѣло, дойдетъ ли до сознанія своего положенія или, по прежнимъ примѣрамъ, скреститъ руки и будетъ отводить душу въ изобрѣтеніи мѣткихъ, но совершенно праздныхъ эпитетовъ, которыми онъ креститъ собственную вялость и непригодность?

Но судьба не всегда бываетъ благосклонна къ людямъ и по временамъ предупредительно водворяетъ ихъ именно въ томъ мѣстѣ, куда не зачѣмъ пріѣзжать. По большей части это случается какъ-то вдругъ. Человѣкъ наслаждается жизнью гдѣ-нибудь въ Разъѣзжей или Кабинетской улицѣ, строитъ планы, поднимаетъ завѣсу будущаго, и вдругъ, непосредственно изъ Разъѣзжей улицы, не только мыслью, но и тѣломъ переносится въ уѣздный городъ Ненасыть.

Я согласенъ, что это превращеніе не вполнѣ обыденно, и что его слѣдуетъ отнести къ числу волшебныхъ; но такъ какъ въ сей юдоли плача покуда еще очень не легко опредѣлить, гдѣ кончается волшебство и гдѣ начинается дѣйствительность, то люди компетентные утверждаютъ, что подобнаго рода превращенія не только возможны, но даже не вызываютъ особенныхъ удивленій.

Какъ бы то ни было, но представить себѣ человѣка, сваливающагося откуда-то издалека и независимо отъ собственной воли водворяющагося въ средѣ обывателей одного изъ такъ-называемыхъ «мирныхъ уголковъ», — очень не трудно. Гораздо труднѣе прослѣдить самый процессъ водворенія, ибо оно совершается не механически только, но и со всѣми нравственными послѣдствіями: съ укрощеніемъ, стушевкою и акклиматизированіемъ. Сталкиваются два элемента, ничего до сихъ поръ другъ о другѣ не знавшіе: пустынникъ Разъѣзжей улицы приходитъ въ соприкосновеніе съ пустынникомъ города Ненасытя. Встрѣчаются и на первый разъ могутъ съ ясностью представить себѣ только одно: что имъ приходится жить вмѣстѣ. Очевидно однако-жъ, что это первое впечатлѣніе слишкомъ недостаточно, чтобы можно было остановиться на немъ. Очевидно, что со временемъ оно осложнится и для той и для другой стороны, что наступитъ минута, когда и акклиматизируемый человѣкъ и аборигенъ должны будутъ подойти другъ къ другу и постановить условія взаимнаго сожительства. Какія будутъ эти условія?

Въ разрѣшеніи этого вопроса заключается возможность дальнѣйшаго существованія этихъ подневольныхъ людей, изъ которыхъ одни связаны тѣмъ, что они отъ рожденія *тутошные*, а другіе — тѣмъ, что имъ предстоитъ, не будучи *тутошными*, во что̀ бы то ни стало сдѣлаться таковыми.

Что касается до человѣка, подлежащаго акклиматизаціи, то онъ долженъ испытывать не столько чувство враждебности, сколько чувство недоумѣнія. Для враждебнаго чувства еще нѣтъ непосредственнаго объекта, но для недоумѣнія есть поводы очень дѣйствительные. По крайней мѣрѣ, въ первую минуту по выброшеніи на берегъ, иначе не можетъ быть. Акклиматизируемый еще не умѣетъ объяснить себѣ, что̀ именно находится у него передъ глазами: необитаемый ли островъ или что-нибудь другое. Что это не необитаемый островъ—въ этомъ его убѣждаетъ, во-первыхъ, мельканіе субъектовъ, носящихъ, подобно ему, человѣческій образъ, во-вторыхъ — ощущеніе близости исправника. Но что тутъ есть нѣчто, имѣющее и всѣ свойства необитаемаго острова,—это доказывается полнѣйшимъ отсутствіемъ удобствъ жизни, то-есть именно того, что̀ всегда и вездѣ, помимо всѣхъ другихъ признаковъ, возвѣщаетъ о присутствіи творческой дѣятельности человѣка. Жилища не даютъ

дѣйствительнаго успокоенія; пища не даетъ дѣйствительной питательности; кругомъ слышатся какія-то непривычныя рѣчи; нѣтъ книги, нѣтъ ничего, что̀ обезпечивало бы возможность дальнѣйшаго развитія; вездѣ видится нагота и неприкрытость. Рай Разъѣзжей улицы—потерянный рай!—такъ и мечется въ глаза. Правда, онъ былъ изгнанъ изъ этого рая, что̀ не совсѣмъ-таки свидѣтельствуетъ въ пользу его безопасности и безмятежія; но здѣсь... Здѣсь вѣдь онъ еще менѣе прикрытъ въ этомъ смыслѣ. Здѣсь его вверхъ тормашками поставятъ, и никто ничего не узна̀етъ, не увидитъ, не услышитъ! Вотъ *онъ* идетъ, *онъ*, то-есть всякій, который имѣетъ возможность налечь всѣмъ корпусомъ на судьбу подневольнаго человѣчества,—что-то у *него* въ головѣ? какая-то затѣя строится у *него* относительно его, бѣднаго, свалившагося съ неба, странника? Какой у *него* характеръ? какія привычки? Говорятъ, *онъ* человѣкъ не злой, но, можетъ-быть, *онъ* своенравенъ; можетъ-быть, у *него* есть въ головѣ какой-нибудь гвоздь?.. Тысяча мелочныхъ, но мучительныхъ и никогда прежде не являвшихся вопросовъ возстаютъ неизвѣстно откуда, осаждаютъ голову и — увы! — растлѣваютъ сердце... А вѣдь это только первый приступъ; это только матеріальныя условія предстоящей жизни; это вопросъ о норѣ, пищѣ и возможности поддержать дѣло; что̀ же придется загадывать дальше, когда пойдетъ рѣчь объ условіяхъ жизни умственной?

Таково первое ощущеніе, испытываемое одной стороной,—ощущеніе въ высшей степени горькое и тоскливое. Загадочность отовсюду, изъ всѣхъ норъ бѣжитъ навстрѣчу человѣку, а ка̀къ она разыграется въ будущемъ—это тайна, надъ раскрытіемъ которой умъ будетъ работать до тѣхъ поръ, пока слѣпой случай не разрѣшитъ томленій подневольнаго человѣка въ ту или другую сторону. Говорятъ, что вездѣ можно найти хорошихъ людей; можетъ-быть, это и справедливо, но вѣдь справедливо и то, что хорошій человѣкъ тогда только дѣйствительно хорошъ, когда онъ хорошъ *по-нашему*. Это «по-нашему» отнюдь не означаетъ ни грубаго деспотизма съ одной стороны, ни рабскаго прилаживанья — съ другой; нѣтъ, тутъ скрывается довольно долгій и сложный процессъ, черезъ который незамѣтно проходятъ живыя существа, прежде нежели сдѣлаются другъ другу угодными. Дѣйствительная «хорошесть» представляетъ совокупность множества опредѣленій, хотя приблизительно общихъ обѣимъ сторонамъ: общность стремленій и идеа-

ловъ, равная степень развитости, одинаковая возможность найти другъ въ другѣ помощь и провѣрку и проч. «Хорошихъ» людей, то-есть людей добрыхъ, честныхъ и даже разумныхъ, дѣйствительно встрѣчается довольно, но всѣ они хороши по-своему. Какое дѣло намъ до хорошаго человѣка, съ которымъ мы не можемъ сказать слова, чтобъ не взглянуть другъ на друга въ недоумѣніи или не почувствовать необходимости въ безконечныхъ предварительныхъ объясненіяхъ? А именно таковъ и есть хорошій человѣкъ провинціи. Онъ исключительно эмпирикъ; онъ не знаетъ болѣе того, что̀ видитъ собственными глазами и осязаетъ собственными руками; а ежели и знаетъ нѣчто болѣе, то-есть объясняетъ себѣ явленія не однимъ путемъ эмпиризма, то, пожалуй, лучше бы не зналъ и не объяснялъ. Мнѣ былъ, напримѣръ, извѣстенъ одинъ очень хорошій человѣкъ, который былъ глубоко убѣжденъ, что у мужчины во лбу крестъ, а у женщины креста нѣтъ; а потому кликуши и порченые встрѣчаются только между женщинами. И это былъ воистину «хорошій» человѣкъ, то-есть человѣкъ никогда никого не обманувшій, не обидѣвшій и, помимо нѣкоторыхъ дурацкихъ убѣжденій, довольно бодро смотрѣвшій въ глаза жизни. Я согласенъ, что примѣръ этотъ рѣзокъ; но есть безчисленное множество примѣровъ, хотя и менѣе рѣзкихъ, но которые, въ сущности, отличаются отъ предыдущаго только тѣмъ, что обманываютъ кажущимся приличіемъ своихъ формъ. Недаромъ же сама провинція сложила пословицу, что тотъ хорошій человѣкъ, который сальныхъ свѣчей не ѣстъ и стекломъ не утирается. Очень возможно также, что всѣ эти хорошіе люди могутъ со временемъ развиться, но вѣдь это ужъ совсѣмъ другой вопросъ, воспитательный. Говорятъ еще, что съ хорошимъ человѣкомъ, кромѣ одинаковаго умственнаго уровня, можно сойтись еще на почвѣ человѣчности; но и это, къ сожалѣнію, только отчасти справедливо, ибо отношенія, завязывающіяся исключительно на почвѣ человѣчности, никогда не бываютъ отношеніями полнаго равенства. Чувство человѣчности никогда не бываетъ свободно отъ примѣси благосклонности съ одной стороны и примѣси благоговѣнія—съ другой. Весьма похвально, ежели человѣкъ признаётъ человѣческое достоинство даже въ томъ изъ своихъ ближнихъ, съ которымъ онъ имѣетъ очень мало точекъ соприкосновенія; не меньше похвально, если онъ старается поднять этого ближняго до своего собственнаго нравственнаго и умственнаго уровня; но глазъ мало-мальски

проницательный безъ труда увидитъ, что тутъ уже есть усиліе. Какой же можетъ быть послѣ этого вопросъ о равенствѣ? А вѣдь для человѣка, если онъ не звѣрь и не превозвысившійся въ чинахъ кантонистъ, равенство, въ смыслѣ общественности, есть именно та самая вещь, которая желательна всего болѣе и безъ которой возможно только насильствованіе собственной природы.

Тѣмъ не менѣе чувство одиночества выносимо съ трудомъ. Постепенно охватывая и одолѣвая человѣка, оно изнуряетъ его до того, что потребность исканія и даже созданія «хорошаго» человѣка заглушаетъ въ немъ всѣ остальныя потребности и соображенія. Посмотримъ же теперь, какъ относится къ акклиматизируемому человѣку та другая сторона подневольнаго человѣчества, среди которой ему назначено судьбой акклиматизироваться.

Можно почти утвердительно сказать, что отношенія этой стороны вполнѣ сочувственны акклиматизируемому. Она не хочетъ знать о тѣхъ высшихъ соображеніяхъ, которыя бросили странника въ ея захолустье; она съ участіемъ смотритъ на его недоумѣніе, она *жалѣетъ* его. Во-первыхъ, какъ ни скудно ея собственное прошлое, но оно все-таки существуетъ, а потому она понимаетъ, что прошлое должно быть и у этого человѣка. И чѣмъ нечаяннѣе произошелъ разрывъ съ этимъ прошлымъ, тѣмъ онъ долженъ быть для него больнѣе. Во-вторыхъ, если не совсѣмъ ловко разставаться даже съ такимъ прошлымъ, въ которомъ ничего не отыщется, кромѣ воспоминаній о выѣденномъ яйцѣ, то тѣмъ тяжелѣе отказаться отъ такого прошлаго, въ которомъ имѣлся интересъ дѣйствительный. А что этотъ интересъ былъ—это доказывается тѣмъ, что акклиматизируемый не самъ отъ него *оторвался*, а нашлось нужнымъ *оторвать* его отъ него. Въ-третьихъ, «тутошныхъ» людей поражаетъ то обстоятельство, что акклиматизируемый человѣкъ никакъ не можетъ сразу приладиться на новомъ мѣстѣ, не ходко идетъ, а все какъ будто озирается, нащупываетъ, пробуетъ. Онъ дѣлаетъ видимыя усилія, чтобъ переломить себя и попасть въ тонъ *новой* дѣйствительности; но напряженность этихъ усилій наводитъ на соображенія очень чуткія и вѣрныя. Стало-быть, размышляютъ обыватели, ему *тамъ* лучше было, въ своемъ-то мѣстѣ, если онъ никакъ не можетъ съ своимъ сердцемъ совладать. И, сообразивъ это, начинаютъ *жалѣть* вдвое. Но есть еще и четвертая причина *жалѣнія*—это темное, почти инстинктивное сознаніе, что и они,

обыватели, суть дѣти той же случайности, какъ и сей акклиматизируемый человѣкъ, и что если эта случайность однажды швырнула къ нимъ аэролитъ, то и для каждаго изъ нихъ можетъ тоже придти очередь быть аэролитомъ...

— Ахъ ты, касатикъ нашъ! тяжко тебѣ, поди, въ чужихъ-то людяхъ! — хоромъ *жалѣютъ* обыватели, вдругъ преисполнившись любви и соболѣзнованія къ акклиматизируемому.

— Да вѣдь живете же вы! буду какъ-нибудь жить и я!—отвѣчаетъ «касатикъ» искусственно-твердымъ голосомъ.

— Гдѣ ужъ тебѣ! мы что̀! мы люди тутошные! намъ, пожалуй, и бѣжать-то некуда!

Этотъ послѣдній доводъ, это горькое сознаніе подневольности со стороны людей, по наружности вполнѣ свободныхъ, охватываетъ душу акклиматизируемаго какимъ-то страхомъ. До сей минуты онъ былъ увѣренъ, что нѣтъ на свѣтѣ хуже его положенія, нѣтъ несчастія горше его несчастія. И вотъ оказывается, что существуетъ несчастіе болѣе глубокое, несчастіе, преслѣдующее человѣка отъ колыбели до могилы и даже самимъ имъ признаваемое за нѣчто нормальное, неизбывное. Но, рядомъ со страхомъ, это открытіе производитъ и иное явленіе, значительно смягчающее его, а именно: оно рождаетъ и въ другой сторонѣ то самое *жалѣніе*, о которомъ уже упоминалось выше. Изъ обывательскихъ сердецъ это чувство переходитъ въ сердце акклиматизируемаго и немедленно даетъ живые ростки. Ни въ комъ и нигдѣ онъ не только не видитъ озлобленія, но даже и тѣни предубѣжденія противъ себя. Самъ исправникъ, мужъ твердый въ бѣдствіяхъ, и тотъ, проходя мимо него, разглаживаетъ морщины на хмуромъ челѣ и съ какой-то почти ангельской улыбкой говоритъ:

— Что̀, молодецъ? поприлаживаешься? то-то! живи да оглядывайся!

Здѣсь я долженъ однако-жъ сдѣлать небольшую оговорку, чтобы не дать повода къ болѣе или менѣе злостнымъ толкованіямъ, на которыя такъ тароваты наши благонамѣренные свистуны.

Я констатирую одинъ изъ далеко не мелкихъ фактовъ нашей современной провинціальной жизни, и констатирую его безъ преувеличенія. Я не говорю, что на акклиматизируемаго набрасываются звѣри; я не заставляю его пропадать съ голода и холода или изнывать подъ игомъ черезчуръ ревностнаго наблюденія. Напротивъ того, я ставлю

его въ самое благопріятное положеніе—въ положеніе человѣка, къ которому устремлены искреннѣйшія симпатіи. *Новая* дѣйствительность, съ которую сталкивается акклиматизируемый человѣкъ, вовсе не зубата, не кипитъ враждою и злобою—я охотно о томъ свидѣтельствую и заявляю. Но въ то же время я говорю: есть на свѣтѣ нѣчто болѣе злое, нежели самые злые звѣри, — это ничѣмъ невосполненное чувство одиночества, это ничѣмъ неутоленная тоска сердца, оторваннаго отъ своего прошлаго и не нашедшаго пищи въ настоящемъ. И нѣтъ того доброжелательства, нѣтъ тѣхъ сочувственныхъ словъ, которыя могли бы помочь этому высшему горю изъ всѣхъ горестей, когда-либо испытываемыхъ человѣкомъ...

Съ другой стороны, я отнюдь не хочу утверждать, что акклиматизируемый человѣкъ непремѣнно представляетъ собою высшій организмъ относительно тѣхъ существъ, съ которыми свела его судьба. Но я былъ бы неправъ, если-бъ умолчалъ, что это человѣкъ иныхъ привычекъ, иныхъ взглядовъ на вещи. И если бы кто-нибудь предложилъ мнѣ вопросъ: совершеннѣе ли эти привычки, чище ли эти взгляды, нежели тѣ, которые выработались въ средѣ провинціальнаго захолустья, — я поступилъ бы недобросовѣстно, если бы далъ другой отвѣтъ, нежели: да, совершеннѣе, чище. Въ этомъ заявленіи нѣтъ даже ничего такого, что̀ ставило бы акклиматизируемаго человѣка на пьедесталъ, ибо относительное совершенство, которымъ онъ пользуется, принадлежитъ не столько ему лично, сколько той иной средѣ, воздухъ которой онъ заноситъ вмѣстѣ съ собою.

Сверхъ того, я ни слова не говорю о тѣхъ «высшихъ соображеніяхъ», которыя играютъ въ этомъ случаѣ очень немаловажную роль. Я не призванъ быть судьей этихъ соображеній и потому прохожу мимо нихъ молчаніемъ, констатируя лишь голый фактъ.

Затрудненія, которыя неизбѣжно сопрягаются съ отыскиваніемъ «хорошихъ людей» въ провинціи, бываютъ двоякаго рода. Первое заключается въ томъ, что, при настоящихъ условіяхъ, дѣло покоренія человѣческихъ сердецъ возможно только тогда, когда оно ведется въ формахъ самыхъ сдержанныхъ и уклончивыхъ; второе—въ томъ, что человѣкъ, занимающійся покореніемъ сердецъ, волею или неволею обязывается прежде всего открыть какое-нибудь посредствующее звено, которое связывало бы его личные идеалы съ тѣми, которые стоятъ у него на пути. Что

акклиматизируемый человѣкъ обязывается вести свои поиски въ формахъ до крайности уклончивыхъ — это ни для кого не тайна. Невозможно отрицать, что каждое его дѣйствіе, каждое слово подвергаются комментаріямъ, въ которыхъ предвзятая мысль и подозрительность играютъ роль очень видную. Исключительный характеръ положенія ставитъ его открытымъ для всѣхъ взоровъ и предположеній. «Можетъ-быть, онъ и въ самомъ дѣлѣ какой-нибудь смутьянъ?»—невольно спрашиваетъ себя обыватель, сбитый съ толку загадочною внѣшностью, облекающею фактъ появленія акклиматизируемаго человѣка; а наблюдающая власть даже и вопросами не задается, а прямо говоритъ: «да, смутьянъ». Хоть это нимало не вредитъ *жалѣнію*, разлитому во всѣхъ сердцахъ (обыкновенно этотъ предполагаемый смутьянъ — молодой человѣкъ, а кто же смолоду не былъ молодъ!), но не вредитъ лишь подъ условіемъ строгой выдержки и смотрѣнія въ оба. Этого мало: угрозы, которыми дѣйствительно окружено существованіе акклиматизируемаго человѣка, въ весьма значительной степени усиливаются еще угрозами несуществующими, невозможными. Предположимъ, что акклиматизируемый человѣкъ настолько благоразуменъ, что уже не ждетъ особенныхъ ласкъ отъ судьбы; но легкость, съ которою онъ на каждомъ шагу рискуетъ подвергаться всевозможнымъ ущемленіемъ и уязвленіямъ, невольнымъ образомъ должна наводить его на соображенія далеко не свѣтлаго свойства. Очень можетъ быть, что никто не воспользуется этою легкостью, но она существуетъ какъ возможность, и этого достаточно, чтобы мысль самую смѣлую привести въ смущеніе. А отсюда слѣдствіе ясное: или необходимость уйти въ себя, или же не менѣе горькая необходимость взвѣшивать каждое слово, обезцвѣчивать его и сообщать ему двойной смыслъ. Понятно, какою неясностью и запутанностью должны страдать отношенія, которыя завязываются при подобныхъ условіяхъ.

Второе затрудненіе еще важнѣе. Звено, которое связываетъ идеалы акклиматизируемаго человѣка съ идеалами аборигена, такъ длинно, что невозможно утилизировать его иначе, какъ укоротивши его, а это—по крайней мѣрѣ для начала—возможно сдѣлать только съ явнымъ ущербомъ для первыхъ. Человѣкъ, отдающій себя дѣлу воспитанія, весьма рѣдко принимаетъ въ разсчетъ ту силу сопротивленія, которую оказываетъ сторона воспитываемая, но суровая дѣйствительность не замедлитъ напомнить ему объ этомъ, и

напомнить самымъ разочаровывающимъ образомъ. Тутъ дѣло не только въ терпѣливомъ повтореніи задовъ, но и въ ниспроверженіи лжей и фантасмагорій, накопленныхъ эмпиризмомъ и суевѣріемъ. Тутъ дѣло идетъ не съ rabula rasa, а съ доскою, исписанною съ верху до низу каракулями очень опредѣленнаго свойства. Каждая изъ накопленныхъ лжей отстаивается тѣмъ съ бо̀льшимъ упорствомъ, чѣмъ меньше имѣется разумныхъ основаній для поддержанія ея. И въ большей части случаевъ самое прикосновеніе къ лжи считается дерзостью, почти что святотатствомъ.

— Нѣтъ, ты это оставь,—говоритъ обыкновенно обыватель:—это такъ ужъ отъ Бога положено.

И замѣтьте, такимъ образомъ говоритъ обыватель, который считаетъ себя снисходительнымъ; менѣе же снисходительный даже разговаривать не будетъ, а просто вытаращитъ глаза и пойдетъ строчить втихомолку просьбицу. Спрашивается: насколько же долженъ умалить себя человѣкъ, отыскивающій хорошихъ людей, насколько онъ долженъ поступиться, обезличиться, покорить самого себя, чтобы провести какой-нибудь уровень между собою и этими искомыми людьми?

Сверхъ того, человѣкъ, который предпринимаетъ работу сближенія въ провинціи, долженъ сказать себѣ заранѣе, что это совсѣмъ не та работа, которую онъ велъ въ то время, когда онъ жилъ *въ своемъ мѣстѣ*. Возможность опредѣленнаго формулированія мысли, спокойная постановка возраженій и спокойное же обсужденіе ихъ — вотъ характеристическія черты того взаимовоспитанія, которое *тамъ*, въ этой иной, болѣе благопріятной средѣ зрѣло и упрочивалось. Въ этомъ минувшемъ процессѣ самовоспитанія, несмотря на его недоконченность, уже существовало множество положеній, совершенно выработанныхъ и безспорныхъ, а это, въ свою очередь, устраняло съ арены споровъ такъ-называемыя азбучныя истины и дозволяло мысли сосредоточивать всѣ свои усилія на главной задачѣ. Ничего подобнаго не найдетъ акклиматизируемый человѣкъ въ новой дѣятельности, которая предстоитъ ему въ провинціи. Прежде всего на него градомъ посыплются возраженія, и притомъ возраженія торопливыя и требующія столь же торопливыхъ разъясненій. Малѣйшее колебаніе въ этомъ случаѣ надолго подрываетъ репутацію популяризатора и ставитъ его въ ряды легкомысленныхъ людей, о которыхъ, какъ извѣстно, въ провинціи сложилось множество самыхъ смѣшныхъ пого-

ворокъ, въ родѣ: «не сули журавля въ небѣ», «не хвались, идучи на рать», и проч., и которыя въ каждомъ колебаніи находятъ себѣ подтвержденіе.

— На посулѣ-то ты какъ на стулѣ,—подсмѣивается обыватель надъ замявшимся популяризаторомъ: — а какъ до дѣла дошло—тутъ и нѣтъ тебя!

Что же касается до безспорныхъ подготовительныхъ положеній, которыя такъ облегчаютъ дальнѣйшую работу мысли, то ихъ нѣтъ вовсе. Тутъ все спорно, все надо начинать сызнова, надъ всѣмъ останавливаться, все разъяснять. А такъ какъ это трудъ дробный и утомительный, то время уходитъ безъ остатка, и въ концѣ концовъ популяризаторъ не безъ удивленія замѣчаетъ, что въ дѣлѣ собственнаго развитія онъ не сдѣлалъ ни шагу впередъ, — въ дѣлѣ же развитія ближнихъ достигъ лишь того, что пріобрѣлъ право гражданственности для такихъ безконечно-малыхъ крупицъ, которыя онъ предполагалъ уже съ колыбели присущими каждому человѣку.

Ничтожество этого результата дѣйствуетъ тѣмъ поразительнѣе, что всякій акклиматизируемый человѣкъ непремѣнно до мозга костей проникнутъ любовью и сочувствіемъ къ массѣ. Работа, которая велась имъ еще тамъ, *въ своемъ мѣстѣ*, никогда не имѣла въ виду ничего, кромѣ массы и ея кровныхъ интересовъ. Но вотъ является случай сдѣлать массу участницею этой работы, и съ перваго же шага возникаетъ безчисленное множество преткновеній. Масса не только не обладаетъ ни одною изъ элементарныхъ истинъ, составляющихъ необходимый отправный пунктъ для дальнѣйшихъ обобщеній,—она не знаетъ даже, отъ кого и какъ получить эти истины, гдѣ ея друзья, гдѣ ея враги. Тѣ тонкія, невидимыя нити, которыя связываютъ съ нею человѣка, живущаго въ обстановкѣ, вполнѣ отличной отъ ея обстановки, совершенно ускользаютъ отъ ея пониманія. Кто этотъ человѣкъ, который упалъ въ среду ея подобно аэролиту? Съ какой стати онъ предпринимаетъ работу сближенія? Не вѣрнѣе ли предположить, что, благодаря особенностямъ воспитанія и всему складу прошлой жизни, у него не должно быть ни малѣйшаго интереса для поисковъ «хорошаго человѣка» между ними, бѣдными *тутошними* людьми?

Всѣ эти сомнѣнія невольнымъ образомъ закрадываются въ массу и заставляютъ ее съ недовѣрчивостью относиться къ воспитательнымъ попыткамъ. Масса, конечно, и сама

чувствуетъ, что она страдаетъ и терпитъ лишенія, но чтобы этими ея страданіями страдалъ человѣкъ, который всѣми условіями жизни поставленъ внѣ необходимости страдать и терпѣть лишенія—это для нея непонятно ни съ какой стороны. Никогда она не видала подобныхъ примѣровъ; никогда не было у нея ни ревнителей, ни печальниковъ; а ежели таковые были, то она, конечно, ничего не знала о нихъ. Все ревнительство ограничивалось случайно брошеннымъ словомъ, которое тутъ же и замирало, а вслѣдъ за нимъ и сами ревнители исчезали въ пучинѣ. Масса ни разу не испытала на себѣ ни одного отголоска этого ревнительства и продолжала протестовать противъ своихъ страданій единственнымъ оружіемъ, которое было у нея въ рукахъ: страданіями же или—много-много—частными нарушеніями нѣкоторыхъ обязательныхъ для нея правилъ. И вдругъ она видитъ этихъ ревнителей воочію, видитъ ихъ проникающими въ самое сердце ея... Зачѣмъ? Зачѣмъ эти сравнительно изнѣженные, набалованные люди прикасаются къ ея страданіямъ, къ тѣмъ страданіямъ, которыя не суть ихъ страданія, но составляютъ исключительный удѣлъ лишь массъ?

Вотъ какимъ образомъ разсуждаютъ «хорошіе люди» провинціи, «хорошіе» не въ ироническомъ смыслѣ, а въ дѣйствительномъ. Предоставляю читателю самому рѣшить, насколько подобныя разсужденія благопріятны для акклиматизируемаго человѣка.

Но, кромѣ повѣрья о томъ, что хорошіе люди вездѣ живутъ, есть еще другое повѣрье, утверждающее, что и для массъ возможны минуты прозрѣнія. Противъ этого повѣрья возражать нельзя. Минуты прозрѣнія не только возможны, но составляютъ неизбѣжную страницу въ исторіи каждаго народа. Однако для человѣка, взятаго изолированно, дѣло заключается не въ одной возможности подобныхъ минутъ, но и въ его личномъ отношеніи къ нимъ. Когда наступятъ эти минуты? Для кого разступится мракъ, окутывающій лицо массъ, и дастъ увидѣть это лицо просвѣтленнымъ, носящимъ плоть сознанія и рѣшимости? Слова нѣтъ, что даже отдаленная возможность чего-либо подобнаго можетъ поддержать въ человѣкѣ героизмъ; но вѣдь герои не растутъ на свѣтѣ какъ грибы въ лѣсу, а сколько же есть людей не героевъ, а просто честныхъ, полезныхъ и наклонныхъ къ добру, для которыхъ эти вопросы суть вопросы утѣшенія или отчаянія?

Во всякомъ случаѣ, разрѣшенія этихъ вопросовъ покамѣстъ еще не предвидится. Въ громадѣ убіенныхъ, которую представляетъ собой масса и для которой, повидимому, нѣтъ въ настоящемъ никакого просвѣта, существуетъ какое-то неисповѣдимое тяготѣніе къ обсѣдающему ее со всѣхъ сторонъ злу, какой-то непреодолимый страхъ ко всему, что не разомъ, не по манію волшебства устраняетъ его. Сбитая съ пути разумныхъ отношеній къ окружающей природѣ, загнанная въ міръ чудесъ, эта громада отъ чуда ждетъ избавленія своего изъ земли египетской, и никакіе пророки въ мірѣ не убѣдятъ ее, что это избавленіе зависитъ отъ нея самой. И что-жъ это за пророки! Добро бы это были пророки, являющіеся на вершинѣ горы, среди блеска молніи, а то пророки, ютящіеся въ самой низменности города Ненасытя—пророки, набравшіе въ ротъ воды, озирающіеся по сторонамъ и объясняющіе склады! «Да дайте же пинка этому пророку!» резонно замѣчаетъ капитанъ-исправникъ. «Накаливай его!»—словно эхо перекатывается изъ края въ край, въ массѣ убіенныхъ.

Существуютъ однако-жъ вопросы, къ которымъ масса не можетъ относиться иначе, какъ съ возбужденнымъ интересомъ. Это вопросы ближайшихъ нуждъ, изъ совокупности которыхъ слагается жизнь коренного обывателя и воздѣлывателя земли. На сценѣ—изнуряющая мысль о грошѣ; на сценѣ—вѣчная забота, вѣчная сутолока, имѣющая въ предметѣ завтрашній день. Мы знаемъ, что земля наша изобильна, а между тѣмъ всѣ статистики свидѣтельствуютъ, что въ цивилизованномъ мірѣ нѣтъ страны, которая потребляла бы такъ мало мяса. Мы знаемъ, что земля наша велика, а между тѣмъ нигдѣ коренной житель не живетъ такъ тѣсно, такъ сперто. Это не жилища, а логовища. Ночью въ избѣ русскаго мужика невозможно полчаса выдержать—до того она преисполнена всякаго рода міазмовъ; а онъ настолько обдержался, что вѣкуетъ тутъ цѣлую жизнь. Нигдѣ работа такъ не тяжела, не безотдышна, какъ у насъ. Рабочій человѣкъ каждый шагъ беретъ съ бою, каждую минуту борется съ препятствіями, потому что всѣ стихіи въ заговорѣ противъ него. Въ этомъ странномъ шалашѣ, называемомъ избою, онъ не защищенъ ни отъ чего. Онъ ѣстъ пищу, лишенную питательности, и притомъ ѣстъ безъ соли; онъ спитъ на голыхъ доскахъ, покрываясь собственною одеждою. Ученые свистуны, рыскающіе по Россіи съ цѣлью различныхъ экономическихъ изслѣдованій, увѣряю-

щіе, что русскаго человѣка тошнитъ отъ ѣды, и указывающіе на громадные цифры заграничнаго отпуска, утверждаютъ самую безсовѣстную неправду. Ихъ поражаетъ не изобиліе, а перспектива суточныхъ, подъемныхъ и прогонныхъ денегъ.

Такого рода вопросы были бы, конечно, поняты и въ Патагоніи, но не надо забывать, что покуда они представляются уму обнаженными отъ примѣненій и выводовъ, то самая удобопонимаемость ихъ можетъ принести мало пользы. А въ томъ-то и заключается дѣйствительное несчастіе массъ, что онѣ не имѣютъ досуга для развитія, что онѣ живутъ только настоящею минутой, и что для огражденія настоящей минуты имъ выгоднѣе признать зло застывшимъ или, въ крайнемъ случаѣ, что-нибудь временно выторговать у него, нежели начать его прямое обличеніе.

— Врагъ силенъ, врагъ горами качаетъ!—говоритъ обыватель, изнуренный не борьбою со зломъ, а подчиненіемъ ему:—какъ бы только въ конецъ не убилъ!

И только. Затѣмъ, съ какой стороны ни подойдите къ провинціальному патагонцу, вы встрѣтите его до такой степени вооруженнымъ афоризмами, что во всемъ его организмѣ не найдется ни одной точки, которая была бы чему-нибудь доступна, кромѣ безотчетнаго страха.

Такимъ образомъ исканіе «хорошаго человѣка», переходя отъ сомнѣнія къ сомнѣнію, почти всегда разрѣшается полнѣйшимъ фіаско. Но ежели фіаско вообще нигдѣ не проходитъ даромъ, но тѣмъ менѣе прощаетъ ему провинція.

Для обѣихъ сторонъ наступаетъ минута разочарованія. Акклиматизируемый человѣкъ замѣчаетъ, что каждая новая минута общенія приводитъ за собой только новый поводъ для недоумѣній. Азбука, которую онъ вынужденъ безнадежно повторять, до такой степени раздражаетъ его нервы, что въ глазахъ его даже затемняется смыслъ окружающей дѣйствительности. Рождается вопросъ: къ чему начата вся эта комедія? растетъ жгучее желаніе покончить все разомъ, сію минуту; вырываются движенія, которымъ лучше было бы остаться подъ спудомъ. Хотѣлось бы сдѣлать такъ, чтобы вся эта исторія забылась и порвалась сама собою; хотѣлось бы пріютиться гдѣ-нибудь особнякомъ, запереться, уйти... Но простой разрывъ уже оказывается невозможнымъ, потому что и аборигенъ, въ свою очередь, подмѣтилъ борьбу, овладѣвшую акклиматизируемымъ, и слѣдитъ за нею съ интересомъ тѣмъ живѣйшимъ, чѣмъ слабѣе развита въ немъ

потребность слѣдить за своимъ собственнымъ внутреннимъ міромъ.

Какъ ни непосредственно чувство *жалѣнія*, оно никогда не остается надолго чувствомъ вполнѣ безкорыстнымъ. «Жалѣющій» любитъ, чтобъ «жалѣемый» цѣнилъ это чувство, чтобъ онъ отвѣчалъ ему любезностью и, во всякомъ случаѣ, готовъ былъ разводить съ нимъ тары да бары. Непрошенный глазъ врывается въ жизнь акклиматизируемаго и наполняетъ ее безтолковѣйшею путаницей самородныхъ міросозерцаній. Затѣмъ являются попытки приручить, осѣдлать и оболванить. Образуется убѣжденіе, что «хоть баринъ-то и прытокъ, однако поживетъ съ нами— авось и упрыгается». Самолюбія становятся чуткими до болѣзненности, а мысль о современной неприкрытости акклиматизируемаго не только не укрощаетъ охоты къ нетруднымъ подвигамъ, но разжигаетъ ее больше и больше.

— Вся-то цѣна тебѣ грошъ—плюнуть да растереть!—а ты еще ломаешься!

Я не стану изображать здѣсь ни дальнѣйшаго хода этого страннаго процесса превращенія жалѣнія въ ненависть, ни картины оскорбленій и преслѣдованій, которыя являются неразлучными его спутниками. Трудно винить кого-нибудь въ такомъ фактѣ, который основывается исключительно на недоразумѣніи. Обѣ стороны дѣйствовали добросовѣстно. Благодушно подали другъ другу руки, еще благодушнѣе старались насиловать свои естественныя влеченія и привычки, и только тогда догадались, что имъ вовсе не слѣдовало сходиться, когда уже были перепробованы всѣ мотивы общенія, и ни одинъ не оказался достаточно жизненнымъ, чтобы сдѣлаться дѣйствительно скрѣпляющимъ звеномъ. Понятно, что, чѣмъ больше приносится жертвъ, тѣмъ живѣе чувствуется горечь неудачи; но нельзя не прибавить, что главнѣйшія уязвленія этой горечи все-таки обрушиваются лишь на одну сторону: на акклиматизируемаго.

Такимъ образомъ въ покалываньяхъ и уязвленіяхъ (ихъ можно бы назвать безсовѣстными, если-бъ они не были вполнѣ безсознательны) уходятъ дни за днями, покуда всеисцѣляющее время не умиритъ вражды и не изгладитъ самаго воспоминанія о выѣденномъ яйцѣ, которое послужило ей основаніемъ. Что̀ принесетъ съ собой это умиреніе акклиматизируемому человѣку?

Предположите, съ одной стороны, что человѣкъ настолько покорилъ себя, что сдѣлался тише воды, ниже травы. По-

смотрите, какъ онъ ёжится, какъ онъ каждоминутно то расцвѣтаетъ, то увядаетъ, какъ безпокойно онъ прислушивается и засматриваетъ въ глаза, какъ торопливы и, такъ сказать, укороченны всѣ его движенія! Но когда этотъ человѣкъ остается одинъ-на одинъ съ самимъ собою, когда въ немъ вдругъ пробуждается сознаніе проведеннаго дня, сколько долженъ онъ послать проклятій себѣ и судьбѣ! Какое мучительное чувство тоски, униженія, безвыходности должно овладѣть имъ! Вотъ онъ быстрыми шагами ходитъ по своему тѣсному логовищу; онъ думаетъ, и не знаетъ самъ, о чемъ думаетъ; онъ безпрестанно хватается за голову, какъ бы желая собрать свои мысли воедино. Но одна только мысль держитъ его крѣпко; это мысль: все кончено! Благотворное дѣло! какое возможно благотворное дѣло, когда въ головѣ свила гнѣздо только одна реальная мысль: все кончено! «Возьмите! вырвите! прекратите!» вопіетъ онъ въ тоскѣ, и безслѣдно замираетъ этотъ вопль среди внимающихъ ему четырехъ стѣнъ.

Съ другой стороны, предположите, что человѣкъ, еще не приступая къ процессу общенія, уже рѣшилъ, что одиночество есть единственная форма существованія, возможная въ его положеніи. Онъ правъ: одиночество избавляетъ его отъ назойливости и даетъ возможность сохранить неприкосновеннымъ хотя тотъ запасъ, который пріобрѣтенъ имъ въ прошедшемъ. Тѣмъ не менѣе все это нимало не утоляетъ горечи, которою переполнено его существованіе. Не говоря уже о томъ, что потребность общественности сама по себѣ есть живѣйшая потребность человѣка, не слѣдуетъ забывать, что тотъ умственный запасъ, который заготовленъ въ прошедшемъ, необходимо долженъ глохнуть и засыпать по мѣрѣ того, какъ прекращается процессъ освѣженія и возобновленія его. При отсутствіи живой провѣрки мысли, человѣкъ ставится въ странное положеніе своего собственнаго оппонента и своего собственнаго защитника. Этотъ недостатокъ могъ бы отчасти быть устраненъ, если-бъ была *книга*, но въ нашихъ провинціальныхъ мурьяхъ очень много навозу и всего меньше книгъ. Остается, стало-быть, одинъ выходъ: переваривать и припоминать прошлое.

Но когда прошлое уже повторено и перебрано во всѣхъ подробностяхъ, когда мало-по-малу ослабѣваютъ и стираются даже мотивы, вызывающіе эти воспоминанія, тогда на арену выступаетъ все та же всесильная мысль: все кончено! Все кончено; жизнь прекратилась; будущее исчезло.

Я не говорю: жертвы безполезны; я говорю только, что дозволительно изумленіе. Люди и даже дѣла ихъ исчезаютъ на нашихъ глазахъ поистинѣ безпримѣрно. Точно въ яму, наполненную жидкою грязью, нырнутъ, и сейчасъ же надъ ними все затянетъ и заплыветъ. Вчера еще былъ человѣкъ, а сегодня уже его нѣтъ. Не только изъ жизни, но даже изъ хрестоматій и курсовъ словесности исчезаютъ люди. И за каждымъ исчезновеніемъ — молчокъ. Грады и веси продолжаютъ процвѣтать: нѣкоторые изъ нихъ постепенно познаютъ пользу употребленія картофеля, другіе — постепенно же привыкаютъ къ мысли о необходимости оспопрививанія и проч. Но нигдѣ, навѣрное, не скажется потребность освобожденія мысли, того освобожденія, безъ котораго немыслимо никакое умственное и матеріальное совершенствованіе.

Въ этомъ отношеніи вездѣ, куда ни обратитесь — молчокъ.

1868 г.

ИТОГИ.

(1876 г.).

Глава I.

Въ мундирной практикѣ всѣхъ странъ и народовъ существуетъ очень мудрое правило: когда издается новая форма, то полагается срокъ, въ теченіе котораго всякому вольно донашивать старый мундиръ. Дѣлается это, очевидно, въ томъ соображеніи, что новая форма почти всегда застаетъ человѣчество врасплохъ. Что такое мундиръ? имѣетъ ли онъ корни въ прошедшемъ? есть ли у него задатки, по которымъ можно было бы сдѣлать предположенія насчетъ его будущаго? — Ясно, что отвѣтъ на эти вопросы можетъ быть только отрицательный, а изъ этого уже само собой слѣдуетъ, что новаго мундира, хотя бы онъ былъ весь шитый, ни предвидѣть, ни приготовиться къ воспринятію его въ будущемъ невозможно. А потому попечительные начальники и разсуждаютъ: пускай, молъ, добрые люди донашиваютъ старые мундиры, покуда мы еще недостаточно окрѣпли для воспринятія новыхъ. А для того, чтобы возмужаніе умовъ совершалось неукоснительно, назначаютъ, по усмотрѣнію своему, неотяготительные сроки, по истеченіи которыхъ новая форма уже окончательно дѣлается обязательною.

Такова цѣль упомянутаго выше правила, но не таково, къ сожалѣнію, примѣненіе его на практикѣ. Тутъ оно встрѣчается съ такими затрудненіями, которыя совершенно извращаютъ его смыслъ и даже оттѣсняютъ на задній планъ самый вопросъ о мундирахъ.

Покуда длится процессъ водворенія новыхъ мундировъ, въ обществѣ происходитъ временное замѣшательство, вообще свойственное эпохамъ мундирнаго возрожденія. Солидные люди (консерваторы) жадно хватаются за опубликованные сроки и отстаиваютъ свои права; люди легкомысленные (прогрессисты), напротивъ того, спѣшатъ какъ можно ско-

рѣе щегольнуть новыми погонами. Прогрессисты уже рѣютъ по улицамъ, облитые лучами вновь вышитыхъ воротниковъ, тогда какъ консерваторы уныло, но упорно влачатъ свое существованіе, устремляя всѣ помыслы къ сокращеннымъ или удлиненнымъ фалдамъ, съ которыми росло, воспитывалось и укрѣплялось ихъ внутреннее мундирное чувство. Прогрессисты, «въ надеждѣ славы и добра», бѣгутъ впередъ, убѣжденные, что новымъ мундирамъ конца не будетъ, а консерваторы (они же и ретрограды) покачиваютъ головами, иронизируютъ и по временамъ даже почтительно огрызаются. «Укоротимъ фалды! упростимъ лацкана!—и впереди насъ ждетъ блаженство!» — восклицаютъ прогрессисты. «Тише! не вдругъ укорачивайте! помните, что еще можетъ наступить часъ удлиненія — и благо будетъ тому, кто не до конца себя окургузитъ!»—предостерегаютъ консерваторы.

Завязывается обмѣнъ мыслей, въ которомъ главную роль играетъ вопросъ: дозрѣли мы или не дозрѣли? Прогрессистамъ вопросъ этотъ, конечно, кажется не серьезнымъ, но по той настойчивости, съ которою онъ поддерживается консерваторами, опытный наблюдатель уже угадываетъ, что онъ поставленъ недаромъ. Мало того: знатоку человѣческаго сердца можетъ показаться, что даже въ самую минуту постановки вопроса можно уже провидѣть и формулировать предстоящее его разрѣшеніе.

Такіе знатоки человѣческаго сердца составляютъ явленіе очень прискорбное. Когда окрестъ царствуетъ или безграничный энтузіазмъ, или худо скрываемое озлобленіе, какъ-то странно встрѣтиться съ человѣкомъ, который на вопросъ: «какой изъ двухъ мундировъ лучше?» — отвѣчаетъ: «оба лучше», и на этомъ прекращаетъ разговоръ. Во-первыхъ, отвѣтъ ни съ чѣмъ несообразенъ; во-вторыхъ, онъ заключаетъ въ себѣ косвенное отрицаніе мундирнаго принципа вообще. Можно порицать, но не отрицать. Изложите свои соображенія, подвергните критикѣ кантикъ за кантикомъ, пуговицу за пуговицей, и, ежели хотите, не оставьте даже канта на кантѣ, пуговицы на пуговицѣ—все это выслушается со вниманіемъ, даже съ трепетомъ. Но отвѣчать: «оба лучше»— это значитъ смѣяться надъ тѣмъ, что̀ наиболѣе дорого и священно; это значитъ ни во что считать самый фактъ возрожденія.

Нѣтъ ничего обиднѣе для человѣка, какъ внезапныя откровенія, съ помощью которыхъ онъ приходитъ къ ураз-

умѣнію ничтожества интересовъ, дотолѣ занимавшихъ въ его жизни громадную роль. Онъ суетится, выходитъ изъ себя, проситъ разрѣшить дѣло по существу- и вдругъ ему навстрѣчу отвѣтъ: нѣтъ тутъ никакого дѣла, а слѣдовательно нѣтъ и существа его. Иногда онъ самъ собой доходитъ до подобныхъ откровеній; иногда они приходятъ къ нему извнѣ. Въ первомъ случаѣ онъ ожесточается противъ самого себя (шутка сказать! цѣлую жизнь носилъ мундиръ въ своемъ сердцѣ и вдругъ узналъ, что это только мундиръ—и ничего больше); во второмъ — еще болѣе ожесточается противъ внѣшней причины своего невольнаго отрезвленія. Онъ чувствуетъ себя уязвленнымъ и поруганнымъ; онъ не можетъ опомниться отъ негодованія; онъ усматриваетъ злостность и преднамѣренность; онъ считаетъ наконецъ себя въ правѣ потребовать отчета...

— Какая же ваша доктрина? не увертывайтесь! говорите! мы взвѣсимъ, обсудимъ, и ежели найдемъ въ ней полезныя стороны, то примемъ ихъ во вниманіе!—вопіетъ онъ, постепенно переходя отъ изумленія къ угрозѣ.

И ежели содержаніе отвѣта все-таки останется то же, т. е. что насчетъ мундировъ всякія доктрины представляются излишними, то этого достаточно, чтобъ вырвать вопль негодованія изъ всѣхъ сердецъ.

— —

И вотъ вопросъ о мундирахъ вступаетъ въ новую фазу, или, лучше сказать, онъ даже какъ бы отстраняется, чтобы дать мѣсто вопросу болѣе существенному — вопросу объ отрицаніи и отрицателяхъ.

Этотъ послѣдній, по утвердившемуся въ обществѣ мнѣнію, служитъ единственнымъ препятствіемъ, вслѣдствіе котораго всѣ прочіе вопросы медленно подвигаются впередъ, а нѣкоторые даже чахнутъ въ самую минуту своего возникновенія. Въ самомъ дѣлѣ, что̀ такое отрицаніе? — Это непризнаніе самаго существа тѣхъ вопросовъ, которые занимаютъ того или другого индивидуума. Но этого мало: отрицаніе есть въ то же время и непризнаніе полезныхъ свойствъ, предполагаемыхъ въ дѣятельности тружениковъ, которые корпѣли надъ разрѣшеніемъ упомянутыхъ вопросовъ и лелѣяли ихъ.

Все въ мірѣ создается потихоньку и помаленьку — на этомъ сходятся и прогрессисты и ретрограды, съ тою только разницей, что одни, въ сферѣ предпріимчивости, идутъ на вершокъ дальше, другіе—на вершокъ короче. Въ обоихъ

случаяхъ область человѣческой дѣятельности встрѣчается съ безчисленнымъ множествомъ перегородокъ, и чѣмъ меньше захватываетъ въ ширь, тѣмъ прочнѣе и надежнѣе кажутся тѣ закладки, которыя полагаются въ основаніе самому дѣлу. Одинъ выдумываетъ пуговицу, другой — кантикъ, третій — воротникъ: смотришь—анъ когда-нибудь и цѣлый мундиръ выйдетъ. Поступать такимъ образомъ повелѣваетъ благоразуміе, совѣтуетъ самый законъ преуспѣянія. И всѣ дѣйствующіе на поприщѣ преуспѣянія такъ именно и поступаютъ, то-есть: спорятъ, обмѣниваются мыслями, подвергаютъ критикѣ ту или другую подробность, а въ случаѣ крайности даже озлобляются и предаютъ другъ друга осмѣянію. Въ результатѣ оказывается прогрессъ, т. е. пуговица, погонъ.

Отрицатели относятся къ подобному образу дѣйствій сомнительно, то-есть не отвергаютъ его прямо, а проходятъ молчаніемъ. Вотъ это-то молчаніе и оскорбляетъ, ибо оно затрогиваетъ не столько самое изобрѣтеніе, сколько изобрѣтателя. Самое рѣзкое противорѣчіе прощается охотнѣе, нежели молчаніе, потому что противорѣчіе все-таки ставитъ оппонента на одну доску съ вопрошателемъ. Напротивъ того, молчаніе устраняетъ самый предметъ спора, ставитъ возбуждающаго вопросъ въ положеніе человѣка, который сгоряча подаетъ руку и вмѣсто пожатія встрѣчаетъ пустое мѣсто. Inde ira. «Какія же ваши доктрины по сему предмету?»—будетъ настаивать разогорченный возбудитель вопросовъ, и ежели отвѣтъ послѣдуетъ уклончивый, то не ограничится простымъ приставаніемъ, а сочтетъ себя въ правѣ подвергнуть отрицателя тщательнѣйшему изслѣдованію.

Тѣмъ не менѣе къ изслѣдованію приступается не безъ оговорокъ, въ числѣ которыхъ первое мѣсто, разумѣется, отводится общему благу. Прежде всего выступаютъ впередъ затрудненія, встрѣчаемыя при разрѣшеніи вопросовъ жизни, вслѣдствіе досады, негодованія и другихъ преградъ, возбуждаемыхъ отрицательнымъ отношеніемъ къ этимъ вопросамъ. «Опомнитесь! что̀ вы дѣлаете! Вѣдь вы, сами того не понимая, поддерживаете распространителей обскурантизма, враговъ прогресса!»—взываютъ прогрессисты. «Вотъ онъ, настоящій-то прогрессъ! вотъ онъ къ чему приводитъ—къ равнодушію!»—хохочутъ въ свою очередь консерваторы и ретрограды, умышленно смѣшивая заблудшихъ овецъ, случайно отторгнувшихся отъ ихъ стада, съ людьми, скромно идущими въ сторонѣ и скромно дѣлающими свое скромное

дѣло. Затѣмъ очень видную роль играетъ и то соображеніе, что вся эта масса отрицателей, которая держитъ себя безучастною свидѣтельницей мундирнаго возрожденія, есть масса совершенно потерянная для дѣла, ибо въ то время, какъ сѣятели и дѣятели хлопочутъ и выбиваются изъ силъ, одни «отрицатели» безмолвно проходятъ мимо и не хотятъ ударить пальцемъ о палецъ. «Что̀ было бы, если-бъ каждый изъ этихъ людей выдумалъ по пуговицѣ, хотя по одной пуговицѣ! какая масса добра! какой свѣтъ! какое довольство!»—вопіютъ прогрессисты. «Что̀ было бы, если-бъ каждый изъ этихъ людей употребилъ свои способности на защиту хотя одной старой пуговицы,—только одной!»—въ свою очередь взываютъ ретрограды. И въ результатѣ этихъ обоюдныхъ воплей — вопросъ: «какая же ваша доктрина?»

Этотъ мучительный вопросъ повторяется постоянно и постоянно же остается безъ отвѣта. Безотвѣтность, въ свою очередь, заставляетъ предполагать одно изъ двухъ: или что у отрицателей совсѣмъ нѣтъ никакихъ доктринъ, или что они имѣютъ какія-то доктрины, но не хотятъ о нихъ повѣствовать.

Первое предположеніе, повидимому, самое выгодное для обѣихъ сторонъ. Для допрашивающей стороны оно выгодно потому, что ежели «отрицатель» не имѣетъ своихъ собственныхъ выдумокъ, то, стало-быть, и опасаться его нѣтъ надобности. Это не отрицатель, а, напротивъ того, оплотъ. Для допрашиваемой стороны оно выгодно потому, что ежели предположеніе о неимѣніи ею доктринъ утвердится на прочномъ основаніи, то, стало-быть, упразднится поводъ для придирокъ, подозрѣній и приставаній. Человѣкъ, который свободенъ отъ всякихъ притязаній къ жизни, есть человѣкъ самый доброкачественный. Такими людьми полны улицы, и къ нимъ никто не пристаетъ, никто ихъ ни въ чемъ не подозрѣваетъ, ибо всякій знаетъ, что ежели появятся новые погоны, то они первые усвоятъ ихъ со всею тщательностью. Если сердца ихъ не будутъ при этомъ играть, если они недостаточно войдутъ во вкусъ, то это будетъ лишь признакъ ихъ неразвитости, а кто же когда-нибудь претендовалъ и сердился на неразвитость? Стало-быть, выгода обоюдная: допрашивающіе освобождены отъ обязанности метать стрѣлы; допрашиваемые—отъ обязанности испытывать дѣйствіе этихъ стрѣлъ на своихъ организмахъ...

Но, къ сожалѣнію, люди, принимающіе живое участіе въ мундирныхъ возрожденіяхъ, слишкомъ рѣдко становятся на

эту здоровую и спокойную точку зрѣнія. Въ большей части случаевъ они ощущаютъ какую-то необъяснимую потребность истязать и мучить себя, и, руководствуясь этою потребностью, даютъ обширный просторъ подозрѣніямъ, хотя бы основательность послѣднихъ ничѣмъ не оправдывалась. И вотъ, не-вѣсть откуда, является предположеніе, что отрицатели доподлинно обладаютъ нѣкоторою доктриною, но только, должно-быть, доктрина эта очень опасная, и потому они тщательно скрываютъ ее. Предположеніе это ведетъ за собою обязанность раскрыть и объяснить сущность скрываемой доктрины.

Но здѣсь сила желанія находится совершенно въ обратной пропорціи съ силою и твердостью отправного пункта.

Съ одной стороны, мотивы, опредѣляющіе желаніе, представляютъ общее мѣсто, которое трудно формулировать, съ другой—не болѣе ясности представляетъ и самый объектъ желанія. Вещественныхъ признаковъ, съ помощью которыхъ должно было бы опредѣлить искомую доктрину,—нѣтъ; руководящей нити, которая дала бы возможность отыскать эти признаки,- тоже нѣтъ. Принципы нравственности, общественной безопасности, политической необходимости—все это даетъ поводъ для безчисленнѣйшихъ толкованій, изъ которыхъ ни одно не согласуется съ другимъ, а слѣдовательно и не даетъ никакого дѣйствительнаго основанія для предпринятія наступательныхъ дѣйствій. Остается, стало-быть, наудачу произвести выемку души—авось-либо что-нибудь тамъ и найдется.

Однако-жъ для того, чтобъ произвести съ успѣхомъ подобную выемку, надобно все-таки знать, во-первыхъ, что̀ такое душа, а во-вторыхъ, что̀ въ ней искать надлежитъ. Но и тутъ все мракъ и полное отсутствіе регламентовъ. Гдѣ мѣстопребываніе души?—ни прогрессисты, не консерваторы указать не могутъ, хотя знаютъ, что это мѣстопребываніе гдѣ-то есть. А потому единственнымъ средствомъ, чтобъ отдѣлаться отъ этого вопроса, представляется произвольное оставленіе его безъ разсмотрѣнія. Вмѣсто того, чтобъ обыскивать душу, схватываютъ слова, сказанныя налету, подмѣчаютъ позы, тѣлодвиженія, выслѣживаютъ образъ занятій и изъ этихъ обрывковъ созидаютъ нѣчто цѣлое, долженствующее изображать собою искомую доктрину. Но такъ какъ уразумѣніе какой бы то ни было доктрины дается только тому, кто хоть съ какой-нибудь стороны прикосновененъ къ ней, то, несмотря на всевозможныя сгла-

живанія и сшивки, выводы, получаемые путемъ собиранія обрывковъ, принимаютъ характеръ фантастичности, противорѣчивости и даже неожиданности. Всякому, выслушивающему это спутанное изложеніе, дѣлается сразу понятнымъ, что ежели бы собиратель обрывковъ понималъ то, о чемъ онъ повѣствуетъ, то онъ о многомъ умолчалъ бы въ виду своихъ собственныхъ интересовъ, а о многомъ сказалъ бы совсѣмъ инымъ образомъ. И такимъ образомъ съ полною ясностью выступаетъ только одно—это чувство ненависти, которое всецѣло охватываетъ помыслы собирателя и которое заявляетъ о себѣ преувеличенными и совершенно произвольными заключеніями.

Ахъ! это чувство очень мучительное, ибо въ основаніи его лежитъ страхъ, и—что̀ всего ужаснѣе—страхъ, имѣющій въ предметѣ опасность, которой величина и характеръ опредѣляются только величиною и характеромъ индивидуальныхъ, смутно сознаваемыхъ подозрѣній. Ежели когда-нибудь человѣкъ является способнымъ быть творцомъ собственнаго индивидуальнаго внутренняго міра, не имѣвшаго ничего общаго съ міромъ дѣйствительнымъ, то это именно въ минуту ненависти, порождаемой ожиданіемъ несознанныхъ опасностей. Все, до чего не дозрѣлъ и не додумался умъ, представляется исполненнымъ угрозы; а такъ какъ область этого недодуманнаго почти безгранична, и нѣтъ въ виду даже эмпирическихъ указаній, которыя помогли бы отыскать какія-нибудь свѣтящіяся точки въ этомъ темномъ пространствѣ, то всякій новый шагъ приводитъ за собой только новое безпокойство, безъ надежды на умиротвореніе вскую мятущагося духа. Метать громы нужно, а въ кого и во имя чего слѣдуетъ ихъ метать — неизвѣстно. Что̀ же остается? — остается метать ихъ, во-первыхъ, во имя темныхъ предчувствій, о чемъ-то подсказывающихъ, но ничего ясно не говорящихъ, и, во-вторыхъ, метать ихъ наугадъ въ разстилающееся впереди пространство, не зная, правые или виноватые сдѣлаются ихъ жертвою...

Предположите, напримѣръ, что корень доктрины, навлекшей на себя подозрѣніе, кроется въ естествознаніи. Покуда эта отрасль человѣческихъ знаній стояла особнякомъ, покуда вліяніе ея на общій строй жизни не выражалось фактически, это была какая-то заповѣдная область волшебствъ и секретовъ, въ которую никто близко не всматривался, полагая, что дѣйствительный міръ съ его горестями, превратностями и нуждами—самъ по себѣ, а міръ чудесъ, со-

ставляющій предметъ естественныхъ наукъ,—самъ по себѣ. И вдругъ завѣса, раздѣлявшая оба эти міра, падаетъ, и—что всего неожиданнѣе—одновременно съ этимъ паденіемъ происходитъ и перетасовка названій, которыя дотолѣ присваивала мірамъ рутина. Дѣйствительный міръ оказывается міромъ чудесъ, міръ чудесъ — дѣйствительнымъ, существующимъ и обращающимся въ силу естественныхъ и совершенно вразумительныхъ законовъ. Такое открытіе (особливо если оно сопряжено съ обобщеніями и критикою воззрѣній, служившихъ дотолѣ отправными пунктами для человѣческой дѣятельности) можетъ для многихъ показаться черезчуръ смѣлымъ и даже экстравагантнымъ. Оно противорѣчитъ всѣмъ историческимъ наслоеніямъ; оно указываетъ для умственной дѣятельности человѣка совсѣмъ другіе центры; оно предлагаетъ жизнь сначала. Со всѣмъ этимъ примириться не легко, но какъ же убѣдить людей, что два міра, стоявшіе доселѣ другъ отъ друга отдѣльно, такъ и должны оставаться до конца вѣковъ особнякомъ? Гдѣ взять доказательствъ для поддержанія этой темы? — Увы! мы всѣ, прогрессисты, консерваторы и ретрограды,— всѣ мы съ головы до ногъ эмпирики, знающіе только преданіе, а никакъ не доказательства! Мы умѣемъ только ненавидѣть, а во имя чего ненавидимъ — даже самимъ себѣ отчета въ томъ отдать не можемъ!

Правильно или неправильно подвергаются нападкамъ такъ-называемые «отрицатели»—здѣсь разрѣшать не мѣсто. Но во всякомъ случаѣ въ этой странной борьбѣ замѣчателенъ тотъ фактъ, что одни борются, не зная, во имя чего, другіе — терпятъ борьбу, не зная, за что. Въ результатѣ: пріостановка жизненнаго движенія, смѣшеніе формы съ дѣломъ и полное господство процесса устраненія надъ процессомъ творчества.

Какъ ни мало существенно само по себѣ мундирное творчество, но и оно можетъ принести пользу. Если-бъ люди были искренно ему преданы, то они, по крайней мѣрѣ, проникались бы благоволеніемъ и къ другимъ ремесламъ и занятіямъ, признавали бы болѣе или менѣе близкую солидарность ихъ и, исходя изъ этого убѣжденія, изгнали бы изъ сердецъ своихъ сѣмена вражды и ненависти. Изобрѣтатель новыхъ воротниковъ подалъ бы руку химику, потому что послѣдній можетъ объяснить наилучшій способъ золоченія; изобрѣтатель новыхъ ботфортовъ простеръ бы братскія объятія мозольному оператору, потому что послѣд-

ній можетъ дать благой совѣтъ, какая форма сапога можетъ предохранить отъ мозолей. И вотъ на землѣ осуществился бы рай, въ которомъ никто никому не мѣшалъ бы дѣлать дѣло, а каждый каждому оказывалъ бы помощь и содѣйствіе.

Распря невѣдомо за что затемняетъ смыслъ первоначальныхъ задачъ и даже устраняетъ ихъ изъ арены жизни. Сверхъ того она истощаетъ силы общества въ занятіи въ высшей степени непроизводительномъ. Предположите въ этомъ обществѣ, столь охотно предающемся безумной отвагѣ, минуту отрезвленія и спросите его: что̀ ты сдѣлало? чѣмъ ты ознаменовало свое вступленіе на новый путь? «Я дралось!» отвѣтитъ оно, и Богъ знаетъ, сколько горечи прозвучитъ для него въ этомъ правдивомъ и имъ самимъ данномъ отвѣтѣ.

Но горечь была бы еще спасительною, ибо въ ней есть признакъ возврата, а въ возвратѣ всегда заключается возможность выхода болѣе или менѣе благопріятнаго. Въ большей части случаевъ безсознательно дерущееся общество и затѣмъ продолжаетъ драться съ тою же безсознательностью, какъ и прежде, не отрезвляясь и не отвѣчая ни на какіе вопросы до тѣхъ поръ, пока весь воздухъ не преисполнится пылью и прахомъ.

— —

Здѣсь да позволено мнѣ будетъ небольшое отступленіе по поводу такъ-называемыхъ прогрессистовъ.

Это народъ очень загадочный, совмѣщающій съ чувствительностью души и слезливостью въ голосѣ непреодолимую страсть къ «куску».

Они постоянно скорбятъ и постоянно выставляютъ себя послѣднимъ убѣжищемъ, не выражая ясно, чего именно, но давая почувствовать, что чего-то очень хорошаго.

Обыкновенно они рекомендуютъ себя слѣдующимъ образомъ:

— Не обвиняйте насъ! Мы не все можемъ, что̀ желаемъ! если бы вы знали, что̀ намъ сто̀итъ отстоять самую малую часть добра, къ которому мы стремимся, вы оцѣнили бы наши усилія, вы отдали бы полную справедливость нашему самоотверженію!

Или:—Поберегите насъ! Мы—послѣднее ваше убѣжище! Не будь насъ — и то малое, что̀ вы видите еще уцѣлѣвшимъ, погибло бы безъ возврата! Мы не можемъ дѣйствовать опредѣленнѣе, потому что въ такомъ случаѣ должны

были бы совсѣмъ отказаться отъ дѣятельной роли! Посудите сами, полезно ли это будетъ даже въ вашихъ интересахъ!

Голосъ взволнованъ, жестъ простъ и задушевенъ, вся глубина чувствъ такъ и просится наружу, а если къ этому присовокупить бѣлѣйшее и тончайшее бѣлье, безукоризненно-сшитую одежду, прекрасныя руки и проч., то дѣйствіе получится поистинѣ неотразимое.

Странники моря житейскаго такъ и льнутъ къ прогрессистамъ, особливо въ минуты постигающихъ ихъ несчастій. И дѣйствительно, никто не сумѣетъ такъ утѣшить, сказать сочувственное слово, показать вдали перспективы.

— Когда наступитъ удобный моментъ... будьте увѣрены... а между тѣмъ призовите на помощь ваше мужество... все къ лучшему... несчастіе отрезвляетъ... сознайтесь, что и отрезвленія не всегда лишни... за всѣмъ тѣмъ, когда моментъ настанетъ, и т. д.

Странникъ моря житейскаго возвращается домой утѣшенный, окрыленный. Онъ даже и разсуждать начинаетъ какъ-то дерзко. Что̀ такое это «несчастіе», которое за минуту передъ тѣмъ приводило его въ смущеніе? Это миѳъ, это сонъ, это прахъ, для исчезновенія котораго достаточно было одного дуновенія прекраснаго прогрессиста! Это греза давно минувшихъ временъ, которая едва-едва брезжится вдалекѣ! Духъ его не только не упалъ, но окрѣпъ еще больше, нежели до «несчастія»! Онъ начинаетъ строить планы; онъ вѣритъ въ будущее, надѣется выиграть двѣсти тысячъ, даже не обладая ни однимъ билетомъ выигрышнаго займа...

Но проходитъ моментъ за моментомъ, а будущее все ускользаетъ да ускользаетъ изъ рукъ. «Несчастіе» не брезжится гдѣ-то вдалекѣ, а глядитъ прямо въ глаза и съ каждой минутой все суровѣе и суровѣе. Чѣмъ легче окрылялись надежды, тѣмъ легче онѣ гаснутъ. Скверное сочетаніе легковѣрія и безпомощности представляется во всей наготѣ.

— О, прогрессисты!—восклицаетъ въ отчаяніи бѣдный странникъ моря житейскаго.

Увы! онъ неправъ только тѣмъ, что съ этого восклицанія ему слѣдовало бы начать, а не кончать имъ.

Прогрессистъ—такой же идеологъ, какъ и консерваторъ или ретроградъ, и душа его такъ же мало откликается на дѣло, какъ и душа самаго заскорузлаго ханжи-обскуранта. Какой же резонъ для него идти какимъ-то другимъ путемъ?

Никто не видалъ, чтобы прогрессистъ когда-нибудь чѣмъ-

нибудь поступился, чтобы онъ усовершенствовалъ свою чувствительность до того, чтобы выпустить «кусокъ», который онъ разъ защемилъ зубами. Будучи отъ природы покрытъ скользкимъ веществомъ, онъ пользуется этимъ преимуществомъ, чтобы увертываться и скользить, но пользуется лишь до тѣхъ поръ, пока не зайдетъ рѣчь о «кускѣ». Напоминаніе о «кускѣ» производитъ въ немъ панику, а паника—цѣлый рядъ рѣшеній и дѣйствій, которымъ позавидовалъ бы наипостояннѣйшій изъ ретроградовъ.

Вся жизнь прогрессиста есть непрерывное и опасное сидѣніе между двумя стульями, и если онъ не испытываетъ невыгодныхъ послѣдствій этой опасности, то потому только, что, въ случаѣ надобности, онъ посидитъ какъ-нибудь и на-вѣсу. И должно отдать ему справедливость,—онъ такъ искусно сидитъ на-вѣсу, что многимъ кажется, что такъ именно и слѣдуетъ всегда сидѣть. И вотъ во всѣхъ сердцахъ зажигается удивленіе и созидаются алтари; изъ всѣхъ устъ несутся гимны и пѣснопѣнія. А онъ между тѣмъ жуетъ да жуетъ свой «кусокъ» и даже не давится имъ...

Памятуя стихъ Пушкина:

Тьмы низкихъ истинъ мнѣ дороже
Насъ возвышающій обманъ,

—онъ окрыляетъ однихъ и кувыркается передъ другими. То-есть: съ одной стороны, пріобрѣтаетъ пламень благородныхъ сердецъ, съ другой—ласку и куски. Ласку онъ цѣнитъ плохо, «но кусокъ»... о! «куска» онъ не выпуститъ ни подъ какимъ видомъ!

Кто захочетъ сдѣлать буквальное примѣненіе написанной выше картины мундирнаго возрожденія къ современному положенію нашего общества, тотъ, конечно, впадетъ въ немалое заблужденіе. Содержаніе нашего общественнаго возрожденія слишкомъ грубо по своимъ намѣреніямъ, чтобъ сравненія въ этомъ родѣ могли быть допущены безъ явной несправедливости. Но дѣло не въ самой картинѣ, а въ томъ пути, которому послѣдовала жизнь въ процессѣ своего обновленія, и въ тѣхъ отрицательныхъ результатахъ, къ которымъ она привела благодаря избранному пути. Здѣсь встрѣчается уже многое, что̀ прямо напоминаетъ пути и результаты, изображенные выше.

Источники замутились, задачи утратили первоначальный смыслъ; въ результатѣ — пріостановка жизни, равнодушіе,

почти оцѣпенѣніе. Всякій, кто отдастъ себѣ серьезный отчетъ въ томъ, что̀ происходитъ кругомъ него, долженъ будетъ сознаться, что трудно представить жизнь, болѣе сдавленную гнетомъ собственной вялости и бѣдности стремленій и идеаловъ.

Недавно мы были свидѣтелями періода довольно оживленнаго, который многими назывался періодомъ броженія. Были у насъ и прогрессисты, и консерваторы, и ретрограды. Первые пламенѣли, вторые балансировали, третьи огрызались. Производился обмѣнъ мыслей, ставился вопросъ, дозрѣли мы или не дозрѣли,—и мгновенія незамѣтно летѣли за мгновеніями. Очень возможно, что весь этотъ переполохъ не заключалъ въ себѣ существеннаго содержанія, что онъ представлялъ собой легкомысленное щебетанье снѣгирей, насвистанныхъ съ чужого голоса, но во всякомъ случаѣ лица не поражали сонливостью, не видно было той подавляющей скуки, которая такъ, кажется, и гласитъ: сіи люди погибли для радостей. Теперь даже этого внѣшняго оживленія незамѣтно. Нѣтъ ни прогрессистовъ, ни консерваторовъ, ни ретроградовъ, потому что россіяне утратили самый вкусъ къ мундирамъ, и никто не можетъ сказать ничего положительнаго насчетъ того, какого ему шитья хочется.

А между тѣмъ наступило время сѣянія; зерна по землѣ разсыпано множество, а индѣ даже молодые всходы пробиваются. Современный человѣкъ видитъ и это сѣянье и эти всходы, по временамъ останавливается передъ ними и даже произноситъ сочувственное или неодобрительное слово. Но стòитъ прислушаться къ этому слову, чтобы убѣдиться, что въ немъ нѣтъ ни одной живой и ясной ноты. Тутъ звучитъ и неумѣлость, и легкомысленная голословность, и завѣщанная преданіемъ заученность — все, кромѣ страстности и сознанія личной прикосновенности къ дѣлу сѣянія. «Не мое дѣло, мнѣ какъ бы вотъ день прожить», говоритъ всякъ и каждый. Одно за другимъ проходятъ явленія, которымъ, по всѣмъ видимостямъ, слѣдовало бы захватить самыя жизненныя основы общества... ничуть не бывало! никто ничего не захватываетъ, ничто ничего не вызываетъ наружу. По поводу явленія самаго рѣшительнаго, литература испуститъ обычное формально-лирическое бормотаніе, уличная же публика вяло перекинется двумя-тремя безсодержательными вопросами и вяло же разбредется по домамъ, чтобы тамъ предаться вялымъ размышленіямъ...

Какъ скоро все это стихло, потухло, стушевалось! Что̀ ни говорите, а эта быстрота утомленія — признакъ очень сомнительный. Не въ томъ опасность, что скоро потухло и стихло броженіе, которому мы были свидѣтелями, Богъ съ нимъ, съ этимъ броженіемъ!—а въ томъ, что быстрота утомленія дѣлается какъ бы регуляторомъ жизни. Стало-быть, впереди видится нѣчто очень малое, ежели общество не трепещетъ, не напрягаетъ силъ, не самоотвергается, не впадаетъ въ ошибки, а только глядитъ въ одну случайно попавшуюся на глаза точку и думаетъ: «ахъ, кабы совсѣмъ этихъ сѣяній не было!»

Говорятъ, что все это признаки очень здоровые; что страсти умиротворились, броженіе улеглось, колебанія выяснились. Солидные люди усматриваютъ задатки такъ-называемаго трезваго отношенія къ жизни и пророчатъ нѣчто прочное, осмотрительное, неторопливое. Но качества этой трезвости болѣе чѣмъ сомнительны. Это безвкусная, безсодержательная трезвость, которая граничитъ съ полнымъ упадкомъ силъ. Какъ ни наянливо было наше недавнее озлобленіе противъ запросовъ жизни, какъ ни мелочны были формы, въ которыхъ оно выражалось,—приходится пожалѣть и объ немъ. И тамъ было нѣчто, свидѣтельствовавшее, что пульсъ не пересталъ еще биться, и тамъ была возможность поступковъ, а слѣдовательно и возможность поправокъ, возвратовъ, раскаяній. И вдругъ—пустое мѣсто. Одно чувство господствуетъ и одолѣваетъ: чувство пустоты, чувство ненужности. У всѣхъ на языкѣ одна фраза: надо дѣло дѣлать, и у всѣхъ же въ головѣ одна мысль: «ахъ, кабы меня Богъ помиловалъ!» Все окоченѣло и сосредоточилось на одной мысли: какъ бы подцѣпить грошъ и прожить насущный день. Не чувство жизни горитъ въ человѣкѣ, а коптитъ и чадитъ въ немъ чувство самаго грошоваго самосохраненія. И жить не зачѣмъ, и умереть страшно. Не потому страшно, чтобъ пугали сновидѣнія:

Умереть—уснуть...

—а потому, что умы до того сдавлены робостью, что никакое прямое рѣшеніе для нихъ недоступно. Человѣкъ не живетъ и не умираетъ, а перебрасываетъ самого себя изо дня въ день, безъ всякаго участія личнаго творчества.

Горечь отдѣльныхъ фактовъ не возбуждаетъ въ насъ ни симпатіи, ни отголоска; наплывъ случайности не вызываетъ нашего гнѣва; разрозненность явленій, отсутствіе связнаго

представленія объ общемъ строѣ жизни, перерывы, провалы, колебанія — ничто не можетъ пробить броню равнодушія, въ которую мы облеклись. «Не наше дѣло!—слышится со всѣхъ сторонъ:—довольно волненій, пусть страсти улягутся! пусть жизнь сама отвѣтитъ на собственные запросы свои!»

Глядя со стороны, можно подумать, что мы только-что вытерпѣли жестокую битву и теперь зализываемъ свои раны.

И дѣйствительно, битва, которую мы вытерпѣли, была очень жестокая. Это была знаменитая въ лѣтописяхъ битва противъ нигилистовъ, свистуновъ, космополитовъ и проч. Мы увлеклись ею до того, что забыли даже о задачахъ, которыя насъ занимали, и изъ безсодержательнаго эпизода сдѣлали главную тему всей нашей жизни. И что̀ же вышло? устранили ли мы что-нибудь? — нѣтъ, не устранили, потому что и устранять, въ сущности, было нечего. Пріобрѣли ли? — нѣтъ, и не пріобрѣли ничего, а напротивъ того, все утратили. Утратили вкусъ къ жизни, къ ея интересамъ... и даже къ ея разнообразнымъ мундирамъ.

И теперь, когда поле сраженія чисто, когда нигилисты и свистуны поражены, посрамлены и разсѣяны, мы тщетно стараемся припомнить тѣ задачи, которыя занимали и волновали насъ въ оное время.

— О чемъ, бишь, мы производили обмѣнъ мыслей до этой баталіи?—можетъ спросить любой изъ насъ и, навѣрное, не получитъ никакого другого отвѣта, кромѣ:

— Убей Богъ! — ничего не помню!

Глава II.

Представьте себѣ, что въ самомъ разгарѣ сѣяній, которыми такъ обильна современная жизнь, въ ту минуту, когда вы, въ чаду прогресса, всего меньше разсчитываете на возможность возврата тѣхъ порядковъ, которые, по всѣмъ соображеніямъ, должны окончательно кануть въ вѣчность, вдругъ откуда-то повѣетъ чѣмъ-то старымъ, знакомымъ, отчасти даже любезнымъ... Не безъ любознательности вглядываетесь вы впередъ, стараясь угадать, откуда потянуло знакомыми запахами, и, къ удивленію вашему, убѣждаетесь, что «старое» совсѣмъ не упразднилось, но стоитъ совершенно бодро, что оно смотритъ прямо въ глаза и даже какъ будто̀ иронизируетъ. «Старайтесь, милые, сѣйте!—говоритъ оно: — а я тѣмъ временемъ поревную особо». Что̀ можетъ означать подобный фактъ?

Нѣтъ сомнѣнія, что описанное выше чувство недоумѣнія испыталъ всякій, кто прочелъ обнародованные на-дняхъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» результаты недавней ревизіи Пермской губерніи. Но въ то же время не можетъ быть сомнѣнія и въ томъ, что результаты эти многимъ уяснили многое, что̀ дотолѣ проходило совершенно для нихъ незамѣченнымъ.

Чтобъ это послѣднее уясненіе было достигнуто, сто̀итъ лишь обратиться къ недавнему прошлому и спросить себя: какое значеніе въ то время имѣла ревизія, подобная той, которая постигла Пермскую губернію?

Значеніе это у всѣхъ на памяти — это было просто-на̀-просто обличеніе невозможности жить. Когда въ какой-нибудь губерніи жить дѣлалось невозможно, назначалась ревизія, дабы всѣмъ вѣдомо было, что жить подлинно невозможно, что законъ упраздненъ, что мѣсто его занялъ даже не произволъ, а просто-на̀-просто грабежъ, и что начальство, убѣдившись въ этомъ, принимаетъ мѣры, т.-е. назначаетъ ревизію. Наряжался ревизоръ, который пріѣзжалъ на мѣсто съ полномочіемъ вязать и рѣшить, который выслушивалъ жалобы, разсматривалъ дѣла, собиралъ свѣдѣнія о нуждахъ края и о томъ, въ какой степени онѣ оставлялись безъ удовлетворенія, и въ концѣ концовъ резюмировалъ свой трудъ такъ: да, дѣйствительно, жить было невозможно.

Тѣмъ не менѣе ревизіи возбуждались не часто и, разъ возбужденныя, производили въ обществѣ говоръ. Не то казалось удивительнымъ, что понадобилось произвести ревизію, а то, что ревизія состоялась. Были люди (по-тогдашнему, «ябедники»), которые десятки лѣтъ вызывали ревизію и умирали, не дождавшись ея. Были другіе, которые цѣною неимовѣрныхъ и хитросплетенныхъ ябедничествъ вызывали наконецъ ревизію и считали себя счастливыми даже въ томъ случаѣ, если ревизія ничего другого имъ лично не приносила, кромѣ высылки въ другую губернію подъ характеристическимъ наименованіемъ «ябедниковъ», которое и оставалось за ними на всю жизнь. Это были тогдашніе старатели и ревнители. Въ нихъ, въ искаженной и изуродованной формѣ, воплощалась общественная совѣсть. Они подвергались всевозможнымъ поруганіямъ и преслѣдованіямъ и все-таки продолжали свое обличительное дѣло. Какую роль въ этомъ дѣлѣ игралъ четвертакъ и какую— правда, разобрать довольно трудно; но, судя по тому, что

вся дѣятельность «ябедниковъ» была направлена исключительно противъ сильныхъ міра и не окрылялась особенными надеждами на успѣхъ, можно заключить, что въ ней все-таки главную роль играла скорѣе правда, нежели четвертакъ. Надо быть глубоко уязвленнымъ въ душѣ, надо перенести страшную массу обидъ и злоключеній, чтобы безнадежно стучать въ запертую дверь и по временамъ достигать даже того, что она отворялась. И ябедники стучались и выполняли свое призваніе вполнѣ добросовѣстно, хотя имъ, конечно, небезызвѣстно было, что жить въ мирѣ съ властями все-таки выгоднѣе, нежели вопіять противъ нихъ къ небу...

Почему ревизіи назначались лишь въ самыхъ исключительныхъ и рѣдкихъ случаяхъ? На это было очень много причинъ. Во-первыхъ, всякая ревизія сопрягается съ обличеніями, не всегда удобными, и преждевременно возбуждаетъ вопросъ о невозможности жить въ такой средѣ, гдѣ эта невозможность, того гляди, еще не вполнѣ созрѣла. Требуется своего рода проницательность и тактъ, которые предотвращали бы пагубныя смѣшенія между подлинною невозможностью и невозможностью такъ-себѣ... можетъ-быть, просто съ жиру. Не надо забывать, что возможность жить далеко не во всѣхъ случаяхъ измѣряется дѣйствительною стоимостью тѣхъ жизненныхъ благъ, которыми пользуется человѣкъ; напротивъ того, очень часто мѣриломъ ея служитъ лишь относительная упругость и сносливость субъекта, обреченнаго на жизнь. Одинъ говоритъ: «меня хоть на куски рѣжь — я и тогда живъ буду!» Другой идетъ дальше и считаетъ жизнь невыносимою даже въ томъ случаѣ, когда его незаслуженно называютъ курицынымъ сыномъ. Третій идетъ еще дальше и говоритъ: «заслужилъ или не заслужилъ я названіе курицына сына, все-таки не смѣй меня такъ называть, потому что въ противномъ случаѣ жизнь сдѣлается для меня невозможною». Ясно, что здѣсь первый человѣкъ понимаетъ «возможность жить» шире, нежели второй; второй шире, нежели третій. Сталобыть, весь вопросъ заключается въ томъ, удобно ли суживать подобныя понятія прежде, нежели сама практика укажетъ на необходимость подобнаго суженія? А ревизія именно производитъ это суженіе, ибо, подвергая своему анализу вопросъ о неудобствахъ, сопряженныхъ съ невозможностью жить, она тѣмъ самымъ возбуждаетъ и другой, болѣе деликатный вопросъ: объ удобствахъ, сопряженныхъ

съ возможностью жить. Мудрость вѣковъ всегда отвѣчала на всѣ эти вопросы отрицательно, то-есть что не слѣдуетъ поднимать изслѣдованій о томъ, какъ живется, до тѣхъ поръ, покуда кое-какъ живется. И дѣйствительно, сообразно съ этимъ извѣчнымъ правиломъ, всѣ ревизіи, то-есть изслѣдованія, предпринимались не прежде того, какъ возможность жить прекращалась въ самомъ широкомъ смыслѣ, то-есть тогда, когда люди останавливались даже передъ изреченіемъ: «рѣжь меня на куски!» и когда притомъ въ прекращеніи жизни совершенно ни для кого не оставалось никакого сомнѣнія. Если бы не было этого благоразумнаго правила, въ притязанія къ жизни непремѣнно вторглось бы смѣшеніе, а быть-можетъ, даже и прихотливость. Переходы изъ перваго разряда во второй, изъ второго въ третій были бы не рѣдкостью, и притомъ переходы произвольные, возмутительные. Иной смогъ бы еще множество лѣтъ оставаться твердымъ въ бѣдствіяхъ, а тутъ, видя со стороны начальства потачку, возьметъ да и сприхотничаетъ. «А семъ-ка,—скажетъ онъ себѣ: — и я доложу, что мнѣ жить невозможно». И не только доложитъ, но даже представитъ несомнѣнныя тому доказательства. И такимъ образомъ вдругъ откроется, что множество людей жило (а можетъ-быть, и еще несчетное число лѣтъ жить бы могло), и вотъ теперь, благодаря ревизіи, начинаетъ вдругъ ощущать, что Божій міръ не милъ. И доказываетъ это такими фактами, передъ которыми совѣсть молчитъ.

Другая причина, обусловливающая рѣдкость ревизій, заключалась въ томъ, что ревизія, возбуждая вопросъ о правѣ на жизнь, косвеннымъ образомъ служила причиною прекращенія даже той доли жизни, которая извѣстна подъ именемъ отправленія текущихъ дѣлъ и которая, несмотря на злоупотребленія, все-таки кое-какъ плелась. Читатель, который былъ свидѣтелемъ переполоховъ, производимыхъ ревизіей, пойметъ, что мы хотимъ сказать. Передъ глазами его воскреснетъ вся лихорадочная обстановка, которая, при первой же вѣсти о ревизіи, вдругъ водворяется въ цѣломъ краѣ и характеризуется однимъ словомъ: трепетъ. Трепетъ этотъ отнюдь не составляетъ частнаго явленія, къ которому можно было бы примѣнить классическое выраженіе французовъ: que les méchants tremblent, que les bons se rassurent! Нѣтъ: тутъ, по недоразумѣнію, трепещутъ всѣ: и злые и добрые. Злые трепещутъ потому, что имъ рядомъ несомнѣнныхъ фактовъ доказано будетъ, что

дѣйствія ихъ имѣли результатомъ невозможность жить. Добрые трепещутъ потому, что сомнѣваются, будутъ ли признаны вполнѣ достаточными тѣ доказательства невозможности жить, которыя они намѣреваются предъявить. Но, сверхъ того, есть и еще множество разнообразнѣйшихъ причинъ, производящихъ трепетъ. Одни трепещутъ по преданію, другіе—оттого, что въ первый разъ встрѣчаются лицомъ къ лицу съ чрезмѣрно блестящимъ мундиромъ, третьи—оттого, что ихъ подавляетъ осанка, голосъ и т. д. Но когда человѣка объемлетъ трепетъ (хотя бы и неосновательный), то онъ, очевидно, не только не можетъ быть благополученъ, но даже просто-на-просто оказывается внѣ всякой возможности заниматься обычнымъ, будничнымъ своимъ дѣломъ. Вмѣсто того, чтобъ торговать, печь пироги, воздѣлывать землю, онъ трепещетъ; вмѣсто того, чтобъ писать рѣшенія о томъ, сколько кому отпустить надлежитъ, онъ трепещетъ. Всѣ трепещутъ: и жалобщики, и тѣ, на которыхъ приносятся жалобы.

Лица, на которыхъ жалуются, суть тѣ самыя, на обязанности которыхъ лежитъ отправленіе дѣлъ. Какъ только пройдетъ слухъ о ревизіи, такъ тотчасъ же они оставляютъ всякія попеченія о дѣлопроизводствѣ, начинаютъ служить молебны, вынимать заздравныя просвиры и бесѣдовать съ собственною совѣстью. Наступаетъ эпоха угрызеній; изъ тьмы прошлаго выдѣляются призраки. Неподлежательно высѣченныя части тѣла, неподлежательно взятые гривенники такъ и мечутся въ глаза со всею обстановкою, при которой первыя были высѣчены, а вторые взяты. И все это надобно объяснить такъ, чтобъ ревизующій понялъ, что тутъ нѣтъ ничего, кромѣ невинности, и что не только не было невозможности жить, но былъ рай. А объяснить это очень трудно, потому что ревизоръ, испуганный массою воплей и жалобъ, дѣлается придирчивъ и не довольствуется полураемъ, но требуетъ доказательствъ, что рай былъ точь-въ-точь такой, какой существовалъ древле на берегу Евфрата и Тигра. Это требованіе до такой степени чрезмѣрно, и ревизуемый чиновникъ чувствуетъ себя до того подавленнымъ имъ, что не можетъ содержать въ головѣ своей ни какой другой мысли, кромѣ мысли о необходимости сдѣлать себя бѣлѣе снѣга и затѣмъ ко всѣмъ напоминаніямъ текущей жизни (которыя все-таки не прекращаются и удовлетвореніе которыхъ лежитъ на томъ же ревизуемомъ чиновникѣ, независимо отъ ревизіи) относится не только рав-

нодушно, но съ явнымъ нетерпѣніемъ и досадой. «Подождите!» «не до васъ!» — вотъ единственные отвѣты, возможные при подобномъ всеобщемъ переполохѣ. И ежели дотолѣ правосудіе отправлялось неправо и медленно, то теперь не отправляется никакого правосудія: ни праваго, ни неправаго, ни скораго, ни нескораго. Бѣгутъ, являются, объясняются, собираютъ справки, запираются, докладываютъ и облыжно и взаправду, словомъ — дѣлаютъ все, кромѣ дѣла, кромѣ даже той кропотной части дѣла, которая дѣлалась до тѣхъ поръ...

Какими ущербами отражается подобный переполохъ на сословіи жалобщиковъ—это извѣстно единому Богу. Но горечь ихъ разочарованія должна быть сильнѣе уже по тому одному, что самый взглядъ ихъ на свойства и результаты ревизій въ высшей степени своеобразенъ. Наука администраціи говоритъ: всякое административное дѣйствіе сперва пускаетъ корни, потомъ идетъ въ штамбъ, потомъ производитъ цвѣты и наконецъ плоды; но они, то-есть жалобщики, совсѣмъ не понимаютъ этой истины. Имъ, по невѣжеству, кажется, что у всякаго ревизора полны карманы плодовъ, и что, слѣдовательно, всѣ ихъ жалобы, какъ прошедшія, такъ и настоящія, должны быть удовлетворены немедленно, въ ту самую минуту, какъ появится на горизонтѣ ревизоръ...

Наконецъ третья причина, вслѣдствіе которой ревизія предпринималась лишь въ крайнихъ случаяхъ, заключалась въ тѣхъ инстинктахъ роскоши и всякихъ излишествъ, которые какъ-то фаталистически пробуждались въ ревизуемой мѣстности при первой вѣсти о приближеніи ревизора. Подъ видомъ чествованія ревизора, предпринимался цѣлый рядъ волшебнѣйшихъ объяденій, блѣдные примѣры которыхъ можно встрѣтить только во время дворянскихъ выборовъ. Балы слѣдовали за балами, обѣды за обѣдами. Женщины сверкали обнаженными плечами и увлекали роскошью походки; мужчины явственно проводили идею о супружеской снисходительности. Нынче, конечно, все это поизмѣнилось, потому что и мошна стала потощѣе, да и самыя провинности не настолько крупны, чтобъ требовать искупленія въ формѣ непрерывнаго обжорства; но существовало время— и оно недалеко,—когда упомянутыя выше волшебства были истиною. Существуетъ преданіе, что въ одной губерніи была даже выписана изъ сосѣдней губерніи дама, славившаяся своей любезностью и красотою, съ спеціальною цѣлью увеселять ревизора и смягчать его нравы...

Но, какъ ни вѣски описанныя выше неудобства, ревизіи все-таки назначались, потому что не было иного средства устранить распространеніе невозможности жить. А распространеніе это отъ времени до времени высказывалось съ такою рельефностью, что изумляло даже людей, и не легко поддающихся чувству удивленія...

Что же означала эта невозможность жить? что это было за явленіе? что поддерживало и питало его?

Существуетъ мнѣніе, что невозможность жить есть признакъ такого общественнаго строя, въ которомъ обязательная сила закона находится въ зависимости не отъ большей или меньшей ясности заключающихся въ немъ предписаній, а отъ примѣненій и толкованій, которыя являются обыкновенно независимо отъ закона, со стороны, и которыя ни предвидѣть, ни своевременно удовлетворить нельзя. Справедливость этого мнѣнія едва ли кто-нибудь будетъ отрицать. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что если не все благополучіе человѣка, то, по крайней мѣрѣ, весьма значительная часть его зависитъ отъ прочности и вразумительности его отношеній къ требованіямъ закона. Внутреннее содержаніе закона само по себѣ можетъ оказывать не всегда выгодное вліяніе на судьбу человѣка—это такъ; но ежели оно однажды объявлено обязательнымъ, то остается одно изъ двухъ: или устраивать жизнь такимъ образомъ, чтобы не впадать въ противорѣчіе съ закономъ, или протестовать противъ приносимыхъ имъ стѣсненій на свой собственный рискъ. Во всякомъ случаѣ, здѣсь всего важнѣе, чтобы человѣкъ могъ вполнѣ ясно и опредѣлительно отдать себѣ отчетъ, чему надлежитъ подчиняться или противъ чего протестовать. Если это условіе не соблюдено, онъ лишается даже возможности подчиняться.

Предположите себѣ, напримѣръ, существованіе такого несуществующаго закона, который обязывалъ бы обозчиковъ сворачивать съ дорожной колеи въ сугробъ въ виду грядущаго на встрѣчу исправника. Какъ ни стѣснителенъ этотъ законъ, но, въ виду его совершенной ясности и обязательности, обозчику предстояло бы: или оставаться дома, дабы не подвергать себя встрѣчѣ съ исправникомъ; или заранѣе подчиниться сворачиванію въ сугробъ; или же наконецъ не оставаться дома и не сворачивать, рискуя подвергнуть себя всѣмъ карамъ, за несворачиваніе въ сугробъ установленнымъ. Что можетъ быть яснѣе и вразумительнѣе такого положенія? Но оно разомъ утрачиваетъ свою вразуми-

тельность, какъ скоро требованіе о сворачиваніи предъявляется не закономъ, а какимъ-то частнымъ толкованіемъ, о которомъ нельзя даже опредѣлительно сказать, откуда и при какихъ условіяхъ оно выходитъ. Толкованія этого рода имѣютъ то неудобство, что они столь же разнообразны, сколь разнообразны наклонности и вкусы самихъ толкователей. Въ одномъ мѣстѣ провинившихся обозчиковъ раскладываютъ на снѣгу и тутъ же сѣкутъ; въ другомъ, за то же преступленіе, тутъ же бьютъ по зубамъ; въ третьемъ—загоняютъ въ ближайшую сельскую расправу и тамъ арестуютъ на день, на два и т. д. Очевидно, что здѣсь не только признаки преступленія являются неудобопредвидимыми, но и самая кара, вызываемая неисполненіемъ внезапно возникшаго толкованія, принимаетъ формы прихотливыя или, лучше сказать, сочиненныя въ ту самую минуту, въ которую сочинено и самое толкованіе. Возможно ли при такихъ условіяхъ жить, то-есть предусматривать завтрашній день, обезпечивать свою спину, дѣлать сбереженія, предпринимать операціи и проч.?—отвѣтъ на этотъ вопросъ пусть подскажетъ собственное благоразуміе читателя.

Когда человѣкъ приступаетъ къ воздѣлыванію земли или предпринимаетъ торговый оборотъ и т. д., онъ заранѣе разсчитываетъ послѣдствія, какъ выгодныя, такъ и невыгодныя, которыя можетъ привести за собой его предпріятіе. И сообразно съ этими разсчетами приготовляется къ встрѣчѣ этихъ послѣдствій. Но когда онъ выходитъ изъ дома въ гости и не въ состояніи заранѣе опредѣлить себѣ, какого рода сплетеніе обстоятельствъ можетъ привести его, вмѣсто гостей, въ кутузку, то ясно, что онъ долженъ себя чувствовать вполнѣ свободнымъ отъ какихъ бы то ни было разсчетовъ и предвидѣній. И не только онъ, но и сосѣди, и присные его тоже освобождены отъ разсчетовъ. N вышелъ изъ дома и не возвращается — никто не пробуетъ даже отыскивать причину этого отсутствія, но всѣ говорятъ просто: «должно-быть, съ исправникомъ на дорогѣ встрѣтился».

Какая польза разсчитывать, когда область, открытая для разсчетовъ, до того безгранична и темна, что нельзя найти въ ней ни одного яснаго отправнаго пункта, и когда при этомъ на всякомъ мѣстѣ идетъ непрерывное сочиненіе толкованій, которыхъ ни подъ какимъ видомъ предусмотрѣть невозможно? Такого рода положеніе вещей свидѣ-

тельствовало не о случайной только безконтрольности, но о цѣлой системѣ, въ которой безконтрольность являлась господствующимъ началомъ. И вотъ, для того, чтобъ была хоть тѣнь контроля, предпринимались внезапныя ревизіи, начальственные погромы и т. д.

Что погромы совершали свое дѣло удовлетворительно— этого отрицать нельзя. Долго послѣ того чиновники ходили смирные, ласковые, шелковые, какъ будто ихъ коснулась благодать. Но существо бюрократіи нимало отъ этого не измѣнялось, потому что возможность внезапныхъ толкованій и сочиненій оставалась за нею всецѣло. И ежели, нѣкоторое время по совершеніи погрома, толкованія производились въ смыслѣ благожелательномъ, то не было ручательства, чтобъ въ срокъ, болѣе или менѣе непродолжительный, эта благожелательность не оттѣнилась красками очень сомнительнаго свойства.

Погромъ обличалъ язвы, накоплявшіяся десятками лѣтъ, но за симъ слѣдовали новые десятки лѣтъ, въ продолженіе которыхъ опять предстояло обширное поприще для всякаго рода накопленій...

Таково было значеніе ревизій въ недавнемъ прошломъ; и такова была непрочность достигаемыхъ ими результатовъ.

Въ нынѣшнемъ году минетъ десять лѣтъ со времени первой и притомъ важнѣйшей реформы въ ряду тѣхъ, которыя ознаменовали настоящее царствованіе. Существенное значеніе этихъ реформъ заключалось именно въ устраненіи возможности тѣхъ произвольныхъ примѣненій и толкованій, которыя ничего другого не производили, кромѣ невозможности жить. Послѣ крестьянской реформы, легшей въ основаніе всѣхъ дальнѣйшихъ успѣховъ нашей жизни, мы увидѣли реформу судебную и земскую. Первая обезпечивала личность и достояніе гражданъ, вторая полагала начало самоуправленію, то-есть контролю болѣе прочному, нежели тотъ, который достигался съ помощью ревизій и начальственныхъ погромовъ. Надобно было обладать скептицизмомъ самымъ отчаяннымъ, чтобы предполагать, что при столь плодотворныхъ задаткахъ можетъ повториться такое изумительное явленіе, какъ невозможность жить, и притомъ повториться съ тѣми же самыми признаками, которые характеризовали его въ былыя времена.

А между тѣмъ явленіе это повторилось, и притомъ не гдѣ-нибудь въ завоеванномъ краѣ, гдѣ ревность не по разуму можетъ найти толкователей, опирающихся на исклю-

чительныя условія мѣстности, а въ Пермской губерніи, гдѣ не слышно ни о столкновеніяхъ различныхъ національностей, ни о возбужденіи пагубныхъ страстей, ни о вторженіи вредныхъ и неблагонадежныхъ элементовъ (особенный видъ преступности, рекомендуемый г. академикомъ Безобразовымъ, но, по неясности признаковъ, до сихъ поръ въ уголовный кодексъ не внесенный). Въ эту благодатную страну ѣздятъ наши департаментскіе экономисты для обнаруженія богатствъ, скрывающихся въ нѣдрахъ земли, и возвращаются оттуда, полные волшебныхъ сновъ о рѣкахъ, текущихъ млекомъ и медомъ, о горахъ, изобилующихъ златомъ и самоцвѣтными камнями, о вѣковыхъ лѣсахъ, въ которыхъ кишатъ всевозможные звѣри и птицы, и т. д.

И въ этой-то волшебной странѣ вдругъ оказалась невозможность жить!

Это невѣроятно, но это такъ. Мало того, что упомянутая невозможность жить существовала здѣсь въ самомъ широкомъ смыслѣ, но—что̀ всего замѣчательнѣе—условія общественнаго строя не указали иного способа устранить эту невозможность, кромѣ того, который существовалъ уже во времена дореформенныя. А между тѣмъ всѣ реформы въ ходу: реформы, ограждающія личность и достояніе гражданъ, реформы, привлекающія общественное мнѣніе къ участію въ общественномъ контролѣ, реформы, освобождающія милліоны людей изъ плѣна, въ которомъ они находились въ теченіе столѣтій...

Что̀ сей сонъ значитъ?

Но матеріалы, добытые ревизіей Пермской губерніи и обнародованные на-дняхъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», до того поучительны, что читателю никакъ не лишне будетъ познакомиться съ ними. Это знакомство, независимо отъ удовлетворенія его любознательности, дастъ возможность сдѣлать нѣкоторыя сопоставленія, которыя ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть сочтены безполезными.

Вотъ эти матеріалы въ краткомъ перечнѣ.

1) Законы, опредѣляющіе предѣлы дѣйствія каждаго отдѣльнаго агента административно-полицейской власти, были упразднены, а на мѣсто ихъ введены такъ-называемыя толкованія, въ основаніе которыхъ легли смутныя предчувствія и стремленіе предвосхитить начальственную мысль. Такимъ образомъ то, что̀ въ высшихъ правительственныхъ сферахъ существовало лишь въ качествѣ проекта, въ Пермской губерніи было уже приведено въ исполненіе.

2) Цѣль, къ которой стремились эти толкованія, заключалась въ томъ, чтобы какъ можно болѣе усилить единоличную власть представителей центральнаго управленія и какъ можно болѣе сократить и ослабить власть коллегій, представляющихъ препоны административному бѣгу.

3) Въ согласность съ этою цѣлью, дѣла изъ губернскихъ присутственныхъ мѣстъ (непосредственно подчиненныхъ губернатору) произвольно переводились въ канцелярію губернатора, а изъ уѣздныхъ коллегій — въ канцеляріи исправниковъ.

4) Приняты были мѣры, дабы вѣдомо было всѣмъ и каждому, что единоличная власть дѣйствительно усилена, а законъ и всякія другія препоны дѣйствительно упразднены. Въ этихъ видахъ указано или допущено было: а) не слѣдовать въ точности законамъ объ арестѣ обвиняемыхъ, но, въ видахъ спокойствія края, арестовать и при недостаточныхъ уликахъ; б) не представлять сельскихъ должностныхъ лицъ къ наградамъ иначе, какъ по соглашенію съ исправниками; в) окружить исправниковъ конвоемъ изъ казаковъ; г) возбуждать, по усмотрѣнію полиціи (или, что то же, исправника), даже такія дѣла, которыя могутъ начинаться лишь въ порядкѣ частнаго обвиненія или по заявленію духовнаго начальства.

Такова была теоретическая сторона этого несложнаго административнаго построенія. Практическое вліяніе его на мѣстные полицейскіе нравы обнаружилось слѣдующими характерными, но не весьма плодотворными результатами:

1) Почувствовавши усиленіе власти и стремясь дать ей еще бо́льшую прочность и значеніе, полицейскіе агенты до того увлеклись дѣйствительнѣйшимъ, по ихъ мнѣнію, средствомъ упроченія, то-есть сѣченіемъ, что начали сѣчь и въ одиночку и массами, и съ оттѣнкомъ ироніи и серьезно. Верхотурскій исправникъ высѣкъ одного почтосодержателя и потомъ, на запросъ губернскаго правленія, отвѣчалъ, что сѣченіе произведено по собственному желанію паціента. Одинъ исправникъ высѣкъ разомъ сорокъ человѣкъ обозчиковъ за то, что они не свернули передъ нимъ съ дороги. Одинъ исправникъ жестоко избилъ нагайками двухъ ямщиковъ за то, что на лошадяхъ ихъ была худая сбруя. Одинъ помощникъ исправника высѣкъ мѣщанина (изъятаго, по закону, отъ тѣлеснаго наказанія) за то, что послѣдній не хотѣлъ отпустить къ нему свою шестнадцатилѣтнюю дочь...

2) Въ тѣхъ же видахъ, полицейскіе агенты производили

только такія исковыя дѣла, которыя нравились ихъ усмотрѣнію; тѣ же дѣла, которыя ихъ усмотрѣнію не нравились, оставляли безъ производства. Такъ, по взысканію государственнымъ банкомъ 24.000 р. съ одного богатаго купца полиція шесть лѣтъ не находила времени приступить къ списи имущества должника. Подобнымъ же или приблизительно подобнымъ же образомъ поступила она и въ другихъ двухъ случаяхъ, приведенныхъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Зато по иску другого купца она нѣсколько разъ захватывала металлы и механическія орудія Сысертскихъ заводовъ, хотя было извѣстно, что этими металлами и орудіями обезпечивался казенный долгъ. Многіе, быть-можетъ, подумаютъ, что во всѣхъ этихъ дѣлахъ примѣшивались и посторонніе, не чуждые корысти, интересы; но такъ какъ на такое предположеніе нѣтъ никакихъ уликъ, то лучше всего объяснить эти дѣйствія безкорыстнымъ желаніемъ придать вящшій блескъ власти. Вотъ, молъ, каковъ я: хочу—произвожу, не хочу—не произвожу!

3) Въ тѣхъ же видахъ, полицейскіе агенты, при возникновеніи жалобъ на неправильность разсчетовъ, производимыхъ горными заводами, разбирательствъ не производили, а просто-на-просто обзывали жалобщиковъ бунтовщиками и, утвердивъ ихъ въ этомъ званіи, поступали какъ съ таковыми, т. е. сѣкли.

3) Въ тѣхъ же видахъ, аресты производились на скорую руку, такъ, чтобы несомнѣнно было, что не по существу дѣла арестуется человѣкъ, а съ цѣлью приданія власти блеска. Такъ были по одному дѣлу арестованы двое убійцъ, а по разсмотрѣніи дѣла въ судѣ оказалось, что даже самаго факта убійства не существуетъ. Одинъ крестьянинъ, освобожденный судебнымъ слѣдователемъ, былъ снова посаженъ въ тюрьму полиціей. Другой крестьянинъ былъ найденъ въ острогѣ заключеннымъ неизвѣстно за что, когда и по какому дѣлу.

5) Въ тѣхъ же видахъ, полицейскіе агенты поощряли ссылку домашнимъ порядкомъ. За послѣдніе три года выслано изъ Пермской губерніи 1.100 человѣкъ по приговорамъ обществъ, «продиктованнымъ уѣздными и губернскими властями», да кромѣ того административнымъ порядкомъ сослано около 100 человѣкъ. При этомъ бывали распоряженія о ссылкѣ изъ-за Урала въ Москву!

6) Въ тѣхъ же видахъ, полицейскіе агенты вмѣшивались въ дѣла сельскихъ обществъ, а именно: а) сдавали отъ

себя подрядчикамъ отбываніе дорожной и подводной повинности взамѣнъ отправленія ея натурой; б) разсматривали мірскіе приговоры о сдачѣ питейныхъ заведеній и указывали лицъ, которымъ кабаки должны быть сданы.

7) Въ тѣхъ же видахъ, полицейскіе агенты или вовсе не отвѣчали на запросы властей, или отвѣчали усиленіемъ мѣръ упрочненія. Такъ, напримѣръ, къ верхотурскому исправнику былъ посланъ запросъ по жалобѣ купчихи Шадриной, поданной министру внутреннихъ дѣлъ; но исправникъ ничего на запросъ не отвѣтилъ, и дѣло было сочтено конченнымъ. Другой примѣръ еще поразительнѣе: при проѣздѣ великаго князя Владиміра Александровича, уполномоченный отъ крестьянъ Каслинской волости вмѣстѣ со старшиной подали его высочеству прошеніе съ жалобой на неисполненіе заводчиками условій и на притѣсненіе отъ мѣстныхъ властей. За это просители просидѣли въ тюрьмѣ два года, такъ какъ слѣдствіе, возбужденное по поводу этого прошенія, производилось не по предметамъ жалобы, а надъ подателями прошенія.

Таково было вліяніе теоріи усиленія единоличной власти на полицейскіе нравы. Что касается до вліянія той же теоріи собственно на населеніе губерніи, то оно выразилось въ слѣдующихъ результатахъ:

1) Число уголовныхъ преступленій въ 1869 году оказалось въ четыре раза больше, чѣмъ въ 1867 году.

2) Изъ числа 65.785 человѣкъ, привлеченныхъ за послѣдніе три года къ слѣдствію, 30.184 человѣка вовсе освобождены судомъ, 24.376 человѣкъ оставлены въ подозрѣніи, и только одна шестая часть обвинена судомъ. Сталобыть, пять шестыхъ воротились домой и несомнѣнно обогатили родныя селенія плодами острожной цивилизаціи.

3) Казенныя недоимки увеличились (доказательство, что сѣченіе не увеличиваетъ народной производительности, а, напротивъ того, истощаетъ ее), а въ одномъ изъ уѣздовъ даже образовалось общество неплательщиковъ податей...

Вотъ что происходило въ одной изъ великорусскихъ губерній въ виду реформъ послѣдняго времени, вотъ къ какимъ неожиданнымъ итогамъ можетъ иногда придти жизнь.

Но итоги эти, въ виду той внѣшней, хитросплетенной дѣятельности, которая кишитъ на каждомъ шагу и бьетъ въ глаза всякому, непосвященному въ ея тайны, не могутъ не возбуждать множество вопросовъ самаго болѣзненнаго свой-

ства. Вотъ нѣкоторые изъ этихъ вопросовъ, которые прежде всего представляются уму:

Пермская губернія представляетъ ли исключеніе относительно незащищенности жизни, или ту же самую незащищенность можно встрѣтить (если поискать прилежно) и въ другихъ однородныхъ съ нею мѣстностяхъ, какъ, напримѣръ, въ губерніяхъ: Пензенской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской и т. д.?

Гдѣ кроется источникъ этой незащищенности: въ самой ли жизни, упорствующей въ систематическомъ оголеніи существеннѣйшихъ основъ своихъ, или въ чемъ-нибудь иномъ?

Отчего реформы, несомнѣнно плодотворныя, такъ туго входятъ въ жизнь, что кажутся какъ бы стоящими совершенно особнякомъ отъ дѣйствительныхъ примѣненій?

Отчего въ жизни нѣтъ широкаго основанія, которое одно можетъ сообщить характеръ правды и дѣйствительности всѣмъ отдѣльнымъ попыткамъ, дѣлаемымъ во имя освобожденія?

Отчего эти попытки имѣютъ характеръ разоросанности?

Откуда, наконецъ, эта апатія, которая поражаетъ всякаго при самомъ поверхностномъ взглядѣ на русское общество и о которой было достаточно говорено въ предыдущей нашей статьѣ.

Гдѣ же итоги?

Все это такіе вопросы, на которые несомнѣнно отвѣтитъ будущее.

Глава III.

Ежели существуетъ способъ провѣрить степень развитія общества или, по крайней мѣрѣ, его способность къ развитію, то, конечно, этотъ способъ заключается въ уясненіи тѣхъ идеаловъ, которыми общество руководится въ данный историческій моментъ. Чему симпатизируетъ общество? чего оно желаетъ? къ чему стремится его мысль?—вотъ вопросы, которыхъ разрѣшеніе съ перваго же раза становится обязательнымъ для историка и изслѣдователя общественной жизни, такъ какъ только на немъ, на этомъ разрѣшеніи, могутъ быть основаны всѣ дальнѣйшіе приговоры и оцѣнки. И благо тѣмъ обществамъ, которыя хоть какой-нибудь отвѣтъ даютъ на эти вопросы; недобро тѣмъ, которыя никакого отвѣта на нихъ дать не могутъ.

Прежде всего, именно нуженъ отвѣтъ. Предположите об-

щество, слѣдующее въ своемъ развитіи самому ложному пути, общество, признающее своимъ идеаломъ обезпеченіе правъ меньшинства цѣною безправности массъ,—вы, конечно, будете въ правѣ сказать, что этотъ идеалъ неудовлетворителенъ и даже опасенъ, но въ то же время вы все-таки должны будете сознаться, что передъ вами стоитъ не безразличная масса, а юридическое лицо, которое способно защищать свои убѣжденія и понимать силу и послѣдствія своихъ поступковъ. Тутъ есть возможность для порицанія, для опроверженій и споровъ, а слѣдовательно и для оцѣнки. Но предположите такое общество, которое не свидѣтельствуетъ ни о правильномъ, ни о ложномъ развитіи, которое просто-на-просто представляетъ массу бродячихъ элементовъ, не знающую никакихъ идеаловъ и въ то же время настолько компактную, что, въ смыслѣ орудія, она можетъ оказывать дѣйствіе очень рѣшительное,—и вы навѣрное скажете, что это общество или совсѣмъ безнадежное, или такое, которое не вышло еще изъ доисторической эпохи своего существованія.

Чтобы убѣдиться въ правильности этого приговора, стоитъ только оглядѣться кругомъ себя и попристальнѣе вникнуть въ ежедневную практику личныхъ отношеній. Какіе люди представляются на практикѣ самыми безполезными?—это люди, которые не имѣютъ яснаго отправнаго пункта для оцѣнки требованій жизни и опредѣленія своихъ отношеній къ ней. Съ какими людьми сношенія принимаютъ не только безсодержательный, но даже просто невыносимый характеръ?—опять-таки съ тѣми же, живущими безсознательною жизнью, людьми. Наконецъ какихъ людей всего болѣе есть основаніе опасаться?— и тутъ прежде всего бросаются въ глаза тѣ вялые и безцвѣтные субъекты, движенія которыхъ ничѣмъ не обусловливаются, кромѣ вспышекъ темперамента. Человѣку, который бродитъ, не видя передъ собой цѣли и не зная, куда онъ прибредетъ, невозможно довѣрить никакого общественнаго интереса. Съ человѣкомъ, который не въ силахъ ничего сказать, нельзя имѣть не только дѣйствительнаго обмѣна мыслей, но даже и такого, къ которому было въ обычаѣ приглашать поголовно всѣхъ гуляющихъ русскихъ людей въ памятную для насъ эпоху всероссійскаго либерализма. На человѣка, который представляетъ собою пустое мѣсто, не только нельзя возлагать упованій, но даже остеречься отъ него трудно, потому что никто не можетъ опредѣлить, что заползетъ въ эту пустоту

и что изъ нея выйдетъ, привѣтственный ли звукъ, или змѣиное шипѣніе, или просто дурацкое мычаніе. Тутъ все загадка, и притомъ такая, на разрѣшеніе которой сколько бы ни потратилось ума, все-таки никакой разгадки не получится. Самыя антипатичныя другъ другу убѣжденія могутъ имѣть общую почву - почву разума, заблуждающагося или идущаго вѣрно, но при встрѣчѣ убѣжденія съ отсутствіемъ таковаго возможность общей почвы исчезаетъ совершенно, и человѣку убѣжденному, очутившемуся среди людей нетронутыхъ сознаніемъ, остается только умолкнуть, предаться физіологическимъ отправленіямъ и выжидать, что̀ будетъ дальше...

Такимъ образомъ вопросъ объ общественныхъ симпатіяхъ и идеалахъ выдвигается самъ собою и становится единственнымъ исходнымъ пунктомъ для правильнаго формулированія всѣхъ послѣдующихъ сужденій и оцѣнокъ.

Къ сожалѣнію, не далѣе какъ по поводу французско-прусской войны, мы видѣли очень рѣзкій и замѣчательный примѣръ практическаго безсилія общественныхъ симпатій. Что общественное мнѣніе наше довольно живо интересовалось этимъ громаднымъ историческимъ фактомъ - это можетъ засвидѣтельствовать каждый, переживщій семь мѣсяцевъ, въ продолженіе которыхъ длилась война. Можно, пожалуй, засвидѣтельствовать даже, что общій тонъ симпатій былъ правильный, и что безчисленные иксы и зеты, встрѣчаясь другъ съ другомъ на улицѣ, разсуждали о текущихъ событіяхъ очень умно и «отрадно». Но какую же силу можетъ имѣть подобное свидѣтельство? оставляетъ ли оно по себѣ слѣды настолько прочные, чтобы исторія могла сослаться на него и вывести изъ него вполнѣ достовѣрныя заключенія? Отвѣтъ на эти вопросы, кажется, не подлежитъ сомнѣнію: нѣтъ, никакой силы подобное свидѣтельство не имѣетъ, ибо въ основаніи его лежитъ не практическій фактъ, а только личныя наблюденія и оцѣнки. Для очевидцевъ-современниковъ еще можетъ быть несомнѣннымъ, что русское общество въ данную минуту жило подъ вліяніемъ извѣстныхъ интересовъ, что оно горячо принимало ихъ къ сердцу и волновалось ими: но вѣдь историкъ убѣждается въ жизненности того или другого явленія лишь тогда, когда въ основаніи его найдетъ практическій фактъ. Для современниковъ еще есть возможность привести въ нѣкоторый порядокъ массу встрѣчныхъ мнѣній и толковъ, имѣющихъ ходъ на улицѣ, и даже опредѣлить довольно вѣрно, въ

какую сторону клонились общественныя симпатіи; но для исторіи и тутъ не можетъ быть яснаго просвѣта, потому что она имѣетъ дѣло лишь съ голословнымъ преданіемъ, котораго не въ состояніи очистить отъ случайныхъ примѣсей. Положимъ, что, кромѣ преданія, имѣется еще свидѣтельство органовъ русской мысли и слова, но, говоря по совѣсти, это послѣднее свидѣтельство скорѣе говоритъ въ пользу безсилія, нежели силы нашихъ общественныхъ симпатій. Вѣдь дѣло не въ томъ, какъ мыслили объ извѣстномъ предметѣ X. или Z., или что̀ говорилось объ этомъ въ такомъ-то литературномъ органѣ, а въ томъ, какъ вліяли эти мнѣнія на общій установъ жизни. Какъ вліяли?—никакъ. Кого они поддержали и ободрили?—никого. Что̀ же можетъ сказать исторія въ виду подобной безрезультатности общественныхъ симпатій?—Очевидно, она можетъ сказать одно: есть поводъ думать, что въ данную минуту въ такомъ-то вопросѣ симпатіи русскаго общества склонялись въ пользу такой-то стороны, но были ли эти симпатіи сознательны, или же онѣ составляли лишь плодъ легкомыслія—этого опредѣлить невозможно, потому что никакихъ практическихъ послѣдствій господствовавшаго въ то время сочувственнаго движенія—по документамъ не оказалось.

Между тѣмъ едва ли кто будетъ отрицать, что для насъ вопросъ о торжествѣ той или другой стороны въ упомянутой выше распрѣ есть вопросъ существенной важности. И притомъ не только съ точки зрѣнія общечеловѣческихъ интересовъ, которые тутъ замѣшаны и которыхъ пониманіе, быть-можетъ, не для всѣхъ доступно (а для общества, мимоходомъ сказать, они-то всего и важнѣе), но и съ точки зрѣнія политическо-государственной, которая мало кому недоступна. И общество наше чувствовало это и понимало, что между будущими политическими судьбами Россіи и тѣмъ или другимъ разрѣшеніемъ франко-германскаго вопроса имѣется связь очень существенная. Очевидцы-современники могутъ засвидѣтельствовать, что въ теченіе семи мѣсяцевъ нашъ воздухъ былъ буквально насыщенъ проектами всевозможныхъ союзовъ, наступательныхъ и оборонительныхъ войнъ, трактатовъ и т. д. Но для исторіи это движеніе, несмотря на свою несомнѣнность, все-таки должно остаться загадкой, по той простой причинѣ, что совершенно невозможно объяснить себѣ, почему движеніе, повидимому, сильное, такъ и осталось движеніемъ и, несмотря на жизненность своей подкладки, не оказало никакого практиче-

скаго давленія. И волею-неволею она должна будетъ заключить, что русское общество переживало времена доисторическія, къ которымъ никакія оцѣнки непримѣнимы.

Впрочемъ, о французско-германской распрѣ можно еще сказать (хотя и совершенно несправедливо), что это вопросъ для насъ посторонній; но сколько же есть такъ-называемыхъ внутреннихъ вопросовъ, которыхъ близости никто не можетъ отвергнуть и въ которыхъ тяготѣніе общественнаго мнѣнія чувствуется столь же слабо, какъ и въ вопросѣ французско-германскомъ. Возьмемъ для примѣра хоть вопросъ о классическомъ и реальномъ образованіи. Повидимому, здѣсь вторженіе общественнаго мнѣнія выразилось нѣсколько назойливѣе, нежели въ другихъ случаяхъ (превосходство реальнаго образованія доказывалось даже самоубійствами); но чего же въ концѣ концовъ добилось общество, кромѣ горькаго сознанія своей назойливости и совершенной ея безплодности?

Предположимъ однако-жъ, что всѣ эти симпатіи и антипатіи представляютъ въ жизни общества нѣчто эпизодическое, что оно, независимо отъ нихъ, можетъ разрабатывать извѣстныя историческія задачи, имѣющія значеніе абсолютное, а не преходящее. Какъ ни мало вразумительно это разграниченіе абсолютнаго и условнаго въ примѣненіи къ общественному организму, но допустимъ даже безсмыслицу, согласимся на минуту, что общество можетъ достигать извѣстныхъ цѣлей въ будущемъ даже и въ томъ случаѣ, когда оно на каждомъ шагу противорѣчитъ этимъ цѣлямъ въ настоящемъ и дѣлаетъ все возможное, чтобъ подорвать ихъ — все-таки прежде всего приходится разрѣшить вопросъ, въ чемъ же заключаются эти цѣли будущаго? чего желаетъ общество? Къ чему стремится его интимная мысль?

Но здѣсь мы больше чѣмъ гдѣ-либо вступаемъ въ область догадокъ и недоразумѣній. Навстрѣчу намъ возстаетъ цѣлая масса такъ-называемыхъ задачъ будущаго; но эта масса, къ сожалѣнію, сплошь состоитъ изъ однихъ общихъ мѣстъ, и даже не изъ общихъ мѣстъ, а просто изъ отрывочныхъ звуковъ. Одни видятъ разгадку будущихъ русскихъ судебъ въ словѣ «цѣльность», другіе—въ словѣ «смиреніе», третьи—въ словѣ «любовь», четвертые наконецъ даже не даютъ себѣ труда порыться въ лексиконѣ, а просто-на-просто сулятъ слово новое, неслыханное. Какія возможны практическія примѣненія для всѣхъ этихъ загадочныхъ опредѣ-

леній? И ежели даже отложить въ сторону вопросъ о примѣненіяхъ насущныхъ, если представить себѣ, что общество обязано терпѣливо выносить временныя невзгоды и неудобства въ виду грядущихъ идеаловъ, то какой же идеалъ можетъ осуществить собой, напримѣръ, «смиреніе»? способно ли политически существовать общество или государство, поставившее себѣ цѣлью подобный идеалъ?

«Смиреніе» приводится здѣсь потому, что оно все-таки представляетъ идеалъ болѣе практическій, нежели, напримѣръ, «цѣльность», «любовь», «новое слово» и т. п. «Смиреніе» не безъ примѣровъ въ прошломъ, а при извѣстной суммѣ усилій къ нему можно, пожалуй, придти и въ будущемъ. Самое совершенное, практическое примѣненіе этого идеала было уже осуществлено исторіей въ крѣпостномъ правѣ: но ежели вглядѣться въ это явленіе попристальнѣе, то окажется, что даже въ его основѣ лежало не столько смиреніе, сколько принужденіе. Смиреніе было лишь исходнымъ пунктомъ, изъ котораго впослѣдствіи распустилось пышнымъ цвѣткомъ крѣпостное право: но поддерживалось и питалось оно исключительно принужденіемъ. Если-бъ это было иначе, не предстояло бы надобности возбуждать вопросъ объ упраздненіи крѣпостного права, ибо смиреніе есть вещь, которая никогда никому не возбранялась да и возбранять ее выгоды нѣтъ. Но дѣло въ томъ, что смиреніе ни во что другое не можетъ развиться, какъ только въ крѣпостное право: а слѣдовательно, ежели вновь возвести его на степень общественнаго идеала, то придется опять быть свидѣтелемъ нарожденія крѣпостного права, а затѣмъ и опять хлопотать объ его упраздненіи. Сколько переполоховъ, хлопотъ, экзекуцій! Во имя чего? — не во имя того, чтобы впослѣдствіи имѣть право сказать: этихъ людей сѣкли, дабы они умѣли пользоваться дарами свободы и насладились плодами матеріальнаго и нравственнаго обезпеченія, а для того, чтобы сказать: этихъ людей сѣкли, дабы они были смиренными. Что-жъ дальше? Какія практическія послѣдствія этого идеала, кромѣ всеобщаго обезличенія и обнищанія? Стóитъ ли хлопотать изъ-за этого?

Но не въ томъ еще дѣло, что идеалы, на которые указываетъ общественное мнѣніе и литература, негодны, а въ томъ, что ежели, напримѣръ, говорятъ, что задача русскаго общества заключается въ осуществленіи «цѣльности» жизни, то вопросъ: въ чемъ же состоитъ задача русскаго общества?—все-таки остается открытымъ. Подобнаго признака

исторія не только не можетъ принять въ соображеніе при опредѣленіи стремленій и желаній общества въ данную минуту, но не имѣетъ права даже останавливаться на немъ. Въ глазахъ ея это не признакъ, а празднословіе—и ничего больше. Поэтому все, что она можетъ сдѣлать въ виду подобныхъ отвѣтовъ,- это сказать: въ такую-то эпоху русское общество, быть-можетъ, и обладало какими-либо политическими и соціальными идеалами, но, за невозможностью формулировать ихъ, ограничивалось лишь нѣкоторыми загадочными выраженіями, думая, конечно, замѣнить ими тѣ конкретныя представленія, которыя одни могутъ служить цѣлью для общественныхъ стремленій. Или, выражаясь точнѣе, общество обманывало само себя, окружая призраками свое настоящее и запутывая ими свое будущее.

Итакъ, несмотря на изобиліе отвѣтовъ, настоящаго, дѣльнаго отвѣта все-таки нѣтъ. Слѣдуетъ ли изъ этого заключать, что русское общество живетъ вовсе безъ желаній, безъ идеаловъ?—Само собой разумѣется, что нѣтъ, ибо допустить подобное предположеніе значило бы допустить исключеніе русскаго общества изъ общечеловѣческой семьи, а это было бы слишкомъ ужъ опрометчиво. Мы помнимъ даже одинъ моментъ (и очень недавній), когда можно было уловить очертанія нашихъ общественныхъ желаній и стремленій, но, къ сожалѣнію, моментъ этотъ былъ такъ коротокъ, что не успѣли мы оглянуться, какъ очертанія стерлись, а на мѣсто ихъ снова выступили: смиреніе, любовь, цѣльность да загадочное «новое слово». То-есть опять наступили времена доисторическія.

Тѣмъ не менѣе не слѣдуетъ забывать, что такой моментъ, когда общественныя желанія изъ области безформенности готовы были вступить на почву практическую, существовалъ несомнѣнно. И на первыхъ порахъ эти желанія выразились очень конкретно и ясно: въ упраздненіи крѣпостного права и въ учрежденіи правильнаго суда. Общія мѣста и забористаго свойства слова были на время покинуты. Не было рѣчи ни о смиреніи, ни о цѣльности, ни о любви, потому что для пустословія нѣтъ мѣста тамъ, гдѣ предстоитъ прямое практическое дѣло.

Какое же однако можно вывести отсюда заключеніе относительно идеаловъ русской жизни?

Покуда заключеніе можетъ быть только слѣдующее: что русскіе общественные идеалы не противорѣчатъ идеаламъ общечеловѣческимъ, и что они, точно такъ же, какъ и по-

слѣдніе, лежатъ на реальной почвѣ. Но въ чемъ именно заключается полнота этихъ идеаловъ и выяснится ли она когда-нибудь настолько, насколько, напримѣръ, выяснились идеалы французскаго общества,—это и по-днесь остается загадкою.

Есть мнѣніе, довольно распространенное, которое указываетъ на послѣдніе успѣхи нашей жизни какъ на фактъ, свидѣтельствующій о достиженіи нами общественнаго идеала. Но, признавая всю несомнѣнность упомянутыхъ успѣховъ, всю благотворность ихъ вліянія на жизнь, едва ли можно остановиться на мысли о такой ихъ непреложности, которая позволила бы счесть прогрессъ завершеннымъ. Сомнѣнія, которыя при этомъ возникаютъ, совсѣмъ не плодъ капризной и прихотливой мысли, но прямо вытекаютъ изъ практики. Жизнь хороша и привольна—слова нѣтъ; но все же нельзя не сознаться, что и въ этой привольной жизни кое-чего недостаетъ. Недостаетъ, напримѣръ, возможности знать, чего мы желаемъ, къ чему стремимся, чему симпатизируемъ. Допустимъ даже, что это требованіе прихотливое, но не забудемъ и того, что множество требованій, которыя считались прихотливыми относительно обществъ доисторическихъ, дѣлались совершенно законными и естественными, какъ скоро тѣ же самыя общества вступали въ историческій періодъ своего существованія.

Самый существенный интересъ для общества заключается въ познаніи самого себя, своихъ силъ, симпатій и цѣлей, а, пожалуй, даже и въ уясненіи искомаго новаго слова. Это первый признакъ и притомъ единственное прочное доказательство его дѣйствительнаго вступленія на стезю исторической жизни. Обладаемъ ли мы этимъ самопознаніемъ? и если обладаемъ, то почему же оно высказывается до того неслышно, что высказъ этотъ не оставляетъ по себѣ никакихъ слѣдовъ?—Покуда этотъ вопросъ тяготѣетъ надъ нами, мы едва ли будемъ правы, свидѣтельствуя во всеуслышаніе о нашемъ обновленіи.

Къ сожалѣнію, общество наше выдержало въ прошедшемъ такую тяжелую школу, что даже первые, частные признаки обновленія уже пресытили и утомили его. Блеснувшія на горизонтѣ лучезарныя точки ослѣпили; шорохъ, произведенный зачатками движенія, оглушилъ. Простыя просѣки оно приняло за окончательную цѣль задачи своего существованія и, прорубивъ ихъ, успокоилось. Признаки этого успокоенія или, лучше сказать, утомленія мы уви-

димъ вездѣ, если будемъ смотрѣть непредубѣжденными глазами. Да это и неудивительно, потому что приступъ къ дѣлу никогда не можетъ быть равносиленъ его разрѣшенію, а дѣятельность, вращающаяся исключительно около этого приступа и не идущая далѣе, никогда не удовлетворитъ настоятельнѣйшей и законнѣйшей потребности человѣка: потребности развитія. Слѣдовательно прежде всего необходимо, чтобы общество наше, несмотря на сдѣланныя уже имъ попытки въ смыслѣ обновленія, все-таки серьезно спросило себя: чего оно хочетъ, чему симпатизируетъ и къ чему стремится...

И вотъ, когда оно предложитъ себѣ этотъ вопросъ не для шутки, когда оно серьезно сочтетъ себя обязаннымъ отвѣтить на него, тогда можно будетъ оцѣнить, каковъ будетъ этотъ отвѣтъ, и есть ли возможность видѣть въ немъ признакъ дѣйствительнаго обновленія..

Глава IV.

Стало-быть, ежели нѣтъ возможности формулировать, чего мы желаемъ, что̀ любимъ, къ чему стремимся, и ежели притомъ (какъ это доказала ревизія Пермской губерніи), несмотря на благодѣянія реформъ, человѣкъ, выходя изъ дому съ твердымъ намѣреніемъ буквально исполнять всѣ требованія закона, все-таки не можетъ заранѣе опредѣлить, въ какомъ видѣ воротится онъ домой: высѣченнымъ или помилованнымъ, то понятное дѣло, что горячиться и подниматъ вопли энтузіазма не изъ чего.

Мы и не горячимся, но поступаемъ такъ, какъ бы и вѣкъ намъ предстояло не знать, будемъ ли мы высѣчены или помилованы.

Столь резонное отношеніе къ суетѣ сего міра до крайности упрощаетъ наше положеніе. Оно вычеркиваетъ изъ нашего лексикона множество совсѣмъ ненужныхъ словъ («отвѣтственность», «обязанность» и т. п.); оно упраздняетъ всякія сомнѣнія насчетъ будущаго, слѣдовательно отгоняетъ отъ насъ и заботу, эту мучительницу человѣка, не перестающую преслѣдовать его съ той самой минуты, какъ только онъ начинаетъ сознавать свое положеніе. Мы никакихъ положеній не сознаёмъ, а потому ни о чемъ не заботимся, ничего не боимся, ни къ чему не обязываемся и ни за что не отвѣчаемъ. Мы просто-на̀-просто «благополучно почиваемъ».

Призовите на помощь самую крайнюю утопію, и вы не

найдете ничего, что̀ могло бы сравниться съ утопіей, ежедневно развертывающейся передъ вашими глазами. Жизнь, текущая по маслу, жизнь, сложившаяся такъ прочно, что стихіи, ее составляющія, дѣйствуютъ съ математическою точностью, не перебивая и не перевѣшивая другъ друга, жизнь безъ заботъ, съ однимъ пѣніемъ и танцами—развѣ это не утопія изъ утопій? Насъ стращаютъ именами Кабе и Фурье, намъ представляютъ какое-то пугало въ видѣ фаланстера, а мы споконъ вѣку живемъ въ фаланстерѣ и даже не чувствуемъ этого! Не чувствуемъ, потому что къ фаланстеру Фурье надо пройти черезъ множество разнообразныхъ общественныхъ комбинацій, составляющихъ принадлежность періода цивилизаціи, а нашъ фаланстеръ самъ подкрался къ намъ, помимо всякихъ комбинацій, и слѣдовательно достался, такъ сказать, даромъ, безъ всякой цивилизаціи...

То нравственное равновѣсіе, которое, по предложенію Фурье, достигается при посредствѣ гармонической игры страстей, давнымъ-давно нами достигнуто и воплощено путемъ гораздо кратчайшимъ: путемъ крѣпостного права. Не надо забывать, что хотя крѣпостное право не только не поощряло игру страстей, но даже безусловно преслѣдовало всякія азартныя игры, но это ограниченіе отнюдь не исключало возможности гармоніи. Страсти не играли, но взамѣнъ того регулировались, и такъ какъ регуляризація эта, для большей вѣрности, была сосредоточена въ одномъ лицѣ (помѣщикѣ), то весьма естественно, что для прочихъ членовъ крѣпостного фаланстера оставалось одно: равновѣсіе души. Идя другимъ путемъ, вступая въ храмъ гармоніи съ задняго крыльца, мы тѣмъ не менѣе имѣли полное право кичиться, что главная цѣль нами достигнута. Это была дѣйствительная гармонія тишины, порядка и безпечности. Объ угрозахъ будущаго не могло быть и рѣчи, потому что когда люди уже стоятъ на точкѣ нравственнаго равновѣсія, тогда имъ море по колѣна, а слѣдовательно необезпеченность вполнѣ равняется обезпеченности. Если человѣкъ совершенно увѣренъ въ необезпеченности своего завтрашняго дня, то это все равно, какъ бы онъ былъ совершенно увѣренъ въ его обезпеченности. Увѣренность — вотъ главное: съ исчезновеніемъ ея начинается смута. Несчастіе человѣка, стоящаго между двумя фаланстерами, крѣпостнымъ и гармоническимъ, въ томъ собственно и заключается, что въ немъ уже поколебалась увѣренность, что

онъ уже можетъ нѣчто подозрѣвать и о чемъ-то безпокоиться. Онъ еще не достигъ дѣйствительнаго нравственнаго равновѣсія, но въ то же время уже вышелъ изъ состоянія тѣла, перебрасываемаго изо дня въ день по прихоти вѣтровъ. Ясно, что онъ долженъ быть несчастливымъ, и что несчастіе его начинается именно съ той минуты, когда ему приходится жить за свой собственный счетъ.

Поколебалась ли эта увѣренность въ современномъ русскомъ обществѣ? На этотъ вопросъ одни отвѣчаютъ утвердительно, другіе—отрицательно. Но разногласіе по вопросу столь существенному уже само по себѣ дурной признакъ. Стало-быть, дѣло это не для всѣхъ одинаково ясно, стало-быть, есть въ немъ нѣчто сомнительное, коль скоро возможна не только постановка вопросовъ по его поводу, но и разнообразное ихъ разрѣшеніе. Допустимъ даже за вѣрное, что нѣкоторая свобода прозрѣвать въ будущемъ и народилась, но если признаки этого нарожденія не настолько ясны, чтобъ устранить всякій поводъ игнорировать ихъ, то очевидно, что рѣшительный шагъ въ этомъ смыслѣ — еще впереди.

Утвердительный отвѣтъ въ пользу выхода изъ періода обезпеченной необезпеченности почти всегда исходитъ изъ лагеря нашихъ патентованныхъ прогрессистовъ. Это люди, преимущественно склонные идти впередъ «въ надеждѣ славы и добра». Ретрограды и консерваторы въ этихъ случаяхъ обыкновенно помалчиваютъ или коварно улыбаются.

Прогрессисты — люди восторженные и чувствительные. Уста ихъ легко наполняются болтовнею, сердца—вздохами, глаза — слезами. По самомалѣйшему поводу они готовы воскликнуть: «нынѣ отпущаеши...»—но съ тѣмъ однако-жъ, чтобъ ихъ не отпустили. И такъ какъ ихъ дѣйствительно не отпускаютъ (это въ своемъ родѣ люди полезные, ибо ими гнилые заборы подпирать можно), то восторженность ихъ сердецъ идетъ все crescendo и crescendo, и подъ конецъ даже не всегда остается въ предѣлахъ опрятности. Начинаются безконечные разговоры о какомъ-то знамени, которое слѣдуетъ держать твердо и бодро, и не менѣе безконечныя инсинуаціи насчетъ неблагонадежныхъ элементовъ, наплывъ которыхъ якобы не слѣдуетъ допускать...

Представьте себѣ двороваго человѣка, воспитаннаго въ суровой школѣ холопства, которому вдругъ подарили сюртукъ съ барскаго плеча,— и вы получаете ключъ къ раз-

гадкѣ той хронической пламенности, которою обуреваются наши патентованные прогрессисты. До «сюртука» дворовый человѣкъ жилъ своею обычною, скокойною жизнью: онъ чистилъ ножи, подавалъ тарелки, топилъ печи — и во всемъ этомъ видѣлъ не что иное, какъ заурядное исполненіе той обязанности, которую volens-nolens онъ выполнить долженъ. И вдругъ въ его жизнь врывается «сюртукъ» и въ одно мгновеніе ока производитъ волшебное превращеніе не только въ наружномъ видѣ, но и во всемъ внутреннемъ существѣ двороваго человѣка. Онъ не ожидалъ... онъ не былъ приготовленъ... онъ даже сомнѣвается, точно ли онъ достоинъ... А кровь такъ и приливаетъ къ головѣ, а сердце такъ и саднитъ отъ наплыва какого-то невѣдомаго чувства. И вотъ, весь просвѣтленный и недоумѣвающій, онъ начинаетъ слагать гимнъ. Первыя строфы гимна робки, а потому не вполнѣ противорѣчатъ здравому смыслу: но чѣмъ дальше идетъ работа славословія, тѣмъ больше и больше опьяняется творецъ его, опьяняется не виномъ, а собственнымъ своимъ просвѣтлѣніемъ. Онъ говоритъ, что душа безсмертна, и что тарелку надлежитъ подавать съ благоговѣніемъ. Онъ не говоритъ, а кричитъ. Онъ называетъ себя червемъ ползучимъ; онъ свидѣтельствуетъ о своемъ недостоинствѣ и произноситъ клятвы, которыя могутъ опалить не совсѣмъ осторожнаго прохожаго. Отъ окончательнаго кощунства спасаетъ его только чищеніе ножей, которое, къ счастію, не прекращаетъ своего дѣйствія. Оно одно приводитъ его въ себя и предохраняетъ его сердце отъ разрыва.

Примѣните сейчасъ написанную картину къ современнымъ русскимъ прогрессистамъ — и вы поймете, что эти послѣдніе тоже получили «сюртукъ»; а такъ какъ онъ былъ ими незаслуженъ, то тотчасъ же захмелѣли. Ничтожество ихъ основныхъ притязаній къ жизни было таково, что свалившійся съ неба подарокъ разомъ исчерпалъ все содержаніе ихъ существованія. Въ строгомъ смыслѣ нельзя даже сказать, чтобъ они когда-нибудь имѣли какія бы то ни было притязанія. Они наравнѣ съ прочими подавали тарелки и только по недоразумѣнію считали себя прикомандированными къ какимъ-то вопросамъ, преимущественно же къ вопросу о крѣпостномъ правѣ. Но въ этомъ случаѣ слово претило имъ гораздо больше, нежели самая вещь, нежели та совокупность разнообразнѣйшихъ отношеній, которая за этимъ словомъ скрывалась. Они ухитрились за-

межевать понятіе о крѣпостномъ правѣ въ самыя тѣсныя границы и сообщить ему чисто спеціальное значеніе, не имѣющее никакой органической связи съ общимъ строемъ жизни. Понятно, что при такой упрощенности запросовъ отвѣчать на нихъ, и даже съ нѣкоторой наддачею, не стоило большого труда. И дѣйствительно, отвѣтъ послѣдовалъ скоро, но на первыхъ же порахъ наполнилъ сердца прогрессистовъ не торжествомъ, а какою-то странною смутою. Имъ и радостно было, что предметъ ихъ многолѣтняго будированія наконецъ осуществился, и въ то же время жалко было самаго процесса будированья, для котораго не было уже пищи. А между тѣмъ это будированье давало имъ хорошее положеніе въ обществѣ, окружало ихъ обаяніемъ и въ особенности располагало къ нимъ женскія сердца. Никогда оно не заключало въ себѣ ничего рѣзкаго, никогда не выходило изъ предѣловъ тихаго курлыканья благовоспитанныхъ каплуновъ,—и вдругъ всякій поводъ для курлыканья исчезъ.

Вотъ тогда-то явились на выручку энтузіазмъ и сокрушеніе о своемъ недостоинствѣ. Старики воспламенились, вскипѣли и, не говоря дурного слова, стали обзывать себя червями ползучими, а прохожихъ упрекать въ неблагодарности. Они поняли, что питающійся восклицательными знаками энтузіазмъ столь же дешевъ, какъ и питавшееся восклицательными же знаками фрондерство,—и безъ оглядки пустились по новому пути. И благо имъ, потому что операція эта возстановила упавшій кредитъ ихъ и крѣпче прежняго утвердила ихъ положеніе въ обществѣ. Теперь они на всѣхъ перекресткахъ кричатъ: «мы и мечтать не смѣли!»—и когда посторонніе люди просятъ ихъ успокоиться и придти въ себя, они на всѣ увѣщанія даютъ одинъ и тотъ же отвѣтъ: «мы и мечтать не смѣли!»

Источникъ энтузіазма былъ искусственный, развитіе его—неожиданно; но восторженность имѣетъ то свойство, что питаетъ сама себя, и потому нерѣдко достигаетъ предѣловъ разнузданности. При такихъ условіяхъ, въ воображеніи прогрессистовъ происходитъ нѣчто подобное тому, что происходитъ въ природѣ въ лунную ночь, когда тѣни отъ предметовъ разрастаются до невѣроятныхъ размѣровъ, каналы кажутся акведуками, будки — дворцами, груды камней — монументами. «Мы и мечтать не смѣли!» — этого одного достаточно, чтобы поставить вопросъ о человѣческой автономіи внѣ споровъ. Да, современный чело-

вѣкъ уже вступилъ въ періодъ совершеннолѣтія и самостоятельной дѣятельности; онъ получилъ то, «о чемъ мы даже мечтать не смѣли», а потому на него же должна пасть и отвѣтственность за будущія его судьбы...

Такъ повѣствуютъ прогрессисты, и любопытно видѣть и слышать, какъ они бьютъ себя въ грудь, доказываютъ, перечисляютъ. Съ какимъ наивнымъ нахальствомъ даютъ они понять, что если бы не они, то общество осталось бы ни при чемъ; съ какимъ простодушнымъ лукавствомъ намекаютъ, что и въ будущемъ кой-чего отъ нихъ ожидать можно. Только не вдругъ—это главное: потому что если будемъ слишкомъ натягивать струны, то онѣ могутъ лопнуть.

Эти оговорки необходимы. «Не вдругъ!»—это цѣлая философская система; это гора будущаго, которая можетъ разродиться мышью, но въ которой могутъ скрываться и алмазныя копи. Ждите сколько угодно—«не вдругъ» всегда и на всѣ вопросы будетъ отвѣтомъ своевременнымъ и вполнѣ цѣлесообразнымъ. Кто знаетъ, можетъ-быть, оно, это неизвѣстное, должно черезъ минуту разрѣшиться, а тутъ какой-нибудь нетерпѣливецъ, презрѣвшій теорію «не вдругъ», испортитъ все дѣло! Стало-быть, лучше всего ждать и вѣрить, вѣрить и ждать...

Но надо же знать, чего ждать. Если періодъ обезпеченной необезпеченности подлинно упразднился, то надо указать на несомнѣнные признаки этого упраздненія. Все это необходимо не въ видахъ удовлетворенія пустой прихоти людей, а въ видахъ утвержденія въ нихъ вѣрованій и надеждъ. И что̀ же? Тутъ-то именно и высказывается ахиллесова пята нашихъ прогрессистовъ или, лучше сказать, тутъ-то каждый изъ нихъ всецѣло, всѣмъ существомъ своимъ, оказывается сплошною ахиллесовою пятою. «Мы и мечтать не смѣли!» говорятъ они, но развѣ это отвѣтъ? Вы не смѣли мечтать, — ну и продолжайте не смѣть, но отчего же не мечтать другимъ?

Приверженность къ восклицательнымъ знакамъ и стремленіе замѣнить ими опредѣленность и трезвость рѣчи составляютъ типическую черту нашихъ прогрессистовъ-энтузіастовъ. Несмотря на клятвенныя увѣренія, что все совершающееся и могущее совершиться какъ нельзя болѣе ясно,—людямъ, не развращеннымъ напускною восторженностью, не безъ основанія кажется, что это ясность мнимая, могущая существовать только въ такихъ головахъ, въ которыхъ никогда ни о чемъ дѣйствительно-яснаго предста-

вленія не было. И еще сдается, что всѣ эти quasi-восторженные субъекты суть не что иное, какъ порожніе сосуды, которые въ свое время наполнялись будированіемъ, теперь наполняются энтузіазмомъ, а завтра будутъ наполняться... чѣмъ Богъ послалъ.

Какъ бы то ни было, но разпузданность энтузіазма отнимаетъ у нашей прогрессистской пропаганды всякую убѣдительность. Увѣренность, что русское общество безвозвратно вышло изъ состоянія необезпеченности, въ которомъ оно находилось во время существованія крѣпостного равновѣсія души, встрѣчаетъ совсѣмъ не такъ много прозелитовъ, какъ это было бы желательно. Жалѣть ли объ этомъ?— конечно, жалѣть.

Жалѣть объ этомъ слѣдуетъ тѣмъ болѣе, что рядомъ съ мнѣніемъ патентованныхъ прогрессистовъ существуютъ мнѣнія совершенно имъ противоположныя. Они утверждаютъ, что крѣпостной фаланстеризмъ продолжаетъ проникать собой всѣ явленія общественной жизни; что онъ только лишился прежняго плотнаго центра, но въ разлитомъ видѣ едва ли не представляетъ еще больше угрозъ. Жалѣть ли о томъ, что подобныя мнѣнія существуютъ? — опять-таки само собой разумѣется, что жалѣть слѣдуетъ...

Но не надо забывать при этомъ, что существенная причина разногласія все-таки заключается въ томъ туманѣ, который окружаетъ вопросъ, самъ по себѣ очень простой и ясный. Вопросъ этотъ формулируются такъ: можетъ ли современный человѣкъ, независимо отъ угрозы, представляемой перспективою естественной смерти, провидѣть сегодня, что̀ случится съ нимъ завтра? Разрѣшите этотъ вопросъ не голословными утвержденіями или отрицаніями, а на основаніи фактовъ, которыхъ конкретность не подлежитъ сомнѣнію, — и будьте увѣрены, что всѣ разногласія упадутъ сами собою.

На-дняхъ мнѣ случилось провести вечеръ въ очень интересномъ обществѣ. Тутъ было цѣлыхъ четыре столоначальника: одинъ изъ нихъ служитъ въ департаментѣ недоумѣній и оговорокъ; другой — въ департаментѣ дивидендовъ и раздачъ; третій — въ департаментѣ изысканія источниковъ и наполненія безднъ. Народъ все бодрый и прогрессистъ. Присутствовалъ еще дѣлопроизводитель изъ департамента любознательныхъ производствъ; но тотъ болѣе молчалъ и, подъ видомъ раскладыванія гранъ-пасьянса, съ большимъ тактомъ прислушивался.

Каждый изъ столоначальниковъ удостовѣрялъ, что дѣятельность въ его департаментѣ кипитъ. Одинъ разсказывалъ, что комиссія «по части приведенія въ надлежащій видъ оговорокъ» должна на-дняхъ выдать шестьдесятъ первый томъ своихъ трудовъ. Другой сообщалъ, что комиссія «о наилучшемъ и наиноспѣшнѣйшемъ пополненіи безднъ», окончивъ сто первый томъ своихъ трудовъ, заключила: приступить къ новому разсмотрѣнію собранныхъ матеріаловъ и для сего образовать новую комиссію, старую же упразднить, сохранивъ членамъ ея присвоенные имъ оклады содержанія. Третій повѣствовалъ, что хотя ихъ департаментъ нѣсколько отсталъ отъ прочихъ, но, со вступленіемъ новаго директора, комиссія «о преподаніи большей вразумительности и быстроты отказамъ» въ теченіе какого нибудь мѣсяца уже успѣла выработать обширный трудъ, подъ названіемъ: «Взглядъ на причины», который и будетъ на сихъ дняхъ отпечатанъ въ трехъ томахъ, съ пятнадцатью къ онымъ приложеніями. Четвертый наконецъ обрадовалъ извѣстіемъ, что для оживленія работъ въ комиссіи «для разработки прочной системы раздачъ» приглашенъ, въ качествѣ эксперта отъ наукъ, одинъ извѣстный своею находчивостью экономистъ.

Все было, слѣдовательно, въ порядкѣ: молодые люди пламенѣли и порывались; я, съ своей стороны, смотрѣлъ на нихъ и радовался.

Вообще съ нѣкотораго времени я какъ-то чаще начинаю радоваться. Состоя членомъ нѣсколькихъ благотворительныхъ обществъ, я убѣдился, что человѣкъ—самъ творецъ собственныхъ несчастій. А такъ какъ дѣла мои идутъ прекрасно, то мало-по-малу въ мою душу проникла та ясность, то равновѣсіе, до которыхъ возвысился (въ комедіи Островскаго: «Доходное мѣсто») старикъ Юсовъ въ ту минуту, когда онъ произноситъ знаменитый монологъ, начинающійся словами: «я могу плясать!» Что̀ мнѣ за дѣло до того, что есть люди, которые не могутъ плясать? *Я* могу плясать—и этимъ вопросъ о плясаніяхъ для меня совершенно исчерпывается. Ноша за мной не тянетъ, а потому я вижу цвѣтокъ — на цвѣтокъ радуюсь, птицу вижу — на птицу радуюсь. Вездѣ премудрость вижу. И не одобряю людей, которые не видятъ премудрости, а слѣдовательно и не пляшутъ. Стало-быть, ноша какая-нибудь у нихъ сзади тянетъ, размышляю я и уже издали, завидя такого субъекта, кричу ему:

— Не одобряю, государь мой, не одобряю!

Итакъ, я сидѣлъ и радовался, ибо, очевидно, ни за однимъ изъ этихъ бодрыхъ молодыхъ людей никакой ноши не было. Когда всѣ новости были высказаны, мы не безъ труда сообразили, что если всѣ комиссіи приведутъ свои труды къ благополучному окончанію, то изъ этого можетъ произойти 666 томовъ полезнѣйшихъ матеріаловъ, которыми, конечно, не преминутъ воспользоваться другія комиссіи. Эти другія комиссіи подвергнутъ собранные матеріалы освѣженію и дополненію и въ свою очередь издадутъ 666 томовъ трудовъ, которыми въ свое время не преминутъ воспользоваться третьи комиссіи. Третьи же комиссіи...

Но здѣсь представленіе о безконечной преемственности комиссій и непрерывности освѣженій и дополненій навело насъ на идею о вѣчности. Идея же о вѣчности зажгла души восторгомъ. Мы вскочили съ мѣстъ и безъ всякаго законнаго основанія начали цѣловаться.

— А долгонько-таки придется вамъ канитель-то тянуть!— вдругъ вступился дѣлопроизводитель департамента любознательныхъ производствъ.

Мы не вдругъ поняли. Сначала даже, весело потирая руки, механически повторяли: «долгонько! долгонько!» Но потомъ однако-жъ сообразили, что въ замѣчаніи мрачнаго дѣлопроизводителя скорѣе скрывается иронія, нежели поощреніе нашимъ восторгамъ.

— А по-вашему какъ?—бросились мы къ нему.

— А по-моему вотъ какъ!

Онъ махнулъ ладонью руки сверху внизъ, какъ будто разсѣкалъ гордіевъ узелъ.

Тогда самъ собою возникъ вопросъ: можно ли вдругъ перевернуть міръ вверхъ дномъ? Тема была безконечная, какъ сама безконечность, слѣдовательно обмѣнъ мыслей полился рѣкою.

Столоначальники утверждали, что вдругъ нельзя, и доказывали это примѣромъ комиссій, которыя перевертываютъ міръ исподволь и лишь по зрѣломъ и внимательномъ обсужденіи. Дѣлопроизводитель, напротивъ того, утверждалъ, что можно, о комиссіяхъ же отозвался непочтительно, въ родѣ того, что онѣ, дескать, ничего не дѣлаютъ, а только въ проходномъ ряду пылью торгуютъ.

— Согласитесь однако, что ежели предварительно мы не приведемъ въ ясность всѣхъ оговорокъ, то движеніе

впередъ будетъ, по малой мѣрѣ, затруднено, а быть-можетъ, и совсѣмъ невозможно!—ораторствовалъ столоначальникъ департамента недоумѣній и оговорокъ.

— А я съ своей стороны спрашиваю: если не будутъ преподаны совершенно ясныя и твердыя правила насчетъ наполненія безднъ, то какимъ же образомъ вы приведете оныя въ равновѣсіе съ источниками? —вопрошалъ, въ свою очередь, столоначальникъ департамента изысканія источниковъ и наполненія безднъ.

— Никакимъ, да и не надо!—какъ-то грубо отрубилъ дѣлопроизводитель.

— Но балансъ, милостивый государь! во всякомъ дѣлѣ требуется балансъ! Съ одной стороны...

— Ну, да, съ одной стороны принимая во вниманіе, а съ другой стороны—имѣя въ виду... Знаемъ мы, какъ эти слюни-то распускаютъ. Вамъ это-то и любо!

Дѣлопроизводитель уперся и утверждалъ, что въ средствахъ перевернуть міръ вверхъ дномъ никогда недостатка не имѣлось и не имѣется: была бы только охота. Взялъ, пришелъ и перевернулъ—безъ всякихъ комиссій.

— Безъ малѣйшихъ-съ! — прогремѣлъ онъ, ворочая зрачками.

Я сидѣлъ и радовался. Съ одной стороны, мнѣ нравился этотъ смѣлый узлорѣшитель, который, согласно съ бывшими примѣрами, намѣревался единолично, безъ участія комиссій, обновить міръ; съ другой стороны, нравились также и эти степенные молодые люди, бодро вступившіе на стезю обновленія, но, въ виду могущихъ быть увлеченій, обставившіе его цѣлою сѣтью комиссій. А что всего больше нравилось—такъ это мысль, что пройдетъ какихъ-нибудь полчаса, и эти два элемента, повидимому, столь противоположные, сольются и будутъ, какъ ни въ чемъ не бывало, вмѣстѣ закусывать и пить водку!

«Побольше подобныхъ обмѣновъ мыслей,—думалъ я:—и дѣло нашего возрожденія будетъ упрочено навсегда!» Но въ то же время я чувствовалъ, что и мнѣ необходимо сказать свое слово, и именно слово примирительное, такое, съ помощью котораго человѣку было бы ловко пройти по середочкѣ. Поэтому, когда дѣло дошло до такихъ выраженій, какъ «выѣденное яйцо», «шваль», «отребье» и т. п., я счелъ долгомъ вступиться.

— Позвольте, господа!—сказалъ я:—по моему мнѣнію, разногласіе между вами совсѣмъ несущественно. Скажите,

что собственно вы утверждаете?—обратился я къ столоначальникамъ.

— Мы утверждаемъ, что нельзя вдругъ перевернуть міръ вверхъ дномъ!—очень рѣшительно отвѣчали они.

— Гм!.. вдругъ!!.. стало-быть, самый принципъ перевертыванья вы допускаете?... хорошо-съ. Вы-съ?—обратился я къ дѣлопроизводителю.

— А я говорю, что можно и должно!—отвѣчалъ онъ съ азартомъ.

— Гм!.. стало-быть, во всякомъ случаѣ, и вы, и вы—въ принципѣ допускаете, что перевернуть міръ вверхъ дномъ надлежитъ?

— Конечно... но...—заикались столоначальники.

— Стало-быть, васъ раздѣляетъ слово «вдругъ»?

— Ну, да... конечно... но...

— Что тутъ еще толковать! — огрызнулся дѣлопроизводитель.

— Позвольте-съ. Но для того, чтобы міръ когда-нибудь былъ перевернутъ,—обратился я спеціально къ столоначальникамъ:—нужно же понемногу его перевертывать?...

Столоначальники разинули рты, но дѣлопроизводитель не далъ имъ говорить.

— Не понемногу, а разомъ! сейчасъ! сію минуту!—выходилъ онъ изъ себя.

— Позвольте-съ. Предположимъ, что предпріятіе ваше увѣнчалось успѣхомъ,—обратился я на сей разъ уже къ дѣлопроизводителю:—что вы взяли, пришли и перевернули міръ вверхъ дномъ!.. Дальше-съ?

Я нарочно остановился, чтобы видѣть, какой эффектъ производитъ мой діалектическій пріемъ.

— Не мямлите, ради Христа!—раздражительно прервалъ меня мой оппонентъ.

— Какъ думаете вы: не получится ли у васъ въ результатѣ, что, вслѣдствіе слишкомъ быстраго повертыванья, міръ вновь очутится на старомъ мѣстѣ?

Я торжествовалъ. Каламбуръ мой удался какъ нельзя больше; столоначальники неистово хлопали въ ладоши, дѣлопроизводитель смутился. Тѣмъ не менѣе, для очищенія совѣсти, онъ все-таки упорствовалъ и совершенно уже голословно повторялъ:

— Нѣтъ! мы никогда съ вами не сойдемся:

— Итакъ,—продолжалъ я:—соглашеніе между вами, господа, не только возможно, но и легко. Признаемъ въ прин-

цинѣ пользу перевертыванья и затѣмъ вооружимся лишь противъ тѣхъ злоупотребленій, которыя могутъ заключаться въ перевертываньи съ слишкомъ зрѣлымъ онаго обсужденіемъ, т.-е. противъ медленности, обнаруживаемой въ этомъ дѣлѣ нашими комиссіями. Для этого, мнѣ кажется, совершенно достаточно поставить за правило, чтобы комиссіи эти ограничивали количество своихъ трудовъ десятью томами... не больше-съ! и затѣмъ уже приступали къ перевертыванью безъ всякаго сомнѣнія!

— Гм!.. тогда и волки будутъ сыты, и овцы цѣлы! — задумчиво сказалъ столоначальникъ департамента дивидендовъ и раздачъ.

— Это моя мысль!

Столоначальники согласились со мною безъ труда и тутъ же приступили къ начертанію проекта особой комиссіи «для преподанія правилъ комиссіямъ, на разные случаи учреждаемымъ»; но дѣлопроизводитель, къ удивленію моему, все-таки упорствовалъ и продолжалъ голословно повторять:

— Нѣтъ! мы никогда съ вами не сойдемся!

Кто эти «мы»? отъ чьего имени говоритъ этотъ пользующійся довѣріемъ своего начальства чиновникъ?

Признаюсь, вопросъ этотъ немало меня интересовалъ... И что же оказалось?

Оказалось, что мрачный дѣлопроизводитель служитъ въ департаментѣ любознательныхъ производствъ лишь по недоразумѣнію. Что, будучи разсматриваемъ отдѣльно отъ вицмундира, онъ — радикалъ. И наконецъ, что въ свободное отъ исполненія возлагаемыхъ на него порученій время онъ пишетъ обширное сочиненіе, подъ названіемъ: «Похвала Робеспьеру»...

Признаюсь!

Поклонниковъ доктора Панглоса, утверждающихъ, что все идетъ къ лучшему въ лучшемъ изъ міровъ, развелось нынче очень много. Не только у столоначальниковъ, но даже у будочниковъ въ умахъ одинъ вопросъ: «рожна, что ли, вамъ нужно?» И откуда они узнали, что кому-то чего-то нужно!

Тѣмъ не менѣе мы оставимъ будочниковъ въ сторонѣ, ибо провозглашеніе истинъ, въ родѣ сейчасъ приведенной истины о «рожнѣ», принадлежитъ къ числу ихъ обязанностей. Но какимъ образомъ наша литература ухитрилась сдѣлать изъ себя сокровищницу той же панглосовской му-

дрости, которая занимаетъ и умы городовыхъ, — это уже вопросъ гораздо болѣе трудный для разрѣшенія.

Здоровая традиція всякой литературы, претендующей на воспитательное значеніе, заключается въ подготовленіи почвы будущаго. Изслѣдуя нравственную природу человѣка, литература не можетъ не касаться и тѣхъ общественныхъ комбинацій, среди которыхъ человѣкъ проявляетъ свою творческую силу. Хотя, съ исторической точки зрѣнія, эти комбинаціи представляютъ не что иное, какъ созданіе самого человѣка, но то же историческое тяготѣніе сдѣлало ихъ настолько плотными и самостоятельными, что и онѣ, въ свою очередь, могутъ или вредить, или споспѣшествовать человѣческому развитію. Если-бъ источникъ творчества изсякъ, то человѣку оставалось бы сложить руки и съ покорностью ожидать ударовъ судьбы; но измѣняемость общественныхъ формъ, для всѣхъ видимая и несомнѣнная, доказываетъ совершенно противное и предрекаетъ человѣческому творчеству обширное будущее. Ежели современный человѣкъ золъ, кровожаденъ, завистливъ и алченъ, если высшіе интересы человѣческой природы онъ подчиняетъ интересамъ второстепеннымъ, то это еще не устраняетъ возможности такой общественной комбинаціи, при которой эти свойства встрѣтятъ иное примѣненіе, а слѣдовательно примутъ и иную складку. Это искомое, но такое искомое, которое нимало не противорѣчитъ элементамъ, составляющимъ человѣческую природу, ибо для всякаго наблюдателя общественныхъ явленій и теперь уже ясно, что одно и то же свойство на разныхъ ступеняхъ общественной іерархіи проявляетъ себя совершенно различнымъ образомъ, смотря по тому, въ какой обстановкѣ оно находится. Содѣйствовать обрѣтенію этого искомаго и, не успокоиваясь на тѣхъ формахъ, которыя уже выработала исторія, провидѣть иныя, которыя хотя еще не составляютъ наличнаго достоянія человѣка, но тѣмъ не менѣе не противорѣчатъ его природѣ и слѣдовательно рано или поздно могутъ сдѣлаться его достояніемъ,—въ этомъ заключается высшая задача литературы, сознающей свою дѣятельность плодотворною.

Литература провидитъ законы будущаго, воспроизводитъ образъ будущаго человѣка. Утопизмъ не пугаетъ ее, потому что онъ можетъ запугать и поставить втупикъ только улицу. Типы, созданные литературой, всегда идутъ далѣе тѣхъ, которые имѣютъ ходъ на рынкѣ, и потому-то именно они и кладутъ извѣстную печать даже на такое

общество, которое, повидимому, всецѣло находится подъ гнетомъ эмпирическихъ тревогъ и опасеній. Подъ вліяніемъ этихъ новыхъ типовъ современный человѣкъ, незамѣтно для самого себя, получаетъ новыя привычки, ассимилируетъ себѣ новые взгляды, пріобрѣтаетъ новую складку, однимъ словомъ постепенно вырабатываетъ изъ себя новаго человѣка. Что было бы въ томъ случаѣ, если бы литература, забывъ о своихъ воспитательныхъ задачахъ, пошла по другому пути... хоть, напримѣръ, по пути безплодныхъ обращеній къ прошлому?

Къ сожалѣнію, наша современная литература пошла именно по этому послѣднему пути, и потому ея воззрѣнія можно безъ малѣйшаго преувеличенія уподобить воззрѣніямъ будочниковъ, негодующихъ на исканіе какого-то рожна.

Въ общемъ ходѣ человѣческаго развитія подробности занимаютъ лишь второстепенное мѣсто; онѣ играютъ роль эпизодовъ, не имѣющихъ существеннаго вліянія на канву и процессъ движенія. Въ современной русской литературѣ, напротивъ того, подробности занимаютъ первый планъ, а дѣйствительный смыслъ движенія до такой степени заслоняется ими, что жизнь представляется сложившеюся подъ гнетомъ какого-то неслыханнаго умопомраченія. Ненавистью и желчью пропитано каждое слово современной русской литературы, и это горькое чувство могло бы имѣть очень опасныя для общества послѣдствія, если-бъ не было слишкомъ ясно, что въ основѣ его лежатъ тѣ безплодныя обращенія къ прошедшему, которыя обусловливаются корыстнымъ или наивнымъ непониманіемъ самыхъ простыхъ, общепризнанныхъ и естественныхъ законовъ человѣческаго развитія.

И на улицѣ, и въ литературѣ раздается одинъ вопль: довольно! Чего же довольно? наѣздовъ ли, устраненій ли, душевныхъ ли выемокъ, проявленій ли безсознательности, произвола и дикости?—Нѣтъ, не этого. Довольно жертвъ, довольно усилій, направленныхъ къ тому, чтобы стать на стезю сознательности.

Только глубоко вкоренившееся, такъ сказать, историческое презрѣніе къ самимъ себѣ, только вполнѣ безповоротное убѣжденіе, что мы не только въ настоящую минуту состоимъ въ должности кадетовъ цивилизаціи, но и навсегда осуждены на эту роль, могло произвести подобный результатъ. Для всѣхъ (т. е., говоря трактирнымъ слогомъ,

для тѣхъ, которые почище) - цивилизація съ ея благами, открытіями и движеніемъ; для насъ (т. е. для тѣхъ, которые еще рыломъ не вышли)—обрѣзки, помои и старое, заношенное бѣлье. И это проповѣдуется не на толкучемъ рынкѣ, не въ кабакахъ—тамъ бы куда ужъ ни шло!—а въ литературѣ...

Подобные приливы озлобленности и систематическаго омраченія небезпримѣрны и въ другихъ странахъ; но тамъ они объясняются рѣшительностью политическихъ и соціальныхъ кризисовъ, когда общественныя силы, подъ вліяніемъ исключительной паники, всецѣло охватываются интересами и опасеніями данной минуты и такимъ образомъ на время теряютъ изъ вида руководящую нить будущаго. У насъ это, такъ сказать, естественная дань преисполненныхъ благороднымъ энтузіазмомъ сердецъ. Предполагается, что мы, по самой природѣ своей, не имѣемъ правъ ни къ чему приступить, не исполнивъ предварительно танца благоговѣнія и вѣчной признательности. И вотъ, ежели мы, разсматривая какое-нибудь явленіе (послѣдствія котораго, не забудемъ, отразятся на насъ же самихъ), пробуемъ встать на одинъ съ нимъ уровень, то насъ прямо обвиняютъ въ черствости, неблагодарности и заносчивости. «Курицыны дѣти!—восклицаютъ хоромъ прогрессисты-литераторы и прогрессисты-публицисты:—посмотрите! тоже топорщатся! шеи вытягиваютъ, на цыпочки становятся!»

На мой взглядъ, будочники въ этомъ случаѣ гораздо симпатичнѣе. Произнося свое сакраментальное: «рожна, что ли, нужно?»—они, во-первыхъ, дѣйствуютъ чисто-механически, т. е. просто производятъ порядокъ, и, во-вторыхъ, едва ли даже знаютъ, что именно слѣдуетъ разумѣть подъ словомъ: «рожонъ». Несмотря на грубость интонаціи, въ ихъ голосѣ можно иногда подмѣтить благодушіе, почти состраданіе къ человѣку, который ищетъ рожна и... находитъ его. Напротивъ, чувство, одушевляющее прогрессиста-публициста, совсѣмъ другого свойства: тутъ нѣтъ и рѣчи о чемъ-нибудь примирительномъ. Для него презрителенъ самый видъ «топорщащагося» человѣка, да и самое слово «топорщиться» именно съ тою цѣлью заимствовано изъ лексикона теплыхъ русскихъ словъ, дабы въ нарочито омерзительномъ видѣ изобразить претензію человѣка на человѣческій образъ. Онъ прибѣгаетъ ко всевозможнымъ уподобленіямъ: городовыхъ именуетъ орлами; людей, ищущихъ сбросить съ себя иго безсознательности—кротами, червями и трутнями. Его изги-

баетъ, свертываетъ и коробитъ, какъ бересту, брошенную на огонь, и коробитъ не оттого, что онъ видитъ пришибленность, забитость и вольное ползаніе, а оттого, что въ глазахъ его происходитъ попытка сдѣлать человѣческій жестъ.

Откуда эта ненависть?!

Литераторъ-прогрессистъ самъ едва ли сумѣетъ объяснить себѣ причину этого явленія. Онъ дѣйствуетъ подъ вліяніемъ темперамента, который подсказываетъ ему, что русскій человѣкъ не имѣетъ права относиться къ явленіямъ жизни съ спокойствіемъ и достоинствомъ, но долженъ во всякомъ случаѣ и во что бы то ни стало благодарить. Ежели онъ не благодаритъ, то это значитъ, что онъ злокозствуетъ; а ежели злокозствуетъ, то значитъ, что самъ собой возникаетъ вопросъ о необходимости истребленія козней и интригъ. Собираются вольныя дружины, объявляется походъ и, за стукомъ мечей, забывается даже то тощее дѣло, по поводу котораго возникъ переполохъ. И все изъ-за того, что въ сердцахъ нѣтъ должной благодарности, или, говоря высокимъ слогомъ, не замѣчается надлежащей теплоты чувствъ.

Предоставляется читателю самому судить, насколько возможно развитіе и разрѣшеніе общественныхъ вопросовъ при такомъ воспалительномъ отношеніи къ нимъ даже со стороны литературы, на которую многіе и до сихъ поръ смотрятъ какъ на выразительницу общественной совѣсти...

И вотъ итоги! итоги, въ дѣйствительности которыхъ едва ли можетъ усомниться кто-либо изъ современниковъ. И опять-таки повторяю: не въ кабакахъ, не на толкучихъ рынкахъ отразились эти итоги, а въ самомъ центрѣ всѣхъ жизненныхъ итоговъ—въ литературѣ.

Даже будочники проливаютъ слезы сожалѣнія при видѣ людей, ищущихъ рожна и обрѣтающихъ его, а въ литературѣ это зрѣлище вызываетъ только зловѣщій крикъ: ату!

Естественное ли это дѣло? естественно ли, чтобъ литература являлась не воспитательницею и руководительницею общества въ его исканіяхъ идеаловъ будущаго, а обуздательницею и укротительницею?

Однако, какъ ни проповѣдуйте, что перевернуть міръ вверхъ дномъ невозможно, а исподволь перевертывать все-таки приходится. Потому что, въ противномъ случаѣ, всегда найдутся люди, которые будутъ натыкаться на рожны, а

зрѣлище этого натыканія едва ли можетъ для кого-нибудь составить пріятность.

Человѣкъ такъ ужъ устроенъ, что всякое новое пріобрѣтеніе, сдѣланное въ области знанія, ищетъ примѣнить къ себѣ, къ своему личному положенію. Это стремленіе прежде всего отражается на пріобрѣтеніяхъ будничныхъ, непосредственныхъ. Такъ, напримѣръ, ежели человѣкъ узнаетъ, что чистота и просторъ жилищъ, а равно достаточная и хорошая пища способствуютъ долголѣтію, то непремѣнно будетъ домогаться, чтобъ это жизненное условіе было у него подъ рукою. Затѣмъ, ежели онъ узнаетъ, что тому же долголѣтію способствуетъ обладаніе и другими благами, болѣе отвлеченнаго свойства, то будетъ добиваться и ихъ. Вслѣдствіе этого многіе думаютъ, что всѣ усилія должны быть направлены къ тому, чтобы человѣкъ или вовсе не «зналъ», или узнавалъ сколь возможно позднѣе. Но это лишь пустая надежда, о которой даже и говорить не стоитъ. Гораздо болѣе вѣсу имѣетъ оговорка, утверждающая, что человѣкъ, во всякомъ случаѣ, обязывается дѣлать свои попытки на собственный счетъ и страхъ. Но и объ этой оговоркѣ покамѣстъ не можетъ быть рѣчи, ибо дѣло идетъ не о практическихъ попыткахъ, а лишь о постановкѣ вопросовъ на почву обобщеній. Или, говоря языкомъ болѣе любезнымъ для нашихъ прогрессистовъ-публицистовъ,—объ обмѣнѣ мыслей.

Да, рѣчь идетъ объ обобщеніяхъ—и ни о чемъ больше, ибо сепаратныя попытки довести свое личное положеніе до извѣстнаго уровня существовали съ незапамятныхъ временъ и никогда не возбуждали ничьей подозрительности. Онѣ имѣли мѣсто даже при крѣпостномъ правѣ, которое, не поощряя игры страстей, не препятствовало однако-жъ осуществленію ея въ частныхъ случаяхъ. У всѣхъ на памяти, что бывшіе помѣщики не только не воспрещали принадлежащимъ имъ крестьянамъ пріобрѣтать нѣкоторыя жизненныя удобства, но и находили въ этомъ поводъ для удовлетворенія своего тщеславія.

— Вотъ какъ, каналья, живетъ! безъ щей съ говядиной и за обѣдъ не садится!—хвастались они передъ сосѣдями какимъ-нибудь Еремѣемъ, который, откладывая грошъ по грошу, купилъ себѣ право увеселять сердце помѣщика зрѣлищемъ «моего Еремѣя», хлебающаго наварныя щи.

Очевидно, стало-быть, что подобная попытка признавалась и естественною, и непредосудительною. Отчего же тотъ же самый вопросъ усложняется, какъ только переноо-

сится на почву обобщеній? Отвѣтъ на это обыкновенно дается такой: «помилуйте! да развѣ возможно всѣмъ?» И отвѣтъ этотъ кажется резоннымъ, не потому, чтобы онъ въ самомъ дѣлѣ былъ резоненъ, а потому, что слова «вдругъ» и «всѣ» оказываютъ на насъ точно такое же ошеломляющее дѣйствіе, какое въ комедіи Островскаго («Тяжелые дни») оказываютъ мудреныя слова въ родѣ «жупелъ» и т. д.

«Нельзя вдругъ перевернуть міръ вверхъ дномъ». «Нельзя дать все и всѣмъ!» — вотъ несложный кодексъ житейской мудрости, на которомъ сходятся и ретрограды, и консерваторы, и прогрессисты, и никому изъ нихъ не приходитъ въ голову, что это кодексъ до того уже легкій, что опираться на него могутъ только такіе люди, у которыхъ ничего нѣтъ въ запасѣ, кромѣ истертыхъ и оглоданныхъ общихъ мѣстъ.

О томъ ли идетъ рѣчь, чтобы что-нибудь перевернуть, или у одного нѣчто отнять, а другого наградить? Нѣтъ, рѣчь идетъ объ отысканіи такихъ законовъ общежитія, которые могли бы умиротворить человѣчество—и больше ни о чемъ. Вопросы о перевертываніяхъ и отношеніяхъ всецѣло принадлежатъ къ той практикѣ, которая уже и нынѣ предусматривается уголовными кодексами и слѣдовательно признаётся косвенно самими прогрессистами. Вопросы эти возбуждаются эмпирически на большихъ дорогахъ, а также въ формѣ простыхъ кражъ или кражъ со взломомъ,—что же можетъ быть общаго между ними и работою теоретической мысли?

Объектъ теоретической мысли не хаосъ и случайность, а порядокъ и законъ. Даже вырабатывая такъ-называемую утопію, она имѣетъ въ виду именно эту, а не другую какую-нибудь цѣль. Притомъ общество достаточно обезпечено отъ чрезмѣрнаго наплыва утопій тѣмъ однимъ, что послѣднія не только никогда не господствуютъ безраздѣльно, но, напротивъ того, всегда состоятъ подъ самымъ строгимъ контролемъ всевозможныхъ уличныхъ опасеній и тревогъ. Ужели этого обезпеченія мало? Ужели, въ виду фантастическихъ страховъ, внушаемыхъ ожиданіемъ наплыва утопій, можно счесть болѣе опаснымъ и цѣлесообразнымъ, чтобы вопросы жизни разрѣшались хотя сепаратными, но тѣмъ не менѣе совершенно неправильными эмпирическими попытками на большихъ дорогахъ, въ родѣ тѣхъ, о которыхъ сейчасъ говорено и которыя требуютъ для своего осуществленія темной ночи, отмычекъ и взломовъ?

Нѣтъ, это невѣрно. Противъ подобнаго эмпиризма возстаетъ даже мой другъ Ѳеденька Козелковъ, а я имѣю полное основаніе ссылаться на его авторитетъ, потому что этотъ человѣкъ уже почти администраторъ.

Я люблю Ѳеденьку не за то, что онъ считаетъ себя прогрессистомъ (онъ какъ-то ужъ слишкомъ упорно настаиваетъ на своей принадлежности къ этому сословію), а за то, что онъ простодушенъ, и это простодушіе нерѣдко внушаетъ ему мысли и дѣйствія достаточно доброкачественнаго свойства. Въ основаніи его административной системы лежитъ словцо, повидимому, очень маленькое: «можно!» но вникните пристальнѣе въ это слово, и вы убѣдитесь, что во всемъ русскомъ лексиконѣ нѣтъ его любезнѣе. «Можно!»— вѣдь это, такъ сказать, въ маломъ видѣ отпущеніе грѣховъ: это бальзамъ, пролитый на рану недоумѣнія и недомыслія: это исцѣленіе недугующихъ и страждущихъ; это не соломинка какая-нибудь, а цѣлый корабль, поспѣшающій для спасенія погибающихъ! Вся жизнь человѣческая обращается между «можно» и «нельзя», и перегородка, которая вслѣдствіе этого дѣлитъ человѣческую жизнь на двѣ половины, служитъ источникомъ мучительнѣйшихъ нетерпѣній, промаховъ и домогательствъ. И вдругъ эта перегородка, по манію Ѳеденьки, исчезаетъ, и вмѣсто нея является ровное и злачное пространство, по которому можно гулять безъ сомнѣнія... Шутка!

Конечно, Ѳеденька не принадлежитъ къ числу орловъ, но ежели разсудить хладнокровно, то орловъ и безъ того такъ много, что врядъ ли присовокупленіе одного лишняго хищника можетъ послужить украшеніемъ. Сверхъ того у Ѳеденьки имѣется и еще одинъ довольно крупный недостатокъ—это робость и даже, можно сказать, путаница въ понятіяхъ; но и это обстоятельство проходитъ незамѣтно, потому что слово: «можно!», которымъ путаница разрѣшается, покрываетъ ее до такой степени, что вмѣсто путаницы является даже цѣлая система.

И вотъ на-дняхъ, бесѣдуя съ Ѳеденькой о его административныхъ надеждахъ (онъ безпрерывно говорилъ о какомъ-то «краѣ» и, повидимому, имѣлъ даже серьезныя основанія разсчитывать на осуществленіе своихъ мечтаній), я невольнымъ образомъ вынужденъ былъ коснуться и его административныхъ взглядовъ на жизнь.

— А какъ ты полагаешь, мой другъ, насчетъ хоть бы того, что вотъ иногда... не всегда, конечно, а иногда...

люди чувствуютъ потребность размышлять, сообщать другъ другу свои наблюденія и открытія... вѣдь можно?—спросилъ я, конечно, не безъ робости, ибо очень хорошо понималъ, что вопросъ мой касается одной изъ самыхъ чувствительныхъ административныхъ язвъ.

Онъ немного задумался, ибо не далѣе какъ того же дня утромъ выслушалъ, откуда слѣдуетъ, очень обстоятельное по сему предмету поученіе. Я зналъ объ этомъ и слѣдовательно имѣлъ очень основательный поводъ безпокоиться. Но, къ удовольствію моему, простодушіе моего друга и на сей разъ взяло верхъ.

— Знаешь, что̀ я тебѣ скажу?—наконецъ произнесъ онъ (при этомъ я очень хорошо замѣтилъ, что изъ груди его вылетѣлъ вздохъ):—пускай размышляютъ, пусть даже разговариваютъ! Я положительно не вижу къ тому никакихъ препятствій!

— Подумай однако-жъ, мой другъ, вѣдь изъ этого можетъ произойти ущербъ... то-есть посягательство... ну, и прочее...—продолжалъ я испытывать Ѳеденьку.

— Нѣтъ, ужъ что̀!... Христосъ съ ними!

— Гм!.. такъ, значитъ, по-твоему можно?

— Можно!

Тѣмъ не менѣе рана, произведенная утреннимъ поученіемъ, была еще слишкомъ остра, чтобъ не вызвать коекакихъ оговорокъ. Ѳеденька въ видимомъ волненіи ходилъ по комнатѣ, и я съ прискорбіемъ замѣчалъ, что каждый новый шагъ выдвигаетъ на сцену какое-нибудь новое привидѣніе.

— Признаюсь откровенно,—произнесъ онъ, останавливаясь предо мной: — я желалъ бы одного: пусть размышляютъ, пусть обмѣниваются мыслями, но... но такъ, чтобы никто этого не замѣтилъ!

Сгоряча я не понялъ всей оглушительности этой оговорки и даже радостно протянулъ ему обѣ руки, воскликнувъ:

— Ну, да! ну, само собой разумѣется... конечно!

Но черезъ минуту однако-жъ я спохватился и сталъ допрашивать Ѳеденьку, какимъ же образомъ онъ предполагаетъ устроить, чтобъ люди откровенно сообщали другъ другу свои мысли и чтобы, въ то же время, никто этого не замѣтилъ?

— Вѣдь это все равно что если-бъ твой будущій городской голова позвалъ тебя на пирогъ и требовалъ, чтобъ ты такимъ образомъ ѣлъ, чтобъ никто этого не замѣтилъ. Ты точно такъ же зовешь ихъ на пирогъ и...

— Нѣтъ! ты меня не понялъ!—какъ-то брюзгливо прервалъ меня Ѳеденька: — я совсѣмъ не о томъ говорю! Я хочу только сказать, что было бы желательно, чтобы не всякому (онъ особенно наперъ на это слово)... tu comprends: не всякому... это было замѣтно!

Я понялъ. Мнѣ сдѣлалась ясною вся эта сложная и многохитрая система со всѣми ея развѣтвленіями, умолчаніями и оговорками. Я съ удивленіемъ смотрѣлъ на моего друга и готовъ былъ признать въ немъ искуснѣйшаго дипломата новѣйшаго времени (по части внутренней политики).

— Вѣдь они иногда очень дѣльныя мысли имѣютъ, — продолжалъ между тѣмъ Ѳеденька:—такія мысли, которыхъ пугаться рѣшительно нечего. На-дняхъ, напримѣръ, я разговорился съ какимъ-то «волосатымъ» насчетъ этого... самоуправленіемъ, кажется, оно называется?.. Ничего! Я думалъ, что онъ въ драку полѣзетъ, а онъ, напротивъ... такія мысли, что я со временемъ ихъ непремѣнно въ какую-нибудь бумагу помѣщу! Parole d'honneur!

— Ѳеденька! другъ мой!

— Вѣдь, по правдѣ-то сказать, мы всѣ немножко соціалисты... Вѣдь это, такъ сказать, наша національная подоплёка. Le socialisme, la commune — c'est tout un! Разумѣется, съ разныхъ точекъ зрѣнія...

— Ѳеденька! голубчикъ ты мой!

— Только вотъ, ежели ихъ дразнить, этихъ «волосатыхъ»... ну, тогда они дѣйствительно въ извѣстной степени свирѣпѣютъ! Но и то лишь въ «извѣстной степени», ибо окончательно свирѣпѣть и въ особенности проявлять эту свирѣпость имъ еще не разрѣшается... да! н-н-не-р-разрѣ-ша-ет-ся!

Мнѣ показалось, что, говоря эти послѣднія слова, Ѳеденька даже на меня взглянулъ какъ-то угрожающе: до такой степени натура его была подвижна. Но черезъ минуту простодушіе вновь одержало побѣду: онъ началъ подробно развивать свою административную теорію и, въ горячности чувствъ, чуть-чуть не дошелъ до равновѣсія души.

— Я докажу на практикѣ, — ораторствовалъ онъ:—да-съ, на практикѣ докажу, какая неизмѣримая разница между администраторомъ, который овладѣваетъ самъ положеніемъ, и администраторомъ, которымъ (онъ подчеркнулъ: *имъ*) овладѣваетъ положеніе!

Но я уже не слушалъ. Я спѣшилъ воспользоваться восторженнымъ настроеніемъ его души, чтобъ заручиться чѣмъ-нибудь солиднымъ.

— Итакъ, стало-быть, «можно»?

— Можно!—махнулъ онъ рукой, какъ бы давая понять, что онъ все уже разрѣшилъ, и болѣе безпокоить его мелочами не слѣдуетъ.

Ну, это, по крайней мѣрѣ, «итогъ»! —невольно подумалось мнѣ.

Сонъ въ лѣтнюю ночь.

Юбилей удался какъ нельзя лучше. Сначала юбиляръ былъ сконфуженъ и даже прослезился, но наконецъ (нужно думать, что онъ уже окончательно былъ подъ вліяніемъ торжества) до того освоился съ своимъ положеніемъ, что обратился къ чествующимъ и во всеуслышаніе произнесъ: «Господа! благодарю васъ! но думаю, что если бы вы потрудились взглянуть въ ревизскія сказки любой деревни, то нашли бы множество людей, которые если не больше, то, по крайней мѣрѣ, столько же, какъ и я, заслужили право быть чествуемыми. И слѣдовательно всѣ эти юбилеи...»

И такъ далѣе. Затѣмъ юбиляръ зарыдалъ, и многимъ послышалось, что онъ сквозь всхлипыванія произнесъ слово: «наплевать!» Послѣ чего мы разошлись по домамъ.

Впрочемъ, за исключеніемъ этой маленькой неловкости, все шло какъ по маслу.

Юбилей, о которомъ шла рѣчь, былъ устроенъ нами въ честь нашего департаментскаго помощника экзекутора (кажется, что онъ въ то же время пользовался титуломъ главноуправляющаго клозетами). Нынче вообще въ ходу юбилеи. Сначала праздновали юбилеи генераловъ, отличавшихся въ побѣдахъ неодолѣніемъ; потомъ стали праздновать юбилеи дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ, выказавшихъ неустрашимость въ перемѣщеніяхъ и увольненіяхъ; а наконецъ дошла до насъ вѣсть, что департаментъ всеобщихъ умопомраченій съ успѣхомъ отпраздновалъ юбилей своего архиваріуса. Вотъ тогда-то мы, чиновники департамента препонъ, и рѣшили: немедленно привлечь къ отвѣтственности по юбилейной части почтеннѣйшаго нашего помощника экзекутора, Максима Петровича Севастьянова.

Севастьяновъ, по правдѣ сказать, совсѣмъ даже позабылъ, что 15-го іюля 1875 года минетъ пятьдесятъ лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ облаченъ въ вицмундиръ министерства препонъ и неудовлетвореній, и тридцать—съ той минуты, какъ онъ довѣріемъ начальства былъ призванъ на постъ помощника экзекутора, къ обязанности котораго главнѣйшимъ образомъ относился надзоръ за исправнымъ содержаніемъ департаментскихъ клозетовъ. Для него было, въ сущности, все равно, что̀ пять, что̀ пятьдесятъ лѣтъ, ибо клозеты, или замѣняющія ихъ установленія, одинаково существовали какъ въ первое пятилѣтіе его государственной дѣятельности, такъ и въ послѣднее. Онъ даже не понималъ, точно ли онъ когда-нибудь *первый разъ* надѣлъ на себя вицмундиръ, и не былъ ли онъ облаченъ въ него въ тотъ достопамятный день, когда сенатскій регистраторъ Морковниковъ и жена корабельнаго секретаря Огурцова воспринимали его отъ купели. Севастьяновъ былъ старикъ угрюмый и застѣнчивый, на лицѣ котораго было, такъ сказать, неизгладимыми чертами изображено, что онъ выросъ въ уединеніи клозета. Въ справедливости этой мысли въ особенности удостовѣряло то, что онъ весь, т.-е. всѣ незакрытыя части его тѣла, поросъ волосами, такъ что издали онъ казался какъ бы подернутымъ плѣсенью сырого мѣста. Волоса выступали у него на выпуклостяхъ щекъ, на пальцахъ, закрывали почти весь лобъ, вылѣзали изъ носа и изъ ушей, а борода его даже въ тѣ дни, когда онъ ее брилъ, была синяя-пресиняя. Лицо у него было пепельнаго цвѣта, глаза больные, слезящіеся, какъ у человѣка, давно отвыкшаго отъ дневного свѣта. Такъ что когда ему сказали, что въ честь его готовится юбилей, то онъ смутился и покраснѣлъ. Да, говоря по совѣсти, и было отъ чего покраснѣть; ибо тридцатилѣтіе его состоянія въ должности помощника экзекутора какъ разъ совпадало съ тридцатилѣтіемъ же реформы клозетовъ въ департаментѣ препонъ (кажется, что по этому поводу даже и самая должность его была учреждена).

Заручившись согласіемъ предполагаемаго юбиляра, мы отправили депутацію къ директору департамента, который не только одобрилъ наше намѣреніе, но даже обѣщалъ къ серединѣ обѣда прислать поздравительную телеграмму. Съ своей стороны, вице-директоръ заявилъ, что лично приметъ участіе въ юбилейномъ торжествѣ и пригласитъ къ тому же всѣхъ начальниковъ отдѣленій. Тогда, на живую

руку, былъ составленъ краткій церемоніалъ слѣдующаго содержанія:

1. 15-го сего іюля имѣетъ исполниться пятьдесятъ лѣтъ со времени состоянія помощника экзекутора департамента препонъ, Максима Петровича Севастьянова, на службѣ въ офицерскихъ чинахъ. Въ ознаменованіе сего событія устраивается обѣденное торжество въ одной изъ залъ Палкинскаго трактира (на углу Владимірской и Невскаго проспекта).

2. Чины департамента препонъ, съ вице-директоромъ во главѣ, въ 5 часовъ пополудни, соберутся въ общемъ залѣ Палкинскаго трактира и будутъ тамъ ожидать виновника торжества.

3. Когда юбиляръ прибудетъ, то вице-директоръ, подавъ ему руку, поведетъ въ предназначенный для торжества залъ, гдѣ участниковъ будетъ ожидать роскошно сервированный столъ.

4. По вступленіи въ залъ, приступлено будетъ къ закускѣ, а по удовлетвореніи первыхъ позывовъ аппетита вице-директоръ предложитъ юбиляру за обѣденнымъ столомъ президентское мѣсто, самъ же сядетъ по правую его руку.

5. По лѣвую руку юбиляра займутъ мѣсто старшій изъ начальниковъ отдѣленій, а напротивъ — экзекуторъ, какъ непосредственный юбиляра начальникъ, лицо котораго, тоже не чуждое клозетовъ, должно непрестанно напоминать виновнику торжества объ истинномъ характерѣ его заслугъ на пользу отечества. Прочіе члены займутъ за столомъ мѣста по пристойности.

6. Во время обѣденнаго торжества имѣютъ быть предлагаемы тосты, произносимы рѣчи и прочитываемы поздравительныя телеграммы, при чемъ однако-жъ изъ пушекъ палимо не будетъ.

7. По окончаніи обѣда участвующіе въ торжествѣ перейдутъ въ сосѣдній залъ, гдѣ имъ будутъ предложены кофе, чай и ликёры. Съ этой минуты торжество принимаетъ характеръ семейный, и правила какого бы то ни было церемоніала перестаютъ быть обязательными.

Сверхъ того были приняты мѣры, чтобъ изъ провинціи, отъ подчиненныхъ мѣстъ и лицъ, присланы были ко дню юбилея поздравительныя телеграммы.

Повторяю: юбилей состоялся на славу. Юбиляръ возсѣдалъ на президентскомъ мѣстѣ, вице-директоръ — по пра-

вую руку его и т. д. Послѣ ботвиньи прочтенъ былъ адресъ отъ имени департаментскихъ чиновниковъ, въ которомъ однако-жъ о клозетахъ не упоминалось, а говорилось о дѣятельномъ участіи юбиляра въ великой реформѣ замѣны курьерскихъ телѣжекъ пролётками. По выслушаніи этого адреса, вице-директоръ всталъ съ своего мѣста и торжественно провозгласилъ, что, вмѣсто громкихъ словъ, онъ публично цѣлуетъ любезнаго виновника торжества, желая тѣмъ заявить, что начальство никогда не оставалось равнодушнымъ къ его служебнымъ подвигамъ. Затѣмъ, по мѣрѣ разнесенія блюдъ, прочитываемы были поздравительныя телеграммы. Телеграмма директора департамента гласила: «Поздравляю любезнаго старичка и надѣюсь, что усерднымъ исполненіемъ обязанностей онъ и впредь не вынудитъ меня къ принятію противъ него мѣръ строгости. Директоръ Дуботолкъ-Увольняевъ». Телеграмма изъ Конотопа выражалась: «Поднимаю бокалъ за здоровье дорогого юбиляра. Увы! вотъ уже два дня, какъ нашъ прекрасный Конотопъ горитъ. Начальникъ конотопскихъ препонъ Свирѣповъ». Телеграмма изъ Лаишева: «Съ бокаломъ въ рукѣ шлю привѣтъ почтеннѣйшему Максиму Петровичу. Вчера сгорѣла половина Лаишева. Исправляющій должность начальника лаишевскихъ препонъ, помощникъ его Гвоздилло». Телеграмма изъ Обояни: «Одинъ-на-одинъ съ бокаломъ вина возглашаю ура и многая лѣта высокочтимому юбиляру. Сегодня съ утра здѣсь свирѣпствуетъ пожаръ: до сихъ поръ сгорѣло около ста домовъ. Извѣстный вамъ Скулобевъ». А подъ самый конецъ обѣда пришла телеграмма изъ Ѳеодосіи, которая удивила всѣхъ своею загадочностью и именемъ подписавшагося подъ нею. Содержаніе ея было слѣдующее: «При отличнѣйшей погодѣ (сижу въ одной рубашкѣ), въ виду плещущаго моря, съ бокаломъ въ рукахъ, восклицаю: да здравствуетъ! и никогда да не погибнетъ! Здравствуйте, почтеннѣйшій Максимъ Петровичъ! никогда не забуду вашего содѣйствія по доставленію мнѣ драгоцѣннѣйшихъ матеріаловъ къ исторіи русскихъ клозетовъ, первый корректурный листъ которой уже лежитъ передо мною. Пишу вашу біографію и помѣщу ее въ приготовляемомъ мною сборникѣ біографій отличнѣйшихъ русскихъ людей. Два выпуска готовы. *Постскриптумъ*: Вѣдровъ, старый воробей, одинъ изъ тѣхъ (спасшійся чудомъ), къ хвостамъ коихъ великая княгиня Ольга (вспомните тропарь, который 11-го іюля поютъ)

привязала зажженный трутъ и такимъ образомъ сожгла древній Коростень. За телеграмму уплачено изъ моей собственности восемь рублей, кои благоволите въ непродолжительномъ времени возвратить».

— Такъ вотъ вы съ какими знаменитостями знакомство ведете! — пошутилъ вице-директоръ, когда была прочтена замысловатая телеграмма.

— А много-таки этому господину Вёдрову лѣтъ!—замѣтилъ старѣйшій изъ начальниковъ отдѣленія.

Начали считать, сколько прошло лѣтъ со времени сожженія Коростеня, но какъ учебника русской исторіи г. Погодина подъ руками не было, то ничего опредѣлительнаго сказать не могли.

— Старъ-старъ, а какъ былъ воробей, такъ воробьемъ и остался!—со вздохомъ сказалъ экзекуторъ.

Замѣчаніе это вызвало сначала общій смѣхъ, а потомъ и серьезныя размышленія о томъ, чѣмъ достославнѣе быть: старымъ ли воробьемъ или молодымъ, да орломъ. И такъ какъ во время этого орнитологическаго разговора вице-директоръ постоянно дѣлалъ иносказательныя движенія руками (какъ бы расправляя молодыя крылья), то было рѣшено, что удѣлъ молодого орла достославнѣе, нежели удѣлъ стараго воробья, хотя бы послѣдній былъ и изъ тѣхъ, которыхъ на мякинѣ не обманешь.

— Сколько я на свѣтѣ ни живу — ни одного путнаго воробья на своемъ вѣку не видѣлъ!—сказалъ экзекуторъ:— сюда порхнетъ—клюнетъ... туда порхнетъ—клюнетъ... клюнетъ и чирикнетъ, словно и не вѣсть какое добро нашелъ А чтобы основательное что-нибудь затѣять—никогда! Я даже! такъ думаю, что онъ и самъ не разумѣетъ, что̀ клюетъ и о чемъ чирикаетъ?

Такой судъ надъ воробьями всѣ нашли справедливымъ и, дабы подтвердить это заключеніе самымъ дѣломъ, сейчасъ провозгласили здоровье вице-директора, который въ отвѣтъ окончательно расправилъ крылья и обнялъ юбиляра.

Наконецъ обѣдъ кончился, и участники торжества перешли, согласно церемоніалу, въ другой залъ, гдѣ ихъ ожидали чай, кофе и ликёры. Тутъ, чувствуя себя уже достаточно выпившими, всѣ единодушно приступили къ юбиляру съ просьбой, чтобъ онъ поразсказалъ кое-что изъ видѣннаго и слышаннаго имъ въ теченіе многолѣтней служебной карьеры. Нѣкоторое время юбиляръ находился въ недоумѣніи, какъ бы спрашивая себя: да что̀ же бы

однако могъ видѣть и слышать? Но потомъ, сдѣлавши надъ собой нѣкоторое усиліе, онъ отыскалъ въ памяти нѣсколько очень интересныхъ воспоминаній, которыми и подѣлился съ нами.

— Скажу вамъ, господа, — такъ началъ онъ: — что всѣ мои начальники были, такъ сказать, на одно лицо: всѣ — генералы и всѣ начальники. Одно только отличіе вижу: прежнее начальство какъ будто проще было, а потомъ чѣмъ дальше, тѣмъ все больше и больше ожесточалось.

— Надѣюсь однако-жъ, любезнѣйшій, что замѣчаніе ваше не относится до нынѣшняго начальства?—перебилъ вице-директоръ, нѣсколько обиженный этимъ вступленіемъ.

— Про нынѣшнее начальство, ваше превосходительство, сказать ничего не могу, но вообще—это дѣйствительно, что встарину начальники были обходительнѣе.

— Очень любопытно. Напримѣръ, генералъ-майоръ Безпортошный-Волкъ? ха-ха! — иронически замѣтилъ вице-директоръ.

— Ваше превосходительство! по человѣчеству-съ!—нимало не робѣя, возразилъ почтенный юбиляръ.—Конечно, они словами не дорожили: какое слово первое попадется на языкъ, то и выкинутъ,—да вѣдь тогда это въ модѣ было. И на парадахъ, и на смотрахъ, вездѣ эти слова допускались-съ! Зато, когда, бывало, опять въ свой видъ войдутъ, то даже очень обходительны были. Скажу, напримѣръ: любили они, этотъ самый генералъ Безпортошный-Волкъ, спину себѣ чесать, а объ стѣну неловко-съ: неравно мундиръ замараютъ. Вотъ и кликнутъ, бывало: «Севастьяновъ! встань, братецъ!» Ну, встанешь это, они прислонятся къ плечу, свое дѣло потихоньку о косякъ справятъ... Гдѣ, смѣю спросить, такого обхожденія нынче сыщешь? А что я истинную правду говорю, такъ вотъ Анисимъ Иванычъ (экзекуторъ)—живой человѣкъ, можетъ сейчасъ засвидѣтельствовать.

— Это такъ точно, при мнѣ, ваше превосходительство, сколько разъ бывало!—поспѣшилъ подтвердить Анисимъ Иванычъ.

— Такъ вотъ оно и помянешь добромъ старину!—продолжалъ юбиляръ, дѣлаясь болѣе и болѣе словоохотливымъ.—Многіе послѣ того были, которые тоже на слова вниманія не обращали, а такихъ, чтобъ съ подчиненнымъ обхожденіе имѣть, такихъ уже не было!

Юбиляръ вздохнулъ и нѣсколько минутъ сидѣлъ потупившись.

— Разскажу вамъ, напримѣръ, такой случай про того же Безпортошнаго-Волка,—вновь началъ онъ.—Купилъ онъ въ ту пору себѣ арапа въ услуженіе, а супруга ихняя, какъ на грѣхъ, возьми да и роди, черезъ десять мѣсяцевъ послѣ того, сына — чернаго-пречернаго! Туда-сюда, какъ да почему—къ кому, какъ бы вы думали, онъ въ этомъ важномъ фамильномъ случаѣ за утѣшеніемъ обратился?— А вотъ къ этому самому Севастьянову, который имѣетъ честь вашему превосходительству докладывать! Да-съ! Призываетъ это меня: «Севастьяновъ, говоритъ, мнѣ сына-арапчонка жена принесла! Какъ ты думаешь, отчего?» Ну, я, знаете, обробѣлъ-было, да ужъ, видно, самъ Богъ мнѣ внушеніе свыше послалъ.—Должно-быть, говорю, ихъ превосходительство какой-нибудь табачной вывѣски, во время беременности, испугались.—А тогда, знаете, у всѣхъ табачныхъ магазиновъ такія вывѣски были, на которыхъ былъ нарисованъ арапъ съ предлиннымъ чубукомъ въ рукахъ. Ну-съ, хорошо-съ. Выслушали они меня и смотрятъ во всѣ глаза, словно понять хотятъ. «Стой, говорятъ наконецъ, какъ же это такъ? На вывѣскахъ арапы съ чубуками представлены, а мой-то арапчонокъ безъ чубука?» Ну, какъ онъ это сказалъ, такъ я ужъ увидѣлъ, что дѣло въ шляпѣ.— Ежели только за этимъ, ваше превосходительство, дѣло стало, говорю, такъ вѣдь чубукъ не дорого стóитъ, сейчасъ же можно купить и младенцу въ ручку вложить!—И чтò жъ бы вы думали? Постоялъ онъ это, постоялъ, подумалъ-подумалъ: «ну, говоритъ, будь ты проклятъ, купи чубукъ!» Только всего и сказалъ, и хотя, быть-можетъ, и понялъ, что тутъ дѣло не однимъ табакомъ пахнетъ, однако тѣмъ только и удовольствовался, что арапа въ дальнюю деревню сослалъ, а кучерамъ приказалъ, чтобъ на будущее время барыню мимо табачныхъ магазиновъ отнюдь не возили.

Разсказъ этотъ возбудилъ бы общую веселость, если бы не вице-директоръ, который нашелъ, что онъ только компрометируетъ начальство и вовсе не относится къ дѣлу.

— Вы говорили о какой-то снисходительности,—сказалъ онъ:—но въ чемъ тутъ снисходительность—рѣшительно не понимаю!

— А какъ же, ваше превосходительство! Въ такомъ, можно сказать, фамильномъ дѣлѣ—и какое довѣріе! А вѣдь

намъ какъ это довѣріе дорого, ваше превосходительство! Ахъ, какъ дорого!

— Не понимаю... Ну, а другихъ исторій у васъ нѣтъ?

— Разскажи-ка намъ, какъ тебя баронъ Эспенштейнъ на колѣняхъ Богу молиться заставлялъ!—вступился Анисимъ Иванычъ, иронически прищуривая въ нашу сторону однимъ глазомъ.

— Заставлялъ—это точно, что заставлялъ. Доложу вашему превосходительству, что этотъ самый баронъ Эспенштейнъ, до поступленія въ нашъ департаментъ, губернаторомъ состоялъ и былъ лютеранинъ. И случись ему однажды на усмиреніи въ одномъ помѣщичьемъ имѣніи быть, и узнай онъ отъ господина помѣщика, что главный науститель всей смуты есть мѣстный священникъ. Хорошо. Недолго, знаете, думая, созвалъ онъ сельскій сходъ, послалъ за священникомъ и, какъ только тотъ явился: «влѣпить, говоритъ, ему двѣсти!» Не успѣли это оглянуться: ахъ-ахъ-ахъ,—анъ рабу Божьему что̀ слѣдуетъ ужъ и отпустили! И точно, какъ только мужички увидѣли, что пастыря ихъ въ новый чинъ пожаловали, сейчасъ же и бунтъ прекратили, пошли на барщину, выдали зачинщиковъ—словомъ, все какъ слѣдуетъ. Ѣдетъ нашъ баронъ обратно въ губернію, ѣдетъ и радуется, что ему удалось кончить дѣло миромъ. Да вдругъ, знаете, среди радостей и вспомнилось ему, что вѣдь онъ, собственно говоря, духовное лицо тѣлесному-то наказанію подвергъ! Вспомнилъ и оробѣлъ. Какъ быть? Какъ дѣлу пособить? Думалъ-думалъ да и выдумалъ. Пріѣхалъ домой и притворился, что чуть живъ. День лежитъ, а на другой, говорятъ, ужъ и при смерти. И было, сказываютъ, ему тутъ видѣніе. Явился будто бы къ нему мужъ свѣтлый и сказалъ: «Карлъ Иванычъ! прими православную вѣру»! Сейчасъ къ архіерею, а тотъ, натурально, радъ: легко ли, какую красную рыбу въ сѣти изловилъ! Однако радъ, а процедуру свою все-таки исполнилъ, поѣхалъ къ болящему и просилъ его не спѣшить, а обдумать дѣло хорошенько. «Подумайте, говоритъ, ваше превосходительство! вѣдь съ старой-то вѣрою разставаться не то чтобы что̀! Это—не сапоги!»—Такъ куда тебѣ! Вскочилъ нашъ больной съ постели, какъ встрепанный, да самъ же всѣхъ и торопитъ: «Увидите, говоритъ, ваше преосвященство, что съ меня эта ересь, какъ съ гуся вода, соскочитъ!» Ну, послѣ этого въ одночасье и окрутили милостиваго государя! Только покуда все это дѣлалось, а попъ

между тѣмъ, трюхи-трюхи, да тоже въ губернію явился. Пріѣхалъ и прямо къ архіерею. Да не тутъ-то было. Не только архіерей никакой защиты ему не оказалъ, а на него же разгнѣвался. «Тебя, говоритъ, Провидѣніе орудіемъ такого дѣла избрало; а ты, говоритъ, еще жаловаться смѣешь!»

На этомъ мѣстѣ разсказчика прервалъ взрывъ смѣха, въ которомъ удостоилъ принять участіе и вице-директоръ.

— Ну-съ, такъ вотъ этотъ самый баронъ Эспенштейнъ, вскорѣ послѣ своего присоединенія, и назначенъ былъ къ намъ директоромъ. И повѣрите ли, ваше превосходительство, такой изъ него вышелъ ревнитель, что, пожалуй, почище другого православнаго. Самое первое распоряженіе, которое онъ сдѣлалъ, въ томъ состояло, чтобъ чиновники каждый день къ ранней обѣднѣ ходили, а по субботамъ и ко всенощной. И ходили-съ; потому что всѣ приходы, гдѣ кто жилъ, переписалъ и всѣмъ церковнымъ причтамъ о распоряженіи своемъ сообщилъ для наблюденія. Мало этого: созвалъ департаментскихъ чиновниковъ и объявилъ, что впредь за всякую вину у него такое наказаніе будетъ: виноватъ—становись на колѣни! И дѣйствительно, чуть что, бывало,—сейчасъ звонитъ: позвать такого-то!—и тутъ же, при себѣ въ кабинетѣ, и поставитъ поклоны отбивать. Очень это сначала обидно было, ну, а потомъ обошлось. И вѣдь знаете, ваше превосходительство, поставитъ онъ на поклоны, а самъ сидитъ и считаетъ: разъ—два, разъ—два. Грѣшный человѣкъ, мнѣ-таки больше всѣхъ доставалось: я и въ департаментскомъ кабинетѣ и на квартирѣ у него чуть не во всѣхъ комнатахъ стаивалъ. Бывало, чуть запахнетъ—сейчасъ: «Севастьяновъ! чѣмъ пахнетъ?» Ну, иной разъ сробѣешь, не такъ объяснишь—«а! говоритъ, посмотримъ, какъ ты своего Бога любишь!» И такимъ манеромъ жили мы съ нимъ пять лѣтъ, покуда до самого государя объ его чудесіяхъ не дошло. Ну, натурально, въ отставку подать велѣли. И что-жъ бы вы думали, ваше превосходительство, до того онъ этою вѣрою распалился, что пуще да пуще, глубже да глубже—взялъ да черезъ два года въ расколъ ушелъ! Потомъ попомъ раскольничьимъ, сказываютъ, сдѣлался—такъ въ скитахъ и умеръ!

— Отлично! безподобно! ура юбиляру! ура!—воскликнулъ вице-директоръ, подавая знакъ общему восторгу.

Веселой толпой подбѣжали мы къ виновнику торжества, схватили его на руки и начали деликатно подбрасывать въ

воздухѣ. По окончаніи этого чествованія онъ, натурально, сдѣлался еще словоохотливѣе, и когда вице-директоръ сказалъ ему:—А жаль, что вы не пишете своихъ мемуаровъ! очень, очень жаль! Я полагаю, что ни въ одной странѣ... Да, именно, ни въ одной странѣ ничего подобнаго этимъ мемуарамъ не могло бы появиться!»—то онъ, уже никѣмъ не вызываемый, усладилъ насъ еще новымъ разсказомъ изъ служебной практики.

— А вотъ я вамъ, ваше превосходительство, про Балахона, про Ивана Иваныча, доложу,—началъ онъ.—При немъ, знаете, эта реформа клозетная въ первый разъ была введена,—ну, а онъ, признаться сказать, сначала не понялъ: думалъ, что въ томъ и реформа состоитъ, чтобы какъ есть въ одеждѣ, такъ и.. Вотъ только однажды слышимъ мы крикъ, гамъ преужаснѣйшій: «Севастьяновъ! Севастьянова сюда! Мерзавецъ!—говоритъ,—всегда у тебя по службѣ неисправности!» Бѣгу, знаете, оправдываюсь, показываю—ну, понялъ! «Извини, братецъ», говоритъ.

— Хо-хо!—разразился вице-директоръ.

— Ха-ха!—грянули мы.

Что потомъ было, я рѣшительно не помню Кажется, что юбиляра разъ пять качали на рукахъ, и что онъ послѣ каждаго чествованія разсказывалъ новую исторію. Вино лилось рѣкой, тосты слѣдовали за тостами. И вдругъ, въ ту самую минуту, когда всѣ чувствовали себя какъ нельзя лучше, юбиляръ совершенно неожиданно началъ говорить какія-то странныя рѣчи.

— Господа!—обратился онъ къ намъ:—очень я вамъ благодаренъ. Утѣшили вы старика. И обѣдъ и все такое...

— Урррааа!—подхватили мы.

— Только вотъ что сдается мнѣ; если бы вы заглянули въ ревизскія сказки любой деревни, то, навѣрное, сказали бы себѣ: сколько есть на свѣтѣ почтенныхъ людей, которые всѣ юбилейные сроки пережили и которыхъ никто никогда и не подумалъ чествовать! Никто, господа, никогда!

На этомъ мѣстѣ юбиляръ остановился и заплакалъ.

— И, стало-быть, всѣ наши юбилеи,—продолжалъ онъ сквозь всхлипыванія:—всѣ наши юбилеи—одна собачья комедія... Да, именно такъ. Всѣ эти юбилеи, коли вы, напримѣръ, не цѣните истинныхъ заслугъ... всѣ эти, значитъ, юбилеи не стоятъ выѣденнаго яйца! И, значитъ, надо плюнуть на нихъ да растереть!..

И онъ плюнулъ направо и растеръ лѣвой ногой.

Я возвратился домой усталый, до краевъ наполненный винными парами, и тотчасъ же легъ въ постель. Вѣроятно, впрочемъ, заключительная сцена юбилея произвела на меня сильное впечатлѣніе, потому что она нѣкоторое время мѣшала мнѣ заснуть и потомъ дала содержаніе тѣмъ сновидѣніямъ, которыя тревожили меня въ послѣдующую ночь.

Въ самомъ дѣлѣ, думалось мнѣ, сколько есть на свѣтѣ людей, существующихъ какъ бы для того только, чтобъ имена ихъ числились въ ревизскихъ сказкахъ! И сколько между ними есть лицъ вполнѣ почтенныхъ и добродѣтельныхъ, которыя и понятія не имѣютъ о томъ, что̀ за штука «юбилей»? О нихъ ни въ газетахъ не пишутъ, ни въ трубы не трубятъ, но этого мало: сами сограждане ихъ, т.-е. односельчане, смотрятъ на нихъ, какъ на людей обыкновенныхъ, и ни во что не вмѣняютъ имъ ихъ добродѣтелей, какъ будто добродѣтель есть вещь столь обыденная, что и заслуги составлять не должна! И умираютъ эти люди въ забвеніи, не слыхавъ ни стиховъ Майкова, ни прозы Погодина... Справедливо ли это?

Увы! люди культуры (нынче всѣ русскіе помѣщики, занимающіеся раскладываніемъ граппасьянса, разумѣютъ себя таковыми) жестоки и недальновидны. Они считаютъ ни во что этотъ безконечный муравейникъ, который кишитъ у ихъ ногъ, за предѣлами культурнаго слоя, или, лучше сказать, считаютъ его созданнымъ для того, чтобъ быть попираемымъ культурными ногами. И въ то же время они едва ли даже понимаютъ, что каждый изъ членовъ этого муравейника живетъ своею отдѣльною жизнью, имѣетъ свои характеристическія особенности, свои требованія, свои идеалы. Если бы они поняли это, они убѣдились бы, что ихъ собственная культурная жизнь именно отъ того дѣлается все болѣе и болѣе скудною, что для нея закрытъ цѣлый міръ явленій, стоящихъ внѣ всякаго культурнаго наблюденія. Сколько узнали бы мы благороднѣйшихъ біографій! Сколькихъ отличнѣйшихъ подвиговъ могли бы мы быть свидѣтелями! И какъ расширился бы нашъ умственный горизонтъ! И много ли нужно, чтобъ достигнуть этого?— Нужно только почаще заглядывать въ ревизскія сказки и отъ времени до времени дѣлать начальственныя распоряженія о празднованіи юбилеевъ. Тогда передъ нами обнаружатся вещи неслыханныя и невиданныя, и мы воочію увидимъ героевъ, о которыхъ не имѣли понятія... Повторяю: ткните пальцемъ въ любое мѣсто ревизскихъ ска-

зокъ и вы, навѣрное, попадете въ человѣка, о которомъ гораздо больше можно поразсказать, нежели даже о Севастьяновѣ.

Я знаю, мнѣ скажутъ, что народъ не слѣдуетъ баловать— согласенъ! Но развѣ это баловство?—Нѣтъ, это только справедливость! Сѣките—слова нѣтъ! Но будьте же и справедливы! Ибо, въ противномъ случаѣ, получится односторонность, которая можетъ произвести сначала уныніе, а потомъ, пожалуй, и ропотъ...

Да, мы, представители русской культуры, несправедливы. Но мы ли одни?—Увы! всегда, даже въ тѣхъ странахъ, гдѣ дѣйствительно существуетъ культура, и тамъ несправедливость преслѣдуетъ внѣкультурнаго человѣка. Вамъ показываютъ разные запустѣлые шлоссы, въ которыхъ когда-то жилъ культурный человѣкъ и оставилъ слѣды своего культурнаго существованія. Въ этихъ шлоссахъ до-днесь благоговѣйно сохранены всѣ подробности канувшей въ вѣчность жизни, лучи которой нѣкогда согрѣвали вселенную. Вотъ комната, въ которой такая-то маркграфиня занималась оргіями съ своими любовниками; вотъ знаменитая тѣмъ-то постель; вотъ часовня, въ которой та же маркграфиня, утомленная оргіями, искупала свои грѣхи, носила вериги (вотъ и самыя вериги), бичевала себя, проводила ночи на голомъ полу (вотъ ея покаянная спальня), обѣдала съ восковыми куклами, представляющими святыхъ (и куклы эти уцѣлѣли): вотъ наконецъ подземелье, въ которое сажали нагрубившихъ подданныхъ—прекрасно! Знаніе домашняго быта канувшихъ въ вѣчность маркграфинь, конечно, имѣетъ свой историческій интересъ; но спрашивается, почему же представители культуры такъ ревниво сохранили во всей ихъ неприкосновенности старые дворцы и зàмки — и не позаботились о сохраненіи хотя одного экземпляра мужицкаго жилья, современнаго этимъ дворцамъ и зàмкамъ?

Но на этотъ вопросъ я уже не далъ отвѣта, ибо мгновенно заснулъ...

Мнѣ снилось, что я присутствую на сходкѣ въ селѣ Безкормицынѣ, и что мужики обсуждаютъ, не слѣдуетъ ли отпраздновать юбилей старика Мосеича, которому 15-го іюля имѣетъ исполниться ровно пятьдесятъ лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ несетъ рабочее тягло. Впрочемъ, собственно говоря, мысль объ юбилеѣ принадлежитъ не крестьянамъ, а мѣстному сельскому учителю Крамольникову и мѣстному

же священнику (изъ молодыхъ) Возсіяющему, которымъ немало-таки усилій стоило пустить ее въ ходъ и настолько заинтересовать мужичковъ, чтобъ по такому необыкновенному поводу была собрана сходка.

И Крамольниковъ и Возсіяющій были соединены узами умѣреннаго либерализма и питали сладкую увѣренность, что слова: «потихоньку да полегоньку»—должны быть написаны на знамени истинно-разумнаго русскаго прогресса. Рядомъ каждодневныхъ дружескихъ бесѣдъ, въ которыхъ принимала сочувственное участіе и молодая попадья, они пришли къ убѣжденію, что почтенное крестьянское сословіе до тѣхъ поръ не займетъ принадлежащаго ему по праву мѣста въ государственной организаціи, покуда въ немъ не развито чувство самоуваженія. Отсутствіе этого чувства влечетъ за собой цѣлый рядъ прискорбныхъ административныхъ явленій, каковы: рылобитіе, скулобитіе, зубосокрушеніе, неряшливое употребленіе непечатныхъ словъ и т. д. Отчего становой приставъ никогда не позволитъ себѣ назвать благороднаго человѣка курицынымъ сыномъ? Оттого, что у благороднаго человѣка, такъ сказать, на лицѣ написано, что онъ уважаетъ себя! Тогда какъ у мужика, при современной его неразвитости, и спина и лицо составляютъ какъ бы постороннія вещи, на которыхъ всякій можетъ собственноручно расписываться. И это многихъ приводитъ въ соблазнъ и служитъ источникомъ дурныхъ административныхъ привычекъ, которыя, при частомъ повтореніи, могутъ дискредитировать самую власть.

Слѣдовательно прежде всего нужно воспитать въ мужикѣ чувство самоуваженія, а потомъ уже постепенно переходить къ развитію чувства своевременной уплаты податей и повинностей и т. д. Но затѣмъ самъ собой возникаетъ вопросъ: какъ возбудить это чувство самоуваженія, отъ котораго въ столь значительной степени зависитъ будущее всего крестьянскаго сословія? Словесными ли внушеніями и теоретическими собесѣдованіями или какими-нибудь символическими дѣйствіями, которыя, такъ сказать, практически давали бы чувствовать мужику, что за нимъ числятся извѣстныя заслуги передъ государствомъ?

Сообразивъ и взвѣсивъ доводы pro и contra, Крамольниковъ пришелъ къ тому заключенію, что слѣдуетъ отдать предпочтеніе послѣднему способу, какъ наиболѣе доступному для мужицкаго пониманія и притомъ безопасному.

— Понимаете,—объяснилъ онъ Возсіяющему: — разго-

варивать много не слѣдуетъ: во-первыхъ, объ разговорахъ становой пронюхать можетъ, а во-вторыхъ, и мужикъ на слова не очень понятливъ; а надо такъ устроить, чтобъ мужикъ самъ, изъ сцѣпленія обстоятельствъ, уразумѣлъ, въ чемъ суть. Понимаете?

— Очень даже понимаю,—отвѣчалъ Возсіяющій.

И вотъ, на первый разъ, Крамольниковъ предложилъ устройство юбилейныхъ торжествъ въ пользу такихъ крестьянъ, которые отличились долголѣтнею твердостью въ бѣдствіяхъ; а дабы одна эта заслуга не показалась подозрительною, то предполагалось присовокупить къ ней еще: непоколебимость въ уплатѣ недоимокъ и неукоснительность въ исполненіи начальственныхъ требованій, *хотя бы даже и лишенныхъ законнаго основанія.*

— Чудесно! — воскликнулъ Возсіяющій: — а ежели къ сему присовокупить прилежаніе къ церкви Божіей, то, кажется, уже ничего предосудительнаго не будетъ!

Именно такимъ субъектомъ, который въ одномъ своемъ лицѣ соединялъ и непоколебимость въ уплатѣ недоимокъ, и безотвѣтность, и набожность, представлялся старикъ Мосеичъ. Онъ никогда не выигрывалъ сраженій, пятьдесятъ лѣтъ сряду неутомимо обрабатывалъ свой земельный участокъ, самоотверженно выплачивалъ подушныя, былъ битъ и не роптал, раза три въ жизни сидѣлъ въ тюрьмѣ и никогда не поинтересовался даже узнать, за что онъ посаженъ, пять разъ замерзалъ, тонулъ и однажды былъ даже совсѣмъ задавленъ. И за всѣмъ тѣмъ—отдышался. Однимъ словомъ, это былъ такой человѣкъ, по случаю котораго самая подозрительная административная фантазія не нашла бы повода разыграться.

Остановившись на этомъ выборѣ и заручившись сочувствіемъ молоденькой попадьи, оба друга прониклись такимъ энтузіазмомъ, что начали цѣловаться, и порѣшили приступить къ дѣлу по возможности внезапно, дабы становой приставъ ни подъ какимъ видомъ не могъ его разстроить.

— А впрочемъ, ежели придется и пострадать,—въ восторгѣ воскликнулъ Возсіяющій:—то и пострадать за такое дѣло не стыдно! Такъ ли, попадья?

— Я, батя, за тобой—всюду! Въ Сибирь, такъ въ Сибирь... что-жъ! — отвѣтила попадья, зарумянившись подъ вліяніемъ мысли, что и она нѣчто значитъ въ механикѣ, затѣваемой двумя друзьями.

Одинъ только человѣкъ приводилъ друзей въ нѣкоторое

смущеніе: это волостной писарь Дудочкинъ. Это былъ закоренѣлый консерваторъ, который, сверхъ того, подозрѣвался въ тайныхъ сношеніяхъ съ становымъ приставомъ, по дѣламъ внутренней политики. И дѣйствительно, сношенія эти существовали, и онъ не только не скрывалъ ихъ, но не однажды имѣлъ даже гражданское мужество прямо произнести слово: «донесу!» Но что было въ немъ всего опаснѣе—это то, что онъ всѣ свои доносы обусловливалъ преданностью консервативнымъ убѣжденіямъ (онъ кончилъ курсъ въ уѣздномъ училищѣ и потомъ служилъ писцомъ въ уѣздномъ судѣ, гдѣ и понабрался кое-какихъ словъ).

— Нашъ народъ—неучъ! все одно: что стадо свиней, что народъ нашъ!—безпрестанно повторялъ онъ, и притомъ съ такимъ торжествомъ, какъ будто обстоятельство это и не-вѣсть какой бальзамъ проливало въ его писарское сердце.

На сочувствіе этого человѣка надѣяться было невозможно, но необходимо было, по крайней мѣрѣ, добиться, донесетъ онъ или не донесетъ. Но едва Крамольниковъ изложилъ ему (и притомъ въ самомъ невинномъ и даже административно-привлекательномъ видѣ) предметъ своего предпріятія, какъ Дудочкинъ тотчасъ же загалдѣлъ.

— Неучъ нашъ народъ! свинья нашъ народъ! не чествовать, а пороть его слѣдуетъ.

— Но... не преувеличиваете ли вы, Асафъ Иванычъ?—какъ-то неувѣренно возразилъ Крамольниковъ.

— Нимало не преувеличиваю, а прямо говорю: пороть надо!—утвердился на своемъ Дудочкинъ.

Какъ ни безнадежны были эти мнѣнія, но Крамольниковъ уже и тому былъ радъ, что Дудочкинъ, высказывая ихъ, оставался на теоретической высотѣ и ни разу не употребилъ слово: «доносъ». Разумѣется, друзья наши какъ нельзя лучше воспользовались этимъ обстоятельствомъ. Не выводя спора изъ сферы общихъ идей, они прибѣгли къ той остроумной тактикѣ, которая всегда отлично удавалась умѣреннымъ либераламъ, а именно: объявили Дудочкину, что, хотя мнѣній его не раздѣляютъ, но тѣмъ не менѣе не могутъ его не уважать.

— Главное дѣло въ мнѣніяхъ—искренность,—деликатно замѣтилъ Крамольниковъ:—и вотъ это-то драгоцѣнное качество и заставляетъ насъ уважать въ васъ противника добросовѣстнаго, хотя и неуступчиваго. Но позвольте

однако сказать вамъ, почтеннѣйшій Асафъ Иванычъ: хотя дѣйствительно у всѣхъ благомыслящихъ людей цѣль должна быть одна, но вѣдь пути къ достиженію этой цѣли могутъ быть и различные!

— То-то, что ваши-то пути глупые! — отрѣзалъ Дудочкинъ.

— Отчего-жъ бы однако не попробовать?

— Попробуйте! мнѣ что! вы же въ дуракахъ будете!

— Такъ, стало-быть, пробовать не возбраняется?

Вопросъ былъ сдѣланъ настолько въ упоръ, что Дудочкинъ на минуту остался безмолвнымъ.

— То-есть вы... это насчетъ доноса, что ли?—произнесъ онъ наконецъ.

— Нѣтъ, не то чтобъ... а такъ... искренность убѣжденій, знаете...

— Ну, да ужъ что тутъ! Сказывай прямо, донесешь или не донесешь?—вступился Возсіяющій, который съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ относился къ политиканству своего друга.

— Эхъ, господа, пустое вы дѣло затѣяли! — вздохнулъ Дудочкинъ.

— Ты не вздыхай, а говори прямо—донесешь или не донесешь?—настаивалъ Возсіяющій.

Дудочкинъ нѣкоторое время уклонялся отъ яснаго отвѣта: но когда друзья вновь повторили, что уважаютъ въ немъ противника искренняго и добросовѣстнаго, то онъ не выдержалъ напора лести и обѣщалъ. Однако уже и тогда Возсіяющій замѣтилъ, что, давая слово не доносить, онъ, яко Іуда, скосилъ глаза на сторону.

Заручившись обѣщаніемъ писаря, друзья немедленно приступили къ пропагандѣ своей идеи между крестьянами; сказали одному мужичку, сказали другому, третьему—отъ всѣхъ получили одинъ отвѣтъ: «Мосеичъ—мужикъ старый». Тогда настояли на томъ, чтобъ въ ближайшее воскресенье, послѣ обѣдни, была созвана сходка для обсужденія на міру предложенія о введеніи между крестьянами села Безкормицына обычая празднованія юбилеевъ.

Въ воскресенье, за обѣдней, Возсіяющій сказалъ краткое поученіе о пользѣ юбилеевъ вообще и крестьянскихъ въ особенности.

— Отличнѣйшая польза, отъ юбилеевъ происходящая,— сказалъ батюшка:—несомнѣнна и всѣми древними народами единодушно была признаваема. Юбилеи возвышаютъ

душу чествуемаго, ибо они предназначаются лишь для лицъ воспрославленныхъ и знаменитыхъ; а чья же душа не почувствуетъ паренія, ежели познаетъ себя прославленною и вознесенною? Но, возвышая душу чествуемаго, юбилеи въ то же время возвышаютъ и души чествующихъ, ибо, чествуя чествуемаго, мы тѣмъ самымъ ставимъ и себя на высоту высокостоящаго и дѣлаемся сопричастниками прославленію прославляемаго. Итакъ, братіе, потщимся и т. д.

Послѣ обѣдни состоялась и сходка. На нее, въ качествѣ сторонниковъ юбилея, явились Крамольниковъ и Возсіяющій, но тутъ же присутствовалъ и противникъ торжества, Дудочкинъ, по обыкновенію своему восклицая:

— Неучъ—нашъ народъ! Свинья—нашъ народъ!

Сходка, впрочемъ, шла довольно вяло, во-первыхъ, потому, что крестьяне не понимали самаго предмета сходки, т. е. слова «юбилей», а во-вторыхъ, потому, что, повидимому, они даже и не интересовались понять его.

— Юбилей, господа, есть торжество, имѣющее значеніе коммеморативное,—началъ Крамольниковъ.

— Въ воспоминаніе творимое,—пояснилъ Возсіяющій.

— Ну, да, въ воспоминаніе; и ежели, напримѣръ, лицо даже крестьянскаго сословія извѣстно своими добродѣтелями, или повиновеніемъ начальству, или исправною уплатою податей и повинностей...

— Или же усердно посѣщаетъ церковь Божію, творитъ добро ближнему, почитаетъ Божіихъ угодниковъ,—добавилъ Возсіяющій.

— Ну, да, и угодниковъ; и ежели онъ все это неослабѣваючи выдерживаетъ въ теченіе извѣстнаго періода времени...

— Періодомъ называется опредѣленное число лѣтъ, напримѣръ, пятьдесятъ. Но не возбраняется праздновать юбилеи даже черезъ пятьсотъ и черезъ тысячу лѣтъ.

— Ну, да; такъ вотъ, ежели кто все вышесказанное въ теченіе пятидесяти лѣтъ выдержалъ...

— И не возропталъ...

— То сограждане этого человѣка устраиваютъ въ честь его торжество, чествуя, въ лицѣ этого человѣка, добродѣтель, трудъ и безнедоимочную уплату податей.

— «Торжество»—или, лучше сказать, трапезу; «сограждане»—или, лучше сказать, односельчане...

— Ну, да; односельчане. Затѣмъ, господа, дѣло заклю-

чается въ слѣдующемъ: черезъ два дня одному изъ вашихъ согражданъ, или односельчанъ, почтеннѣйшему крестьянину Ипполиту Моисеевичу, исполнится шестьдесятъ восемь лѣтъ жизни. Въ этотъ самый день, будучи восемнадцатилѣтнимъ юношей, онъ вступилъ въ законный бракъ съ почтеннѣйшей супругой своей Ариной Тимоѳеевной и тѣмъ самымъ возложилъ на плечи свои рабочее тягло. Въ теченіе этихъ пятидесяти лѣтъ онъ ни разу не отступилъ отъ правилъ истинной крестьянской жизни и безпрекословно принималъ всѣ ея невзгоды, всегда въ трудахъ, всегда въ потѣ лица добывая хлѣбъ свой...

— И памятуя церковь Божію...

— Онъ прокармливалъ семью свою, не щадя ни силъ, ни крови своей...

— И ложе супружеское нескверно содержа...

— Никогда не задерживалъ податей, сидѣлъ въ острогѣ, былъ битъ... однимъ словомъ, въ совершенствѣ исполнилъ то назначеніе, которое въ совѣтѣ судебъ предопредѣлено...

— Въ чемъ я, какъ пастырь, всегда готовъ засвидѣтельствовать...

— Такъ вотъ, въ этотъ-то достопамятный день пятидесятилѣтія, говорю я, не худо бы намъ, собравшись за братской трапезой, отъ лица всего міра засвидѣтельствовать почтеннѣйшему Ипполиту Моисеевичу то уваженіе, которое мы всѣ, и каждый изъ насъ въ особенности, питаемъ къ его добродѣтели. По теплому нынѣшнему времени трапезу эту, я полагаю, приличнѣе всего было бы устроить на вольномъ воздухѣ.

По окончаніи этой рѣчи, въ толпѣ произошелъ смутный говоръ. Мужики недоумѣвали. Во-первыхъ, имъ казалось страннымъ, почему добродѣтельный мужикъ Моисеичъ, пятьдесятъ лѣтъ сряду работая безъ отдыха и самоотверженно платя казенныя подати, всегда былъ въ загонѣ, а теперь, когда онъ отъ старости уже утратилъ способность быть добродѣтельнымъ, вдругъ понадобилось воздавать ему какую-то честь. Во-вторыхъ, они опасались, не было бы чего отъ начальства за то, что они будутъ на вольномъ воздухѣ добродѣтель чествовать.

— Да и не до праздниковъ намъ!.. Шестьдесятъ восемь лѣтъ Моисеичу—легкое ли дѣло! Тягло съ него снимутъ—вотъ и праздникъ! На печи будетъ лежать—пусть и празднуетъ тамъ!

Однимъ словомъ, дѣло непремѣнно приняло бы неблаго-

пріятный оборотъ, если бы Дудочкинъ своимъ легкомысленнымъ вмѣшательствомъ не поправилъ его. По своему обыкновенію, онъ былъ грубъ и не дорожилъ словами.

— Не чествовать,—кричалъ онъ во все горло:—а пороть ихъ надо! порррроть!

Крестьяне смолкли и искоса поглядѣли на бѣснующагося писаря.

— Да, порроть!—не унимался онъ:—а вы думали что? Неучъ—народъ! Свинья—народъ! Нашли кого чествовать!

Мужики обидѣлись окончательно.

— Ты чего, ворона, каркаешь?—обратились къ писарю нѣкоторые смѣльчаки.

— Порроть, говорю! ничего вамъ другого не надобно!

— А мы развѣ за то тебѣ жалованье платимъ, чтобъ ты насъ свиньями обзывалъ?

— Жалованье я не отъ васъ, а изъ конторы получаю; не ваше это жалованье, а мое заслуженное. А что вы свиньи—это всякій скажетъ! И начальство васъ такъ разумѣетъ... да!

— То-то «да»! Дакало нашелся! Вотъ мы тебѣ жалованье-то прекратимъ—и посмотримъ тогда, какъ ты будешь дакать да въ кулакъ свистать!

— Такъ васъ и спросили! «Жалованье прекратимъ»! Ахъ, испугали! Сдерутъ, голубчики, не посмотрятъ!

— Православные! да что-жъ онъ надъ нами куражится! Ахъ ты, собачій огрызокъ! Нелюди мы, что ли, въ самомъ дѣлѣ?

Общественное мнѣніе вдругъ сдѣлало крутой поворотъ. Предложеніе Крамольникова и Возсіяющаго, которое готово было зачахнуть, совсѣмъ неожиданно получило всѣ шансы успѣха.

Воспользовавшись колебаніями, вызванными писаремъ, изъ толпы выскочилъ «ловкій человѣкъ» и сразу сорвалъ сходку.

— Православные!—крикнулъ онъ:—что на крапивное сѣмя глядѣть! Согласны, что ли?

— Что-жъ, коли-сжели Мосеичъ два ведра выставитъ...—пошутилъ кто-то.

Но на этотъ разъ шутка не имѣла успѣха. Подъ вліяніемъ горькой обиды, нанесенной писаремъ, мужички раскуражились. Даже умудренные опытомъ старики и тѣ, обратясь къ Дудочкину, сказали: «тебѣ бы, прохвосту, надобно насъ на добро научать—анъ ты, вмѣсто того, что сдѣлалъ—только міръ взбунтовалъ!»

И, несмотря ни на какія противодѣйствія и угрозы писаря, сходка опредѣлила предложеніе Крамольникова принять, но съ тѣмъ, чтобъ въ трапезѣ онъ лично принялъ участіе вмѣстѣ съ священникомъ, а въ случаѣ чего—былъ за всѣхъ въ отвѣтѣ, какъ смутитель и бунтовщикъ.

— Праздновать такъ праздновать—хуже мы, что ли, людей!—говорили мужички:—только ужъ ежели что, вы насъ, господа, не оставьте! Мосенчъ, милости просимъ! Просимъ, почтенный!

Мосенчъ прослезился и отвѣчалъ, что онъ отъ міра не прочь.

— Что міръ прикажетъ, я все исполнить долженъ,—сказалъ онъ:—и ежели, напримѣръ, міръ велитъ...

— Ну, ладно, ладно! чего еще канитель тянуть! раскошеливайтесь, господа! Покуда еще что будетъ, а выпить смерть хочется!—крикнулъ кто-то.

Черезъ минуту послышалось звяканье мѣдяковъ, а черезъ двѣ — бойкій кабатчикъ, со штофомъ въ одной рукѣ и стаканомъ въ другой, уже порхалъ между рядами крестьянъ и поздравлялъ сходку съ благополучнымъ рѣшеніемъ дѣла.

Крамольниковъ и Возсіяющій шли со сходки по направленію къ поповской усадьбѣ. Первый былъ задумчивъ и какъ будто даже недоволенъ.

— Подгадили-таки подъ конецъ! — сказалъ онъ печально.—Ну, что бы, кажется, отнестись къ почину великаго дѣла крестьянскаго самоуваженія трезвенно, съ достоинствомъ, благородно? Нѣтъ, нужно же вѣдь было объ этой проклятой водкѣ вспомнить!

— Да, таки не забыли,—усмѣхнулся Возсіяющій.

— Такъ это горько! такъ это горько, батюшка! за прогрессъ въ отчаяніе придти можно!

— Ну, Богъ милостивъ. И всегда первую пѣсенку зардѣвшись поютъ! Какое дѣло вначалѣ не прихрамываетъ!

— Нѣтъ, батюшка, если они ужъ теперь ведро потребовали, то что же 15-го іюля будетъ?

— Никто какъ Богъ! Загадывать впередъ нечего, а вотъ объ чемъ подумать да и подумать надо: какъ бы и въ самомъ дѣлѣ Дудочкинъ не донесъ, что мы превратными толкованіями народъ смущаемъ!

Крамольниковъ какъ-то подозрительно и въ то же время грустно взглянулъ на Возсіяющаго.

— Ослабѣваете, батюшка?—спросилъ онъ слегка взволнованнымъ голосомъ.

— Ослабѣвать не ослабѣваю, а изъ-за пустяковъ тоже... Попадью жалко, Іона Васильичъ!

Подозрѣнія, высказанныя Возсіяющимъ относительно Дудочкина, даютъ новый полетъ моей сонной фантазіи. Она незамѣтно переноситъ меня на край села Безкормицына, въ небольшую, но довольно опрятную избу, въ которой, судя по отсутствію двора и хозяйственныхъ пристроекъ, долженъ жить одинокій человѣкъ. И дѣйствительно, здѣсь, въ узенькой горницѣ, за столомъ, закапаннымъ каплями чернилъ и сала, при слабомъ мерцаніи нагорѣвшей свѣчи, сидитъ волостной писарь Дудочкинъ.

Увы! онъ не выдержалъ и строчитъ въ эту минуту такого сорта бумагу:

«Господину приставу 2-го стана NN уѣзда.
Волостного писаря Безкормицынской волости,
Асафа Иванова Дудочкина

«Доношеніе.

«Случилось сего числа въ нашемъ селѣ Безкормицынѣ происшествіе, или, лучше сказать, образъ мыслей, имѣющій свойство подозрительное и даже политическое. Села сего учитель школы, Іона Васильевъ Крамольниковъ и священникъ Стефанъ Матвѣевъ Возсіяющій, и прежде сего замѣченные мною въ превратныхъ толкованіяхъ, возымѣли намѣреніе совратить въ свою пагубу и нѣкоторыхъ изъ здѣшнихъ крестьянъ. А именно: кромѣ установленныхъ правительствомъ воскресныхъ и табельныхъ дней, дерзостно придумали ввести еще праздновать добродѣтели и другимъ мужицкимъ якобы качествамъ. Для чего избрали крестьянина здѣшняго села, Ипполита Моисеева Голопятова, въ лицѣ котораго добродѣтель будто бы преимущественное дѣйствіе свое оказала. И хотя на предложеніе означенныхъ Крамольникова и Возсіяющаго присоединиться къ ихъ образу мыслей я формально отозвался, и даже имъ съ приказательностью совѣтовалъ отъ сего отстраниться и жить тихо, согласно съ правилами, правительствомъ въ разное время изданными, но они въ намѣреніи своемъ остались непреклонными и только просили о семъ вашему благородію не доносить. Я же отъ исполненія таковой ихъ просьбы воздержался. И затѣмъ, собравъ оныя лица въ

селѣ нашемъ, сего числа, самовольную сходку изъ наиболѣе буйныхъ и извѣстныхъ закоренѣлостью крестьянъ, дѣлали имъ о той добродѣтели явное предложеніе, каковое предложеніе о добродѣтели и прочихъ мужицкихъ свойствахъ сходка приняла съ благосклонностью, ассигновавъ на празднованіе два ведра вина, а съѣстное и хлѣбъ каждый долженъ принести съ собою по силѣ возможности. И 15-го сего іюля долженъ быть у насъ сей новый праздникъ, «добродѣтелью» называемый, и чѣмъ оный кончится и въ чемъ будетъ состоять—того заранѣе опредѣлить нельзя. А какъ ваше высокородіе строжайше изволили мнѣ наказывать, чтобъ, въ случаѣ появленія въ нашей волости образа мыслей, немедленно о семъ доносить, то симъ оное и восполняю, опасаясь, какъ бы отъ праздниковъ сихъ не произошло въ нашемъ селѣ расколовъ и тому подобныхъ безчинствъ, какъ уже и былъ тому примѣръ въ прошломъ году, когда солдатка показывала простое гусиное перо, увѣряя, что оно есть то самое, которымъ подлинная воля подписана, и тѣмъ положила основаніе новой сектѣ, «пёрушниками» называемой. И мое мнѣніе таково, чтобъ мужикамъ потачки не давать, но дабы они впослѣдствіи не могли отговориться невинностью, то дать имъ покуражиться и весь упомянутый образъ мыслей выполнить, а потомъ и накрыть съ поличнымъ по надлежащему.

«Волостной писарь Асафъ Ивановъ Дудочкинъ».

Сонъ продолжается...

Полдень. Въ затишьѣ, на огородѣ избы богатаго безкормицынскаго крестьянина, Василія Егорова Бодрова, разставлено нѣсколько столовъ, за которыми сидитъ человѣкъ до тридцати домохозяевъ, чествующихъ своего односельца, Ипполита Моисеича Голопятова. Голопятовъ президентствуетъ; по правую руку его сидитъ Крамольниковъ, по лѣвую—сельскій староста Иванъ Матвѣевъ Лобачевъ; напротивъ—хозяинъ дома и сотскій. Возсіяющій воздержался; онъ явился къ началу трапезы, благословилъ яствіе и питіе и удалился подъ предлогомъ, что не подобаетъ пастыреви вмѣшиваться въ дѣла міра сего...

Мужички чинно хлебаютъ изъ поставленныхъ передъ ними чашекъ. Хлебаютъ и въ то же время оглядываются и прислушиваются. Виновникъ торжества, словно бы передъ причастіемъ, надѣлъ синій праздничный кафтанъ и чистую

бѣлую рубашку; прочіе участники тоже въ праздничныхъ одеждахъ. Неподалеку отъ пирующихъ, у сосѣдней амбарушки, собрались старухи-крестьянки и гуторятъ между собой; изъ-за огороднаго плетня выглядываетъ толпа ребятишекъ, болтающихъ въ воздухѣ рукавами; съ улицы доносится звонъ хороводной пѣсни.

Долгое время молчаніе царствуетъ за столами, какъ будто надъ сотрапезниками тяготѣетъ смутное опасеніе. Уклончивость Возсіяющаго всѣми замѣчена, и многіе видятъ въ ней недобрый знакъ. Къ великой собственной досадѣ, и Крамольниковъ не можетъ свергнуть съ себя иго неловкаго безмолвія, сковавшаго уста и умы присутствующихъ. Онъ было-приготовилъ цѣлую рѣчь, но думаетъ, что въ началѣ трапезы произнести ее преждевременно. Надо сначала завести простую крестьянскую бесѣду, и Крамольниковъ знаетъ, что достигнуть этого очень легко: стóитъ только пустить въ ходъ подходящее слово, но этого-то именно слова онъ и не находитъ. Наконецъ однако-жъ онъ убѣждается, что долѣе ждать невозможно.

— Жать, Василій Егорычъ, начали?—обращается онъ къ хозяину огорода такимъ тономъ, словно бы ему клещами давили горло.

— Мы-то вчерась зажали, а другіе хотятъ еще погодить,—отвѣчаетъ Василій Егорычъ, не безъ гордости оглядывая собравшихся.

— Чего-жъ бы, кажется, годить! На дворѣ жары стоятъ — самая бы пора за жнитво приниматься!

— Съ силами, значитъ, не собрались, Іона Васильичъ. У кого силы побольше, тотъ впередъ ушелъ; у кого поменьше силы—тотъ позади остался.

— Это, ваше здоровье, такъ точно,—подтверждаетъ и староста:—коли-ежели у кого сила есть, у того и въ полѣ и дома—вездѣ исправно. Ну, а безъ силы ничего не подѣлаешь.

— Чтò безъ силы подѣлаешь!—отзывается сотскій.

— А вы, Ипполитъ Моисеичъ, какъ? скоро ли думаете начать жать?—втягиваетъ Крамольниковъ въ бесѣду виновника торжества.

— Надо бы, сударь,—скромно отвѣчаетъ Моисеичъ:—вчерась въ поле ходили: самая бы пора жать!

— У насъ же, ваше здоровье, рожь сыпкая, слабкая. День ты ее перепусти, анъ, глядишь, третье зерно на полосѣ осталось,—объясняетъ Василій Егорычъ, еще гордѣе

оглядывая присутствующихъ и какъ бы говоря имъ: «зѣвайте, вороны! вотъ я ужò, какъ у насъ весь хлѣбъ выйдетъ, съ васъ же за четверикъ два возьму!»

— Не пойму я тутъ вотъ чего,—недоумѣваетъ Крамольниковъ:—вы вѣдь землю-то по тягламъ берете; сколько у кого тяголъ въ семьѣ, столько тотъ и земли беретъ,—стало-быть, по-настоящему, сила-то у каждаго должна быть ровная.

— То-то что неровная: у одного, значитъ, одна сила, а у другихъ—другая.

— Это такъ точно,—подтверждаетъ староста.

— Воля ваша, а я это не понимаю.

— А въ томъ тутъ и причина, что у меня, значитъ, помочью вчера жали. Купилъ я, напримѣръ, мужикамъ вина, бабамъ пива,—ко мнѣ всякій мужикъ съ радостью бабу пришлетъ. Ну, а какъ у другого силы нѣтъ—и нà помочь къ нему идти не весело. Онъ бы и радъ въ свое время работу сработать—анъ у него другихъ дѣловъ по горло. Покуда съ сѣномъ вожжается, покуда чтò—рожь-то и утекаетъ.

— Страсть какъ утекаетъ!

— Опять и то: теперича, коли-ежели я въ засиліе вошелъ—я за цѣлое лѣто изъ дому не шелохнусь. А другой, у котораго силы нѣтъ, тотъ раза два въ недѣлѣ-то въ городъ съѣздитъ. Высушитъ сѣнца, набьетъ возокъ и ѣдетъ. Потому у него дома ѣсть нечего. Смотришь—анъ два дня изъ недѣли и вонъ.

Въ рядахъ пирующихъ проносится глубокій вздохъ.

— Такъ-то, ваше здоровье, и объ землѣ сказать надо: одному она въ пользу, а другой ею отягощается. У меня вотъ въ семьѣ только два работника числится, а я земли на десять душъ беру: пользу вижу. А у Мосеича пять душъ, а онъ всего на двѣ души земли беретъ.

Крамольниковъ вопросительно взглядываетъ на виновника торжества.

— Дѣйствительно...—скромно подтверждаетъ послѣдній.

— Странно! вѣдь ему бы, кажется, еще легче съ малымъ-то количествомъ справиться?

— То-то, сударь, порядковъ вы нашихъ не знаете. Коли настоящей силы нѣтъ—ему и съ огородомъ однимъ не управиться. Народу у него числится много, а загляни къ нему въ избу—анъ нѣтъ никого. Старый да малый. Тотъ на фабрику ушелъ; другой въ извозчикахъ въ Москвѣ живетъ; третьяго съ подводой сотскій выгналъ; четвертый нà

помочь, хошь бы примѣрно ко мнѣ, ушелъ. Свое-то дѣло и упадаетъ. Надо бы ему еще вчера свою рожь жать, анъ глядишь—его бабы у меня зажинали.

— Зачѣмъ же онѣ на сторонѣ работаютъ, коли у нихъ и своя работа не ждетъ?

— Опять-таки, ваше здоровье, вся причина, что вы нашихъ порядковъ не знаете.

Такъ-таки на томъ и утвердились: «не знаете нашихъ порядковъ»—и дѣло съ концомъ.

Бесѣда на минуту упадаетъ, но на этотъ разъ уже самъ Василій Егорычъ возобновляетъ ее:

— А я вотъ объ чемъ, ваше здоровье, думаю,—обращается онъ къ Крамольникову:—какая тутъ есть причина, что батюшка къ намъ не пришелъ?

— Право, не знаю,—перѣшительно отвѣчалъ Крамольниковъ.

— А я полагаю: не къ добру это! Самъ первымъ затѣйщикомъ былъ, да самъ же и на попятный дворъ, какъ до дѣла дошло. Не знаю, какъ вашему здоровью покажется, а по-моему, значитъ, невѣрный онъ человѣкъ.

— Признаться сказать,—вступается староста:—и я вчера къ батюшкѣ за совѣтомъ ходилъ: какъ, молъ, собираться или не собираться завтра мужикамъ?

— Ну?

— Чего! и руками замахалъ: «не знаю, говоритъ, ничего я не знаю! и что̀ ты ко мнѣ присталъ!» Сказано: невѣрный человѣкъ—невѣрный и есть!

Крамольниковъ потупился: поступокъ Возсіяющаго горькимъ упрекомъ падаетъ на его сердце.

— Онъ у насъ, ваше здоровье, и до воли самый невѣрный человѣкъ былъ!—говоритъ кто-то изъ толпы.—Признаться, напослѣдяхъ-то мы не въ миру съ помѣщикомъ жили. Вотъ и пойдутъ, бывало, крестьяне къ батюшкѣ: какъ, молъ, батюшка, слѣдуетъ ли теперича крестьянамъ на барщину ходить? Ну, онъ и скоситъ-это глазами, словно какъ и не слѣдуетъ. А черезъ часъ времени—глядимъ, онъ ужъ у помѣщика очутился, ужъ съ нимъ шуры да муры завелъ.

— Такъ ужъ ты смотри, Іона Васильичъ! предупреждалъ Василій Егорычъ: — коли какой грѣхъ — ты въ отвѣтѣ!

— Да чего вы боитесь? Что̀ мы наконецъ дѣлаемъ?—пробуетъ ободрить присутствующихъ Крамольниковъ.

— Ничего не дѣлаемъ; такъ промежду себя собрались: а все-таки, какова пора ни мѣра, насъ вѣдь не погладятъ.

— За что̀ же?

— А здорово живешь—вотъ за что̀! Никогда, молъ, такихъ дѣловъ не бывало—вотъ за что̀! Мужику, молъ, полагается въ своей избѣ праздники справлять, а тутъ нутка... вотъ за что̀! Писаренокъ вотъ тоже: давеча, отъ обѣдни шедши, я съ нимъ встрѣтился—и не глядитъ, рыло воротитъ! Стало-быть, и у него на совѣсти что-ни-на-есть нечистое завелось!

Въ это время на улицѣ раздается свистъ.

— А вѣдь это онъ, это писаренокъ насвистываетъ! Гляньте-ко, ребята, не ѣдетъ ли по дорогѣ кто-нибудь?

— Чего глядѣть! Я на колокольню Минайку сторожа поставилъ: чуть что̀, говорю, сейчасъ, Минайка, бѣги!—успокаиваетъ общество староста.

— Такъ ты ужъ сдѣлай милость, Іона Васильичъ! Просимъ тебя: какъ ежели что̀, такъ ты выходи впередъ: я, молъ, одинъ въ отвѣтѣ!

Крамольникову дѣлается грустно, и слова Возсіяющаго: «не стòитъ изъ-за пустяковъ»—невольно приходятъ ему на мысль. Но онъ еще бодрится, и даже самое негодованіе, возбуждаемое маловѣріемъ крестьянъ, проливаетъ какую-то храбрость въ его сердце.

— Сказалъ, что одинъ за всѣхъ въ отвѣтѣ буду,—и буду въ отвѣтѣ!—говоритъ онъ твердымъ и увѣреннымъ голосомъ:—и не боюсь! Никого я не боюсь, потому что и бояться мнѣ нечего.

— А если ты не боишься—такъ и слава Богу! И мы не боимся — намъ что̀! Когда ты одинъ въ отвѣтѣ — стало-быть, мы у тебя все одно какъ у Христа за пазушкой!

Крестьяне успокаиваются и словно бодрѣе принимаются за ложки. На столахъ появляется вторая перемѣна хлѣбова и по стакану вина. Крамольниковъ подмигиваетъ однимъ глазомъ Василію Егорычу, который встаетъ.

— Ну, Мосеичъ, будь здоровъ!—провозглашаетъ онъ:—пятьдесятъ лѣтъ для Бога и для людей старался, постарайся и еще столько же!

— Мосеичу! Палиту Мосеичу!—раздается со всѣхъ сторонъ:—пятьдесятъ лѣтъ здравствовать!

Виновникъ торжества видимо взволнованъ, хотя и старается казаться спокойнымъ. Блѣдное старческое лицо его

кажется еще блѣднѣе и словно чище; онъ тоже встаетъ и на всѣ стороны кланяется.

— Благодаримъ на ласковомъ словѣ, православные!— произноситъ онъ слегка дрожащимъ голосомъ:—а чтобъ еще пятьдесятъ лѣтъ маяться—отъ этого уже увольте!

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Пятьдесятъ лѣтъ да еще съ хвостикомъ!—настаиваютъ пирующіе.

Здѣсь бы собственно и сказать Крамольникову приготовленную рѣчь; но онъ разсчитываетъ, что времени впереди еще много, и потому рѣшается предварительно проэкзаменовать юбиляра. Съ этою цѣлью онъ дѣлаетъ ему точь-въ-точь такой же допросъ, какой ловкій прокуроръ обыкновенно дѣлаетъ на судѣ подсудимому, котораго онъ, въ интересахъ казны, желаетъ подкузьмить.

— А что, Ипполитъ Моисеичъ,—говоритъ онъ:—многотаки, я полагаю, вы на своемъ вѣку видовъ видѣли?

— Всего, сударь, было,—просто и скромно отвѣчаетъ юбиляръ.

— Онъ у насъ и въ огнѣ не горитъ, и въ водѣ не тонетъ!—подсмѣивается староста.

— Какъ и всѣ, Иванъ Матвѣичъ.

— Ну-съ, а скажите, правду ли говорятъ, что вы нѣсколько разъ замерзали?—продолжаетъ Крамольниковъ.

— Было, сударь, и это.

— А скажите, пожалуйста, какое это чувство, когда замерзаешь?

— То-есть какъ это «чувство»?

— Ну, да, что вы чувствовали, когда съ вами это случилось?

— Что чувствовать? По началу зябко, а потомъ—ничего. Словно бы въ сонъ вдаритъ. Послѣ хуже, какъ оттаивать начнутъ. Я въ Москвѣ два мѣсяца въ больницѣ пролежалъ—вотъ и пальца одного нѣтъ.

Онъ поднимаетъ правую руку, на которой дѣйствительно вмѣсто третьяго пальца оказывается дыра.

— Какъ же вы работаете съ такой рукой? Вѣдь, я думаю, неспособно?

— Приспособился, сударь.

— Намъ, ваше здоровье, нельзя не работать,—вставляетъ свое слово Василій Егорычъ:—другого и всего болѣсть изломаетъ, а все ему не работать нельзя.

— Мы на работѣ, сударь, лѣчимся, —отзывается какой-то мужичокъ изъ толпы:—у меня намеднись совсѣмъ поясница

отнялась: всталъ это утромъ—что̀ за чудо? Согнусь—разогнуться не могу: разогнусь — согнуться невмочь. Взялъ косу да отмахалъ ею четыре часа сряду—и болѣзнь какъ рукой сняло!

— Да и работы по нашему хозяйству довольно всякой найдется,—поясняетъ староста:—ежели одну работу работать неспособно — другая есть. Косить не можешь—сѣно съ бабами вороши; пахать нельзя—боронить ступай. Работа завсегда есть.

— Какъ не быть работѣ!—откликаются со всѣхъ сторонъ.

— А вотъ говорятъ, что вы однажды чуть не утонули,—вновь допрашиваетъ Крамольниковъ:—что̀ вы при этомъ чувствовали?

— Тоже въ сонъ вдаряетъ,—отвѣчалъ юбиляръ:—сначала барахтаешься въ водѣ, выпрыгнуть хочешь, а потомъ ослабнешь. Покажется мягко таково. Только круги зеленые въ глазахъ—неловко словно.

— По какому же случаю вы тонули?

— Съ подводой въ ту пору гоняли: подъ солдатъ: солдаты шли. Дѣло-то осенью было, наводокъ случился—не остерегся, стало-быть.

— Ну, а пожары у васъ въ домѣ бывали?

— Бывали, сударь. Разъ десятокъ пришлось-таки милость Божью видѣть!

— У него, ваше здоровье, даже сынъ въ пожаръ сгорѣлъ,—припоминаетъ кто-то изъ толпы.

— И какой мальчикъ былъ шустрый! Кормилецъ былъ бы теперь!—отзывается другой голосъ.

— Какъ же это такъ? Неужто спасти не могли?

— Ночью, сударь, пожаръ-то случился, а меня дома не было, въ Москву ѣздилъ...

— Прибѣгаютъ-это мужички на пожаръ,—говоритъ староста:—а онъ, сердечный, мальчишечко-то, стоитъ въ окнѣ, въ самомъ, значитъ, въ полымѣ... Мы ему кричимъ: спрыгни, милый, спрыгни! А онъ только рукавами рубашонку раздуваетъ!

— Не смыслилъ еще, значитъ!

— И вдругъ-это закружился...

При этомъ разсказѣ Мосеичъ всталъ и набожно крестится. Губы его что-то шепчутъ. Всѣ присутствующіе вздыхаютъ, такъ что на минуту торжество грозитъ принять печальный характеръ. Къ счастію, Крамольниковъ, помня,

что ему предстоитъ еще кой-о-чемъ допросить юбиляра, не даетъ окрѣпнуть печальному настроенію.

— А вотъ въ тюрьмѣ вы за что̀ были? — спрашиваетъ онъ.

— Такъ, сударь, Богу угодно было.

— Мы вѣдь въ старину-то бунтовщики были,—поясняетъ Василій Егорычъ:—съ помѣщиками все воевали. Ну, а онъ, какъ въ своей-то порѣ былъ, горячій тоже мужикъ былъ. Иной бы разъ и позади людей схорониться нужно, а онъ впередъ да впередъ. И на поселеніе сколько разъ его ссылать хотѣли—да отъ этого Богъ однако миловалъ.

— Не допустилъ Царь Небесный на чужой сторонѣ помереть!

— А безпремѣнно бы его сослали,—договариваетъ староста:—коли бы ежели сами господа въ немъ нужды не видѣли.

— Вотъ что̀!

— Именно такъ. Лѣсникомъ онъ у насъ въ вотчинѣ служилъ. Лѣса̀ у насъ здѣсь, надо прямо сказать, большущіе были, а онъ каждый кустъ зналъ, и чтобъ срубить что-нибудь въ барскомъ лѣсу безъ спросу—и ни-ни! Прута унести не дастъ! Вотъ господамъ-то и жалко. Пробовали-было, и не разъ, его смѣнять, да не въ пользу. Какъ только провѣдаютъ мужики, что Мосеича нѣтъ,—смотришь, анъ на другой день и порубка.

— Ну-съ, а помѣщики... хорошо съ вами обращались?—продолжаетъ допрашивать Крамольниковъ.

— Бывало... всякое...—отвѣчаетъ юбиляръ уже усталымъ голосомъ. Очевидно, что если бы не невозмутимое природное благодушіе—онъ давно бы крикнулъ своему собесѣднику: отстань!

— У насъ, ваше здоровье, хорошіе помѣщики были: шесть дней въ недѣлю на барщину, а остальные на себя—хошь—гуляй, хошь—работай!—шутитъ староста.

— А послѣдній помѣщикъ у насъ Василій Порфирычъ былъ, отъ котораго мы ужъ и на волю вышли,—говоритъ Василій Егорычъ:—такъ тотъ, бывало, по ночамъ у крестьянъ капусту съ огородовъ воровалъ! И чудородъ вѣдь! Бывало, подкараулишь его: хорошо ли, молъ, вы, Василій Порфирычъ, этакъ-то дѣлаете? Ну, онъ ничего, словно съ гуся вода: «что̀ ты! что̀ ты!—говоритъ:—ничего я не дѣлаю, я только такъ...» И сейчасъ это маршъ назадъ и даже кочни, ежели которые срѣзалъ, отдастъ!

— Болѣзнь, стало-быть, у него такая была!—отзывается кто-то.

— Ну-съ, Ипполитъ Моисеичъ, а разскажите-ка намъ теперь, какъ вы женились?—какъ-то особенно дружелюбно вопрошаетъ Крамольниковъ и даже похлопываетъ юбиляра по колѣнкѣ.

— Что же «женился»?! Женился—и все тутъ!

— Нѣтъ, ужъ вы по порядку намъ разскажите: какъ вы склонность къ вашей нынѣшней супругѣ получили, или, быть-можетъ, вашъ бракъ состоялся не по любви, а подъ вліяніемъ какихъ-либо принудительныхъ мѣръ? Знаете, вѣдь въ прежнее время помѣщики...

— Года вышли; на тягло надо было сажать... Извѣстно—женихъ.

— Нѣтъ, ужъ, сдѣлайте одолженіе, по порядку разскажите!

— Года вышли—ну, староста пришелъ. «У Тимоѳея, говоритъ, дочь-дѣвка есть». Ну—женился.

— У насъ, ваше здоровье, не спрашивали, люба или нелюба дѣвка. Тягло чтобъ было—и весь разговоръ тутъ!—объясняетъ староста.

— Такъ-съ; а подати и оброки вы всегда исправно платили?

— Завсегда... ни одиной, то-есть, полушки... И барщина, и оброкъ... какъ есть!—отвѣчаетъ юбиляръ и словно даже приходитъ въ волненіе при этомъ воспоминаніи.

— И, вѣроятно, тяжелымъ трудомъ доставали вы эти деньги?

Юбиляръ молчитъ. Ясно, что его уже настолько задѣли за живое, что ему дѣлается противно. Но староста оказывается словоохотливѣе и по мѣрѣ разумѣнія своего удовлетворяетъ любознательности Крамольникова.

— Это насчетъ тягостей, что ли, ваше здоровье, спрашиваете?—говоритъ онъ:—и не приведи Богъ! Каторжная наша жизнь—вотъ что! Вынь да положь—вотъ какая у насъ жизнь! А откуда вынь—никому это, значитъ, не любопытно. Прошлый годъ я цѣлую зиму сѣно въ Москву возилъ: у помѣщиковъ здѣсь по разнотѣ скупалъ, а въ Москвѣ продавалъ. И Боже ты мой, сколько я тутъ мученья принялъ! Ѣдешь этта тридцать верстъ цѣлую ночь, и стыть-то, и глаза-то тебѣ слѣпитъ, и вѣтромъ лицо жжетъ—смерть! Ну, цѣлковый-рупь выгадаешь, привезешь изъ Москвы. А вашему здоровью со стороны-то,

чай, кажется: вотъ, молъ, мужичокъ около возочка погуливаетъ!

— Ну, нѣтъ, мнѣ... я вѣдь и самъ...

— Знаемъ, что не дворянской крови, а все-таки... Вы изъ приказныхъ, что ли?

— Отецъ мой былъ канцелярскимъ служителемъ... и тоже...

— Тоже, чай, по кабакамъ мужикамъ просьбы писалъ— что̀ ему? Въ кабакѣ свѣтло, тепло... Сидитъ да перомъ поскребываетъ. Ну, а наше дѣло почище будетъ! И вѣдь чудо это! Маемся мы, маемся, а все какъ будто гуляемъ!

— Наша должность такая, что все мы на вольномъ воздухѣ, — скромно поясняетъ юбиляръ: — оттого и кажется, будто гуляемъ

— Косимъ—гуляемъ, сѣно ворошимъ—гуляемъ, пашемъ—гуляемъ!—отзывается кто-то.

— А ты сочти, сколько верстъ хоть бы на пашнѣ этого гулянья на нашъ пай достанется. Въ лѣтній день мужику—это бѣдно—полдесятины вспахать нужно. Сколько это, по-твоему, верстъ будетъ?

— Да верстъ двадцать слишкомъ.

— Ты вотъ двадцать-то верстъ въ день порожнёмъ по гладкой дорогѣ пройдешь и то запыхаешься, а тутъ по пашнѣ иди, да еще налягъ на соху-то, потому она неравно̀ выбьется!

Мужики смолкли, словно призадумались. Крамольниковъ тоже облокачивается рукой объ столъ и ерошитъ себѣ волосы. Онъ чувствуетъ, что теперь самое время произнести юбилейную рѣчь.

— Неприглядное ваше житье, господа! — говоритъ онъ.

— Какого еще житья хуже надо!

Крамольниковъ встаетъ, держа въ рукѣ стаканъ съ виномъ. Онъ, видимо, взволнованъ; лицо блѣдно, плечи вздрагиваютъ, руки трясутся, волосы стоятъ почти дыбомъ.

— Господа! — говоритъ онъ, задыхаясь: — пью за здоровье почтеннаго, изнуреннаго, но все еще не забитаго и бодраго русскаго крестьянства! Да, неприглядное, горькое ваше житье, господа! Вы слышали сейчасъ показанія почтеннаго юбиляра, вы слышали свидѣтельство и другихъ, не менѣе почтенныхъ и свѣдущихъ лицъ — и изъ всѣхъ этихъ показаній и свидѣтельствъ явствуетъ одно: горькое, трудное житье русскаго крестьянина! Можно сказать даже

больше: его жизнь полна такихъ опасностей, которыя неизвѣстны никакому другому сословію. Чтобы убѣдиться въ этомъ, прослѣдимъ судьбу его съ самаго начала. Онъ родится и съ первыхъ минутъ своей жизни уже составляетъ не радость и утѣшеніе, но бремя для своихъ родителей! Да, бремя; ибо ежели впослѣдствіи тѣ же родители будутъ имѣть въ народившемся малюткѣ кормильца и поддержку ихъ старости, то вначалѣ они видятъ въ немъ только лишній ротъ и обременительную заботу, отвлекающую отъ выполненія главной задачи ихъ жизни: поддержки того бѣднаго существованія, которое, такъ или иначе, они обязываются нести. Ребенокъ безпомощенъ: онъ требуетъ ухода и попеченій: но какой же уходъ можетъ дать ему его бѣдная мать? Согбенная подъ лучами палящаго солнца, она надрываетъ свои силы надъ скудною полосою ржи; покрытая перлами пота, она ворошитъ сѣно и помогаетъ достойному своему мужу навить его на возъ; она встаетъ съ зарею и для всей семьи приготовляетъ скудную трапезу; она ѣдетъ въ лѣсъ за дровами, въ лугъ за сѣномъ, задаетъ кормъ скотинѣ, убираетъ ее... И все это время ребенокъ остается безъ призора, мокрый, безъ пищи, ибо можно ли назвать пищею прокислую соску, которую ему суютъ въ ротъ, чтобъ онъ только не кричалъ? Упоминать ли о болѣзняхъ, которыя вслѣдствіе всего этого такъ часто поражаютъ крестьянскихъ дѣтей? Удивляться ли смертности, необходимой спутницѣ этихъ болѣзней? Крупъ, скарлатина, оспа, головная водянка — всѣ бичи человѣчества стерегутъ злосчастныхъ малютокъ и нерѣдко похищаютъ у жизни цѣлыя поколѣнія!.. Нѣтъ, не болѣзнямъ, не смертности нужно удивляться, а тому, что еще находятся отдѣльныя единицы, которыя, по счастливой случайности, остаются жить. Жить — для чего? Для того, господа, чтобъ и дальнѣйшее ихъ существованіе продолжало быть искупительною жертвою, приносимою на алтарь отечества! Проходитъ годъ, два, три, крестьянскій малютка настолько выросъ, что можетъ уже стоять на ногахъ и лепетать кой-какія слова. Какія попеченія окружаютъ его въ этомъ нѣжномъ и опасномъ возрастѣ? Мнѣ больно, господа, но я долженъ сказать, что ничего похожаго на уходъ тутъ не существуетъ. Та нужда, которая съ ранняго утра выгоняетъ изъ дома родителей ребенка, косвеннымъ, но очень рѣшительнымъ образомъ отражается и на немъ самомъ. Онъ дѣлается, такъ сказать, гражданиномъ деревенской

улицы, товарищемъ птицъ и звѣрей, которые бродятъ по ней, настолько же лишенные призора, насколько лишенъ его крестьянскій малютка. Сообразите, сколько опасностей ожидаетъ его тутъ? Хищный волкъ, бѣшеная собака, прожорливая свинья — все находитъ его беззащитнымъ, все угрожаетъ ему безвременной смертью! Еще на-дняхъ у насъ былъ такой случай, что пѣтухъ выклюнулъ глазъ у крестьянской дѣвочки. Гдѣ, спрашиваю я, въ какомъ сословіи можетъ случиться что-нибудь подобное? Но крестьянскій малютка живучъ; онъ бодро идетъ впередъ по усѣянной терніемъ жизненной тропѣ и посмѣивается надъ жаломъ смерти, вездѣ его преслѣдующимъ, вездѣ готовымъ его настигнуть. Поднявши рубашонку, шлепая по грязи или возясь съ непокрытой головой въ дорожной пыли подъ лучами палящаго солнца, онъ растетъ... Я хотѣлъ бы сказать, что онъ растетъ, какъ крапива у забора, но, право, и это было бы слишкомъ роскошно для него, ибо едва ли найдется въ цѣлой природѣ такой злакъ, котораго возрастаніе могло бы быть приведено здѣсь, какъ мѣрило для сравненія. Тѣмъ не менѣе онъ растетъ и крѣпнетъ, и восьми лѣтъ дѣлается уже небезполезнымъ членомъ своей семьи. Онъ помогаетъ родителямъ въ болѣе легкихъ работахъ, онъ пѣстуетъ своихъ маленькихъ сестеръ и братьевъ, наконецъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ даже приноситъ семьѣ извѣстный заработокъ. Этотъ заработокъ — святой, господа! Вы, вѣроятно, слыхали отъ священника вашего о лептѣ вдовицы и, конечно, умилялись надъ разсказомъ о ней! Но сообразите, во сколько разъ святѣе и умилительнѣе эта другая лепта, которую я назову лептою русскаго крестьянскаго малютки? Древле Авраамъ во славу Господню готовился принести въ жертву сына своего Исаака, и ангелъ Господень остановилъ руку его. Русское крестьянство каждый день приноситъ эту жертву, и—увы!—останавливающій руку ангелъ не прилетаетъ къ нему! Древле пророкъ, оплакивая судьбы святого города, восклицалъ въ смятеніи души своей: «да будетъ забвенна рука моя, аще забуду тебя, Іерусалиме!» Нынѣ я, какъ учитель дѣтей крестьянскихъ, проведшій сладчайшія минуты жизни своей въ общеніи съ ними, во всеуслышаніе восклицаю: дѣти! русскія дѣти! да будетъ забвенна десница моя, ежели забуду часы, проведенные съ вами! Господа! пью за здоровье крестьянскихъ русскихъ дѣтей!

Голосъ Крамольникова прервался: онъ былъ до того

взволнованъ, что едва держался на ногахъ. Старушки, приблизившіяся къ пирующимъ, чтобъ послушать, что учитель гуторитъ, стояли пригорюнившись, а нѣкоторыя и прослезились. Мужики говорили: «ну, вотъ, и спасибо тебѣ, ваше здоровье, что ребятишекъ нашихъ вспомнилъ!» Черезъ нѣсколько минутъ однако-жъ Крамольниковъ настолько успокоился, что могъ продолжать.

— Я не буду представлять вамъ здѣсь, господа, — сказалъ онъ: — полную картину перехода русскаго крестьянскаго ребенка отъ ребячества къ юношеству. Это заняло бы у насъ много времени, недостатокъ котораго заставляетъ меня останавливаться лишь на самыхъ характеристическихъ подробностяхъ предмета, насъ занимающаго. Итакъ, перейдемъ прямо къ крестьянину-юношѣ и прежде всего займемся судьбой русской крестьянки. Признаюсь откровенно, мое сердце сжимается при одномъ имени русской крестьянки и сжимается тѣмъ больше, что часть тѣхъ тяжелыхъ веригъ, которыя выпали на долю ея, идетъ отъ васъ самихъ, господа. Я знаю, что въ этомъ фактѣ не столько виноваты вы сами, сколько ваше горе, нужда, но я знаю также, что одинаковость горя и равная степень нужды должна бы послужить поводомъ для круговой поруки несчастія, а не для притѣсненія однихъ несчастныхъ посредствомъ другихъ. Пора бы подумать объ этомъ, господа. Пора сказать себѣ: мы несчастны, слѣдовательно наша обязанность подать другъ другу руку, а не раздирать другъ друга. Нѣтъ ничего безотраднѣе, даже безпримѣрнѣе существованія русской крестьянки. Начать съ того, что у нея почти нѣтъ дѣвичества. То, о чемъ поется въ пѣсняхъ подъ именемъ дѣвической воли, продолжается не болѣе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, т.-е. отъ конца лѣтней страды до январскаго мясоѣда, въ которомъ обыкновенно вѣнчаются крестьянскія свадьбы. Лѣтомъ — она была отроковица, зимою—она уже жена и работница. Да, именно работница, и останется ею во всю жизнь, ибо только немногимъ русскимъ крестьянкамъ удается цѣною долголѣтняго искуса страданій купить себѣ въ старости положеніе главы дома. Мало радостей у крестьянина, а у нея и совсѣмъ нѣтъ ихъ. Крестьянинъ все-таки отлучается на заработки, слѣдовательно видитъ свѣтъ Божій, чувствуетъ себя дѣйствующимъ и отвѣтственнымъ лицомъ. Крестьянка—на всю жизнь прикована къ семьѣ, на всю жизнь осуждена на безотвѣтность. Сознайтесь, господа, что ваше обращеніе съ

женами и матерями потому только не заслуживаетъ названія жестокаго, что оно слишкомъ уже вошло въ нравы. А между тѣмъ, не будь въ домахъ вашихъ этихъ вѣковыхъ печальницъ, этихъ неутомимыхъ охранительницъ бѣднаго крестьянскаго двора,—вы не имѣли бы даже и тѣхъ скудныхъ жизненныхъ удобствъ, которыми пользуетесь теперь. Ежели жилища ваши имѣютъ видъ человѣческихъ жилищъ, если въ нихъ свѣтло и тепло, то и этотъ свѣтъ и эта теплота исходятъ исключительно отъ нея, отъ этой загубленной русской женщины, о которой недаромъ русская пѣсня поетъ:

День—денная ты печальница,
Ночь—ночная богомолица!
Вѣковѣчная сухотница.

Если вы не умираете съ голоду, ежели видите дворы свои не расхищенными, ежели не пропадаютъ, какъ ничтожное быліе, ваши дѣти, — этимъ вы обязаны все той вѣковѣчной сухотницѣ! Исторія отмѣтила много видовъ геройства и самоотверженности, но забыла объ одномъ: о геройствѣ и самоотверженности русской крестьянской женщины. Это—скромное, безпримѣрное геройство, никогда не прекращающееся, не ослабѣвающее: ни при первомъ крикѣ пѣтела, ни при третьемъ. Это — геройство, замкнутое въ тѣсныхъ предѣлахъ крестьянскаго двора, но всегда стоящее на стражѣ и готовое встрѣтить врага. Не забудьте, что женщина по самой природѣ своей — существо слабое, существо, обреченное на болѣзни; но русская крестьянка въ этомъ случаѣ составляетъ какъ бы исключеніе: для нея не существуетъ ни болѣзней, ни слабости, не потому, чтобъ она ихъ не чувствовала, но потому, что она *не имѣетъ права* чувствовать. Я сейчасъ упоминалъ о случаѣ, когда пѣтухъ выклюнулъ глазъ дѣвочкѣ Матрешѣ. Въ это время мать ея, Надежда Петровна, была въ лѣсу, верстъ за пять, и рубила дрова. Изнуренная тяжелой работой, тѣмъ не менѣе она бѣгомъ пробѣжала эти пять верстъ, и никто даже не удивился этому подвигу, ибо всякій понималъ, что именно такъ должна была поступить русская крестьянка. Я не говорю о томъ, что ваши женщины суть устроительницы домовъ вашихъ, что работы, которыя онѣ несутъ, немногимъ легче тѣхъ, которыя вы сами несете, но есть одно обстоятельство, еще болѣе горькое, болѣе безотрадное. Онѣ раздѣляютъ всѣ тяготы ваши, всѣ неудачи, невзгоды и несчастія—и никогда не дѣлятъ

вашихъ радостей или удовольствій. Вы имѣете хоть какіе-нибудь внѣсемейные интересы: вы встрѣчаетесь съ новыми людьми, съ новою обстановкой; вы наконецъ, какъ я уже сказалъ разъ, можете, за вашъ личный страхъ, бороться съ невзгодой. Крестьянка лишена всѣхъ этихъ преимуществъ. Она даже бороться не можетъ, а можетъ только втихомолку проливать слезы. Въ продолженіе всей ея жизни у нея постоянно что-нибудь да отнимаютъ. Замужество отнимаетъ у нея мать и отца, заработки — мужа, рекрутчина — сына, совершеннолѣтіе дочери — дочь. И на всѣ эти притязанія слѣпой судьбы она можетъ отвѣтить только слезами! Кто видитъ эти слезы? Кто слышитъ, какъ онѣ льются капля по каплѣ, подтачивая драгоцѣннѣйшее человѣческое существованіе? Ихъ видитъ и слышитъ только русскій крестьянскій малютка, но въ немъ онѣ оживляютъ нравственное чувство и полагаютъ въ его сердцѣ сѣмена любви и добра. Школа материнскихъ слезъ — добрая школа, господа, и не утратитъ вѣры въ свою силу тотъ, кто воспитался въ этой школѣ. Но вы, господа, — я обращусь теперь уже къ вамъ, — вы, главы крестьянскихъ семействъ, что̀ дали вы вашимъ женамъ и матерямъ взамѣнъ ихъ самоотверженности и любви? Видѣли ли вы ихъ слезы, знаете ли о нихъ? Я знаю, вы настолько совѣстливы, что не нужно даже ждать вашего отвѣта на мой вопросъ; этотъ отвѣтъ, навѣрное, осудитъ васъ. По этому поводу позвольте мнѣ еще разъ возвратиться къ уже высказанной мною прежде мысли. Господа! васъ ожесточаетъ горе и вѣчно преслѣдующая нужда, и, конечно, это въ значительной степени облегчаетъ вашу вину: но знайте, что въ кругу одинаково несчастныхъ людей горе и нужда должны быть сплочивающимъ звеномъ, а не сѣменемъ раздора. Иначе самое существованіе сдѣлается невозможнымъ, и исчезнетъ всякая надежда на лучшее будущее. Вникните пристальнѣе въ слова мои, провѣрьте ихъ судомъ собственной совѣсти, и вы, навѣрное, сами придете къ тому, что относительная слабость женщины должна вызывать не презрѣніе къ ней, а ласку и покровительство. Вотъ почему я пользуюсь этою братскою трапезой, чтобъ возгласить тостъ за улучшеніе участи русской крестьянской женщины, охранительницы, устроительницы русской крестьянской семьи! Ура!

Громкое «ура» отвѣчаетъ на вызовъ Крамольникова. Несмотря на нѣкоторую витіеватость его рѣчи, крестьяне

поняли сущность ея. А крестьянки даже весело улыбались и громко выражали свое удовольствіе учителю за урокъ, данный мужьямъ и сыновьямъ. Ободренный успѣхомъ, Крамольниковъ продолжалъ:

— Теперь приступаю къ главному предмету моей бесѣды съ вами—къ русскому крестьянину. Изъ объясненій почтеннаго вашего односельца, котораго мы нынѣ вкупѣ чествуемъ, вы сами видите, сколько онъ поднялъ трудовъ и сколькимъ подвергался опасностямъ. Увы! этотъ примѣръ не единственный и не исключительный: вы всѣ находитесь въ томъ же положеніи, какъ и почтеннѣйшій Ипполитъ Моисеичъ. Я не говорю уже о крѣпостномъ правѣ, порождавшемъ помѣщиковъ, которые, злоупотребляя своимъ положеніемъ, требовали отъ крестьянъ шестидневной изнурительной барщины, для которыхъ тѣлесное наказаніе было обычною формою отношеній къ крестьянину, которые наконецъ доходили до такого малодушія, что по ночамъ воровали изъ крестьянскихъ огородовъ овощи. Крѣпостное право умерло и больше не возвратится. Но даже и теперь, когда, по манію Державнаго Освободителя, цѣпи рабства спали съ васъ, освободились ли вы отъ тѣхъ тягостей и опасностей, которыя на каждомъ шагу осаждаютъ существованіе русскаго крестьянина? Изъ словъ Ипполита Моисеича видно, что онъ не разъ былъ на одинъ волосъ отъ смерти: онъ замерзалъ и тонулъ. Своей ли охотой и для своихъ ли дѣлъ онъ рисковалъ въ этихъ случаяхъ жизнью? Нѣтъ, онъ, конечно, предпочелъ бы остаться дома въ теплѣ, чѣмъ тащиться съ подводой въ зимнюю вьюгу и въ весеннюю ростепель. Нужда выгоняла его изъ домашняго тепла. Но этого мало: Ипполитъ Моисеичъ, сравнительно, даже не много рисковалъ, ибо, по самому роду своихъ занятій, онъ могъ подвергаться только опасностямъ извѣстнаго характера, и притомъ хотя съ трудомъ, но все-таки отвратимымъ. А есть занятія, которымъ предается все то же почтенное крестьянское сословіе и при которыхъ рискъ жизнью составляетъ, такъ сказать, обыкновенную и почти неизбѣжную принадлежность. Стòитъ побывать лѣтомъ въ любомъ городѣ, чтобъ увидѣть штукатуровъ и маляровъ, висящихъ на воздухѣ въ утлыхъ садкахъ, кровельщиковъ, ползающихъ по крышамъ четырехэтажныхъ домовъ, каменщиковъ, стучащихъ молотомъ на необозримой высотѣ, носильщиковъ, взбирающихся съ тяжелою ношей по выстроеннымъ на живую нитку лѣсамъ. Стòитъ постранствовать

по нашимъ деревнямъ и болотамъ, чтобъ увидѣть землекоповъ, роющихся въ нѣдрахъ земли, торфяниковъ, работающихъ по поясъ въ водѣ. Стòитъ посѣтить первую попавшуюся фабрику, чтобъ увидѣть цѣлый муравейникъ людей, снующій между колесами машинъ, изъ которыхъ каждое въ одно мгновеніе можетъ превратить человѣка въ массу крови и мяса. Малѣйшая неловкость, ничтожнѣйшее неосторожное движеніе — и человѣкъ пересталъ существовать. Но этого мало, что онъ умираетъ; онъ не просто умираетъ, а умираетъ безслѣдно. Ибо это даже не человѣкъ: при жизни—это рабочая единица, часто неизвѣстная и по имени; по смерти — это «мертвое тѣло». Выбыла рабочая сила изъ строя—не пройдетъ мгновенія, какъ она уже замѣнена другою. Киньте камень въ воду—пустое пространство, которое при этомъ образуется въ массѣ воды, конечно, немедленно заплываетъ, но все-таки вы видите нѣкоторое время на поверхности кругъ, который свидѣтельствуетъ, что здѣсь нѣчто произошло. Смерть крестьянина, зарабатывающаго свой хлѣбъ и свои подати на чужбинѣ, даже этого круга не оставляетъ по себѣ... Ни дѣлъ, ни памяти... Спрошу у всѣхъ честныхъ людей: чье существованіе можетъ сравниться съ этимъ безмолвнымъ геройствомъ, наградой которому служитъ одно забвеніе? Намъ часто приводятъ въ примѣръ жизнь солдата и тѣ опасности, которыми она окружена. Я согласенъ, что существованіе солдата благородно и самоотверженно, но, клянусь, на каждую пожертвованную солдатскую жизнь приходится по малой мѣрѣ сто пожертвованныхъ крестьянскихъ жизней! И не забудьте при этомъ, что солдатъ все-таки знаетъ характеръ угрожающей ему опасности, что онъ жертвуетъ собою, понимая, что эта жертва должна принести извѣстные плоды. Крестьянинъ—ничего не знаетъ. Онъ идетъ впередъ, потому что ему идти больше некуда, идетъ впередъ—и никогда не имѣетъ увѣренности, разверзнется или не разверзнется подъ нимъ земля... Но, скажутъ мнѣ, случайныя опасности не могутъ же служить мѣриломъ для оцѣнки чьей бы то ни было жизни. Случайности могутъ встрѣтиться вездѣ, и ударомъ грома одинаково поражаетъ человѣка, къ какому бы званію онъ ни принадлежалъ. Прекрасно. Но возраженіе это, очевидно, теряетъ всякую силу тамъ, гдѣ опасность, такъ сказать, составляетъ краеугольный камень всего человѣческаго существованія, гдѣ она настигаетъ человѣка до того легко, что представляется

уже не случайностью, а какъ бы неразрывною частью всей жизненной обстановки. Ударъ грома, конечно, безразлично убиваетъ человѣка всякаго званія, но каждому понятно, что, напримѣръ, пастухъ, проводящій цѣлые дни въ полѣ и въ лѣсу, легче подвергается опасности быть убитымъ грозой, нежели человѣкъ, который во всякое время можетъ укрыться отъ непогоды подъ кровлей надежнаго жилища. Но допустимъ однако, что это возраженіе, само по себѣ неправое, должно быть уважено. Оставимъ міръ случайностей и взглянемъ на бытъ русскаго крестьянина внѣ этой сферы, въ кругу такихъ занятій, которыя ужъ никакъ не могутъ быть названы случайными, но представляютъ собой естественную обстановку всей его жизни. Занятія эти суть: пахота, бороньба, молотьба хлѣба, сѣнокосъ, отвозка сельскихъ произведеній на базаръ для продажи и т. д. Всѣ эти занятія, какъ справедливо выразился одинъ изъ почтенныхъ нашихъ односельчанъ, имѣютъ издали видъ гулянья, но спросимъ себя по совѣсти, такъ ли это? Нѣтъ, это не гулянье, ибо для того, чтобъ вспахать полдесятины земли (обыкновенный дневной крестьянскій урокъ), нужно пройти пѣшкомъ не меньше двадцати верстъ по почвѣ, въ которой вязнутъ ноги, пройти, упираясь всѣмъ тѣломъ въ соху. Это—не гулянье, ибо для того, чтобъ скосить одну пятую десятины луга (тоже дневной урокъ), нужно сдѣлать безчисленное количество взмаховъ косы, при чемъ напряженіе человѣческихъ мышцъ равняется, по малой мѣрѣ, напряженію, дѣлаемому при поднятіи двухпудовой тяжести. Это—не гулянье, потому что во время сопровожденія воза до базара стужа захватываетъ дыханіе, снѣгъ лѣпитъ глаза, не говоря уже о физической усталости, которая неизбѣжна при нашихъ разстояніяхъ и которая не полагается ни во что. А рубка дровъ? а пилка теса и досокъ? а земляныя работы? Однимъ словомъ, куда бы я ни обратилъ взоры, какъ бы ни старался отыскать крестьянское занятіе сколько-нибудь льготное—я ничего не нахожу, кромѣ самой горькой, никогда не прерывающейся страды. Вся жизнь крестьянина есть сплошная страда, хотя онъ самъ почтилъ этимъ наименованіемъ только лѣтнее время. Нѣтъ, не только лѣтомъ (лѣто — это крестный путь крестьянина), но круглый годъ, и зиму, и осень, и весну— никогда онъ не освобождался отъ ига страды. О, господа! я—человѣкъ уже въ лѣтахъ, и мнѣ стыдно плакать, но я чувствую, что слезы неудержимо подступаютъ къ глазамъ

моимъ! Онѣ грозятъ прервать мою рѣчь въ самомъ началѣ ея, ибо передо мной стоитъ еще вопросъ громадной важности, котораго я до сихъ поръ не коснулся,—вопросъ о томъ, какія радости, какія удобства и льготы купилъ себѣ русскій крестьянинъ цѣною столькихъ опасностей и непосильныхъ трудовъ?

. . . . . .

Къ сожалѣнію, окончаніе рѣчи Крамольникова осталось для меня тайною, ибо съ этой минуты сновидѣнія мои приняли рѣзко-хаотическій характеръ. Я помню, что кто-то стремглавъ прибѣжалъ и голосомъ, исполненнымъ ужаса, крикнулъ: «ѣдутъ! ѣдутъ!» Я помню, что за этимъ крикомъ послѣдовала невообразимая паника, среди которой Крамольниковъ остался невозмутимымъ, и мнѣ показалось даже, что на его губахъ играла улыбка. Я помню звонъ колокольчика и потомъ еще чей-то голосъ: «а, голубчики!»... Затѣмъ все исчезло...

Утромъ я всталъ съ головною болью, и первою моею мыслью было: а нѣтъ ли еще какого-нибудь помощника архиваріуса или главноначальствующаго надъ курьерскими лошадьми, котораго бы тоже можно было подкузьмить по части юбилейныхъ торжествъ?

Похороны.

Скучно жить на свѣтѣ, господа!
Гоголь.

Мы уныло шли за траурными дрогами, изрѣдка только перебрасываясь отрывочными замѣчаніями. Быть-можетъ, намъ не о чемъ было бесѣдовать другъ съ другомъ (хотя почти всѣ, составлявшіе печальный кортежъ, были по профессіи литераторы), но, можетъ-быть, и самая обстановка, среди которой совершалась погребальная церемонія, располагала къ угрюмой сосредоточенности.

Хоронили Пимена Коршунова, русскаго литератора, не особенно знаменитаго, но и не вовсе безвѣстнаго—такъ, средней руки. Хоронили на счетъ семидесяти пяти рублей, которые ассигновалъ Литературный Фондъ, предварительно, впрочемъ, удостовѣрившись, что покойный пилъ водку только передъ обѣдомъ и «не предаваясь». Стояло хмурое октябрьское утро, но, благодаря наступившимъ морозамъ, на улицахъ было сухо и слегка скользко; низко, почти надъ самыми домами, стояла непроглядная масса сѣрыхъ облаковъ, изъ которыхъ попархивалъ первый снѣжокъ. Близкихъ по крови у Коршунова не было; изъ близкихъ по духу собралось на похороны четыре-пять сотрудниковъ газеты, въ которой, подъ конецъ жизни, участвовалъ покойный. Эти послѣдніе ближе жались къ гробу, но и ихъ горесть формулировалась какъ-то черезчуръ несложно, словно одна только мысль и представлялась уму: «вотъ и умеръ!» Вообще весь кортежъ состоялъ изъ пятнадцати-двадцати человѣкъ, разбившихся по группамъ. Всѣмъ было не по себѣ, всѣ шли понуривши голову, какъ будто каждый думалъ: «вотъ скоро надорвусь и я... да и надъ чѣмъ надорвусь!» Только какой-то проворный газетчикъ, ликуя подъ

впечатлѣніемъ успѣшной розничной продажи, порхалъ отъ группы къ группѣ и таинственно сообщалъ всѣмъ, и хотѣвшимъ и не хотѣвшимъ слушать: «вчера разошлось двадцать восемь тысячъ нумеровъ!»

На Театральной улицѣ, противъ дома, гдѣ помѣщается цензурное вѣдомство, отслужили литію. Самъ покойный пожелалъ этого и наканунѣ смерти говорилъ: «пускай хоть по поводу моего переселенія въ лучшій міръ совершится сближеніе литературы съ цензурой!» Во время литіи цензурный сторожъ пронесъ въ ворота ведро алыхъ чернилъ, и кто-то громко, безъ предварительной цензуры, сострилъ: «вотъ писательская кровь, невинно-проліянная!» Но и эта острота ни въ комъ не вызвала отголоска, и затѣмъ кортежъ убійственно-медленнымъ шагомъ потянулся дальше.

Чувство безконечной отчужденности и наготы овладѣвало всякимъ при взглядѣ на эту бѣдную обстановку. Думалось, что везутъ какого-то отщепенца, до котораго никому изъ «публики» дѣла нѣтъ (а онъ именно для «публики»-то и жилъ и ради «публики» безвременно зачахъ и сошелъ въ могилу). Да и своихъ не особенно поражала эта потеря, потому что «свои» ужъ давно освоились съ могилами. Даже больше чѣмъ просто «отщепенство» тутъ видѣлось: казалось, что только по ошибочному неизреченному благосердію допущена эта бѣдная церемонія, предметомъ которой служила совершенно особенная и притомъ не вполнѣ безопасная человѣческая разновидность, именуемая русскимъ писателемъ.

По мѣрѣ того, какъ дроги приближались къ мѣсту назначенія (Митрофаніевское кладбище), кортежъ, и безъ того немноголюдный, постепенно рѣдѣлъ. Одни разбрелись по попутнымъ кондитерскимъ и кухмистерскимъ, обѣщавшись «нагнать»,—и не нагнали; другіе окончательно возвратились по домамъ, мотивируя свое отсутствіе спѣшностью предстоящей срочной работы. У Обводнаго канала оказалось налицо не больше шести-семи человѣкъ, которые прежде не догадались, а теперь ужъ совѣстились. Обстоятельство это однако-жъ послужило къ оживленію кортежа; оставшіеся скучились, и бесѣда между ними пошла бодрѣе. Но предметомъ этой бесѣды служилъ не Пименъ Коршуновъ («онъ умеръ»—этимъ все было сказано), а тò, чтò наболѣло на душѣ у каждаго, чтò у всѣхъ на памяти свело въ могилу десятки надорвавшихся людей, чтò каждаго изъ пережившихъ преслѣдовало по пятамъ, устраняя всякую

мысль о возможности освободиться когда-нибудь отъ ига жгучей боли.

О, литература! о, змѣя-мачеха всѣхъ этихъ отщепенцевъ! ты, постылая! ты, напояющая ядомъ и желчью сердца своихъ дѣятелей, ты, ты была предметомъ ихъ внезапно оживившагося собесѣдованія! Много сѣтованій, много гнѣва слышалось въ ихъ рѣчахъ, но еще больше безконечной любви къ постылому ремеслу и какой-то дѣтской увѣренности, что все-таки только тутъ, на этомъ тернистомъ пути, кишащемъ всевозможными гадами, можно спасти душу.

Разумѣется, начали со слуховъ, имѣвшихъ ближайшее прикосновеніе къ современности. Какое отношеніе можетъ имѣть эта животрепещущая современность къ литературѣ? Чего нужно ждать? Будетъ ли лучше? Всѣ эти вопросы какъ-то искони фаталистически тяготѣютъ надъ литературой, а по временамъ врываются въ нее съ особенною назойливостью. Натурально, что они перенеслись и сюда. Кто-то изъ собесѣдующихъ высказался, что лучшія времена недалеко, и что въ виду этого требуется только осторожность и терпѣніе; но остальные отнеслись къ этимъ надеждамъ скептически, хотя терпѣть соглашались, потому что «не терпѣть»—нельзя. Одинъ даже такой выискался, который прямо объявилъ, что надѣяться можно только на розничную продажу, а больше ни на что; что современныя условія литературнаго ремесла таковы, что самое существованіе литературы представляется чѣмъ-то несовмѣстнымъ съ здравыми традиціями о внутреннемъ убѣжденіи; что вообще. если относительно массы смертныхъ принято говорить: «благо живущимъ», то, въ примѣненіи къ русскимъ писателямъ, правильнѣе выражаться такъ: «благо умирающимъ и еще бо́льшее благо—умершимъ». Высказавши это, онъ указалъ рукой на колебавшійся впереди на дрогахъ гробъ, и это напоминаніе невольно вызвало у нѣкоторыхъ чуть замѣтную дрожь.

— Я не говорю уже о томъ,—продолжалъ расходившійся ораторъ:—что мы терпимъ отъ глада и труса, что мы живемъ чуть не въ засадѣ, но мы не знаемъ даже, для чего и для кого мы пишемъ. Кто насъ слышитъ и что̀ извлекаетъ этотъ слышащій изъ обращеннаго къ нему слова? Многіе изъ насъ готовы положить душу (да и дѣйствительно полагаютъ ее) «за други своя», а кто знаетъ объ этомъ? Кто отличитъ страстнаго литературнаго труженика

отъ легковѣсной литературной балалайки, которая, по случаю распутной подвижности темперамента, готова сватать себя любому проходящему? Кому вдомёкъ, что гдѣ-то, въ какой-то лишенной свѣта и воздуха литературной норѣ, ежемгновенно совершается жертвоприношеніе, при которомъ сердце истекаетъ кровью и сгораетъ многострадальная писательская душа подъ бременемъ непосильныхъ болей?

Рѣчь эта несомнѣнно страдала нѣкоторыми риторическими преувеличеніями, но сущность ея была небезосновательна. Стали разыскивать: что̀ такое русская публика? Изъ какихъ элементовъ она составляется? Кто эти прекрасные незнакомцы, ради которыхъ русскій писатель волнуется въ своей конурѣ? Съ какими намѣреніями они подписываются на журналы, покупаютъ книги? Что̀ они вычитываютъ въ этихъ книгахъ? Можетъ-быть, видятъ въ нихъ только пресловутую «фигу»? А можетъ-быть, кромѣ «фиги» и видѣть-то нечего?

— Ахъ, господа, господа!—вздохнулъ кто-то, когда дѣло дошло до «фиги», какъ мѣрила для оцѣнки содержанія русской книги.

Что современная русская литература небогата силами—это, конечно, не подлежитъ сомнѣнію. Но не въ этой относительной бѣдности скрывается главная бѣда. Есть нѣчто гнетущее, что̀ при самомъ рожденіи кладетъ на русскую мысль своеобразную печать. Литература наша и до-днесь представляетъ два совершенно отличные типа: съ одной стороны—недоконченность, невысказанность, боязнь; съ другой стороны—такая ясность, которая равносильна наглости, доведенной до разврата. Очевидно, въ воздухѣ носится еще крѣпостное право. Оно провело заповѣдную черту, подъ которой похоронило громадное количество явленій и закупорило на̀глухо цѣлыя миріады существованій, которыя бьются гдѣ-то на днѣ, тщетно усиливаясь выйти на Божій свѣтъ. И оно же вызвало и пригрѣло безчисленное множество литературныхъ паразитовъ, которые съ изумительнымъ легкомысліемъ вливаютъ ядъ распутства въ русскій жизненный обиходъ.

Да, крѣпостное право упразднено, но еще не сказало своего послѣдняго слова. Это цѣлый громадный строй, который слишкомъ жизненъ, непроникающъ и силенъ, чтобъ исчезнуть по первому манію. Обыкновенно, говоря о немъ, разумѣютъ только отношенія помѣщиковъ къ бывшимъ крѣ-

постнымъ людямъ, но тутъ только одна капля его. Эта капля слишкомъ специфически пахла, а потому и приковала исключительно къ себѣ вниманіе всѣхъ. Капля устранена, а крѣпостное право осталось. Оно разлилось въ воздухѣ, освѣтило нравы, оно изобрѣло путы, связывающія мысль, поразило умы и сердца дряблостью. Наконецъ оно же вызвало цѣлую орду прихлебателей-хищниковъ, которыхъ дѣятельность такъ блестяще выразилась въ безчисленныхъ воровствахъ, банкротствахъ и всякаго рода распутствахъ.

Само начальство изнемогаетъ подъ бременемъ борьбы съ этимъ недугомъ. Возьмемъ для примѣра хоть литературу: кажется, ей дана самая широкая свобода, а между тѣмъ она бьется и чувствуетъ себя точно въ капканѣ. Во всѣхъ странахъ, гдѣ существуетъ точь-въ-точь такая же свобода,— вездѣ литература процвѣтаетъ. А у насъ? У насъ мысль, несомнѣнно умѣренная, на которую въ цѣлой Европѣ смотрятъ какъ на что-то обиходное, заурядное,—у насъ эта самая мысль коломъ застряла въ головѣ писателя. Писатель не знаетъ, въ какія чернила обмакнуть перо, чтобъ выразить ее, не знаетъ, въ какія ризы ее одѣть, чтобъ она не вышла ужъ черезчуръ доступною. Кутаетъ-кутаетъ, обманываетъ всевозможными околичностями и аллегоріями и, только выполнивъ весь, такъ сказать, сложный маскарадный обрядъ, вздохнетъ свободно и возмолвитъ: «слава Богу, теперь, кажется, никто не замѣтитъ!»

Никто не замѣтитъ? А публика? И она тоже не замѣтитъ? Ужели есть на свѣтѣ обида болѣе кровная, нежели это нескончаемое эзопство, до того вошедшее въ обиходъ, что нерѣдко самъ эзопствующій перестаетъ сознавать себя Эзопомъ.

Дойдя до этого заключенія, всѣ отдали полную справедливость либеральнымъ намѣреніямъ начальства. Не начальство стѣсняетъ — оно, напротивъ, само неустанно хлопочетъ,—стѣсняетъ сама жизнь, пропитанная ингредіентами крѣпостного права. Что̀ можетъ начальство противу разнообразныхъ и всемогущихъ вліяній, которыя, подобно безчисленнымъ электрическимъ токамъ, со всѣхъ сторонъ устремляются къ одному центру—литературѣ? Что̀ можетъ оно въ виду громовъ, готовыхъ разразиться каждоминутно и невѣдомо по какому поводу? Что̀ можетъ оно, наконецъ, въ виду того литературнаго распутства, которое ревниво комментируетъ мысль противника, а по временамъ не откажется и прилгать?

Вотъ почему покойный Коршуновъ никогда не рошталъ на литературное начальство, хотя, какъ человѣкъ грѣшный, иногда и любилъ ввести его въ заблужденіе.

— Поддержать, братъ, насъ некому — вотъ въ чемъ бѣда! — сколько разъ говаривалъ онъ мнѣ: — читатель у насъ какой-то совсѣмъ особенный! Словно непомнящій родства: ни любовь его, ни негодованіе—ничто въ грошъ не ставится!

Когда я напомнилъ объ этихъ словахъ покойнаго, то всѣ опять принялись разыскивать, изъ какихъ элементовъ состоитъ русская читающая публика. Перечисляли-перечисляли (выходило какъ-то удивительно разношерстно по внутреннему содержанію и однообразно по костюму) и въ концѣ концовъ опустили руки. Въ заключеніе рьяный ораторъ, который такъ краснорѣчиво говорилъ о писательскихъ жертвоприношеніяхъ, какимъ-то болѣзненно-надорваннымъ голосомъ крикнулъ:

— Читатель! Русскій читатель! Защити!

Но возгласъ этотъ потерялся въ шумѣ деревьевъ, охраняющихъ Митрофаніевское кладбище.

Мы были у цѣли. Церковь была полна народа и гробовъ. Гробы были почти сплошь бѣдные, — только одна усопшая раба Божія Пульхерія, 1-й гильдіи купчиха, смиренно возвышалась на катафалкѣ, противъ самаго алтаря, въ богато изукрашенной домовинѣ. По ея поводу за обѣдней пѣли «хорошіе» пѣвчіе, и благодаря этому обстоятельству и Пименъ воспользовался сладкогласнымъ пѣніемъ. Мы скромно поставили нашего друга поодаль и терпѣливо ожидали очереди. Нашелся добрый батюшка, изъ недавно кончившихъ курсъ, который посвятилъ себя умершему литератору и сказалъ по поводу этой смерти, увѣнчавшей отверженное существованіе, отличнѣйшее, полное глубокаго состраданія слово. О, Пименъ! Если бы ты могъ изъ своей домовины слышать эти простыя, полныя любви слова, ты, навѣрное, по великой своей скромности, воскликнулъ бы: «батюшка! я человѣкъ маленькій и, право, рисковать изъ-за меня...»

Наконецъ мимо насъ пронесли съ парадомъ усопшую 1-й гильдіи купчиху Пульхерію, и церковь мало-по-малу начала пустѣть. Вынесли и мы своего покойника, шли довольно долго между рядами памятниковъ и рѣшетокъ и наконецъ нашли уголокъ, въ которомъ готова была свѣжая могила. Черезъ полчаса все было кончено.

Съ кладбища мы зашли-было въ одну изъ ближайшихъ кухмистерскихъ, гдѣ обыкновенно устраиваются поминальныя торжества, но минутъ съ пять потолкались передъ буфетомъ, поглазѣли на собравшуюся публику и, не совершивъ возліянія, разбрелись по домамъ.

Я зналъ Коршунова довольно хорошо. Это былъ человѣкъ всецѣло литературный, жившій одною жизнью съ русской литературой, не знавшій никакихъ интересовъ, кромѣ интересовъ литературы, не вкусившій ни одной радости, которая не имѣла бы источникомъ литературу. Онъ съ жадностью слѣдилъ за всѣми подробностями литературнаго движенія, за всякой литературной полемикой; онъ ничего не зналъ, ни съ чѣмъ не хотѣлъ имѣть общенія, кромѣ литературы. Нынѣ этотъ типъ мало-по-малу исчезаетъ, но еще въ недавнее время такихъ людей встрѣчалось достаточно. Я не могу сказать навѣрно, насколько цѣнны и существенны были интересы, ихъ волновавшіе, но навѣрное знаю, что, только благодаря ихъ горячей преданности, ихъ беззавѣтной, не поддавшейся никакимъ невзгодамъ любви, ихъ самоотверженному долготерпѣнію, русская литература не прекращала своего существованія.

Эти люди на весь міръ смотрѣли лишь постольку, поскольку онъ представлялъ матеріалъ для литературнаго воздѣйствія. Многіе, даже въ то глухое время, надъ этимъ посмѣивались. Говорили: «Вы все съ вашими мизерными литературными интересишками нòситесь. Ну, чтò такое ваша литературная безсильная стряпня въ сравненіи съ плавнымъ и неусыпающимъ движеніемъ административнаго механизма! Вотъ гдѣ истинный центръ жизни, вотъ гдѣ настоящее творчество! А задача литературы—забавлять и безвреднымъ образомъ занимать досуги читателей».

Въ то время такого рода приговоры считались безапелляціонными. Въ любомъ указѣ губернскаго правленія предполагалось больше творческой силы, нежели, напримѣръ, въ произведеніяхъ Гоголя. И точно: указъ губернскаго правленія объявлялъ о рекрутскомъ наборѣ, напоминалъ о своевременномъ внесѣ податей, предписывалъ о пополненіи продовольственныхъ запасовъ, предупреждалъ, угрожалъ, понуждалъ. Словомъ сказать, и прямо, и косвенно врѣзывался въ жизнь множества людей: однимъ давалъ возможность тучнѣть, другихъ заставлялъ вытягиваться въ струнку. Напротивъ того, дѣйствіе повѣсти Гоголя, относительно боль-

шинства читателей, ограничивалось только взрывомъ хохота и только въ рѣдкихъ случаяхъ производило что-то похожее на отрезвленіе. Но для того, чтобъ оцѣнить это отрезвленіе, надобно было самому быть уже достаточно трезвымъ.

Коршуновъ и подобные ему очень хорошо понимали, какая область имъ отмежевана. Они нимало не обижались мнѣніями о ничтожествѣ литературныхъ «интересишковъ», въ сравненіи съ величественнымъ возвышествіемъ административнаго механизма, а просто принимали ихъ къ свѣдѣнію. Но зато они ушли въ раковину и уже упорно не выходили изъ нея. Однажды убѣдившись, что жизнь есть администрація, они относились къ ней отчасти робко, отчасти какъ къ чему-то фантастическому, заповѣдному и неподдающемуся анализу. Сонное видѣніе, которое подчасъ могло воплотиться и уязвить,—вотъ въ чемъ заключалось представленіе о жизни въ понятіяхъ тогдашнихъ литературныхъ пустынниковъ.

Все существованіе литературнаго подвижника проходило въ этой отчужденности, посреди которой душа человѣческая не знала иного идола, кромѣ литературнаго «дѣланія». Всѣ жизненныя силы и привязанности были сосредоточены тутъ, а остальной міръ близкихъ по крови и воспитанію представлялся какъ бы безсодержательною формою, которая напоминала о себѣ лишь въ качествѣ докучнаго спутника, навязаннаго слѣпою судьбою. Но эти не особенно блестящіе труженики были люди свободные духомъ и вполнѣ чистые сердцемъ, въ которыхъ литература нуждалась едва ли не больше, нежели въ личностяхъ, бьющихъ въ глаза своею блестящею одаренностью. Повторяю: если бы ихъ не было, литература перестала бы существовать. Они имѣли безповоротныя привязанности и безповоротныя вражды: они и любили и ненавидѣли одинаково беззавѣтно и страстно. Тогдашняя литература какъ-то сама собой подѣлилась на два лагеря, при чемъ не допускалось ни смѣшеній, ни компромиссовъ, ни эклектизма. Говорятъ, что это было односторонне; но лучше ли было бы, если бы существовала разносторонность, — въ этомъ позволительно усомниться. По крайней мѣрѣ довольно странно представить себѣ Бѣлинскаго, отъ времени до времени понюхивающаго съ Булгаринымъ табачокъ. Во всякомъ случаѣ, если это и была односторонность, то она спасала литературу отъ податливости. Ежели и въ наши дни тяготѣніе къ дому терпимости составляетъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ,

язву, которая подтачиваетъ лучшія основанія литературной профессіи, то можно себѣ представить, что̀ было бы, если бы это тяготѣніе существовало—тогда?

Къ счастію, тогда была замкнутость — явленіе, конечно, не особенно плодотворное, но охранявшее литературный декорумъ и положившее начало нѣкоторымъ литературнымъ преданіямъ, на которыя не безъ пользы можно ссылаться и нынѣ. Право, не безъ пользы.

Коршуновъ пробавлялся почти исключительно рецензіями. Да болѣе любезнаго сердцу дѣла и подыскать было невозможно, потому что въ то время въ отдѣлѣ критики и библіографіи сосредоточивалась вся жизнь литературы. Пименъ не былъ «критикомъ», но рецензентъ изъ него вышелъ отличный: цѣпкій, обладавшій фразой и умѣвшій прятать концы въ воду. Тогдашнія рецензіи были своего рода руководящія статьи, имѣвшія предметомъ не столько разбираемую книгу, сколько высказъ по ея поводу совершенно самостоятельныхъ мыслей. Краткость не была въ числѣ достоинствъ этихъ статей, но зато въ нихъ всегда что-нибудь «проводилось». Разумѣется, очень часто (даже болѣе чѣмъ часто) проводимое, благодаря безчисленнымъ покровамъ, подъ которыми оно скрывалось, было понятно только членамъ «кружка», но — случайно — оно могло проникнуть и далѣе. Я заранѣе соглашаюсь, что теперь ни на одну изъ этихъ статей никто не сошлется, что имъ суждено покоиться безмятежнымъ сномъ въ тѣхъ толстыхъ томахъ, гдѣ онѣ увидѣли свѣтъ; но иногда все-таки сдается, что не безслѣдны онѣ были. Въ свое время нѣкто надъ ними задумывался, въ свое время онѣ производили въ человѣческихъ душахъ извѣстное наслоеніе, и притомъ періодически и все въ одну и ту же сторону. Что нынче онѣ совсѣмъ-совсѣмъ ненужны—это безспорно, но тогда...

Не надо забывать, что тогда совсѣмъ другое было. Движенія имѣли меньше простора, но зато они были, такъ сказать, поневолѣ пріурочены, такъ что область ангельская рѣзко отличалась отъ области аггельской. Журналовъ и книгъ было меньше, но между ними не было межеумковъ, которые сегодня кажутъ кукишъ въ карманѣ, а завтра раболѣпствуютъ. И хоть я не буду утверждать это навѣрное, но кажется, что и читатель мало-по-малу узналъ, въ чемъ заключается секретъ тѣхъ безконечныхъ баснословій, которыми отличалась литература того времени.

Нѣчего и говорить, что Коршуновъ былъ бѣденъ, какъ

Иръ. Тогдашній журнальный гонораръ очень мало походилъ на нынѣшній, да сверхъ того и самое поле литературной дѣятельности было до крайности ограничено. Трапеза, предлагаемая однимъ или двумя органами печати (изъ наиболѣе распространенныхъ, потому что прочіе сами едва дышали), была слишкомъ скудна, чтобъ напитать всѣхъ желающихъ. Поэтому тѣ, которые почерпали средства къ жизни только въ литературномъ ремеслѣ, положительно бѣдствовали. Коршуновъ былъ блѣденъ и тощъ отъ недостаточнаго и худого питанія, но онъ не только не жаловался на это, но просто, кажется, забывалъ, что существуетъ впроголодь. Его волновало совсѣмъ другое: невозможность высказаться.

Цензура того времени была строгая и притомъ разнообразная, разбросанная по всевозможнымъ вѣдомствамъ. Я не говорю, чтобы цензора были люди жестокіе, но они сами постоянно находились какъ бы на скамьѣ подсудимыхъ, потому что въ ихъ сторону отовсюду направлены были стрѣлы. Ежели прибавить къ этому, что, вслѣдствіе такой разбросанности цензуры, всякій (даже не цензоръ по профессіи) вычеркивалъ изъ корректуры или изъ рукописи все, что ему лично приходилось не по вкусу, то ясно будетъ, какъ мудрено было проскользнуть.

Пишущая братія это знала, и потому всякій замахивался какъ можно шире, въ предвидѣніи, что ежели три четверти и будетъ выброшено, то все-таки хоть что-нибудь возвратится нетронутымъ. Даже Булгаринъ не пренебрегалъ этимъ пріемомъ, потому что и въ отношеніи къ нему цензура была нелицепріятна. Конечно, никто не считалъ его «разбойникомъ пера», но такъ какъ и онъ могъ провраться, то слѣдовательно и изъ-за него могла выйти «исторія». Сверхъ того, онъ былъ бѣльмомъ на глазу, потому что подсиживалъ писателей противоположнаго лагеря и, стало-быть, въ то же время подсиживалъ и цензуру, яко виновную въ слабомъ смотрѣніи. Цензоръ Крыловъ всѣмъ безразлично говорилъ: «я никакъ не желаю, чтобъ мнѣ изъ-за васъ лобъ забрили!» Это было очень похоже на шутку; но какая ужасная шутка! Когда Мусинъ-Пушкинъ былъ назначенъ попечителемъ учебнаго округа, то многіе цензора содрогались при одномъ напоминаніи о немъ и зачеркивали всегда двѣ-три строки лишнихъ. Они усиливались попасть ему въ мысль, но вмѣсто того часто попадали на гауптвахту, откуда, какъ извѣстно, недалеко и до рекрут-

скаго присутствія. Это былъ тотъ самый Мусинъ-Пушкинъ, которому нѣкогда профессоръ Горловъ посвятилъ свой курсъ политической экономіи и въ посвященіи упомянулъ о всѣхъ чинахъ, должностяхъ, званіяхъ и орденахъ своего патрона. Вышла почти цѣлая страница, и я помню, что въ школѣ мы эту страницу пѣвали хоромъ на мотивъ «Вѣрую во единаго». Вотъ какой это былъ строгій человѣкъ, что даже несомнѣнно либеральный партизанъ принципа laissez passer, laissez faire—и тотъ, какъ могъ, ублажалъ его. Что̀ же мудренаго, если корректура возвращалась къ автору не только изъязвленная и вся облитая красными чернилами, какъ кровью, но и доведенная почти до степени бормотанія. Въ тогдашнее время эти цензурныя проказы назывались «окошками въ Европу».

Вотъ въ какомъ щекотливомъ положеніи находилась литература и какую изумительную школу обязывались пройти ея служители! Нынче все это замѣнено предостереженіями и арестомъ книгъ и журналовъ, что̀, конечно, несравненно удобнѣе.

И вотъ все, что̀ не могло прорваться въ печать, высказывалось въ интимныхъ собесѣдованіяхъ, имѣвшихъ чисто-кружковой характеръ. Замкнутость и общія невзгоды удивительно какъ сближали людей. На эти бѣдные и скудные вечера такъ и тянуло. И несмотря на то, что почва для собесѣдованія имѣла характеръ чисто-отвлеченный, и что, благодаря общему единомыслію, критики почти не существовало, — все-таки скуки не чувствовалось. Участники расходились съ этихъ вечеровъ поздно, восторженные, полные ежели не намѣреній, то какой-то сладчайшей музыки. И будочники (городовыхъ тогда не было) не только не хватали ихъ, но добродушно улыбались, словно понимали, что эти люди совсѣмъ занапрасно терпятъ му̀ку-мученскую отъ своего начальства, которое, въ свою очередь, такую же му̀ку-мученскую терпитъ отъ своего начальства (это была цѣлая лѣстница). Да, тогдашніе будочники ничего не знали ни о подрываніи авторитетовъ, ни о потрясеніи основъ, о чемъ нынче всякій подчасокъ безъ малѣйшаго затрудненія на бобахъ разведетъ.

О, будочники и всѣхъ сортовъ квартальные добраго стараго времени! Да оскудѣетъ рука моя, если она напишетъ недоброе слово о васъ! Миръ и благоволеніе да почіютъ надъ могилами вашими, если вы ужъ достигли пристани, и да удесятерится вашъ пансіонъ, если вы еще продолжаете пользоваться таковымъ.

Какъ бы то ни было, но Коршуновъ существовалъ. Три четверти этого существованія были поглощены вопросомъ: пройдетъ или не пройдетъ? Остальную четверть наполнялъ отвѣтъ: нѣтъ, не пройдетъ. Но иногда случалось нѣчто чудесное: прошло! совсѣмъ прошло! Это была радость; это были тѣ рѣдкіе солнечные, теплые дни, которые по временамъ прорываются и среди сумерокъ туманной петербургской осени.

Да, бывали сладкія минуты, доставляемыя и цензурою; но нужно было пройти сквозь цѣлый искусъ горчайшихъ испытаній, чтобъ оцѣнить эту случайную минутную сладость. Нынѣшняя печать не знаетъ такихъ минутъ, потому что она свободна.

Наконецъ наступила эпоха возрожденія. Радовались всѣ, а литература—по преимуществу. Изъ сферъ отвлеченныхъ, заоблачныхъ, она сходила на арену дѣйствительности, дѣлалась участницей жизненнаго праздника, будила общество, ставила вопросы и блюла за ихъ рѣшеніемъ. Да, блюла и даже дѣлала выговоры и замѣчанія. Отовсюду неслись сочувственные отголоски и присылались корреспонденціи, спѣшившія довести до свѣдѣнія блюстителей возрожденія, что

. . . . . лѣсъ проснулся,
Весь проснулся, вѣткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полонъ жаждой...

Литература гордилась этимъ пробужденіемъ, записывала на скрижаляхъ своихъ его признаки и приписывала себѣ иниціативу его. Цензура, съ своей стороны, тоже не препятствовала общему веселью, хотя въ государственномъ бюджетѣ попрежнему назначалась соотвѣтствующая сумма на заготовленіе красныхъ чернилъ и карандашей. Въ концѣ концовъ веселье до того обострилось, что въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» г. Валентинъ Коршъ объявилъ прямо: «живемъ хорошо, а ожидаемъ—лучше», и съ этимъ девизомъ переѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ и приступилъ къ редактированію «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей».

Пименъ не то чтобъ порицалъ общее ликованіе, а какъ бы держался въ сторонѣ отъ него. Это многимъ казалось страннымъ, а между прочимъ и мнѣ.

— Помилуй, голубчикъ,—говорилъ я ему:—какъ же ты не раздѣляешь общей радости! Сравни недавнее положеніе

русской литературы съ теперешнею почти свободой ея— и ты, конечно, сознаешься, что это ужъ не фантасмагорія, а фактъ. Во-первыхъ, литература не имѣетъ надобности прибѣгать къ эзоповскимъ аллегоріямъ, а можетъ говорить яснымъ и выразительнымъ языкомъ. Во-вторыхъ, она смѣло вкладываетъ пальцы въ родныя язвы и, не выжидая начальственныхъ по сему предмету мѣропріятій, сама предлагаетъ средства къ уврачеванію. Въ-третьихъ, она не только не трепещетъ передъ начальствомъ, но прямо сознаётъ себя силой, съ которой нельзя не считаться... Ужели это не побѣда?

На это онъ отвѣчалъ мнѣ не то уныло, не то загадочно:

— Такъ-то такъ, и я, конечно, вмѣстѣ съ прочими, очень признателенъ начальству за его благосклонную къ литературѣ снисходительность; но, признаюсь, одно обстоятельство тревожитъ меня.

— Что̀ же тутъ можетъ тревожить?

— Боюсь я: гаду много въ литературѣ заведется. До сихъ поръ русскіе писатели держались особнякомъ; а если кто изъ нихъ и чувствовалъ въ себѣ поползновеніе къ податливости, то или совѣстился высказываться, или же понималъ, что въ результатѣ этой податливости можетъ быть только грошъ, такъ что, собственно говоря, и компрометировать себя не изъ чего. А теперь съ этой «практической ареной»—смотри какая скачка съ препятствіями пойдетъ! Изо всѣхъ щелей бойцы вылѣзутъ, и всякій непремѣнно будетъ добиваться, чтобъ ему дали возможность товаръ лицомъ показать! Ну, и насрамятъ.

Прежде всего это было несправедливо и даже какъ будто своекорыстно. Гадливость, высказанная Коршуновымъ относительно бойцовъ, выползающихъ изъ щелей, показалась мнѣ до того неожиданной, что въ головѣ моей невольно мелькнула мысль: ужъ не стоитъ ли онъ на стражѣ литературнаго единоторжія? Но не успѣлъ я надлежащимъ образомъ формулировать мой вопросъ, какъ онъ, Пименъ, уже угадалъ его.

— Нѣтъ, я не объ этомъ,—сказалъ онъ совершенно наивно:—я не за кусокъ свой боюсь,—Христосъ съ ними, пускай конкурируютъ! — а за литературу. Право, за литературу!

— Но гдѣ же факты?—воскликнулъ я:—что даетъ поводъ сомнѣваться въ будущемъ нашей литературы?

— И фактами похвалиться не могу—времени для фак-

товъ еще мало, но имѣю предвидѣніе... Я вижу людей, лица которыхъ должны были бы потускнѣть, а между тѣмъ они сіяютъ. Но мало того, что эти господа не чувствуютъ себя сконфуженными,—они, напротивъ, забѣгаютъ впередъ и о томъ только и думаютъ, какъ бы повычурнѣе лягнуть то, передъ чѣмъ они еще вчера, у всѣхъ на глазахъ, раболѣпствовали. Развѣ это не страшно?

Въ виду подобныхъ предвидѣній, споръ, очевидно, утрачивалъ всякую реальную почву, и поэтому возражать было безполезно. Но, кромѣ того, оставался и еще вопросъ, который въ высшей степени тревожилъ меня: что̀ же онъ, Пименъ, предполагаетъ дѣлать съ собой?

— Неужели же ты бросишь литературу?—спросилъ я.

— Нѣтъ, не брошу,—отвѣтилъ онъ: — во-первыхъ, дѣваться мнѣ некуда; во-вторыхъ, чѣмъ же я лучше другихъ? а въ-третьихъ, и новость дѣла меня не страшитъ: сто̀итъ только привыкнуть да изловчиться—и все пойдетъ какъ по маслу. Вѣдь всѣ эти такъ-называемые «жизненные вопросы» таковы, что, право, любая курица можетъ о нихъ написать съ три короба руководящихъ статей.

— Да, но вѣдь и статьи въ такомъ случаѣ будутъ куриныя?

— А ты думалъ, что теперь потребуются статьи орлиныя?

Какъ ни странны были эти отвѣты, но они меня успокоили, потому что въ нихъ проглядывала покорность судьбѣ. Надо сказать при этомъ, что въ началѣ эпохи возрожденія Пименъ участвовалъ въ одномъ толстомъ журналѣ, но вскорѣ какъ-то такъ случилось, что журналъ прекратилъ существованіе, и вслѣдствіе этого представилась такая дилемма: или класть зубы на полку, или вступить на арену «живыхъ вопросовъ». Къ счастью, какъ разъ кстати, въ это самое время нашъ общій другъ, Менандръ Прелестновъ, затѣялъ въ Петербургѣ новую газету и устроилъ при ней Пимена въ качествѣ переводчика. Первые шаги Коршунова на этомъ новомъ поприщѣ были, конечно, довольно робки и нерѣшительны, но мало-по-малу онъ сталъ поправляться, поправляться—и черезъ мѣсяцъ такъ изловчился, что уже не оставалось желать ничего лучшаго. Однако, странное дѣло, всякій разъ, когда я принимался за чтеніе коршуновскихъ статей, меня почему-то такъ и обдавало какимъ-то специфическимъ куринымъ запахомъ...

Тѣмъ не менѣе, несмотря ни на возрожденіе, ни на куриный запахъ статей, Пименъ все-таки не утратилъ старой

привычки трепетать. Я помню, однажды онъ принесъ мнѣ статью, смыслъ которой заключался въ томъ, что ежели будочникъ накрылъ вора на мѣстѣ преступленія и не настолько физически силенъ, чтобъ однолично стащить его въ кварталъ, то всякій мимоидущій обыватель немедленно обязывается оказать ему содѣйствіе. Статья была написана горячо, убѣжденно и даже нѣсколько назойливо, то-есть совсѣмъ такъ, какъ приличествуетъ страстно клохчущей курицѣ. Положеніе слабосильнаго будочника, въ виду грозящей обществу опасности, было изображено такимъ перекатнымъ бурмицкимъ слогомъ (style perlé), какимъ умѣютъ писать только могиканы сороковыхъ годовъ; напротивъ того, обязанность мимоидущаго обывателя была обрисована кратко и отрывисто, штрихами рѣзкими, почти приказательными. Однимъ словомъ, такъ эта статейка была хороша, умѣстна и благовременна, что я тутъ же не преминулъ поздравить Пимена съ успѣхомъ.

И вдругъ онъ меня поразилъ.

— Хорошо-то хорошо,—сказалъ онъ:—я самъ понимаю, что по нашему мѣсту лучше не надо. Да вотъ въ чемъ штука: пройдетъ или не пройдетъ?

— Помилуй, любезный другъ! — разгорячился я: — да какое же наконецъ имѣешь ты право сомнѣваться въ этомъ? Могу удостовѣрить тебя, что не только пройдетъ, но даже, если позволительно такъ выразиться, пройдетъ *съ удовольствіемъ!*

— А помнишь, Булгаринъ говаривалъ: о дѣйствіяхъ и намѣреніяхъ начальства не слѣдуетъ отзываться не только въ смыслѣ порицанія, *но ниже въ смыслѣ похвалы.* Стало-быть, содѣйствіе слабосильному будочнику... Но позволь! прежде всего отвѣть мнѣ на вопросъ: имѣемъ ли мы право публично заявлять, что бываютъ слабосильные будочники?

— Почему же не заявить?

— Потому что это хотя и отдаленное, но тѣмъ не менѣе все-таки несомнѣнное порицаніе. Кто опредѣлилъ будочника?—квартальный! Кто опредѣлилъ квартальнаго?—частный приставъ! А затѣмъ и пошлò, и пошлò. Вспомни-ка, какъ объ этомъ въ Булгаринѣ пишется?

— Тò Булгаринъ, а теперь...

— Нѣтъ, мой другъ, въ сущности, Булгаринъ отлично понималъ, въ чемъ тутъ суть. Ни порицанія, ни похвалы — вотъ истинный принципъ во всей чистотѣ. Потому что гдѣ есть похвала, тамъ есть ужъ разсужденіе, а гдѣ разсу-

жденіе—тамъ корень зла. Отъ разсужденія недалеко до анализа, отъ анализа—до порицанія. А потомъ пойдутъ несвоевременныя притязанія, подрыванія, потрясанія... Нашему брату-публицисту нужно азбуку-то эту наизусть знать!

— Какія однако-жъ у тебя допотопныя теоріи! Разумѣется, осторожность никогда не лишняя, но не слишкомъ ли ужъ ты пересолилъ, голубчикъ? Вспомни, что теперь совсѣмъ другое время, что теперь всякое благонамѣренное указаніе, особливо ежели оно сдѣлано благовременно...

Однако, какъ я ни старался разувѣрить его, онъ такъ-таки и остался при своемъ: пройдетъ или не пройдетъ?

Разумѣется, прошло.

Вообще статьи его не только проходили, но и производили впечатлѣніе, такъ что одинъ статскій совѣтникъ искалъ даже случая познакомиться съ нимъ. Пименъ самъ разсказывалъ мнѣ объ этомъ замѣчательномъ казусѣ.

— Пришелъ, братецъ, ко мнѣ на квартиру, рекомендуется: статскій совѣтникъ Растопыріусъ. «Статьи ваши, говоритъ, превосходны, но, чтобъ онѣ окончательно сдѣлались образцовыми, необходимо привести ихъ въ соотвѣтствіе. Нужно, чтобъ вы познакомились съ нѣкоторыми видами и соображеніями, которые поставятъ васъ на настоящую точку. Не сдѣлаете ли вы, говоритъ, мнѣ честь пожаловать ко мнѣ на чашку чаю?»

Разумѣется, какъ человѣкъ робкій и подверженный начальству, Пименъ не осмѣлился ослушаться. Онъ купилъ готовую фрачную пару и пошелъ. Но тутъ произошло нѣчто неслыханное. Когда m-r Растопыріусъ подвелъ его къ m-me Растопыріусъ, и когда послѣдняя протянула ему ручку, Пименъ, вмѣсто того, чтобъ почтительно пожать эту ручку, бросился на хозяйку и обнялъ ее. И затѣмъ тотчасъ же упалъ въ обморокъ. Разумѣется, его немедленно же убрали. На этомъ попытка сближенія съ статскими совѣтниками и кончилась. Мало того: съ этихъ поръ Растопыріусъ даже открыто сталъ называть Пимена неблагонамѣреннымъ.

Но, кромѣ вопроса о томъ, пройдетъ или не пройдетъ, было и еще одно слово, которое не сходило у него съ языка.

— Гаду много! — безпрерывно восклицалъ онъ: — гаду! гаду! гаду!

И называлъ по именамъ. Но, что всего хуже, я и самъ по временамъ становился втупикъ передъ его обличеніями. Дѣйствительно, хотя вполнѣ сформировавшихся, окоп-

чательно созрѣвшихъ гадовъ въ то время еще нельзя было указать, но нѣчто намекающее ужъ было. Были, такъ сказать, гады ближайшаго будущаго, заявлявшіе въ настоящемъ только о безконечной податливости. Большинство ихъ копошилось въ газетахъ и, работая изо дня въ день, забывало сегодня, что̀ говорило вчера, и заботилось лишь о томъ, чтобъ выходило бойко и занозисто. Поистинѣ это были совсѣмъ-совсѣмъ легкомысленные люди (но еще не распутные), хотя нѣкоторые изъ нихъ были несомнѣнно талантливы и пользовались извѣстностью.

Признаюсь, этими постоянными напоминаніями о гадахъ Пименъ достаточно-таки смущалъ меня, а однажды даже поставилъ въ весьма щекотливое положеніе.

Подобно Пимену, и я, грѣшный человѣкъ, изрѣдка пописывалъ передовыя статейки, но манера у меня была нѣсколько иная. Въ то время какъ Пименъ мысленно облеталъ всю Европу и призывалъ во свидѣтельство древнія и новыя законодательства, чтобъ доказать, что будочникъ безъ свистковъ — все равно, что̀ мужикъ безъ портковъ, я ту же мысль проводилъ тонами двумя пониже. Я не прибѣгалъ къ громоздкой обстановкѣ, не блисталъ ученостью, но дѣйствовалъ по преимуществу съ помощью образовъ. Я изображалъ уныніе и безпомощность обывателей, отданныхъ на жертву грабителямъ, живописалъ отчаяніе будочника при видѣ безнаказанно убѣгающаго вора и этой мрачной картинѣ противополагалъ другую, болѣе свѣтлую: картину спокойствія обывателей, достигаемаго однимъ введеніемъ свистка. И ежели «серьезныя» статьи Пимена находили многочисленныхъ сочувствователей, то и моя скромная манера имѣла своихъ поклонниковъ. У Пимена былъ статскій совѣтникъ Растопыріусъ (уроженецъ суровой Финляндіи), у меня статскій совѣтникъ Раскаряка (уроженецъ благословенной Малороссіи), которому вдобавокъ уже дано было слово, что къ предстоящей Пасхѣ онъ будетъ произведенъ въ дѣйствительные статскіе совѣтники.

И вотъ однажды сидитъ у меня статскій совѣтникъ Раскаряка, и мы мирно бесѣдуемъ. Радуемся происходящему, а въ будущемъ предаемся сугубой радости. Онъ говоритъ:

— Но представьте, какія перспективы!

Я отвѣчаю:

— А за этими перспективами еще перспективы! И еще, и еще, и еще!

Словомъ сказать, жуируемъ.

Вдругъ вбѣгаетъ Пименъ. Блѣденъ, волосы на головѣ растрепаны, глазныя яблоки вылѣзаютъ изъ орбитъ, ничего не видитъ... Не видитъ даже статскаго совѣтника Раскаряку, который учтиво всталъ при появленіи его (чутьемъ узналъ, что вошелъ публицистъ) и застылъ въ позѣ, ясно говорившей о готовности отрекомендоваться.

— Гады! гады! гады! —внѣ себя рычалъ Пименъ, держа себя за голову.

Первая мысль моя была: не прошло!

— Что такое? что случилось?—воскликнулъ я, бросаясь къ нему.

— На, читай!

Онъ подалъ мнѣ нумеръ только-что начавшей выходить газеты «И шило бреетъ». Въ передовой статьѣ шла рѣчь о тѣхъ же самыхъ перспективахъ, о которыхъ мы только-что разговаривали съ статскимъ совѣтникомъ Раскарякою. Выражалось изумленіе передъ безконечностью перспективъ; бросался взглядъ на прошлое, и приподнималась завѣса будущаго: ставился вопросъ: выдержитъ ли наше молодое общество или не выдержитъ? Словомъ сказать, всѣ виды и предположенія, сейчасъ проектированные Раскарякою, были изложены почти съ буквальною точностью.

— Что-жъ тутъ такого... ужаснаго — изумился я:—не самъ ли ты, не далѣе какъ вчера, въ статьѣ о передачѣ пожарной части въ вѣдѣніе городскихъ думъ...

Но Пименъ ничего не слышалъ и только восклицалъ:

— Ужасно, ужасно! ахъ, это ужасно!

Я привыкъ къ подобнымъ выходкамъ моего друга; но статскій совѣтникъ Раскаряка не привыкъ. Онъ нѣкоторое время стоялъ въ нерѣшимости, словно прислушивался и соображалъ. И вдругъ онъ позеленѣлъ и какъ-то непріятно заёрзалъ губами.

— Однако, милостивые государи, въ васъ блохъ-то еще довольно!—процѣдилъ онъ сквозь зубы и, не подавая мнѣ руки, гордо прослѣдовалъ въ переднюю.

Но чѣмъ же я-то тутъ виноватъ?!

Разумѣется, я не позволилъ себѣ ни одного слова упрека Пимену, но въ глубинѣ души все-таки не могъ не сказать себѣ: такъ-то вотъ мы всегда! Безъ надобности раздражаемъ людей несвоевременными выходками, а послѣ жалуемся, что у насъ «не проходитъ»! А вѣдь отъ жалобъ, какъ извѣстно, одинъ шагъ и до раскаянія...

Къ удивленію моему, я впослѣдствіи узналъ (Коршуновъ самъ признался мнѣ въ этомъ), что точь-въ-точь такія же мысли волновали въ это время и Пимена, и что онъ, немедленно послѣ ухода Раскаряки, уже спохватился и началъ обдумывать на эту тему передовую статью для завтрашняго нумера.

Я съ умысломъ останавливаюсь на этомъ фактѣ, ибо онъ очень назидателенъ. Мы, писатели, вообще слишкомъ легко относимся къ статскимъ совѣтникамъ и подчасъ даже бываемъ склонны подтрунить надъ ними. Мы думаемъ, что статскій совѣтникъ — неважная птица, и что отъ нея литературѣ ни тепло, ни холодно. Но, къ сожалѣнію, это мнѣніе заключаетъ въ себѣ самое пагубное самообольщеніе.

Во-первыхъ, нѣтъ въ природѣ субъекта, относительно котораго русскій писатель могъ бы считать себя вполнѣ безопаснымъ. Одни вліяютъ на него непосредственно, подвергая различнымъ непредвидѣнностямъ и даже лишая средствъ къ пропитанію; другіе — вліяютъ посредственно, распространяя въ обществѣ слухи, что литература есть вертепъ, въ которомъ безчинствуютъ разбойники пера. Идетъ по улицѣ смѣшной прохожій, а ты, легкомысленный писатель, ужъ и цѣпляешься за него! А почемъ ты знаешь, какую тайну хранитъ въ себѣ этотъ смѣшной прохожій?!

Во-вторыхъ, что касается спеціально статскихъ совѣтниковъ, то отнюдь не слѣдуетъ забывать, что каждый изъ нихъ заключаетъ въ себѣ зерно дѣйствительнаго статскаго совѣтника, а дѣйствительный статскій совѣтникъ, въ свою очередь, предполагаетъ въ себѣ зародышъ такого пышнаго цвѣта, одинъ видъ котораго можетъ сразу убить человѣка...

Всѣ эти превращенія нужно предвидѣть, и вмѣсто того, чтобъ трунить надъ статскими совѣтниками, гораздо разсчетливѣе ихъ угобжать, дабы они, взойдя на высоту величія и славы, попомнили намъ это. Скажутъ, быть-можетъ, что изъ ста статскихъ совѣтниковъ девяносто девять, навѣрно, такъ и отцвѣтутъ въ этомъ чинѣ,—такъ стóитъ ли, дескать, съ ними церемониться? Допустимъ, что и такъ. Но если даже одинъ изъ сотни разовьется, какъ слѣдуетъ, то представьте, какое онъ дастъ отъ себя благоуханіе, и какъ это благоуханіе отзовется на литературѣ, смотря по тому, былъ ли расцвѣвшій субъектъ пренебреженъ или угобженъ въ скромномъ чинѣ статскаго совѣтника!

И еще скажу: прежде, нежели приступить къ насмѣшкамъ надъ статскимъ совѣтникомъ, необходимо соразмѣрить

свои силы и на всякій случай подготовить приличное отступленіе. Я не прорицаю раскаянія, но нахожу, что все-таки лучше вести себя такимъ образомъ, чтобъ и раскаиваться было не въ чемъ. Однако мы видимъ, что въ большинствѣ случаевъ (особенно въ газетномъ дѣлѣ) бываетъ совершенно наоборотъ. Иной газетчикъ одинъ разъ сгрубитъ, въ другой разъ сгрубитъ, видитъ, что ему сходитъ съ рукъ, а подписка между тѣмъ прибавляется, — начнетъ допускать даже прихоти. Все-то ему немило, все не такъ, все надо перемѣнить и даже вверхъ дномъ перевернуть. И вдругъ статскій совѣтникъ начинаетъ когти выпускать. Выпускаетъ-выпускаетъ... хлопъ! Какой, съ Божьею помощью, переворотъ! Въ одно прекрасное утро читатель беретъ въ руки газету, въ надеждѣ, что статскаго совѣтника въ конецъ раскостятъ — и не вѣритъ глазамъ своимъ. Оказывается, что въ одну ночь статскій совѣтникъ и выросъ, и похорошѣлъ, и поумнѣлъ, и что всѣхъ сомнѣвающихся въ этомъ слѣдуетъ признать людьми неблагонадежными и сокрушить.

Опять-таки повторяю: я и не говорю, что такіе возвраты на путь высокопочитанія неприличны или безсовѣстны. Но спрашивается: зачѣмъ предпринимать такія дѣйствія, въ конечномъ результатѣ которыхъ должна оказаться одна вонь?

Увы! Раскаряка высказалъ горькую истину! Много, ахъ какъ много водилось за Пименомъ блохъ! Непрерывно его щекоча и покусывая, эти блохи не давали его литературно-публицистическому дарованію развиться въ томъ благовременномъ направленіи, которое во Франціи извѣстно подъ именемъ оппортунистскаго, а у насъ покуда носитъ кличку газетнаго легкаго поведенія.

Я знаю, впрочемъ, что Пименъ дѣлаетъ очень серьезныя усилія, чтобъ быть свободнымъ отъ блохъ. Всю жизнь находясь подъ гнетомъ нужды и зная твердо, что внѣ легкаго поведенія нѣтъ дѣятельности, онъ затыкалъ себѣ уши, чтобъ не слышать, зажималъ носъ, чтобъ не обонять, и закрывалъ глаза, чтобъ не видѣть. Обезпечивши себя такимъ образомъ, онъ строчилъ довольно свободно и приводилъ въ восторгъ статскаго совѣтника Растопыріуса. Но вдругъ, въ самомъ разгарѣ публицистическихъ затѣй, когда одна перспектива быстро смѣняетъ другую, когда въ нѣкоторомъ отдаленіи уже мелькаетъ чуть не фаланстеръ (были же военныя поселенія!),—его укуситъ «блоха». Пи-

менъ вскакиваетъ какъ ужаленный, хватаетъ себя за голову, вопитъ: «это ужасно! ужасно!»—и бѣжитъ вонъ изъ дому. И шляется Богъ вѣсть гдѣ (быть-можетъ, на томъ самомъ Митрофаніевскомъ кладбищѣ, куда судьба привела его теперь) до тѣхъ поръ, пока «сладкая привычка жить» не возьметъ верхъ и не загонитъ опять домой, за постылый письменный столъ. Тогда онъ опять дѣлался смиренъ, опять начиналъ строчить и строчилъ до тѣхъ поръ, пока новая «блоха» не уязвила его...

Такъ и прошла вся эта жизнь...

Правда, что, благодаря усиліямъ, которыя Пименъ постоянно надъ собой дѣлалъ, «блохи» появлялись, сравнительно, довольно рѣдко; правда и то, что онѣ нигдѣ окрестъ не производили ни малѣйшей пертурбаціи; но вѣдь статскому совѣтнику Раскарякѣ нѣтъ дѣла ни до усилій, ни до пертурбацій; онъ догадывается, что «блохи» все-таки существуютъ, и говоритъ: «достаточно-таки еще въ васъ блохъ, милостивый государь!»

Я помню, какъ Пименъ огорчился, когда нашъ другъ Менандръ Прелестновъ впервые провозгласилъ въ своей газетѣ, что «наше время — не время широкихъ задачъ» (онъ сдѣлалъ это сгоряча, не предупредивъ Пимена).

— Слушай! читай! на, читай!—восклицалъ Коршуновъ, подавая мнѣ газеты: — говорилъ я тебѣ, что изъ этихъ «живыхъ вопросовъ» ничего, кромѣ распутства, не выйдетъ! Куда теперь идти?

Но я уже прежде прочелъ эту статью и, право, не нашелъ въ ней ничего «такого». Такъ, глупость—надо же о чемъ-нибудь писать! Поэтому я, насколько могъ, утѣшалъ Пимена.

— Ты преувеличиваешь, мой другъ!—говорилъ я.—Во-первыхъ, Менандръ, открывая вопросъ о непригодности въ наше время «широкихъ задачъ», этимъ самымъ бросаетъ въ публику такую широкую задачу, надъ разрѣшеніемъ которой закружится не одна голова. Во-вторыхъ, если ты подозрѣваешь, что Менандръ нарочно пустилъ фортель, чтобъ «прельстить», то это напрасно; онъ просто закидываетъ уду общественному мнѣнію и прочимъ газетчикамъ. Нужны ли широкія задачи или ненужны — это, конечно, бабушка на-двое сказала, но полемика по этому поводу навѣрное возникнетъ, и Менандръ будетъ себѣ подъ сѣнію ея «украшать столбцы». Въ-третьихъ, наконецъ, никто тебѣ не мѣшаетъ въ завтрашнемъ нумерѣ написать разъясненіе, какъ слѣдуетъ понимать и т. д.

Но вгорячахъ мои резоны нимало не утѣшили и не убѣдили его. Признаюсь, теперь, когда я разсуждаю хладнокровно, то понимаю и самъ, что Менандръ дѣйствительно поступилъ неладно. Въ извѣстномъ смыслѣ для него было бы выгоднѣе поставить совсѣмъ противоположный тезисъ, а именно: доказывать, что такъ какъ подробности и мелочи давно всѣмъ опротивѣли, то теперь-то и наступило настоящее время «широкихъ задачъ». Навѣрное «украшеніе столбцовъ» было бы достигнуто этимъ путемъ гораздо существеннѣе...

— И отъ кого вышла эта распутная фраза! — волновался Пименъ:—отъ Менандра, котораго я считалъ послѣднимъ изъ могикановъ именно по части широкихъ задачъ («style perlé» — почему-то мелькнуло у меня въ головѣ)! Отъ Менандра, который зналъ лучшія времена русской литературы! Отъ Менандра, котораго всѣ обвиняли въ излишней щепетильности и даже брезгливости! Отъ Менандра, который... Нѣтъ, это все онъ, все Гамбетта! Повѣрь, что лавры оппортуниста Гамбетты не даютъ Менандру спать.

Высказавшись такимъ образомъ и не внимая никакимъ убѣжденіямъ, онъ схватилъ шапку и убѣжалъ. Но все-таки, хоть частью, онъ послѣдовалъ-таки моимъ внушеніямъ, потому что на другой день я уже читалъ въ газетѣ «разъяснительную» статью. Растолковывалось, что вчерашнее предостереженіе имѣло въ виду не тѣ широкія задачи, которыя, дѣйствуя благотворно на умственный уровень общества, тѣмъ самымъ полагаютъ начало полному развитію новыхъ и уже разрѣшенныхъ формъ жизни, но тѣ, которыя, имѣя лишь видъ «широкихъ задачъ», какъ волкъ въ овчарню, проникаютъ въ публику съ цѣлью произвести въ ней замѣшательство. Статья принадлежала перу Пимена— и тоже... прошла! И что̀ всего замѣчательнѣе — Менандръ сдѣлалъ къ этой статьѣ примѣчаніе, гласившее такъ: «Мы и сами именно такъ и разумѣли наши вчерашнія слова, какъ понимаетъ ихъ нашъ почтенный сотрудникъ. *Ред.*»

Долгое время послѣ того Пименъ не казалъ ко мнѣ глазъ: совѣстился. Но вотъ въ одно прекрасное утро онъ прибѣжалъ ко мнѣ свѣтлый и радостный.

— Не прошло!

— Не можетъ быть!

— Не прошло и баста! не прошло! не прошло! не прошло!

— Да разскажи толкомъ, что̀ такое случилось?

— Не прошло—вотъ и все! А какую, братецъ, я штуку

написалъ! Вѣдь я... ну, просто самъ Растопыріусъ навѣрняка простилъ бы меня за невѣжество, совершенное надъ его женой, и опять пригласилъ бы на чашку чаю! Да, есть Провидѣніе, есть! Рече безумецъ въ сердцѣ своемъ: нѣсть! анъ оно—вотъ оно! Спасибо, спасибо, спасибо старикамъ! прихлопнули! Фу ты!

— Но ежели ты самъ сознаёшь, что написалъ «штуку»— зачѣмъ ты ее писалъ?

— Не могу! не понимаю! Газета, братецъ,—это дьявольское навожденіе какое-то! Такъ тебя и тянетъ въ омутъ, такъ и пронизываетъ распутствомъ насквозь. Одуматься не дадутъ! передохнуть нѣтъ средствъ! такъ и стоятъ надъ душой: сейчасъ! сію минуту! пожалуйте оригиналъ! Ну, и...

— А Менандръ какъ принялъ это извѣстіе?

— Ѣздилъ. Да только на извозчиковъ напрасно потратился. Отвѣтили: «да послужитъ сіе вамъ урокомъ, что ежели порицанія не допускаются... безусловно, то и въ похвалахъ надлежитъ избѣгать излишней разнузданности!»

— Вотъ какъ!

— Да, братецъ, ни порицаній, ни похвалъ! Я давно говорилъ: вотъ истинный принципъ во всей его чистотѣ!

— Стало-быть, ты въ статьѣ допустилъ «излишнюю разнузданность» въ похвалахъ?

Пименъ, вмѣсто отвѣта, заалѣлся.

— О, Пименъ! Пименъ!

Начали мы вдвоемъ обдумывать, какимъ бы образомъ устранить на будущее время повтореніе подобныхъ казусовъ. Самымъ цѣлесообразнымъ средствомъ представлялось совсѣмъ уйти изъ газетной атмосферы. Но куда? — вотъ вопросъ. Толстыхъ журналовъ мало, да и тамъ всѣ мѣста заняты, негдѣ упасть яблоку. Поступить на частную службу? — и тамъ переполнено до краевъ; люди, изъ-за пятисотъ рублей годовыхъ, готовы другъ съ другомъ на ножи...

— Вотъ кабы ты на фортепьянахъ умѣлъ, такъ въ тапёры бы можно...—рискнулъ я пошутить.

— А что̀ ты думаешь! важно было бы!

— Знаешь ли что̀? — не предложить ли газетчикамъ устроить по вечерамъ... нѣчто въ родѣ фельетоновъ en action? Ты бы, какъ передовикъ и, стало-быть, человѣкъ солидный, за буфетомъ стоялъ... отлично!

Но Пименъ, вмѣсто отвѣта, только вздохнулъ: знакъ, что онъ начинаетъ впадать въ угрюмость.

— Я, братецъ, не только въ тапёры, но даже въ кассиры на желѣзнодорожную станцію не гожусь,—наконецъ вымолвилъ онъ: — пробовалъ я это... помнишь, *тогда?* да не выгорѣло! Я двадцать лѣтъ сряду въ литературѣ вращаюсь, двадцать лѣтъ одною ею живу. И ничего другого не понимаю. Знаю, что изъ моей дѣятельности ничего не выходитъ, а все тянусь, все думаю: а вотъ погоди. Сны какіе-то наяву вижу — такъ и проходитъ день за днемъ. Это умственное цыганство до того въѣдается, что нужно именно что-нибудь совсѣмъ чрезвычайное (вотъ какъ *тогда*), чтобъ человѣкъ пришелъ въ себя. Но если онъ и пойметъ, что вся его жизнь есть не болѣе, какъ безконечная цѣпь пустяковъ, — что̀ пользы въ томъ? Ну, пойметъ, и только. Ахъ, вѣдь у насъ даже «своего мѣста» нѣтъ, того «своего мѣста», куда всякій бѣжитъ, когда его настигнетъ бѣда!.. Вотъ я, напримѣръ. Особенными талантами природа меня не наградила; я не генералъ въ литературѣ, а простой солдатъ. Но вѣдь и солдатъ, если выслужилъ срокъ, въ правѣ воротиться въ «свое мѣсто» и тамъ забыть о солдатствѣ. А куда пойдетъ солдатъ-литераторъ? Литературное ремесло имѣетъ свойство до того оболванивать человѣка, что онъ вездѣ, кромѣ литературы, представляетъ только лишній ротъ. И у меня отецъ и мать есть (овецъ духовныхъ въ смоленской епархіи пасутъ и волною ихъ питаются,—прибавилъ онъ въ скобкахъ), да зачѣмъ я къ нимъ пойду? Во-первыхъ, я и тамъ буду все о своемъ паскудствѣ толковать и бѣгать по помѣщикамъ, нельзя ли гдѣ газетки почитать; а во-вторыхъ, меня будетъ ежеминутно точить мысль, что я лишній ротъ, каковыхъ въ моей семьѣ не полагается. А ужъ какъ мнѣ опостылѣло литературное ремесло, если бы ты зналъ! такъ опостылѣло! такъ опостылѣло!

Пименъ въ волненіи нѣсколько разъ прошелся по комнатѣ.

— Иногда вся внутренность горитъ,—продолжалъ онъ:— саднитъ, ноетъ, сосетъ, не знаешь, куда дѣваться отъ тоски. Если бы слезы можно было выжать, легче бы было, да негдѣ ихъ взять. Нѣтъ, никогда этого не бывало! никогда, даже въ самые горькіе дни плѣненія вавилонскаго не знали такой мертвенной тоски, такого холоднаго отчаянія! «Наше время— не время широкихъ задачъ» — этимъ все сказано! Тутъ и скудоуміе, тутъ и распутство, и желаніе сказать нѣчто пріятное... Ахъ!

— Слушай! надо же выходъ найти.

— Оставаться попрежнему въ вертепѣ — вотъ и выходъ. Тянуть безконечную канитель невѣдомо о чемъ, распинаться невѣдомо по поводу чего, поучать невѣдомо чему, преслѣдовать невѣдомо какія цѣли, жить въ постоянномъ угарѣ, упразднить мысль и залѣплять глаза пустословіемъ, балансировать между «съ одной стороны нужно сознаться» и «съ другой стороны нельзя не признаться»—вотъ удѣлъ современнаго литературнаго солдата! Другого ничего не выдумаешь. И когда, послѣ такого-то трудового дня, начнешь на сонъ грядущій припоминать, что̀ было—ну, хоть убей, ничего не припомнишь! Чувствуешь только усталость физическую и затѣмъ обрывки, винегретъ — и ничего больше. Даже для сновъ настоящаго матеріала нѣтъ.

Онъ отеръ потъ, выступившій на лбу, и остановился передо мной.

— Патроны наши,—сказалъ онъ:—тѣ на сонъ грядущій хоть счетомъ барышей отъ розничной продажи могутъ заняться, а мы?

Но тутъ онъ окончательно разсердился.

— Мы-то, мы-то, скажи, изъ-за чего себя нудимъ!

Да, были «блохи» у Пимена. По чѣмъ пышнѣе расцвѣтала пресса, чѣмъ либеральнѣе становились ея замашки, тѣмъ смирнѣе и какъ-то унылѣе становился мой другъ. «Блохи» скрывались одна по одной и наконецъ пропали совсѣмъ. Онъ не ерошилъ волосъ, не восклицалъ въ тоскѣ: «ахъ, это ужасно!», а неутомимо и безропотно строчилъ съ утра до вечера, не чувствуя ни удовольствія, ни омерзѣнія...

Менандръ стушевался. Не успѣвъ совладать съ «разнузданностью въ похвалахъ», онъ до того раздражилъ своими «наглыми» усиліями попасть въ тонъ минуты («все это одно крокодилово притворство!» говорилъ про него статскій совѣтникъ Растопыріусъ), что вынужденъ былъ уступить мѣсто другимъ, болѣе сноровистымъ дѣятелямъ. Сначала явилась либеральная газета «Чего изволите», затѣмъ — и еще болѣе либеральная: «И шило бреетъ». Но Пименъ до того уже потерялъ нюхъ, что не могъ отличать степеней либерализма, и безразлично работалъ то тутъ, то тамъ.

Онъ почти совсѣмъ пересталъ ходить ко мнѣ; я же посѣщалъ его довольно часто и всегда заставалъ за работой.

— Не помѣшалъ ли я?—спросилъ я его однажды.

— Нѣтъ, какая помѣха! Работа такого сорта, что на всякомъ мѣстѣ можно точку поставить! Было бы пристойное количество «строчекъ», а объ остальномъ, то-есть о противорѣчіяхъ, неясностяхъ и даже пошлостяхъ, я давно уже не забочусь. Все равно читатель сжуётъ

— О чемъ же ты пишешь? все, чай, о преспективахъ?

— Нѣтъ, о преспективахъ писать теперь ужъ черезчуръ широко. По-нашему, это называется «расплываться». Нынче мы больше по части патріотистики и пламени сердецъ, къ которымъ, ради оживленія столбцовъ, пристегивается и взнуздываніе. Вотъ, напримѣръ, я написалъ статью: «Гдѣ корень зла?»—хочешь, прочту?

— Нѣтъ, ужъ не надо! Ахъ, Пименъ, Пименъ! зачѣмъ ты это пишешь?

— Какъ сказать, зачѣмъ! Знаю грамматику, синтаксисъ, учился правописанію, умѣю разставлять знаки препинанія—вотъ и пишу. Неужто же, обладая такими сокровищами, оставлять ихъ втунѣ?

— А знаешь ли, что я замѣтилъ. Прежде, бывало, хоть ты и не подписывался подъ статьями, а я все-таки узнавалъ твою манеру. Прочтешь и скажешь: вотъ это Коршуновъ писалъ. И даже отгадаешь: а вотъ это словечко Менандръ лично отъ себя вклеилъ! А нынче, какъ ни стараешься угадать—всѣ статьи на одинъ манеръ пишутся!

— Это у насъ новая метода завелась, съ тѣхъ поръ, какъ отъ передовика ничего, кромѣ правописанія, не требуется. Чтобъ всѣ какъ одинъ человѣкъ. Выгодно это, голубчикъ. Во-первыхъ, публика читаетъ и думаетъ: сталобыть, однако-жъ, у нихъ есть что-нибудь за душой, коли они такъ спѣлись! А во-вторыхъ—дешево.

— Это почему?

— А потому, что если однажды данъ извѣстный шаблонъ, то нѣтъ нужды дорожить сотрудничествомъ той или другой личности. Всякій встрѣчный можетъ любую статью написать, все равно какъ свадебныя приглашенія. Важнѣе всего — аккуратность, чтобъ не задерживать типографію. Поэтому и передовики нынѣшніе присмирѣли: знаютъ, что мѣсто свято пусто не будетъ. Прежде мы упирались, растабарывали объ убѣжденіяхъ, а нынче этого ужъ не полагается.

— Однако некрасиво ваше положеніе!

— Покуда еще ничего, можно терпѣть, а вотъ въ ближайшемъ будущемъ... Я, напримѣръ, покуда еще не стѣс-

няюсь и почти совсѣмъ *туда* не хожу: покажешься на минуту, сдашь, что̀ слѣдуетъ—и былъ таковъ. А скоро, пожалуй, и прихоти заведутся: придется различные виды и соображенія выслушивать. А еще того горше: вечера для обмѣна мыслей устроятъ, да съ отставными полководцами, да съ «дипломатами», да съ разсказами изъ народнаго быта... Вотъ когда худо-то будетъ! Придется самолюбіе хозяйки дома щекотать, выслушивать полководческое фрондерство и въ антрактахъ освѣжаться протухлыми побасенками!

— А развѣ есть ужъ признаки, предвѣщающіе что-нибудь подобное?

— Есть. На меня ужъ и теперь косятся, что мало разговариваю. На-дняхъ я *тамъ* былъ—*сама* выбѣжала. «Вы, говоритъ, Коршуновъ?»—Я, говорю.—«Ахъ, какой вы нелюбезный!»

— Съ чего-жъ это она?

— Стало-быть, разговоръ былъ. Въ Аспазіи она къ нашему Периклу готовится — ну, и принимаетъ участіе. Да, терпятъ меня покуда, любезный другъ, но только терпятъ. А такъ какъ и ангельскому терпѣнію предѣлъ есть, то поневолѣ спрашиваешь себя: что̀ будетъ, когда этотъ предѣлъ настанетъ? Разумѣется, стану просить милости. Не гожусь въ передовики—можетъ-быть, къ «намъ пишутъ» опредѣлятъ или «Таинства Мадридскаго двора» переводить велятъ. Все равно какъ въ домѣ терпимости: сперва гостей занимать заставляютъ, а потомъ, какъ розы-то отцвѣтутъ, начнутъ въ портерную за пивомъ посылать.

До этого однако не дошло, хотя мнѣ самому не разъ приходилось слушать отзывы: «ахъ, какой непріятный у Коршунова характеръ!» И не только Аспазія, но и самъ Периклъ отзывался такъ. Пименъ имѣлъ даже по этому поводу объясненіе, но, къ счастію, успѣлъ доказать, что до его «характера» никому никакого дѣла нѣтъ. Я убѣжденъ однако-жъ, что едва ли бы онъ доказалъ это, если бы у него не было кой-какой опоры въ прошломъ. Ради этого прошлаго его, очевидно, щадили, ибо, какъ ни «разносторонни» современные дѣятели политики и литературы, но есть еще ниточка (очень тоненькая), которая связываетъ ихъ съ прошлымъ. Вотъ когда и они сойдутъ со сцены, то на ихъ мѣсто придутъ «новѣйшіе» дѣятели—этихъ ужъ ничто не будетъ связывать. Тогда, натурально, Коршуновыхъ выметутъ помеломъ.

Изрѣдка, впрочемъ, и Пименъ оживлялся, и именно въ тѣхъ случаяхъ, когда у него накоплялся запасъ анекдотовъ о Периклахъ. Главное горе Перикловъ заключалось въ томъ, что они вѣчно были въ поискахъ за идеею, которую, впрочемъ, безразлично называли и идеею, и фортелемъ. Какую бы идею начать проводить? На какой бы фортель подняться?—вотъ задача, которую предстояло разрѣшить. Читатель капризенъ, и однообразныя статьи надоѣдаютъ ему. Однообразіе можно допустить только въ исключительныхъ случаяхъ. Вотъ, напримѣръ, во время войны—ахъ, какая розничная продажа была! Но разъ исключительныя обстоятельства кончились, надо подниматься на фортель. И не одинъ фортель, а даже нѣсколько таковыхъ не худо найти.—Какъ вы, напримѣръ, насчетъ либерализма полагаете? а? хорошо? Съ Богомъ, начинайте-ка рядъ статей! Или насчетъ святости подвига? а? Вѣдь подвигъ-то, батюшка, очищаетъ человѣка, даетъ его жизни смыслъ? Тиснемте-ка статейку... а? Главное, дремать не нужно да почаще оглядываться кругомъ. Да вотъ и еще тема... мирные успѣхи! По возвращеніи съ поля брани это даже самое подходящее дѣло... въ носъ бросится—а? Эту штуку пять лѣтъ хлебай — не расхлебаешь! Начать хоть съ желѣзныхъ дорогъ... или нѣтъ, это ужъ старо! Просто начнемъ съ земледѣльческой промышленности! «Россія — страна земледѣльческая...» Это хоть тоже старо, но вмѣстѣ съ тѣмъ и всегда ново, потому что Россія, дѣйствительно, страна земледѣльческая; стало-быть, какъ ни вертись, а этой темы не минешь! Не въ томъ бѣда, что мы земледѣльцы, а въ томъ, что мы нашъ продуктъ въ зернѣ отпускаемъ... а? Отсюда, прямой выводъ: заводить маслобойни, винокурни, мельницы — главное, мельницы! А когда съ земледѣльческою промышленностью покончимъ, можно и за горнозаводскую промышленность взяться: рельсы, паровозы, пароходы, желѣзо листовое и прокатное, гвозди... Нужна ли покровительственная система или не нужна... а? Потомъ и до рубля доберемся... Ахъ, этотъ рубль! Сколько публицистическихъ усилій, сколько полемики потрачено, чтобъ онъ настоящимъ рублемъ смотрѣлъ, а онъ все на полтинникъ смахиваетъ! Придется, пожалуй, и пословицу: «взглянулъ—словно рублемъ подарилъ» говорить такъ: взглянулъ, словно полтинникомъ подарилъ! Да, надо, надо какъ-нибудь этому горю помочь! И поможемъ, съ Божьей помощью... да! А наконецъ, когда наговоримся досыта, можно и заключеньице

сформулировать: впрочемъ, тутъ что̀ бы мы ни говорили, мы знаемъ заранѣе, что наши слова все равно, что̀ къ стѣнѣ горохъ... а? Какъ вы думаете? Хорошо будетъ? а?

Но какъ ни любопытны были эти анекдоты, а настоящей веселости въ нихъ все-таки не было. И самъ Коршуновъ, повидимому, сознавалъ это, потому что, истощивъ свой запасъ, онъ неизмѣнно заканчивалъ одною и тою же угрюмою фразою:

— И всѣ эти фортели я обязываюсь съ Божьею помощью, развить!

Такимъ образомъ онъ промаячился года три сряду̀.

Одно было недурно: Коршуновъ получалъ хорошій гонораръ за свои работы. Но лишнихъ денегъ у него все-таки не бывало, потому что «свое мѣсто» поглощало, навѣрное, половину заработка.

Да, и у Коршунова было «свое мѣсто», которое довольно часто напоминало ему себя. Отецъ Пимена былъ старъ и добывалъ мало, да и овцы, которыхъ онъ пасъ, имѣли волну скудную. А семья была большая: семь дочерей при одномъ сынѣ, Пименѣ. На этого сына былъ сначала разсчетъ, что онъ, по крайней мѣрѣ, хоть дьякономъ будетъ, а онъ вдругъ ускользнулъ. И долгое время, покуда Пименъ бѣдствовалъ, едва зарабатывая на хлѣбъ лично для себя, между нимъ и отцомъ шла ожесточенная полемика. Отецъ ужъ пріискалъ сыну невѣсту и намѣтилъ дьяконское мѣсто, но сынъ бунтовалъ. Дѣло доходило до жалобъ и просьбъ о высылкѣ по этапу, вслѣдствіе чего Пименъ скрывался, не имѣя постояннаго пристанища. Но наконецъ Пимену посчастливилось. Заработокъ его увеличился, и онъ первыя же «лишнія» деньги послалъ домой. Тогда его оставили въ покоѣ.

Въ «своемъ мѣстѣ» смекнули, что, несмотря на странное занятіе, Пименъ все-таки добытчикъ, и, разумѣется, рѣшились пользоваться этимъ. Онъ чаще и чаще началъ получать отписки съ родины, и каждая неизмѣнно заключала въ себѣ напоминаніе о деньгахъ. То сестру выдаютъ замужъ и надо готовить приданое, то коровушка пала, то милость Божья постигла — хлѣбъ градомъ выбило. Коршуновъ вытягивался въ нитку, чтобъ удовлетворять этимъ требованіямъ, самъ же постоянно нуждался. Разумѣется, онъ понималъ, что единственно на этихъ денежныхъ соображеніяхъ и держатся кровныя связи, но чувствовалъ ли онъ по этому поводу сердечную боль—это сказать трудно.

Вообще онъ упоминалъ о домашнемъ очагѣ рѣдко и сдержанно и никогда не порывался въ побывку домой, говоря, что пріѣздъ его только прибавитъ лишній ротъ въ семьѣ.

Но, кромѣ кровной связи, имѣлъ ли Пименъ какую-нибудь вольную сердечную привязанность? Ощущалъ ли онъ, хотя въ молодые годы, то блаженное таяніе сердца, которое ощущаетъ всякій юноша въ періодъ весенняго расцвѣтанія? Увы! эти вопросы даже въ голову никому не приходили—до такой степени своеобразною казалась личность Коршунова. Ходили, правда, анекдоты о якобы любовныхъ его похожденіяхъ, но всѣ очень хорошо понимали, что это только анекдоты, скорѣе служившіе къ подтвержденію противнаго. Вообще на него смотрѣли, какъ на человѣка, для котораго вопросъ о сближеніи половъ составляетъ нѣчто совсѣмъ постороннее, его не касающееся. Даже когда возникъ такъ-называемый женскій вопросъ—и тутъ онъ уклонялся, несмотря на то, что этотъ вопросъ стоялъ на чисто-теоретической почвѣ. Иногда, впрочемъ, замѣчая, что онъ ужъ черезчуръ утрируетъ въ этомъ смыслѣ, я невольно нападалъ на мысль, что причина этого явленія заключается не столько въ холодности темперамента, сколько въ непреодолимой застѣнчивости. Повидимому, онъ слишкомъ настойчиво говорилъ себѣ, что такъ ужъ сложилась его жизнь. Бываютъ люди, которымъ на роду суждено глубокое и горькое заточеніе, и онъ принадлежалъ къ числу этихъ людей. Просто было почти нелѣпо вообразить его себѣ любящимъ и любимымъ. Пименъ, смотрящій въ книжку, Пименъ съ перомъ въ рукахъ—вотъ настоящій Пименъ. Но Пименъ тающій, палимый страстью къ женщинѣ, Пименъ, шепчущій признанія любви и просвѣтленный увѣренностью въ взаимности — помилуйте, это какое-то баснословіе, это почти клевета!

Точно такъ же было и по части дружбы. Пименъ вращался исключительно въ литературной средѣ, гдѣ во взаимныхъ отношеніяхъ примѣшивается очень значительная доля раціонализма. Я не отрицаю, что связи вслѣдствіе этого становятся болѣе прочными, но думаю, что въ то же время онѣ пріобрѣтаютъ окраску исключительно дѣловую и совершенно утрачиваютъ тотъ ласкающій элементъ, который такъ присущъ инстинктивной дружбѣ. Бываютъ однако-жъ минуты, когда человѣкъ имѣетъ право быть малодушнымъ, когда онъ чувствуетъ непреодолимую потребность жаловаться, роптать, проклинать, не соображая, глупо это или

умно, полезно или безполезно, — и вотъ въ эти-то минуты ему необходимо, чтобъ дружеская рука сняла хоть часть того бремени, которое давитъ его. Ничего подобнаго Коршуновъ, положительно, не зналъ: онъ малодушествовалъ, жаловался и проклиналъ—въ пространство.

Онъ не былъ настолько силенъ и одаренъ, чтобъ составить около себя кружокъ, а слѣдовательно не могъ создать для себя и искусственной дружбы. Онъ самъ былъ по природѣ поклонникомъ, страстнымъ и беззавѣтно преданнымъ, но поклонниковъ не имѣлъ и пользовался только благосклоннымъ сочувствіемъ. Сверхъ того, составъ кружка, которому онъ былъ преданъ, часто мѣнялся: люди вымирали и исчезали, а наконецъ кружокъ и совсѣмъ распался. Приблизившись къ старости, Пименъ очутился въ невѣдомой средѣ, окруженный незнакомыми людьми и все-таки вынужденный работать съ ними. Эти насильственныя сближенія до того изнуряли его, что нерѣдко онъ буквально ходилъ какъ потерянный.

Таковы были кровныя и вольныя связи Пимена. Совокупность ихъ составляла мученическое существованіе, хотя видимыхъ пытокъ и не было. Дома онъ видѣлъ голыя стѣны квартиры; внѣ дома—видѣлъ деревянныхъ людей. Развѣ можно представить себѣ пытку болѣе злостную?

И вотъ онъ умеръ. Умеръ въ одинъ день съ первой гильдіи купчихой Пульхеріей Конопатчиковой, которая спокойно и непостыдно отошла въ вѣчность, окруженная заботливыми попеченіями законныхъ наслѣдниковъ. Пименъ же и умеръ словно украдкой, такъ что о смерти его узнали отъ квартирной хозяйки, которая прежде всего побѣжала въ участокъ, а потомъ ударилась за деньгами въ Литературный Фондъ, потому что въ послѣднее время Коршуновъ почти совсѣмъ не работалъ.

На кладбищѣ громко говорили, что купчиха Конопатчикова оставила шести сынамъ — каждому по двадцати пяти тысячъ, и тремъ дочерямъ — каждой по десяти. Да старшему сыну отказала лавку, а Божіе благословеніе раздѣлила между всѣми поровну. Все это и батюшка въ своей предикѣ упомянулъ, не въ осужденіе усопшей, но въ похвалу. Что же оставилъ послѣ себя Пименъ?

Страшно сказать, но ничего яснаго. Человѣкъ жилъ, неутомимо трудился, и по мѣрѣ того, какъ его трудъ приводился къ окончанію, онъ тутъ же и улетучивался.

Вотъ я сказалъ, что Пименъ нѣкогда участвовалъ въ творчествѣ извѣстныхъ наслоеній, которыя, быть-можетъ, и не прошли безслѣдно. Но кто же разберетъ, что̀ въ этихъ наслоеніяхъ принадлежитъ ему и что̀ другимъ атомамъ общей рабочей массы? Да и кому охота возвращаться къ этимъ забытымъ наслоеніямъ, а тѣмъ болѣе разбираться въ нихъ?

Даже историкъ русской литературы и общественности— и тотъ не отыщетъ Пимена, потому что надъ рабочею массой всегда рѣетъ какое-нибудь выдающееся имя. Этому имени—и честь, и слава, и поклоненіе. И слава, и страданія, и подвигъ—все достойно вмѣнится ему въ сугубую похвалу. А Пимену даже поистинѣ мученическая его жизнь ни во что не вмѣнится, потому что о ней нигдѣ не упоминается и она нигдѣ не оставила слѣдовъ своей крови.

Я помню, онъ мнѣ говорилъ: «когда я умру, то на памятникѣ моемъ надобно написать: «литература освѣтила ему жизнь, но она же напоила ядомъ его сердце». Да, это надпись хорошая и вполнѣ согласная съ истиной, но вопросъ въ томъ, будетъ ли когда-нибудь памятникъ на его могилѣ?

Допустимъ однако-жъ, что памятникъ—ужъ прихоть. Гораздо проще другой вопросъ: долго ли мы, схоронившіе Пимена, будемъ ощущать, что смерть его оставила послѣ себя пустоту? Долго ли воспоминаніе о немъ будетъ жить между нами?

Онъ жилъ—и умеръ... Благо умершимъ!

Дворянская хандра.

Я пріѣхалъ въ деревню, чтобъ поселиться въ ней навсегда. Ѣхалъ я совсѣмъ не затѣмъ, чтобъ просвѣщать, распространять здравыя понятія о платежѣ недоимокъ, устранять неурожаи и вообще способствовать улучшенію быта; не затѣмъ, чтобъ принять дѣятельное участіе въ распоряженіи земскими деньгами, и ужъ, конечно, не затѣмъ, чтобъ производить опыты по части сельскаго хозяйства. Просто чувствовалась потребность заживо имѣть гробъ—вотъ я и пріѣхалъ.

Эта потребность была очень сильная, почти страстная. Но что всего страннѣе—она загорѣлась во мнѣ совсѣмъ не потому, чтобъ я прикончилъ какіе-то счеты съ жизнью, чтобъ я сдѣлалъ какое-то свое дѣло, а именно потому, что я ровно ничего не начиналъ и никакихъ у меня счетовъ назади не было. Умственное пустодумство удивительно какъ утомляетъ. Оно всегда сопряжено съ безпорядочною сутолокой, которая загромождаетъ жизнь разнообразнымъ цѣпкимъ хламомъ и самымъ предательскимъ образомъ вводитъ въ заблужденіе. Благодаря этой сутолокѣ, долго, очень долго думаетъ человѣкъ, что онъ вращается среди дѣйствительныхъ интересовъ, и даже представляетъ себя силою, дѣйствующимъ лицомъ. И вдругъ его словно освѣтитъ, перешибетъ пополамъ. И начнетъ ежемгновенно, неотступно, назойливо, и во снѣ и наяву, представляться одно: гробъ! гробъ! гробъ!

Я ѣхалъ однако-жъ не безъ опасеній. Я думалъ, что гробъ дается не разомъ, и что съ пріѣздомъ моимъ начнется хотя и въ другомъ вкусѣ, но все-таки сутолока. Со стороны домочадцевъ возникнутъ требованія разъясненій, распоряженій и прочія сельскохозяйственныя приставанія; со стороны мужиковъ—явятся поползновенія по части такъ-называемаго

сліянія, въ которыхъ сыграютъ свою роль и вопросъ о пьянствѣ, и вопросъ о грамотности, и вопросъ о ссудосберегательныхъ кассахъ. И въ заключеніе, какъ наидѣйствительнѣйшій символъ сліянія—ведро водки. Со всѣмъ этимъ, думалось мнѣ, придется вести борьбу, покуда наконецъ не воцарится настоящее безмолвіе, изъ котораго выдвинется настоящій гробъ. Но, къ моему благополучію, всѣ эти опасенія оказались преувеличенными.

Нынѣшняя деревня—не та, въ которой кишатъ ревизскія души, а та, которую представляетъ собой помѣщичья усадьба—истинный кладъ для гробоискателя. Въ нынѣшней деревнѣ вы не встрѣтите ни малѣйшей суеты, ни тѣни сельскохозяйственныхъ заботъ и волненій, а слѣдовательно—никакихъ вопросовъ и сомнѣній. Есть, разумѣется, уголки, въ которыхъ и донынѣ ютятся выжиги и «колотятся изъ послѣдняго», но это исключенія. Общій характеръ—тишина и уныніе, которыя я назвалъ бы самоотверженіемъ, если бы при этомъ не приходило на мысль представленіе о выкупныхъ свидѣтельствахъ. Урокъ дня, то-есть то, что̀ нужно для пропитанія, протопленія и проч., исполняется какъ-то самъ собой, въ опредѣленный часъ, безъ шума, безъ бѣготни. Прежде стонъ, бывало, стоялъ и надъ застольными, и надъ скотнымъ и птичьимъ дворами; нынче—благодать. Не только въ стѣнахъ помѣщичьяго дома, но и на дворѣ—ни звука, кромѣ такъ-называемыхъ голосовъ природы: завыванья вѣтра, шума деревьевъ, чириканья и карканья птицъ, лая собакъ и т. п. Изрѣдка доносится, правда, съ поселка (ежели онъ недалеко) хлопотливое галдѣніе ревизскихъ душъ, но и оно не нарушаетъ обязательной для всѣхъ (и живыхъ и мертвыхъ) гармоніи голосовъ природы, а, напротивъ, только дополняетъ ее и сливается съ нею. Можно (особливо ежели требованія комфорта довести до минимума) провести цѣлый день, не слыхавши звука человѣческаго голоса и самому не издавши таковаго. Ходить, думать, глядѣть въ окно и даже, по возможности, не читать. И лишь на самое короткое время зажигать огонь. Для человѣка одинокаго и притомъ перешибленнаго пополамъ—это своего рода купель силоамская, приводящая за собой исцѣленіе отъ всѣхъ недуговъ.

Усадьба у меня старинная. Господскій домъ—громадный, выстроенный изъ такого отличнаго лѣса, что и теперь все вполнѣ исправно. Просторно, пропасть воздуха и тепло. Когда-то на красномъ дворѣ, рядомъ съ домомъ, было на-

громождено множество всякаго рода службъ, но нынѣ всѣ эти постройки снесены отчасти по ветхости, а преимущественно за ненадобностью. Лѣтомъ на этихъ «нарушенныхъ» мѣстахъ растутъ непролазныя массы крапивы и репейника, зимою—изъ-за снѣжныхъ наносовъ виднѣются неправильныя кучи ломанаго кирпича и мелкаго мусора. Въ сосѣдствѣ съ ними, но нѣсколько поодаль, словно монументъ, свидѣтельствующій о благополучномъ переходѣ отъ крѣпостныхъ порядковъ къ вольнонаемному труду, стоитъ небольшой, сложенный изъ тонкаго лѣса, скотный дворъ, въ которомъ помѣщаются двѣ коровы, двѣ лошади, ломаный инструментъ и прочій приличествующій вольнонаемному труду сельскохозяйственный инвентарь. Впереди дома—цвѣточный (когда-то) садъ, съ запущенными дорожками, покато спускающійся къ рѣчкѣ; сзади дома—паркъ, настоящій паркъ, съ старинными могучими деревьями, которыхъ шумъ даже человѣку, далеко не одержимому мизантропіей, можетъ внушить мысль о гробѣ. Внизу, по теченію рѣчки—небольшая мельница, у зіяющей двери которой вѣчно торчитъ засыпка, не знающій, куда дѣваться отъ праздности, такъ какъ, за общимъ оскудѣніемъ, помолецъ наѣзжаетъ рѣдко, да и то налегкѣ.

Понятно, что при такой внутренней обстановкѣ пріѣздъ мой не могъ вызвать никакой особенной суматохи. Я написалъ, что явлюсь тогда-то, и въ назначенное время все было готово къ моему пріему. Печи истоплены, стѣны и потолки обметены, полы вымыты, мебель разставлена въ старинномъ порядкѣ, даже обѣдъ изготовленъ. «Распоряженій» до такой степени не потребовалось, что когда я снялъ шубу (дѣло происходило въ половинѣ февраля), то мнѣ оставалось только сказать, что *покуда* мнѣ ничего не нужно. Домочадцы, встрѣтившіе меня, разошлись по своимъ угламъ; я слышалъ, какъ хлопнула сперва одна дверь, потомъ другая, третья, все глуше и глуше—и вдругъ я остался одинъ... И въ этой свѣтлой, большой и хорошо натопленной залѣ очутился лицомъ къ лицу съ гробомъ...

Точно такъ же не потребовалось никакой борьбы и по части «сліянія». Еще на желѣзной дорогѣ одна сосѣдка по вагону, добродушная помѣщица, узнавши, что я намѣреваюсь возобновить порванную связь со старыми «прахами», сочла долгомъ предупредить меня:

— Нынче, батюшка, отъ мужичка благодарности не спрашивайте. Равнодушные какіе-то они стали: ни помощи,

ни привѣта. Все—на деньгахъ. Сколько слѣдуетъ ему по условію—получилъ и шабашъ. Спасиба не ждите.

Такъ, въ самомъ дѣлѣ, и оказалось. При самомъ въѣздѣ моемъ въ крестьянскій поселокъ (давно ли я былъ тутъ «въ отца мѣсто»?) я сейчасъ же убѣдился, что мое появленіе ни въ комъ ничего не пробудило. Ни благодарныхъ воспоминаній, ни отрадныхъ надеждъ, ни даже изумленія. Мужики, пилившіе у своихъ избъ дрова (въ этой мѣстности преобладаетъ дровяной промыселъ), на мгновеніе приподняли головы, очевидно, потому, что вниманіе ихъ было привлечено топотомъ мчавшихъ меня лошадей, и опять принялись за свое дѣло. Я опасался сниманія шапокъ, поклоновъ (иногда даже въ воображеніи моемъ мелькали радостныя улыбки)—ничего не бывало! Точно муха передъ ними пролетѣла. И мужики показались мнѣ какіе-то новые. Прежніе были восторженные, слезоточивые; нынѣшніе—равнодушные, зачерствѣлые. Прежній мужикъ всѣми внутренностями тянулъ къ барскому дому; нынѣшній—даже по надобности проходя мимо господской усадьбы, совершенно ее игнорируетъ, словно это не притягательное мѣсто, а только вѣха на пути. Бабы, качавшія на мірскомъ колодцѣ воду,—и тѣ не оторопѣли при моемъ внезапномъ появленіи, не оставили своего занятія, а только безучастно проводили глазами мои сани. И отлично. Всѣ предположенія насчетъ «сліяній» и ссудо-сберегательныхъ кассъ устранились разомъ. Не будетъ поцѣлуевъ, но не будетъ и подкузьмленій—ничего. Даже на традиціонное ведро водки, повидимому, расходовъ не потребуется. Прекрасно, прекрасно, прекрасно.

Но у меня вертѣлось въ головѣ еще одно опасеніе: я полагалъ, что возвращеніе въ домъ предковъ вызоветъ лично во мнѣ чувство умиленія. Воскреснутъ въ памяти забытыя дѣтскія игры, встанутъ передъ глазами, какъ живыя, любезныя сердцу лица. Очевидно, это должно населить гробъ хотя и призраками, но все-таки помѣшаетъ ему быть настоящимъ гробомъ. Однако и тутъ обошлось благополучно. Чтобъ покончить разомъ съ этимъ опасеніемъ, я тотчасъ же обѣжалъ весь домъ и остановился въ каждой комнатѣ, стараясь припомнить. Вотъ маменькина комната и въ ней длинный столъ, за которымъ она обыкновенно раскладывала изъ мѣдныхъ тазиковъ по банкамъ варенье; этотъ столъ и теперь стоитъ на старомъ мѣстѣ, и на поверхности его еще сохранились кружки, свидѣтельствующіе о пребывавшихъ тутъ нѣкогда банкахъ съ ва-

реньемъ; и сама маменька, словно живая, сидитъ вонъ на томъ кожаномъ креслѣ и держитъ въ рукахъ серебряную ложку... Вотъ папенькинъ кабинетъ (теперь онъ мой) и въ немъ небольшой четырехугольный столъ, съ разрисованною на верхней доскѣ шашечницею, передъ которымъ покойный, сидя въ обитомъ кожею вольтеровскомъ креслѣ, читывалъ «Московскія Вѣдомости»... Вотъ дѣвичья, въ которой лѣтомъ толпа горничныхъ, облѣпленныхъ массами мухъ, съ утра до вечера чистила ягоды, горохъ, грибы и проч., а зимой, тоже съ утра до вечера, раздавалось жужжаніе веретенъ... Вотъ дѣтская, въ противоположность другимъ комнатамъ, узенькая, низенькая, въ которой обитало великое множество клоповъ... Повторяю: я обѣжалъ все это и множество другихъ комнатъ (вотъ тутъ была спальня дѣдушки, когда онъ пріѣзжалъ въ деревню «въ гости»; вотъ тутъ рядомъ—спальня его «сударки», передъ которой подличалъ и ходилъ на заднихъ лапахъ весь домъ; вотъ тутъ жилъ когда-то дяденька «буянъ», котораго въ хорошія комнаты не пускали и который ѣдалъ изъ одной чашки съ собакой Трезоромъ; вотъ тутъ ютились тетеньки-сестрицы, къ которымъ я бѣгивалъ тайкомъ за мятными пряниками; вотъ тутъ поймали Генріету Карловну съ учителемъ Василіемъ Иванычемъ и т. д.)—и, о чудо!—никакого умиленія не ощутилъ! Возвратился въ залъ, посмотрѣлъ въ окно—оттуда виднѣется рѣка, въ настоящее время скованная льдомъ, и опять-таки никакого умиленія! Кабинетъ, дѣтская, рѣка—все имена нарицательныя, которыя такъ и остались нарицательными. Отчего это? Оттого ли, что самыя воспоминанія, сопряженныя съ этими нарицательными именами, не заключаютъ въ себѣ ничего умилительнаго, или оттого, что человѣкъ, перешибленный пополамъ, самъ по себѣ дѣлается недоступнымъ для чувствъ умиленія, такъ какъ между его дѣтствомъ и старчествомъ легла цѣлая пустота, которая поглотила все безъ остатка, кромѣ страстнаго желанія обрѣсти гробъ.

Какъ бы то ни было, но я понялъ, что гробъ найденъ, и что отнынѣ начинается существованіе, въ которое не вторгнутся ни сельскохозяйственные доклады, ни «сліянія», ни умиленія. Я наскоро пообѣдалъ, надѣлъ халатъ и немедленно почувствовалъ себя спокойно, безмолвно, почти-что мертво!...

Впрочемъ, мнѣ все-таки не удалось лечь въ гробъ сразу. По обыкновенію, сейчасъ послѣ пріѣзда, пришелъ отреко-

мендоваться сельскій батюшка. Но и онъ оказался какой-то сосредоточенный, однословный, угнетенный, угрюмый, точно только затѣмъ и пришелъ, чтобъ посмотрѣть, какъ я улягусь въ гробу, а онъ меня потомъ отпѣвать начнетъ.

— На жительство... совсѣмъ?—началъ онъ словно нехотя.

— Да, совсѣмъ.

— Великое это слово... «совсѣмъ»!

Я махнулъ головой въ знакъ согласія.

— Просторно вамъ здѣсь однимъ будетъ!..

— Да, комнатъ много.

— Хозяйствовать не станете?

— Нѣтъ.

— И не надо!

Разговоръ на минуту прервался.

— Жизнь здѣсь...—началъ онъ опять.

— Я не для «жизни».

— А коли не для «жизни», такъ настоящее мѣсто—здѣсь! Да... именно, именно здѣсь!

Онъ какъ-то тоскливо взглянулъ на меня, покачалъ головой, потомъ посмотрѣлъ на буфетный шкапъ и продолжалъ:

— Вотъ ежели въ этомъ разѣ водка... спаси Богъ!

— Не потребляю. А вы?

— Спаси Богъ!

Опять молчаніе.

— Въ паркахъ—шумъ отъ вѣтровъ; опять же вороны гнѣзда вьютъ... Ставни по ночамъ стучать будутъ! Проржавѣли, поди, петли-то...

— Не знаю, не спрашивалъ.

— Оторопь возьметъ, оторопь! Главное—ставни на ночь плотнѣе запирать!

— Прежде запирали; конечно, будутъ и теперь запирать.

— Ну, съ Богомъ!

Онъ подалъ мнѣ руку и исчезъ... «Что-жъ! оторопь такъ оторопь—тѣмъ лучше», подумалось мнѣ. Она будетъ напоминать мнѣ прошлое: вѣдь я всю жизнь, если сказать по правдѣ, ничего, кромѣ оторопи, и не испытывалъ...

Впослѣдствіи я узналъ, что здѣшній батюшка—отличнѣйшій человѣкъ. Водки не пьетъ дѣйствительно, устроилъ въ селѣ школу, въ которой безвозмездно учитъ крестьянскихъ дѣтей: съ мужичками живетъ въ ладахъ, читаетъ имъ по воскресеньямъ краткія поученія о томъ, како благоугодити Господеви, и за свадьбы беретъ по-божески, не придираясь. Вообще обстановку имѣетъ скромную, почти

бѣдную. А смотритъ онъ угнетенно, потому что жена у него—франтиха и сластёна— ежемгновенно его точитъ. То упрекнетъ, что онъ не по-людски одѣвается, «ходитъ, словно мельница крыльями машетъ,—го ли дѣло у насъ въ городу уланы стоятъ!», то ставитъ ему въ вину, что онъ кануны соблюдаетъ: «все у него либо преподобнаго Мартиніана, либо подъ Тимоѳея-мученика!» А онъ ей въ отвѣтъ: «ты бы, дура, прежде смотрѣла!»

Меня на минуту заняла мысль: каково-то ему, человѣку скромному и, повидимому, даже чѣмъ-то проникнутому, жить въ селѣ Лисьи-Ямы, въ норѣ, на цѣпи, съ глазу на глазъ съ попадьей-сластёной и франтихой? И онъ на цѣпи, и она на цѣпи... Она скалитъ зубы и скачетъ, и онъ скалитъ зубы и скачетъ. И оба благодарятъ Провидѣніе, что у каждаго цѣпь настолько коротка, что не пускаетъ ихъ загрызть другъ друга. Этимъ и процвѣтаетъ семейный союзъ.

Если кто думаетъ, что вслѣдъ за этимъ вступленіемъ появится на сцену дворовая дѣвица (плодъ секретной любви покойнаго папеньки) и затѣмъ произойдетъ интереснѣйшее кровосмѣшеніе, или что изъ-подъ куста выпорхнетъ породистая помѣщичья дочка и подастъ поводъ къ цѣлому ряду пріятныхъ сценъ съ робкими поцѣлуями, трепетными пожатіями рукъ, трелями соловья и проч.,—тотъ пусть не читаетъ дальше этихъ признаній.

Ничего этого не будетъ: во-первыхъ, потому, что ничего подобнаго не было въ дѣйствительности, а во-вторыхъ, и потому, что я поставилъ себѣ задачей писать о гробѣ, только о гробѣ.

Мысль объ этомъ приличнѣйшемъ, по настоящему времени, убѣжищѣ давно уже шевелилась во мнѣ и наконецъ вполнѣ созрѣла по слѣдующему очень характерному случаю.

Не очень давно тому назадъ умершему православному человѣку нужно было отыскать приличное «послѣднее убѣжище». Разумѣется, пошли переговоры съ кладбищенскими властями, и вотъ во время этихъ переговоровъ матушка-игуменья нѣкоего знаменитаго монастыря, на который указалъ знаменитый покойникъ еще при жизни, такимъ образомъ рекомендовала свой товаръ:

— У насъ на монастырскомъ кладбищѣ—очень хорошо. Тишина, порядокъ, просторъ. И зимой-то придешь посмо-

трѣть—залюбуешься, а лѣтомъ, какъ распустятся деревья—точно въ раю! И не вышелъ бы! Совѣтую.

И, видя, что слова ея производятъ благопріятное впечатлѣніе, присовокупила:

— И еще тѣмъ у насъ хорошо, что для всѣхъ состояній такса уставлена—по-божески!—кому что̀ требуется. И богатые люди, и средняго состоянія, и бѣдные—всѣхъ милости просимъ! И перваго класса мѣста, и второго, и третьяго—все распредѣлено, смотря кому какъ. Поближе къ благодати—и плата выше; подальше отъ благодати—и плата понижается. За церемоніалъ плата особенно, и тоже по состоянію. Есть большая служба, есть средняя служба, есть и малая. Большое освѣщеніе, среднее и малое. Такъ же и насчетъ поминовеній. Нудить никого не нудимъ, а кто какъ любитъ, такъ для себя и выбираетъ. Совѣтую.

Вотъ тогда-то и блеснула у меня въ головѣ мысль: именно мнѣ это самое и нужно. Но такъ какъ всѣ эти неудобства я могъ получить хозяйственнымъ образомъ, то-есть у себя, въ своемъ собственномъ кладбищѣ, то ясно, что для меня былъ прямой разсчетъ воспользоваться этимъ преимуществомъ. Тамъ, думалось мнѣ, я все найду: и мѣсто первѣйшаго класса (безвозмездно), и свой собственный готовый гробъ; а что касается до церемоніала, то навѣрное тамошняя самая большая служба будетъ сто̀ить вдвое дешевле, нежели здѣшняя самая малая.

Сверхъ того, мнѣ хотѣлось умереть безъ тревогъ, постепенно, и буде возможно, то естественною смертью. Я—человѣкъ предразсудочный и притомъ робкій; мнѣ все кажется, что если я буду продолжать «соваться», какъ совался до сихъ поръ, то существованіе мое навѣрное пресѣчется самымъ неожиданнымъ и притомъ злокачественнымъ образомъ. Я знаю, что это страхъ ложный (на тѣхъ же похоронахъ знаменитаго человѣка одинъ изъ моихъ друзей, служащій въ департаментѣ возмездій и воздаяній, указывая на громадную толпу, окружавшую гробъ,—сказалъ мнѣ: «въ обществѣ говорятъ, будто бы мы не допускаемъ передовыхъ людей естественною смертью умирать,—вотъ вамъ блестящее опроверженіе этой гнусной клеветы!»), но что̀ же дѣлать, если онъ до того присущъ мнѣ, что я освободиться отъ него не могу? Тогда какъ ежели я заблаговременно переселюсь въ «свой собственный гробъ»—навѣрное всякій страхъ напрасной смерти пройдетъ самъ собою, за неимѣніемъ пищи. «Соваться» мнѣ тамъ—неза-

чѣмъ, да и департаментъ возмездій и воздаяній будетъ далеко... Никто и не увидитъ, какъ я изнòю, пропаду самымъ естественнымъ образомъ!

Съ любовью и не торопясь прилаживался я къ своему гробу и, признаюсь, не безъ удовольствія говорилъ себѣ: какъ это однако хорошо, что у меня свой собственный гробъ есть! Надоѣло «слоняться», «соваться» и вообще производить свойственныя досужему человѣку дѣйствія—взялъ, юркнулъ въ свой собственный гробъ и пропалъ въ немъ. А у другихъ, у «недосужихъ», этого нѣтъ. Вотъ *онъ* ѣдетъ зимникомъ по рѣкѣ, передъ самыми окнами моего дома, съ возомъ на мельницу — онъ и радъ бы юркнуть, да недосужно ему. И у него, пожалуй, есть свой собственный гробъ, тамъ, на селѣ; но это такой гробъ, въ которомъ не постепенно умирать, а ежемгновенно и безъ отдыха жить надо. Во-первыхъ, потому, что онъ, обитатель этого гроба,—ревизская душа, а, во-вторыхъ, потому, что жизнь сама по себѣ, помимо его воли, помимо разумѣнія, даже помимо инстинктовъ самосохраненія, впилась да и не отпускаетъ его.

Какая это жизнь—это другой вопросъ. Я, по крайней мѣрѣ, увѣренъ, что въ эту самую минуту *онъ* глядитъ на мой *гробъ* и думаетъ: «вотъ гдѣ настоящая-то жизнь!» И всегда онъ такъ думалъ: и тогда, когда я «совался» и «пламенѣлъ», и теперь, когда я, истомленный «сованіями», исподволь прилаживаюсь къ гробу. Всегда онъ завидовалъ моей тоскѣ и моимъ изныванiямъ, называлъ ихъ жировыми и говорилъ: «хоть бы недѣльку такъ-то пожить!»

Я изнываю отъ тоски, отъ неудовлетворенной жажды поступковъ, наконецъ отъ стыда, а онъ думаетъ: «вотъ оно, хорошее-то житье!» И думаетъ правильно, потому что его-то собственное житье ужъ таково, что даже суздальскимъ богомазамъ, этимъ присяжнымъ изобразителямъ адскихъ мученій,—и тѣмъ не найти красокъ, чтобъ достойнымъ образомъ воспроизвести это житье!

Собственно говоря, только это вѣчно-присущее сравненіе между его гробомъ и моимъ и напоминаетъ ему обо мнѣ. Во всемъ остальномъ — ему до меня дѣла нѣтъ. Ни совѣтовъ ему моихъ не нужно, ни сочувствія. Въ томъ дѣлѣ, которое сопровождаетъ его жизненную агонію, я никакихъ поученій дать ему не могу, да и онъ самъ эти поученія встрѣтитъ съ нетерпѣніемъ, скажетъ: «уйди! не мѣшай!» Что же касается до сочувствія, то и тутъ послѣдуетъ тотъ

же отвѣтъ: «уйди! не мѣшай!» Онъ не приметъ его за иронію только потому, что вообще ничего непрямого, иносказательнаго не разумѣетъ, а просто-на̀-просто подумаетъ, что мое сочувствіе есть обыкновенное интеллигентное «сованіе», только на этотъ разъ ужъ совсѣмъ неумѣстно примѣненное. «И безъ тебя тошно,—а ты лѣзешь!»

Да, лучше ужъ не «соваться», а сидѣть смирно въ своемъ собственномъ гробу и потихоньку умирать. Слава Богу! папенька съ маменькой, накапливая тальки да овчины, да прижимая къ рублю копейку, наколотили такъ достаточно, что даже всесокрушающая рука времени не успѣла уничтожить всего. Углы дома не отгнили, потолки не повалились, полы не перекосились—чего еще нужно! А главное, никто не мѣшаетъ, никто даже не подозрѣваетъ, что въ этомъ гробу кто-то копошится. Много такихъ гробовъ разбросано по окрестности, и о большинствѣ даже неизвѣстно, чьи они и шевелится ли въ нихъ кто-нибудь. И стоятъ они, постепенно чернѣя и осѣдая подъ вліяніемъ времени и непогодъ. Пройдетъ еще одно поколѣніе—даже гробовъ не будетъ, а просто-на̀-просто будутъ торчать почернѣвшіе, безглазые черепа.

При моемъ душевномъ настроеніи это было чрезвычайно удобно. Мнѣ именно нужно было исчезнуть такъ, чтобъ никто не отыскалъ. Я машинально повторялъ про себя старинное мудрое реченіе: «мертвые срама не имутъ»—и мысль, что нашлось наконецъ убѣжище, въ которомъ никто не настигнетъ меня, приводила меня въ восхищеніе.

Замѣчательная особенность: вотъ *онъ*, тотъ самый, который идетъ за возомъ на мельницу, онъ не только не понимаетъ моего недуга, но даже меня, человѣка изнемогающаго, считаетъ за привередника. Можетъ-быть, ему некогда разбирать, сколько постыднаго сорнаго налета насѣло на жизнь, но можетъ быть и то, что его обычный modus vivendi ужъ таковъ, что самая способность что-нибудь различать притупилась. Ежели у человѣка съ младенческихъ пеленокъ единственный способъ передвиженія состоитъ въ томъ, что его перетаскиваютъ съ мѣста на мѣсто за волосы, то, конечно, онъ будетъ ощущать при этомъ физическую боль, но все-таки врядъ ли пойметъ, что этотъ способъ передвиженія ненормальный. Ненормальный—для кого? Вотъ для нихъ, для тѣхъ, которые худо ли, хорошо ли, а ползутъ-таки на собственныхъ ногахъ—можетъ-быть! Но для него—онъ нормальный, потому что

иначе какъ же могло бы случиться, чтобъ тасканіе за волосы совершалось среди бѣла-дня, у всѣхъ на виду, и ни у кого бы не перевернулось сердце при этомъ зрѣлищѣ!

Такъ-то и тутъ: не понимаетъ *онъ* да и только. Но быть свидѣтелемъ этого пониманія, видѣть, какъ оно расползлось по всѣмъ жизненнымъ тропинкамъ и заполонило вселенную.—ужасно! Въ сущности, это собственно только и ужасно. Съ моимъ личнымъ, частнымъ недугомъ я, пожалуй, довольно легко бы совладалъ, а вотъ этотъ общій и частью даже чужой недугъ — онъ-то именно и составляетъ ту непосильную гирю, которая заставляетъ человѣка осѣдать все глубже и глубже, покуда онъ не очутится лицомъ къ лицу передъ отверстымъ гробомъ.

Почему чужой недугъ претворяется въ свой собственный и даже пуще гнететъ—это отчасти объясняется большимъ или меньшимъ досужествомъ. Досужество даетъ человѣку возможность развертывать перспективы, отыскивать связующіе элементы. А какъ только начинаетъ чувствоваться связь между собою и «остальнымъ», такъ тотчасъ же дѣлается невыносимо больно. Горы чего-то неслыханнаго, какой-то безразсвѣтной мглы начинаютъ надвигаться со всѣхъ сторонъ и давятъ, и давятъ безъ конца. Чтобъ вынести эти горы на своихъ плечахъ, надо быть или очень сильнымъ, или—очень нахальнымъ. Робкимъ и слабымъ—не остается ничего больше, какъ исчезнуть.

Я устроился сразу и отлично: надѣлъ халатъ и замолчалъ. Комнатъ — цѣлая анфилада; можно ходить взадъ и впередъ до усталости. Ходишь и молчишь; даже въ головѣ настоящихъ мыслей нѣтъ, а мелькаетъ что-то неопредѣленное. Отрывки старыхъ вожделѣній, звуки... Прислуга является ко мнѣ рѣдко, въ опредѣленные часы, чтобъ сказать, что подано кушать, или принести стаканъ чаю. Были попытки завести разговоръ о томъ, что сегодня съ утра мжица мжитъ, или о томъ, что нынѣшнюю зиму волковъ до ужасти много, въ деревнѣ днемъ по улицѣ бѣгаютъ; но такъ какъ съ моей стороны поощреній не послѣдовало, то и эти неважные разговоры улеглись сами собою. Когда-то я интересовался вопросомъ объ одиночномъ заключеніи и даже съ жаромъ доказывалъ, что это—самый благородный способъ отмщенія нарушенной правды, потому, дескать, что онъ даетъ нарушителю возможность примириться съ самимъ собою. Вотъ какой я былъ... филантропъ! Какъ бы то ни было, но эта старинная предилекція, должно-быть,

и сказалась теперь. Я нашелъ для себя именно одиночное заключеніе, — разумѣется, смягченное анфиладою комнатъ и возможностью во всякое время нарушить обрядъ молчанія.

Только принесетъ ли оно съ собой примиреніе? разсѣетъ ли мглу, которая такъ и виситъ надо мною, несмотря на внѣшній свѣтъ и просторъ?—вотъ въ чемъ вопросъ.

Покамѣстъ однако я чувствую себя очень хорошо. По крайней мѣрѣ та страшная мысль, что я ничего не могу, ничего не знаю, что я—пятое колесо въ колесницѣ, которая разбила мою жизнь, уже не терзаетъ меня такъ неотступно, какъ прежде. Имѣя впереди только гробъ, мнѣ не нужно ни мочь, ни знать, а тѣмъ больше претендовать на званіе нелишняго колеса: я и колесницы-то никакой не вижу. Какъ хотите, а это выигрышъ. Мнѣ нужно одно: чтобъ молчаніе, объемлющее меня, не нарушалось ни единымъ призывомъ къ жизни. Мнѣ такъ довольно всякихъ «не могу», «не знаю», и понятіе о нихъ до того отожествляется въ моихъ глазахъ съ понятіемъ о жизни, что всякое напоминаніе о послѣдней представляется напоминаніемъ о первыхъ.

Но одиночество и само по себѣ имѣетъ втягивающую силу. Оно нашептываетъ думы, не имѣющія ничего общаго съ думами живыхъ людей. Что-то совершенно особенное; не скажу, чтобъ фантастическое или безсвязное, но никогда не кончающееся и притомъ доступное для безконечныхъ видоизмѣненій. Думы плывутъ безостановочно, сами собой, не бередя старыхъ ранъ и не смущая тревогами будущаго. Для человѣка, перешибленнаго пополамъ и имѣющаго за плечами цѣлое бремя всевозможныхъ «сованій», одно воспоминаніе о которыхъ заставляетъ краснѣть,—это до того хорошо, что всякій перерывъ, всякое внѣшнее вторженіе кажется несноснымъ, тяжелымъ. Думается, что если бы среди этого одиночества вдругъ появился свѣжій человѣкъ съ цѣлымъ запасомъ вѣстей изъ міра живыхъ—это не только не заинтересовало бы, но скорѣе даже огорчило бы меня. Я слушалъ бы только машинально, изъ приличія, но внутри у меня кипѣла бы все та же неясная работа безконечно тянущихся представленій, звучала бы все та же струна. Это бываетъ съ людьми, которые серьезно освоились съ одиночествомъ, да еще съ людьми, которыхъ поразила сильная мысль, что-то въ родѣ откровенія. Вся обыденная жизнь проходитъ мимо этихъ людей, какъ бы не прикасаясь къ нимъ. Есть одна свѣтящаяся точка, въ

которую неизмѣнно вперенъ ихъ взоръ, и этой одной точки совершенно достаточно, чтобъ наполнить ихъ существо до краевъ.

Однимъ словомъ, одиночество должно оказать мнѣ великую услугу: оно спасаетъ меня отъ жизни. Умирать хотя и заживо, но вò-время — не только необходимо, но и полезно, поучительно: я на этомъ стою. Я знаю, что вообще достойнѣе и сообразнѣе съ человѣческимъ назначеніемъ говорить: «благо живущимъ!» Но знаю также, что бываютъ такія изумительныя обстановки, въ которыхъ и умѣстнѣе, и приличнѣе говорить: «благо умирающимъ и еще бòльшее благо — умершимъ!»

Ничего не знать, ничего не мочь, быть пятымъ колесомъ въ колесницѣ, при всякомъ удобномъ случаѣ слышать: «не твоего ума дѣло!» — развѣ подобными признаками можно характеризовать какое бы то ни было общественное положеніе?

Я охотно допускаю, что «смертный» по природѣ самолюбивъ и склоненъ къ самомнѣнію, но вѣдь отпоръ этому самомнѣнію даетъ сама жизнь или, лучше сказать, свободный процессъ ея. Этотъ процессъ, самъ по себѣ, каждаго ставитъ на свое мѣсто, для каждаго очерчиваетъ извѣстное пространство, за предѣлы котораго переходить не полагается. Для чего же понадобилось, независимо отъ неминуемой жизненной оцѣнки, заранѣе встрѣчать человѣка словами: твой умъ безсиленъ, дряблъ, неумѣстенъ?

И какимъ изумительнымъ логическимъ путемъ можно было дойти до построенія такой отчаянной теоріи, которая убиваетъ жизнь въ самомъ зародышѣ и слѣдовательно даже тѣхъ жалкихъ практическихъ результатовъ, которыхъ отъ нея ожидаютъ, въ сущности дать не можетъ?

Право, это совсѣмъ не такой праздный вопросъ, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда, и есть немало людей, которыхъ самая постановка его терзаетъ безмѣрно. Разумѣется, и его можно разрѣшить сразу, безъ дальнѣйшихъ оговорокъ, юркнувши въ гробъ; но, во-первыхъ, какъ я уже сказалъ выше, не у всякаго есть въ распоряженіи *удобный* гробъ, а во-вторыхъ, говоря по совѣсти, развѣ гробъ — разрѣшеніе?

Говорятъ, что покуда имѣется налицо, съ одной стороны, цѣлая масса людей, у которыхъ нѣтъ времени обратиться съ какимъ бы то ни было запросомъ къ самимъ

себѣ, а съ другой—достаточное количество индивидуумовъ, которые преднамѣренно чуждаются мерцаній совѣсти и не чувствуютъ отъ этого ни малѣйшаго ущерба, — до тѣхъ поръ не представляется даже повода принимать въ соображеніе, что существуютъ какія-то бродячія единицы, разбросанныя по лицу земли, безъ опоры, безъ связи, и умирающія отъ боли, каждая въ своемъ углу. Этого мало: на общественномъ рынкѣ пользуется неограниченнымъ кредитомъ цѣлая философская система, которая прямо утверждаетъ, что все существующее уже по тому одному разумно и законно, что оно существуетъ...

Я знаю, что эта философія никакихъ практическихъ разрѣшеній не даетъ, и что, вдобавокъ, ее всего приличнѣе назвать заплечною; но попробуйте-ка протестовать противъ нея! Попробуйте сломить это желѣзное кольцо, которое отъ начала вѣковъ сдавило человѣка и заставляетъ его фаталистически вертѣться въ пустотѣ! Увы! старинная мудрость завѣщала такое множество афоризмовъ, что изъ нихъ, камень по камню, сложилась цѣлая несокрушимая стѣна. Каждый изъ этихъ афоризмовъ утверждался на костяхъ человѣческихъ, запечатлѣнъ кровью, имѣетъ за собой цѣлую легенду подвижничества, протестовъ, воплей, смертей. Каждый изъ нихъ поражаетъ крайнею несообразностью, прикрытой, ради приличія, какой-то пошлою мѣткостью, но вглядитесь въ эту пошлость поглубже, и вы навѣрное увидите на днѣ ея цѣлый мартирологъ.

Эти легенды воплей, этотъ мартирологъ — развѣ они не представляютъ достаточнаго фундамента, на которомъ какой угодно безсодержательный афоризмъ можетъ безспорно утвердить свое право на существованіе?

Вотъ отчего заплечная философія процвѣтаетъ; у нея имѣются сзади цѣлыя массы жертвъ. Но кромѣ того, ужасная сама по себѣ, она дѣлается еще болѣе ужасною вслѣдствіе того, что прежде всего вторгается въ домашній, будничный обиходъ человѣка, становится на стражѣ его удобствъ и привычекъ, и только тогда, когда уже видитъ силу сопротивленія окончательно сломленною, погубляетъ и душу. Отъ этого встрѣчается много людей, даже не чуждыхъ умственной гастрономіи, которые не только мечутся отъ тоски при произнесеніи заплечныхъ афоризмовъ, но и не чувствуютъ ни малѣйшей неловкости. Жизненный процессъ у этихъ людей раскалывается на двѣ половины: въ одной—матеріальная гастрономія, въ другой — гастрономія

умственная, и ежели нѣкоторое время обѣ эти гастрономіи живутъ какъ бы отдѣльною жизнью, то обыкновенно дѣло все-таки оканчивается тѣмъ, что онѣ до того перепутываются, что утрачивается всякое мѣрило для опредѣленія, гдѣ кончается одна и гдѣ начинается другая.

Я долго, слишкомъ долго руководился этой заплечной философіей, прежде чѣмъ мнѣ пришло на умъ, что она заплечная. Будучи тридцатилѣтнимъ балбесомъ, я, какъ ни въ чемъ не бывало, выслушивалъ афоризмы въ родѣ: «выше лба уши не растутъ», «по Сенькѣ шапка», «знай сверчокъ свой шестокъ»—и не только не находилъ тутъ никакого мартиролога, но даже восхищался ихъ мѣткостью. Да и время тогда было совсѣмъ особенное. То было время, когда люди безсмысленно глядѣли другъ другу въ глаза и не ощущали при этомъ ни малѣйшаго стыда; когда самая потребность мышленія представлялась презрительною, ненавистною, опасною: поневолѣ приходилось прибѣгать къ афоризмамъ, которые хоть по наружности представляли что-то похожее на продуктъ мышленія.

Наконецъ циклъ заплечной философіи истощился, поставивъ самихъ приверженцевъ своихъ лицомъ къ лицу съ глухой стѣной. Почувствовалась потребность въ иныхъ девизахъ, не столь мѣткихъ, но зато болѣе снисходительныхъ. Эти девизы явились, и мы всѣ, наперерывъ другъ передъ другомъ, бросились навстрѣчу имъ. То было время всеобщихъ «сованій». Насталъ моментъ, когда всѣхъ освѣтило солнце откровенія, когда представлялось, что чаша горечи переполнилась до краевъ, и что заплечный мастеръ задохнулся въ ней. Я заметался вмѣстѣ съ другими, но не отъ боли, а отъ тысячи неопредѣленныхъ порывовъ, которые вдругъ народились въ моей груди и потянули меня на просторъ. Все мое существо, казалось, очистилось, просвѣтлѣло; новая кровь катилась по жиламъ, и ради этой новой крови, ради ея сладкихъ волненій, я готовъ былъ забыть даже недавнее заплечное прошлое. «Зоветъ!»—раздавалось со всѣхъ сторонъ, и хотя чудо признанія заставляло себя ждать, но признаки, позволявшіе угадывать сердцемъ его близость, чуялись всюду...

Я вышелъ на призывъ очень бойко. Написавши на знамени: «ничто человѣческое мнѣ не чуждо», я искренно увѣровалъ, что воистину вступилъ въ область этого «человѣческаго». Я жаждалъ жить и въ особенности жаждалъ «участвовать». Но, несмотря на эту страстную жажду,

нельзя сказать, чтобъ я былъ черезчуръ требователенъ и нетерпѣливъ. Напротивъ, практика заплечной философіи уже настолько въѣлась въ меня, что я не только инстинктивно чувствовалъ, но даже понималъ, что «вдругъ»—невозможно.

«Не вдругъ!» — повторялъ я на всѣ лады, и повторялъ совершенно съ тѣмъ же энтузіазмомъ, съ какимъ выкрикивалъ и другой свой девизъ: «да здравствуетъ обновленіе!» Представлялось, что слова: «не вдругъ» — ничего не останавливаютъ, а только спасаютъ. И въ то же время хотѣлось уберечь дѣло обновленія отъ вліяній дурного глаза, выхолить его на славу. Я зналъ, что у него множество ненавистниковъ, и вознамѣрился побѣдить ихъ терпѣніемъ и даже повадливостью. Пусть знаютъ, пусть видятъ, твердилъ я, что мы ничьихъ интересовъ не затрогиваемъ и желаемъ лишь одного, чтобъ никто не потерялъ и чтобъ всѣ выиграли! Мнѣ не приходило на мысль, что, твердя слишкомъ часто одно и то же «не вдругъ», я наконецъ могу при немъ одномъ и остаться. Нѣтъ, я этого не боялся, потому что былъ слишкомъ увѣренъ въ живучести своего порыва. Я вообще въ то время ничего не боялся: ни самоотверженно лѣзть впередъ, ни предусмотрительно кричать: «не вдругъ!»

Къ чему я тогда ни примазывался! Въ какомъ «хорошемъ» дѣлѣ ни предлагалъ своихъ услугъ! Всѣ тогдашніе вопросы были моими личными кровными вопросами. Я пламенѣлъ не только общею идеей гласности и устности (это была тогдашняя всеобщая панацея), но и всѣми ея деталями, и вездѣ предъявлялъ искренность, расторопность, готовность, радость. Утромъ я просыпался со словами: «сегодня намъ предстоитъ быть участниками новой радости, которая должна ознаменовать и упрочить наше молодое обновленіе»; ночью—мой первый сонъ начинался словами: «радость, которая еще сегодня утромъ составляла только предметъ гаданій нашихъ, свершилась»... Мои восторги были не только искренни, но и до того разнообразны, что я положительно не успѣвалъ съ ними во всѣ мѣста, куда они меня влекли, хотя быстрота моихъ мельканій по лагерю радостей и надеждъ была поистинѣ изумительна. И за всѣ эти мельканія я ничего не требовалъ, кромѣ счастія быть свидѣтелемъ общаго обновленія и скромно сознавать, что я тутъ былъ, медъ-пиво пилъ...

Я торжествовалъ и — что̀ всего хуже — принялъ мое

торжество за нѣчто серьезное. Дѣйствительно, на первыхъ порахъ мои «сованія» не только не встрѣтили отпора, но катились впередъ, отъ станціи до станціи, словно по покатости. Въ лагерѣ радостей и надеждъ меня ожидали только объятія и сочувственныя улыбки. Я уже не говорю о второстепенныхъ дѣятеляхъ обновленія — эти положительно не могли нагордиться другъ другомъ, какъ половые Палкинскаго трактира въ ту минуту, когда хозяинъ пригласилъ француза-повара, — но даже въ средѣ самихъ «строителей» все говорило о ласкѣ, о поощреніи, о благосклонномъ снисхожденіи. Правда, что въ этомъ снисхожденіи чувствовался оттѣнокъ чего-то похожаго на изумленіе, но именно этотъ-то оттѣнокъ мы впопыхахъ и пресмотрѣли. Если бы мы спохватились вò-время, то убѣдились бы, что тутъ скрывается нѣчто во всякомъ случаѣ загадочное. Чтò собственно послужило поводомъ для этого изумленія: размѣры ли нашего слабоумія, разыгравшагося до рѣзвости, или гадливое опасеніе, что вотъ и это рѣзвящееся слабоуміе, чего добраго, предъявитъ какія-то требованія?

Наконецъ, однако, мы надоѣли. Года два сряду мы любовались другъ другомъ, на третій—любоваться было уже нечѣмъ. Мы весь свой багажъ разбросали разомъ и ничего не сумѣли подобрать, такъ что очутились совсѣмъ съ пустыми руками. Все измѣнилось кругомъ насъ: спросъ на наши услуги вдругъ понизился до минимума, снисходительныя улыбки превратились въ откровенно-кислосладкія; одни мы не измѣнились и продолжали выказывать назойливѣйшую готовность идти въ огонь и въ воду. Тогда, чтобъ отдѣлаться отъ насъ, потребовалось употребить насильство...

Чтò было потомъ — лучше не вспоминать. Скажу одно: человѣку, который гордо шелъ въ храмъ славы и вмѣсто того попалъ въ хлѣвъ, — и тому едва ли пришлось испытать столько горечи. Ошибки маршрута, особливо въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ и храмъ славы, и хлѣвъ стоятъ рядомъ, не представляютъ еще особенно мучительной неожиданности; но замѣна вчерашняго лихорадочнаго «сованія» сегодняшнимъ оцѣпенѣніемъ, это—болѣе, нежели неожиданность: это цѣлый переворотъ. Нить жизни порвана, привычки нарушены, всѣ планы, всѣ стремленія, все, чѣмъ жилъ человѣкъ,—все разомъ упразднено. Сколько жгучаго презрѣнія долженъ чувствовать человѣкъ къ самому себѣ

въ минуту совершенія этого переворота! Вѣдь онъ все тотъ же: дѣятельный, преданный, одушевленный — и вдругъ... За что?

За что! поймите, какая масса безпомощности, самоуничиженія, напрасныхъ уроковъ, безсильнаго ропота слышится въ одномъ этомъ вопросѣ!

Съ перваго раза нельзя даже понять, что такое случилось. «Выше лба уши не растутъ!» «Знай сверчокъ свой шестокъ»... Опять! опять эта постылая, ненавистная «мудрость вѣковъ»! Въ бывалое время она входила въ одно ухо и выходила въ другое; теперь — она хлещетъ по щекамъ! Все лицо горитъ, весь организмъ трясется. «Пятое колесо въ колесницѣ»—кто первый выдумалъ это чудовищное сравненіе? «Ничего не знаю», «ничего не могу» — кто возвелъ эти ужасныя слова въ доктрину? Куда бѣжать, куда провалиться отъ этихъ заплечныхъ афоризмовъ? О «сованіяхъ», конечно, нечего и думать; но куда бѣжать?

И вотъ навстрѣчу выдвигается... гробъ!

Отлично, отлично, отлично!

Теперь самое существенное, это—довести мысль до той степени неопредѣленности, при которой она совпадаетъ съ жужжаніемъ. И затѣмъ—позабыть. Погрузиться со всѣмъ прошлымъ и настоящимъ на самое дно, такъ, чтобъ выкарабкаться оттуда было нельзя, если бы даже и пришла въ голову блажь опять лѣзть навстрѣчу стариннымъ сованіямъ.

Какъ я уже сказалъ выше, внѣшняя обстановка съ самаго начала удивительно какъ благопріятствовала этому погруженію. Но чѣмъ дальше, тѣмъ лучше. Нѣтъ ни происшествій, ни даже простого благорастворенія воздуховъ — ничего такого, что вызвало бы попытку выйти изъ гроба. На дворѣ замѣчаются, правда, признаки весны, но не той свѣтозарной, зажигающей весны, о которой повѣствуется въ книжкахъ, а какой-то мокрой, сонливой, кислой. Тяжелыя сѣрыя тучи повисли надъ домомъ, поселкомъ и паркомъ и съ утра и до ночи сѣютъ на землю мокрый снѣгъ. Съ 1-го марта подулъ съ юго-запада вѣтеръ, но настоящаго тепла не принесъ, а только сырость да слякоть; иней, одѣвавшій паркъ узорчатою одеждою, сползъ, и деревья стоятъ голыя и безпорядочно хлещутъ по воздуху отяжелѣвшими вѣтвями: дорога исковеркалась и побурѣла; рѣка

покрылась полыньями; въ саду снѣгъ источило словно червоточиной, и по мѣстамъ обнаружилась взбухшая земля; люди ходятъ мокрые, иззябшіе, хмурые; деревня совсѣмъ почернѣла. Говорится въ сказкахъ о жаворонкахъ, о волшебныхъ метаморфозахъ воскресенія природы, но ни жаворонковъ, ни воскресенія нѣтъ, а есть унылая картина неопрятнаго превращенія твердаго черепа зимы въ непролазныя хляби весны. Только вороны суетливѣе прежняго хлопочутъ вокругъ гнѣздъ и неистовымъ крикомъ какъ бы возвѣщаютъ, что одна тоска, зимняя, кончилась, и началась другая тоска, весенняя.

Что же касается до происшествій, то я заранѣе рѣшился устраняться отъ нихъ и потому даже наблюденій никакихъ не дѣлаю. Иногда, впрочемъ, я подхожу къ окошку, гляжу на поселокъ, но особеннаго любопытства не ощущаю. Тамъ во множествѣ кишатъ черныя точки, погруженныя въ вѣчную страду. Кишатъ — и только. Борются — и не сознаютъ борьбы; устраиваютъ, ухичиваютъ — и не могутъ дать себѣ отчета: что и зачѣмъ? И не хотятъ знать ни высшихъ соображеній, ни высшихъ интересовъ, кромѣ, впрочемъ, одного, самаго высшаго: интереса ѣды. Конечно, я понимаю, что въ этомъ-то интересѣ и сила вся, но странная вещь! — какъ только я наталкиваюсь на него (а не натолкнуться—нельзя), такъ тотчасъ же чувствую непреодолимое желаніе обойти, замять. Разумѣется, впрочемъ, такъ обойти, чтобъ никто этого не замѣтилъ...

Вообще я долженъ сознаться, что меня всегда гораздо сильнѣе трогалъ вопросъ о недостаткѣ такъ-называемыхъ «свободъ», нежели вопросъ о недостаткѣ ѣды. Ѣда—вещь неизмѣнная (трудно даже вообразить: какъ это нѣтъ ѣды!), а я воспитанъ въ традиціяхъ красивыхъ линій и интересовъ исключительно спекулятивнаго свойства. Конечно, я не чуждъ и представленія о безкормицѣ, но не «такой». Вмѣстѣ съ Генрихомъ IV я охотно желаю всѣмъ и каждому курицу въ супѣ, но именно курицу, а не ржаной хлѣбъ, хотя бы и безъ примѣси лебеды. Сверхъ того, я могу довольно легко представить себѣ и трагическую сторону безкормицы, но именно трагическую, красивую: вопли, стоны, проклятія, голодную смерть, а не обрядовое голоданіе, сопровождаемое почтительно сдерживаемымъ урчаніемъ въ животѣ и плаксивою суетою, направленною въ одну точку: во что бы то ни стало оборониться отъ смерти.

Тѣмъ не менѣе иногда мнѣ сдается, что—будь у меня,

вмѣсто множества высшихъ интересовъ, только одинъ, самый высшій — навѣрное, меня не грызла бы такая бѣшеная тоска. Очень возможно, что она замѣнилась бы болью еще болѣе жестокой, но у этой боли существовала бы реальная подкладка, на которую я могъ бы сослаться съ увѣренностью быть понятымъ. А теперь, съ своими «свободами», куда я пойду? Съ какими глазами покажусь я вотъ хоть на этой почернѣвшей отъ мужицкаго тука улицѣ, на которой день-денской все кишатъ, все кишатъ?

Поэтому-то я и не выхожу изъ гроба и не наблюдаю ни надъ чѣмъ. Нѣтъ у меня нужной для этого подготовки. Однако-жъ это не мѣшаетъ мнѣ утверждать по совѣсти, что хотя мои «высшіе интересы»—и не «самые высшіе», но все-таки они—не прихоть, не фанаберія, а дѣйствительная и стенящая боль сердца. И эта боль тѣмъ несноснѣе щемитъ меня, что я обязываюсь глотать свою отраву безмолвно и въ одиночку.

Однажды, впрочемъ, я соблазнился и чуть-было совсѣмъ не выпрыгнулъ изъ гроба. Вотъ по какому случаю. Пришелъ сельскій батюшка, весь встревоженный, и сообщилъ мнѣ, что на селѣ случилось происшествіе.

— Появился мужичокъ одинъ, изъ фабричныхъ, — разсказывалъ онъ:—нашъ онъ, коренной здѣшній, да не поздѣшнему рѣчь ведетъ. Говоритъ: рука Божія якобы не надъ всѣми равно благостно и равно попечительно простирается, но иныхъ угобжаетъ преизбыточно, а другихъ и отъ малаго немилостивнѣ отстраняетъ...

— Воля ваша, батюшка, а тутъ что-то не такъ!—усомнился я.

— Ну, да, конечно, онъ по-своему, по-мужицкому, объясняетъ, а редакцію-то эту ужъ я...

— Понимаю. Что̀-жъ дальше?

— То-то вотъ: какъ въ этомъ разѣ поступить?

— То-есть какъ же такъ поступить?

— Дать ли дѣлу ходъ или такъ оставить?

— Батюшка! помилосердуйте.

— Признаться, я и самъ... Только вотъ мужички обижаются... Кабатчикъ, значитъ... въ личную себѣ обиду принялъ—ну, и прочихъ взбунтовалъ!

Я заинтересовался и пошелъ на село. Передъ волостнымъ правленіемъ волновалась небольшая кучка народа, изъ которой неслись смутные крики. Но не успѣлъ я дойти до мѣста судбища, какъ приговоръ уже былъ объявленъ

и приводился въ исполненіе: виноватаго «стегали». Здоровенный мужчина самъ снялъ съ себя портки, самъ легъ и самъ кричалъ: «честнòй міръ! господа честные! простите! не буду!» А впослѣдствіи я, сверхъ того, узналъ, что только благодаря предстательству батюшки дѣло кончилось такъ легко, и что—не будь этого предстательства—кабатчикъ непремѣнно бы настоялъ, чтобъ возмутителя его спокойствія отослали въ станъ.

Я возвратился домой и, признаюсь, нѣкоторое время чувствовалъ себя изрядно взбудораженнымъ. Помилуйте! Я ужъ совсѣмъ было-началъ «погружаться», а вмѣстѣ съ тѣмъ и самое представленіе о розгахъ уже стало помаленьку заплывать, и вдругъ... Да, братъ, «выше лба уши не растутъ!» — машинально повторилъ я и чуть-чуть не задохся вслѣдъ затѣмъ—до такой степени весь воздухъ, которымъ я дышалъ, казалось мнѣ, провонялъ, протухъ...

О чемъ собственно шла рѣчь? — объ ѣдѣ. Кажется, предметъ общепонятный и общедоступный, а между тѣмъ честнòй міръ рѣшеніемъ своимъ засвидѣтельствовалъ, что и дѣла ему до него нѣтъ, что онъ не желаетъ даже, чтобъ его безпокоили подобными разговорами. Чтò означаетъ этотъ фактъ? То ли, что міръ хотѣлъ «уважить» кабатчика? или то, что въ его представленіи вопросъ объ ѣдѣ сформулировался такъ: ѣшь, чтò у тебя подъ носомъ?

Какъ бы то ни было, но отъ мысли, что заправскій узелъ все-таки тамъ, на посѣлкѣ, никакъ не уйдешь. Какъ ни взмывай крыльями вверхъ, ни стучи лбомъ объ землю, какъ ни кружись въ пространствѣ, а посѣлка все-таки не миновать. Тамъ настоящій пупъ земли, тамъ разгадка всѣхъ жизненныхъ задачъ, тамъ ключъ къ разумѣнію не только прошедшаго и настоящаго, но и будущаго. И нужно пройти туда... но какъ же туда пройти, коль скоро тамъ только одно слово и произносится внятно: «стегать»?!

Во всякомъ случаѣ, кто не можетъ вмѣстить посѣлка, тотъ лучше пусть и не прикасается къ нему. Потому что иначе къ прежнимъ высшимъ мотивамъ тоски пришлось бы прибавить еще новый, самый высшій...

Такъ я и поступаю, то-есть стараюсь поступать. Я не хочу тоски, а хочу жить въ гробу безъ прошлаго, безъ будущаго, даже безъ настоящаго. Да, и безъ настоящаго, хотя это и кажется на первый взглядъ нелѣпымъ. Я убѣжденъ, что можно до такой степени убить въ себѣ чувство жизни, что самая реальная, осязательная дѣйствитель-

ность—и та не то что *покажется*, а воистину сдѣлается призрачною, неуловимою. Стѣны будутъ двигаться, полъ начнетъ колебаться подъ ногами. Галлюцинація получится полная, но вѣдь только она и можетъ привести за собою настоящее, заправское забвеніе.

Чтобъ достигнуть этого результата, необходимо прежде всего отучиться отъ настоящихъ человѣческихъ мыслей и замѣнить ихъ другими, получеловѣческими. Во-первыхъ, это засвидѣтельствуетъ о несомнѣнномъ поворотѣ въ сторону благонамѣренности, а во-вторыхъ, удивительно какъ помогаетъ жить, то-есть умирать. По началу, разумѣется, встрѣтятся затрудненія, но извѣстные механическіе пріемы мигомъ упростятъ дѣла. Такъ, напримѣръ, настойчивымъ повтореніемъ вслухъ первой попавшей подъ руку безсмыслицы можно разбить какую угодно мысль.

Къ тому же у каждаго человѣка есть наготовѣ цѣлый запасъ исторій, которыя преимущественно щекочутъ его оживотненные инстинкты и потому нравятся. Несмотря на крайнюю несложность содержанія, эти исторіи имѣютъ то драгоцѣнное качество, что ихъ, по желанію, можно обставлять новыми и новыми деталями, вслѣдствіе чего онѣ никогда не кажутся ни заношенными, ни исчерпанными. Таковы, напримѣръ, исторіи любовныя. Какое свѣтозарное облако можно соткать по такому простому поводу, какъ столкновеніе двухъ существъ, изъ которыхъ одно называется мужчиною, а другое—женщиною, и какими яркими, разнообразными колерами будетъ это облако отливать! Или другой примѣръ: процессъ личнаго обогащенія; и его тоже можно всякими огнями освѣтить. И сто тысячъ—богатство, и милліонъ—богатство, и сотня милліоновъ—богатство. Затѣмъ: сначала идетъ процессъ накопленія (какой отличный случай для вмѣшательства элемента «чудеснаго»!), потомъ—процессъ распредѣленія... то-есть на себя, на свои собственныя нужды, а отнюдь не... Поистинѣ, можно до такихъ компликацій дойти, что сразу и не справиться съ ними! И еще примѣръ: исторіи сельскохозяйственныя. Самъ-другъ, самъ-семъ, самъ-двѣнадцать—какое разнообразіе! А съ другой стороны—цѣна продуктовъ можетъ быть—рубль, а можетъ быть—грошъ. Какъ тутъ быть? Поневолѣ приходится рыться въ воспоминаніяхъ объ экономическихъ обѣдахъ (эти воспоминанія не только можно, но и должно освѣжать какъ можно чаще). Словомъ сказать, является цѣлый міръ мыслей, думъ, представленій, не весьма цѣп-

ныхъ, получеловѣческихъ, но способныхъ воспринимать всякую произвольную деталь. Благодаря этому свойству не успѣешь и оглянуться, какъ образуется громадный клубокъ, передъ которымъ цѣлыя поколѣнія будутъ стоять въ изумленіи, покуда не придетъ «невѣжа» и не скажетъ «наплевать!»

Но когда-то это еще случится, а покамѣстъ рессурсъ все-таки есть. Я очень серьезно отнесся къ этой программѣ и рѣшился во что̀ бы ни стало ее осуществить. И вотъ стѣны вокругъ меня зашатались, полъ заколебался подъ ногами... Проблески стариннаго стыда, воспоминанія о высшихъ вопросахъ, представленіе о посёлкѣ — все исчезло. Остались только зеленые круги въ глазахъ, какъ неизбѣжное послѣдствіе болѣзненной усталости.

Я знаю, мнѣ скажутъ, что это срамъ. Да, это срамъ, отвѣчу я, и даже высокой пробы; но онъ освобождаетъ меня отъ прошлаго, а въ данномъ случаѣ только это и требуется.

Я уже начиналъ совсѣмъ утрачивать чувство дѣйствительности, какъ нечаянный случай снова возвратилъ меня къ нему. Привязался ко мнѣ старикъ Дементьичъ съ «докладомъ»: время-де погребъ набивать льдомъ. Нѣсколько дней сряду я только мычалъ въ отвѣтъ: «а! гм!» Наконецъ онъ, повидимому, испугался и почти во все горло проскандовалъ свой вопросъ.

Вотъ по этому-то ничтожному поводу и завязался у насъ разговоръ.

— Отъ Ивана Михайлыча человѣкъ на мельницу пріѣзжалъ; спрашивалъ, давно ли вы въ усадьбу пріѣхали?— доложилъ Дементьичъ.

— Отъ Ивана Михайлыча! помню! какъ же... помню, помню! Да неужто онъ живъ?—встрепенулся я.

— Живы-съ.

— Да вѣдь ему ужъ *тогда* было подъ семьдесятъ—помнишь?

— Много имъ годовъ. А все до послѣдняго время здоровы были. Только въ прошломъ году, отъ несчастьевъ отъ этихъ, словно кабы...

— Отъ какихъ несчастьевъ?

— Да съ молодыми господами что-то подѣлалось. Да и Марья Ивановна, дочка ихняя, померла. Теперь живутъ самъ-другъ съ младшей внучкой... въ родѣ какъ убогонькая она... Поѣдете, что ли, провѣдать?

— Конечно, конечно... Какъ-нибудь... съѣзжу!

Дементьичъ ушелъ, а я началъ припоминать. Это было лѣтъ двадцать тому назадъ, въ самый разгаръ моихъ «сованій». Иванъ Михайлычъ ужъ и тогда былъ старикъ старый. Какъ сейчасъ вижу его: длинный, прямой, худощавый, но ширококостный и плечистый, съ головой, остриженной подъ гребенку и украшенной окладистой сѣдой бородою, вѣчно въ застегнутомъ на всѣ пуговицы черномъ сюртукѣ солиднаго покроя. Самъ лично онъ не «совался»— года не позволяли,—но сердцемъ и мыслью былъ неотлучно съ нами (насъ было-таки довольно). Мы были молоды, а онъ, казалось, вдвое моложе насъ. Онъ воодушевлялъ насъ, вселялъ въ насъ бодрость и вѣру —въ насъ, которые и сами были всецѣло сотканы изъ бодрости и вѣры! Въ его старческомъ сердцѣ словно цвѣтъ какой-то загадочный распустился; въ его старческихъ глазахъ—искрилось пламя. Никакихъ сомнѣній онъ не допускалъ, а тѣмъ болѣе— ироніи, къ которой былъ даже строгъ. И радовался такою безмѣрною радостью, какою можетъ радоваться только острожникъ, выдержавшій безконечно-долгій искусъ, утратившій всякую надежду на освобожденіе и вдругъ, волшебствомъ какимъ-то, очутившійся на волѣ. И мы чувствовали на себѣ силу этой радости и окружали старика всевозможными знаками уваженія. Чудно было видѣть, какъ сильный лучъ свѣта вдругъ освѣтилъ могильную плиту, но вмѣстѣ съ тѣмъ и необыкновенно отрадно. Казалось, плита поднялась и дала выходъ совсѣмъ новому, сильному человѣку, который не зналъ, какъ надышаться, наглядѣться, наликоваться. Конца-края его ликованію не было, потому что этотъ ожившій, согрѣтый лучомъ, мертвецъ создавалъ перспективы за перспективами, одна другой радостнѣе, лучистѣе...

Въ то время у него была дочь, еще довольно молодая. Красива ли была она или дурна, мнѣ какъ-то никогда не удавалось замѣтить; но я помню, что въ этой семьѣ всѣмъ было и уютно, и свѣтло, и тепло, и какъ-то особенно легко. Должно-быть, оттого, что въ ней царствовалъ какой-то удивительный ладъ. Всегда большой наплывъ постороннихъ—и ни малѣйшей сутолоки, всегда немолчный говоръ— и никакого надоѣдливаго шума. Домъ этотъ служилъ средоточіемъ не потому, что туда можно было во всякое время уйти отъ нечего-дѣлать, а потому, что всякій надѣялся освѣжиться въ немъ. Удивительное дѣло, сколько тогда матеріала для безконечныхъ бесѣдъ было—нынче этого даже

представить себѣ нельзя! Точно всѣ родились вновь и на каждомъ шагу обрѣтали совсѣмъ новые предметы, нужные, животрепещущіе, настоятельные. Да и, дѣйствительно, много было и животрепещущаго и настоятельнаго, да вотъ пришло что-то загадочное, чего и ждать, казалось, было нельзя, пришло и подкосило...

Впослѣдствіи, когда всѣмъ мѣстнымъ «сованіямъ» (я забылъ сказать, что жилъ въ то время въ деревнѣ, гдѣ собственно и сосредоточивалась тогдашняя кипучая дѣятельность) былъ положенъ крутой и внезапный конецъ, я бросился вонъ изъ деревни и уѣхалъ «соваться» въ другія мѣста. А Иванъ Михайлычъ остался на мѣстѣ, и хотя цвѣтокъ, случайно распустившійся въ его сердцѣ, завялъ значительно, но все-таки онъ продолжалъ заботливо охранять его корень, въ чаяньи, что опять проглянутъ лучи и согрѣютъ его. Повторяю: въ качествѣ острожника, почувствовавшаго просторъ полей, онъ сдѣлался наивенъ, какъ юноша, и какъ юноша же былъ доступенъ только впечатлѣніямъ радости и надежды. Я лично уже не видѣлся съ нимъ, но отъ постороннихъ слыхалъ, что онъ точно такъ же, какъ и я, какъ и всѣ мы, не одинъ разъ расцвѣталъ и не одинъ разъ увядалъ. Надежда—вещь слишкомъ привязчивая, чтобъ могла легко и скоро превратиться въ стыдъ. Но годъ или два тому назадъ Ивана Михайлыча постигло двойное несчастіе: сперва умерла дочь, а потомъ случилось что-то загадочное съ внуками, которыхъ онъ выростилъ и на которыхъ не могъ надышаться. По словамъ Дементьича, въ самое короткое время его такъ свернуло, что отъ прежняго бодраго и физически-сильнаго старика осталась одна развалина. Теперь онъ живетъ вдвоемъ съ уцѣлѣвшею внучкой; оба думаютъ объ одномъ; оба чувствуютъ себя раздавленными и оба боятся проговориться другъ передъ другомъ. Именно только благодаря этой осторожности ихъ жизнь еще кое-какъ виситъ на волоскѣ. Никто къ нимъ не ѣздилъ, да и некому: тѣ, которые когда-то составляли ихъ кругъ, давно ужъ разсыпались и ушли неизвѣстно куда. Вотъ я—воротился, вспомнилъ, что у меня случайно уцѣлѣлъ свой собственный гробъ, а другіе—гдѣ? Ужели все еще «суются» и питаются пощечинными надеждами?

Воспоминанія эти встревожили меня. Съ недѣлю я не упоминалъ объ Иванѣ Михайлычѣ: все надѣялся, что какъ-нибудь обойдется. Въ моемъ безмолвіи всякая непредви-

дѣнность, всякій выходъ изъ предѣловъ программы не на шутку пугали меня. Конечно, я ни подъ какимъ видомъ не могъ освободиться приличнымъ образомъ отъ визита къ Ивану Михайлычу, но затѣмъ же спѣшить? И я не знаю, чѣмъ бы это кончилось, если бы не пришелъ ко мнѣ на выручку Дементьичъ, который въ одно прекрасное послѣобѣда доложилъ, что закладываютъ лошадей.

Я ѣхалъ съ замираніемъ сердца, словно ожидая, что мнѣ придется увидѣть нѣчто даже худшее, нежели гробъ. Сиротливо раскинулась по обѣимъ сторонамъ дороги родная равнина, обнаженная, расхищенная, точно послѣ погрома. При взглядѣ на эти далекія оголенныя перспективы не рождалось никакой мысли, кромѣ одной: гдѣ же тутъ пріютъ? Кто тутъ живетъ? Зачѣмъ живетъ? Въ какихъ выраженіяхъ проклинаетъ часъ своего рожденія? Я никогда не былъ панегиристомъ старыхъ порядковъ, но можно ли было представить себѣ даже во снѣ, что на смѣну прошлому придетъ такое настоящее? А сколько было радостей-то! Сколько надеждъ! Ахъ, эти радости! Есть же такіе углы въ Божьемъ мірѣ, гдѣ онѣ не оживляютъ, а только отравляютъ существованіе!

Наконецъ проѣхали перелѣсокъ (я не узналъ его: тутъ прежде былъ хорошій старинный лѣсъ), и изъ-за снѣжныхъ сугробовъ вынырнула усадьба Ивана Михайлыча. И прежде она была не изъ нарядныхъ, а теперь и вовсе глядѣла разореннымъ вороньимъ гнѣздомъ. Почернѣла, даже словно сгорбилась. Я осторожно подъѣхалъ къ заднему крыльцу (парадное было заколочено, и дорогу къ нему занесло снѣгомъ) и въ бывшей дѣвичьей былъ встрѣченъ Юліей Петровной, внучкой Ивана Михайлыча.

Это была дѣвушка болѣзненная, маленькаго роста, горбатенькая. Лицо у нея—блѣдное, почти прозрачное, и эта прозрачность сообщала ему по временамъ свѣтящіяся точки. Смѣсь дѣтскаго и преждевременно состарѣвшагося поражала въ этомъ лицѣ: глаза смотрѣли совсѣмъ по-дѣтски, восторженно, какъ-то вдаль, дальше предмета, непосредственно стоящаго передъ глазами, а на вискахъ и на лбу ужъ легли старческія тѣни. Даже голосъ ея звучалъ двойственно; въ общемъ онъ напоминалъ неустановившіеся голоса переходной эпохи 12—13-лѣтняго возраста, но по временамъ (даже слишкомъ часто) въ немъ прорывались такіе дряхлые звуки, что, слыша ихъ, вы невольно представляли себѣ цѣлую раздавленную жизнь.

Приняла она меня прилично, хотя и не особенно радушно. Можетъ-быть, долгая строго-уединенная жизнь ужъ отучила ее отъ той привѣтливости, которою нѣкогда, казалось, были пропитаны даже стѣны этого дома.

— Дѣдушка васъ ждетъ, — сказала она, подавая мнѣ руку.

— Онъ здоровъ?

— Здоровъ, но не надо его волновать. Конечно, при встрѣчѣ послѣ долгой разлуки нельзя обойтись безъ воспоминаній, но есть предметы — вы меня понимаете? — которыхъ положительно не слѣдуетъ касаться. Онъ и безъ того слишкомъ о нихъ помнитъ.

Я нашелъ Ивана Михайлыча въ столовой. Передо мной стоялъ прямой и длинный старикъ, до того худой и обнаженный отъ мускуловъ, что даже кости у него, казалось, усохли. Блѣдно-сѣрая голова, словно мхомъ поросшая волосами, ничѣмъ бы не отличалась отъ головы мертвеца, если бы изъ глубокихъ глазныхъ впадинъ не выглядывали двѣ свѣтящіяся точки. Увидѣвъ меня, онъ протянулъ ко мнѣ свои длинныя худыя руки.

— Пріѣхали?.. Куда?.. Ха-ха!—привѣтствовалъ онъ меня.

Я бросился къ нему, и вдругъ внутри у меня что-то нахлынуло, закипѣло, защемило. Я не ждалъ отъ него смѣха... Ужасная это, ужасная боль! Я весь вспыхнулъ, затрясся и, мучительно надрываясь отъ боли и въ то же время какъ бы усиливаясь освободиться отъ нея, крикнулъ:

— Ну, да, въ гробъ, въ гробъ, въ гробъ!

Казалось, эта выходка поразила его. Онъ взялъ мою руку: одною рукою держалъ ее, а другою гладилъ, какъ бы желая успокоить.

— Ну, дайте, я на васъ посмотрю!—сказалъ онъ, подводя меня къ окну, и затѣмъ, внимательно осмотрѣвши, прибавилъ: — все въ порядкѣ. Теперь разсказывайте. А впрочемъ, что-жъ я! Прежде познакомьтесь. Юлія—внучка моя. Теперь она у меня одна...

Онъ спохватился и не кончилъ.

— Разсказывайте, разсказывайте! -повторилъ онъ.

Мнѣ всегда казалось, что я могу разсказать очень многое. Длинная жизнь, вся до краевъ наполненная «сованіями»,— есть, кажется, что̀ поразсказать. Но теперь, при этомъ, такъ сказать, ультиматумѣ, я вдругъ сталъ втупикъ. Не то чтобъ я позабылъ или застыдился, — нѣтъ,

этого не было. Напротивъ, какъ нарочно, вся моя жизнь, со всѣми деталями, пронеслась въ эту минуту предо мной; а что касается до стыда, то, право, онъ не могъ дѣлать никакого диссонанса въ домѣ, гдѣ и безъ того все говорило о стыдѣ. Нѣтъ, просто показалось нелюбопытнымъ, ненужнымъ.

— Разсказывать-то, вѣрно, нечего... ха-ха! — засмѣялся онъ.

— Пожалуй, что такъ,—согласился я.

— Это, сударь, бываетъ, особливо въ такихъ углахъ вселенной, гдѣ по части благочинія черезчуръ благополучно. Вспоминаешь-вспоминаешь и все какъ-то около одного предмета вертишься: около вывѣски съ надписью: «Управа благочинія»... ха-ха!

— Дѣйствительно, это воспоминаніе господствуетъ...

— Такъ-то господствуетъ, что я вотъ еще въ восемьсотъ четырнадцатомъ году (восемьдесятъ восемь лѣтъ, сударь, мнѣ!) началъ надеждами горѣть и потомъ все горѣлъ, все горѣлъ, а ежели начать разсказывать... Плюхи да плюхи, на каждомъ шагу плюхи... вотъ мерзость какая! Ну, дѣлать нечего, давайте смотрѣть другъ на друга и молчать. Юлія! ты у меня умная: скажи, вѣдь молчать— лучше?

— Да, дѣдушка, лучше.

— Я и говорю: лучше... ха-ха! Только я вотъ еще что̀ говорю: молчаніе —вещь обоюдуострая; иногда оно помогаетъ забывать, а иногда—жжетъ, бередитъ. Точно вотъ слезы, которыхъ не можешь выплакать, или стыдъ, который, хочешь-не-хочешь, а долженъ глотать. Такъ ли, господинъ надеждоносецъ... ха-ха!

Я прислушивался къ его смѣху, и мнѣ положительно дѣлалось неловко. Хохочущій старикъ—право, это цѣлая трагедія. Какую нужно необъятную боль, чтобъ добраться до дна старческой дремоты, разбудить всѣ скопившіяся тамъ боли, перебрать ихъ одну за одной и обострить—до хохота!

— Что касается до меня,—сказалъ я:—то я во всякомъ случаѣ полагаю, что молчаніе цѣлесообразнѣе. Съ помощью его мы извлекаемъ свой личный стыдъ изъ публичнаго обращенія и перестаемъ служить посмѣшищемъ. Я, собственно, ради молчанія и воротился въ деревню.

— А вы изъ стыдящихся?—вдругъ прервала меня Юлія Петровна и такъ пристально взглянула на меня, что я невольно сконфузился.

— Она у насъ стыдящихся не одобряетъ, — съ своей стороны пояснилъ Иванъ Михайлычъ.

— Не одобряете? Но что же дѣлать, если результатъ всей жизни выражается словами: довольно жить? — возразилъ я.

— Она такихъ результатовъ не признаётъ. Не понимаетъ, что для насъ, старыхъ надеждоносцевъ... если мы и къ такимъ результатамъ приходимъ... и то ужъ заслуга... ха-ха!

Старикъ захохоталъ такимъ горькимъ и продолжительнымъ хохотомъ, что Юлія Петровна встревожилась.

— Дѣдушка! оставьте этотъ разговоръ! Онъ васъ волнуетъ!—обратилась она къ нему.

— Мудрая, а не въ силахъ понять, что у насъ другого разговора не можетъ быть! Ты говоришь: волнуетъ, а я, напротивъ, утверждаю: развлекаетъ, позволяетъ занимательно провести время... Такъ ли, сосѣдъ?

— Не знаю, право...

— Нѣтъ, навѣрное. Вотъ, напримѣръ, я говорю: какъ начиналось—и чѣмъ кончилось! Восклицаніе, кажется, не особенно мудрое, а между тѣмъ оно облегчаетъ меня! И я очень радъ, что есть человѣкъ, который меня пойметъ и вмѣстѣ со мной постыдится... Такъ вѣдь?

Онъ взглянулъ мнѣ въ глаза и ласково потрепалъ рукой по колѣнкѣ.

— Если бы я молчалъ—эта мысль глодала бы мои внутренности, шла бы за мной по пятамъ. А теперь, сдѣлавши изъ нея составную часть causerie de société, я все равно что отнялъ у нея всякое значеніе. Оттого-то я и повторяю: какъ начиналось и чѣмъ кончилось... ха-ха!

— Да начиналось ли?

— То-то вотъ... Она, впрочемъ, умная-то моя, не сомнѣвается. Не только «начиналось», а началось, говоритъ, и не вчера, а отъ начала вѣковъ. И придетъ, несомнѣнно придетъ! Юля! Вѣдь такъ?

— Такъ, дѣдушка, придетъ.

— Она и на насъ, стыдящихся, какъ-то особенно смотритъ. Нѣчто въ родѣ Закхеевой смоковницы въ насъ видитъ... ха-ха!

— Дѣдушка, я никого не осуждаю! Я говорю только...

— Что нужно вѣрить?

— Нужно, дѣдушка.

— И что есть люди, которые не падаютъ духомъ?

— Есть.

— Аминь!

— Аминь.—повторила Юлія Петровна.

Всѣ умолкли, а старикъ понурилъ голову, словно задремалъ. Черезъ минуту однако-жъ онъ вновь встрепенулся и взглянулъ въ окно. Небо было ясно, и на краю небосклона разливался тихій свѣтъ вечерней зари.

— Сколько разъ, въ былыя времена, словно про себя прошепталъ Иванъ Михайлычъ: — я провожалъ глазами эту зарю и говорилъ себѣ: завтра я опять увижу ее тамъ на востокѣ.

— А теперь?

— А теперь говорю: сейчасъ она погухнетъ, и затѣмъ начнется ночь...

— Дѣдушка!

— Да, ночь... и навсегда! Ни надеждъ, ни «насъ возвышающихъ обмановъ»... ничего, кромѣ ночи!

— Нѣтъ, дѣдушка, этого не будетъ!

Я оглянулся и умилился. Глаза Юленьки горѣли: лицо ея было все какъ въ лучахъ: даже въ голосѣ слышались мощныя, звонкія ноты.

— Заря опять придетъ,—продолжала она:—и не только заря, но и солнце!

Старикъ махнулъ рукой вмѣсто отвѣта.

— Есть добрые, не падающіе духомъ! Есть! И они увидятъ солнце, увидятъ, увидятъ, увидятъ!—повторила она.

Иванъ Михайлычъ быстро повернулся и протянулъ мнѣ руки.

— Ну, прощайте!—сказалъ онъ:—тяжело! Говорить мы ни о чемъ не умѣемъ, а только умѣемъ раздражать себя... Тяжелы эти повторенія старой сказки объ упованіяхъ! Не ѣздите ко мнѣ... не нужно! Не затѣмъ мы живемъ, чтобъ заниматься causeries de société... Будемъ изнывать каждый въ своемъ углу... Довольно.

ПОШЕХОНСКІЕ РАЗСКАЗЫ.

(1883—1884 гг.).

Вечеръ первый.

По Сенькѣ и шапка.
(Пословица).
Андроны ѣдутъ.
(Изреченіе).

Никогда не жилось мнѣ такъ весело, какъ въ то время, когда я служилъ въ Можайскомъ гусарскомъ полку. Удивительная тогда во всемъ простота царствовала. Нынче молодому человѣку и пожить-то въ свое удовольствіе нельзя, ежели, по крайности, хоть до тройного правила ариѳметику не прошелъ. Говорятъ тебѣ: какія ты можешь, скотина, удовольствія или огорченья испытывать, коль скоро ты даже именованныхъ чиселъ не знаешь! А прежде съ корнета ничего такого не спрашивали. Былъ бы вѣрный слуга отечеству, да по части женскаго пола чтобы все въ исправности состояло — вотъ и только. Передъ тѣмъ, кто этими качествами обладалъ, всѣ двери были настежь. Молодого человѣка ласкали, баловали, а частенько гдѣ-нибудь въ укромномъ уголку не обходилось и безъ посредничества плутишки амура, въ качествѣ третейскаго судьи. Ибо кому же изъ юныхъ воиновъ удовольствіе сіе не представлялось привлекательнымъ и полезнымъ?

Я только-что былъ произведенъ въ корнеты. Тѣлосложенія я былъ столь состоятельнаго, что могу сказать смѣло: всѣ дѣвицы смотрѣли на меня съ удовольствіемъ. Но такъ какъ маменька не позволяла мнѣ жениться, то я больше льнулъ къ дамамъ, между коими были преаппетитныя, особливо одна черненькая. Но и за всѣмъ тѣмъ, перебирая на склонѣ дней мои воспоминанія по сему предмету, я со вздохомъ восклицаю: сколь многаго я не выполнилъ, а иное и совсѣмъ изъ виду упустилъ! Но теперь уже не воротишь.

Полкъ нашъ частенько-таки перекочевывалъ изъ губерніи въ губернію, но нигдѣ по части женскаго продовольствія недостатка не ощущалось. Наконецъ однако-жъ на довольно продолжительное время расквартировали насъ въ К омъ уѣздѣ Т—ской губерніи—тутъ ужъ не только мы, офицеры, но и солдатики вплотную пожуировали. Впослѣдствіи, когда нашъ эскадронъ выступилъ въ походъ противъ турокъ, то бабы со всего села верстъ шестьдесятъ, подъ предлогомъ музыки, за нами шли и выли... Вотъ какъ выразительно говоритъ иногда языкъ природы!

Эта была самая веселая стоянка. Помѣщиковъ множество, и всѣ прегостепріимные. У всякаго или жена, или дочери, или своячиницы, а иногда и то, и другое, и третье вмѣстѣ. У нѣкоторыхъ, сверхъ того, дульцинеи. Послѣднія хотя и безъ кринолиновъ, но у иной и принцессы природные дары не въ такой исправности. Юные воины переѣзжали изъ усадьбы въ усадьбу и катались какъ сыръ въ маслѣ. Закуски и лакомства цѣлый день не сходили со стола, а кромѣ того: псовая охота, ѣзда съ барышнями на тройкахъ, рыбная ловля, прогулки въ лѣсу... А вечеромъ—танцы. Далеко за полночь, послѣ обильнаго ужина, въ залѣ постилались на полу перины, и всѣ спали вповалку. Случалось тутъ кое-что и неладное, ну, да въ корнетскомъ чинѣ и осудить за сіе строго нельзя.

Вскорѣ однако-жъ наступила отмѣна крѣпостного права—и куда всѣ эти перины и дульцинеи дѣвались!

Юные нынѣшніе корнеты! по совѣсти васъ спрошу: не лучше ли симъ естественнымъ способомъ время проводить, нежели о сухихъ туманахъ спорить, отъ каковыхъ споровъ и до превратныхъ толкованій, пожалуй, недалеко.

Но въ глубокую осень и въ весеннюю ростепель случались дни, когда поневолѣ приходилось коротать время въ своемъ кружкѣ, на глазахъ старшихъ. О старшихъ вообще должно сказать, что они ѣздили къ сосѣднимъ помѣщикамъ только въ дни семейныхъ торжествъ, а прочее время собирались между собой, рѣзались въ штосъ и пили пуншъ. Но были и такіе, которые въ карты не играли, а только пуншъ пили. Въ числѣ послѣднихъ былъ и незабвенный майоръ Горбылёвъ. Пилъ онъ пуншъ безъ счета и надежды на опьяненіе и во время питья любилъ поразсказать разную бывальщину. Майоромъ онъ служилъ съ испоконъ-вѣку, изъѣздилъ на вѣрномъ конѣ всю Россію, многое видѣлъ, но еще больше того не видалъ. Но главный интересъ его

разсказовъ заключается въ томъ, что во всѣхъ обстоятельствахъ его жизни прямо или косвенно принимала участіе нечистая сила. То въ видѣ домового, то въ видѣ лѣшаго, то прямо въ видѣ чорта. А вѣдьмъ, русалокъ и лѣшачихъ перевидалъ онъ безъ числа. И отъ всей этой нечисти, благодареніе Богу, благополучно избавился, кромѣ, впрочемъ, домового, который до самой смерти, послѣ пуншa, его по ночамъ душилъ.

Мы, молодежь, съ увлеченіемъ внимали его безконечнымъ разсказамъ, почерпая въ нихъ полезныя для себя указанія на случай встрѣчи съ лѣшимъ или съ лѣшачихой. Вотъ, бывало, на дворѣ дождь, по дорогамъ невылазная грязь стоитъ, а мы заберемся къ доброму старому майору, обсядемъ кругомъ и слушаемъ.

Нѣкоторые изъ его разсказовъ я счелъ своевременнымъ публиковать. Давно бы мнѣ пора на сію стезю вступить, да все думалось: авось Богъ помилуетъ! Даже и теперь, когда сдѣлалось яснымъ, что по грѣхамъ моимъ надежды на помилованіе нѣтъ,— даже и теперь до послѣдней минуты колебался, что̀ лучше публиковать: разсказы майора Горбылёва или «Поваренную книгу»?

Однако-жъ не рѣшился на послѣднее, потому что поваръ я уже совсѣмъ плохой. А послѣ разсказовъ Горбылёва, быть-можетъ, опубликую разсказы ротмистра Возницына, а потомъ и прочихъ господъ офицеровъ. Смотришь, время-то и пройдетъ *).

Разсказы майора Горбылева.

«Разскажу вамъ, господа, какъ я однажды съ чортомъ въ карты игралъ.

«Было время, когда я страстно карты любилъ. Съ утра до вечера штосы срѣзывалъ или банкъ металъ и, признаюсь, довольно-таки удачно. И такъ къ этой операціи привыкъ, что, даже походомъ идучи, не разъ на сѣдлѣ банкъ металъ.

«Вотъ только стояли мы въ Могилевской губерніи, въ мѣстечкѣ одномъ, и говоритъ мнѣ жидокъ: сегодня вечеромъ въ клубѣ польскій графъ будетъ. Прекрасно. При-

*) Къ сожалѣнію, я не выполнилъ этого намѣренія и увлекся въ другую сторону. Зато послѣдствія этого увлеченія были весьма для меня непріятныя.

хожу, вижу: дѣйствительно, новое лицо въ клубѣ появилось, а около него наша молодежь такъ и вьется. Одѣтъ франтомъ: на рубашкѣ брильянтовыя запонки чуть не съ лѣсной орѣхъ; изъ себя—молодецъ.—Угодно? говоритъ.—Съ удовольствіемъ.

«И началъ онъ меня жарить. И самъ банкъ заложитъ, и мнѣ заложить предложитъ—бьетъ одну карту за другой да и шабашъ. А я, по несчастію, въ то время полковымъ казначеемъ былъ. Все, что̀ принесъ съ собой, въ полчаса спустилъ, домой за подкрѣпленіемъ сходилъ — и опять только на полчаса хватило. Словомъ сказать, въ такой азартъ вошелъ, что и за казенный ящикъ принялся. А онъ сидитъ, только карты вскидываетъ да улыбается...

«Думалъ я сначала, не на шулера ли напалъ, однако, сколько ни слѣдилъ—чисто мечетъ! Аккуратно, не спѣша, карта за картой, точно говоритъ: глядите! Одно только подозрительно: перчатокъ съ рукъ не снимаетъ, такъ въ нихъ и мечетъ. А я между тѣмъ ужъ двадцать тысячъ проигралъ—неминучее дѣло подъ судъ идти. Съ досады сталъ придираться. — Извольте, говорю, перчатки снять!—«Это почему?»—Да такъ, говорю, безъ перчатокъ вамъ ловчѣе будетъ!—Слово за слово, онъ—меня, я—его... Схватилъ, знаете, во время перепалки, я его за руку, а у него-то — лапа гусиная! Я такъ и обомлѣлъ, а онъ какъ загогочетъ! Да такъ это тоскливо да тяжко, что сколько тутъ ни было народу—всѣ разомъ вонъ изъ клуба такъ и прыснули!

«А я какъ вцѣпился обѣими руками въ лапу его, такъ и застылъ. И вижу, что у него и изо рта, и изъ носу, и изъ ушей—змѣи поползли. А сзади—рыла̀ мохнатыя. Хочу крикнуть—языкъ не поворачивается; хочу крестное знаменіе сотворить—рукъ отцѣпить отъ него не могу. Наконецъ чувствую, что онъ меня самого куда-то тащитъ...

«И представьте себѣ, въ эту самую минуту, какъ мнѣ пропа̀сть приходилось, вдругъ, на мое счастье, въ кухню пѣтуха принесли! Его на котлеты рѣзать хотѣли, а онъ возьми да и запой! Вижу: поблѣднѣлъ мой графъ, какъ мертвецъ, и зашатался. Шатался-шатался и, въ одну секунду, въ моихъ глазахъ словно въ воздухѣ растаялъ... Тутъ только я понялъ, съ какимъ «графомъ» я въ карты игралъ.

«А денежки мои между тѣмъ на столѣ остались. Разумѣется, я сейчасъ же ихъ обобралъ и казенный ящикъ пополнилъ. А на другой день, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ

онъ металъ банкъ, подковку серебряную двухкопытную нашли. Это, значитъ, «онъ» впопыхахъ съ ноги потерялъ.

«Подковка эта и теперь у меня хранится, но съ тѣхъ поръ я только пуншъ пью, а картъ въ руки не беру».

«А вскорѣ послѣ того и еще происшествіе со мной было. Стоялъ я въ это время ужъ въ Кіевской губерніи, подъ Чернобыломъ.

«Ну, сами молоды, знаете, каково барану безъ ярочки жить. А Хиври, да Гапки, да Окси такъ мимо и шмыгаютъ, и все чернобровыя. Я въ то время пѣсню зналъ: «и шумѐ, и гудѐ, дрòбенъ дождикъ идѐ»—сидишь, бывало, на крылечкѣ у хаты и поешь, а онѣ, шельмы, зубы скалятъ. Одну ущипнешь, другую... Вечеромъ ляжешь спать—смерть! Вотъ я одну и намѣтилъ.

«— Какъ тебя зовутъ?

«— Наталка.

«— Знаю. Наталка-Полтавка... у Нижнемъ на ярмарци видавъ... Ну, такъ какъ же, Наталочка, будешь, что ли, со мной по малороссійски разговаривать?

«— Не знаю, говоритъ, чи буду, чи нѣтъ. Вамъ, пане, може, паненочку треба?

«— Ну ихъ! говорю. Щò треба, щò не треба... у всѣхъ у васъ секретъ-то одинъ. А ты ужò приходи, такъ я тебѣ гривенничекъ пожертвую.

«Дѣйствительно, какъ только смерклось—пришла. Разумѣется, кровь во мнѣ такъ и кипитъ. Запаска — къ чорту, плахта — къ дьяволу... и ахъ, го-о-лубушка ты моя! И вдругъ... чувствую, что сзади у нея что-то шевелится...

«— Щò сѐ такѐ?

«— А это, говоритъ, фистъ.

«— Какъ фистъ?

«— Вѣдьма же я, милюсенькій, вѣдьма...

«Вотъ такъ праздникъ! Человѣкъ распорядился, совсѣмъ уже себя, такъ сказать, предрасположилъ—и вдругъ вѣдьма, фистъ!..

«Являюсь на другой день къ полковнику. Докладываю. И что-жъ бы, вы думали, онъ мнѣ отвѣтилъ?

«— Ахъ, простофиля-корнетъ! не знаетъ, что въ Кіевской губерніи каждой дивчинѣ, въ числѣ прочихъ даровъ природы, присвояется хвостъ! Стыдитесь, сударь!

«Разумѣется, съ тѣхъ поръ я ужъ не стѣснялся. Только,

бывало, скажешь: убери, голубушка, фистъ! — и ничего. Все равно что̀ безъ хвоста, что̀ съ хвостомъ.

«Но Наталки я больше не видалъ, а только слышалъ, что она, пришедши отъ меня, цѣлую ночь тосковала, а подъ утро сѣла верхомъ на помело и вылетѣла въ трубу».

Разсказавши это происшествіе, майоръ грустно поникъ головой и нѣкоторое время тихо-тихо напѣвалъ себѣ подъ носъ: «И шумѐ, и гудѐ...» И вдругъ крупная слеза, какъ тяжелая капля дождя, громко шлепнулась въ его пуншъ.

«— Да,—проговорилъ онъ торжественно-взволнованнымъ голосомъ:—что̀ тамъ ни утверждай философы, а безъ женскаго пола не проживешь. Царь Давидъ на что̀ былъ—и тотъ согрѣшилъ. А царь Соломонъ даже и очень. Впрочемъ, вы, молодые люди, лучше другихъ это знаете.

«И не только мы, родъ человѣческій, но даже животныя—и тѣ къ женскому полу непреодолимое стремленіе чувствуютъ.

«Зналъ я одного общественнаго быка, такъ даже словъ не могу подобрать, какой это удивительный быкъ былъ! Точно человѣкъ!

«Надо вамъ сказать, что въ нашихъ деревняхъ быкъ—въ родѣ какъ должность общественная. Староста, сотскій, десятскій и быкъ. Въ иной деревнѣ ни сотскаго, ни десятскаго нѣтъ, а быкъ непремѣнно всегда и вездѣ. И содержится онъ на общественный счетъ, потому что онъ—геній-хранитель крестьянскаго стада, онъ—ручательство, что коровій родъ не изгибнетъ вовѣкъ. Ибо что̀ значитъ корова безъ быка?

«Но, подобно людямъ, и быки бываютъ разныхъ достоинствъ. Бываютъ быки не большіе, но солощіе, и наоборотъ. Быкъ деревни Разуваевой принадлежалъ къ числу первыхъ. Онъ былъ такъ уменъ, что могъ бы получить аттестатъ зрѣлости, если-бъ не требовалось древнихъ языковъ. Пять лѣтъ сряду высоко держалъ онъ свое знамя и не только не думалъ положить оружіе, но даже нимало не отяжелѣлъ. Мужички нарадоваться не могли и жили за нимъ какъ за каменной стѣной. Какъ вдругъ у сосѣдняго помѣщика явилась корова Красавка, которая всѣ мужицкія упованія разсѣяла въ прахъ.

«Разсѣять мужицкія упованія очень легко, господа. Иногда мужичокъ совсѣмъ ужъ подноситъ кусокъ къ губамъ—и вдругъ вмѣсто куска... признательность началь-

ства... Да и признательность-то не ему, а сборщику податей. Или: шли бабы полосу жать. Уповаютъ. И вдругъ откуда ни возьмись градъ... и опять однимъ упованіемъ въ жизни мужика стало меньше!

«А онъ и впредь уповать продолжаетъ.

«Такъ было и въ этомъ случаѣ. Быкъ увидѣлъ Красавку нечаянно, когда она паслась за оврагомъ на пригоркѣ, слишкомъ за версту отъ того мѣста, гдѣ паслось крестьянское стадо. Въ одно мгновеніе участь его была рѣшена. Задравши хвостъ, уставившись рогами впередъ и взрывая копытами землю, онъ помчался черезъ поля и овраги, и не успѣлъ помѣщичій пастухъ ахнуть, какъ уже въ ввѣренномъ ему стадѣ произошелъ общій переполохъ. Очевидно, что смѣлый поступокъ отважнаго чужанина произвелъ среди помѣщичьихъ коровъ глубокую сенсацію.

«На первый разъ однако-жъ дѣло обошлось мирно. Помѣщикъ былъ человѣкъ добродушный, и рыцарскій поступокъ быка даже понравился ему. Но съ этихъ поръ поведеніе быка относительно своихъ довѣрителей совершенно измѣнилось. Напрасно послѣдніе изощрялись гонять мірское стадо какъ можно дальше отъ помѣщичьяго, напрасно возмущенныя домохозяйки сѣкли быка крапивой, напрасно сами коровы бодали его рогами,—ни одна не добилась отъ него ни малѣйшей ласки. По вечерамъ, когда стадо пригонялось въ деревню, быкъ убѣгалъ. И всегда въ одну сторону: въ помѣщичью усадьбу, гдѣ находилась его возлюбленная. Упрется рогами въ запертыя ворота скотнаго двора, рветъ копытами землю и реветъ! Прибѣгутъ за нимъ крестьяне-довѣрители, начнутъ жарить въ три кнута, а онъ стоитъ и реветъ. И такимъ раздирающимъ голосомъ, что самъ добрый помѣщикъ выбѣжитъ и крикнетъ: — Шибче жарьте! вотъ такъ!

«Наконецъ пришлось убѣдиться, что единственною развязкой въ такомъ дѣлѣ можетъ быть только ножъ...

«И что же потомъ оказалось?—что и солощій крестьянскій быкъ, и корова Красавка — не что иное, какъ оборотни! А именно: поручикъ Потаповъ и жена сосѣдняго помѣщика Красавина. Оба они были давнымъ-давно другъ въ друга влюблены, но, по обстоятельствамъ, соединиться не могли. Вотъ и придумали...»

«Вообще въ старину нечистой силы довольно было. Лѣса-то берегли, да и болотъ было множество — такъ вотъ оттуда.

И если-бъ не это, то многаго въ жизни совсѣмъ было бы объяснить нельзя.

«Какъ, напримѣръ, объясните вы слѣдующее происшествіе? Ѣду я однажды въ городъ на тарантасѣ, на почтовыхъ. Разумѣется, съ ямщикомъ калякаю.

«— Хорошо васъ хозяинъ кормитъ?

«— Щи, каша, а по праздникамъ пироги.

«— А съ женой согласно живешь?

«— Мы другъ дружку... вотъ и сейчасъ, пріѣду домой, на печь полѣзу...

«Словомъ сказать, какъ обыкновенно. Знали мужики мой нравъ и никогда не жаловались. Только въѣзжаемъ мы, знаете, въ лѣсъ, а я возьми да и прикурни маленько. И вдругъ чувствую, что мы ни съ мѣста. Открываю глаза — и что же вижу? Ни ямщика, ни лошадей, ни тарантаса — ничего! А я лежу подъ деревомъ на голой землѣ и плачу. Да-съ, плачу-съ.

«Натурально, удивился и пошелъ, куда глаза глядятъ. Три дня сряду я по этому проклятому лѣсу плуталъ, только брусникой питался. Заснуть—боюсь, присяду отдохнуть на минуту—нетерпѣнье такъ и подымаетъ: иду да иду! Наконецъ отощалъ. Сѣлъ на камень и думаю: — Однако-жъ вѣдь я майоръ!—А тутъ изъ лѣсу кто-то какъ рявкнетъ: — майоръ! майоръ! майоръ!—Къ счастью, я вспомнилъ, что у меня на ремнѣ фляжка съ водкой. Думаю: булькну. Булькнулъ разъ, булькнулъ другой —слышу, и въ лѣсу кто-то булькаетъ. Однако булькалъ да булькалъ, да подъ конецъ и заснулъ! Долго ли, коротко ли я спалъ, только просыпаюсь: преспокойно лежу себѣ дома на походной постели!

«Такъ вотъ какіе перевороты въ самое короткое время случаются. Какимъ образомъ это объяснить?»

— А можетъ-быть, мало-мало выпито было?—съехидничалъ штабсъ-ротмистръ Возницынъ, который внутренно хотя и вѣрилъ въ чертей, но по временамъ любилъ хвастнуть скептицизмомъ.

Выпито — это само по себѣ. Было выпито—это вѣрно. Но какимъ же образомъ объяснить, что я и въ тарантасѣ ѣхалъ, и съ ямщикомъ говорилъ?.. Вѣдь это все.. было? И вдругъ... лежу на землѣ?!

— Да вотъ именно въ подпитіи. Ни въ тарантасѣ вы не ѣхали, ни на землѣ не сидѣли...

— Позвольте! но вѣдь я послѣ этого три дня въ лѣсу ходилъ! брусникой питался?!

— И по лѣсу не ходили, и бруснику не ѣли...

— Но какимъ образомъ объяснить, что я фляжку съ водкой выпилъ и потомъ дома въ собственной постели очутился! кто же нибудь меня туда перенесъ?

— Да просто вы наканунѣ выпили. Выпивши, легли въ постель, а на другое утро въ той же постели проснулись.

Майоръ задумался.

— Можетъ-быть, — наконецъ согласился онъ: — возможно!!

Но было очевидно, что это согласіе стоило ему сильной нравственной борьбы.

«— Хорошо, — продолжалъ онъ: — положимъ, что тогда дѣйствительно... Было выпито — это такъ. Но какимъ же образомъ вы объясните слѣдующій случай?

«Былъ у насъ полковой командиръ, полковникъ Золотиловъ. Лихой. Службу зналъ такъ, что словно на нотахъ, бывало, разыгрываетъ. Въ приказахъ по корпусу — всегда первый, въ примѣръ другимъ. Полкъ — въ исправности; касса — налицо; ума — палата. Всякій Божій день — для всѣхъ господъ офицеровъ открытый столъ. Словомъ сказать, жили мы за нимъ какъ за каменной стѣной.

«Только перевели къ намъ въ полкъ изъ звенигородскихъ уланъ ротмистра одного. Культяпка прозывался. Явился Культяпка къ полку и первымъ дѣломъ, разумѣется, къ полковому командиру. Я въ это время полковымъ казначеемъ былъ, съ утреннимъ рапортомъ у командира сидѣлъ и слѣдовательно самъ очевидцемъ былъ. Началъ это Культяпка рапортовать. — Имѣю честь... — и съ первыхъ же словъ перевралъ. Смотрю: вглядывается мой Культяпка въ командира, словно припомнить хочетъ. И вдругъ:

«— А вѣдь я, говоритъ, тебя узналъ!..

«Туда-сюда. Вспыхнулъ-было нашъ полковникъ: — Подъ арестъ! — и проч. А Культяпка, какъ ни въ чемъ не бывало, такъ и рѣжетъ:

« — Ты не тормошись, — говоритъ: — а скажи, помнишь ли, какъ ты съ своей лѣшачихой мой эскадронъ цѣлую недѣлю по лѣсу водилъ?

«И вотъ какъ хотите, такъ и судите. Въ моихъ глазахъ, въ одинъ моментъ, полковникъ Золотиловъ словно въ воз-

духѣ растаялъ. И жена его тоже пропала: и книги, и приказы, и переписка — все. Бросились мы потомъ формуляръ полковничій искать — и формуляра нѣтъ. Ужъ писарь одинъ намъ сказывалъ: — Да вѣдь я спервоначала замѣтилъ, что въ формулярѣ было написано: «по окончаніи домашняго воспитанія, опредѣленъ на службу... *съ лѣшіе!!*» — Такъ что же ты, курицынъ сынъ, молчалъ?

«Разумѣется, сейчасъ рапортъ, а намъ, вмѣсто него, на смѣну Домового прислали. Да такъ всю чертовщину постепенно и перебрали. И я все время казначеемъ служилъ».

— Ну, какъ вы этотъ случай объясните? — обратился къ намъ майоръ: — вѣдь это я ужъ собственными глазами видѣлъ?

Но волшебство было столь уже явно, что даже вольномысленный штабсъ-ротмистръ задумался. Однако-жъ выдержалъ-таки характеръ и возразилъ:

— Да выпито было. Ни Золотилова, ни Культяпки...

— Ну, нѣтъ; это, братъ, шалишь! Я при Золотиловѣ-то два года служилъ — неужто-жъ все время пьянъ былъ? Нѣтъ, а вотъ что лучше послушайте: вѣдь Культяпка-то послѣ этого сохнуть сталъ. Чахнулъ-чахнулъ, а наконецъ и совсѣмъ зачахъ. Говорятъ, будто сейчасъ послѣ этого пришла къ нему полковница и какое-то дѣло припомнила. Съ тѣхъ поръ и пошло на него, и пошло. Жениться задумалъ и къ свадьбѣ все приготовилъ, а самъ пропалъ. Мы ужъ и въ церковь собрались — хвать-похвать, гдѣ женихъ? Нѣтъ Культяпки, да и шабашъ. И что же потомъ оказалось? — что онъ трое сутокъ на сѣновалѣ проспалъ! Такъ дѣло и разстроилось. Въ другой разъ онъ же часы въ лотерею выигралъ, а когда пришелъ получать — оказалось, что и лотереи такой никогда не бывало. Какъ вы это объясните?

— Гм! — воскликнули мы въ одинъ голосъ.

Да и на мою долю, по милости этого Культяпки, попало, — продолжалъ майоръ: — потому что я свидѣтелемъ этой сцены былъ. Не будь меня, полковникъ, можетъ-быть, какъ-нибудь обвертѣлъ бы Культяпку, ну, а при мнѣ — нельзя было. Вотъ онъ и мнѣ потомъ мстилъ. Я даже подозрѣваю, что польскаго графа-то этого, который меня въ карты-то обыгралъ, не кто другой, а именно полковникъ Золотиловъ подослалъ. А можетъ-быть, онъ самъ и оборотился графомъ.

— Весьма вѣроятно,—вынуждены были мы согласиться.

— Да и одно ли это! Мало ли онъ разныхъ проказъ надо мной строилъ! Однажды я грибъ въ лѣсу увидѣлъ. Смотрю, подъ самой березой стоитъ боровикъ. Протянулъ-это руку, чтобы сорвать, а онъ на поларшина въ сторону. Я за нимъ, а онъ опять на поларшина въ сторону. Лазилъ-лазилъ, гляжу, а боровиковъ кругомъ видимо-невидимо. И всѣ крѣпкіе, ядреные, одинъ къ одному. Я—въ кучу, хочу хоть одинъ поймать—пусто! Наконецъ догадался, заклинанье прочелъ—вдругъ какъ запищатъ боровики-то! Я—давай Богъ ноги! И что̀ же потомъ оказалось:—что я и въ лѣсу совсѣмъ не былъ, а преспокойно пилъ пуншъ у драгунскаго капитана Кедрова!

— То-то, что выпито-то было!—замѣтилъ вольномыслен-ный штабсъ-ротмистръ Возницынъ.

Но мы ему не повѣрили.

«Вообще въ то время много необъяснимаго было. Бывало, ѣшь, пьешь, а между прочимъ боишься, какъ бы нечистую силу не проглотить.

«Всѣмъ извѣстны, напримѣръ, вяземскіе пряники: а знаете ли вы, отчего они прежде сладки были, а нынче въ нихъ вдвое противъ прежняго сласти убавилось? А я—знаю. Все отъ «этого».

«Стояли мы въ восемьсотъ тридцать шестомъ году съ полкомъ въ Вязьмѣ, а тамъ въ то время пряничница Прасковья Ивановна въ славѣ была. Изъ себя — королева, тѣло—разсыпчатое, губы—алыя, глаза—навыкатѣ, груди—вотъ! Ну, и присталъ я къ ней:

«— Отчего, говорю, у тебя, Прасковья Ивановна, такіе пряники сладкіе? сахару, что ли, не жалѣешь?

«— У меня, говоритъ, и безъ сахару сладки.

«— Что-жъ за причина?

«— А это, говоритъ, тайность моя.

«И что̀-жъ наконецъ она мнѣ открыла?

«— Ежели, говоритъ, я тебѣ, милый баринъ, мою тайность скажу, такъ ты послѣ того въ ротъ нашего пряника не возьмешь!

«Разумѣется, я не настаивалъ.

«Послѣ однако-жъ и до начальства дѣло дошло: пряники сладки, а сахару не кладутъ. И распорядилось начальство, чтобы впередъ на каждомъ пряникѣ (на той сторонѣ, гдѣ картина) было оттиснуто: «Печатать дозволяется.

Цензоръ Бирюковъ». Съ тѣхъ поръ тайность какъ рукой сняло, но зато и сладости прежней нѣтъ.

«Но вы вообразите, сколько мы этой нечисти подъ видомъ сладости наглотались!»

«Въ другой разъ въ Пензенской губерніи дѣло было. Пріѣзжаю однажды на постоялый дворъ, голодный-преголодный, а хозяйка и говоритъ: «Поросеночка не угодно ли?» — Волоки! — Принесли. Лежитъ это поросеночекъ, какъ ребенокъ малый, ножки поджалъ, кожица бѣлая, жирокъ... словомъ сказать, только-что не говоритъ!

«— Какъ это, спрашиваю, вы такъ отлично отпаивать ихъ умѣете?

«— А у насъ, говоритъ, слово такое есть.

«— Какое слово?

«— А въ родѣ какъ проклятіе на себя наложить слѣдуетъ...

«Конечно, я не затруднился этимъ; но кто же можетъ сказать, *кого* я подъ родомъ поросеночка съѣлъ?!

«Впрочемъ, Пензенская губернія вообще въ то время страною волшебствъ была. Куда, бывало, ни повернись — вездѣ либо Араповъ, либо Сабуровъ, а для разнообразія на каждой верстѣ по Загоскину да по Бекетову. И ссорятся, и мирятся—все промежду себя; Араповы на Сабуровыхъ женятся, Сабуровы—на Араповыхъ, а Бекетовы и Загоскины сами по себѣ плодятся. Чужой человѣкъ попадется — загрызутъ. Однажды самого губернатора въ осадѣ держали за то, что онъ это волшебство разъяснить хотѣлъ. И выжили-таки. Ни дать, ни взять—Чурова долина.

«А папенька-покойникъ вотъ еще что про Пензу разсказывалъ. Въ царствованіе блаженной памяти императрицы Екатерины II туда два губернатора съѣхались: одинъ Потемкинскій, а другой — Мамоновскій. Встали другъ передъ другомъ да и стоятъ: кто первый смигнетъ. Да, къ счастію, соборный протоіерей тутъ случился, съ пріѣздомъ поздравлять пришелъ. Какъ только губернаторы его учуяли—смотрятъ, Потемкинскаго-то ужъ нѣтъ, а вмѣсто него—коршунъ! Покуда на него глядѣли, какъ онъ крыльями взмывалъ, а промежду ногъ черная кошка шмыгнула — и Мамоновскій, значитъ, исчезъ!

«А кабы не это, побѣдили бы они другъ друга да и управляли бы. А можетъ-быть, впрочемъ, и не разъ такіе управляли».

«Спрòсите вы меня, съ чего это я все объ чертяхъ да о кикиморахъ разсказываю? Такъ я на это вотъ чтò скажу: такая у насъ жизнь волшебная, что самъ собой разговоръ въ этомъ родѣ складывается.

«Чтò такое эта чертовщина и въ какомъ смыслѣ ее понимать надлежитъ?—на это я опредѣлительнаго отвѣта дать не могу. Но вѣдь, съ другой стороны, ежели сказать наотрѣзъ: нѣтъ чертовщины!—а вдругъ она есть? Кто тогда въ дуракахъ будетъ?

«Зналъ я одного умнаго статскаго совѣтника, такъ тотъ прямо мнѣ сознался: «Вообще я въ нечистую силу не вѣрю; но ежели обстоятельства ея благопріятствуютъ, то не токмо самъ вѣрю, но и другимъ совѣтую».

«Однажды имѣлъ онъ тяжебное дѣло съ сосѣдомъ въ сенатѣ и ужъ совсѣмъ-было его проигралъ, да вдругъ узналъ, что оберъ-секретарь тамошній въ чертей вѣритъ. Вотъ и пустилъ онъ слухъ, будто бы въ Кіевѣ, на Лысой горѣ, онъ однажды съ вѣдьмой пошабашилъ. Дошло это до оберъ-секретаря—пожелалъ объясниться лично.

«— Правда ли, говоритъ, что вы живую вѣдьму видѣли?

«— Истинная, ваше превосходительство, правда.

«— Разскажите.

«Ну, статскій совѣтникъ — во всѣхъ подрооностяхъ. И какъ, и чтò. А оберъ-секретарь слушаетъ да только поясницей вздрагиваетъ: хоть бы глазкомъ, молъ, взглянуть!

«И что-жъ бы вы думали! черезъ недѣлю рѣшеніе состоялось: отдать землю въ вѣчную собственность статскому совѣтнику. А земли-то, никакъ, пятьсотъ десятинъ было».

«Я и самъ, признаться, однажды въ этомъ родѣ фортель въ ходъ пустилъ.

«Отличился я въ ту пору подъ Севастополемъ — вотъ насъ, героевъ, штукъ двадцать отобрали, привезли въ Петербургъ да Кокореву и препоручили. Онъ насъ днемъ по гуляньямъ водилъ, а ночью — чествовалъ. Привезетъ, бывало, въ Павловскъ и водитъ по музыкѣ: «герои!» А публика смотритъ и повторяетъ: «герои!» Бабы въ нашу честь дѣлали пикники, ученыя собранія устраивали: «герои пріѣдутъ!» А нѣкоторыя дамы изъ важныхъ даже поодиночкѣ къ себѣ зазывали: «такая-то тайная совѣтница проситъ героя NN пожаловать». Словомъ сказать, многіе изъ насъ при деньгахъ въ полкъ возвратились.

«И меня на одномъ балу старушка-графиня намѣтила:

«Сядьте, говоритъ, герой, возлѣ меня — вотъ такъ». Сѣлъ. «Разскажите, говоритъ, какъ вы Севастополь брали?»—Не брали, ваше сіятельство, а отстаивали.—«Это все равно. А впрочемъ, что-жъ объ этомъ на балу разговаривать: лучше вы мнѣ часокъ-другой на свободѣ посвятите. Да вотъ что: завтра я въ двѣнадцать часовъ утромъ дома буду, а мужъ въ свое учрежденіе уѣдетъ—милости просимъ, герой!»

«Гляжу я на нее: мѣста живого нѣтъ! приспособиться не къ чему! А съ другой стороны — графиня, и мужъ въ учрежденіи служитъ: какъ тутъ отказать?

«На утро, ни живъ, ни мертвъ, а иду. Хуже чѣмъ въ сраженіе; потому въ сраженіе тебя посылаютъ, а тутъ — самъ иди! Являюсь, а она, прахъ ее побери, на кушеткѣ лежитъ. Стукнулъ шпорами.

«— Приблизьтесь, говоритъ, герой!

«И вдругъ меня словно освѣтило.

«— Ваше сіятельство,—говорю:—вѣдь я лѣшій-съ!

«Какъ она взвизгнетъ!—Корнило! Прохоръ! Антипка! гоните его!

«И гнали они меня по Литейной, отъ пушечнаго двора вплоть до самаго Невскаго. Гонятъ и приговариваютъ: «герой!»

«А народъ шапки снимаетъ».

— — —

«А въ другой разъ со мной и въ противномъ смыслѣ случай произошелъ.

«Стояли мы однажды въ Полтавской губерніи: я тогда только-что въ корнеты произведенъ былъ. Кровь такъ ходуномъ, бывало, и ходитъ, а смѣлости нѣтъ. Еще казачку простую, куда ни шло, ущипнешь, а чуть мало-мальски пáни или пáнночка — стоишь передъ ней какъ дуракъ да глаза таращишь.

«Между тѣмъ у помѣщика, у пана Холявы, жена была— краля писанная. И видѣлъ я, что я ей по нраву пришелся. Каждый день, бывало, посланца за мной шлетъ. Приду — сейчасъ возлѣ себя посадитъ.

«— Любитъ панъ корнетъ галушки?

«— Люблю, сударыня.

«— Мóже панъ корнетъ и смоквы любитъ?

«— И смоквы, сударыня, люблю.

«Подадутъ и галушки и смоквы — я и то и другое въ одну минуту съѣмъ. А она смотритъ на меня и думаетъ: «сейчасъ онъ поѣстъ и декларацію сдѣлаетъ!» Не тутъ-то

было. Я какъ поѣмъ, такъ еще пуще робѣю. Посидимъ-посидимъ, до того насидимся, что она ужъ спиртъ нюхать начнетъ.

«— Однако,—скажетъ:—глупый же вы, корнетъ!

«Не понимаю даже, какъ я ей не опротивѣлъ. Полагаю, что она больше изъ любопытства упорствовала. Видитъ, что дубину обрящила, и думаетъ: что̀ изъ этого выйдетъ?

«Вотъ однажды, когда я наѣлся галушекъ, она меня и спрашиваетъ:

«— А что̀, панъ корнетъ: вы боитесь русалокъ?

«— Боюсь, говорю.

«— Вотъ такъ ахвицеръ!

«— То-есть, я говорю, настоящихъ русалокъ боюсь, а ежели которыя...

«— Молчите! и слушать больше не хочу! Вотъ что̀ выдумалъ... какихъ-то *ненастоящихъ* русалокъ! Такъ вотъ что̀ вы сдѣлайте: вонъ тамъ въ пруду, въ камышахъ, каждое утро на зорькѣ русалка купается... «настоящая» русалка... слышите?

«Ушелъ. Цѣлую ночь глазъ не смыкалъ, дождался зорьки — и маршъ на прудъ. Купаюсь, плаваю... вдругъ слышу: въ камышахъ зашелестѣло.

«— Кто тамъ?

«— Я, русалка...

Приди въ чертогъ ко мнѣ златой,
Приди, о князь мой дорогой!

«Тутъ ужъ и робость съ меня соскочила. Какъ бѣшеный ринулся я въ камыши и въ одну минуту выволокъ русалку на берегъ.

«Однако впослѣдствіи никогда ни единымъ словомъ ей не намекнулъ, что русалка «ненастоящая» была. Сидишь, бывало, сосешь леденцы и скажешь:

«— А какъ вы полагаете, пани, придетъ завтра на зорькѣ русалка купаться?

«— А когда же она не приходитъ?!

«Съ мѣсяцъ мы такимъ родомъ купались. Она—русалка; я—князь. Но что̀ было бы послѣ, когда прудъ замерзъ — сказать не умѣю. Вѣроятно, мы какъ-нибудь устроились бы по-сухопутному.

«Но черезъ мѣсяцъ насъ угнали въ Костромскую губернію—вотъ куда!»

«Но бываютъ и настоящія русалки. У насъ въ полку еще одинъ майоръ былъ, такъ тотъ разсказывалъ, что онъ цѣлый годъ въ водяномъ дворцѣ съ русалками прожилъ. И женили его тамъ. Главная русалка на тронѣ съ нимъ сидѣла, а прочія—прислуживали. А кормили его рыбой да раками. Сначала въ охотку было, а потомъ опротивѣло.

«И сколько ему хлопотъ это происшествіе надѣлало! Аблаката нанималъ, чтобъ бракъ-то этотъ недѣйствительнымъ признать!

«Ну, я, бывало, слушаю эти разсказы и думаю про себя: знаемъ мы этихъ «настоящихъ» русалокъ!

«А можетъ-быть, впрочемъ, онъ и съ «настоящей» русалкой жилъ. Потому что на свѣтѣ все такъ: здѣсь настоящее, а рядомъ—ненастоящее... какъ тутъ отличить? Ежели по рыбьему хвосту заключать, такъ и тутъ всяко бываетъ; иная и безъ хвоста, а въ лучшемъ видѣ русалка!»

«У насъ къ одному полковому командиру цѣлый мѣсяцъ каждый день нечистая сила въ образѣ блудницы являлась. Только-что, бывало, отпуститъ вечеромъ вѣстового, а она тутъ какъ тутъ. Головою киваетъ, плечами поматываетъ, бедрами потрясаетъ... И что̀ же потомъ оказалось?—что это тетка юнкера Растопырьева за племянника ходатайствовать приходила! А полковникъ между тѣмъ думалъ, что она чертовка,—и пальцемъ не прикоснулся къ ней!

«А въ это же самое время къ поручику Клятвину настоящая чертовка ходила, но онъ передъ ней не сробѣлъ.

«Какъ это объяснить?

«Поникъ у насъ въ полку былъ — молоденькій! — такъ тотъ, бывало, отъ объясненій уклонялся. Обступятъ его юнкера молодые и начнутъ допрашивать:

«— Вы, батюшка, какъ насчетъ кикиморъ полагаете: постныя онѣ или скоромныя?

«А онъ только застыдится и пробормочетъ:

«— Увольте меня, господа!

«Однако, когда съ полковникомъ это происшествіе случилось, и онъ долженъ былъ сознаться, что на свѣтѣ есть много такого, чего разумъ человѣческій постигнуть не въ состояніи. Иной всего только въ кадетскомъ корпусѣ воспитаніе получилъ, а потомъ, смотришь, изъ него министръ вышелъ—какъ это объяснить?

«Лежишь иногда ночью въ кровати—вдругъ шорохъ! или

идешь по лѣсу — хохотъ! съ ружьемъ по болоту пробираешься—лязгъ! Кто? что? какъ? почему?

«А главное: сейчасъ видишь и слышишь, а сейчасъ — нѣтъ ничего...

«Однажды со мной такой случай былъ: только-что успѣлъ я со станціи выѣхать, какъ откуда ни возьмись цѣлое стадо статскихъ совѣтниковъ за нами погналось. Съ кокардами, при шпагахъ, какъ есть по формѣ. Насилу отъ нихъ уѣхали. А ямщикъ говоритъ, что это было стадо быковъ. Кто изъ насъ правъ? кто неправъ? По-моему, оба правы. Я правъ— потому что видѣлъ статскихъ совѣтниковъ въ то время, когда они статскими совѣтниками были, а ямщикъ правъ— потому что видѣлъ ихъ уже въ то время, когда они въ быковъ оборотились.

«Вообще превращенія эти какъ-то вдругъ совершаются. Въ Москвѣ мнѣ одного купца показывали: днемъ онъ купецъ, скобянымъ товаромъ торгуетъ, а ночью въ видѣ цѣпной собаки собственную лавку стережетъ. А на утро—опять купецъ. Какъ сподручнѣе, такъ и орудуетъ».

«Встрѣтился я однажды на станціи съ майоромъ. Какъ есть, натуральный майоръ и съ бантомъ въ петлицѣ. Разговорились. То да сё.

«— Въ какомъ дѣлѣ изволили бантъ получить?

«— Подъ Остроленкой.

«— Такъ-съ. И жаркое дѣло было?

«— Должно-быть, жаркое. А впрочемъ, былъ ли я тамъ — хоть убейте, не помню!

«Такъ вотъ какъ иногда бываетъ. И банты получаемъ, а за что—не знаемъ. Какъ это объяснить?

«А другой случай такой былъ. Служилъ у насъ въ полку ротмистръ Коробейниковъ и заказалъ онъ себѣ новыя рейтузы. Только надѣлъ онъ эти рейтузы — и вдругъ сдѣлался невидимъ. Рейтузы и сидятъ, и стоятъ, и ходятъ, а Коробейникова нѣтъ какъ нѣтъ. И, главное, онъ самъ нѣкоторое время объ этомъ не зналъ. Сидимъ мы однажды въ офицерской сборной и вдругъ видимъ: порожнія рейтузы идутъ! Можете себѣ представить общій испугъ!

«Теперь сообразите-ка: у одного рейтузы волшебныя, у другого — ментикъ, у третьяго — колетъ... весь полкъ волшебный! Амуниція налицо, а воиновъ нѣтъ!»

«Зналъ я одну помѣщицу, которая къ вахмистру на свиданіе ходила, а объ ней говорили, что лѣшій ее по ночамъ въ лѣсъ уноситъ. А про другую помѣщицу говорили, что она къ вахмистру бѣгаетъ, а на самомъ-то дѣлѣ ее лѣшій въ лѣсъ уносилъ. И сдѣлалась она по времени какъ щепка худая, глаза большущіе, въ лицѣ ни кровинки, а губы красныя-раскрасныя. Чрезъ девять мѣсяцевъ она лѣшонка принесла... да кудрявый какой!

«Вотъ какъ наружность иногда бываетъ обманчива!

«Поэтому я и не разсуждаю. Что̀ знаю — того не скрываю, а чего не знаю, объ томъ такъ и говорю: не знаю.

«И всегда вспоминаю при этомъ слова мудраго статскаго совѣтника: «коли время стоитъ для чертей благопріятное— значитъ, хоть вѣрь, хоть не вѣрь, а все-таки говори: есть!» А когда же оно у насъ, позвольте спросить, неблагопріятно?»

«Жили-были двѣ дѣвушки-сиротки и все говорили: — не вѣримъ да не вѣримъ! — А одинъ коллежскій совѣтникъ, изъ добровольцевъ, ихъ и подслушалъ: — Чему, сударыня, не вѣрите?

«Туда-сюда. Оказалось на повѣрку, что онѣ и сами досконально не знаютъ, чему вѣрятъ, чему не вѣрятъ. Стоятъ передъ своимъ судіей да только ножками сучатъ. А онъ и судья-то не настоящій былъ, такъ, со стороны какой-то взялся. И, несмотря на это, не только ихъ проэкзаменовалъ, да еще къ бабушкѣ въ деревню подъ надзоръ отправилъ.

«Много нынче черезъ это самое молодыхъ людей пропадаетъ. Сначала въ одно не вѣрятъ, потомъ въ другое, а наконецъ и въ третье. Иной бы впослѣдствіи и радъ повѣрить, да нѣтъ, братъ, шалишь! Близокъ локоть, да не укусишь. И вотъ какъ дойдутъ они до предѣла — ихъ и поманятъ:—извольте объяснить, въ какой силѣ и почему?— А какъ необъяснимое объяснить!

«Я самъ въ молодыхъ лѣтахъ однажды этого духа набрался. Пришелъ, какъ смерклось, на кладбище да и гаркнулъ: не вѣрю! А тутъ подъ плитой статскій совѣтникъ Шешковскій лежалъ: — извольте, говоритъ, повторить! — И вдругъ-это всѣ могилы зашевелились—лѣзутъ на меня отовсюду, да и шабашъ! У кого кабанья голова, у кого—конёвья... Волки, медвѣди, ехидны, змѣи.

«И что̀ же потомъ оказалось? — что при блаженной па-

мяти императрицѣ Екатеринѣ II чиновниковъ тайной канцеляріи на этомъ кладбищѣ хоронили! Они меня и подсидѣли».

—

«Нынче съ самаго малаго возраста ужъ всѣмъ наукамъ учатъ. Клопъ, отъ земли не видать,—а его съ утра до вечера пичкаютъ. Въ наукѣ тоже, чай, всякія слова бываютъ; иное надо бы и пропустить, а у насъ не разбираютъ: всѣ слова сподрядъ учи! Точно въ Ростовѣ каплунамъ насильно въ зобъ кашу пальцемъ проталкиваютъ. Ну, мальчёнко долбитъ-долбитъ да и закричитъ:—не вѣрю!

«А по-моему настоящая наука только одна: сиди у моря и жди погоды. Вывезетъ—хорошо; не вывезетъ—дожидайся случая. А между прочимъ поглядывай. Какова пора ни мѣра — не упускай, а упустилъ — старайся быть впередъ проворнѣе. Но паче всего помни, что жизни сей обстоятельства не нами устраиваются, а намъ надлежитъ только глядѣть въ оба.

«По наружности наука эта не трудная: ни азовъ, ни латыни, ни ариѳметики. Однако ни въ какой другой наукѣ не случается столько эпизодовъ, какъ въ этой. Всю жизнь въ ней экзаменъ держать предстоитъ, а экзаминатора впередъ угадать нельзя. Сегодня ты къ одному экзаминатору приспособился, а завтра этотъ экзаминаторъ самъ въ экзаменуемые попалъ. Вотъ какова сей жизни превратность.

«И первое въ этой наукѣ правило—во все вѣрить. Спросятъ тебя: «Въ настоящихъ русалокъ вѣришь?»—Вѣрю.—«А въ ненастоящихъ русалокъ вѣришь?» — Вѣрю. — «Ну, живи!...»

«Я самъ всегда этихъ правилъ въ жизни держался — оттого двадцатый годъ въ майорскомъ чинѣ состою. И буду ли когда-нибудь подполковникомъ—неизвѣстно».

— —

«Прожилъ, господа, я свою жизнь: шестой десятокъ заканчиваю. Молодость—почти совсѣмъ позабылъ, середку—тоже, а вотъ это помню: что и въ началѣ, и въ середкѣ—всегда пуншъ пилъ. Давно что-то я его пью. День между пальцевъ проскочитъ, а вечеромъ — пуншъ: съ нимъ и спать ляжешь. Вся жизнь тутъ. Былъ и подъ венгерцемъ, и въ Севастополѣ, и на поляка ходилъ, а что̀ осталось — спросите!

«Лѣтъ десятокъ тому назадъ собралось насъ въ полку пять человѣкъ добрыхъ товарищей; все однолѣтки и все

майоры. Соберемся, бывало, и пуншъ пьемъ. Пить-то пьемъ, а разговору у насъ нѣтъ. Зеведемъ разговоръ—смотришь, сейчасъ ему и конецъ. И я съ вѣдьмой шабашилъ, и другой съ вѣдьмой шабашилъ; и я съ русалкой купался, и третій съ русалкой купался. У всѣхъ—одно. Однажды вздумали про сотвореніе міра говорить, такъ и то у всѣхъ одно и то же выходитъ. А пѣсни пѣть совѣстно. Скажутъ: захмелѣли майоры.

«Пріѣдешь, бывало, къ помѣщику въ гости—сейчасъ-это въ садъ поведутъ. Показываютъ, водятъ. «Вотъ это—аллея, а это—прудъ». А ты только объ одномъ думаешь: скоро ли водку подадутъ.

«— Нравится вамъ?

«— Помилуйте!

«— Такъ не угодно ли въ поле, пшеничку посмотрѣть?

«— Съ удовольствіемъ!

«Или въ клубъ на танцовальный вечеръ тебя нелегкая занесетъ. Сядешь въ уголъ, а тутъ къ тебѣ предводительша подлетитъ.

«— Извольте, майоръ, кадриль со мной танцовать.

«— Съ удовольствіемъ-съ.

«— Нравятся вамъ наши балы?

«— Помилуйте!

«— На будущей недѣлѣ я пикникъ въ пользу бѣдныхъ устраиваю—пріѣдете?

«— За честь сочту-съ.

«Полковой командиръ у насъ женился, молодую жену привезъ. Натурально, обѣдъ. И меня, какъ сейчасъ помню, по правую руку около жены посадилъ.

«— Вамъ не скучно подлѣ меня сидѣть?

«— Помилуйте-съ!

«— А ежели не скучно, будемте разговаривать.

«— Съ удовольствіемъ-съ.

«Ни въ мужскомъ, ни въ женскомъ обществѣ—нигдѣ разговору нѣтъ. Познакомишься, бывало, съ дамочкой, подведутъ тебя къ ней, словно на трензеляхъ:

«— Вы, майоръ, женское общество любите?

«— Помилуйте, сударыня!

«— Въ такомъ случаѣ приходите почаще.

«— За честь почту-съ.

«Сядешь и молчишь. Вотъ она посидитъ-посидитъ, видитъ, что малому-то не до разговоровъ, и молвитъ:

«— Приходите сегодня вечеромъ вонъ въ ту бесѣдку...

«Тутъ словно какъ и оживишься... го-го-го!

«Скука. И самому скука и другимъ смерть. Придешь домой, а тамъ ужъ полну комнату скуки наползло. Попробуешь думать—черезъ четверть часа готовъ: всѣ думы передумалъ... Пуншу!

«Съ самой ранней молодости мы разгулъ за веселье, а ёрничество за любовь принимали, да такъ спозаранку и одичали. Изъ всѣхъ этихъ свѣтскихъ манеръ только и знали, что шпорами, бывало, щелкнешь.

«Отъ этого я никогда объ женитьбѣ серьезно не думалъ. Начнешь, бывало, умомъ раскидывать: что̀ бы мнѣ больше всего въ женѣ нравилось?—и непремѣнно что-нибудь ординарное надумаешь. Такъ вѣдь для ординарнаго немного нужно: вышелъ за ворота и свистнулъ. А чтобы обстановочка какая-нибудь, чтобы, напримѣръ, постелька какъ слѣдуетъ, занавѣсочка, столъ, самоварчикъ, чай, кофе—«хорошо ли ты, мой другъ, почивалъ?» — этого и въ воображеніи не было. Растянешься на диванѣ, какъ одеръ, подъ головой замасленная кожаная подушка—и дрыхнешь. А въ передней, на голой доскѣ, денщикъ во снѣ стонетъ. Встанешь — и умываться не хочется. Чай денщикъ подастъ:—Чортъ тебя знаетъ, скотина, чего ты въ чай мѣшаешь!

«И все-таки скажу: лучше въ нашемъ званіи такъ прожить, нежели на семейную жизнь соблазниться. Иной не воздержится, женится—и что̀ же выйдетъ? Дѣвочка-то, какъ замужъ выходила, ровно огурчикъ была, а черезъ два-три мѣсяца, смотришь, она ужъ въ какихъ-то кацавейкахъ офицеровъ принимаетъ: опустилась, обвисла, трубку куритъ, верхомъ на стулъ садится. Халда халдой».

«Въ послѣднее время начали при полкахъ исправныя библіотеки содержать. Это бы хорошо, да какъ себя, на старости лѣтъ, принудишь читать? Возьмешь газету—вездѣ словно концы разсказываютъ, а начала не знаешь. Воспитаніе-то я «домашнее» получилъ, а потомъ—прямо въ полкъ. Такъ даже стиховъ никакихъ не знаю. Помню, что подъ венгерца ходилъ, поляка два раза усмиряли, съ туркой за ключи воевали, и французъ съ англичаниномъ помогали ему... Помню, потому что самъ тамъ былъ, а что̀ и ка̀къ—спросить не догадался. Начальство приказывало—вотъ и все. Поэтому, какъ стали насильно заставлять газеты читать, все и ищешь: гдѣ же начало?

«Въ то время, какъ насъ пять майоровъ въ полку было, досталъ одинъ майоръ исторію Карамзина:—Давайте, братцы, читать!—Какъ дошли мы до Святополка Окаяннаго, такъ оно на меня подѣйствовало, что я, и во снѣ и наяву, все, бывало, Святополка Окаяннаго вижу. Кого ни встрѣчу, офицера, помѣщика, солдата—всѣмъ про него разсказываю. А черезъ недѣлю меня и самого стали Святополкомъ Окаяннымъ честить. На этомъ и пошабашилъ.

«Стоялъ я, еще въ чинѣ ротмистра, въ Орловской губерніи, въ деревнѣ у одного помѣщика. Богатый былъ, молодой и холостой. Вотъ и повадился я къ нему ходить. Хожу и все спрашиваю: — Отчего это мнѣ жить очень скучно?

«— Водку, говоритъ, пьете?

«— Пью.

«— Клопштосы на бильярдѣ умѣете дѣлать?

«— Умѣю.

«— А географію знаете?

«— Н-н-нетвердо.

«— Вотъ то-то и есть.

«И началъ онъ меня коротѐнько всякимъ наукамъ учить. Сегодня — одну науку разскажетъ, завтра—другую. А я приду въ полкъ да вахмистру пересказываю... И что̀ же потомъ оказалось? Что все-то онъ мнѣ въ насмѣшку разсказывалъ!»

«Вы, господа, не смѣйтесь: охота-то, значитъ, во мнѣ была, да не ко двору пришлась. Былъ у насъ юнкеръ въ полку, служилъ исправно и вдругъ тосковать началъ. Тосковалъ-тосковалъ да и ушелъ въ университетъ. Отецъ узналъ, да арапникомъ—и опять въ полкъ. А онъ опять въ университетъ. Да до трехъ разъ. Такъ и бросили.

«И что̀ же вышло? Я какъ тогда былъ майоръ, такъ и теперь майоръ, а онъ, съ годъ тому, въ генеральскомъ чинѣ, инспекторскій смотръ полку дѣлалъ. Изъ университета-то, изволите видѣть, опять въ юнкера поступилъ да въ академію, а оттуда и пошелъ, и пошелъ...

«Однако же на смотру узналъ меня.

«— Вы ли, майоръ?

«— Онъ самый-съ.

«Потужилъ, покачалъ головой, поцѣловалъ и уѣхалъ. Я, признаться, понадѣялся, не произведутъ ли въ подполковники—да гдѣ ужъ!

«При моей охотѣ да кабы въ университетъ... Можетъ-быть, и я бы теперь генераломъ былъ».

«Служилъ я всегда исправно и часть свою въ порядкѣ содержалъ. Только два раза въ теченіе всего времени взысканіямъ подвергался.

«Въ первый разъ — на абвахтѣ сидѣлъ. Купался я однажды съ русалкой, а какой-то озорникъ взялъ да амуницію мою въ кусты спряталъ. Я, было, задворками да перелѣсочкомъ на квартиру — анъ навстрѣчу стадо. Какъ увидѣли коровы — словно взбѣленились. Словомъ сказать, вышелъ скандалъ.

«Въ другой разъ — изъ трактира ночью шли. Идемъ и видимъ, что извозчики, прикурнувши на дрожкахъ, спятъ. «Разнуздаемте, господа, лошадей!» Разнуздали; отошли подальше, кричимъ: «извозчикъ!» Можете себѣ представить картину! Вожжами дергаютъ, кнутомъ хлещутъ, лошади несутся какъ бѣшеныя... Однако съ однимъ извозчикомъ обошлось неблагополучно. На другое утро—къ полковнику. «Стыдитесь, корнетъ!»

Въ старину такіе поступки «шалостями молодыхъ людей» назывались. Окна въ трактирѣ перебить, будочника съ ума сбести, купцу бороду спалить, при встрѣчѣ съ духовнымъ лицомъ загоготать—вотъ какія тогда удовольствія были. Однажды квартальный къ полицеймейстеру съ рапортомъ шелъ, такъ ему въ заднюю фалдочку кусокъ лимбургскаго сыру положили, а полицеймейстеръ за это свиньей его назвалъ.

«Признаться сказать, теперь я и самъ удивляюсь, какія же это удовольствія!»

«А подъ конецъ разскажу вамъ самое любопытное: какъ я одинъ разъ конституціи требовалъ.

«Было это въ то время, когда насъ, послѣ севастопольской кампаніи, въ видѣ героевъ, господину Кокореву препоручили. Тогда по всей Россіи восторгъ былъ. Во-первыхъ, война кончилась, а во-вторыхъ, мягкость какая-то вездѣ разлилась. Курить на улицахъ было дозволено, усы, бороды носить. Съ этого началось. А главное, не возбранялось ни ходить, ни сидѣть, ни смѣяться, ни плакать. Хочу—хожу, хочу—сижу; хочу—молчу, а надоѣло молчать—возьму да и поговорю. И никакого вреда отъ этого не было—ей Богу! словомъ сказать, такой неожиданный моментъ выдался, когда всѣ только удовольствіе испытывали.

«Разумѣется, не обходилось и безъ фанаберій. Одни говорили: нужно, чтобъ у мужика каждый день добрая чарка водки была; но были и такіе, которые прибавляли: а для прочихъ чтобы конституція. Однако ни тѣхъ, ни другихъ не тревожили, а только на замѣчаніе брали.

«Мы, герои, вели себя очень скромно. И въ Эрмитажѣ побывали, и въ кунсткамерѣ, и въ Исаакіевскомъ скверѣ— тихо, благородно. Конечно, вечеркомъ попозднѣе, подъ руководствомъ Василья Александровича, изрядно-таки накачивались, но по большей части насъ увозили для этого въ Ушаки *). Отзвонимъ сутокъ двое да и опять въ Петербургъ свѣтленькіе воротимся.

«Вотъ однажды благодушествуемъ мы такимъ образомъ въ Ушакахъ и налакались-таки до предѣловъ. И началъ нашъ любезный хозяинъ объяснять: для чего, когда поѣздъ на станцію приходитъ, рабочіе подъ вагонами лазаютъ да объ колеса и шины постукиваютъ? — Для того, говоритъ, чтобы знать, все ли исправно, и нѣтъ ли гдѣ изъяна. А подобно сему, говоритъ, на будущее время и въ государственныхъ дѣлахъ поступать надлежитъ. На удалую-то не скакать, а сначала постучать; а ежели окажется трещина или раковина, то заплаточку положить, а потомъ ужъ ѣхать.

«Что̀ же, стучать такъ стучать. Начали мы стучать, и что̀ дальше, то̀ больше. Одни говорятъ: на первый разъ достаточно чарки добраго вина; другіе говорятъ: этого мало, нужно конституцію... А въ томъ числѣ и я.

«Только находился промежъ насъ одинъ мужчина. Притворился онъ, будто лыка не вяжетъ, а самъ подъ-шефѐ настоящимъ образомъ не былъ. Образина, можно прямо сказать, беззаконная. Глаза — въ раскосъ, ротъ — на сторону; одна щека опухла, другая—словно сейчасъ изъ-подъ утюга. Но такъ было тогда всѣмъ хорошо, что мы даже передъ этими явными признаками не остереглись.

«Разумѣется, я проспался и на другой же день все перезабылъ. И вдругъ, на третій день—къ генералу требуютъ.

«— Знаете вы, что̀ такое конституція?

«— Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство.

«— Почему же вы такъ ея желаете?

---

*) Ушаки—имѣніе, принадлежавшее въ концѣ пятидесятыхъ годовъ г. Кокореву. Послѣдняя станція отъ Петербурга передъ Любанью.

«— Не могу знать, ваше превосходительство.

«— Не можете знать... гм!.. Однако-жъ припомните-ка... въ Ушакахъ?..

«— Виноватъ, ваше превосходительство.

«— То-то вотъ и есть. Значенія слова не знаете, а злоупотребляете имъ. Забудьте объ этомъ, мой другъ! Это васъ врагъ рода человѣческаго смутилъ!

«Съ этимъ и отпустилъ... это тотъ самый генералъ, который прежде безъ серьезнаго слова минуты обойтись не могъ, а теперь... «мой другъ»! Вотъ время какое волшебное было!

«Разумѣется, я на извозчика и домой. А дня черезъ три послѣ этого насъ, героевъ, по полкамъ водворили».

Вечеръ второй.

Audiatur et altera pars.

Не разъ случалось мнѣ слышать отъ людей благорасположенныхъ: зачѣмъ вы все изнанку да изнанку изображаете? вѣдь это и для начальства непріятно, да и по существу неправильно. Вы думаете, сладко начальству слышать: ты чего смотришь? ты зачѣмъ допускаешь? Какъ будто бы оно можетъ за чѣмъ-нибудь не усмотрѣть и чего-нибудь не допустить!? А съ другой стороны, развѣ естественно, чтобы на свѣтѣ были одни мздоимцы, да прелюбодѣи, да предатели? Вѣдь мы давно бы изгибли всѣ до единаго, если-бъ это было такъ! А вы попробуйте-ка взглянуть наоборотъ — можетъ-быть, и другое что-нибудь выйдетъ? Ну-те-ка, съ Богомъ... а?

Долго я не понималъ, въ чемъ заключается суть этихъ благожеланій, и потому не обращалъ на нихъ вниманія. Съ легкомысліемъ, достойнымъ лучшей участи, я указывалъ на мздоимство Фейера, хищничество Дерунова и Разуваева, любострастіе майора Прыща, безсмысленное злопыхательство Угрюмъ-Бурчеева и проч., и, сознаюсь откровенно, почти никогда не приходило мнѣ на мысль, что рядомъ съ Фейерами, Прыщами и Угрюмъ-Бурчеевыми существуютъ Правдины, Добросердовы и Здравомысловы. Не потому не приходило, чтобъ я игнорировалъ или презиралъ этихъ людей, но потому, что мнѣ всегда казалось, что они и сами на себя смотрятъ какъ-то сомнительно. Какъ будто не знаютъ, дѣйствительно ли они люди, а не

призраки. Говорить начнутъ—словно ихъ тошнитъ; къ дѣлу приступятся — словно веревки во снѣ вьютъ. Но въ особенности меня ставило втупикъ ихъ робкое отношеніе къ населяющимъ землю Простаковымъ и Скотининымъ,—отношеніе, не выразившееся не только ни однимъ горячимъ поступкомъ, но и ни однимъ искреннимъ словомъ. Вѣдь эти Правдины, говорилъ я себѣ, не какіе-нибудь обдѣленные, которымъ протесты не такъ-то легко сходятъ съ рукъ, а такіе же сильные міра, какъ и Скотинины. Какимъ же образомъ они могутъ смотрѣть на всевозможныя безчинства и даже злодѣйства необузданныхъ дикарей, и ограничиваются только тѣмъ, что пробормочутъ *въ сторону* номенклатуру происходящихъ передъ ихъ глазами гнусностей? Какъ хотите, а это неестественно. Поэтому мнѣ казались сомнительными и самые Правдины, хотя я и зналъ, что они не только существуютъ, но и пользуются особливымъ отъ начальства довѣріемъ. Они *никого не трогаютъ*—вотъ ихъ главное право на почетную роль въ обществѣ и въ то же время ихъ жизненный девизъ. Они добродѣтельны, правдивы и здравомысленны—*для себя*; другимъ же отъ такихъ похвальныхъ качествъ—ни тепло, ни холодно. И бродятъ они по свѣту, получая присвоенные *никого не трогающимъ* людямъ чины и ордена.

Все это я, впрочемъ, только объясняю, а отнюдь не оправдываюсь. Напротивъ того, въ послѣднее время я вполнѣ убѣдился, что разсуждалъ легкомысленно и совершенно понапрасну утруждалъ и огорчалъ начальство. Одно могу сказать себѣ въ утѣшеніе: огорчать начальство никогда не было въ моихъ правилахъ, и я никогда не дѣлалъ этого преднамѣренно. Въ наивности души своей я думалъ, что содѣйствую, а на повѣрку оказалось, что я противодѣйствовалъ. Нужно было устроить такъ, чтобы Правдинъ побѣдилъ Скотинина, а я о Правдинѣ-то позабылъ, вслѣдствіе чего Скотининъ такъ и остался непобѣжденнымъ.

Теперь я рѣшился и самъ исправиться, и все мною написанное исправить. Къ счастію, разбираясь въ обширномъ матеріалѣ, накопленномъ моею памятью, я вижу, что это не составитъ для меня даже особеннаго труда. Въ этомъ матеріалѣ я нахожу такое количество драгоцѣннѣйшихъ фактовъ и отраднѣйшихъ образовъ, что съ моей стороны было бы даже непростительнымъ грѣхомъ, если бы я не познакомилъ съ ними моихъ читателей.

Начну съ городничихъ.

Городничіе-безсребренники.

Былъ одинъ городничій, который совсѣмъ взятокъ не бралъ, такъ что долгое время всѣ обыватели въ недоумѣніи были. Думали, что онъ нарочно сдерживается, чтобы впослѣдствіи учинить генеральный походъ. Но когда прошло довольно времени, и похода не было, то дивились. «Какъ это—думалось всѣмъ—онъ насъ не грабитъ? и какъ онъ на свое жалованьишко съ семьей живетъ?» Жалованье же въ то время городничему полагалось чуть не семьсотъ на ассигнаціи, да и семейство при этомъ не возбранялось имѣть. А у этого самаго городничаго, кромѣ жены и охапки дѣтей, еще двѣ своячинницы жили, да теща, да племянникъ-дурачокъ. Всѣхъ надо было накормить, напоить, обуть и одѣть. И онъ все это исполнялъ аккуратно, и даже пріятелей отъ времени до времени хлѣбомъ-солью угощалъ.

— Кузьма Петровичъ! да какъ же ты изворачиваешься? взятокъ ты не берешь, а между тѣмъ всего у тебя въ изобиліи?—спрашивали его прочіе чины, которые хотя тоже взятокъ не брали, однако и не отказывались.

Но онъ долгое время уклонялся отъ объясненій и только загадочно отвѣчалъ:

— Слово у меня такое есть!

Наконецъ однако-жъ пристали къ нему такъ, что онъ рѣшился открыть свой секретъ.

— Когда меня на должность опредѣлили,—сказалъ онъ:— я на первыхъ порахъ чуть рукъ на себя не наложилъ. Жалованьишко малое, семья большая — какъ тутъ жить? Теща говоритъ: «надобно, Кузьма Петровичъ, взятки брать!» а я въ отвѣтъ: «неблагородно!» Жена плачетъ: «самъ ты посуди, какъ безъ взятокъ семью прокормить!» — а я въ отвѣтъ: «покажи законъ, коимъ дозволяется взятки брать!» Словомъ сказать, уперся на своемъ, слышать ничего не хочу... Однако взятки не взятки, а пить-ѣсть надобно. Вотъ взмолился я ангелу своему: Кузьма безсребренникъ, угодникъ Божій! научи, какъ мнѣ быть! Молюсь день, молюсь ночь — нѣтъ ничего. Молюсь еще день, еще ночь — опять нѣтъ ничего. На третью ночь чувствую, словно бы вѣтромъ на меня пахнуло — и вдругъ кто-то мнѣ въ ухо «слово» шепнулъ... Съ тѣхъ поръ я и поправился. Балыка на закуску захочу—сейчасъ: встань передо мной, какъ листъ передъ травой! бакалейщикъ Бородавкинъ! чтобъ былъ ба-

лыкъ!—смотришь, а онъ ужъ и на столѣ. Выйдетъ запасъ чаю, сахару—кликну: встань передо мной, какъ листъ передъ травой! бакалейщикъ Зензивѣевъ! чтобъ былъ чай-сахаръ!—а онъ ужъ и тутъ какъ тутъ! Выйдутъ деньги—закричу: встань передо мной, какъ листъ передъ травой! господинъ откупщикъ! или вы своихъ обязанностей не знаете!—и деньги въ карманѣ! Такъ и живу! Взятокъ не беру, а всего у меня изобильно!

Открытіе это всѣмъ показалось настолько занимательнымъ, что и прочіе чины захотѣли воспользоваться имъ. И съ тѣхъ поръ ни въ городѣ, ни въ уѣздѣ у насъ никто взятокъ не бралъ, а всѣ были сыты, обуты, одѣты, а иногда и пьяны. Обыватели же гордились своими начальниками и говорили: у насъ взятокъ не берутъ! наши начальники «слово» знаютъ!

Одинъ городничій говаривалъ:

— Я одной рукой беру, а другой — отдаю! развѣ это взятка?

— Какъ же это выходитъ у васъ, Христофоръ Иванычъ?—спрашивали его однажды сослуживцы, которые обѣими руками брали и ни одною не отдавали.

— Очень просто,—отвѣтилъ онъ.—Сейчасъ деньги получу и сейчасъ же на нихъ какое-нибудь произведеніе куплю. Стало-быть, что̀ изъ народнаго обращенія выну, то̀ и опять въ народное же обращеніе пущу.

И когда всѣ подивились его мудрости, то прибавилъ:

— То же самое, что̀ казна дѣлаетъ. Съ мужичковъ деньги беретъ да мужичкамъ же ихъ назадъ отдаетъ.

Съ тѣхъ поръ въ городѣ Добромысловѣ никто не говорилъ: «брать взятки», а говорили: «пускать деньги въ народное обращеніе».

Одинъ городничій охотникъ былъ до рыбы. Придетъ на садо̀къ и скажетъ рыбнику:

— Стерлядки у тебя, я слышалъ, Герасимъ, хороши?

— Есть тотъ грѣхъ, вашескородіе.

— Уху соорудить можешь?

— Можно, вашескородіе.

— А вѣдь къ ухѣ-то, пожалуй, и обстановочку пристойную нужно?

— И это въ нашихъ рукахъ, вашескородіе.

— Валяй!

Съѣстъ уху, выпьетъ пристойную обстановку, щелкнетъ языкомъ и уйдетъ.

А Герасимъ ему вдогонку:

— Ангелъ!

Городничій Ухватовъ во всей губерніи славился своимъ безкорыстіемъ.

Однажды вечеромъ пришли къ нему два мѣщанина съ взаимной претензіей.

Нашли они оба разомъ червонецъ. Одинъ говоритъ: «я первый увидѣлъ», другой: «а я первый поднялъ!» И оба требовали, чтобы Ухватовъ ихъ разсудилъ.

Тогда Ухватовъ сказалъ:

— Вотъ что̀, ребята. Положите вы этотъ червонецъ ко мнѣ на божницу. Ежели онъ ночь пролежитъ и цѣлъ останется—значитъ, вы оба правы и должны раздѣлить червонецъ пополамъ; ежели же онъ исчезнетъ, то, значитъ, вы оба неправы, и сама судьба не хочетъ, чтобы кто-нибудь изъ васъ воспользовался находкой.

Такъ и сдѣлали.

Прошла ночь, наступило утро: хвать-похвать—нѣтъ червонца! Рѣшили: такъ какъ червонецъ исчезъ—стало-быть, оба мѣщанина неправы.

Съ тѣхъ поръ и мѣщане и купцы валомъ повалили на судъ къ Ухватову. И онъ всѣ дѣла рѣшалъ по одному образцу. Но этого мало! даже тѣ чины, которые прежде дѣла рѣшали за взятки,— и тѣ перестали мздоимствовать и начали поступать по примѣру Ухватова.

А губернаторъ, узнавши о семъ, говорилъ: — Молодецъ Ухватовъ!

— —

Одинъ городничій тоже славился безкорыстіемъ, а сверхъ того любилъ Богу молиться и ни одной церковной службы не пропускалъ. И Богъ ему за это посылалъ.

Увидѣвши, что городничій взятокъ не беретъ, а между тѣмъ пить-ѣсть ему надобно, обыватели скоро нашли средство, какъ этому дѣлу помочь. Кому до городничаго дѣло есть, тотъ купитъ просвирку, вырѣжетъ на донышкѣ мякишъ да и сунетъ туда по силѣ-возможности: кто золотой, кто ассигнацію. А городничій просвирѣ всегда очень радъ. Начнетъ кушать и вдругъ—ассигнація!

— Домнушка! дѣти! — кликнетъ онъ домочадцевъ: — посмотрите-ка, что̀ намъ Богъ послалъ.

И всѣ радуются.

А однажды такъ въ рыбѣ четыре золотыхъ нашелъ — то-то было радости!

И что-жъ! даже тутъ нашлись завистники. Узналъ стряпчій, что городничій просвиры съ ассигнаціями ѣстъ,— сталъ доносомъ грозить. Но тутъ ужъ обыватели городничаго выручили: начали по двѣ просвирки носить. Одну для городничаго, другую—для стряпчаго. И по двѣ рыбы.

И опять настала въ городѣ тишь да гладь, да Божья благодать.

Одинъ городничій дочь замужъ отдавалъ, а передъ этимъ онъ только-что взятки пересталъ брать. Говорила ему жена: «рано ты, Антонъ Антонычъ, на покой собрался!»—а онъ не послушался. Заладилъ: «будетъ!» — и свадьбу дочери изъ вида упустилъ.

Вотъ, когда дѣло съ женихомъ ужъ сладилось, и надо было приданое готовить, жена и начала къ нему приставать: «говорила я тебѣ, что рано ты на покой собрался!» А черезъ часъ еще: «говорила я тебѣ...» Да такимъ образомъ черезъ часъ по ложкѣ. Долбила да долбила, и до того додолбилась, что опалѣлъ городничій. Самому жалко стало.

И вотъ взмолился онъ: «Просвѣти, Боже, сердца красноряцевъ, бакалейщиковъ, погребщиковъ, мясниковъ и рыбниковъ! И научи ихъ! Дабы не во взятку, но въ приношеніе, и не по принужденію, а отъ сердца полноты!»

И молитва его была тайная, только слышалъ ее квартальный надзиратель.

И что же! не прошло двухъ дней, какъ красноряцы цѣлые вороха матерій городничихѣ нанесли, погребщики— ящики съ винами, бакалейщики—кульки бакалеи всякой, а откупщикъ—тысячу рублей прислалъ!

Сыгралъ городничій свадьбу на славу и вслѣдъ затѣмъ въ отставку вышелъ. «Это, говоритъ, моя лебединая пѣсня была!»

Вскорѣ послѣ этого онъ тутъ же подъ городомъ и имѣньице купилъ, и теперь земскимъ дѣятелемъ по выборамъ служитъ и всѣмъ разсказываетъ, какъ онъ несчастливъ былъ, когда взятки бралъ, и какъ былъ потомъ вознагражденъ, когда пересталъ взятки брать.

— То ли дѣло,—говоритъ:—какъ на совѣсти-то ни пятнышка! Встрѣтишься съ обывателемъ—прямо ему въ глаза смотришь!

Одинъ городничій плавать не умѣлъ, а купаться любилъ. Только пошелъ онъ однажды купаться и началъ тонуть, а мѣщанинъ, стоявшій на берегу, бросился въ воду и вытащилъ его. За это городничій далъ мѣщанину цѣлковый, но онъ отъ награды отказался, только рюмку водки выпилъ.

Прошло послѣ того много лѣтъ; мѣщанинъ проворовался и тоже сталъ тонуть. То-есть не въ рѣкѣ тонуть, а въ купели, называемой уложеніемъ о наказаніяхъ. Городничій же, вспомнивъ его прежнюю заслугу, не только изъ купели его вытащилъ, но и отказался отъ пяти рублей, которые мѣщанинъ хотѣлъ ему подарить изъ украденныхъ денегъ.

— Не надо мнѣ твоихъ денегъ,—сказалъ городничій:— сдѣлайся честнымъ человѣкомъ—вотъ чѣмъ ты меня лучше всего отблагодаришь.

— Рады стараться, вашескородіе!—отвѣчалъ воръ.

Одного городничаго спрашивали:

— Берете вы взятки, Иванъ Парамонычъ?

— Никогда!!

Вотъ цѣлыхъ восемь характеристикъ. Я могъ бы представить и больше, но полагаю, что этого достаточно. Не буду, впрочемъ, преувеличивать. Безспорно, что были и между городничими взяточники (какъ о томъ устныя преданія и до-днесь свидѣтельствуютъ), но не всѣ. Вотъ это-то обыкновенно и упускается изъ виду господами обличителями. Сверхъ того многіе изъ бравшихъ взятки раскаялись, а это тоже необходимо принимать въ разсчетъ для полноты картины. Вообще же, мнѣ кажется, слѣдуетъ принять за правило: описывать только то, что̀ хорошо и благородно. Этого же правила не лишне держаться и въ живописи: съ персонъ, обладающихъ физіономіями чистыми и пріятными—писать портреты, а персонъ, обладающихъ физіономіями нелицепріятными, обезображенными золотухой, оспой, накожными сыпями и проч.—оставлять безъ портретовъ. Такой образъ дѣйствія и начальству удовольствіе доставитъ, и самому описателю дастъ возможность многіе годы прожить благополучно. Какая польза напоминать о взяткахъ и обдираніяхъ, когда взятое давнымъ-давно проѣдено, а ободранное вновь заросло лучше прежняго? А еще того лучше: совсѣмъ ничего не писать. Было

же время, когда ни о чемъ ничего не писали—и всѣ были благополучны. Потомъ наступило время, когда *обо всемъ* и *все* начали писать—и «вотъ къ чему» привели! Такъ не пора ли опять на прежнюю колею вступить—можетъ-быть, и опять мы благополучны будемъ?

Вотъ это-то именно я теперь и понялъ.

— Для чего вы заводите рѣчь о чиновничьихъ добродѣтеляхъ, коли сами сознаёте, что лучше совсѣмъ ничего объ нихъ не писать?—быть-можетъ, спроситъ меня благосклонный читатель.—А для того, отвѣчу я, чтобы исправить мою репутацію. Сначала эту задачу выполню, а потомъ и совсѣмъ брошу. Я знаю, что задача эта не весьма умная, но вѣдь глупыя дѣла бываютъ въ родѣ повѣтрія. Глупые фасоны вышли—вотъ и все. Но ежели глупые фасоны застрянутъ на неопредѣленное время, тогда, разумѣется, придется совсѣмъ бросить и бѣжать, куда глаза глядятъ...

Затѣмъ перехожу къ другимъ чинамъ, о доблестяхъ которыхъ тоже могу поразсказать достаточно.

Въ дореформенное время почти всѣ служебныя должности, и въ администраціи, и по судебному вѣдомству, занимались, въ губерніяхъ и уѣздахъ, по выбору отъ дворянства. Поэтому все было тогда благородно. Крѣпостное право тоже не мало этому споспѣшествовало, такъ какъ, благодаря ему, всякій благородный человѣкъ, въ сущности, былъ и должностнымъ лицомъ. Правилъ насчетъ благородства никакихъ не было, а просто предполагалось, что отъ благородныхъ людей слѣдуетъ ожидать благородныхъ поступковъ. Все остальное дѣлалось само собой, въ силу искони сложившихся обстоятельствъ, и дѣлалось хорошо и прочно. Тишина была и благорастворенiе. Протесты прорывались рѣдко—и оканчивались наказаніями на тѣлѣ; насильственные поступки совершались еще рѣже —и оканчивались отдачею въ солдаты, ссылкой въ Сибирь, каторгой и т. п. Благородные люди не входили другъ съ другомъ въ соглашеніе, и тѣмъ не менѣе гармонія была полная. Не было ни съѣздовъ, ни обмѣна мыслей, ни возбужденія и разрѣшенія вопросовъ, а всякій понималъ свое дѣло столь отлично, какъ будто сейчасъ со съѣзда пріѣхалъ. Каждый дѣйствовалъ за себя лично, но эти личныя дѣйствія сливались въ одномъ согласномъ хорѣ, въ которомъ ни единаго диссонанса не было слышно. Удивительное это было

время, волшебное, и называлось оно *порядкомъ вещей*. Нѣчто въ родѣ громаднаго сосуда, въ которомъ безразлично были намѣшаны и лакомства, и свиное сало, и купоросное масло. Ничего разобрать было нельзя, но именно потому эта смѣсь и была такъ устойчива.

Неудивительно, что волшебныя эти времена оставили въ избранныхъ душахъ благодарныя воспоминанія. Еще менѣе удивительно, что въ средѣ этихъ избранниковъ прорывается стремленіе возстановить эти времена и возвратиться къ тому спокойному и величаво-благородному жизненному теченію, которое составляло ихъ существенное обаяніе. Кому не мило благородство? Кому не дорога тишина? Помилуйте! да не изъ-за этого ли мы всѣ и бьемся?

Къ сожалѣнію, избранники обыкновенно упоминаютъ при этомъ о какомъ-то дворянскомъ принципѣ. Тогда, дескать, дворянскій принципъ господствовалъ—оттого и было всѣмъ хорошо. Возстановимте опять этотъ принципъ — и опять будетъ всѣмъ хорошо.

Но это не такъ. Во времена, о которыхъ идетъ рѣчь, никакихъ принциповъ не было — вотъ отчего было всѣмъ хорошо. Это-то именно и называлось *порядкомъ вещей*. Существовала, какъ я уже сказалъ выше, смѣсь до того непроницаемая, что ни расчленить составные ея элементы, ни анализировать ихъ было невозможно. Или нѣчто въ родѣ запертой пагоды, безъ оконъ и дверей, въ которой хранились никому неизвѣстныя и недоступныя письмена.

Повторяю: желаніе возвратить утерянный рай заслуживаетъ полнаго сочувствія, ибо нельзя себѣ представить ничего болѣе блаженнаго, нежели райское житіе. Но для того, чтобы достигнуть этой цѣли, прежде всего необходимо воздержаться отъ нѣкоторыхъ проявленій пытливости, которыя сами по себѣ составляютъ новшество, несовмѣстимое съ *порядкомъ вещей*. Мы ищемъ освободиться отъ новшествъ, замутившихъ нашу жизнь, и въ то же время сами прибѣгаемъ къ наиболѣе пагубному изъ этихъ новшествъ: къ пытливости—развѣ это логично?

Не надо пытаться проникнуть въ запертую пагоду, ибо проникновеніе предполагаетъ отпертую или даже — чего Боже сохрани! — взломанную дверь. Разъ что дверь отперта, или — чего Боже сохрани! — взломана, кто можетъ поручиться, что въ нее не войдутъ такіе «сторонніе люди», которые сразу разгадаютъ смыслъ хранящихся въ пагодѣ письменъ и переведутъ ихъ на языкъ, не имѣющій ничего

загадочнаго? Равнымъ образомъ не слѣдуетъ заводить разговора и о принципахъ, потому что принципъ никогда не является въ одиночку, а всегда въ сопровожденіи цѣлой свиты. Мы будемъ хлопотать о возрожденіи и укрѣпленіи принципа дворянскаго, а рядомъ съ нимъ возникнетъ принципъ анти-дворянскій, о которомъ тоже будутъ хлопотать. А за этимъ принципомъ появятся и другіе принципы, о которыхъ тоже будутъ хлопотать. И выйдетъ въ результатѣ нѣчто совсѣмъ неожиданное, а именно: преслѣдуя идеалы тишины и благоустройства, мы вмѣсто нихъ получимъ борьбу, свару, междоусобіе...

Итакъ, «впередъ безъ страха и сомнѣнья!» Но осторожно. Ни пытливости, ни принциповъ. И, главное, чтобы безъ шума; чтобы никто ни о чемъ никому ни гу-гу. Чтобы какъ яичко въ Христовъ день: нà, кушай! Великія предпріятія, какъ и великія мысли, въ тишинѣ зрѣютъ. Пререканія же, а тѣмъ паче остервенѣлая полемика, насквозь пронизанная озлобленіемъ и ненавистью, только погубляютъ ихъ.

Но будетъ ли успѣхъ? — на это я вполнѣ достовѣрнаго отвѣта дать не могу. Я могу только горѣть восторгомъ и признательностью, но отъ компетентности, въ смыслѣ разгадыванія загадокъ, уклоняюсь.

Одно меня смущаетъ: какъ поступить съ тѣми новыми явленіями и требованіями, которыя народились уже послѣ упраздненія «порядка вещей» и въ рамки послѣдняго, судя по всѣмъ видимостямъ, втиснуты быть не могутъ?

Чтò дѣлать съ новыми судами, съ земскими учрежденіями, съ желѣзными дорогами, банками и т. п.?

Впрочемъ, съ судами уладиться еще легко. Судебный персоналъ размѣстить, причислить и отчислить. Адвокатовъ—распихать. А земство такъ даже очень радо будетъ. Опять свой персикъ, свой арбузъ, своя буженина, свои повара, свои садовники, кучера, доѣзжачіе... умирать не надо!

Но желѣзныя дороги? но банки? какъ съ ними поступить?

Совсѣмъ не слѣдовало бы желѣзныя дороги строить, да и банки не надо бы дозволять. Вотъ тогда былъ бы настоящій палладіумъ. Но такъ какъ дороги ужъ выстроены, а банки учреждены, то ничего съ этимъ не подѣлаешь.

Сколько сутолоки изъ-за однѣхъ желѣзныхъ дорогъ на Руси развелось! сколько кукуевскихъ катастрофъ! Спѣшатъ, бѣгутъ, давятъ другъ друга, кричатъ караулъ, изрыгаютъ

ругательства... поѣхали! И вдругъ... паровозъ на дыбы! Навстрѣчу другой... прямо въ лобъ! Батюшки! да никакъ смерть!

Или банки: объявленія печатаютъ, заманиваютъ, балансы подводятъ—къ намъ пожалуйте, къ намъ! Со всѣхъ концовъ рубли такъ и плывутъ! рубли потные, захватанные, вымученные! Попы несутъ свои сбереженія... попы!! И вдругъ... трахъ!! Украли и убѣжали! деньги-то гдѣ же, деньги-то? Украли и убѣжали! Господи! да никакъ смерть!

Стоило ли дороги строить? стоило ли банки заводить?

А между тѣмъ какой запасъ распорядительности, ума и мышечной силы нужно имѣть, чтобъ все это направить, за всѣмъ усмотрѣть? И все-таки ничего не направить и ни за чѣмъ не усмотрѣть... Сколько мýки нужно принять, чтобъ только по вагонамъ-то всѣхъ разсадить, а потомъ кого слѣдуетъ, за невѣжество, изъ вагоновъ высадить—да въ участокъ, да къ мировому!

Но этого мало. Во всѣхъ странахъ желѣзныя дороги для передвиженій служатъ, а у насъ, сверхъ того, и для воровства. Во всѣхъ странахъ банки для оплодотворенія основываются, а у насъ, сверхъ того, и для воровства.

Однако воровать вѣдь не дозволяется — это хоть у кого угодно спросите. Стало-быть, и за этимъ надобно присмотрѣть. Запустилъ еврей Мошка лапу—надобно его изловить и въ полицію съ поличнымъ представить. Заигралъ Губошлеповъ мозгами—надо эти вредные мозги изъ него вынуть и тоже куда слѣдуетъ представить.

Могъ ли «порядокъ вещей» удовлетворить этимъ требованіямъ? Увы! какъ это ни прискорбно для моего сердца, но я, не обинуясь, отвѣчаю: не могъ!

«Порядокъ вещей» исходилъ изъ тишины и безпрекословія. Всякая сутолока, всякое движеніе были противны самой природѣ его. Я думаю, что онъ даже «публику» не былъ бы въ состояніи чередомъ по вагонамъ разсадить. Всякій изъ этой «публики» чего-то *своего* ищетъ, всякій резоны представляетъ; а «порядокъ вещей» ни исковъ, ни резоновъ не допускалъ. Что же касается до воровства, то объ немъ и говорить нечего. «Порядокъ вещей» вѣдалъ воровъ простыхъ, смирныхъ и безпрекословныхъ, а попробуйте-ка изловить Мошку и Губошлепова! Первый скажетъ: «я не воровалъ, а тольку лапу запустилъ!»; второй: «я не воровалъ, а мозгами игралъ!» А неподалечку и адвокаты стоятъ, кассаціонныя рѣшенія подъ мышкой держатъ. По-

пытайтесь доказать имъ, что «игралъ мозгами» — это-то и есть оно самое: «воровать»...

Я не скажу, конечно, чтобы все это могъ предотвратить и «безпорядокъ вещей», но и «порядокъ»... Нѣтъ, для того, чтобъ желѣзныя дороги были желѣзными дорогами, а банки — банками, что-то совсѣмъ особливое нужно. А что именно — сей-Богу, не знаю.

— —

На-дняхъ случилось мнѣ объ этомъ предметѣ бесѣдовать съ однимъ опытнымъ инженеромъ.

— Какъ вы думаете, Филаретъ Михайлычъ, — спросилъ я его: — отчего у васъ, въ особенности по вашей части, такое нещадное воровство пошло?

— Голубчикъ! да какъ же не воровать? — отвѣчалъ онъ: — во-первыхъ, плохо лежитъ; во-вторыхъ, всякому сладенько пожить хочется, а въ-третьихъ — вообще...

— Однако-жъ прежде о такихъ неистовыхъ воровствахъ не слыхать было?

— Прежде, мой другъ, вообще было тише. Дѣла были маленькія — и воровства маленькія. А нынче дѣла большія — и воровства пошли большія. Suum cuique.

— Воля ваша, а это безобразно!

— Нельзя иначе: сама жизнь пошла въ ширь. Прежде и на три рубля можно было себѣ удовольствіе доставить; а нынче, ежели у кого нѣтъ сію минуту въ карманѣ пятисотъ, тысячи рублей, того всѣ кокотки несчастливцемъ почитаютъ. Жиды, мой другъ, въ гору пошли, а около нихъ ужъ и наши привередничаютъ. А сверхъ того и монетная единица. Ассигнація вѣдь, мой другъ, у насъ — ну, а что такое ассигнаціи?

— Ну, что вы! вѣдь это тоже своего рода мѣновой знакъ!

— Много ихъ ужъ очень. Такъ много, такъ много, что пригоршнями ихъ во всѣ стороны швыряютъ, а все имъ конца-краю нѣтъ. Какъ ассигнацію-то «онъ» зажалъ въ руку, ему и кажется, что никакого тутъ воровства нѣтъ, а просто «ничьи деньги» проявились.

— Но вѣдь нужно же когда-нибудь положить предѣлъ этой больной фантазіи!

— А какъ вамъ сказать? Въ старину, бывало, мы этого предѣла отъ смягченія нравовъ ждали. Молодо было, зелено. Думалось, что когда вообще нравственный уровень повысится, тогда и воровство само собой уничтожится.

— Ну-съ?

— Ну, и ждали. Годы ждали—нѣтъ смягченія нравовъ! Стали еще годы ждать — опять нѣтъ смягченія нравовъ!.. Да такъ иные по-сейчасъ ждутъ.

— Но почему же его нѣтъ, этого смягченія нравовъ?

— Да формъ, должно-быть, такихъ еще не народилось, при помощи которыхъ смягченіе нравовъ совершиться можетъ—только и всего.

— Допустимъ. Но развѣ, независимо отъ формъ, нельзя какія-нибудь мѣры придумать?

— Придумать, конечно, можно. Кары, напримѣръ, и притомъ самыя суровыя. Только вотъ насчетъ дѣйствія, которое эти мѣры возымѣть могутъ—сомнительно...

— Помилуйте! да вѣдь это гнусность, это наконецъ предательство! Вѣдь они Россію, отечество свое, эти негодяи, продаютъ! Не крадутъ они, а кровь сосутъ, жилы тянутъ! Висѣлицы мало за это!

— Висѣлица—это дѣйствительно средство радикальное. Но вопросъ, когда «его» вѣшать: *до* или *по*? Ежели, напримѣръ, инженера мостъ строить послать и предварительно повѣсить—некому будетъ мостъ строить. Ежели дозволить ему *сперва* мостъ построить, а *потомъ* повѣсить—какой же ему будетъ разсчетъ стараться? Ахъ, голубчикъ! коли начать вѣшать, такъ вѣдь до Москвы, пожалуй, не перевѣшаешь!

. . . . . .

— Ну, а вы сами, Филаретъ Михайлычъ... повинны?—полюбопытствовалъ я.

— Я? никогда! Копейкой казенной я не попользовался! Я вотъ какъ: копейку истратилъ—сейчасъ ее на бумажку записалъ, а къ вечеру ужъ отчетъ отдалъ: смотри! Сохрани меня Богъ!

— Однако-жъ и вы... нечего сказать, чистенько живете! И обстановочка, и домикъ, и имѣньице, и все такое... А вѣдь у васъ, помнится, какъ на первую-то канавку вы вышли...

— Знаю: одни штаны были...—отвѣтилъ онъ скромно:—но мнѣ Богъ послалъ! Выроешь, бывало, канавку, воротишься домой, а жена говоритъ: «другъ мой! намъ Богъ пять тысячъ послалъ!» Или мостокъ выстроишь, а жена опять навстрѣчу бѣжитъ: «другъ мой! намъ Богъ десять тысячъ послалъ!» Помаленьку да потихоньку—глядишь, и обставился...

Но обратимся къ прерванному разсказу.

Первое мѣсто въ уѣздной чиновной іерархіи и прежде занимали, и теперь занимаютъ предводители дворянства. Но нынче завелись какіе-то «независимые», которые къ предводителямъ относятся довольно равнодушно, а въ прежнее время никакой независимости и въ заводѣ не было, такъ что предводитель дворянства въ своемъ уѣздѣ былъ подлинно козырный тузъ. Онъ распоряжался земскою полиціей; онъ вліялъ на рѣшенія суда; онъ аттестовалъ уѣздныхъ чиновъ; онъ кормилъ губернатора во время ревизій. Нерѣдко однако-жъ между губернаторомъ и предводителемъ зарождались «контры»; губернаторъ говорилъ: «я здѣсь хозяинъ!», а предводитель говорилъ: «я самъ моего государя слуга!»—и расходились врагами. Тогда предводитель начиналъ мутить уѣздъ, и душевное равновѣсіе губернатора на время нарушалось. Въ подобныхъ случаяхъ на сцену обыкновенно выступалъ губернскій предводитель, объявлялъ губернатору, что «такъ нельзя», что дворянство—«опора», и губернаторъ смирялся.

Какъ я уже объяснилъ выше, въ дореформенное время всего болѣе цѣнилась тишина. О такъ-называемомъ развитіи народныхъ силъ и народнаго генія только въ литературѣ говорили, да и то шепоткомъ, а объ тишинѣ—вездѣ и вслухъ. Но тишина могла быть достигнута только подъ условіемъ духовнаго единенія властей. Такого единенія, при которомъ всѣ власти въ одну точку смотрятъ и ни о чемъ, кромѣ тишины, не думаютъ. Отвѣчали за эту тишину губернаторы; предводители же ни за что не отвѣчали, а только носили бѣлые штаны. И за всѣмъ тѣмъ, въ виду тишины, первые даже не вполнѣ естественнымъ требованіямъ послѣднихъ вынуждены были уступать.

Типъ дореформеннаго предводителя былъ довольно запутанный, и нельзя сказать, чтобъ русская литература выяснила его. Въ общемъ литература относилась къ нему не столько враждебно, сколько съ юмористической точки зрѣнія. Предводитель изображался неизбѣжно тучнымъ, съ ожирѣлымъ кадыкомъ и съ обширнымъ брюхомъ, въ которомъ безъ вѣсти пропадало всякое произведеніе природы, которое можно было ложкой или вилкой зацѣпить. Предполагалось, что предводитель безпрерывно ѣстъ, такъ что и на портретахъ онъ писался съ завязанною вокругъ шеи салфеткою, а не съ книжкой въ рукахъ. Равнымъ образомъ выдавалось за достовѣрное, что онъ не имѣетъ никакого

понятія о борьбѣ христиносовъ съ карлистами, а изъ географіи знаетъ только имена тѣхъ городовъ, въ которыхъ что-нибудь закусывалъ («а! Крестцы! это гдѣ мы поросенка холоднаго съ Семенъ-Иванычемъ ѣли! знаю!»). Что онъ упоренъ, глухъ къ убѣжденіямъ и вмѣстѣ простодушенъ. Что онъ не умѣетъ отличить правую руку отъ лѣвой, хотя крестное знаменіе творитъ правильно, правой рукой. Что онъ ругатель и на то, что̀ изъ устъ выходитъ, не обращаетъ никакого вниманія. Что онъ способенъ проѣсть безчисленное количество наслѣдствъ, а кромѣ того жену и своячиницъ. Что вообще это явленіе апокалипсическое, отъ вѣковъ уготованное, неизбѣжное и неотвратимое. Въ родѣ египетской тьмы.

Вотъ въ какомъ видѣ дореформенный предводительскій типъ возведенъ въ перлъ созданія даже такими несомнѣнно благосклонными къ дворянству беллетристами, какъ Загоскинъ и Бегичевъ (авторъ «Семейства Холмскихъ»).

Несмотря однако-жъ на всю талантливость и кажущуюся вѣрность подобныхъ художественныхъ воспроизведеній, я съ ними согласиться не могу. Я и самъ немало виноватъ въ такого рода юмористическихъ изображеніяхъ, но *теперь* вполнѣ сознаю свою ошибку. Были, конечно, «такіе» предводители, но *не всѣ*. Audiatur et altera pars.

Я зналъ одного предводителя, который имѣлъ такія обаятельныя манеры и такой просвѣщенный умъ, что когда просилъ взаймы денегъ, то никто не въ силахъ былъ ему отказать. Такимъ образомъ онъ чуть не всей губерніи задолжалъ, и хотя не подавалъ ни малѣйшей надежды на уплату, но обаянія своего до конца не утратилъ.

Однажды пріѣзжаетъ онъ къ извѣстному во всей губерніи скрягѣ-помѣщику, къ которому онъ и самъ дотолѣ обращаться считалъ безполезнымъ. Скупецъ—какъ увидѣлъ изъ окошка предводительскій экипажъ, такъ сейчасъ же понялъ. Хотѣлъ зарѣзаться, но бритвы не нашелъ. Побѣжалъ приказать, чтобъ не принимали гостя,—а онъ ужъ въ залѣ стоитъ! Сѣли, начали говорить. Пяти-шести фразъ другъ другу не сказали—и вдругъ:

— Денегъ, Иванъ Петровичъ! до зарѣзу денегъ нужно!

— Какія, вашество, у меня деньги!—заметался Иванъ Петровичъ:—на хлѣбъ да на квасъ...

А онъ ему вмѣсто отвѣта—процентъ!

Процентъ да процентъ—такъ ошеломилъ скрягу, что онъ

сначала закуску велѣлъ подать, а немного погодя и въ шкатулку полѣзъ.

Словомъ сказать, отъ кремня, который нищему никогда корки не подалъ, цѣлый кусъ увезъ!

Но этого мало. Совершивъ этотъ подвигъ и понабравъ еще кой-гдѣ изрядную сумму денегъ, обаятельный предводитель... вдругъ исчезъ!

Туда-сюда. Сначала прошелъ слухъ, что его въ Баденъ-Баденѣ за рулеткой видѣли, потомъ будто бы въ Парижѣ, въ Ниццѣ, въ Монте-Карло... И наконецъ что-жъ оказалось?—что онъ послѣднія денежки спустилъ и гдѣ-то во Франціи, на границѣ Швейцаріи, гарсономъ въ ресторанъ поступилъ.

Разумѣется, русскіе путешественники валомъ-повалили къ нему.

— Мемнонъ Захарычъ! ты?

— Онъ самый; садитесь-ка поближе, вотъ за этотъ столъ. Я вамъ такого пуле-о-крессонъ подамъ, что вѣкъ будете Мемношку помнить!

И точно: подастъ на славу и скажетъ:

— Если всего не одолѣете, такъ не плюйте въ тарелку, а мнѣ отдайте. Я крылышко съѣмъ.

Скажите по совѣсти: ну, какъ «своему брату» лишняго франка на водку не дать!

И давали ему, такъ что онъ во время «сезона» по 30—40 франковъ въ день получалъ. Но онъ былъ благороденъ, и деньги у него не держались.

И я его прошлымъ лѣтомъ видѣлъ въ Уши. Стоитъ на пристани съ салфеткой въ рукахъ и парохода поджидаетъ.

— Мемнонъ Захарычъ! какими судьбами!—воскликнулъ я.

— Политическій... — пробормоталъ онъ, слегка смутившись.

Однако-жъ я на эту удочку не поддался.

— Стыдитесь, сударь,—сказалъ я ему строго:—что затѣяли! Да, по моему мнѣнію, лучше тысячу разъ чужія деньги изъ кармана украсть, нежели одинъ разъ въ политическое недоразумѣніе впасть!

Такъ онъ и отошелъ, не солоно хлебавши. Далъ я ему на водку франкъ—и баста.

Но что всего примѣчательнѣе: всю ясность ума сохранилъ. Какъ только начнутъ его кредиторы въ Уши ловить—онъ на пароходѣ въ Евіанъ, на французскій берегъ переплыветъ и тамъ пурбуары получаетъ. Какъ только

кредиторы въ Евіанъ квартиру перенесутъ—онъ шмыгъ въ Уши и былъ таковъ!

А говорятъ еще, что предводители правую руку отъ лѣвой отличить не умѣли! Да дай Богъ всякому!

Одинъ предводитель былъ такъ уменъ, что самъ своему аппетиту предѣлъ полагалъ. Поставятъ, бывало, передъ нимъ окорокъ—онъ половину съѣстъ и скажетъ:

— Баста, Сашка! остальное до завтрева!

И больше ужъ не ѣстъ!

Благодаря этому онъ дожилъ до преклонныхъ лѣтъ и умеръ своею смертью, а не напрасною.

И дѣтямъ своимъ завѣщалъ: «лучше продолжительное время каждый день по полъ-окорока съѣдать, нежели за-разъ цѣлый окорокъ истребить и за это поплатиться жизнью».

Одинъ предводитель твердостью души отличался. Когда объявили эмансипацію, онъ у всѣхъ спрашивалъ:

— А какъ же наши права?

Насилу его убѣдили.

Одинъ предводитель видѣлъ во снѣ, что онъ на сосну влѣзъ, и что покуда онъ лѣзъ, у подошвы сосны цѣлое стадо волковъ собралось. Словомъ сказать, влѣзть—влѣзъ, а слѣзть не смѣетъ.

Проснувшись на утро, онъ хотѣлъ отгадать, что̀ означаетъ этотъ сонъ, но не отгадалъ.

Посторонніе же, видя его усилія, говорили: «вотъ онъ хоть и предводитель, а какая въ немъ пытливость ума!»

Не стану далѣе множить примѣры, потому что я пишу не статистику предводительскихъ добродѣтелей, а только дѣлаю небольшія изъ нея извлеченія, доказывающія, какъ я до сихъ поръ былъ легкомысленъ и несправедливъ. Что же касается до взятокъ, то въ этомъ отношеніи предводители пользовались вполнѣ заслуженною репутаціей безкорыстія. Исключеніе составляли лишь тѣ, которыя во время ополченія допускали замѣну въ ратническомъ сапогѣ подошвы картономъ, а равнымъ образомъ тѣ, кои довольствовали ратниковъ гнилыми сухарями.

Были и такіе, но не всѣ.

О дореформенныхъ уѣздныхъ судьяхъ могу сказать лишь

немногое, ибо это были наименѣе блестящіе чины того времени.

Въ уѣздные судьи большею частью выбирались небогатые и смирные помѣщики изъ отставныхъ военныхъ. Или французъ подъ Бородинымъ изувѣчилъ, или турокъ часть тѣла повредилъ—милости просимъ! Лишь бы разсудокъ не подлежалъ освидѣтельствованію, да и это соблюдалось только потому, что уѣздный стряпчій (ежели онъ кляузникъ) можетъ донести. Вообще на присутствія уѣздныхъ судовъ того времени даже серьезные люди смотрѣли въ родѣ какъ на богадѣльни, но канцеляріи судовъ называли «звѣринцами». О секретаряхъ говорили: «мерзавцы!», а о писцахъ: «разбойники съ большой дороги!» И боялись ихъ. Да, впрочемъ, и можно ли было не опасаться людей, которые получали полтинникъ въ мѣсяцъ жалованья?

Полтинникъ въ мѣсяцъ! вѣдь въ самомъ дѣлѣ тутъ было что-то волшебное...

Такой взглядъ на уѣздные суды обусловливался главнымъ образомъ тѣмъ, что для большинства дѣлъ они представляли лишь первую инстанцію. Думали: ежели уѣздный судъ напутаетъ, то уголовная или гражданская палаты опять напутаютъ, но затѣмъ дѣло поступитъ въ сенатъ, гдѣ ужъ и воздадутъ suum cuique. Стало-быть, наплевать. Но для чего при такихъ условіяхъ существовали суды и палаты?—этимъ вопросомъ никто не задавался, или, лучше сказать, махали на это дѣло рукою и говорили: «Христосъ съ ними!»

Несмотря на глухоту и другія увѣчья, уѣздные судьи въ большинствѣ случаевъ были люди добрые и сострадательные, а среди звѣриной обстановки, которая ихъ окружала, они просто казались чистыми голубями. Взятокъ имъ почти совсѣмъ не давали—секретари по дорогѣ все перехватывали—да убогому человѣку, по правдѣ сказать, немного и нужно. Развѣ что-нибудь изъ живности или изъ бакалеи, да и то не перваго сорта. Поэтому къ судьямъ рѣдко и въ гости ходили, да и ихъ въ гости рѣдко приглашали, такъ какъ въ карты они играли по такой «маленькой», что и счетъ свести трудно было.

Я помню, одному судьѣ кто-то изъ тяжущихся, по неопытности, возъ мерзлой рыбы прислалъ—такъ не только всѣ этому дивились, но и самъ онъ оробѣлъ. Выбралъ для себя пару подлещиковъ, «а остальное, говоритъ, должно-быть, секретарю слѣдуетъ». И представьте, секретарь, не-

смотря на то, что ужъ свой возъ получилъ, и этотъ возъ—не посовѣстился—взялъ.

Нѣкоторые судьи прямо говорили тяжущимся: «зачѣмъ вы на насъ тратитесь! вѣдь все равно наше рѣшеніе уважено не будетъ! такъ лучше ужъ вы поберегите себя для гражданской палаты!» И что же, вмѣсто того, чтобъ умилиться надъ такой чертой самоотверженности, вмѣсто того, чтобъ сказать: «ну, Богъ съ тобой! будь сытъ и ты!»—большинство тяжущихся буквально слѣдовало поданному совѣту и даже приготовленнымъ уже подаркамъ давало другое назначеніе.

Положеніе уѣздныхъ судей было поистинѣ трагическое. Читаетъ, бывало, секретарь проектъ рѣшенія, а судья не понимаетъ. Такіе проекты тогда писались, что и въ здравомъ умѣ человѣку понять невозможно, а ежели кто раненъ, такъ гдѣ ужъ! Вотъ судья слушаетъ, слушаетъ, да и перекрестится. Думаетъ, что его лѣшій обошелъ.

— Подписывать-то, Семенъ Семенычъ, можно ли?—взмолится онъ къ секретарю.

— Съ Богомъ, Сергѣй Христофорычъ! подписывайте безъ сомнѣнія!

— Ну, будемъ подписывать. Господи благослови.

Возьметъ перо въ правую руку, а лѣвою локоть придерживаетъ, чтобы перо не разскакалось. Выведетъ: «Узнай судя Вислаухавъ», и скажетъ:—Слава Богу!

Но въ особенности съ уголовными приговорами маялись, потому что тамъ не только подписывать, но и *прописывать* нужно было. И прописывать-то все плети, да все трехвостныя, съ малою долею розгачей.

— Девяносто, что ли, Семенъ Семенычъ?

— Девяносто, Сергѣй Христофорычъ.

— А поменьше нельзя? пятьдесятъ, напримѣръ?

— По мнѣ хоть награду дайте. Все равно, уголовная палата сполна пропишетъ.

— Ну-ну, что ужъ! Господи благослови!

Или:

— А этому, Семенъ Семенычъ, ничего?

— Ничего, Сергѣй Христофорычъ.

— Ну, слава Богу. Господи благослови!

Пропишетъ, что слѣдуетъ, придетъ домой и женѣ разскажетъ:

— Вотъ, Ксеша, я въ нынѣшнее утро, въ общей сложности, восемьсотъ пятьдесятъ штукъ прописалъ!

— А что же такое! -отвѣтитъ Ксеша:—это вѣдь ты не отъ себя! сами виноваты, что начальства не слушаются. Начальство имъ добра хочетъ, а они—натко!

— Плетей вѣдь восемьсотъ-то пятьдесятъ, а не пряниковъ. А плети-то нынче ременныя, да объ трехъ хвостахъ. Вотъ какъ подумаешь: трижды восемьсотъ—двѣ тысячи четыреста, да трижды пятьдесятъ—полтораста, такъ оно...

— Ну-ну, жалѣльщикъ! ступай-ко водку пить, а то щи на столѣ простынутъ!

И шелъ добрый судья водку пить и щи хлебать, пока не простыли. А по праздникамъ, кромѣ того, въ церковь ходилъ и пирогомъ лакомился.

Въ большинствѣ случаевъ уѣздные судьи были люди семейные. Жены у нихъ были старыя-престарыя и тоже добрыя. Въ сущности, вѣдь и Ксеша огорчалась, что ея Сергѣй Христофорычъ «прописываетъ», но утѣшала себя тѣмъ, что это онъ *не отъ себя*. «Сами виноваты, начальства не слушаютъ, а Сергѣй Христофорычъ развѣ можетъ!»

Секретарей судейши терпѣть не могли и всегда предостерегали мужей:

— Вотъ помяни мое слово, ежели онъ тебя не подведетъ!

— Ахъ, матушка!

Дѣтей у судей бывало много, но дома они не заживались. Съ раннихъ лѣтъ ихъ разсовывали на казенный счетъ по кадетскимъ корпусамъ и по сиротскимъ институтамъ, а по пришествіи въ возрастъ они уже сами о себѣ промышляли.

Дома оставалось лишь какое-нибудь безпомощное существо: или глухонѣмая дѣвица, или сынъ-дурачокъ.

Вообще типъ дореформеннаго судьи былъ однимъ изъ наиболѣе симпатичныхъ того времени, а необыкновенно малое содержаніе (даже по сравненію съ необыкновенно малыми содержаніями чиновъ другихъ вѣдомствъ), которое получали уѣздные судьи, дѣлало ихъ положеніе въ высшей степени трогательнымъ. И за всѣмъ тѣмъ они не роптали и не завидовали.

Можно ли возвратиться къ этому типу отправленія правосудія и вновь водворить его въ нашу жизнь?—полагаю, что ежели приняться за дѣло чистенько и безъ шума, то можно. Во всякомъ случаѣ попытаться недурно. Но будетъ ли отъ этого польза?—ей Богу, не знаю.

Относительно исправниковъ и вообще чиновъ земской полиціи можно сказать то же самое, что и о городничихъ. Тѣ же общія положенія и тѣ же «истинныя происшествія». Предметы ихъ дѣятельности были одинаковые, а стало-быть, и поводы для «истинныхъ происшествій» тоже одинаковые; только районъ, въ предѣлахъ котораго распоряжались исправники, былъ обширнѣе.

Нареканій на земскую полицію дореформеннаго времени существовало немало, но возникали они большею частью по поводу становыхъ приставовъ. Послѣдніе были дѣйствительно не весьма доброкачественны, хотя тоже не всѣ. Расквартированные по захолустьямъ, преимущественно въ селеніяхъ экономическихъ крестьянъ, вдали отъ образованнаго общества и хорошихъ примѣровъ, эти люди нерѣдко утрачивали человѣческій образъ, а вмѣстѣ съ нимъ и вѣру въ Провидѣніе и въ загробную жизнь. Не имѣя въ виду воздаянія, не понимая, что не только дѣйствія, но и мысли человѣческія не могутъ оставаться сокрытыми, они страшились лишь одного: чтобы о противозаконныхъ ихъ дѣйствіяхъ не было доведено до свѣдѣнія губернскаго начальства. Но и въ этомъ отношеніи они ежели и не были вполнѣ обезпечены, то стояли весьма благопріятно. Будучи опредѣляемы непосредственно центральною губернскою властью и олицетворяя собой единственный ея органъ въ уѣздѣ, они обыкновенно имѣли «руку» въ губернскихъ правленіяхъ, и пользовались этой защитой не для благихъ похвальныхъ цѣлей, но для удовлетворенія необузданности страстей. Нерѣдко случалось, что сами губернаторы втайнѣ имъ сочувствовали и называли ихъ излюбленными чадами, а судей, исправниковъ и городничихъ (послѣдніе опредѣлялись комитетомъ о раненыхъ)—пасынками. Казалось бы, столь лестное довѣріе начальства должно было обязывать, но—увы!—оно давало пищу только гордости и самомнѣнію. Подъ вліяніемъ сихъ чувствъ, становые пристава въ скорости становились вмѣстилищами всевозможныхъ нравственныхъ изъяновъ. Правосудіе и трезвость были чужды ихъ душамъ. Съ утра наполненные винными парами, они перекочевывали съ мѣста на мѣсто, отъ одной границы уѣзда до другой, ни о чемъ не помышляя, кромѣ вымогательства. Исправники же, видя безобразія становыхъ, хотя и понимали, какъ это нехорошо, но были безсильны искоренить зло.

Въ старину зло искоренялось опредѣленіями и увольне-

ніями, да, кажется, и до сихъ поръ тѣми же способами искореняется. Уволить такого-то пьяницу, а на его мѣсто опредѣлить такого-то пьяницу — вотъ и весь секретъ. А такъ какъ становые пристава опредѣлялись и увольнялись губернскою властью, и притомъ нерѣдко въ пику власти, облеченной довѣріемъ дворянства, то понятно, какой источникъ недоразумѣній возникалъ отъ столкновенія этихъ двухъ противоположныхъ довѣрій. Но этого-то именно и не понимали становые пристава, то-есть не понимали, какъ это прискорбно и вредитъ дѣлу. Большинство ихъ положительно не стояло на высотѣ своей задачи. Вмѣсто того, чтобъ оправдывать довѣріе начальства, оно компрометировало его; вмѣсто того, чтобъ подавать управляемымъ примѣръ воздержанія, трудолюбія и охоты къ просвѣщенію, оно наполняло окрестность легендами, содержаніемъ для которыхъ служила необузданность страстей, непреоборимая праздность и невѣжественность. А губернаторы, взирая на нихъ какъ на излюбленныхъ и увлекаясь теоретическими построеніями, думали, что коль скоро у центральной власти имѣются въ уѣздѣ свои собственные органы, то все обстоитъ благополучно. То-есть благополучнѣе, чѣмъ тогда, когда вмѣсто становыхъ приставовъ при земскихъ судахъ состояли дворянскіе засѣдатели.

Пишу я эти строки, а воспоминанія такъ и плывутъ мнѣ навстрѣчу. Смотришь, бывало, въ окошко—вотъ она, гать-то, на двѣ версты растянулась!—и вдругъ на этой самой гати показывается крестьянская телѣжонка парой, а въ телѣжонкѣ чье-то тѣло въ растяжку лежитъ. Это *его* везутъ, куроцапа. Имя такое *ему* было, для всѣхъ вразумительное. Давно ли это было? давно ли «порядокъ вещей» съ такою ясностью объ себѣ заявлялъ? И неужели мы такъ-таки и не воротимся къ нему?

Грустно.

Таковы были дореформенные становые пристава. Но, какъ я уже сказалъ выше, *не всѣ*.

Я зналъ одного станового пристава, который, мучимый раскаяніемъ, удалился въ лѣсъ. Долгое время онъ питался травами, не имѣя пристанища и не зная иного прикрытія, кромѣ старенькаго вицмундира, украшеннаго пряжкою за тридцать пять лѣтъ. Но по времени онъ выстроилъ въ самой чащѣ хижину, въ которой предположилъ спасти свою душу. Скоро объ этомъ провѣдали окрестные раскольники и начали стекаться къ нему. Разнесся слухъ, что

въ лѣсу поселился «мужъ святъ», что отъ него распространяется благоуханіе, и что надъ хижиной его (которую уже называли «келіей») по ночамъ виденъ свѣтъ. Мало-по-малу въ лѣсу образовался раскольничій скитъ, въ которомъ бывшій становой былъ много лѣтъ настоятелемъ подъ именемъ блаженно-мздоимца Арсенія. Затѣмъ обитатели скита образовали особенный раскольничій толкъ, подъ названіемъ «мздоимцевскаго», а себя стали называть «мздоимцами», въ отличіе отъ «перемазанцевъ» и «перекувырканцевъ». Но въ эпоху гоненія полиція узнала о существованіи скита и нагрянула. Арсенія заковали въ кандалы и заточили въ дальній монастырь, а «мздоимцевъ» разселили по разнымъ мѣстамъ. Тамъ они всяко размножились: и съ помощью пропаганды, и естественнымъ путемъ сожитія. Такъ что теперь куда ни обернись — вездѣ «мздоимцы». То-есть послѣдователи лже-блаженно-мздоимца Арсенія.

Я зналъ другого станового пристава, который долгое время пилъ безъ просыпа, но потомъ вдругъ пересталъ и до конца жизни пилъ только квасъ.

Впрочемъ, признаюсь откровенно: только эти два примѣра я и зналъ. Но несомнѣнно, что найдутся люди, которые подобнаго рода «истинныхъ происшествій» немало знаютъ. Распубликованіемъ таковыхъ они премного меня одолжатъ.

Обращаюсь къ исправникамъ.

Общее положеніе. Исправники, какъ облеченные довѣріемъ господъ-дворянъ, вообще вели себя благородно.

— Намъ не съ кого брать,—говорилъ мнѣ одинъ исправникъ: — у насъ въ уѣздѣ все помѣщики: какъ съ своего брата возьмешь! Вотъ ежели выйдетъ случай, да съ временнымъ отдѣленіемъ въ экономическомъ селѣ задержишься— ну, тамъ дѣйствительно...

Такъ что ежели-бъ не было экономическихъ крестьянъ, да раздарили бы ихъ всѣхъ въ воздаяніе, то исправники были бы совсѣмъ невинны.

Въ исправники избирались лица мужескаго пола въ цвѣтѣ лѣтъ и силъ, отъ подпоручичьяго до майорскаго чина включительно. Изъ нихъ штабсъ-ротмистры и ротмистры представляли самую желательную исправницкую среднюю величину. Молодость и присутствіе физической силы говорили объ отвагѣ, отвага же служила ручательствомъ, что довѣріе господъ-дворянъ будетъ оправдано. При такихъ исправникахъ злые трепетали, а добрые предавались мирнымъ занятіямъ.

Одинъ исправникъ хвалился, что у него въ уѣздѣ совсѣмъ воровъ нѣтъ.

— У меня нѣтъ воровъ и не будетъ,—говорилъ онъ:— потому что воръ знаетъ, что не подъ судъ, а ко мнѣ въ руки попадетъ.

— Что̀ же вы съ нимъ дѣлаете, Никонъ Гаврилычъ?

— Да ужъ...

Онъ не договаривалъ, а только простиралъ руки. И всѣ безъ словъ понимали.

Другой исправникъ, допрашивая воровъ, надѣвалъ на нихъ такъ-называемый «стулъ» (желѣзный ошейникъ съ прикрѣпленной къ нему желѣзною цѣпью, которая, въ свою очередь, прикрѣплялась къ тяжелому обрубку бревна), и когда ему замѣчали, что подобные допросы называются допросами съ пристрастіемъ и законами воспрещаются, то онъ отвѣчалъ:

— Такъ, по-вашему, по головкѣ надобно гладить? «Иванъ Ивановичъ! вы, мой другъ, лошадь у Пантелея Егорова украли?»—Нѣтъ, не я-съ.—«Не вы-съ? ахъ, извините, пожалуйста, что васъ понапрасну задержали. Милости просимъ на всѣ четыре стороны! воруйте, сколько вашей душѣ угодно!..» Ну, нѣтъ-съ, слуга покорный! Пускай филантропы въ уѣздномъ судѣ съ ними валандаются, а я... не могу-съ! По-моему: попался и... говори! Гово-рри, каналья... расшибу! Всю подноготную, курицынъ сынъ, говори! Иначе какой же я былъ бы исправникъ!

Первый изъ приведенныхъ исправниковъ былъ штабсъ-ротмистръ, второй—ротмистръ. Слѣдовательно—въ самомъ соку. До штабсъ-ротмистрскаго чина еще мышцы въ человѣкѣ не вполнѣ крѣпки, а съ майорскаго чина онѣ ужъ слабѣть начинаютъ. Впрочемъ, нерѣдко и между поручиками хорошіе исправники удавались.

Въ исправникѣ даже вліятельные помѣщики нужду имѣли, а потому онъ былъ въ помѣщичьихъ домахъ всегда желаннымъ гостемъ. Помѣщицы цѣнили въ немъ ротмистрскія статьи; помѣщики видѣли охрану и въ то же время добраго товарища. Пріѣдетъ исправникъ—и у всѣхъ на душѣ весело, даже въ дѣвичьей пѣсни бойчѣе раздаются. Во-первыхъ, онъ всякія вѣсти привезетъ: и изъ уѣзда, и изъ губерніи, и даже изъ столицъ. Въ старину и міровыя происшествія туго до помѣщичьихъ гнѣздъ доходили, а исправники изъ первыхъ рукъ, отъ почтмейстеровъ узнавали, да и развозили по уѣзду. Что Людовикъ-Филиппъ на пре-

столъ прародительскій вступилъ — это они первые узнали, а потомъ ужъ и пошло. Что преосвященный Никодимъ по епархіи отправляется—это тоже они первые оповѣстили, а равнымъ образомъ и то, что губернатору, того гляди, къ празднику ленту дадутъ. И все по-ихнему такъ и сбылось. Во-вторыхъ, исправническій пріѣздъ разомъ всѣ накопившіяся недоразумѣнія прекращалъ. Даже мимо, бывало, исправникъ проѣдетъ — и все какъ рукой сниметъ. Тутъ розгами вспрыснетъ, тамъ плюху дастъ, въ третьемъ мѣстѣ пальцемъ пригрозитъ—смотришь, и тихо. До проѣзда что-то гдѣ-то охало, вздыхало, стонало — и вдругъ исцѣленіе получило. Простыя тогда болѣзни были—оттого и лѣкарства простыя прописывались.

Помѣщики принимали исправниковъ охотнѣе, нежели даже предводителей. Предводитель *честь дѣлалъ* своимъ пріѣздомъ, а исправникъ запросто, за панибрата пріѣзжалъ. Принять предводителя было начётисто: онъ и самъ вдвое противъ обыкновеннаго дворянина съѣстъ, а еще больше того зря на тарелкѣ оставитъ; исправникъ же все чистенько подберетъ и тарелку точно сейчасъ вымытую сдастъ. Но въ особенности тяжело было разговоръ съ предводителемъ поддерживать: сидитъ, словно фаршированный, и зубами скрипитъ. И вдругъ слово скажетъ... ахъ, какое слово! Такъ и тутъ, бывало, исправникъ выручитъ. Объяснитъ, поправитъ—и опять всѣмъ весело!

Словомъ сказать, лихіе ребята были.

Взятки (за дѣла) исправники брали лишь въ крайнемъ случаѣ: ежели съ деньгами совсѣмъ матъ. Вообще же они довольствовались «положеніемъ». Было «положеніе» отъ откупщика, отъ земской гоньбы, отъ содержателей перевозовъ, отъ конторъ богатыхъ отсутствующихъ помѣщиковъ. Многіе изъ осѣдлыхъ помѣщиковъ посылали исправникамъ въ презентъ произведенія собственныхъ хозяйствъ.

И все шло тихо, исправно, благополучно. Точно въ раю.

Но справились ли бы дореформенные исправники съ обстоятельствами нынѣшняго времени?—спроситъ меня читатель. На это я уже далъ отвѣтъ выше: врядъ ли бы справились, хотя попробовать можно.

Но вѣдь и нынѣшніе исправники... развѣ они справляются? нѣтъ, не справляются.

Такъ о чемъ же тутъ споръ?

Въ заключеніе мнѣ остается только упомянуть о почтмейстерахъ и уѣздныхъ стряпчихъ. Постараюсь быть краткимъ.

Почтмейстеры были наивны и любознательны. Географію знали недостаточно и потому нерѣдко засылали почту вмѣсто Вятки въ Кяхту—и наоборотъ. Но такое тогда волшебное время было, что даже отъ подобныхъ засылокъ никто чувствительнаго ущерба не ощущалъ. Вотъ что значитъ «порядокъ вещей».

Что касается до уѣздныхъ стряпчихъ, то они представляли собой въ древности то же самое начало, какое нынче представляютъ прокуроры и ихъ товарищи. Это одно ужъ служитъ для нихъ отмѣнной рекомендаціей.

Вечеръ третій.

ВЪ ТРАКТИРѢ «ГРАЧИ».

Комната первая.

Въ седьмомъ часу вечера въ трактирѣ «Грачи» собрались три статскихъ совѣтника. Первый, Емельянъ Иванычъ Пугачевъ, служилъ въ департаментѣ пересмотровъ и преуспѣяній; второй, Порфирій Семенычъ Вожделенскій — въ департаментѣ препонъ, и наконецъ третій, Антонъ Юстовичъ Жюстмильё (сынъ учителя французской грамматики, принявшаго русское подданство)—въ департаментѣ оговорокъ. Всѣ трое были начальники отдѣленій, имѣли соотвѣтствующіе знаки отличія и пользовались, каждый по своему вѣдомству, довѣріемъ начальства.

Ежедневно они собирались въ «Грачахъ» въ тотъ часъ, когда обыкновенно кончаются въ департаментахъ занятія. Ѣли рублевый обѣдъ и пріятельски бесѣдовали. Они были друзья, хотя въ характерахъ, въ образѣ мыслей и даже въ предметахъ ихъ служебныхъ занятій существовало довольно рѣзкое несходство. Пугачевъ былъ сангвиникъ, постоянно волновавшійся и вмѣстѣ съ своимъ департаментомъ всѣхъ звавшій впередъ. Даже въ трактирѣ онъ безстрашно восклицалъ: «свѣту! свѣту больше! вотъ въ чемъ наше спасеніе!»—и не разъ имѣлъ вслѣдствіе этого непріятныя объясненія, изъ которыхъ, впрочемъ, легко выпутывался благодаря заступничеству непосредственнаго начальства. Вожделенскій былъ флегматикъ и консерваторъ, который на всякое преуспѣваніе смотрѣлъ, какъ на «опасную игру», и

вмѣсто всякихъ «пересмотровъ» предлагалъ одобренныя вѣковымъ опытомъ «ежовыя рукавицы». «Право, съ насъ и этого предовольно!»—высказывалъ онъ громко и развивалъ свою программу такъ резонно, что даже буфетчикъ за стойкой умилялся. Что касается до Жюстмильё, то онъ не былъ ни сангвиникъ, ни флегматикъ, не требовалъ ни свѣта, ни ежовыхъ рукавицъ, а вмѣстѣ съ своимъ департаментомъ надѣялся, что со временемъ все разъяснится. А когда все разъяснится, тогда и у начальства руки будутъ развязаны.

Но при собесѣдованіяхъ эти разногласія легко улаживались. Есть почва, на которой сходятся всѣ статскіе совѣтники вообще и на которой не было резона не сходиться и нашимъ статскимъ совѣтникамъ. Это — почва взаимнаго признанія. Пугачевъ, будучи ярымъ поборникомъ преуспѣяній, признавалъ однако-жъ, что и препоны, въ общей экономіи благоустройства, представляютъ небезполезный противовѣсъ; Вожделенскій, съ своей стороны, дѣлалъ такую же уступку относительно преуспѣяній («конечно, нельзя безъ того, чтобы иногда не прикинуть, но...»), а Жюстмильё слушалъ ихъ и радовался. Вслѣдствіе этого, какъ ни различествовали ихъ мнѣнія по существу, но половымъ казалось, что всѣ они говорили одно и то же.

Сейчасъ Пугачевъ восклицаетъ:

— А я про что-жъ говорю! Я именно это самое всегда и утверждалъ.

И пойдетъ, и пойдетъ. Дальше да шире — конца краю нѣтъ. А черезъ пять минутъ, смотришь, уже восклицаетъ Вожделенскій:

— А я про что-жъ говорю! Я именно это самое всегда и утверждалъ.

А Жюстмильё это на̀-руку, ибо онъ и подавно это самое всегда утверждалъ. И буфетчику, и половымъ—всѣмъ на̀-руку.

Словомъ сказать, люди были скромные и незлобивые, которые въ стѣнахъ своихъ департаментовъ какъ львы исполняли возложенныя на нихъ обязанности.

Долгое время проводили они въ сихъ невинныхъ занятіяхъ, взаимно другъ друга признавая и дополняя, и едва ли даже подозрѣвали, что разногласія ихъ когда-нибудь могутъ перейти въ распрю. Благоволеніе царствовало тогда въ воздухѣ; оно же переполняло и бюрократическія сердца. И такъ какъ преуспѣянія провозглашались во имя препонъ,

а препоны во имя преуспѣяній, то трудно было даже разобрать, гдѣ кончаются однѣ и начинаются другія...

Но въ послѣднее время нѣчто произошло. Какъ будто бы выяснилось, что преуспѣяніе есть преуспѣяніе, а препона есть препона. Что ни рядомъ идти, ни другъ друга пополнять или поправлять они ни подъ какимъ видомъ не могутъ, а могутъ только взаимно другъ друга уничтожать. Просіяніе это отразилось и въ сферѣ служебныхъ отношеній. Директоръ департамента преуспѣяній, Рудинъ, и директоръ департамента препонъ, Репетиловъ, вступили въ единоборство. Директоръ департамента оговорокъ, Мямлинъ, попробовалъ-было предложить свое посредничество для умиротворенія борцовъ, но, убѣдившись, что благія его намѣренія могутъ быть истолкованы въ смыслѣ укрывательства, замолчалъ. Или, лучше сказать—болѣе нежели замолчалъ, а началъ умильно взглядывать на Репетилова. Само собою разумѣется, что при этомъ единоборствѣ, въ качествѣ обязательныхъ свидѣтелей, присутствовали Пугачевъ и Вожделенскій. Оба скрѣпляли (а въ большинствѣ случаевъ и сочиняли) самыя колючія бумаги, при чемъ Пугачевъ напрягалъ послѣднія усилія, входилъ въ лиризмъ, но не чуждался и ироніи, а Вожделенскій холодно и резонно подсиживалъ. Что же касается до Жюстмильё, то онъ выслушивалъ каждаго по очереди и каждаго же по очереди удостовѣрялъ: «помилуйте! да я самъ всегда это утверждалъ!»

Разумѣется, эта канцелярская экзема высыпала преимущественно на бумагѣ. Однако-жъ и на обѣденныхъ собесѣдованіяхъ она не могла не отразиться. Пріятели попрежнему сходились и дружески диспутировали, но въ эти диспуты уже закралась какая-то сложная и загадочная нота, въ составъ которой, съ одной стороны, входила горечь обманутыхъ надеждъ и ожиданіе грядущей бѣды, въ формѣ отставки или упраздненія, а съ другой—предвкушеніе какого-то нелѣпаго торжества. И Пугачевъ и Вожделенскій поняли, что до сихъ поръ они держались на теоретическихъ высотахъ, а теперь совсѣмъ неожиданно встрѣтились лицомъ къ лицу съ нѣкоторою загадочною практикой. Одинъ Жюстмильё плохо смекалъ и все убѣждалъ: «ахъ, господа! да объяснитесь же наконецъ!»

— Да вѣдь мы это такъ... съ точки зрѣнія... — разувѣрялъ его Пугачевъ.

— А то какъ же! разумѣется, съ точки зрѣнія! — подтверждалъ и Вожделенскій.

Пріятели расходились пріятелями, а на слѣдующій день, съ первой же ложкой щей, опять начинала звучать загадочная нота.

Однимъ словомъ, настала минута, когда въ головѣ у Пугачева при взглядѣ на Вожделенскаго сама собой сложилась мысль: «отъ руки этого человѣка мнѣ суждено принять смерть!» И, къ удивленію, та же мысль, хотя и въ менѣе отчетливой формѣ, начинала по временамъ зарождаться и въ головѣ Жюстмильё. Ибо и онъ уже догадывался, что требованія растутъ и растутъ, а время бѣжитъ все быстрѣе и быстрѣе, такъ что, пожалуй, не успѣешь и оглянуться, какъ вдругъ изъ всѣхъ уединенныхъ мѣстъ раздастся вопль: «Оговорки!» Что такое «оговорки»?—это та же крамола, только сдобренная двуязычіемъ и потому во сто разъ болѣе опасная!..

И Вожделенскій, очевидно, понималъ душевную смуту, обуревавшую этихъ людей, потому что глаза его смотрѣли какъ-то особенно ясно, словно говорили: точно такъ-съ.

Трактиръ «Грачи» гудѣлъ какъ улей. Сентябрь былъ еще въ срединѣ, но ненастный, студёный, темный. Въ заведеніи уже горѣли огни, когда наши статскіе совѣтники, голодные и замученные, ворвались въ буфетную и подошли къ стойкѣ. Пугачевъ былъ блѣденъ и положительно изнуренъ. Онъ нервно проглотилъ рюмку полынной, и когда буфетчикъ, вмѣсто селедки, подалъ ему закусить миногу, то онъ оттолкнулъ блюдце рукой и нетерпѣливо замѣтилъ:

— Пора бы, кажется, помнить... не первый годъ!

Напротивъ, Вожделенскій, не торопясь, принялъ рюмку, посмотрѣлъ ее на свѣтъ, выпилъ и сказалъ:

— Послѣ трудовъ и водочки выпить не грѣхъ! Много пить—нехорошо, а рюмку-другую можно!

Что же касается до Жюстмильё, то хоть онъ вообще не чувствовалъ потребности въ передобѣденной рюмкѣ, но ради товарищей полрюмочки выпивалъ. Выпилъ и теперь.

— Погода-то нынче! точно съ цѣпи сорвалась! — молвилъ Пугачевъ, прожевывая селедку.

— И погода и люди—все нынче съ цѣпи сорвалось!— сентенціозно отозвался Вожделенскій.

— Ужъ именно все!—подтвердилъ Пугачевъ:—и люди, и погода, и дѣла... А я что же говорю?

— И я это самое... И дѣла... да, и дѣла! — повторялъ

Вожделенскій, особенно выразительно нажимая на словѣ: «дѣла»...

— И прекрасно! стало-быть, и недоразумѣній никакихъ нѣтъ!—порадовался Жюстмильё.

Но Пугачевъ, повидимому, не обманывалъ себя насчетъ значенія сказанной Вожделенскимъ фразы. Потоптавшись съ минуту, онъ сказалъ:

— Будемъ, что ли, обѣдать?

Но спросилъ такимъ тономъ, какъ будто ждалъ, что вотъ-вотъ Вожделенскій скажетъ: «нѣтъ, я одного человѣчка поджидаю»—и затѣмъ уйдетъ въ другую комнату и отобѣдаетъ втихомолку одинъ.

Однако Вожделенскій не сдѣлалъ этого, а, напротивъ, съ обычнымъ дружелюбіемъ отвѣтилъ:

— За этимъ пришли, такъ, разумѣется, надо обѣдать.

Лѣнивыя щи пріятели вычерпали быстро и молчаливо. Проглотивши послѣднюю ложку, Пугачевъ откинулся на спинку кресла и сказалъ:

— А департаментъ-то нашъ, кажется... ау!

— Что̀ такъ?—откликнулся Вожделенскій какъ бы удивленно, но съ затаенной ироніей.

— Да такъ... видимости нѣкоторыя проявляются... Будто ужъ вы и не знаете?

— Не знаю,—отрекся Вожделенскій.—О преобразованіяхъ, не скрою, слыхалъ, а чтобы совсѣмъ упразднить—объ этомъ не знаю.

— Ну, да, преобразованія... У насъ вѣдь всегда съ преобразованій начинается... Сначала тебя преобразуютъ, а потомъ и упразднятъ.

— Не упразднятъ-съ, а остепенятъ, въ надлежащія рамки поставятъ—это такъ! Это—бываетъ! Да вѣдь оно и не можетъ иначе быть.

— Совершенно справедливо,—согласился Жюстмильё.

— Въ чемъ же остепененіе-то будетъ состоять?

— А въ томъ и будетъ состоять, что служить такъ служить, а либеральничать такъ либеральничать. Только и всего.

Никогда еще Вожделенскій не говорилъ такъ опредѣлительно. Очевидно, онъ чувствовалъ подъ ногами вполнѣ твердую почву. Пугачевъ угрюмо сдвинулъ брови и потупился. Жюстмильё тоже какъ будто оторопѣлъ и смущенно уставился глазами въ зеленую массу протертаго щавеля, изъ которой торчали куски зачерствѣлой телятины (фрикандо).

«А потомъ, можетъ-быть, и департаментъ оговорокъ остепенять начнутъ!» думалъ онъ, полегоньку вздрагивая.

— Чѣмъ же мы... худо служили?—спросилъ Пугачевъ послѣ минутнаго замѣшательства.

— Худо не худо, а не-бла-го-вре-мен-но!—отчеканилъ Вожделенскій и затѣмъ, перевернувъ блюдце съ фрикандò, осмотрѣлъ его со всѣхъ сторонъ, на мгновеніе поколебался, но наконецъ перекрестился и запустилъ ложку въ гущу: съ Богомъ!

— Чтò такое «неблаговременно»? Это насчетъ прожектовъ, что ли?—присталъ Пугачевъ.

— И насчетъ прожектовъ и вообще. Общество волнуете.

— А я такъ думаю—совсѣмъ напротивъ. Утѣшеніе подаемъ

— Вы думаете такъ, а другіе думаютъ иначе. Вы говорите: утѣшеніе, а другіе говорятъ: вредъ.

— Въ чемъ же вредъ? Ежели обществу показываютъ перспективы, ежели ему даютъ понять, что потребности его имѣются въ виду... въ чемъ же тутъ, смѣю спросить, вредъ?

Пугачевъ былъ взволнованъ и возвысилъ голосъ: Вожделенскій, который вообще не любилъ «исторій», поспѣшно вычищалъ ножикомъ зеленую массу и молчалъ. Жюстмильё сидѣлъ какъ на иголкахъ, но на всякій случай посылалъ умильные взоры въ сторону Вожделенскаго.

— Легко сказать: вредъ!—горячился Пугачевъ:—а чтò такое вредъ? Развѣ мы что-нибудь когда-нибудь предваряли? развѣ мы что-нибудь когда-нибудь распространяли или поощряли? Въ чемъ заключалась наша задача?—она заключалась въ томъ, чтобы показывать обществу перспективы! Для чего нужны были перспективы?—для того, чтобъ уберечь общество отъ химеръ и преувеличеній! Для того, чтобъ его успокоить, обнадежить, утѣшить. Полагаю, что въ этомъ ничего неблаговременнаго нѣтъ!

— То-есть какъ вамъ сказать...—вставилъ свое слово Жюстмильё, но Пугачевъ не обратилъ на него никакого вниманія и даже сдѣлалъ рукою движеніе, словно досадную муху смахнулъ.

— Я думаю, что даже добрая политика такихъ указаній требуетъ,—продолжалъ онъ.—Необходимо, чтобъ общество видѣло... чтобъ оно, такъ сказать, въ надеждѣ было... Вы говорите: прожекты. А позвольте спросить, какіе-такіе у насъ были прожекты, которые бы, такъ сказать... ну, тамъ

волненіе или движеніе, что ли... Слава Богу! тихо, смирно, благородно!

— Ну, было-таки, Емельянъ Иванычъ, было! что̀ говорить!—пошутилъ Вожделенскій, искрививъ ротъ въ улыбку.

Жюстмильё тоже искривилъ ротъ и даже одинъ глазъ прищурилъ. Очевидно, онъ силился что-то угадать. А можетъ-быть, даже и угадалъ, что обычное его посредничество между спорящими сторонами едва ли на этотъ разъ будетъ благовременно.

— Что̀ такое было?—гремѣлъ Пугачевъ:—это вы насчетъ *тѣхъ*, что ли? Такъ развѣ мы поощряли? развѣ мы покрывали? А что касается до перспективъ, такъ вѣдь и это въ тѣхъ же видахъ... Нельзя безъ перспективъ! нужно, чтобъ общество имѣло въ виду: вотъ, молъ, что̀ для васъ... А тамъ какую перспективу въ ходъ пустить, а какую попридержать—это ужъ не мы! Наше дѣло—сообразить, изложить, представить, а потомъ...

— А потомъ ужъ «не мы»? — съехидничалъ Вожделенскій.

— Тамъ какъ хотите, смѣйтесь или не смѣйтесь, а я правильно говорю. Наше дѣло—машину завести: общество занять, пищу ему предоставить, а рѣшить, какая перспектива благовременна, а какая неблаговременна—это ужъ не отъ насъ зависитъ.

— А отъ кого же?

— Ну, тамъ...

— Мы, дескать, намутимъ, а вы—какъ знаете?.. Ахъ, господа, господа! Нѣтъ, это не такъ. По-моему, надо такъ: служить такъ служить, а мутить такъ мутить!

— Но вѣдь мы и служимъ. Развѣ мы противодѣйствуемъ?

— Еще бы вы противодѣйствовали! Не о противодѣйствіи идетъ рѣчь, а о содѣйствіи, сударь, о содѣйствіи! Объ томъ, чтобъ у всѣхъ одинъ планъ, одна мысль, одна забота... вотъ объ чемъ!

— Но вѣдь и мы... развѣ вашъ департаментъ когда-нибудь примѣчалъ за нами? Напротивъ, мы всегда, можно сказать, всей душою... содѣйствовали...

— Нашъ департаментъ «дѣломъ» занимается, а не фантазіями-съ. Поэтому вы ни содѣйствія, ни противодѣйствія оказать ему не можете. И не требуется-съ... Такъ по крайней мѣрѣ я полагаю.

— Но мнѣ кажется, что, занимая общество перспективами, мы тѣмъ самымъ уже содѣйствуемъ..

— Не полагаю-съ.

— Если я не ошибаюсь, то Емельянъ Иванычъ хотѣлъ выразить...—вступился Жюстмильё.

— Я очень хорошо понимаю, что̀ хотѣлъ выразить Емельянъ Иванычъ,—сухо отрѣзалъ Вожделенскій:—но, къ сожалѣнію, доводы его не кажутся мнѣ убѣдительными...

И, откинувшись назадъ, онъ хлопнулъ Пугачева по колѣнкѣ и сказалъ:

— Старая система, батюшка, старая!

Водворилось минутное молчаніе, тѣмъ болѣе тягостное, что половой позамѣшкался съ жаркимъ. Наконецъ принесли птицу, и у Пугачева вновь развязался языкъ.

— Не понимаю!—бормоталъ онъ:—департаментъ препонъ—самъ по себѣ, а нашъ департаментъ—самъ по себѣ... Сами вы всегда говорили... Департаментъ преуспѣяній указываетъ, а департаментъ препонъ сдерживаетъ и умѣряетъ... И наоборотъ.

— Старая система, батюшка, старая!—повторилъ Вожделенскій.

— Заладили одно: старая! Въ чемъ же новая-то ваша система состоитъ?

— А вотъ въ чемъ: служить такъ служить, а либеральничать такъ либеральничать.

Хотя Вожделенскій уже не впервые высказывался въ этомъ смыслѣ и въ этихъ самыхъ выраженіяхъ, но на этотъ разъ вышло какъ-то особенно ясно. Безъ перспективъ, а прямо къ цѣли. Пугачевъ вдругъ почувствовалъ, что ему ужъ не очиститься. Да и Жюстмильё, съ своей стороны, страдальчески заметался.

«Навѣрное Вожделенскій завтра въ «Грачи» не придетъ,—блеснуло у него въ головѣ.—Да и вообще не видать его «Грачамъ» какъ ушей своихъ. Любопытно однако-жъ, въ какой онъ трактиръ ходить будетъ?»

— Стало-быть, нельзя даже... А впрочемъ, что-жъ! оно къ тому идетъ — процѣдилъ сквозь зубы Пугачевъ и вздохнулъ.

— Да-съ, къ тому-съ.

— Одного я не понимаю: ежели и нельзя, то все-таки почему же бы мы...

Пугачевъ запнулся, какъ бы вызывая Вожделенскаго на поощреніе, но Вожделенскій ехидно молчалъ. Тогда онъ продолжалъ:

— Повторяю: совсѣмъ мы не въ томъ смыслѣ... не въ

вредномъ... Дать обществу пищу... отклонить его отъ вредныхъ увлеченій... кажется, это именно та самая задача, которою достигается... Ежели департаментъ препонъ самымъ дѣломъ воздѣйствуетъ, то мы, съ своей стороны, косвенно...

— То-то что косвенное-то нынѣ не полагается. Прямо.

— Что-жъ такое! прямо такъ прямо. Вѣдь это только такъ говорилось: «косвенно», а въ сущности оно и всегда было «прямо»...

— Ну-у? такъ ли, полно?

— А ежели и еще прямѣе нужно, такъ и прямѣе...— робко инсинуировалъ Пугачевъ.

— Ну, вотъ вы и объяснились, господа! — обрадовался Жюстмильё.

— Согласны и прямѣе-съ?—въ упоръ хихикалъ Вожделенскій, но такъ ядовито, что Пугачевъ во всемъ тѣлѣ почувствовалъ внезапную слабость.

— Гм!.. стало-быть, нашъ департаментъ — ау?—машинально произнесъ онъ упавшимъ голосомъ.

— Поговариваютъ-съ.

— Безъ преобразованій... прямо?—продолжалъ Пугачевъ, все больше и больше увядая.

— На-двое-съ. Одни говорятъ: реформу! другіе—прямо!

Жюстмильё мучительно заёрзалъ на стулѣ. Въ его сердцѣ окончательно поселилось предчувствіе. Нѣкоторое время однако-жъ онъ не рѣшался высказаться, но подъ конецъ его такъ прожгло, что онъ не выдержалъ.

— А объ насъ... не слыхать? — произнесъ онъ робко, какъ бы не довѣряя собственнымъ словамъ.

— Въ частности—ничего, но вообще...—загадочно молвилъ Вожделенскій.

— Что же такое... вообще! Мы даже и не призывали... Къ обществу мы не обращались, перспективъ не показывали... — оправдывался Жюстмильё, въ пылу обуявшаго страха даже не догадываясь, что онъ косвеннымъ образомъ и съ своей стороны формулируетъ обвиненіе противъ Пугачева.

— Слышали-съ?—ядовито обратился Вожделенскій къ Пугачеву:—вотъ и они понимаютъ... Они не «обращались», не «показывали»... А вашъ департаментъ...

И затѣмъ, отвѣчая Жюстмильё, прибавилъ:

— Я и не выдаю за вѣрное насчетъ вашего вѣдомства. Я говорю только, что вообще... Предрасположеніе такое

нынче въ сферахъ... Содѣйствіе требуется... прямое! А не то чтобы тамъ косвенно или, напримѣръ, ни туда, ни сюда...

Обѣдъ кончился. Пріятели выкурили по папиросѣ, и Вожделенскій почесалъ себѣ колѣнки, въ знакъ того, что пора и во-свояси. Но Пугачевъ намѣренно затягивалъ бесѣду: ему нужно было, во что бы то ни стало, дойти до конца.

— Нѣтъ, вы скажите... этимъ вѣдь шутить нельзя!— говорилъ онъ, волнуясь.—Мы тоже... конечно, обидѣть не долго... ну, что̀-жъ! въ заштатъ такъ въ заштатъ! Но за что̀? Развѣ насъ призывали? развѣ намъ приказывали? объяснили ли намъ хоть разъ: вотъ это—такъ, а вотъ это—не такъ? Призовите! прикажите! Что-жъ! мы съ своей стороны...

— И мы съ своей стороны...—отозвался Жюстмильё.

— То-то что ни призывать, ни приказывать, ни объяснять не видится надобности. Шуму отъ этихъ призываньевъ да приказываньевъ много. Оказательство.

— Что-жъ такое: оказательство?—все больше и больше раздражался Пугачевъ. — Тутъ рѣчь объ участи людей идетъ, а вы: оказательство!

— Не я, а власть имѣющіе.

— Нѣтъ, вы откройтесь. Вы объясните прямо: что̀ за причина? что̀ такое? почему? ка̀къ?

— Чудакъ вы, Емельянъ Иванычъ!—обращаетесь ко мнѣ, точно я властенъ!

— Нѣтъ, вы можете! если вы не властны передѣлать, то можете предупредить, направить... Можете наконецъ зарекомендовать!.. А опять и еще: переформировка предстоитъ или упраздненіе? Ежели только переформировка, то можетъ-быть... Объяснитесь! А то натко! напустили туману, да и на утёкъ!

Вмѣсто отвѣта Вожделенскій усиленно зачесалъ колѣнки и испустилъ звукъ, который ясно означалъ: надоѣлъ ты мнѣ, братецъ, хуже горькой рѣдьки! И затѣмъ началъ потихоньку сниматься съ мѣста.

— Переформировка или упраздненіе?—приставалъ Пугачевъ.

— Не знаю-съ,—сухо отвѣтилъ Вожделенскій, пробираясь къ выходу.

— Ну, и упраздняйте!—пустилъ ему вслѣдъ Пугачевъ:— и упраздняйте... и упраздняйте... упрраздннтели!

Онъ обернулся, думая призвать Жюстмильё въ свидѣтели; но ловкій малый уже исчезъ, точно растаялъ въ воздухѣ.

На другой день, объ ту же пору, Жюстмильё прохаживался по Большой Морской, отъ угла Невскаго до штабной арки и обратно. Онъ явно кого-то поджидалъ и вглядывался въ сумерки. Дѣйствительно, черезъ четверть часа, со стороны Невскаго, показалась знакомая фигура статскаго совѣтника Вожделенскаго, и Жюстмильё мгновенно нырнулъ въ подъѣздъ Малоярославскаго трактира. Минуту спустя онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, уже стоялъ у стойки и тыкалъ вилкой въ блюдце съ килькой. Еще минута—и къ той же стойкѣ подошелъ Вожделенскій.

— Какими судьбами?—воскликнулъ послѣдній, завидѣвъ вчерашняго собесѣдника.

Жюстмильё всѣмъ своимъ женоподобнымъ, потертымъ лицомъ осклабился.

— Да такъ-съ...—пролепеталъ онъ:—признаюсь, послѣ вчерашняго разговора... совсѣмъ мнѣ «Грачи» опротивѣли!

— Но почему же именно сюда?

— Предчувствіе-съ...—застѣнчиво намекнулъ Жюстмильё и снова осклабился.

— Благодарю! — отвѣтилъ Вожделенскій, протягивая руку:—милости просимъ! будемъ, по-старому, вдвоемъ канитель разводить!

И затѣмъ, вспомнивъ о Пугачевѣ, любезно продолжалъ:

— А революціонеръ-то нашъ! поди, дожидается теперь! Перспективы, изволите видѣть, показываетъ! Общество занимать хочетъ! Теперь вотъ и спохватился, да поздно... Близокъ локоть, да не укусишь... ау, братъ! Что-жъ, рублевый, что ли, спросимъ?

— Сегодня ужъ мнѣ позвольте! — засѣменилъ Жюстмильё:—въ знакъ будущаго... И вообще... Человѣкъ! два полуторарублевыхъ! — крикнулъ онъ половому и, пошептавшись съ нимъ, прибавилъ вслухъ: — да чтобы заморозить... непрррмѣнно!

— Никакъ вы кутить собрались!—ласково укорилъ Вожделенскій:—что-жъ! отъ времени до времени это не безъ пользы. Постоянно пить нехорошо, но при случаѣ распить бутылочку-другую—это даже кровь полируетъ!

Черезъ четверть часа пріятели сидѣли за столомъ и оживленно бесѣдовали. Впрочемъ, говорилъ исключительно одинъ

Вожделенскій, а Жюстмильё ласково смотрѣлъ ему въ глаза и распускалъ ротъ. Отъ времени до времени упоминалось о Пугачевѣ въ сопровожденіи нарицательнаго: «революціонеръ». Допускались предположенія: что-то «революціонеръ» теперь дѣлаетъ? ждетъ, поди, а можетъ-быть, и ждать пересталъ, щи ѣстъ?

— Предупреждалъ я его,—ораторствовалъ Вожделенскій, впадая въ учительный тонъ.—Эй, говорю, Емельянъ Иванычъ! не слишкомъ ли, сударь, прытко! Не послушался—вотъ на мое и вышло!

— А жалко почтеннѣйшаго Емельяна Иваныча! хоть и по своей отчасти винѣ, а все-таки жалко!—лицемѣрилъ Жюстмильё, подливая въ стаканы шампанское.

— Это дѣлаетъ честь вашему доброму сердцу, сударь!—снисходительно подхватилъ Вожделенскій. — Я и самъ иногда... по человѣчеству! Всѣ мы люди, всѣ человѣки... Такъ-то.

Жюстмильё весь, всѣмъ существомъ, такъ и расцвѣлъ отъ похвалы.

— Нельзя не жалѣть,—продолжалъ Вожделенскій:—человѣкъ еще въ порѣ, могъ бы пользу приносить... Кабы къ рукамъ, такъ даже прямо можно сказать: золотой человѣкъ!... И вдругъ!

— И вдругъ!—какъ эхо повторилъ Жюстмильё.

Его самого мутило. Хотя Вожделенскій вчера и не высказался опредѣленно насчетъ департамента оговорокъ, но все-таки кое-что запустилъ. Очевидно, что-то готовится. Но что̀ именно, что̀? Переформировка или... Нѣкоторое время Жюстмильё робѣлъ и воздерживался отъ вопросовъ, но къ концу обѣда языкъ его самъ собой обнаружилъ душевную язву.

— Ну, а насчетъ нашего департамента... слышно?—пролепеталъ онъ, освѣщаясь заискивающей улыбкой.

— Поговариваютъ-съ,—кратко отрѣзалъ Вожделенскій.

Жюстмильё мгновенно завялъ.

Комната вторая.

Павелъ Никитичъ Павлинскій только-что возвратился изъ заграничной поѣздки. Человѣкъ онъ былъ среднихъ лѣтъ (скорѣе даже молодой), безсемейный, не предъявлявшій къ жизни чрезмѣрныхъ требованій и не честолюбивый. Служилъ онъ въ департаментѣ раздачъ и дивидендовъ и довольствовался скромною должностью столоначальника, ко-

торую занималъ чуть не десять лѣтъ сряду. Департаментъ этотъ изстари былъ либеральный, и—что особенно было дорого—чиновники его еще въ то время ходили на службу въ пиджакахъ и курили, при отправленіи обязанностей, папиросы, когда въ другихъ департаментахъ не шли дальше цвѣтныхъ брюкъ при вице-кафтанахъ, а курить позволяли себѣ только въ форточку. Это само по себѣ уже составляло приманку, но сверхъ того содержаніе здѣсь было погуще, нежели въ другихъ вѣдомствахъ, да къ концу года и изъ общей массы дивидендовъ на долю каждаго перепадала малая толика. Благодаря этимъ воспособленіемъ, у Павлинскаго всегда водилась вольная деньга, которою онъ и пользовался, чтобы ежегодно дѣлать кратковременныя экскурсіи за границу. Въ концѣ іюля онъ перекидывалъ черезъ плечо дорожную сумку и садился въ вагонъ (непремѣнно I-го класса), а въ началѣ сентября тѣмъ же порядкомъ вновь водворялся въ департаментѣ. Чаще всего онъ дѣлалъ эти экскурсіи на собственный коштъ, но иногда выпрашивалъ какую-нибудь командировку и получалъ отъ казны прогонныя, подъемныя и порціонныя. Пошатается нѣсколько недѣль по Германіи, наблюдаетъ, какъ дѣлаютъ папиросныя гильзы въ Баденъ-Баденѣ, Эмсѣ, Гомбургѣ, и подъ конецъ непремѣнно недѣли на двѣ закатится въ Парижъ.

Въ нынѣшнемъ году ему удалось получить командировку. Предлагалось ему посѣтить Швейцарію и на мѣстѣ изслѣдовать, изъ какихъ элементовъ составляется тамошняя дивидендная масса и въ какой пропорціи оная распредѣляется между швейцарскими властями. Съ этою цѣлью онъ цѣлый мѣсяцъ выжилъ на Женевскомъ озерѣ, посѣтилъ Лозанну, Вевэ, Кларанъ, Монтрё и проч. (въ Женеву однако-жъ не рискнулъ): но, къ сожалѣнію, вездѣ встрѣтился съ серьезными затрудненіями. На всемъ протяженіи Женевскаго озера по вопросу о раздачахъ и дивидендахъ царствовало полнѣйшее невѣжество, почти хаосъ, такъ что на первый разъ онъ долженъ былъ ограничить свои дѣйствія лишь необходимыми разъясненіями и пропагандой. Плоды этой пропаганды приходилось наблюсти въ будущемъ году, что, впрочемъ, не особенно его огорчало, потому что въ перспективѣ обрисовывалась новая командировка съ новыми «воспособленіями» отъ казны. Затѣмъ, выполнивъ свой долгъ добросовѣстно, Павлинскій, по обыкновенію, направилъ путь въ Парижъ. Пообѣдалъ у Вефура, у Вуазена, у Бребана, Маньи, но въ «Café Américain» только «такъ,

посидѣлъ», потому что показалось дорого. Видѣлъ «Peau d'âne», «M-lle Nitouche», «La princesse de Canaries», побывалъ въ «Excelsior», въ «Café des Ambassadeurs» и зашелъ въ «Contributions indirectes»—посмотрѣть, какъ тамъ «наше дѣло стоитъ». Наконецъ въ одинъ дождливый и темный вечеръ сѣлъ въ вагонъ и прикатилъ въ Петербургъ. На утро—въ департаментъ: обѣдать—въ «Грачи». Для человѣка, еще полнаго воспоминаній о «Contributions indirectes» и о Вефурѣ, это былъ переходъ очень рѣзкій; но Павлинскій былъ человѣкъ бодрый и разсудительный, который легко мирился съ суровою дѣйствительностью и безропотно покорялся начертанному на дверяхъ департамента девизу: «Грачамъ—время, а Вефуру—часъ». Онъ понималъ, что иначе дивиденды никогда не были бы поставлены на томъ незыблемомъ основаніи, которое позволяло имъ съ честью выдерживать натискъ всѣхъ остальныхъ вѣдомствъ и даже завистливые намеки на фельдмаршальскія содержанія.

Первый сезонный обѣдъ сотоварищей по дивидендамъ былъ чрезвычайно оживленъ. Собралось человѣкъ шесть собесѣдниковъ, и такъ какъ дивиденды были заранѣе уже вычислены и обозначены, то у всѣхъ на душѣ было свѣтло, бодро и радостно. На радостяхъ потребовали «генеральскую закуску» и, по секрету отъ возвратившагося члена общей дивидендной семьи, заказали пару бутылокъ шипучаго. Затѣмъ, въ ожиданіи ѣды, закурили папиросы, и всѣ лица расцвѣтились такими счастливыми улыбками, что и половые, глядя на господъ, стали улыбаться.

За обѣдомъ рѣчь держалъ по преимуществу Павлинскій. Онъ, не стѣсняясь, называлъ Швейцарію «страною свободы» и подробно перечислялъ благодѣянія, которыя свобода распространяетъ вокругъ себя. Пароходы, желѣзныя дороги, телеграфы, телефоны—все это въ «свободныхъ» странахъ служитъ для общаго блага, а въ «несвободныхъ»—для воровства. А эти гостинницы-дворцы, подобныхъ которымъ нѣтъ въ цѣломъ мірѣ?.. А возможность свободнаго обмѣна мыслей? А личная обезпеченность, которая каждому даетъ право смѣло смотрѣть въ глаза будущему!? А несмѣтныя толпы иностранцевъ, которые добрую половину года наводняютъ страну свободы и тратятъ тамъ свои деньги!? А конституція!?!!

— Я провелъ почти мѣсяцъ въ Кларанѣ,—разсказывалъ Павлинскій:—и ни разу даже не почувствовалъ про-

цесса жизни. Жилъ—вотъ и все. Жилъ—потому, что никто не препятствуетъ жить, жилъ—потому, что не только самъ себя чувствовалъ хорошо, но видѣлъ, что и другіе чувствуютъ себя хорошо. Жить въ одиночку—это все равно, что втихомолку ѣсть, думая только о наполненіи желудка. Жить вмѣстѣ со всѣми—это участвовать *всѣми* силами и способностями души въ наслажденіи общими жизненными благами! Ничего нельзя себѣ представить благороднѣе и чище того душевнаго равновѣсія, которое чувствуешь при видѣ довольства, царствующаго кругомъ!

И затѣмъ, спустившись съ высотъ паренія, онъ прибавилъ:

— Встаешь утромъ, откроешь окно—изумительно! Небо—синее; озеро—голубое; прямо—Dent du Midi; влѣво—безподобная долина Роны, которую со всѣхъ сторонъ стерегутъ сѣдые великаны... Воздухъ—упоительный! теплота—поразительная! Спустишься внизъ—кофей готовъ!

— Dent du Midi? форму зуба, что ли, онъ имѣетъ?—полюбопытствовалъ одинъ изъ собесѣдниковъ, Мозговитинъ.

— Какъ вамъ сказать... это не зубъ, а скорѣе цѣлый рядъ неровныхъ зубовъ. Одинъ разъ при мнѣ дантистъ у попа такой коренной зубъ вырвалъ... Когда середку горы окутаетъ облако, а сверху солнце свѣтитъ, то кажется, словно фантастическій замокъ, съ башнями и бойницами, на облакахъ повисъ... Изумительно!! Напьешься кофею—съ хлѣбомъ, съ ароматнымъ масломъ, съ настоящими сливками—гулять! Небо синее, озеро голубое, кругомъ озера—всего озера сплошь!—каменная набережная... Идешь—и не чувствуешь, что идешь! Что-то есть такое, что возвышаетъ, уноситъ, располагаетъ... Зайдешь въ лавку, купишь винограду—и опять гулять! Въ часъ завтракъ—по звонку. Послѣ завтрака—экскурсія. Иногда пѣшкомъ, иногда—въ шарабанѣ, иногда—по озеру. Кто хочетъ купаться—купается, кто хочетъ ловить рыбу—ловитъ. Свобода—полная. Окрестности — безподобныя. Гліонъ, Вевэ, Уши, Шильонъ, Евіанъ... Нынѣшнимъ лѣтомъ около Шильона, въ Hôtel Byron, Викторъ Гюго жилъ... маститый старикъ! А въ шесть часовъ—обѣдъ, опять по звонку! Обѣдаешь—а въ душѣ музыка!

— Вотъ это—жизнь!—въ восторгѣ отозвался Мозговитинъ, тоже столоначальникъ, хотя и не столь прикосновенный къ дивидендамъ, однако...

— А мы тутъ цѣлое лѣто въ Озеркахъ на Поклонную

гору глазѣли да проектъ о превращеніи пятикопеечныхъ гербовыхъ марокъ въ сорокакопеечныя сочиняли!—съ горечью воскликнулъ третій столоначальникъ, Ловягинъ, преимущественно участвовавшій въ раздачахъ, а не въ дивидендахъ.

— Вы и въ Шильонѣ были?—спросилъ четвертый столоначальникъ, Глухаревъ, служившій въ отдѣленіи «гдѣ раки зимуютъ».

— Еще бы! Шильонскій узникъ! Байронъ! Тамъ и теперь на одной изъ колоннъ его автографъ показываютъ. И столбъ, къ которому былъ прикованъ «добродѣтельный гражданинъ» Бониваръ, и углубленіе, которое онъ сдѣлалъ на плитномъ полу, ходя взадъ и впередъ въ одномъ и томъ же направленіи. Представьте себѣ желѣзную цѣпь, которая не позволяла ему отойти отъ столба дальше нежели на два аршина... И такимъ образомъ цѣлыхъ восемь лѣтъ! Восемь лѣтъ!

— За что же это его такъ?—полюбопытствовалъ пятый собесѣдникъ, Новинскій, который былъ только помощникомъ столоначальника и не успѣлъ еще погрязнуть въ дивидендахъ.

— Любилъ свободу и былъ добродѣтельный гражданинъ — вотъ и все! Для Савойскаго дома, который тогда владѣлъ этою частью Швейцаріи, этого было вполнѣ достаточно.

— Для Саво-ойскаго?!—изумленно переспросили собесѣдники, въ воображеніи которыхъ съ понятіемъ о Савойскомъ домѣ соединялось представленіе о Викторѣ-Эммануилѣ, о Кавурѣ, о Гарибальди и даже о Мадзини.—А теперь-то! теперь-то Савойскій домъ!

— Да, господа, были времена, когда и Савойскій домъ велъ себя не безукоризненно!—продолжалъ Павлинскій.—Въ томъ же Шильонскомъ замкѣ показываютъ, напримѣръ, высѣченное въ каменной скалѣ ложе съ каменнымъ изголовьемъ, на которомъ осужденные проводили послѣднюю ночь. А иногда ихъ обманывали: объявляли прощеніе и вели темнымъ коридоромъ изъ тюрьмы. Но въ концѣ коридора былъ вырытъ колодецъ; осужденный оступался въ него и падалъ на громадные ножи, которые рѣзали его на куски.

— Однако..

— А теперь вокругъ этихъ самыхъ стѣнъ играетъ жизнь, ликуетъ свобода! А именемъ Бонивара названъ лучшій озерный пароходъ... Какой урокъ!

— Все оттого, что прежде тьма была, а теперь—свѣтъ!—рѣшилъ Ловягинъ. — А вонъ въ Озеркахъ хоть замка Шильонскаго нѣтъ, а все кажется, словно ты вокругъ столба на цѣпи ходишь!

— Свѣтъ это главное!—подтвердилъ и Мозговитинъ:—только трудно ему пробиться сквозь тучи... оттого и долгонько бываетъ ждать... Ну, а по нашей части какъ у нихъ?—обратился онъ къ Павлинскому.

— По нашей части, признаться, больше нежели слабо. Представьте себѣ, отъ меня перваго тамъ услышали слово дивидендъ! Пріѣхалъ я въ Кларанъ, осмотрѣлся чуточку, отдохнулъ—и сейчасъ же въ Лозанну, къ тамошнему окружному надзирателю. Спрашиваю: въ какомъ положеніи у васъ дивидендное дѣло? И что же бы вы думали? Онъ даже не понялъ!

— Не понялъ?!

— Не понимаетъ да и все тутъ. Я туда-сюда, толковалъ ему, толковалъ... Одинъ отвѣтъ: «не можетъ быть!» Однако, немного погодя, началъ задумываться.

— Пробрало?

— Кажется, что такъ. Пришелъ ко мнѣ въ Кларанъ, молча пожалъ мнѣ руку и ушелъ.

— Увидите, что тамъ теперь реформы начнутся!

— То-есть... какъ вамъ сказать!.. навѣрное утверждать не берусь. Слишкомъ сильна тамъ консервативная партія. Она непремѣнно будетъ тормозить. Во всякомъ случаѣ это вопросъ настолько существенный, что въ будущемъ году я непремѣнно опять отправлюсь въ Лозанну, чтобъ лично убѣдиться, какое дѣйствіе произвели мои разъясненія.

— Дай Богъ! Дай Богъ! А въ Парижѣ... конечно, тоже побывали?

— Еще бы! Быть за границей и не заѣхать въ Парижъ? Но въ какомъ они нынче трико женщинъ въ феріяхъ выводятъ—ну, просто... Одного не понимаю: зачѣмъ трико?

— А у насъ надѣнутъ на *нее* мѣшокъ, да такой, что гороху четверикъ туда всыпать можно, да еще кисеи цѣлый ворохъ накутаютъ... догадывайся!

— Да, господа, Парижъ—это столица міра! Встанешь утромъ—и сейчасъ чувствуешь... Возьмите одни журналы: «Intransigeant», «Justice», «Combat»... такъ и брызжетъ! Прочитаешь—куда идти? Завтракать?—къ Бребану! Garçon! la carte du jour! Filet de boeuf sauce béarnaise... c'est ça!

Мягко и нѣжно и въ то же время серьезно. Полбутылки вина, на десертъ персикъ, кисть винограда — нигдѣ въ цѣломъ мірѣ подобныхъ фруктовъ нѣтъ! Позавтракавши — на бульваръ. Ходишь, фланируешь, осматриваешь въ окнахъ выставки, и вдругъ... «Вы—русскій?»—Русскій-съ.— «Пріятно познакомиться. А это моя жена, ма фамъ, Прасковья Ивановна». Слово за слово: «Не хотите ли отобѣдать вмѣстѣ?» — Съ удовольствіемъ. «А до обѣда къ Тортони пойдемъ, соломинку пососемъ...» Смотришь, утро и прошло. Отобѣдаешь, а вечеромъ въ театръ!

— Съ Прасковьей Ивановной?

— Ну, да... Какой вы однако-жъ, Ловягинъ! всегда что-нибудь заподозритъ... циникъ!..

Подобные разговоры изъ года въ годъ повторялись въ одной и той же силѣ, почти въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ. Несомнѣнно, что столоначальники, которые ихъ вели, были люди благонамѣренные, либеральные и просвѣщенные; но жизнь русскаго культурнаго человѣка такъ странно сложилась, что онъ тогда только чувствуетъ себя вполнѣ компетентно, когда рѣчь заходитъ объ ѣдѣ, объ атурахъ и дивидендахъ. Правда, что въ послѣднее время трактирныя собесѣдованія обогатились еще однимъ элементомъ: похвалами неуклонности: но ни Павлинскій, ни его товарищи этого элемента еще не допускали. И, по моему мнѣнію, хорошо дѣлали, ибо, право, лучше о вефуровскихъ шатобріанахъ разговаривать, нежели о неуклонности.

Разговоры о неуклонности—самые поскудные изъ всѣхъ. Они раздражаютъ, волнуютъ, вызываютъ на мысль о потасовкѣ. Сидитъ остервенившійся кляузникъ, точитъ изо рта пѣну и сулитъ всякія нелеткія... Какое такое ты полное право имѣешь, наглый ядрило, осквернять мозги постороннихъ лицъ своимъ бѣшенымъ бормотаніемъ? гдѣ почерпнулъ ты смѣлость оподлять землю, которая тебя носитъ, время, въ которое ты живешь, стѣны, среди которыхъ ты точишь свою слюну? откуда пришла къ тебѣ увѣренность въ безнаказанности? изъ какой упраздненной щели ты выползъ? зачѣмъ?

Несомнѣнно, что современныя собесѣдованія о неуклонности служатъ естественнымъ развитіемъ тѣхъ разговоровъ о бараньемъ рогѣ и ежовыхъ рукавицахъ, которые, лѣтъ двадцать тому назадъ, оглашали дореформенную Россію. Но какая разница въ манерѣ, въ силѣ и въ самомъ со-

держаніи! Въ то время какъ прежніе разговоры представляли собой простую безсмыслицу и, подобно молніи, прорѣзывающей тучу, являлись мимолетнымъ взрывомъ наэлектризованнаго темперамента, нынѣшніе сквернословные діалоги представляются уже выраженіемъ какой-то угрюмой системы, обдуманной въ тиши уединеннаго мѣста, и не потухаютъ мгновенно, а длятся, длятся безъ конца...

Во всякомъ случаѣ я отнюдь не осуждаю Павлинскаго и его товарищей ни за ихъ разговорное безсиліе, ни за то, что ихъ либерализмъ перепутался съ дивидендами и вслѣдствіе этого принялъ своеобразныя, нѣсколько неуклюжія формы. Какъ уже сказано выше, явленія эти зависѣли не столько отъ нихъ самихъ, сколько отъ общаго безсодержательнаго уровня русской культурной жизни.

Но я положительно хвалю ихъ за то, что они никому не угрожаютъ и не сулятъ нелегкихъ. По моему мнѣнію, между гражданами одной и той же страны не можетъ быть допускаемо ни трактирнаго подсиживанія, ни угрожательной полемики вообще. Обыватели обязаны сидѣть въ трактирахъ смирно, а ежели иногда имъ приходится слышать произносимыя поблизости несочувственныя рѣчи, то они не должны забывать, что виновный въ произнесеніи таковыхъ рѣчей отвѣтственъ за нихъ передъ компетентною властью, а отнюдь не передъ трактирными завсегдатаями. Конечно, бываютъ рѣчи, отъ коихъ тошнитъ, но лучше тошноту перенести, нежели входить въ рискованныя трактирныя пререканія. Именно такъ и поступали Павлинскій съ товарищи. Когда надворный совѣтникъ Скорпіоновъ, обѣдая въ ихъ сосѣдствѣ, провозглашалъ, что либераловъ слѣдуетъ топить въ рѣкѣ, они не только не сворачивали ему за это скулъ, но дѣлали видъ, что скорпіоновскія рѣчи вовсе до-нихъ не относятся. Вообще они вели себя въ этомъ дѣлѣ съ тѣмъ тонкимъ тактомъ, который всякому прозорливому столоначальнику свойственъ. То-есть не отрицали неуклонности, но и не шли къ ней навстрѣчу. Когда же передъ ними ставили этотъ вопросъ рѣзко и въ упоръ, то отзывались, что неуклонность находится въ другомъ вѣдомствѣ и слѣдовательно оцѣнкѣ ихъ не подлежитъ. И такимъ образомъ находили отговорку, которая служила имъ очень приличнымъ прикрытіемъ.

Тѣмъ не менѣе времена настолько созрѣли, что вопросъ о неуклонности принялъ нарочито назойливыя формы. Весь воздухъ до такой степени насытился неуклонностью, что

люди смирные тщетно мечутся, изыскивая способы отмолчаться. Неуклонность слѣдуетъ за ними по пятамъ въ образѣ жестоковыйныхъ кляузниковъ, которые съ беззавѣтнымъ нахальствомъ проникаютъ и въ публичныя мѣста и въ частныя квартиры. Способность мыслить становится тяжелымъ бременемъ, а попытка формулировать какую бы то ни было мысль—рискомъ, не обѣщающимъ ничего хорошаго...

Я знаю, меня обвинятъ въ преувеличеніи. Скажутъ: хотя кляузники и существуютъ, но, въ сущности, они составляютъ очень мизерное меньшинство... Прекрасно, пусть будетъ такъ. Но, во-первыхъ, таково свойство кляузы, что она и въ одиночку легко поражаетъ разрозненныя и слабыя массы; а во-вторыхъ, вѣдь и трихина прокрадывается въ организмъ лишь небольшими партіями, а какія она расплодаетъ массы, какъ только найдетъ для себя благопріятную среду!

Какъ бы то ни было, но мирное собесѣдованіе столоначальниковъ было возмущено самымъ страннымъ образомъ.

Разсказавъ подробности своего заграничнаго путешествія и отдавъ дань похвалы соусу soubise, подаваемому у Бребана къ котлетамъ изъ présalé, Павлинскій очень любезно обратился къ товарищамъ съ вопросомъ:

— Ну, а вы, горемычные, какъ тутъ лѣтомъ пропекались?

Невиннѣе и естественнѣе этого вопроса ничего не могло быть. Невиннѣе—потому что ничего виновнаго онъ въ себѣ не заключалъ: естественнѣе — потому что самые элементарные законы общежитія требовали, чтобы въ отвѣтъ на выраженное друзьями доброжелательство заплатить имъ такимъ же доброжелательствомъ. Что же касается до выраженія: «горемычные», то хотя въ немъ и слышится нѣкоторая тривіальность, но такъ какъ въ законахъ не выражается требованія, чтобы для разговоровъ въ трактирѣ «Грачи» употреблялся высокій слогъ, то и въ этомъ отношеніи Павлинскій былъ, какъ говорится, «въ порядкѣ».

Но не такъ думалъ объ этомъ надворный совѣтникъ Скорпіоновъ, который, какъ только заслышалъ вопросъ Павлинскаго, такъ тотчасъ же залаялъ. На этотъ разъ онъ обѣдалъ съ титулярнымъ совѣтникомъ Аникой Тарантуловымъ, который, подобно Скорпіонову, не имѣлъ «постоянныхъ» занятій, а добывалъ себѣ пропитаніе «похвальными поступками». Тѣмъ не менѣе, не имѣя правильныхъ способовъ существованія, ни тотъ, ни другой не имѣли и

правильнаго обѣда, а довольствовались чѣмъ попало, преимущественно напирая на водку. На сей разъ Тарантуловъ ѣлъ подовый пирогъ, а Скорпіоновъ—московскую селянку. Ѣли и въ промежуткахъ между глотками испускали охранительные звуки.

— А по-моему, такъ именно тѣ, по справедливости, «горемычными» назваться могутъ, кои по заграницамъ да по Парижамъ «горе мыкаютъ»,—обратился Скорпіоновъ къ Тарантулову, какъ бы продолжая «самостоятельный» разговоръ.

— Что̀ такъ! а я, напротивъ, слыхалъ, что тѣ нынче «интеллигентными» себя величаютъ!—отозвался Аника, и такъ ему смѣшно показалось, что онъ не выдержалъ и захохоталъ:—ха-ха!

— Удивляюсь!—продолжалъ самостоятельно резонировать Скорпіоновъ: — не тому удивляюсь, что развратъ этотъ нынѣ всюду въявь проникъ, а тому, что никто не вступится. Кажется, только бы слово одно! Одно бы только словечко: братцы! вотъ они!—и всѣхъ бы этихъ интеллигентовъ...

— Ау?!—хихикнулъ Тарантуловъ.

Хотя Павлинскій старался показать, что онъ не слышитъ скорпіоновскихъ рѣчей, но невольное волненіе выдало его. И волненіе это очень характерно выразилось въ томъ, что онъ машинально и какъ-то растерянно повторилъ свой вопросъ:

— А вы, горемычные, какъ лѣтомъ пропекались?

Голосъ его звучалъ неспокойно; губы слегка поблѣднѣли; ножикъ, которымъ онъ разрѣзывалъ птицу, дрожалъ. Къ сожалѣнію, и между товарищами произошло нѣкоторое замѣшательство, такъ что они не могли утверждать, что скорпіоновскій лай не коснулся ихъ.

— Что̀ же мы! — смалодушничалъ Ловягинъ: — своимъ дѣломъ занимались—только и всего!

— Сквернословили!—пояснилъ Скорпіоновъ.

— Ладненько да смирненько — и не видали, какъ лѣто прошло!—присовокупилъ Мозговитинъ.

— Я въ Озеркахъ жилъ, Ѳедоръ Ѳедорычъ—въ Лиговѣ, Василій Иванычъ—въ Стрѣльнѣ, Иванъ Павлычъ—въ Лѣсномъ. Располземся къ обѣду, какъ раки въ разныя стороны, а утромъ опять въ департаментѣ къ своимъ дѣламъ обратимся.

— Только погода все лѣто ужасная стояла! по цѣлымъ

недѣлямъ солнца не видали! — не остерегся высказаться Повинскій,

— Гдѣ ужъ солнце въ Стрѣльнахъ да въ Озеркахъ видѣть!—«самостоятельно» съехидничалъ Скорпіоновъ.—Оно, вишь, въ Женеву да въ Парижъ спряталось! И какъ это мы съ вами, Аника Иванычъ, и солнце, и звѣзды, и мѣсяцъ—все видѣли? Солнце какъ солнце!

— Мы съ вами не интеллигенты, Василискъ Тимоѳеичъ,— объяснилъ Тарантуловъ: — интеллигенты-то на солнце въ подзорную трубу смотрятъ, а мы по-простецки — голыми глазами!

— Развѣ что такъ... Только ужъ такъ я на этихъ интеллигентовъ сердитъ! Кажется, взялъ бы да...

— Д-да-а!?—видимо растерялся Ловягинъ, однако перемогъ себя и продолжалъ: — но ежели погода была и не вполнѣ благопріятна, зато... Удивительно, какъ нынче тихо было! замѣчательно тихое лѣто!

А Глухаревъ, съ своей стороны, прибавилъ:

— Никогда прежде такъ тихо не бывало! Такъ тихо, что ежели кто не чувствовалъ за собою вины, то смѣло могъ надѣяться, что его не потревожатъ.

— А развѣ когда-нибудь прежде бывало, господинъ Глухаревъ, чтобы невинныхъ тревожили?—возразилъ Скорпіоновъ, безцеремонно врываясь въ пріятельскую бесѣду.

Павлинскаго передернуло. Ему слѣдовало совсѣмъ не обращать вниманія на запросъ, но онъ, повидимому, все еще находясь подъ игомъ воспоминаній о Dent du Midi, не выдержалъ и процѣдилъ сквозь зубы:

— Ахъ, какъ непріятно!

— Непріятно-съ? —подхватилъ Скорпіоновъ.—Позвольте однако-жъ спросить, господинъ Павлинскій, кому больше непріятно: вамъ или вашимъ слушателямъ? Ежели васъ даже скромное напоминаніе о долгѣ приводитъ въ раздраженіе, то что̀ же должны испытывать тѣ, коихъ вы оскорбляете, такъ сказать, въ глубинѣ священнѣйшихъ чувствъ?

На этотъ разъ Павлинскій смолчалъ и нервно торопился доѣсть жареную птицу.

— Какіе дивиденды—и какая неблагодарность?—продолжалъ Скорпіоновъ:—подумали вы, господинъ Павлинскій, кто вамъ эти дивиденды присвоилъ? и на какой предметъ? Фельдмаршальское содержаніе получаете—а какъ выражаетесь... ахъ-ахъ-ахъ! Да если-бъ я... если бы мы, напримѣръ,

съ Аникой Иванычемъ... при такомъ авантажѣ... да мы бы...

Тарантуловъ, услыхавъ это предположеніе, такъ быстро усвоилъ его себѣ, что даже застоналъ:

— Охъ!

Столоначальники молча доѣдали обѣдъ, торопя глазами полового, чтобъ поскорѣе подавалъ перемѣну. Однако-жъ Новинскій, какъ человѣкъ еще молодой и горяченькій, не вытерпѣлъ и хоть несмѣло, но все-таки достаточно громко сказалъ:

— Вотъ ужъ дѣйствительно... трихина!

Но Скорпіоновъ и этимъ не смутился.

— «Трихина»-съ?—такъ, кажется, вы, господинъ Новинскій, изволили выразиться?—очень любезно отпарировалъ онъ: -слыхали-съ! Это червячки такіе миніатюрненькіе... въ ветчинѣ бываютъ?.. Но если бы даже и червячки-съ! если бы и червячокъ правду высказалъ, такъ, по-моему, и отъ червячка не стыдно ее выслушать... Правда—вездѣ правда, и никакіе дивиденды ее неправдой не сдѣлаютъ. Нынче, я слышалъ, въ Москвѣ нѣкоторый человѣкъ проявился: сидитъ въ укромномъ мѣстѣ и все только правду говоритъ! А прохожіе идутъ мимо и слушаютъ! На то она и правда, чтобъ всякій ее слушалъ! А ежели кто добровольно не согласенъ правду слушать, противъ того можно и мѣры принять... Такъ ли я, Аника Иванычъ, говорю?

— Прррвильно! — раскатился Тарантуловъ могучимъ мокротнымъ басомъ.

— Правду, доложу вамъ, даже полезно отъ времени до времени выслушивать,—продолжалъ резонировать Скорпіоновъ:—потому человѣкъ не всегда самъ за собой услѣдить можетъ. Иной и благонамѣренный, а смотришь—онъ ослабъ. Ну, такъ ослабъ, что еще немножко — хоть на цѣпь его сажай, такъ въ ту же пору! И вдругъ, въ этакихъ-то стѣсненныхъ обстоятельствахъ, онъ правду слышитъ. Слышитъ разъ, слышитъ другой... Въ трактиръ придетъ — правда! на службу придетъ—правда! домой придетъ—правда! А что, дескать, ужъ и впрямь не спапашился ли я? Подумаетъ-подумаетъ, да взвѣситъ, да сообразитъ... смотришь, онъ и остепенился! Вотъ она, правда-то, что значитъ! Такъ ли я, Аника Иванычъ, говорю?

— Прррвильно!

— А вы меня трихиной изволили обозвать! Я, васъ жалѣючи, правду говорю, а вы...

— Счетъ!—раздраженно крикнулъ Павлинскій.

— Спѣшите-съ!—уязвилъ было Скорпіоновъ; но въ эту минуту Новинскаго посѣтило вдохновеніе.

— Что такъ рано, Павелъ Никитичъ?—обратился онъ къ Павлинскому:—вѣдь этакъ отъ нихъ, отъ кляузниковъ, и дѣваться некуда будетъ. А мы вотъ что сдѣлаемъ. Господинъ Скорпіоновъ! кажется, графинчикъ-то у васъ сиротой стоитъ?.. Такъ не хотите ли... отъ насъ? а? Человѣкъ! другой графинчикъ господину Скорпіонову! Вы, кажется, очищенную пьете, господа?

— Обыкновенно употребляемъ очищенное вино; но ежели случится двойная померанцевая...

— Прекрасно. Графинъ двойной померанцевой! И два подовыхъ пирога!

Маневръ удался какъ нельзя лучше. Тѣмъ не менѣе онъ совершился настолько внезапно, что даже Скорпіоновъ почувствовалъ себя не совсѣмъ ловко.

— Обыкновенно... мы безвозмездно,—пробормоталъ онъ:—но ежели гостепріимство, и притомъ съ раскаяніемъ...

— Именно такъ: съ раскаяніемъ... Кушайте, господа, не стѣсняйтесь!

Наступила временная тишина. Тарантуловъ быстро рвалъ пирогъ зубами и озирался по сторонамъ, какъ бы кто у него не отнялъ; Скорпіоновъ чавкалъ понемножку, прихлебывая небольшими глоточками изъ рюмки. Столоначальники вздохнули свободно и кидали благодарные взгляды въ сторону Новинскаго, Но прежній дивидендно-либеральный разговоръ уже не вязался.

— Хорошо, господа, на Женевскомъ озерѣ было! небо—синее, озеро—голубое, прямо Dent du Midi, слѣва—Dent du Jaman...—началъ-было Павлинскій, но вспомнилъ, что онъ однажды уже все это разсказалъ, и остановился.

Кляуза сдѣлала-таки свое дѣло: либерализмъ былъ подсѣченъ въ самомъ корнѣ...

Съѣли пирожное, выпили остатки шампанскаго и стали сниматься съ мѣстъ. Столоначальники, впрочемъ, не торопились и показывали видъ, что ничего особеннаго не произошло, кромѣ небольшого, свойственнаго трактирамъ, недоразумѣнія, которое тутъ же и уладилось, къ общему удовольствію.

Но, когда они были уже въ буфетной, Скорпіоновъ прошипѣлъ имъ вдогонку:

— Дивидендщики!

А Новинскій, принимая на подъѣздѣ поздравленія отъ товарищей, говорилъ:

— Что̀ прикажете дѣлать! Только водкой и можно кляузѣ глотку залить! Согласитесь, что, за отсутствіемъ другихъ, это тоже въ своемъ родѣ... обезпеченіе?!

Комната третья.

Крамольниковъ (публицистъ и либрпансёръ) чувствовалъ себя въ этотъ день въ особенности возбужденно.

Съ нѣкоторыхъ поръ онъ «рѣшительно ничего не понималъ». До самой послѣдней минуты онъ думалъ, что существуетъ какое-то отверстіе, въ которое можно заглянуть и изъ котораго отъ времени до времени можетъ пахну̀ть воздухомъ. Ежели не ворота, то подворотня. Щелка наконецъ. И вдругъ даже щели—и тѣ исчезли. Законопачены, замазаны, притерты—нѣтъ вамъ щелей! И что̀ всего обиднѣе: онъ даже сослѣдить не догадался, какимъ образомъ все это произошло. Наканунѣ еще думалъ: завтра утромъ пойду и посмотрю въ щелку! Приходитъ—гладко! Даже мѣсто, гдѣ была щелка, не можетъ опознать. И къ кому онъ ни обращался съ вопросомъ: кто замазалъ и по какому поводу?—всѣ смотрѣли на него съ недоумѣніемъ и даже съ робостью, какъ бы говоря: ишь вѣдь, головорѣзъ, про что̀ вспомнилъ! И отвѣчали вслухъ: «Проходи-ка, братъ, мимо! ни объ какихъ мы щеляхъ не слыхивали! всегда была здѣсь стѣна какъ стѣна!»

Будучи отъ природы любознателенъ, Крамольниковъ, натурально, взволновался. Любознательность вообще свойственна людямъ, которые еще не успѣли сдѣлаться живыми трупами, а онъ не безъ основанія причислялъ себя къ категоріи такихъ людей. Да, онъ не трупъ, онъ еще дышитъ, и легкія его требуютъ прилива свѣжаго воздуха. Въ тайникахъ души онъ простиралъ свои виды довольно далеко и не прочь былъ потребовать даже *всего*. Но такъ какъ онъ зналъ, что *остального* ему не дадутъ, то вынужденъ былъ удовлетвориться щелочкой. Онъ сдѣлалъ эту уступку скрѣпя сердце, но, разъ примирившись съ минимумомъ своихъ притязаній къ жизни—уже не допускалъ изъ него никакихъ урѣзокъ. «Щелка такъ щелка,—провозглашалъ онъ рѣзко:—но зато она моя... всецѣло! Ни линіи, ни поллиніи, ни четверть линіи!» И жилъ въ надеждѣ, что щелка останется неприкосновенною (а можетъ-быть, со временемъ ее и расковырять будетъ можно), и что

онъ сумѣетъ отстоять ее отъ чьихъ бы то ни было притязаній...

Каково же было его огорченіе, когда онъ воочію убѣдился, что щелка—пустое дѣло, и что никому даже не интересно знать, согласенъ ли онъ на урѣзки или не согласенъ. Пришли, замазали и ушли.

Цѣлое утро онъ пробѣгалъ отъ одного знакомаго къ другому, протестуя и жалуясь.

— Представьте себѣ! щелки-то вѣдь ужъ нѣтъ!—сообщалъ онъ одному.

— Да объясните же наконецъ, что̀ такое произошло?—спрашивалъ у другого.

— Вѣдь это ужъ не фактъ, а волшебство! Волшебство! волшебство! волшебство!—повторялъ третьему.

И, даже идя по улицѣ, не стѣсняясь присутствіемъ городовыхъ, повторялъ:

— Какое неслыханное варварство!

Наконецъ, измученный, съ растрепанными нервами, прибѣжалъ въ семь часовъ въ «Грачи», гдѣ имѣлъ обыкновеніе насыщаться. Не обѣдать и даже не ѣсть, а именно только насыщаться.

Тутъ онъ встрѣтилъ цѣлую компанію знакомцевъ, такихъ же либрпансёровъ, какъ и онъ самъ, и не успѣлъ порядкомъ сѣсть на стулъ, какъ уже загремѣлъ:

— Представьте себѣ—щелка-то замазана!.. Утромъ пришелъ, думаю: посмотрю! и вдругъ съ одной стороны—стѣна и съ другой—стѣна! Гдѣ щелка?—нѣтъ щелки!

— А вы только теперь догадались?—молвилъ одинъ знакомецъ.

— Ея ни вчера, ни третьяго-дня ужъ не было... давно!—сообщилъ другой.

— У васъ, должно-быть, празднаго времени много! Ищете Богъ знаетъ чего, говорите объ томъ, что̀ было да и быльемъ поросло!—подтрунилъ третій.

Крамольниковъ усѣлся и началъ глотать пищу. Мужчина онъ былъ вальяжный, нуждавшійся въ питаніи, но глоталъ зря, не сознавая ни вкуса, ни даже свойства подаваемой ѣды, такъ что если-бъ ему подали сладкій пирожокъ, намазанный горчицей, то онъ и его бы проглотилъ. Наконецъ, въ серединѣ обѣда, уничтоживъ цѣлую массу чернаго хлѣба, онъ почувствовалъ себя сытымъ и опомнился. Отставилъ приборъ, оглядѣлся, какъ бы припоминая, какъ онъ сюда попалъ, увидѣлъ знакомыя лица, вспомнилъ и опять загремѣлъ:

— Представьте мое удивленіе! Гляжу, ищу—и ничего не вижу! Смотрю — навстрѣчу Семенъ Иванычъ идетъ. Къ нему: «Семенъ Иванычъ! батюшка! какимъ манеромъ? съ чего?» И что-жъ бы вы думали?—потоптался-потоптался Семенъ Иванычъ—шмыгъ отъ меня на другую сторону улицы! Я—къ Яковъ-Петровичу: «Яковъ Петровичъ! батюшка!»—Этотъ ужъ совсѣмъ дуракъ дуракомъ. «Стыдитесь!»—говоритъ.

— Ха-ха!—раздалось за столомъ.

Но посреди общаго хохота выдѣлился серьезный голосъ, который произнесъ:

— А вы, Крамольниковъ, будьте поосторожнѣе. Помните, что вѣдь здѣсь трактиръ.

Голосъ этотъ принадлежалъ несомнѣнному либрпансёру Тебенькову, который тоже не прочь былъ въ щелочку посмотрѣть. Но такъ какъ онъ былъ малый мудрый, то, разъ убѣдившись, что щелка исчезла, онъ сказалъ себѣ: «ежели она исчезла, то, стало-быть, ея нѣтъ», и благоразумно воздержался отъ всякихъ изслѣдованій по этому предмету.

— Что̀ такое «поосторожнѣе»? и что-жъ изъ того, что здѣсь трактиръ?—разгорячился Крамольниковъ.

А то, во-первыхъ, что самое открытіе, которое васъ такъ поразило, уже указываетъ на необходимость осмотрительности; а во-вторыхъ, то, что въ трактирѣ всякаго гаду довольно.

— Осторожность да осмотрительность—только и слышишь отъ васъ, Тебеньковъ!—вознегодовалъ Крамольниковъ:—докуда же наконецъ?.. И какое кому дѣло до гадовъ?.. Не преувеличиваете ли вы?.. Общество совсѣмъ не такъ низко стоитъ, чтобы сгибаться подъ ферулой какихъ-то «гадовъ»! Напротивъ, при всякомъ удобномъ случаѣ, оно наглядно доказываетъ, въ какую сторону влекутъ его симпатіи. Спрашивается: при такомъ общественномъ настроеніи, что̀ значитъ какихъ-нибудь два-три гада, которые, дѣйствительно, могутъ проскользнуть?

— А то и значитъ, что, несмотря на свою численную слабость, эти два-три гада имѣютъ достаточно силы, чтобы всѣхъ здѣсь присутствующихъ въ осадѣ держать.

Несмотря на то, что Крамольниковъ былъ весь погруженъ въ свои сѣтованія, слова Тебенькова остепенили его. Онъ невольно оглядѣлъ комнату, въ которой они обѣдали, и, къ удовольствію, убѣдился, что въ ней никого, кромѣ своей компаніи, нѣтъ. Правда, изъ сосѣднихъ анфиладъ,

справа и слѣва, доносилось густое гудѣніе, но, по мнѣнію его, это гудѣніе даже обезпечивало тайну интимной бесѣды.

— Яко тать въ нощи, —прибавилъ Тебеньковъ, какъ бы угадывая его мысль.

— А коли такъ,—разгорячился Крамольниковъ:—то давайте вести разговоры, которые низшимъ органамъ свойственны! Нуте-ка, благословясь: мму-у!

— Крамольниковъ, вы нелѣпы!—обидѣлся Тебеньковъ.

— А ежели и это вамъ кажется черезчуръ радикальнымъ, то займемся чѣмъ-нибудь приблизительнымъ. Напримѣръ: какъ называется эта птица, которая поставлена на столъ?

— Судя по могущественному тѣлосложенію, надо бы быть глухарю,—сказалъ онъ.

— А по-моему, такъ это преклонныхъ лѣтъ самоклюй,— отозвался другой.

Догадка за догадкой, пришли къ заключенію, что это коршунъ, который предварительно съѣлъ и глухаря и самоклюя, и затѣмъ, въ качествѣ чего-то средняго, попалъ въ трактиръ «Грачи». Порѣшивши на этомъ, начали ѣсть и вскорѣ такъ освоились, что кто-то даже выразился: «право, хоть бы и еще такую же птицу!» Наѣвшись, закурили папиросы, спросили пива и стали уже настоящимъ образомъ разговаривать.

— Однажды я въ Тверской губерніи лѣтомъ гостилъ, такъ дупелей ѣлъ—вотъ это такъ птица!—сообщилъ одинъ.

— А по-моему тетеревъ, ежели онъ еще цыпленокъ, даже лучше дупеля будетъ!—отозвался другой.

— Тетеревъ-то и не цыпленокъ, а просто «нонѣшній»... ежели, напримѣръ, въ сентябрѣ...—возразилъ третій:—приготовить его въ кастрюлькѣ да дать легонько вздохнуть— высокая это ѣда, господа!

Наговорившись о птицахъ, перешли къ пиву. Одинъ хвалилъ калинкинское: другой предпочиталъ «Баварію»; третій вспомнилъ о пивѣ Даньельсона въ Москвѣ, щелкнулъ языкомъ и прибавилъ: «Вотъ это такъ пиво было... дореформенное!»

Словомъ сказать, такъ увлеклись, что никто бы и не подумалъ, что люди ведутъ разговоры, высшимъ организмамъ несвойственные. Одинъ Крамольниковъ нервно пожималъ плечами, приговаривая: «каплуны! ай да каплуны!» Наконецъ онъ не выдержалъ, всталъ съ мѣста и зашагалъ по комнатѣ.

— Растолкуйте вы мнѣ, мудрецы!—началъ онъ, обращаясь къ пріятельской компаніи:—почему то, чему присвоивается названіе «правды» по ту сторону Вержболова, называется неправдой и превратнымъ толкованіемъ по сю сторону? почему то, что̀ признаётся не только безопаснымъ, но даже благотворнымъ по ту сторону, становится опаснымъ и вреднымъ по сю сторону? почему люди, считающіеся надежнѣйшею поддержкою порядка—*тамъ*, являются *здѣсь* подрывателями, чуть не разбойниками? почему наконецъ одинъ и тотъ же человѣкъ какой-то пустой рѣчонкой, составляющей границу, разсѣкается на-двое? Почему-съ?

— Потому, вѣроятно, что въ Вержболовѣ—таможня, — спокойно рѣшилъ Тебеньковъ.

— Не понимаю! Можетъ-быть, вы, по обыкновенію, изволите шутить... и, можетъ-быть, даже очень остроумно... Но я—не понимаю! Вообще я шутокъ не понимаю. Не понимаю-съ! не понимаю-съ!—повторилъ онъ раздраженно.— Время, въ которое мы живемъ, такъ серьезно и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ сурово, что двусмысленности кажутся мнѣ неумѣстными. Да-съ, неумѣстными-съ.

— Но я и не думалъ шутить. Я говорю, что въ Вержболовѣ существуетъ таможня, точно такъ же, какъ сказалъ бы, что существуютъ таможни въ Кельнѣ, въ Аврикурѣ, въ Паньи, въ Понтарлье и проч. Вѣдь и по сю сторону, напримѣръ, Аврикура жизненныя условія имѣютъ совершенно иной характеръ, нежели по ту сторону...

— Не «совершенно иной», а «до извѣстной степени иной»—это такъ. Разница тутъ только въ размѣрахъ, а не въ сущности. Понятія объ общественномъ благѣ и общественномъ вредѣ, объ основахъ, на которыхъ покоится общественный порядокъ, общая безопасность и личная обезпеченность,—и тамъ и тутъ одни и тѣ же. А ежели политическія формы въ одномъ мѣстѣ шире, а въ другомъ уже, то, право, это вопросъ второстепенной важности. Средній человѣкъ не гонится за политической номенклатурой, а дорожитъ только реальными благами: но, разумѣется, не одними матеріальными благами, а и духовными. А такъ какъ къ числу послѣднихъ принадлежитъ...

— Ахъ, да знаемъ мы, что̀ къ числу послѣднихъ принадлежитъ,—рѣзко прервалъ его Тебеньковъ:—не только знаемъ, но даже можемъ и вамъ предложить небезполезный по этому поводу совѣтъ. Оставьте вы эту безплодную игру

въ вопросы и отвѣты! а если не можете совсѣмъ оставить, то отложите ее до болѣе благопріятнаго времени!

— Вы сказали: «до болѣе благопріятнаго времени»? Стало-быть, вы признаёте, что нынѣшнее время...

— Ничего я не признаю, ни не признаю. Просто-напросто не желаю.

— Чего же вы не желаете, господинъ Тебеньковъ? и почему такъ скромно? Не доказываетъ ли это...

— Ничего не доказываетъ. Мы пришли сюда обѣдать, а не политическіе вопросы обсуждать. Не желаю—и будетъ съ васъ.

— Странно!

Крамольниковъ горько улыбнулся, раскрылъ ротъ, чтобы еще что-то сказать, но воздержался и принялся шагать взадъ и впередъ по комнатѣ.

— Въ Москвѣ я однажды дѣвицу видѣлъ...—раздался чей-то голосъ среди общаго молчанія.

— Позвольте-съ!—сурово прервалъ Крамольниковъ:—объ московской дѣвицѣ вы послѣ разскажете, а теперь рѣчь вотъ объ чемъ. Позвольте васъ спросить, господа мудрецы: отчего прежде былъ Стыдъ, а теперь—нѣтъ его?

Крамольниковъ скрестилъ на груди руки и неукоснительно требовалъ отвѣта.

— Ахъ, Крамольниковъ!—произнесъ Тебеньковъ съ явнымъ оттѣнкомъ нетерпѣнія.

— Знаю я, что я Крамольниковъ, но не въ этомъ дѣло. Скажите: почему еще такъ недавно обыватель самаго несомнѣнно-заскорузлаго пошиба, развивая тезисъ о пользѣ ежовыхъ рукавицъ, всегда оговаривался: «Знаю, молъ, я, что ежовыя рукавицы не составляютъ послѣдняго слова науки, но что же дѣлать, если безъ нихъ нельзя обойтись? Погодите! Потерпите! Придетъ время, когда нецѣлесообразность этого средства обнаружится сама собою; но при настоящихъ условіяхъ оно представляетъ очень существенное подспорье. Временное, коли хотите, и даже... не вполнѣ нравственное, но тѣмъ не менѣе несомнѣнное и необходимое!» Вотъ сколько нужно было оговорокъ, чтобы объяснить—не защитить, а только объяснить—ежовыя рукавицы! Почему, спрашиваю я васъ, этотъ заскорузлый человѣкъ не отстаивалъ ежовыхъ рукавицъ по существу, а только объяснилъ ихъ, какъ явленіе временное, допускаемое, такъ сказать, съ стѣсненнымъ сердцемъ? И почему онъ нынѣ объявляетъ прямо: «ежовыя рукавицы—и средство и цѣль!

кромѣ ежовыхъ рукавицъ ничего нѣтъ и не будетъ!» Почему-съ? А потому, государи мои, что когда-то у этого обывателя Стыдъ въ глазахъ былъ, а теперь—и слѣда его нѣтъ! Вотъ.

Крамольниковъ все больше и больше возвышалъ голосъ, а слушатели его все больше и больше жались и озирались по сторонамъ, испытывая сквозь открытыя двери пространство, наполненное пестрыми кучками завсегдатаевъ. Нѣкоторые изъ слушателей даже заносили ноги, съ намѣреніемъ, при первомъ случаѣ, улепетнуть.

— Почему вы сами, господа,—не унимался Крамольниковъ:—еще такъ недавно съ охотой вступали въ собесѣдованіе по поводу самыхъ горячихъ вопросовъ жизни, а теперь вы не только уклоняетесь отъ подобныхъ вопросовъ, но прямо стараетесь заглушить въ себѣ эту потребность разговорами, человѣческому естеству несвойственными? Не потому ли, что прежде вы чувствовали въ сердцахъ вашихъ движеніе совѣсти, а теперь — чувствуете только постыдные порывы самосохраненія? Затѣмъ позвольте еще одинъ нескромный вопросъ...

— Оставьте, Крамольниковъ!—раздалось нѣсколько голосовъ:—положительно, вы дѣлаетесь невозможны!

— Кто? я невозможенъ? — уже полнымъ голосомъ возопилъ Крамольниковъ:—я, который довелъ свои требованія до минимума? я, который, въ виду суровой дѣйствительности, добровольно отказался отъ завѣтнѣйшихъ мечтаній жизни и подчинилъ ихъ представленіямъ возможнаго, доступнаго и благовременнаго? я, который, подобно алчущему еленю, искалъ чистыхъ струй для утоленія угнетавшей меня жажды и вмѣсто того удовлетворялъ ее словами: подождите! потерпите!? я, который, въ надеждѣ славы и добра, съ восхищеніемъ повторялъ: наше время—не время широкихъ задачъ?! я, который, цѣлымъ рядомъ передовицъ, доказывалъ, что на первый разъ мы обязываемся довольствоваться щелкой... съ тѣмъ, разумѣется, чтобы щелка, расширяясь въ строгой постепенности, образовала со временемъ соотвѣтствующее отверстіе?? Я невозможенъ? я?!

Онъ кричалъ такъ громко, что въ дверяхъ уже показалось нѣсколько ябедническихъ головъ. Въ рядахъ либрпансёровъ обнаружилось серьезное безпокойство, чуть не смятеніе, и ноги ихъ рѣшительнѣе прежняго начали заноситься по направленію къ выходу. Замѣтивъ это движеніе, Крамольниковъ простеръ руки, какъ бы удерживая бѣгле-

цовъ. Въ этой позѣ онъ напоминалъ собой капельмейстера, который началъ назначенный въ программѣ Concertstück и уже не можетъ не довести его до конца. Всецѣло поглощенный горькими впечатлѣніями дня, онъ утратилъ всякое представленіе о времени и мѣстѣ. Вперивъ глаза въ пространство, онъ, казалось, отыскалъ въ немъ какое-то лучезарное мелькаціе, которое заставило его позабыть и о слушателяхъ, и объ инстинктахъ самосохраненія, заставлявшихъ этихъ слушателей смотрѣть на всякое «проявленіе» или «оказательство», какъ на скандалъ, который самъ по себѣ, помимо злостныхъ комментаріевъ, можетъ запутать и обвинить цѣлую массу совсѣмъ неприкосновенныхъ людей.

— Я каюсь!—бичевалъ онъ самъ себя:—я былъ малодушенъ! Мало того: я былъ... постыденъ! Я измѣнилъ большимъ убѣжденіямъ и примирился съ малыми... это нечестно! Вмѣсто того, чтобъ идти широкимъ вольнымъ путемъ, я предпочелъ окольныя тропинки; вмѣсто того, чтобы вступить на торжище жизни воротами, я удовольствовался заглядываніемъ въ щелку... какъ рабъ! Я думалъ, что это знаменуетъ мудрость, а на повѣрку вышло, что это была громадная, непоправимая глупость! Въ одно прекрасное утро щелка исчезла, и я остался безъ всего! Я наказанъ жестоко, но заслуженно! Ибо я былъ не только постыденъ, но и глупъ. Глупъ—вотъ что больнѣе всего! Постыдность сама по себѣ можетъ служить даже залогомъ успѣха; глупость—можетъ служить залогомъ только безсрочнаго оплеванія! Постыдному человѣку, только при очень благопріятныхъ условіяхъ, могутъ сказать въ глаза: ты постыденъ! Глупому человѣку, при всякихъ условіяхъ, благовременно и безвременно, говорятъ: дуракъ! дуракъ! дуракъ! Вотъ именно такимъ дуракомъ я сознаю себя...

Онъ остановился, отыскалъ чей-то до половины наполненный стаканъ пива, залпомъ его выпилъ и продолжалъ, попрежнему вперяя глаза въ пространство:

— Тѣмъ не менѣе мнѣ сдается, что какъ ни обидна глупость, но при извѣстной обстановкѣ она можетъ служить смягчающимъ обстоятельствомъ. «Постыденъ, но безъ разумѣнія»—такой вердиктъ еще можно вынести! Но ежели вердиктъ гласитъ кратко: «постыденъ!» и только по неизреченному милосердію судей не прибавляетъ: «съ предварительно обдуманнымъ намѣреніемъ»—такого страшнаго вердикта положительно нельзя вынести! И хотя я никого прямо

не называю, къ кому могъ бы быть примѣненъ подобный жестокій вердиктъ, но все-таки приглашаю васъ обдумать мои слова, господа! Къ сожалѣнію, многіе изъ васъ думаютъ, что можно до такой степени умалиться, стушеваться, исчезнуть, что самая суровая дѣйствительность не выдержитъ и поступится хоть забвеніемъ... Тщетная надежда, государи мои! Уступки и забвенія свойственны явленіямъ нарождающимся, не окрѣпшимъ и неувѣреннымъ въ своемъ будущемъ, а не дѣйствительности, имѣющей за собой многовѣковую исторію. Дѣйствительность есть дѣйствительность и, въ силу своей общепризнанности, въ силу своего исконнаго торжества, она никогда и ничѣмъ не поступается и никогда ничего не забываетъ. Она вполнѣ послѣдовательно выполняетъ свою задачу, то-есть подчиняетъ себѣ все, находящееся въ районѣ ея кругозора, фасонируетъ все, что поддается ея дѣйствію, а неподдающееся— выбрасываетъ за бортъ. Вотъ будущность, которая предстоитъ. И вы не минуете ея, хотя и надѣетесь, что норы, въ которыхъ вы спрятались, *въ ожиданіи лучшихъ дней*, не выдадутъ васъ. Выдадутъ, господа! Да и вы сами наконецъ не вытерпите насильственнаго заключенія и выйдете! И вотъ, когда это случится, передъ вами немедленно встанетъ все ваше робкое скудное прошлое, и встанетъ не въ видѣ укора въ скудости, какъ вы постыдно надѣетесь, а въ видѣ улики въ стремленіи къ потрясенію основъ! Всѣ ваши подходы припомнятся вамъ, всѣ недомолвки будутъ сочтены. Тебеньковъ былъ несомнѣнно правъ, говоря, что одного-двухъ ябедниковъ совершенно достаточно, чтобъ держать въ осадѣ цѣлую массу людей; но онъ позабылъ прибавить, что если дѣйствительно сила ябеды такъ велика, то всякая попытка укрыться отъ нея является, по малой мѣрѣ, безплодною. Я не говорю уже о тѣхъ архиябедникахъ, которые, при посредствѣ печатнаго станка, всю Россію опутали своею подкупною кляузою и на могилу которыхъ потомство, вмѣсто монумента, уготоваетъ осиновый колъ; но сколько есть ябедниковъ третьестепенныхъ, захудалыхъ, которые, собственно говоря, не имѣютъ никакого ябедническаго авторитета, а только похваляются тѣмъ, что они ябедники!.. А вы передъ ними стушевываетесь и въ нихъ признаёте какую-то силу, которая въ одну минуту можетъ васъ скомкать и проглотить!.. Стыдитесь, господа!.. Вспомните, что вы люди, и что не напрасно преданіе отличаетъ человѣческій образъ отъ звѣринаго! Вспо-

мните, что въ извѣстныхъ случаяхъ отсутствіе мужества равняется предательству! Вспомните наконецъ...

Но тутъ Крамольниковъ круто оборвалъ. Случайно оторвавъ глаза отъ лучезарнаго пространства, къ которому они были прикованы, онъ опустилъ ихъ дóлу... Передъ нимъ стоялъ пустой столъ, загаженный пивными пятнами. Собесѣдники, четверть часа тому назадъ сидѣвшіе тутъ, исчезли всѣ до единаго.

Взамѣнъ ихъ въ дверяхъ стояли Скорпіоновъ и Тарантуловъ.

— Ахъ, господинъ Крамольниковъ, какъ вы хорошо говорите,—въ умиленіи воскликнулъ Скорпіоновъ: — то-есть, тàкъ вы говорите! тàкъ говорите!.. вѣкъ бы васъ слушалъ и не наслушался бы!!

Вечеръ четвертый.

ПОШЕХОНСКІЕ РЕФОРМАТОРЫ.

I.

Андрей Курзановъ.

Въ началѣ сороковыхъ годовъ въ семьѣ пошехонскаго мѣщанина Тихона Гордѣева Курзанова проявилась личность, сразу обратившая на себя общее вниманіе. Это былъ сынъ стараго Тихона, Андрей, молодой человѣкъ 20—22 лѣтъ.

Семья Курзановыхъ была бѣдная, смирная и богобоязненная. Старый Тихонъ происходилъ изъ крѣпостныхъ и состоялъ въ дворнѣ помѣщика Беленицына въ качествѣ «живописца». Все, чтò носило на себѣ слѣды масляной краски въ селѣ Верховомъ, начиная отъ половъ «подъ паркетъ» въ барской усадьбѣ и кончая портретной галлереей баръ, барчатъ и барышень, а также иконостасомъ сельской церкви,—все это было дѣломъ рукъ Тихона Курзанова. Въ тогдашнее время помѣщики любили украшать свои жилища произведеніями искусствъ, такъ что почти во всякомъ господскомъ домѣ можно было встрѣтить и «Иродіаду», держащую на блюдѣ голову Іоанна Крестителя, въ которую Иродъ тыкалъ вилкою, и «Сусанну», лежащую въ обнаженномъ видѣ, съ двумя старцами по бокамъ, и «Дѣвушку съ тазикомъ и графиномъ воды», и «Обѣдающихъ дураковъ» и т. д. Тихонъ и такія картины умѣлъ писать.

Человѣкъ онъ былъ смирный и покорный, а въ своей спеціальности положительно неутомимый. Съ утра до вечера онъ готовъ былъ «писать», но зато ко всякой другой работѣ выказывалъ рѣшительную неспособность. Ни на сѣнокосъ его, въ горячее время, послать было нельзя, ни даже въ лѣсъ за ягодами или за грибами — все равно, ничего не принесетъ. Да и господа были добрые, и хотя смутно, но понимали, что принужденіе можетъ только изнурить Тихона, а дѣлу не поможетъ. Поэтому, когда по дому не требовалось никакой масляной или живописной работы, то Тихона отпускали по оброку, который онъ и платилъ всегда аккуратно. Когда ему было уже лѣтъ около тридцати пяти, его женили на сѣнной дѣвушкѣ Аннушкѣ, которую тогда же обложили умѣренными тальками, а лѣтъ черезъ пять послѣ того баринъ Беленицынъ скончался и, умирая, почему-то вспомнилъ о Тихонѣ и заказалъ барынѣ Аннѣ Семеновнѣ дать ему вольную.

Вышедши на волю, Курзановъ поселился въ Пошехоньѣ и жилъ, какъ говорится, съ хлѣба на квасъ. Большой нужды не было, но не было и настоящей сытости. На недостатокъ заказовъ онъ не жаловался, но заказы были исключительно церковные, которые, какъ извѣстно, всегда оканчиваются словами: для Бога-то, чай, можно и уступить? И Тихонъ уступалъ до самой крайней степени, потому что и самъ понималъ, что для Бога не уступить нельзя. Аннушку Тихонъ любилъ, но, по странной особенности всего своего душевнаго строя, какъ будто считалъ свое сожитіе съ нею дѣломъ грѣховнымъ, на которое онъ не рѣшился бы, если-бъ не тяготѣла надъ нимъ всевластная рука крѣпостного права. Съ своей стороны и Аннушка любила его, однако-жъ къ матеріальнымъ лишеніямъ относилась не совсѣмъ равнодушно и нерѣдко-таки поговаривала: «только слава, что золотыя у Тихона руки, а круглый годъ мы съ нимъ по мытарствамъ ходимъ».

Андрей росъ тихо и одиноко. Это былъ мальчикъ впечатлительный, съ очень нѣжнымъ, почти болѣзненнымъ организмомъ, Съ ранняго дѣтства окруженный образами и книгами церковнаго обихода, онъ легко пристрастился къ божественному. Не пропускалъ ни одной церковной службы и въ особенности любилъ ходить на богомолья по сосѣднимъ пустынямъ и монастырямъ, гдѣ старый Тихонъ имѣлъ почти постоянные заказы. Тишина, окружавшая эти молитвенныя общежитія, умиляла его и растворяла его дѣтское

сердце любовью. Тою тихою, ровною, несознаваемою, но разлитою во всемъ организмѣ любовью *ко всему*, которая согрѣваетъ не только самого любящаго, но и весь окружающій его міръ. Не трепетомъ наполняли его вѣковые сосновые боры, служащіе какъ бы преддверіемъ къ обителямъ, а сладко волновали все его существо смѣшаннымъ чувствомъ радости и жалѣнія. Ноги его утопали въ зыбучемъ пескѣ, а онъ чувствовалъ, что за плечами у него вырастаютъ крылья, которыя несутъ его, несутъ... И сердце ширится и рвется, и глаза, куда ни обратятся, вездѣ имъ навстрѣчу: свѣтъ, свѣтъ, свѣтъ... Потребность пасть на землю появлялась внезапно и неудержимо. Пасть, цѣловать ноги странныхъ и убогихъ, плакать, страдать, умереть...

Грамота далась ему легко, но ни къ какому другому ремеслу онъ охоты не проявилъ. Даже къ живописи отнесся равнодушно, потому что существо его было переполнено какимъ-то неизъяснимымъ просіяніемъ, которое не имѣло ни формы, ни очертаній, и слѣдовательно не поддавалось ни слову, ни кисти. Впрочемъ, отецъ и не нудилъ его; онъ самъ имѣлъ природу, тожественную съ сыномъ, и ежели «писалъ», то лишь по привычкѣ и ради нужды. Мать тоже не огорчалась внѣшнимъ бездѣйствіемъ сына, потому что провидѣла въ немъ будущаго «богомола», который не только себя, но и ихъ, стариковъ, со временемъ прокормитъ.

«Богомолы» въ старые годы составляли особую касту, которой жилось сравнительно хорошо. Это были люди, посвящавшіе себя странствованіямъ и молитвеннымъ подвигамъ. Были между ними искренніе, подвижничавшіе ради подвижничества; но были и такіе, которые смотрѣли на свои скитанія какъ на выгодное ремесло. Послѣдняя категорія выдѣлялась чаще и была очень многочисленна. Ходили они обыкновенно въ полумонашеской одеждѣ, состоявшей изъ длиннаго чернаго полукафтанья, подпоясаннаго широкимъ расшитымъ поясомъ, застегнутымъ на крючки. Волосы подстригали рѣдко; на головѣ носили высокія шапочки, на манеръ камилавокъ, и ходили, опираясь правой рукой на высокую трость, въ родѣ поповской. Старозавѣтные помѣщики (а преимущественно ихъ жены и вообще женскій полъ), рѣдко выѣзжавшіе изъ своихъ гнѣздъ, охотно ихъ принимали и сажали за господскій столъ, успокаивали на гостиныхъ перинахъ и любили съ ними бесѣдовать. Предметомъ бесѣдъ обыкновенно служили разныя

апокрифическія сказанія: о хожденіи души по мытарствамъ; о томъ, какъ нѣкто, бывъ по ошибкѣ отозванъ отъ міра сего и потомъ вновь возвращенъ къ жизни, передавалъ сокровенныя подробности загробнаго существованія, коихъ былъ очевидцемъ; о томъ, что̀ будетъ на страшномъ судѣ, и какая кого и за что ожидаетъ кара. Но въ область непосредственныхъ обличеній не пускались, а кары, повидимому, сулили не весьма строгія, потому что домашній помѣщичій обиходъ отъ этихъ собесѣдованій не измѣнялся. Помѣщицы вздыхали, плакали, но вслѣдъ затѣмъ слезы высыхали, и жизнь продолжала течь своей обычной колеей. Вели себя «богомолы» по большей части скромно: сплетенъ не переносили, вещей плохо лежащихъ не утаивали и только изрѣдка запутывались въ дѣвичьихъ, какъ бы во свидѣтельство, что и у нихъ, какъ у прочихъ смертныхъ, плоть немощна. Но это имъ извиняли, потому что какъ же съ этимъ быть? Но главное, что̀ въ нихъ восхищало и умиляло,—это то, что большинство ихъ круглый годъ не вкушало скоромной пищи. Иные даже въ Свѣтлый праздникъ ограничивались тѣмъ, что поцѣлуютъ яичко, да и опять за рыбку да за грибки. Отъ этого постояннаго воздержанія нѣкоторые изъ нихъ входили въ экстазъ и прорицали. Предвѣщали вещи простыя, всѣмъ близкія и понятныя: неурожай или изобиліе плодовъ земныхъ, ненастье или вёдро, войну или мирное житіе, угадывали полъ ребенка въ утробѣ матери и проч. Такіе прорицатели особенно чествовались.

Вотъ на такое-то привольное житье и разсчитывала Анчушка для своего сына. Однако-жъ ожиданія ея сбылись только отчасти. Изъ Андрея дѣйствительно выработался богомольный и набожный юноша, но въ то же время умственный складъ его сформировался съ такими своеобразными особенностями, которыя рѣшительно не допускали его оставаться на почвѣ простого богомола-ремесленника. Не міръ апокрифическихъ сказаній плѣнялъ его мысль, но міръ человѣческихъ злоключеній, начиная отъ матеріальной неурядицы и кончая страданіями высшаго разряда. Люди, не получившіе никакой воспитательной подготовки, но въ то же время влекомые неудержимою силою къ свѣту, встрѣчаются нерѣдко въ низменныхъ слояхъ общества, но въ большинствѣ случаевъ эти личности впадаютъ въ экзальтацію и становятся чуть не душевно-больными. Къ счастью, Андрей Курзановъ избѣжалъ этого. Онъ не сдѣлался ни

юродивымъ, ни бѣсноватымъ, ни прорицателемъ, а остался обыкновеннымъ человѣкомъ, который наивно и безъ раздраженія развивалъ мысли, не имѣвшія никакихъ точекъ прикосновенія съ сложившимся типомъ жизни. Изъ всего вычитаннаго, слышаннаго и видѣннаго онъ извлекъ особый нравственный кодексъ, который коротко выражалъ словами: «жить по-божески».

Выраженія такого рода настолько общи, что не даютъ повода для какихъ-либо непосредственныхъ выводовъ, да врядъ ли и самъ Андрей подозрѣвалъ, что такіе выводы возможны. По крайней мѣрѣ, онъ не настаивалъ на нихъ. Поэтому, въ большинствѣ случаевъ, выраженія эти остаются незамѣченными (не переведенными на культурно-чиновничій языкъ) или же сопричисляются къ массѣ тѣхъ мнимо-безсодержательныхъ афоризмовъ, которые отъ времени до времени изрекаетъ «непросвѣщенная чернь». Въ сущности однако-жъ они далеко не безсодержательны, и простыя сердца отлично угадываютъ ихъ таинственный смыслъ. «Жить по-божески» значитъ жить по справедливости, никого не утѣсняя, всѣхъ любя и взаимно другъ друга прощая. Коли хотите, непосредственныхъ примѣненій и въ этой расчлененной программѣ не видится, но для чуткаго сердца простеца она несомнѣнно исчерпываетъ всю сложность и все разнообразіе человѣческихъ отношеній.

Тѣмъ не менѣе въ то время простыя сердца были слишкомъ задавлены, чтобы вслушиваться и вдумываться въ какія бы то ни было досужія рѣчи, и Андрею поневолѣ приходилось отыскивать для себя аудиторію исключительно среди представителей и представительницъ тогдашней пошехонской интеллигенціи, то-есть въ помѣщичьей и чиновничьей средѣ.

И тутъ наибольшая часть вниманія шла со стороны женщинъ. Въ пользу Андрея говорила и его молодость, и мягкій, ласкающій голосъ, и задумчивые большіе глаза, и даже меланхолическое тѣлосложеніе. Онъ не говорилъ ни о пламени неугасимомъ, ни о чревѣ неусыпающемъ, ни о раскаленныхъ щипцахъ и сковородахъ, а сладко волновалъ сердца «справедливыми» словами. Къ словамъ этимъ по временамъ прислушивался и мужской полъ, и хотя не умилялся по ихъ поводу, но съ формальной стороны тоже не могъ не находить «справедливыми». Такъ что за Андреемъ Курзановымъ, въ скоромъ времени, во всѣхъ захолустьяхъ

пошехонской интеллигенціи утвердилась репутація «справедливаго» человѣка.

Да иначе оно и не могло быть. Дѣлать какія-нибудь посылки изъ общихъ, и притомъ совершенно туманныхъ, положеній въ то время никому и на мысль не приходило, а что «справедливость» есть терминъ вполнѣ почтенный и непререкаемый—въ этомъ никто сомнѣваться не дерзалъ. Объ этомъ и помимо Андрея слыхали и въ церкви и на школьной скамьѣ - какой же наставникъ позволилъ бы себѣ не отдать дани похвалы самоотверженности, любви къ ближнему и прочимъ элементамъ, изъ которыхъ составляется «божеское» житіе?—и въ тѣхъ не частыхъ, но все-таки по временамъ прорывавшихся собесѣдованіяхъ, иногда даже въ среду, со всѣхъ сторонъ наглухо запертую, вдругъ невѣдомо откуда и какимъ образомъ налетало свѣжее чувство, просвѣтлявшее умы и умилявшее сердца.

Только вотъ въ глаза этой «справедливости» не видали, такъ это, пожалуй, придавало еще больше цѣны устнымъ бесѣдамъ о ней.

— Что значитъ жить по-божески?—спрашивала Андрея добрая помѣщица Марья Ивановна, до которой палъ слухъ, что въ Пошехоньѣ объявился «блаженный», изрекающій «справедливыя» слова.

— А вотъ что: тебѣ кусокъ и ему кусокъ, и всѣмъ прочіимъ по куску! —объяснилъ Андрей, въ наивной увѣренности, что въ его объясненіи не только нѣтъ ничего угрожающаго, но что воистину иного угоднаго Богу житья не можетъ существовать.

Марья Ивановна выслушивала это объясненіе и тоже никакихъ угрозъ въ немъ не находила. Напротивъ того, думала: «вотъ кабы Богъ привелъ!»

— А мы-то, жадные!—печаловалась она:—все норовимъ, какъ бы заграбастать да оттянуть. Все бы себѣ! все себѣ!

— Жадность, сударыня, тоже разная бываетъ. Иной отъ болѣзни жаденъ, другой отъ комплекціи. У насъ въ Пошехоньѣ купецъ есть, такъ онъ сколько ни ѣстъ, никакъ наѣсться не можетъ. И въ Москву отъ своей болѣзни лѣчиться ѣздилъ, и въ Кіевъ по обѣщанью пѣшкомъ ходилъ,—не даетъ Богъ облегченья. Такую жадность нельзя вмѣнить въ грѣхъ. А вотъ ежели кто «отъ себя» жаденъ, того ограничить должно.

— Ахъ, Андрюша, Андрюша! какъ же ты его ограничишь, коль скоро и граница и мѣра—все въ его собствен-

ныхъ рукахъ состоитъ? Ты ему: довольно, сударь! а онъ тебѣ: давай еще! Какъ ты *меня* ограничишь, коли всѣ кругомъ куски—всѣ мои? одинъ я отъ папеньки получила, другой—съ аукціона купила, собственныя денежки за него выложила? Какой хочу—тотъ возьму да и съѣмъ!

— И кушайте, сударыня! Я не къ тому... Вы, сударыня, *по закону* кушаете, а я говорю, какъ по-божески. *По закону* всякій около своего куска ходитъ, а *по-божески* вотъ какъ: тебѣ кусокъ и мнѣ кусокъ, и прочимъ по куску. Всѣ чтобы сыты были.

— Хоть бы часокъ этакъ-то пожить!—восклицала Марья Ивановна и сладко задумывалась.

Сердце ея переполнялось благоволеніемъ, а мысли разбѣгались во всѣ стороны. Отъ Аришки перебѣгали къ Ипаткѣ, отъ Ипатки къ Антипкѣ... Всѣ сыты! Даже Максимка-пастухъ—и тотъ сытъ! А она смотритъ на нихъ и радуется...

Конечно, вспоминалось ей не разъ—и даже очень подробно вспоминалось,—какъ однажды у нихъ на усадьбѣ, объ масленицѣ, «бунтъ былъ»... Ужъ *они* ли въ ту пору не ѣли! И блиновъ-то *имъ!* и судачины-то *имъ!* и толокна-то! и творогу! И что-жъ однако подъ конецъ мерзавцы сдѣлали! Въ самый прощёный день дали имъ молочка похлебать... такъ, чуть-чуть съ кислецой... а они взяли, всѣмъ кагаломъ привалили къ господскому крыльцу да молоко-то въ снѣгъ и вылили... Вотъ вѣдь неблагодарность какая!

— А можетъ, это и отъ болѣзни или отъ комплекціи, какъ у того купца... Сколько въ него ни вали—все какъ въ прорву! Ну, и Христосъ съ вами, коли такъ... кушайте, батюшки, кушайте! Лучше пускай ужъ я... много ли мнѣ нужно?—супцу, да жарковца, да сладенькаго... У меня вѣдь «комплекціи-то» нѣтъ—вотъ я и сыта! А прочее—пусть ужъ все имъ! И картофелю, и капусты, и хлѣба... всего! Пускай будутъ сыты... дармоѣды ненасытные! Вонъ Порфишка то и сейчасъ поперекъ себя толще ходитъ! И все-то ему мало! всѣмъ-то онъ жалуется, что съ толокна у него животъ подвело... вотъ такъ «комплекція»!

Какъ бы то ни было, но первая подробность «божескаго житія» выяснилась достаточно: тебѣ кусокъ и мнѣ кусокъ, и прочимъ всѣмъ по куску. Такъ слѣдуетъ жить «по справедливости». Но ежели «всѣ куски—мои», то—«кушайте, сударыня!» Хотя это и не «по-божески», но ничего съ этимъ не подѣлаешь. Тѣмъ-то и дорогъ былъ Андрюша,

что хоть «справедливыя слова» у него изъ устъ потокомъ текли; а никому отъ нихъ обидно не было...

Затѣмъ постепенно выяснилась и другая подробность «божескаго житія».

— Коли кто хочетъ «по справедливости» жить,—говорилъ Андрей:—тотъ долженъ кичливость оставить. Чтобы ни рабовъ, ни данниковъ, ни кабальныхъ людей—ничего такого чтобъ не было. Всѣ въ равной другъ съ другомъ любви должны жить. Я—тебѣ послужу, ты—мнѣ. У всѣхъ одинъ Богъ, и всѣхъ Онъ одною любовью любитъ и всѣхъ однимъ судомъ судить будетъ.

— А мы-то! А мы-то! грѣхи наши, грѣхи!

— Коли мы всѣ другъ друга въ равной любви содержать будемъ, то и огорченія наши прекратятся сами собой. И ненависть, и свара, и ропотъ—все исчезнетъ, потому что все это отъ нелюбви, отъ неравенства. Однимъ честь, а другимъ—поношеніе, однимъ веселіе, а другимъ—скорбь. Какъ тутъ огорченью не быть?

— Что̀ говорить! ужъ мы, дворяне, на что Богомъ и царемъ взысканы, а и то, другъ на дружку глядя, нѣтъ-нѣтъ да и позавидуешь!

— Всѣ мы по естеству равны; всѣ Адамовымъ грѣхомъ въ адъ ввержены были и всѣ Христомъ Спасомъ Истиннымъ изъ ада освобождены. А ежели всѣ равны—стало-быть, и одинаковая часть всѣмъ отъ Бога положена.

— Откуда же они взялись... рабы?—робко спрашивала Марья Ивановна:—Богъ не повелѣлъ, а ихъ видимо-невидимо. Въ господскихъ домахъ—господа, въ людскихъ да на скотныхъ—рабы... Господа приказываютъ, а рабы повинуются, тяготы носятъ...

— Въ старину, сударыня, это сдѣлалось. Не всѣ люди равной комплекціи рождаются: одинъ покрѣпче, другой послабѣе, а третій и вовсе разслабленный. Сильный-то слабаго и покорилъ. Да покоривши, взялъ да узломъ завязалъ. Теперь ни конца, ни начала этому узлу и не отыщешь!

— Ишь вѣдь что̀ сдѣлалъ!

Марьѣ Ивановнѣ становилось жалко. Ка̀къ это такъ?—думалось ей:—Христосъ Спасъ Истинный всѣхъ изъ ада освободилъ, а «онъ»—ишь что̀ сдѣлалъ! «Онъ»-то свое дѣло сдѣлалъ да и ушелъ—ищи его да свищи!—а она, между прочимъ, съ аукціона купила, собственными денежками все до копейки заплатила... какъ теперь разсудить? «Ежели поступить «по-божески», такъ неужто же *денежки*

мои такъ-таки пропасть должны?.. Ежели же не по-божески поступить...»

— Барыня! головку причесать пожалуйте!—прервала ея мечтанія горничная Анютка.

Перерывъ этотъ являлся очень кстати, ибо давалъ ея мыслямъ новое направленіе.

— Вотъ, Андрюша, я какова! —жаловалась она сама на себя:—и голову-то причесать сама не могу, все Анютка да Анютка! Анютка, прими! Анютка, подай! — а я сижу какъ царевна да руки-ноги протягиваю! И знаю, что всѣ мы одной природы, а не могу... Ни я одѣться сама, ни я умыться... словомъ сказать, безъ Анютки какъ безъ рукъ!

— Что-жъ такое, сударыня! И пускай Анютка потрудится... это ей и по закону вмѣняется! Я вѣдь не противъ закона иду, а говорю, какъ по-божески...

Марья Ивановна удалялась успокоенная и отдавала свою голову въ распоряженіе Анютки. Но въ это же время она уносила новую подробность «божескаго житія»: всѣ мы Христомъ Спасомъ Истиннымъ изъ ада освобождены, а «онъ»—ишь ты что̀ сдѣлалъ! А она между тѣмъ съ аукціона купила... по закону!

Причесавшись, Марья Ивановна вновь возвращалась къ прерванной бесѣдѣ.

— Какъ же намъ душу-то спасти? —вотъ ты мнѣ что̀ скажи!—безпокоилась она.

— За други свои полагать ее надо—вотъ и спасешь! — отвѣчалъ онъ, нимало не затрудняясь.

Однако-жъ Марью Ивановну отвѣтъ этотъ заставалъ неприготовленною.

— Какъ это... душу? — сомнѣвалась она: — словно бы ужъ... Хоть бы руку-ногу, а то... душу! Слыхала я, что въ пустыняхъ живали люди, которые... А чтобы въ міру это было... не знаю!

— Въ пустынѣ молитва спасаетъ, а въ міру —жертва душевная. Коли мы всѣ въ разнобойку по угламъ будемъ сидѣть да за шкуру свою дрожать—откуда же добро-то въ міръ придетъ?

— Ужъ и не знаю, какъ тебѣ сказать... Конечно, мало ли какія у людей «свои дѣла» бываютъ... иной на службѣ служитъ, другой по коммерческой части... но чтобы у кого такое «занятіе» было, чтобы «душу» полагать... не знаю! И не слыхала и не видала... не знаю!

— Обиду ежели видите—заступитесь; нищету увидите—помогите; муку душевную видите — утѣшьте. Вотъ это и значитъ душу за други свои полагать...

— И заступитесь, и утѣшьте, и помогите!—уже дразнилась Марья Ивановна.—И помогите! и помогите! А коли помогалки-то, помогальщикъ, у меня нѣтъ?

— На нѣтъ, сударыня, и суда нѣтъ.

— Ну, хорошо. Пускай по-твоему. Стало-быть, какъ встала съ утра, такъ я и бѣги, вытараща глаза? За одного—заступись, другому—помоги, третьяго—утѣшь! А за меня-то кто безпокоиться будетъ?

— Другъ по дружкѣ, сударыня. Вы за всѣхъ, всѣ за васъ. Христосъ Спасъ Истинный крестное страданіе за насъ принялъ, а мы и побезпокоить себя не хотимъ!

— А ежели я... не могу! ну, нѣтъ во мнѣ этого, нѣтъ?!

— А не можете, такъ и не нудьте себя, сударыня! Я вѣдь не то, чтобы что̀!

— И вотъ я тебѣ еще что̀ скажу. Ну, положимъ! Положимъ, что я прытка. Туда—побѣгу, сюда — носъ суну, въ третьемъ мѣстѣ—пыль столбомъ подыму... Ай да Марья Ивановна! вотъ такъ Марья Ивановна! А ну, какъ мнѣ самой за это носъ утрутъ? Откуда, скажутъ, помогальщица непрошенная выскалась? Какой такой, скажутъ, законъ есть, чтобы въ чужое дѣло свой носъ совать? А нутко, сказывай, какой я на эти слова отвѣтъ дамъ?!

— По закону это, дѣйствительно, такъ... По закону каждый самъ по себѣ,—это лучше всего. Вѣдь и я противъ закона не иду, а только объясняю, что ежели по-божески...

— Знаю я, что «по-божески» хорошо... Ты вотъ по-божьему да по-справедливому, а мы—по-грѣшному да по-человѣчьему! Ты слабость-то человѣчью ни во что не ставишь, а мы объ ней на всякъ часъ помнимъ! Куда ты ее, слабость-то нашу, дѣнешь?

Такимъ образомъ выяснялась и еще подробность «божескаго житія»: душу за ближняго полагать. Правда, что Марья Ивановна такъ и осталась при своемъ мнѣніи насчетъ практическаго примѣненія этого правила, но, благодаря взаимнымъ уступкамъ и разъясненіямъ, дѣло все-таки слаживалось легко. Собственно говоря, Андрюша вѣдь никого не нудилъ, а только говорилъ: коли можете жить по-божески, то и душу по-божески спасайте, а коли не мо-

жете по-божески жить—спасайте душу «по закону». Такъ она именно и поступаетъ: «божеское житіе» имѣетъ въ «предметѣ», а душу спасаетъ... «по закону»!

Тѣмъ-то и дорогъ былъ Андрюша Марьѣ Ивановнѣ, что онъ нудить не нудилъ, а между тѣмъ «справедливыя слова» говорилъ. И говорилъ ихъ въ такое время, когда у всѣхъ и на умѣ и на языкѣ только жестокія слова были. Сколько лѣтъ она за Кондратьемъ Кондратьичемъ въ замужествѣ живетъ и ни одного-то «справедливаго» слова отъ него не слыхала! Все или водку пьетъ, или табачище куритъ, или сквернословитъ, или на конюшнѣ арапникомъ щелкаетъ! А ночью придетъ пьяный и дрыхнетъ. Въ этомъ вся ея жизнь прошла! Только отъ Андрюши она и увидѣла свѣтъ. Поговоришь съ нимъ — словно какъ и очнешься. И объ душѣ вспомнишь, и о Богѣ... чувствуешь, по крайности, что не до конца окоченѣла!

И не съ одною Марьей Ивановной бесѣдовалъ такимъ образомъ Андрей, а вообще любилъ по душѣ поговорить и, разговаривая, нерѣдко касался такихъ предметовъ, о которыхъ тогда никто и въ помышленіи не имѣлъ. Такимъ образомъ онъ уже въ сороковыхъ годахъ провидѣлъ и новые суды, и земство, и даже свободу книгопечатанія.

О судахъ онъ такъ выражался:

— Нынче судья-то забьется въ мурью да и пишетъ, что̀ ему хочется. Хочетъ—завинитъ, хочетъ — бѣлѣе снѣга сдѣлаетъ. А какъ на міру-то его судить заставятъ, такъ правда-то сама изъ него выскочитъ!

О земствѣ:

— Какъ возможно сравнить: чиновникъ ли по уѣзду распоряжается или самъ обыватель своимъ дѣломъ заправляетъ? Чиновнику — что̀? онъ пріѣхалъ, взглянулъ, плюнулъ и уѣхалъ! А у обывателя каждая копеечка на счету, и объ каждой у него сердце болитъ!

И наконецъ, кратко, о свободѣ книгопечатанія:

— И помяните мое слово, ежели въ самой скорости волю книгопечатанія не объявятъ!

И дѣйствительно, такъ по-его впослѣдствіи все и сдѣлалось.

Но что̀ всего замѣчательнѣе—ни пошехонскій судья, ни пошехонскіе чиновники, ни цензурное вѣдомство — никто на Андрея не претендовалъ. Потому что всѣ понимали, что онъ никого не нудитъ, а только «по-божески» разговариваетъ.

Словомъ сказать, въ самое короткое время молодой Курзановъ сдѣлался гордостью и украшеніемъ всего Пошехонскаго уѣзда. Самъ городничій, и тотъ любилъ послушать его. Призоветъ, бывало, и велитъ «справедливыя слова» говоритъ. Скажетъ Андрей: «мнѣ кусокъ!»—а городничій подтвердитъ:—правильно!—Скажетъ Андрей: «и всѣмъ прочимъ по куску!» — а городничій опять подтвердитъ: — правильно!—Да и нельзя было не подтвердить, потому что такія же, приблизительно, слова городничій въ церкви по воскресеньямъ слыхалъ.

Этого мало: пріѣхалъ въ Пошехонье на ревизію губернаторъ и тоже пожелалъ на пошехонскую диковинку посмотрѣть. И когда Андрей ему, въ присутствіи всѣхъ уѣздныхъ чиновъ, свои «справедливыя слова» высказалъ, то онъ не только не нашелъ въ нихъ ничего предосудительнаго, но похвалилъ:

— Молодецъ Курзановъ!

Уѣздные же чины, преисполнившись радости, съ своей стороны, воскликнули:

— Это въ немъ, ваше превосходительство, божеское!

* * *

Долго ли, коротко ли такъ шло, а времена между тѣмъ измѣнялись. И все къ лучшему. Началъ Андрею во снѣ старецъ являться. Придетъ, скажетъ:—эй, Андрей! какъ бы тебя за «справедливыя-то слова» не высѣкли!—и исчезнетъ.

Но Андрей вѣрилъ въ правоту своего дѣла и не боялся.

Наконецъ наступилъ моментъ, когда просвѣщеніе, обойдя всѣ закоулки Россійской имперіи, коснулось и Пошехонья. Прежде всего оно сочло необходимымъ обревизовать пошехонскую терминологію и затѣмъ, найдя въ ней болѣе или менѣе значительныя неисправности, усердно принялось за очистку ея отъ ненужныхъ примѣсей. Въ числѣ прочихъ подверглись тщательной ревизіи и ходячіе разговоры о «божескомъ житіи». Просвѣщеніе не отвергало прямо проповѣди о «божескомъ житіи», но отводило ей мѣсто въ церквахъ и монастыряхъ, и притомъ преимущественно въ воскресные и табельные дни. «Когда царство небесное сдѣлается общимъ достояніемъ,—писалось по этому поводу въ «Уединенномъ Пошехонцѣ», получавшемъ внушенія чуть не изъ самаго городническаго правленія:—тогда и божеское житіе само собой возымѣетъ дѣйствіе. До тѣхъ же поръ пошехонскіе обыватели обязываются, не предваряя времени, стараться онаго житія достигнуть не разго-

ворами, а ревностнымъ исполненіемъ законнаго долга и возлагаемыхъ на нихъ начальствомъ порученій». А въ другой статьѣ тотъ же «Уединенный Пошехонецъ» объяснялъ слѣдующее: «Между прочими баснями, смущающими нетвердые обывательскіе умы, распространяется и таковая, будто бы только тѣ люди живутъ «по справедливости», кои въ основаніе своей жизни полагаютъ правило: «мнѣ кусокъ, и тебѣ — кусокъ, и прочимъ всѣмъ — по куску». Не отрицая, съ своей стороны, удовольствія, которое можетъ доставить общая сытость мы считаемъ однако-жъ не лишнимъ предупредить увлекающихся, что ежели ихъ мечтаніямъ и суждено когда-нибудь осуществиться, то, навѣрное, ни одинъ изъ нихъ даже приблизительно не въ состояніи опредѣлить момента таковаго осуществленія. А посему представляется болѣе согласнымъ съ требованіями благоразумія, ежели обыватели, не предваряя событій, положатъ въ основаніе своихъ дѣйствій правило не столь «сытое», но болѣе соотвѣтствующее духу нашего просвѣщеннаго времени, а именно: какой у кого кусокъ есть, тотъ пусть при ономъ и останется. Не имѣющій же куска да потщится на свой собственный коштъ пріобрѣсть таковой».

Это было уже не въ бровь, а прямо въ глазъ. Тѣмъ не менѣе Андрей не только не угомонился, но даже совершенно ничего не понялъ. Такова участь всѣхъ вообще недомолвокъ, полусловъ и полумѣръ. «Уединенный Пошехонецъ» и самъ, видимо, колебался. Съ одной стороны — онъ какъ будто иронизировалъ, но съ другой — не отрицалъ прямо ни «сытости», ни «божескаго житія». Вообще, какъ говорится, ходилъ кругомъ да около. Поэтому обыватель не весьма догадливый не только не убѣждался его доводами, но находилъ ихъ положительно слабыми. «Это онъ для удобности городнической лукавитъ,—говорили сторонники «божескаго житія»: — хочетъ, чтобъ городничему помыкать нами легче было!» И, утвердившись на этомъ, продолжали упорствовать въ своемъ заблужденіи.

А времена между тѣмъ продолжали зрѣть. И все къ лучшему.

Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ пріѣхалъ на городничество майоръ Стратиговъ. Правой ноги у него не было, а отъ лѣвой руки осталась только небольшая часть. А сверхъ того онъ и въ церковь рѣдко ходилъ, а слѣдовательно и о «справедливыхъ словахъ» совсѣмъ позабылъ. Но зато когда онъ бралъ въ правую руку костыль, то дрался имъ

замѣчательно больно. Пріѣхавши на городничество, онъ вызвалъ Андрея Курзанова и велѣлъ ему «справедливыя слова» говорить. И когда послѣдній, въ наивной увѣренности, что въ этихъ словахъ ничего супротивнаго нѣтъ, высказалъ все, что̀ у него было на душѣ, то Стратиговъ инстинктивно сжалъ въ рукѣ костыль, но, не предваряя событій, отъ немедленнаго боя воздержался, а только какъ-то загадочно метнулъ на него глазами и пробормоталъ:

— Гм!..

А на другой день явилась въ «Уединенномъ Пошехонцѣ» передовица, которая разъяснила дѣло уже въ болѣе рѣшительномъ тонѣ. «Въ городѣ Пошехоньѣ, — говорилось въ этой статьѣ: — появились личности, которыя открыто присвоиваютъ себѣ право говорить такъ-называемыя «справедливыя слова». Хотя по существу сіи слова представляютъ собой образчики похвальнаго умственнаго паренія, но тѣмъ не менѣе самая сила производимаго ими впечатлѣнія съ достаточностью указываетъ на то, сколь значительный вредъ можетъ произойти отъ невѣжественнаго или неискуснаго съ ними обращенія. Исторія недаромъ свидѣтельствуетъ, что не только у насъ въ Пошехоньѣ, но и въ прочихъ странахъ образованнаго міра слова этой категоріи всегда находились въ вѣдѣніи подлежащихъ вѣдомствъ и особо преноставленныхъ на сей предметъ учрежденій. Ежели таково непререкаемое свидѣтельство исторіи, то не явствуетъ ли изъ онаго, что «справедливыя слова», по самой природѣ своей, должны считаться изъятыми изъ общаго обращенія, и что такое изъятіе должно быть принимаемо обывателями отнюдь не въ качествѣ стѣсненія ихъ въ выраженіи благородныхъ чувствъ, но лишь въ смыслѣ предостереженія, что и благородныя чувства могутъ имѣть послѣдствіемъ ссылку въ мѣста не столь отдаленныя. А посему, если-бъ кто-либо изъ обывателей и былъ приведенъ въ такое состояніе, когда отъ избытка чувствъ уста глаголютъ, то и въ такомъ случаѣ представлялось бы полезнѣйшимъ, дабы онъ потребность сію удовлетворялъ у себя въ квартирѣ (однако-жъ не при гостяхъ) или въ другихъ пустынныхъ мѣстахъ, публичное же распубликованіе «справедливыхъ» и тому подобныхъ чувствъ предоставилъ бы лицамъ и мѣстамъ, особливо на сей конецъ уполномоченнымъ».

Однако-жъ Андрей и послѣ этого не смирился. Напротивъ, возымѣвъ дерзкое намѣреніе проникнуть въ самое

сердце полиціи, онъ началъ донимать «справедливыми словами» будочниковъ и дѣйствовалъ въ этомъ смыслѣ настолько успѣшно, что въ одно прекрасное утро искали-искали по всему Пошехонью «шиворота» и не нашли. И только ужъ на другой день самъ городничій, ходя по базару, едва успѣлъ его вновь осуществить.

Тогда Стратиговъ убѣдился, что наступило время истреблять «фанаберіи» посредствомъ выколачиванія. Онъ вновь призвалъ Курзанова и вновь велѣлъ ему «справедливыя слова» говорить. Когда же послѣдній, не подозрѣвая ловушки, съ обычной наивностью выложилъ все, что̀ зналъ, то городничій, взявъ въ правую руку костыль, однократно ударилъ имъ Андрея между крылецъ, сказавъ:

— А остальное за мною!

И что-жъ! Андрей даже этимъ не отрезвился! Противъ всякаго ожиданія, онъ не вознегодовалъ, а весь проникся состраданіемъ къ Стратигову, убѣжденный, что это въ немъ дѣйствуетъ болѣзнь.

— Ноги у него нѣтъ,—говоритъ: —руки вотъ съ эстолько осталось—ну, и мозжитъ его!

Черезъ день Стратиговъ опять вызвалъ Андрея и ударилъ его между крылецъ уже двукратно. Еще черезъ день—ударилъ троекратно. И наконецъ сталъ бить безъ счету и нещадно. Но Андрей попрежнему продолжалъ говорить «справедливыя слова и все больше и больше проникался состраданіемъ къ колченогому городничему, котораго болѣзнь вынуждала прибѣгать къ костылю. Даже тогда, когда въ «Уединенномъ Пошехонцѣ» появилась статья, въ которой прямо требовалось, чтобы «справедливыя слова произносились только въ нарочито-изготовленныхъ для сего помѣщеніяхъ, а отнюдь не на улицахъ и даже не въ частныхъ домахъ, гдѣ могутъ оныя слышать личности, къ уразумѣнію ихъ неприготовленныя»,—даже тогда Андрей не понялъ, что и костыль городническій и журнальная передовица имѣютъ въ предметѣ дѣйствія, имъ производимыя.

Самъ Стратиговъ изумился. «Ужъ дойму же я тебя, балбесъ!—кричалъ онъ въ изступленіи: — костыль объ тебя измочалю, а дойму!» И какъ сказалъ, такъ и поступилъ. И все-таки не донялъ. Не донялъ, потому что никакой костыль не могъ вразумить Андрея, что слова, которыя въ нарочито-устраиваемыхъ помѣщеніяхъ считаются «справедливыми», въ другихъ мѣстахъ могутъ превратиться въ опасныя и «несправедливыя».

Какъ бы то ни было, но теорія искорененія «фанаберій» посредствомъ выколачиванія оказывалась исчерпанною. На мѣсто ея потребовалась другая теорія, болѣе состоятельная, и она не замедлила заявить о себѣ.

То была теорія обращенія къ почтеннѣйшей публикѣ. Насадителемъ ея явился исправникъ Октавіанъ Феликсовичъ Язвилло, который, за упраздненіемъ городнической должности, соединилъ въ своемъ лицѣ высшую полицейскую власть по городу и по уѣзду.

Язвилло былъ человѣкъ ловкій. Въ церкви онъ ужъ совсѣмъ никогда не бывалъ, а о «справедливыхъ словахъ» и не слыхивалъ. Взамѣнъ того онъ принесъ съ собою какія-то особенныя, совсѣмъ новыя слова. Онъ первый произнесъ въ Пошехоньѣ выраженіе: «основы» и первый же вполнѣ опредѣленно формулировалъ мысль, что «справедливыя слова» суть зло, направленное къ потрясенію основъ».

И такъ какъ всѣ предпринимаемыя до тѣхъ поръ средства — въ формѣ вразумленія и выколачиванія, съ цѣлью локализировать зло въ нарочито-устроенныхъ помѣщеніяхъ — оказались безсильными, то Язвилло пришелъ къ заключенію, что въ этомъ дѣлѣ потребны пріемы гораздо болѣе сложные, чуждые этой заскорузлой рутинности, которая шла напроломъ и напиралась на рожонъ.

Наиболѣе цѣлесообразнымъ изъ этихъ пріемовъ представлялось ему спасительное междоусобіе. Съ него онъ и началъ. Раздѣливъ обывателей на двѣ категоріи — благонадежныхъ и неблагонадежныхъ, онъ прежде всего въ яркихъ чертахъ обрисовалъ тѣ опасности, которыми угрожаетъ распространеніе въ публикѣ заблужденій (такъ называлъ онъ прежнія «справедливыя слова»), и затѣмъ призвалъ всѣхъ благонадежныхъ обывателей (на этотъ разъ онъ даже не усомнился употребить слово: «граждане») къ содѣйствію. Это была съ его стороны штука очень рискованная — кто знаетъ, что могло втемяшиться пошехонцамъ въ голову по случаю этого «призыва»?—но «Уединенный Пошехонецъ» и на этотъ разъ сослужилъ ему обычную службу. Въ обширной передовицѣ, растянувшейся на цѣлыхъ четыре нумера, онъ разъяснилъ: во-первыхъ, кого слѣдуетъ разумѣть подъ именемъ благонадежныхъ гражданъ; во-вторыхъ, что означаетъ выраженіе: «основы», почему оныя должны стоять незыблемо; въ-третьихъ, въ какомъ смыслѣ должны быть понимаемы слова: «содѣйствіе общества»; и въ-четвертыхъ какія хитрости употребляетъ злоумышленіе въ видахъ упразд-

ненія основъ, и какіе пріемы необходимо этимъ хитростямъ противопоставить, чтобы пересѣчь зло въ самомъ корнѣ.

Отвѣты на эти вопросы вкратцѣ заключались въ слѣдующемъ: «благонадежными» признавались лишь тѣ граждане, кои, «будучи довольны предопредѣленной имъ частью, благополучно подъ сѣнію начальственныхъ предписаній почиваютъ»; «неблагонадежными» же—тѣ, кои «по лѣности, пьянству, нерадѣнію или праздности будучи приведены въ уныніе, вмѣсто того, чтобы принимать мѣры къ собственному исправленію, продолжаютъ завистливымъ окомъ вожделѣть». Изъ числа «основъ» «Пошехонецъ» въ особенности настаивалъ на собственности и совѣтовалъ защищать ее всѣми средствами. И не только отъ воровъ, грабителей и разбойниковъ, а всего больше отъ распространителей развратныхъ мыслей, которые за тѣмъ только «всѣхъ равными кусками потчуютъ, дабы собственную нерадивую праздность при семъ случаѣ угобзить». Что же касается до «основъ» прочихъ сортовъ, то авторъ передовицы скромно сознавался, что въ полицейскомъ управленіи имѣются объ нихъ лишь весьма скудныя свѣдѣнія, но что въ ближайшемъ будущемъ отъ ярославскаго губернскаго правленія ожидается подробное по сему предмету разъясненіе. О «содѣйствіи» «Пошехонецъ» выражался такъ: «не для того оно нужно, чтобы г. исправникъ потребность въ ономъ ощущалъ, а для того, дабы сами обыватели въ полезныхъ упражненіяхъ время препровождали». Относительно же хитростей, употребляемыхъ для потрясенія основъ, «Уединенный Пошехонецъ» на первомъ планѣ ставилъ «льстивыя обѣщанія легкаго житія, сопровождаемыя возбужденіемъ дурныхъ страстей», и какъ противодѣйствіе этимъ ухищреніямъ рекомендовалъ откровенное обращеніе къ Октавіану Феликсовичу Язвилло.

Успѣхъ, достигнутый этой передовицей, былъ поразительный. Но надо сказать правду, что значительнѣйшею частью этого успѣха она была обязана упоминовенію о собственности. Такъ какъ рѣдкій изъ пошехонцевъ не сознавалъ себя обладателемъ хотя бы шила, то понятно, какой страхъ подобный собственникъ долженъ былъ ощутить, узнавъ, что кто-то имѣетъ на это шило претензію и собирается его отнять. Поднялось галдѣніе неслыханное. Сначала теребили преимущественно Андрея Курзанова (по нѣкоторымъ признакамъ догадались, что передовица имѣла въ виду именно его), но потомъ, въ общей суматохѣ, объ

немъ забыли и стали побивать каждый каждаго. Обладатель большого шила слалъ доносъ на обладателя малаго шила; обладатель суконныхъ штановъ уличалъ въ потрясательныхъ намѣреніяхъ обладателя штановъ нанковыхъ. Мирный дотолѣ городъ загудѣлъ и заволновался, а «благонадежные» толпами осаждали полицейское управленіе и требовали скорой и немилостивой расправы съ «неблагонадежными».

Но Курзановъ все-таки продолжалъ не понимать. Не понималъ онъ, какое отношеніе имѣютъ «справедливыя слова» къ этой неожиданной пошехонской сумятицѣ, да и сами пошехонцы врядъ ли это понимали. Тѣмъ не менѣе житье Андрея въ эту пору было незавидное. Его періодически то сажали въ кутузку, то освобождали отъ нея. Но онъ и этому не удивлялся, а называлъ сажаніе въ кутузку «дѣйствіемъ по закону», а освобожденіе изъ нея — «дѣйствіемъ по справедливости».

— Я не противъ закона иду,— говорилъ онъ Язвиллѣ:— а говорю только, что коли ежели «по-божески»...

И такъ-таки на этомъ и устоялъ. несмотря на то, что въ теченіе года по крайней мѣрѣ шесть мѣсяцевъ провелъ въ кутузкѣ.

Язвилло торжествовалъ и уже завелъ-было книгу, въ которую постепенно вносилъ обывателей, на которыхъ само «содѣйствіе» указывало, какъ на неблагонадежныхъ. Однако-жъ торжество это было недолгое. Главнымъ образомъ ошибка Язвиллы заключалась въ томъ, что онъ никакъ не предполагалъ. чтобы ябеда. имъ возбужденная, достигла такихъ несказанныхъ размѣровъ и приняла столь разнообразныя формы. Пошехонцы до такой степени разревновались, что превзошли самыя смѣлыя ожиданія. Вчерашній охранитель дѣлался сегодняшнимъ потрясателемъ; сегодняшній охранитель могъ быть увѣреннымъ, что сдѣлается потрясателемъ завтрашнимъ. Язвилло бѣгалъ по городу какъ угорѣлый, ловилъ, хваталъ, но уже никакая лихорадочная дѣятельность не могла удовлетворить народной немезидѣ. Въ одно прекрасное утро оказалось, что изъ всего пошехонскаго населенія только онъ, Язвилло, да негласный руководитель ябедническаго движенія, Беркутовъ (о немъ зри ниже) остались незавиненными. Даже непремѣнный засѣдатель — и тотъ оказался потрясателемъ, потому что, получивши съ почты казенныя деньги, «обронилъ» ихъ по дорогѣ въ полицейское управленіе.

Тогда Язвилло отправился съ докладомъ въ губернію, гдѣ и былъ немедленно уволенъ отъ должности.

На мѣсто Язвиллы пріѣхалъ въ Пошехонье капитанъ Груздевъ (новокрещенъ изъ черемисъ), который вновь возвратился къ простымъ и удобопонятнымъ распоряженіямъ, съ тѣмъ лишь присовокупленіемъ, что разъ навсегда устранилъ всѣ колебанія и неясности, которыя въ прежнее время парализовали успѣхъ принимаемыхъ мѣръ.

Прибывши на мѣсто, онъ, по примѣру своихъ предмѣстниковъ, велѣлъ привести Андрея Курзанова и приказалъ ему «справедливыя слова» говорить. Но едва началъ Андрей: «тебѣ—кусокъ и мнѣ—кусокъ», какъ Груздевъ на первыхъ же словахъ его перервалъ.

— Довольно!—сказалъ онъ твердо: —даю тебѣ два дня на исправленіе!

Черезъ два дня Курзановъ явился вновь; но такъ какъ, повидимому, умъ у него окончательно заложило, то и на этотъ разъ онъ началъ: «тебѣ—кусокъ, мнѣ—кусокъ»...

— Фюить!

II.

Никаноръ Беркутовъ.

Все въ тотъ же самый періодъ времени, такъ сказать, параллельно съ Андреемъ Курзановымъ, расцвѣлъ по сосѣдству съ Пошехоньемъ, въ городѣ Тотьмѣ (Вологодской губерніи), другой реформаторъ, Никаноръ Беркутовъ.

Въ этихъ людяхъ было разное: и отправная точка дѣятельности, и дальнѣйшія ихъ судьбы. Но одна черта была общая, которая и сообщила ихъ дѣятельности выдающійся характеръ: оба мыслили и говорили не такъ, какъ прочіе тотемцы и пошехонцы мыслятъ и говорятъ.

Беркутовъ былъ причетническій сынъ и родился въ одномъ изъ тотемскихъ захолустьевъ, гдѣ отецъ его служилъ пономаремъ при очень бѣдной приходской церкви. Въ дѣтствѣ Никаноръ никогда досыта не ѣдалъ, но зато по горло былъ сытъ побоями и колотушками, которыми щедро одѣляли его отецъ и мать. По одиннадцатому году сдали его въ тотемское духовное училище, гдѣ сытости не прибавилось, а тѣлесныя калѣчества, напротивъ, въ значительной мѣрѣ умножились. Учился онъ плохо, кончилъ курсъ въ училищѣ поздно и отъ перехода въ семинарію уклонился, а прямо поступилъ на службу писцомъ въ тотемскій земскій судъ на рублевое мѣсячное жалованье.

Лѣтъ десять сряду онъ мыкался то около суда, то по становымъ квартирамъ, подстерегая просителей, устраивая мелкія вымогательства, и кончилъ все-таки тѣмъ, что былъ за пьянство и вздорный характеръ выгнанъ изъ службы.

Принятые въ дѣтствѣ побои, а затѣмъ голодъ и дальнѣйшія преслѣдованія судьбы развили въ Беркутовѣ угрюмость, которая постепенно развилась въ открытое человѣконенавистничество. Всѣхъ и за все онъ ненавидѣлъ. Богатыхъ—за то, что богаты, сильныхъ за то, что сильны, бѣдныхъ — за то, что бѣдны, слабыхъ — за то, что слабы. Въ первыхъ онъ видѣлъ угнетателей, во вторыхъ — массу ничтожныхъ существъ, которыя ни ему, ни другимъ, ни даже самимъ себѣ не могли оказать ни защиты, ни поддержки. И всѣмъ по мѣрѣ силъ старался сдѣлать зло. Злоба ключомъ кипѣла въ его сердцѣ, злоба прокаженнаго человѣка, къ которому никто добровольно не хочетъ прикоснуться. И онъ несомнѣнно задохся бы отъ ненависти, если бы не облегчалъ себя, всеминутно изрыгая потоки клеветническихъ и смрадныхъ словъ.

Тридцати лѣтъ отъ роду онъ уже имѣлъ наружность отживающаго старика. Сухой, словно изъѣденный невѣдомыми внутренними бактеріями, съ сгорбленною, какъ бы перешибленною спиною, съ трясущимися руками и ногами, съ морщинистымъ и желтымъ, какъ пергаментъ, лицомъ, онъ, казалось, всеминутно готовъ былъ разсыпаться въ прахъ. Но глаза свидѣтельствовали объ его живучести. Это были черные юношескіе глаза, которые горѣли въ своихъ глубокихъ впадинахъ сухимъ и горячимъ блескомъ, наводя на постороннихъ не страхъ и даже не уныніе, а какую-то щемящую сухоту, какъ будто изъ этихъ глазъ изливался таинственный токъ, который и прочія сердца отравлялъ ненавистью, изсушившею самого Беркутова.

Съ утра до вечера бродилъ Беркутовъ по городскимъ улицамъ, грузно ступая ногами по грязи и опираясь на толстую суковатую палку, которою по временамъ онъ грозилъ, проходя мимо особенно ненавистныхъ ему домовъ. Въ кабаки и харчевни онъ заходилъ охотно, но не для пьянства (хотя и выпить былъ не прочь), а для подстрекательства. Тамъ онъ снималъ съ присутствующихъ формальный допросъ и, узнавъ о притѣсненіяхъ — все равно, дѣйствительныхъ или мнимыхъ, — тутъ же начиналъ дѣло. За труды отъ мзды не отказывался, но бралъ умѣренно и житейскія свои потребности довелъ почти до минимума;

такъ что казалось даже удивительнымъ, какъ онъ и въ самомъ дѣлѣ не разсыплется въ прахъ.

Однако-жъ адвокатская спеціальность далеко не исчерпывала содержанія его дѣятельности. Самою существенною чертою этой дѣятельности, какъ сказано выше, являлась проповѣдь ненависти къ сильнымъ и презрѣнія къ слабымъ. И то и другое онъ высказывалъ громко и не стѣсняясь. Сильные тогдашняго тотемскаго міра вообще были нѣсколько позамараны. Это были или мѣстные дворяне, почти сплошь мелкопомѣстные, которые тяготили своихъ крѣпостныхъ, выжимая изъ нихъ послѣдніе соки; или чиновники, которые въ то время во всей Россіи жили не столько казеннымъ жалованіемъ, сколько выдумками собственнаго изобрѣтенія. Это значительно облегчало Беркутову его пропаганду ненависти, такъ что, какъ ни горѣли представители мѣстной культуры желаніемъ допечь наглаго надругателя, но самая нерѣшительность и робкость, которыя они при этомъ выказывали, въ самомъ корнѣ парализировала ихъ усилія. Что же касается до презрѣнія къ слабымъ, то, конечно, въ этомъ отношеніи ни съ какой стороны препятствій для Беркутова возникнуть не могло.

Замѣчательно, что, несмотря на несомнѣнную каверзность его наружнаго вида, никто надъ Беркутовымъ не издѣвался. Даже мальчишки не бѣгали за нимъ толпами, не кричали и не дразнились, какъ это дѣлалось въ отношеніи другихъ, болѣе обыкновенныхъ пропойцевъ. Какъ будто они понимали, что въ этомъ трясущемся тѣлѣ заключена таинственная сила, которая можетъ въ одну минуту задавить и ихъ самихъ, и присныхъ ихъ, и то «праховое» устройство, около котораго лѣпилось ихъ существованіе. Взрослые же тотемцы почти поголовно снимали передъ Беркутовымъ картузы, что доставляло ему неизреченное наслажденіе, такъ какъ онъ зналъ, что не было той души во всемъ городѣ, которая не ненавидѣла бы его.

Ученіе Беркутова было очень просто и выражалось въ слѣдующихъ немногихъ словахъ: «всѣхъ привести къ одному знаменателю». Именно такъ онъ и говорилъ, какъ бы свидѣтельствуя этимъ, что былъ въ училищѣ и не забылъ о дробяхъ.

Никакихъ разъясненій и развитій это ученіе не требовало. Все оно исчерпывалось въ своей краткой гнусности. Кого нужно было привести къ одному знаменателю?—всѣхъ. По какимъ причинамъ?—по всѣмъ вообще. Что означало

слово: «знаменатель»? —все вообще, что заставляетъ человѣка страдать, корчиться отъ боли, изнывать. И плющильный молотъ, и «кошки», и плеть, и пресловутый «третій пунктъ», и клевета, и нравственныя мучительства и истязанія—все на потребу! все въ большей или меньшей степени равняетъ людей передъ лицомъ «знаменателя».

Для чего это нужно?—Беркутовъ никогда на этотъ вопросъ не отвѣчалъ; но видно было, что для него дѣло было вполнѣ ясно. Можетъ-быть, ему представлялась безконечная пустыня, по которой рыскали звѣри и рвали другъ друга зубами. Или, быть-можетъ, передъ глазами его мелькалъ наполненный атомами хаосъ, изъ темной глубины котораго выступалъ сатана... Во всякомъ случаѣ едва ли даже лично самого себя онъ выдѣлялъ изъ той общей утрамбовки, которую долженъ былъ произвести «знаменатель», похаживая по обывательскимъ головамъ.

Повторяю однако-жъ: Беркутова весь городъ ненавидѣлъ, а въ томъ числѣ и лица, за которыхъ онъ по наружности заступался и отъ имени которыхъ вчиналъ иски и дѣла. Но всего болѣе ненавидѣли его чиновники, несмотря на то, что теорія приведенія къ одному знаменателю, по существу, вовсе не противорѣчила вѣяньямъ того времени. Очевидно, что атмосфера до того была насыщена всевозможными знаменателями, что слышать это слово отъ какого-то случайнаго поганца становилось уже совсѣмъ нестерпимымъ. Поэтому, какъ ни боялись тотемскіе чины разоблаченій Беркутова и какъ ни ошеломляюще дѣйствовала эта боязнь на ихъ отношенія къ «поганцу», тѣмъ не менѣе они все-таки всемѣрно старались его донять.

Тотемскій городничій не разъ призывалъ Беркутова и угрожалъ ему:

— И отъ кого ты, поганецъ, уродился? — кричалъ онъ на него:—и какъ земля тебя, демона, носитъ, какъ не задохнешься ты въ поскудствѣ своемъ? Вотъ погоди ужо! сгною я тебя въ острогѣ! сгною, какъ пить дамъ!

И дѣйствительно, отъ времени до времени изобрѣталъ какую-нибудь выдумку и сажалъ Беркутова въ острогъ. А однажды даже и впрямь едва не «сгноилъ» его въ тюрьмѣ. И вотъ по какому случаю.

Въ то время, относительно доносителей по первымъ двумъ пунктамъ, держались такого рода правила: коли любишь доносить, то люби и доказать свой доносъ (по пословицѣ: «любишь кататься люби и саночки возить»), а покуда не

докажешь—сиди въ острогѣ. Правило это, мудрое и человѣколюбивое, налагало на доносчиковъ извѣстную узду и вполнѣ оправдалось вакханаліями «слова и дѣла», которыя были еще у всѣхъ на памяти. Доносить было и сладко, и жутко. Сладко потому, что доносъ столь блестящій сразу ставилъ доносчика во мнѣніи согражданъ на недосягаемую высоту; жутко — потому, что тотъ же доносъ, въ случаѣ неудачи, могъ низвергнуть своего автора на самое дно преисподней.

Начальство не любило блестящихъ доносчиковъ. Во-первыхъ, оно по природѣ своей охотнѣе утирало слезы, нежели извлекало ихъ; во-вторыхъ, оно отлично понимало, что въ какой-нибудь Тотьмѣ не только двухъ первыхъ, но и вообще никакихъ пунктовъ невозможно и предположить. Поэтому обиліе подобныхъ доносчиковъ считалось карою и вреднымъ усложненіемъ административнаго механизма. Въ доносчикахъ тѣмъ охотнѣе видѣли безпокойныхъ и даже злонамѣренныхъ людей, что страсть къ доносамъ не ограничивалась какою-либо спеціальностью, но распространялась вообще на все и на всѣхъ. Первые два пункта представляли собой какъ бы лакомство, обыкновенною же пищею для доносовъ служили заурядные поступки уѣздныхъ и губернскихъ чиновъ. Понятно, что послѣдніе пользовались всякимъ случаемъ, чтобы подловить хотя тѣхъ шустрыхъ негодяевъ, которые самонадѣянно пускались въ слишкомъ смѣлое плаваніе по безграничному океану ябедничества.

Именно такой грѣхъ случился и съ Беркутовымъ. Какимъ-то образомъ онъ не разсчиталъ себя и, вмѣсто пьедестала, очутился въ острогѣ. На этотъ разъ онъ засѣлъ тамъ уже не на недѣлю и не на мѣсяцъ, какъ прежде, а на цѣлые годы. Однако-жъ узы не только не пролили мира въ его озлобленную душу, но еще больше ожесточили ее. Ежели, съ одной стороны, ему періодически напоминали о представленіи доказательствъ, подтверждающихъ сдѣланный имъ доносъ, то, съ другой стороны, онъ отвѣчалъ на эти напоминанія усугубленіемъ ябеднической дѣятельности. Каждый день онъ являлся въ смотрительскую и оттуда наводнялъ присутственныя мѣста доносами и кляузами. Власти смутились. Вышло нѣчто совсѣмъ неожиданное. Заключеніе Беркутова въ острогъ не только не облегчило движенія административнаго механизма, но чуть было совсѣмъ не затормозило его. Беркутовъ на досугѣ всѣхъ завинилъ: не только людей, находящихся у кормила, но ихъ женъ, своя-

чиницъ и снохъ. Чувствовалась потребность, во что бы то ни стало, развязать этотъ узелъ, и наконецъ его развязали тѣмъ, что административнымъ порядкомъ водворили ябедника въ Пошехоньѣ.

Здѣсь его встрѣтилъ тотъ самый городничій, который такъ благосклонно выслушивалъ Андрея Курзанова и дивился его разуму. И встрѣтилъ, надо сказать правду, неблагосклонно.

— Ты у меня смотри!—кричалъ на Беркутова городничій:—ябедничать или доносы писать—и Боже тебя сохрани! У насъ здѣсь покудова было смирно, такъ ежели что... сгною, поганца, въ острогѣ! какъ пить дамъ, сгною!

Беркутовъ угрюмо выслушалъ эту угрозу и отвѣтилъ на нее тѣмъ, что съ первой же почтой на всѣ пошехонскія власти послалъ обстоятельный доносъ.

И въ Пошехоньѣ началась такая же суматоха, какъ въ Тотьмѣ. Но такъ какъ Беркутовъ былъ уже «ябедникъ завѣдомый», то на этотъ разъ административный механизмъ былъ не особенно затрудненъ его дѣятельностью. Прошенія и ябеды его оставались безъ разсмотрѣнія и возвращались ему съ надписью. А городничій, узнавъ изъ этихъ прошеній, что онъ не только мздоимецъ, но и кровосмѣситель, возвращая ихъ доносителю, говорилъ:

— Ужъ сгною я тебя въ острогѣ, поганецъ! убей меня Богъ, коли не сгною!

Беркутовъ задыхался и сохъ. Онъ сознавалъ себя въ положеніи пойманнаго волка, на которомъ всякій могъ срывать зло, а онъ— ни на комъ. Хотя же онъ и продолжалъ гремѣть по всѣмъ кабакамъ, что все и всѣхъ необходимо привести къ одному знаменателю, но пошехонцы, убѣдившись, что начальство относится къ нему немилостиво, не только не довѣряли его словамъ, но даже не разъ содѣйствовали его заключенію въ клоповникъ, какъ возмутителя.

Долго ли, коротко ли такъ шло, но мало-по-малу времена измѣнялись. И опять-таки къ лучшему.

На городничество прибылъ Стратиговъ и, несмотря на свое калѣчество, сразу понялъ, что Беркутовымъ можно отлично воспользоваться. ежели взяться за дѣло умѣючи. Онъ велѣлъ привести его и, указавъ на костыль, спросилъ:

— Видишь?-

— Вижу,—отвѣтилъ Беркутовъ, и что-то въ родѣ улыбки впервые скользнуло на его губахъ.

— Ну, такъ вотъ что. Если ты про меня хоть одно

слово, хоть полслова—въ гробъ, поганца, заколочу! Ни подъ судъ отдавать не буду, ни въ острогъ не посажу—самъ, собственными руками... слышалъ?

— Слышалъ. Что кричишь! — сфамильярничалъ Беркутовъ.

— А коли слышалъ, такъ и намотай себѣ это на усъ. Ну, съ Богомъ! Каждое утро будь здѣсь. И чтобъ все, что въ городѣ... понялъ?

На другой день въ «Уединенномъ Пошехонцѣ» появилась передовая статья, въ которой доказывалось, что ошибочно мы называемъ ябедниками и доносчиками тѣхъ, кои отъ усердія о происходящихъ въ городѣ вредностяхъ извѣщаютъ; и что, напротивъ, «всемѣрно необходимо оное рвеніе поощрять, дабы злодѣи и прочіе развратные люди, прежде нежели умыслить въ сердцахъ свою пагубу, напередъ знали, что городническое правленіе объ оной уже увѣдомлено и находится въ ожиданіи».

Передъ Беркутовымъ словно небеса разверзлись. Не то чтобы онъ изъялъ Стратигова изъ кипѣвшей въ его сердцѣ ненависти къ человѣчеству вообще, но онъ надѣялся доказать ему эту ненависть впослѣдствіи; теперь же рѣшился воспользоваться имъ, какъ подспорьемъ для осуществленія ученія о знаменателѣ. Въ теченіе какого-нибудь мѣсяца, благодаря его извѣстительному рвенію, Пошехонье переполнилось такими преступленіями, о которыхъ самое разнузданное пошехонское воображеніе никогда не смѣло мечтать. И—что всего важнѣе—открыватель этихъ фантастическихъ преступленій назывался уже не доносчикомъ, а извѣстителемъ. Но этого мало: постепенно Стратиговъ такъ распалился ревностью, что уже не ссылался на свидѣтельство Беркутова, а просто говорилъ: «до свѣдѣнія моего дошло»—и дѣло съ концомъ.

Тѣмъ не менѣе дѣйствія Стратигова были настолько безтолковы и порывисты, что удовлетворить Беркутова не могли. Стратиговъ издоимствовалъ, дрался и затѣмъ стихалъ, считая себя на время удовлетвореннымъ; Беркутовъ же стремился къ тому, чтобы постепенными мѣрами довести городъ до тоски. «Сухоту сердечную навести надо,—говорилъ онъ:—мглу непросвѣтную, чтобы ни злакамъ, ни плодамъ земнымъ, ни людямъ—ничему бы совершенія не было!»

Сверхъ того Стратиговъ не зналъ, что именно слѣдуетъ защищать и что преслѣдовать; хотя же Беркутовъ пони-

малъ въ этомъ случаѣ не больше Стратигова, но все-таки чувствовалъ, что въ дѣйствіяхъ городничаго существуетъ какой-то изъянъ. Что нѣтъ у него ни ясно сознанной цѣли, ни общаго плана, который устранялъ бы безплодную суматоху, а прямо указывалъ бы, куда и зачѣмъ нужно идти. Простая драка, простое мздоимство—развѣ за этимъ однимъ гнался Беркутовъ?

Настоящую суть дѣла взялъ на себя разъяснить Язвилло (см. выше). Онъ первый изъ представителей власти призналъ Беркутова благонамѣреннѣйшимъ гражданиномъ и сдѣлалъ его своимъ излюбленнымъ человѣкомъ. Съ непререкаемою послѣдовательностью развилъ онъ передъ нимъ и свои цѣли, и свой планъ. Изъ этого изложенія Беркутовъ убѣдился: 1) что, направляя свою дѣятельность преимущественно въ сторону первыхъ двухъ пунктовъ, онъ, въ сущности, игралъ въ руку внутреннему врагу, ибо никакое самое придирчивое изслѣдованіе не въ состояніи было доказать, чтобы въ Пошехоньѣ могли существовать пункты, и слѣдовательно всѣ попытки въ этомъ смыслѣ могли произвести только безплодное замѣшательство, которымъ внутренній врагъ и не преминетъ воспользоваться для своихъ цѣлей; 2) что идеалы первыхъ двухъ пунктовъ суть вообще идеалы устарѣлые, бѣдные результатами и притомъ сопряженные съ личнымъ рискомъ, въ чемъ онъ, Беркутовъ, и имѣлъ случай убѣдиться лично на своихъ бокахъ; 3) что несравненно удобнѣйшимъ поводомъ для уловленій могутъ служить такъ-называемыя «основы», какъ по растяжимости понятія, ими выражаемаго, такъ и потому, что «основы» затрогиваютъ не столько умъ и чувства человѣка, сколько его шкуру, вслѣдствіе чего человѣкъ мгновенно впадаетъ въ безуміе и лѣзетъ на стѣну; и 4) что, оставивъ ябеду въ своей силѣ, необходимо дать ей другое наименованіе, и что наиболѣе подходящимъ въ этомъ смыслѣ терминомъ является «содѣйствіе общества», такъ какъ терминъ этотъ, независимо отъ благородства, которымъ онъ отличается, еще въ значительной мѣрѣ расширяетъ предѣлы самой ябеды.

Беркутовъ въ совершенствѣ понялъ наставленія своего принципала и въ особенности ту привилегію безнаказанности, которую они въ себѣ заключали. Не теряя времени, онъ отправился по всѣмъ кабакамъ, призывая къ содѣйствію всѣхъ, кои за шкаликъ готовы были продать свою совѣсть. Благодаря объявленной волѣ вину, кабаковъ расплодилось

въ городѣ множество, и всѣ съ утра до вечера были полны народомъ. Окруженные со всѣхъ сторонъ винными парами, пошехонцы дѣлались обыкновенно нервны, чутки и проницательны. Поэтому, какъ только Беркутовъ объяснилъ, что въ Пошехоньѣ водворился внутренній врагъ, который у обладателей шила отниметъ шило, а у обладателей штановъ — штаны, всѣ пропойцы такъ и ахнули. Тогда Беркутовъ растолковалъ, что надо не медля идти навстрѣчу врагу, дабы пристигнуть въ самомъ его убѣжищѣ,— и всѣ сейчасъ же ходко и горячо откликнулись на призывъ и огласили Пошехонье криками: «караулъ! грабятъ!»

Первою жертвою системы «содѣйствія общества» палъ судебный слѣдователь; второю—мѣстный акцизный надзиратель. Затѣмъ жертвы начали попадаться массами. Беркутовъ съ утра разстилалъ сѣть и, запутавъ въ ней цѣлую уйму «неблагонамѣренныхъ», представлялъ ихъ въ полицейское управленіе на зависящее распоряженіе.

Тѣмъ не менѣе, какъ ни ловокъ былъ Язвилло въ дѣлѣ подсиживанія обывателей и какъ ни усердно помогалъ ему Беркутовъ—въ результатѣ все-таки получилась сумятица. Перипетіи этой сумятицы описаны выше; здѣсь же слѣдуетъ прибавить, что Язвилло до того увлекся своимъ «предпріятіемъ», что самъ повѣрилъ обилію скопившихся въ Пошехоньѣ горючихъ матеріаловъ и, испугавшись могущаго послѣдовать отъ сего для Россійской имперіи ущерба, совершенно искренно испрашивалъ у начальства благомилостиваго разрѣшенія на срытіе города Пошехонья до основанія. Но на этотъ разъ Беркутовъ не только не раздѣлялъ мнѣнія Язвиллы, но даже послалъ на него доносъ, обзывая своего милостивца полякомъ и измѣнникомъ и обвиняя его въ произведеніи безплодной суматохи, въ угоду «ржонду». При чемъ совершенно резонно присовокуплялъ, что ежели всѣхъ обывателей города Пошехонья безнужно истребить, то кого же на будущее время сыскивать и на кого сухоту наводить онъ будетъ?

Принятъ ли былъ во вниманіе беркутовскій доносъ и даже былъ ли онъ разсмотрѣнъ — неизвѣстно; но Язвилло недолго наслаждался плодами произведеннаго имъ спасительнаго междоусобія. Начальство не только оставило безъ уваженія его ходатайство о срытіи Пошехонья, но его самого «за сію нелѣпую затѣю» уволило отъ должности.

На мѣсто Язвиллы назначенъ былъ Груздевъ.

Прибывъ въ городъ, онъ созвалъ пошехонцевъ и молча погрозилъ имъ пальцемъ.

Затѣмъ, дабы сейчасъ же познакомить обывателей съ программою будущихъ своихъ дѣйствій, Андрея Курзанова истребилъ, а Беркутова возложилъ на лоно.

Вечеръ пятый.

ПОШЕХОНСКОЕ «ДѢЛО».

Будучи отъ рожденія пошехонскимъ гражданиномъ, я съ удовольствіемъ дѣлаю періодическія экскурсіи въ эту страну. Сколько лѣтъ я на свѣтѣ живу, столько же времени и знаю ее. Зналъ ее крѣпостною, зналъ и реформенною, знаю и теперь, готовою возродиться вновь, или, какъ нынче принято говорить, отъ мечтаній перейти къ дѣлу. Замечтались, видите, пошехонцы, закружились у нихъ буйныя головы—натурально, пора за дѣло молодцовъ засадить. Принимайтесь, господа, принимаетесь! а дальше видно будетъ, какъ съ вами поступить.

Все мнѣ въ этой странѣ родственно и достолюбезно. Дороги мнѣ и зыбучіе ея пески, и болота, и хвойные лѣса (увы! нынѣ значительно порѣдѣвшіе); но въ особенности милъ населяющій ее людъ, простодушный, смирный, слегка унылый, или, лучше сказать, какъ бы задумавшійся надъ разрѣшеніемъ какой-то непосильной задачи. Всегда онъ былъ такимъ, во всѣхъ положеніяхъ; всегда шелъ безотговорочно и впередъ и назадъ, принимая къ свѣдѣнію и руководству всевозможные уроки и задачи, и въ то же время какъ бы говоря себѣ: посмотримъ, какая-то изъ этого новаго хлѣба лебеда выйдетъ! Слышалась ли въ этомъ вопросѣ робкая иронія, или онъ былъ только невольнымъ выраженіемъ всполошившагося инстинкта самосохраненія—я не берусь объяснить. Но могу сказать достовѣрно, что когда водворялись новые порядки и создавались новыя положенія, то они всегда находили пошехонца готовымъ приспособиться къ приносимой ими новой лебедѣ съ тою же податливостью, съ какою онъ искони приспособлялся къ лебедѣ всѣхъ временъ...

Случались, конечно, между пошехонцами и недоразумѣнія (приспособляются-приспособляются, да вдругъ и станутъ втупикъ), или, какъ въ старину выражались, «бунты», но никто до сихъ поръ въ этихъ «бунтахъ» разобраться не

могъ. Что такое ихъ порождаетъ, экономическія ли причины, политическія ли, или религіозныя—ни одинъ компетентный изслѣдователь пошехонской народности на этотъ вопросъ ясно не отвѣтилъ. Хотя же господа исправники и утверждаютъ, что всѣ бунты происходятъ отъ зачинщиковъ, но, по моему мнѣнію, такое объясненіе черезчуръ уже просто, а потому и неимовѣрно. Поэтому я съ своей стороны предлагаю такую догадку: пошехонецъ бунтуетъ, когда у него шкура болитъ; но когда онъ, при посредствѣ вразумленій, убѣждается, что стоитъ только перетерпѣть, и шкура отболитъ сама собою, тогда онъ бунтовать перестаетъ.

Бывали минуты, когда пошехонская страна приводила меня въ недоумѣніе: но такой минуты, когда бы сердце мое перестало болѣть по ней, я рѣшительно не запомню. Бѣдная эта страна, — ее надо любить. Ничто такъ естественно не вызываетъ любви, какъ бѣдность, угнетенность, скорбь и злосчастіе вообще. Любовь сама по себѣ есть чувство радостное и свѣтлое, но въ большинствѣ примѣненій въ нее громаднымъ элементомъ входитъ желаніе. Оно дѣлаетъ любовь дѣятельной и внушаетъ ей подвиги высокаго самоотверженія; оно наполняетъ человѣческую жизнь отравой и въ то же время заставляетъ человѣка стремиться къ этой отравѣ, жаждать ея, видѣть въ ней завѣтнѣйшую цѣль лучшихъ помысловъ души. Даже совсѣмъ дряблыя и закоченѣвшія сердца—и тѣ находятъ въ глубинахъ своихъ искру, которая не только побуждаетъ ихъ устремляться навстрѣчу злосчастію, но и ихъ самихъ согрѣваетъ и растворяетъ! Бѣдные! бѣдные! бѣдные!—вотъ мысль, которая можетъ переполнить все существо, переполнить до краевъ, не давая мѣста ни другой мысли, ни другому чувству. Эта робкая боль, сказывающаяся всюду, эти подавленные стоны, волной переливающіеся изъ края въ край,—могутъ замучить. Они призываютъ къ суду человѣческой совѣсти тѣни прошлаго; побуждаютъ ее разбираться въ томъ, что казалось позабытымъ, канувшимъ въ вѣчность; заставляютъ чего-то искать, какихъ-то лучей, на которыхъ можно было бы успокоиться... Искать, искать... и не находить. Не потому не находить, чтобы все прошлое было сплошнымъ темнымъ пятномъ, а потому, что нѣтъ того солнца, котораго лучи не потускнѣли бы въ глубинахъ безразсвѣтной ночи, называемой человѣческимъ злосчастіемъ. Спрашивается: при такихъ неусыпающихъ мученіяхъ совѣсти

естественно ли, чтобы мысль переносилась на почву иныхъ (хотя бы высшихъ и міровыхъ) вопросовъ, а не сознавала себя безповоротно прикованною къ тѣмъ непосредственнымъ отравамъ, которыя и свидѣтельства прошлаго, и перспективы будущаго—все окутываютъ непроницаемымъ флёромъ?

Мы переживаемъ время суровыхъ, но безплодныхъ поученій. Всѣ какъ будто проснулись отъ пьянаго сна и впервые встрѣтились лицомъ къ лицу съ какою-то безнадежною, почти фантастическою дѣйствительностью. Отсюда—всеобщее изумленіе, поголовный страхъ. Именно только изумленіе и страхъ, потому что бросившійся въ глаза хаосъ не вызвалъ въ насъ рѣшимости разобраться въ немъ, не указалъ на необходимость отдѣлить слѣдствія отъ причинъ, согласовать накопившіяся жизненныя противорѣчія и установить отправные пункты для будущаго жизнестроительства, а только пробудилъ какое-то спутанное чувство, которое и овладѣло умами съ неудержимою силой.

Спутанное чувство и формулу нашло для себя спутанную. «Прочь мечтанія! прочь волшебные сны! прочь фразы! Пора наконецъ за дѣло взяться!»—вотъ эта формула. Какія мечтанія, какіе сны, какія фразы—неизвѣстно! Почему эти мечтанія, сны и фразы оказались безплодными: потому ли, что они сами въ себѣ не заключали зерна жизни, или потому, что это зерно было погублено сложившимися условіями,—тоже неизвѣстно. И наконецъ, въ чемъ заключается дѣло, за которое пора взяться,—и объ этомъ никто не говоритъ.

Однимъ словомъ, всѣ жалуются и вопіютъ, что «фраза» заѣла насъ, всѣ настаиваютъ на ея истребленіи и всѣ на ея мѣсто предлагаютъ... такую же фразу! И въ довершеніе—фразу совсѣмъ не новую, а засиженную, истрепанную, почти истлѣвшую подъ наслоеніями пыли и плѣсени. Фразу, которую въ любомъ архивѣ на любой полкѣ можно прочесть въ безконечномъ разнообразіи редакцій...

Тѣмъ не менѣе мысль о необходимости перехода отъ мечтаній къ «дѣлу», повидимому, оказалась настолько по плечу нашей «отрезвившейся» современности, что сомнѣваться въ предстоящей ей блестящей будущности нѣтъ возможности.

Во всѣхъ трактирахъ и харчевняхъ разомъ раздалось такое множество трезвенныхъ голосовъ, что въ общей су-

мятицѣ трудно различить, гдѣ кончается простое пустословіе и гдѣ начинается подсиживаніе. Всѣ требуютъ «дѣла», говорятъ о «дѣлѣ», получаютъ, убѣждаютъ, негодуютъ на тему: дѣла, дѣла и дѣла! Публицисты едва поспѣваютъ формулировать народившіяся требованія, пожеланія и аспираціи. Одинъ восклицаетъ: «прочь дурныя фантасмагоріи, этотъ гнилой плодъ дурныхъ страстей! прочь несбыточныя и неосуществимыя ожиданія! да проглянетъ лучъ свѣта въ темную ночь мечтаній! да восторжествуетъ здравый смыслъ!» Другой, положа руку на сердце, излагаетъ: «Эпоха мечтаній, повидимому, миновалась—и слава Богу! Злоба дня измѣнила характеръ свой и изъ области блестящихъ, но туманныхъ порываній вывела общество въ область простого, но яснаго и всѣмъ доступнаго дѣла. Будемъ же вѣрны этой вновь народившейся потребности общества и вмѣстѣ со всѣми желающими отечеству процвѣтанія воскликнемъ: да исчезнутъ мечтанія! да здравствуетъ суровое, но плодотворное дѣло!» Третій наивно подхватываетъ: «А что въ самомъ дѣлѣ! не попробовать ли намъ обратиться къ дѣлу? Авось либо...» и т. д.

И затѣмъ, наговорившись досыта, и публицисты, и устные представители общественнаго задора, какъ бы обращаясь къ невидимому оппоненту, едиными устами возглашаютъ: «къ чему привели насъ мечтанія?—ни къ чему!!» И вся окрестность вторитъ имъ: «ни къ чему!» И долы, и горы, и поля, и луга—все, какъ одинъ, вопіетъ: «ни къ чему! ни къ чему! ни къ чему!»

Но, какъ уже замѣчено выше, ни въ трактирахъ, ни въ публицистикѣ никто до сихъ поръ не обмолвился, въ чемъ же должно заключаться «дѣло», котораго вожделѣютъ всѣ сердца; никто не назвалъ его по имени. Воображенію представляется нѣчто въ родѣ пирога, который покуда стоитъ въ духовомъ шкапу и поспѣваетъ. Когда онъ зарумянится, его вынутъ и подадутъ: кушайте!

Такіе внезапные всполохи человѣческой мысли въ особенности любопытны въ психологическомъ отношеніи. Иной разъ думается, что слово сказалось не понимаючи,—анъ оно сказано не только «понимаючи», но и съ намѣреніемъ подсидѣть; въ другой разъ—наоборотъ. Думаешь-думаешь, стараешься разобрать, и все выходитъ: понимаючи—не понимаючи, не понимаючи—понимаючи. Самое лучшее въ такихъ случаяхъ—уйти отъ грѣха. Потому что если вокругъ всѣ скопомъ кричатъ: довольно мечтаній! довольно!—то тутъ

и самый скромный человѣкъ невольно скажетъ себѣ: а что въ самомъ дѣлѣ... авось...

— Объ «дѣлѣ» надо сказать такъ: какое дѣло и въ какое время!—говорилъ мнѣ на-дняхъ отставной безшабашный совѣтникъ Рогуля. —И дѣла надо требовать съ осторожностью. Иное дѣло на взглядъ совсѣмъ плёвое, а, смотришь, исподволь оно округляться начинаетъ. Округляется да округляется, и вдругъ—вонъ оно куда пошло!

Повторяю однако-жъ: представленіе о «дѣлѣ» не только не новость въ исторіи нашей цивилизаціи, но, напротивъ, составляетъ существеннѣйшую часть всего ея содержанія.

По крайней мѣрѣ такъ искони было у насъ въ Пошехоньѣ. Благодаря отсутствію мечтаній, пошехонская страна поражала своей несокрушимостью; благодаря тому, что въ ней никогда не замѣчалось недостатка въ «дѣлѣ»,—она удивляла изобиліемъ.

О несокрушимости пошехонской я говорить не буду, потому что считаю себя въ этомъ вопросѣ некомпетентнымъ, но о такъ-называемомъ пошехонскомъ изобиліи побесѣдую съ охотою.

Многіе и до сихъ поръ повѣствуютъ, что было время, когда пошехонская страна кипѣла млекомъ и медомъ. «Арсеній Иванычъ,—говорятъ они:—при ста душахъ самъ-четырнадцатъ за столъ каждый день садился—а какъ жилъ!» Или: «У Анны Мосевны всего одна ревизская душа была, да и та бездѣтная, а жила же!» И, сдѣлавши эти посылки, считаютъ себя вполнѣ правыми.

Что касается до меня, то хотя я остаюсь при особомъ мнѣніи насчетъ подлинности и размѣровъ пошехонскаго изобилія, но долженъ все-таки признать, что лѣтъ тридцать тому назадъ жилось здѣсь какъ будто ходчѣе. Дѣйствительно что-то такое было въ родѣ полной чаши, напоминавшей объ изобиліи. Но когда я спрашиваю себя, на чью собственно долю выпадало это изобиліе?—то, по совѣсти, вынужденъ сознаться, что оно выпадало только на долю потомковъ лейбкампанцевъ, истопниковъ и прочихъ дружинниковъ, и что подлинные пошехонцы участвовали въ немъ лишь воздыханіями. Какимъ же образомъ это привилегированное изобиліе достигалось тѣми, на долю которыхъ оно выпадало?—на этотъ вопросъ все Пошехонье, навѣрное, въ одинъ голосъ отвѣтитъ: «дѣломъ». Ибо старые дружинники не только понимали, въ чемъ состоитъ «дѣло», но и умѣли раздѣлить его на двѣ части. Сами взяли въ руки жезлъ, а

аборигенамъ предоставили проливать потъ и слезы. И дѣло не только шло какъ по маслу, но и творило подлинныя чудеса. Изъ конца въ конецъ кипѣла пошехонская земля слезами и потомъ, какъ рѣка въ полую воду, и, благодаря этому кипѣнію, пески превращались въ плодородныя нивы, болота—въ луга, а Анна Мосевна могла благодушествовать при одной ревизской душѣ. И такъ ловко пользовались дружинники этимъ своеобразнымъ изобиліемъ, что и вирямъ казалось, что ему конца-краю нѣтъ. Ужели это было мечтаніе, а не «дѣло»?

Въ началѣ пятидесятыхъ годовъ потомки лейбкампанцевъ начали задумываться. Крѣпостное право было еще въ самомъ разгарѣ, но въ самой совѣсти счастливыхъ дружинниковъ произошло раздвоеніе. Ряды посѣдѣлыхъ въ бояхъ истинниковъ постепенно рѣдѣли и пополнялись молодыми дружинниками, которые не имѣли ни прежней цѣльности міросозерцанія, ни прежней вѣры въ крѣпостное право и его творческія силы. Это были люди колеблющіеся, не чуждые зачатковъ пробуждающейся совѣсти, но больше всего чистоплотные. Чуть-чуть въ то время «мечтанія» не заполонили «дѣла». Но Богъ спасъ. Новые дружинники слишкомъ много любили досугъ, лакомства и комфортъ жизни, чтобы отказаться отъ «дѣла», которое ихъ доставляло. Натворивъ тьму-тьмущую всякаго рода несообразностей, то умывая руки и доказывая свою непричастность къ крѣпостному строю, то цѣпляясь за него, они, послѣ цѣлаго ряда безсильныхъ и лживыхъ потугъ, пришли къ убѣжденію, что ихъ личное участіе въ пошехонскихъ судьбахъ можетъ только поколебать установившуюся традицію объ изобиліи пошехонской страны. И, убѣдившись въ этомъ, въ одно прекрасное утро, какъ тати, исчезли изъ насиженныхъ предками гнѣздъ, предоставивъ довѣреннымъ Финагенчамъ и Прохорычамъ продолжать исконное трезвенное пошехонское «дѣло», а плоды его высылать имъ по мѣсту жительства. И Финагенчи не положили охулки на руку. Это было самое горькое время для пошехонцевъ-аборигеновъ, ибо они были обязаны дѣлать «дѣло» противъ прежняго вдвое: разъ — во имя интересовъ дружинника и два — во имя интересовъ его замѣстителя. Ужели и это было мечтаніе, а не «дѣло»?

Наконецъ, когда пошехонецъ окончательно весь выпотѣлъ, надорвался и отощалъ, — наступило «время, всѣхъ освящающее». Изъ человѣка кабальнаго пошехонецъ вдругъ

шагнулъ въ «меньшіе братья». Противъ этой клички онъ точно такъ же не прекословилъ, какъ не прекословилъ и противъ другихъ безчисленныхъ кличекъ, съ незапамятныхъ временъ на него сыпавшихся. И только тогда, когда увидѣлъ себя замурованнымъ въ «надѣлѣ», какъ будто задумался. И опять, не то иронически, не то машинально, спросилъ себя: «посмотримъ, какая изъ этого выйдетъ лебеда?»

Снова «мечтанія» едва не заполонили «дѣла». Но мечтанія странныя, чисто пошехонскія. А именно: чаяли жито лопатами загребать, а по какому случаю — неизвѣстно. Разумѣется, случилось нѣчто совсѣмъ неожиданное: не пришлось не только за лопаты браться, но и на пригоршню жита не хватило.

Житницы дружинниковъ запустѣли, житницы «меньшихъ братьевъ» не наполнялись. Какимъ образомъ произошло явленіе столь изумительное, доказывавшее, что досугъ вмѣсто изобилія приводитъ за собой скудость, — объ этомъ покуда не велѣно сказывать. Но достовѣрно, что оно совершилось у всѣхъ на глазахъ и удивило даже самихъ ничему не удивляющихся пошехонцевъ. Земля была все та же, и пошехонецъ на ней—все тотъ же, простодушный, во всякое время готовый источать потъ; но плоды земные словно сговорились: перестали лѣзть изъ земли да и шабашъ. Надо всѣмъ царилъ какой-то загадочный вопросъ, который, повидимому, связывалъ руки, мѣшалъ воздѣлывать, сѣять, жать.

Разрѣшеніе загадки, впрочемъ, не заставило себя ждать и осуществилось въ лицѣ Деруновыхъ, Колупаевыхъ и Разуваевыхъ. Эти шустрые люди отлично поняли, что «меньшій братъ» засовался, и что прежде всего его слѣдуетъ «остепенить». Или, говоря другими словами, необходимо дать пошехонскому поту такое примѣненіе, благодаря которому онъ лился бы столько же изобильно, какъ при крѣпостномъ правѣ, и въ то же время назывался бы «вольнымъ» пошехонскимъ потомъ. Но замѣчательно, что, предпринимая осуществленіе этой задачи, Колупаевы не принесли съ собой ничего, что могло бы хотя отчасти оправдать ихъ претензіи, — ни усовершенствованій, ни знаній, ни новыхъ пріемовъ, а озаботились только объ одномъ: чтобы аборигенъ какъ можно аккуратнѣе уперся лбомъ въ стѣну. Вотъ это-то именно они называли «дѣломъ». И не скрывали этого, но шли въ походъ, восклицая, подобно

нынѣшнимъ трезвеннымъ людямъ: «прочь мечтанія! прочь фразы! да здравствуетъ дѣло!»

И все, какъ нарочно, сложилось такъ, чтобъ увѣнчать ихъ предпріятіе успѣхомъ. И купленные за грошъ западѣльные обрѣзки, и надѣлы, устроенные на манеръ западней, и расшивочная продажа вина, — все устроилось на потребу потомку древнихъ гужѣдовъ и на пагубу поильцу-кормильцу пошехонской земли. Въ скоромъ времени меньшій братъ увидѣлъ себя до такой степени изловленнымъ, что мысль о непрерывности даней, составлявшая основной элементъ его крѣпостного существованія, вновь предстала передъ нимъ, какъ единственный выходъ, приличествующій его злосчастію. И предстала тѣмъ съ бо́льшею ясностью и неизбѣжностью, что самый процессъ принесенія даней уже именовался вольнымъ, а не принудительнымъ. Очевидно, что и это было совсѣмъ не мечтаніе, но «дѣло», горшее изъ всѣхъ «дѣлъ».

Тѣмъ не менѣе представленіе объ изобиліи пошехонской страны, однажды поколебленное, уже не возстановилось. До такой степени не возстановилось, что нынѣ многіе начинаютъ сомнѣваться, дѣйствительно ли оно когда-нибудь существовало, и не смѣшивали ли его съ изобиліемъ пошехонской мужицкой спины. Сама земля явилась съ нѣмымъ протестомъ противъ насилій, которымъ подвергала ее колупаевская невѣжественная орда. Съ каждымъ годомъ нѣдра ея поступаются скуднѣе и скуднѣе, хотя кабальный пошехонецъ безъ устали продѣлываетъ, за счетъ Колупаева, все тотъ же изнурительный процессъ, который продѣлывали его отцы и дѣды за счетъ счастливаго лейбкампанца... А Колупаевъ сидитъ, ничего не разумѣючи, за стойкой въ кабакѣ да по-дурацки покрикиваетъ: «довольно мечтаній! довольно фразъ! за дѣло!»

Такимъ образомъ оказывается, что мысль о «дѣлѣ», которая такъ настойчиво волнуетъ современное русское общество, у насъ, въ Пошехоньѣ, не только не составляетъ новости, но искони служила единственнымъ основаніемъ, на которомъ созидалось и утверждалось наше пошехонское житіе. Такъ что ежели и случались экскурсіи въ область мечтаній и фразъ, то экскурсіи эти занимали какъ разъ столько времени, сколько требовалось для того, чтобы переходъ отъ одной формы «дѣла» къ другой не казался черезчуръ рѣзкимъ.

Но что всего замѣчательнѣе — представленіе о «дѣлѣ» послѣ каждой экскурсіи не только не смягчалось, но становилось все суровѣе и суровѣе. Ибо, по старинному обычаю пошехонскому, всякая новая форма «дѣла» требовала не простого подчиненія ей, но подчиненія, сопровождаемаго приличествующимъ остепененіемъ.

Я помню, въ одну изъ такихъ эпохъ, когда кратковременная экскурсія въ область мечтаній и фразъ только-что завершилась, пришлось мнѣ быть въ «своемъ мѣстѣ» по «своему дѣлу».

Не буду говорить о томъ, сколько разъ и съ какою силою екало мое сердце при видѣ родного гнѣзда, какъ пахнуло на меня ароматами юности, какъ я внезапно почувствовалъ себя добрѣе, бодрѣе, свѣжѣе и т. д. Обо всемъ этомъ неоднократно и болѣе искусными руками было засвидѣтельствовано въ русской литературѣ, и моя рука ни одного штриха въ этой картинѣ ни прибавить, ни убавить не можетъ. Начну прямо съ того, что въ «своемъ мѣстѣ» всякое дѣло дѣлается безпорядочно, урывками, или, лучше сказать, занятіе дѣломъ беретъ извѣстную сумму минутъ, раздѣленныхъ между собою часами и сутками. Сегодня пришелъ Прохорычъ — онъ и согласенъ бы, да подумать надо; завтра пришелъ Финагенчъ — этотъ и согласенъ, и несогласенъ, но во всякомъ случаѣ ему надо къ зятю за сорокъ верстъ съѣздить, чтобы рѣшительный отвѣтъ дать; на послѣзавтра ждали купца Кабальникова, а онъ совсѣмъ не явился: «ломается, старый песъ, очумѣлъ отъ денегъ». Эти часовые и суточные промежутки, посвящаемые исключительно праздной ходьбѣ взадъ и впередъ по комнатамъ, тянутся необыкновенно томительно.

Чтобъ скоротать время, можно бы сельскаго батюшку пригласить, но гражданскаго разговора онъ не понимаетъ, а о мужицкихъ дѣлахъ говорить брезгаетъ. Такъ что ежели нѣтъ на столѣ закуски (батюшка, для продолженія времени, въ каждый кусокъ не меньше двухъ разъ вилкой тычетъ, какъ будто сразу захватить не можетъ), то обѣ стороны чувствуютъ себя стѣснительно.

Поэтому я очень обрадовался, узнавъ, что еще не всѣ бывшіе дружинники разбѣжались изъ своихъ гнѣздъ, и что во главѣ несбѣжавшихъ находится и старый мой знакомый, Артемій Клубковъ.

Я зазналъ Клубкова очень давно и въ весьма благопріятномъ, сравнительно, положеніи. Онъ служилъ при гу-

бернаторѣ чиновникомъ особыхъ порученій, по казенной службой не особенно отягощался (на него возлагали только такъ-называемыя «щекотливыя» дѣла), преимущественно возлежалъ на лонѣ у губернатора и выполнялъ порученія губернаторши. Сверхъ того онъ былъ великій мастеръ по части всякаго рода увеселеній, такъ что ни одинъ клубный балъ, ни одинъ загородный пикникъ, ни одинъ благотворительный спектакль не обходились безъ того, чтобъ онъ не являлся главнымъ распорядителемъ. Наружность онъ имѣлъ довольно ординарную, но одѣвался чисто и зналъ, кому и чѣмъ услужить. И въ то же время умѣлъ пользоваться привилегіями, которыя доставляла ему роль распорядителя увеселеній, съ тою же ловкостью, съ какою пользуется своими привилегіями первый балетный сюжетъ, на обязанности котораго лежитъ держать на вѣсу балерину въ то время, когда она всѣмъ корпусомъ изгибается, чтобы увидѣть свои собственныя пятки. Поэтому между нимъ и губернскими дамочками установились какія-то особенныя, какъ бы служебныя отношенія, въ силу которыхъ послѣднія хотя и не увлекались имъ, но и противодѣйствовать не дерзали.

— Клубковъ! вы мнѣ дадите роль въ «Отцѣ какихъ мало»?

— А какая будетъ за это награда?

— Ахъ, противный!

И вотъ, по манію Клубкова, безъ предварительныхъ ухаживаній и разговоровъ, дамочкинъ «семейный союзъ» разлетался въ прахъ...

Всѣмъ этимъ относительнымъ благополучіемъ Клубковъ былъ обязанъ исключительно самому себѣ или, лучше сказать, своимъ натуральнымъ качествамъ. Образованіе онъ получилъ «домашнее», то-есть, по достиженіи восемнадцати лѣтъ, прямо съ отеческой конюшни, перешелъ въ кавалерійскій полкъ юнкеромъ и тянулъ тамъ лямку до поручичьяго чина, послѣ чего опредѣлился къ штатскимъ дѣламъ. Въ матеріальномъ отношеніи онъ тоже былъ плохо обезпеченъ, потому что отецъ его хотя и не былъ въ тѣсномъ смыслѣ слова мелкопомѣстнымъ (у него было 80 душъ крестьянъ при четырехстахъ десятинахъ земли), но дѣлиться съ сыномъ могъ лишь въ самыхъ ограниченныхъ размѣрахъ. Тѣмъ не менѣе у Артемія всегда водилась вольная деньга, и хотя нѣкоторые приписывали это его привилегированному положенію при губернаторѣ, но это

было только отчасти справедливо. Знатокъ по лошадиной части, онъ занимался барышничествомъ и на этомъ дѣлѣ выгадывалъ въ свою пользу не одинъ лишній рублишко.

Отецъ Клубкова былъ однимъ изъ тѣхъ прозорливыхъ пошехонцевъ, которые всегда предпочитали «дѣло» мечтаніямъ. Онъ отлично понималъ, что въ жизни дружинника «дѣломъ» можетъ быть названо только то, что̀ доставляетъ матеріальный прибытокъ, а въ жизни кабальнаго человѣка— только трудъ. Все остальное называлось мечтаніемъ и могло только мѣшать «дѣлу». Исходя изъ этого разсужденія, онъ разсчиталъ, что трудъ крѣпостного крестьянина до извѣстной степени не изъятъ отъ мечтаній, и что только трудъ крѣпостного двороваго человѣка всецѣло принадлежитъ помѣщику. Поэтому онъ, еще задолго до эмансипаціи, устроилъ у себя при усадьбѣ фаланстеръ, въ который и заточилъ всѣхъ крестьянъ, а вслѣдъ затѣмъ записалъ ихъ въ ревизію подъ наименованіемъ дворовыхъ. Выдумка была выгодная и удалась вполнѣ. Во-первыхъ, и крестьянскія избы, и крестьянскіе животы — все пошло въ пользу Клубкова; а во-вторыхъ, вся рабочая сила имѣнія была у него теперь подъ рукой, и урвать хотя минуту изъ принадлежащаго помѣщику времени не стало возможности. Правда, что съ этихъ поръ клубковскіе крестьяне получили наименованіе «каторжныхъ», но самого Клубкова большинство сосѣднихъ дружинниковъ звало «умницею» и дѣлягой», и только очень немногіе называли «злодѣемъ».

Такъ шло дѣло до упраздненія крѣпостного права. За это время Клубковъ успѣлъ довести свое хозяйство до возможно-цвѣтущаго состоянія и въ моментъ освобожденія, когда прочіе его собратья отчасти лукавили, отчасти роптали, онъ съ самодовольствомъ видѣлъ, что лично для него крестьянскій вопросъ разрѣшился какъ бы самъ собою. Ни уставныхъ грамотъ онъ не составлялъ, ни надѣловъ не отрѣзывалъ, а спокойно воспользовался предоставленнымъ ему правомъ на двухлѣтній трудъ «дворовыхъ» людей и, по истеченіи льготнаго срока, распустилъ дворню и началъ жить по-новому.

Артемій въ это время еще служилъ и къ дѣяніямъ отца относился какъ-то загадочно. Въ большинствѣ случаевъ онъ избѣгалъ говорить объ немъ, но, въ сущности, очевидно, понималъ, что отецъ его дѣлаетъ «дѣло». Быть-можетъ, косвенно онъ даже содѣйствовалъ этому «дѣлу», такъ

какъ даже въ то суровое время устройство открытой каторги было вещью не совсѣмъ обыкновенною и едва ли могло бы осуществиться безъ секретной поддержки. Затѣмъ прошло три-четыре года по упраздненіи крѣпостного права; Артемій Клубковъ вдругъ куда-то исчезъ. Говорили, что отецъ его умеръ, и что сынъ отправился въ «свое мѣсто» дѣлать «дѣла». Прибавляли, что онъ женился, облекся въ полушубокъ и завелъ въ самомъ господскомъ домѣ постоялый дворъ, съ продажей распивочно и на-выносъ, и при немъ лавку съ крестьянскимъ товаромъ. Что онъ самолично присутствуетъ въ кабакѣ, а жену посадилъ въ лавку, что поля содержатся у него въ порядкѣ, какъ было при отцѣ, что вообще онъ исключительно поглощенъ «дѣломъ», а мечтаніями не только не увлекается, но совершенно ихъ игнорируетъ.

Приблизительно эти же свѣдѣнія получилъ я о Клубковѣ и теперь. Разспрашивая объ немъ старосту Андрея Иваныча, я узналъ, что Артемій положительно стряхнулъ съ себя ветхаго человѣка и весь предался продажѣ и куплѣ. Имѣніе свое онъ ловко округлилъ, скупая у сосѣднихъ владѣльцевъ земельные обрѣзки, которые прилегали къ его дачѣ. Благодаря этому у него было теперь и лѣску довольно, и пустошныхъ покосцевъ вволю, а собственную землю онъ всю раздѣлалъ подъ пашню, которая приносила не убытокъ, а доходъ. Но главную прибыльную статью его бюджета составляло дробное ростовщичество, которое онъ развелъ въ такихъ размѣрахъ, что чуть не всю округу запуталъ въ своихъ сѣтяхъ. Уму его всѣ удивлялись.

— Главная причина, — говорилъ староста Андрей Ивавычъ:—на настоящее дѣло напалъ и настоящимъ манеромъ его ведетъ. Нѣтъ нужды, что баринъ.

И затѣмъ, развивая свой тезисъ дальше, продолжалъ:

— Онъ всякую вещь сначала понюхаетъ да на свѣтъ посмотритъ, а потомъ ужъ и настоящее мѣсто ей опредѣлитъ. Деготь ли, сало ли, яйцо, перо, мука—все онъ сейчасъ сообразитъ. И ежели что̀ сказалъ—законъ. Сказалъ: рупь — рупь и бери; сказалъ: полтина — бери полтину. Вещь-то она, можетъ, два рубля сто̀итъ, а онъ ее за полтину приспособитъ. И одѣвается онъ по-русски, чтобы способнѣе было.

— Такъ это-то и есть настоящее «дѣло»?

— Оно самое. Нонче ужъ и господа моды-то бросили,

за дѣло принялись. Только не всѣ умѣютъ, а онъ умѣетъ. Вонъ Григорій Александрычъ — недалеко ходить — и жадности, и ненависти, всего въ немъ довольно, а не умѣетъ да и шабашъ.

— Да неужто Григорій Александрычъ еще живъ?

— Живъ, только ума въ немъ ни капли не осталось. Все мужичья воля взяла, одни скверныя слова оставила. Онъ бы давно, какъ комаръ, сгибъ, да Клубковъ его еще побаловываетъ: коё мучки, коё чайку-сахарку пришлетъ — этимъ и живетъ.

— А богатъ Клубковъ?

— Денегъ у него прорва, только всѣ распущены. Весь капиталъ у него кругомъ да около, а онъ посередкѣ похаживаетъ. Вся наша округа его. Ничего у насъ нынче собственнаго нѣтъ. Все равно какъ въ старину, когда крѣпостные были: захочетъ господинъ — твое; не захочетъ — вези или веди на господскій дворъ!

— Однако онъ васъ пристигъ-таки!

— Совсѣмъ окружилъ. Точно онъ каждаго въ грѣхѣ засталъ. Захочетъ -проститъ, захочетъ—выдастъ.

— И весело ему живется?

— Сначала, какъ пріѣхалъ въ усадьбу, очень сердился. Все за то, что мужика на волю выпустили. «Въ кандалы бы, говоритъ, его заковать надо, анъ вмѣсто того вонъ что̀ сдѣлали!» Однако годика черезъ два осмотрѣлся, сталъ хвалить. «И хорошо, говоритъ, что ихъ на всѣ четыре стороны пустили: они сами себѣ прочнѣе прежнихъ кандалы выкуютъ!»

— А семья у него велика?

— Жена да двое сыновъ — только и всего. Карахтеръ ему отъ родителя клубковскій достался—только гдѣ покойному противъ него! Старикъ все-таки хоть сколько-нибудь жалѣнья имѣлъ. Людишки-то свои, крѣпостные, были, такъ сжели ихъ совсѣмъ-то покалѣчить—выгоды нѣтъ. А нынче они — вольные. Одного покалѣчитъ — другой, замѣсто его, изъ земли выросъ. Гдѣ спина, тамъ и вина.

Свѣдѣнія эти настолько меня заинтересовали, что на другой день, въ десять часовъ утра, я былъ уже въ Береговскомъ (такъ называлась усадьба Клубкова).

Усадьба стояла особнякомъ, у самой большой дороги, обращаясь переднимъ фасадомъ къ тракту, а задами упираясь въ небольшое озерко, которое представляло ей съ этой стороны какъ бы натуральную защиту. И вправо, и

влѣво, и впереди тянулись поля, и ни одного даже тощаго лѣска верстъ на пять. Усадьба была видна издалека, какъ на ладони, да и изъ нея во всѣ стороны далеко видно было. Строеній имѣлось достаточно, и всѣ прочныя, одно къ одному. Характеръ построекъ былъ купеческій, средней руки, безъ претензій на красоту и даже на удобства, но зато съ соблюденіемъ всякаго рода охранительныхъ мѣръ. Главный жилой корпусъ представлялъ собой длинный бревенчатый срубъ, средину котораго занимала харчевня, а по бокамъ съ одной стороны—лавка, съ другой—жилое помѣщеніе самихъ хозяевъ. Во всякое помѣщеніе вело особое крыльцо: оконъ по фасаду было много, но небольшія (для тепла) и снабженныя ставнями, которыя запирались желѣзными болтами. По бокамъ главнаго корпуса тянулись службы, которыя со стороны поля были обрыты канавами. Вообще усадьба имѣла видъ четырехугольной цитадели, въ которую лихому человѣку проникнуть было очень трудно.

Когда я вошелъ, Клубковъ находился въ харчевнѣ одинъ и, наклонившись къ стойкѣ, дѣлалъ карандашомъ разсчетъ. На немъ былъ надѣтъ новый полушубокъ, расшитый по груди въ строчку шелками (на дворѣ стоялъ октябрь въ началѣ), но волосы были причесаны по-нѣмецки, борода обрита, и глаза вооружены тонкими стальными очками.

Увидѣвши меня, онъ не то чтобы изумился, но какъ будто сейчасъ проснулся. И въ то же время въ глазахъ его уже просвѣчивала досада. Очень вѣроятно, что онъ зналъ о моемъ пріѣздѣ въ имѣніе и даже разсчитывалъ на возможность моего посѣщенія, но «дѣло» до такой степени овладѣло всѣми его помыслами, что всякій «посторонній» случай, какъ бы онъ ни былъ естественъ, неизбѣжно застигалъ его врасплохъ.

— А вы меня застали, такъ сказать, среди самой процедуры моего дѣла!—привѣтствовалъ онъ меня, съ такимъ отсутствіемъ какого бы то ни было душевнаго движенія, какъ будто вчера только со мною разстался. Однако-жъ протянулъ мнѣ обѣ руки и поздоровался.

— Я, признаться, отвыкъ ужъ отъ общества, — продолжалъ онъ, слегка иронизируя: — да при такой обстановкѣ можетъ ли быть и рѣчь объ обществѣ... не правда ли? а?

— Обстановку всякій выбираетъ по желанію,—отвѣтилъ я, чтобъ сказать что-нибудь.

— Да, но «общество»... оно вѣдь обязываетъ. «Иль не

па-де нотръ сосьетѐ», какъ говаривали наши р—скія дамочки... помните? Или, какъ нынче принято говорить: интеллигенція, правящіе классы... фу-ты важно!!

Говоря это, онъ уже не иронизировалъ, а сознательно себя взвинчивалъ, и вдругъ словно самъ себѣ на мозоль наступилъ.

— Ну, да вѣдь теперь — баста! — произнесъ онъ почти зловѣще:—теперь золотые-то сны миновали! Побаловались! пошалили! аминь!

Однако взглянулъ на меня и какъ будто опомнился, что покуда я еще ни въ чемъ передъ нимъ не провинился.

— А впрочемъ, что-жъ это я вамъ...—сказалъ онъ, стихая. — Ну, да вѣдь и накипѣло же у меня! Тутъ дѣла по горло, не знаешь, какъ сладить, а кругомъ—празднословіе, праздномысліе, хвастовство!.. То расцвѣтаютъ, то увядаютъ... Какъ мы съ вами однако-жъ давно... помните! *Ничего* тогда было... жилось! Тогда и теперь—сравните!

— Но вамъ и теперь, повидимому...

— Ничего; я лично не жалуюсь, но вообще... Пойдемте однако, я въ свою хижину васъ сведу, съ бабой своей познакомлю: она тоже въ полушубкѣ въ лавкѣ сидитъ... Антонъ!—обратился онъ къ вошедшему батраку:—ты тутъ за меня посиди, а коли кто съ дѣломъ придетъ, говори: ужо̀! Пойдемте, пойдемте! Я васъ дворомъ проведу! посмо̀трите, какіе у меня тамъ порядки.

Дворъ былъ просторный, свѣтлый и на̀чисто выметенный. Заборъ перегораживалъ его на двѣ половины, изъ которыхъ въ одной помѣщались скотный и конный дворы, а въ другой, примыкавшей къ господскому жилью,—помѣщеніе для рабочихъ и амбары. Въ глубинѣ двора стояло пять-шесть крестьянскихъ подводъ, съ которыхъ производилась ссыпка всякаго рода сѣмени.

— Мужички лено̀къ обмолотили, — сказалъ Клубковъ мягко: — сѣмечко отъ избытковъ везутъ... А мы — покупаемъ.

Говоря это, онъ захватилъ горстью сѣмя и началъ пересыпать его изъ одной горсти въ другую, при чемъ ворошилъ по ладони пальцемъ, всматривался, подувалъ и т. д.

— Лено̀къ чистенькій... ничего!—обратился онъ ко мнѣ.— Безъ костеря. Только вотъ въ дѣлѣ будетъ ли споръ?

И для того, чтобъ разрѣшить этотъ вопросъ, слизнулъ нѣсколько сѣмечекъ языкомъ и пожевалъ.

— Ничего, и масла будетъ въ мѣру. Лѐнное сѣмя—это,

я вамъ скажу, такая вещь, что съ нимъ глаза да и глаза надо. Какъ разъ, подлецы, съ пескомъ подсунутъ!

Потомъ подошелъ къ другому возу: оказался овесъ.

— И овсецо обмолотили—тоже покупаемъ,—сказалъ онъ, раскалывая зубомъ зерно пополамъ:—ничего овёсикъ! недурной! Зерно полненькое, сухое, только вотъ насчетъ чистоты...

Опять началось пересыпанье изъ горсти въ горсть, съ подуваніемъ, разсматриваніемъ на свѣтъ и проч. Нѣсколько разъ черпалъ онъ то въ томъ, то въ другомъ мѣшкѣ, доставая рукою до самаго дна и повторяя одну и ту же процедуру. И вдругъ раздался грозный голосъ:

— Оставь!

— Артемій Иванычъ! родимый! — откликнулся кто-то изъ глубины.

— Знаю я давно, что я Артемій Иванычъ. Оставь. До праздниковъ у него не принимать—ни зерна! А потомъ—увидимъ! — сказалъ онъ батраку, занимавшемуся ссыпкой, и затѣмъ, обращаясь ко мнѣ, прибавилъ:—хочу добиться, чтобъ не считали меня дуракомъ, курицыны сыны, не смѣли бы надувать. И добьюсь.

Такимъ же порядкомъ мы проинспектировали всѣ возы, пока не добрались до хозяйскаго крыльца. Въ комнатахъ насъ ждалъ самоваръ и неизбѣжная закуска, но жены Клубкова не было.

— И не придетъ,—разсудилъ Клубковъ.—Про сосьетѐ вспомнила и оробѣла. Человѣкъ, изволите видѣть, изъ самаго сосьетѐ пріѣхалъ, а она въ полушубкѣ! Милости просимъ! чего прежде, водочки или чайку?

И, не дождавшись моего отвѣта, налилъ себѣ рюмку настойки и проглотилъ.

— А знаете ли что,—продолжалъ онъ наивно:—на первыхъ порахъ вашъ визитъ... какъ бы вамъ сказать... ну, просто мнѣ лишнимъ показался. Съ чего? что такое понадобилось? А теперь вотъ взглянулъ на васъ—такъ на меня и хлынуло прошлымъ! И препріятно. Со мной это и до сихъ поръ по временамъ бываетъ. Сидишь это, молчишь да молчишь, да разсчеты дѣлаешь... и вдругъ откуда ни возьмись:

Скинь-ка шапку, скинь-ка шапку
Да пониже, да пониже, да пониже поклонись!

Помните, кадриль такая «на мотивы» была?.. И все передъ тобой какъ въявь: и музыка, и горящія люстры, и дамочки... Глупо, но пріятно!

— Стало-быть, и мой визитъ на васъ такое же впечатлѣніе сдѣлалъ?

— Да, именно въ этомъ пріятномъ смыслѣ. Старое вспомнилось. Но сколькихъ мы безобразій съ тѣхъ поръ были свидѣтелями! чего наслушались! насмотрѣлись!

— Не знаю. Развѣ что-нибудь особенное произошло?

— Помилуйте! Начать хоть бы съ «меньшаго брата»— неужто это не безобразіе?! А устность и гласность? а обличенія? а скорый и милостивый судъ? Наконецъ: интеллигенція, обезпеченность, самоуправленіе, легальность, правовой порядокъ, иллюзіи, золотыя мечты, надежды, упованія, перспективы... вонъ вѣдь сколько! И все это мы видѣли собственными глазами, слышали собственными ушами!!

— Такъ что-жъ такое! вѣдь не ослѣпли и не оглохли!

— Но зато нанюхались. Нѣтъ, это не такъ. Пошлости-то надо оставить. Уши выше лба не растутъ. Хоть шиломъ шиты, а все-таки въ какомъ ни на есть государствѣ живемъ. Да-съ, въ государствѣ-съ.

Онъ дѣлался кратокъ и начиналъ впадать въ учительный тонъ. И смотрѣлъ на меня ужъ въ упоръ, какъ будто понялъ, гдѣ раки зимуютъ.

— Вамъ, можетъ-быть, непріятенъ этотъ разговоръ?— инсинуировалъ онъ ехидно.

— Помилуйте! да мнѣ-то что-жъ! наплевать — только и всего!— смалодушничалъ я довольно развязно:— сегодня — гласность, завтра — безгласность, сегодня — перспективы, завтра— каменный мѣшокъ... сколько угодно! Помните, какъ въ какомъ-то водевилѣ поется:

Такъ и эдакъ, и вотъ эдакъ,
И вотъ эдакъ, и вотъ такъ!

Всячески хорошо. Не понимаю, вы-то изъ чего безпокоитесь?

Однако-жъ развязность моя не только не плѣнила его, но даже заставила слегка нахмуриться.

— Ну, такъ давайте объ другомъ...—сказалъ онъ послѣ короткой паузы.—Помните, какъ мы въ Р*** жили — вѣдь хорошо тогда было... право!

Начали припоминать, но вспомнилось немногое. Прежде всего изъ глубины прошлаго выплыла хорошенькая мадамъ Первагина, которая любила съ мужчинами «картинки» смотрѣть; потомъ—старый помѣщикъ, который былъ тѣмъ замѣчателенъ, что его всѣ звали «бѣлымъ арапомъ»; потомъ—

полицеймейстеръ, у котораго отъ умиленія расходились сзади фалды, когда онъ по начальству съ докладомъ являлся. Ничего особеннаго. Тѣмъ не менѣе мы оба старались испытывать удовольствіе и отъ времени до времени даже хохотали. Вспомнили кстати нѣсколько «щекотливыхъ» дѣлъ— и опять хохотали. Однако-жъ разговоръ оказался до такой степени скуднымъ, что какъ мы ни длили его, но все-таки въ непродолжительномъ времени стали втупикъ. Начали курить папиросы; курили-курили, хлопали другъ друга по колѣнкѣ, смотрѣли другъ другу въ глаза, обмѣнивались краткими восклицаніями... ни взадъ, ни впередъ!

— А я съ тѣхъ поръ дѣломъ занялся, и вотъ, какъ видите! — не выдержалъ онъ и опять зачастилъ на старую тему:—да и всѣмъ вообще пора за дѣло! Пожуировали! побаловались! И будетъ.

— Какое же собственно дѣло васъ занимаетъ? —полюбопытствовалъ я.

— Работаю. Съ утра до вечера у меня минуты праздной нѣтъ. Я люблю дѣло: а кто его любитъ, у того оно всегда найдется. Въ мужики пошелъ! полушубокъ надѣлъ, косоворотку! сапоги ворванью смазываю... Исправникъ даже доносъ на меня сгоряча написалъ: думалъ, что я мужиковствовать собрался. Ну, нѣтъ! это—аттàнде!

Онъ всталъ съ мѣста и началъ ходить по комнатѣ, видимо, сгорая нетерпѣніемъ высказаться.

— У меня нынче... — началъ онъ, волнуясь: — у меня ужъ поль-уѣзда подъ пятой... Хочу—придавлю, хочу —вздохнуть дамъ. Сытость ихнюю я въ рукахъ держу... Видѣли на дворѣ амбары?—такъ вотъ тамъ ихняя сытость за тремя замкàми лежитъ...

— На чтò же она вамъ понадобилась?

— Чувствуютъ они ее преимущественно. Словà-то въ ушахъ не задерживаются, да и тѣлесныя поврежденія, и тѣ нынче не всегда надлежащее дѣйствіе оказываютъ... А вотъ ежели за желудокъ умѣючи взяться...

— Чтò такое вы говорите, Артемій Ивановичъ! — невольно вырвалось у меня при этомъ признаніи.

Онъ взглянулъ на меня изъ-подъ очковъ и усмѣхнулся.

— А вы изъ филантроповъ?

— Изъ филантроповъ или не изъ филантроповъ, а все-таки... Послушать васъ, такъ можно подумать, что вы за что-то мстите!

— Я не мщу, а дѣло дѣлаю. Разжиться торговлей заду-

малъ. Покупаю—хочу купить дешево; продаю — хочу продать дорого. Желаю имѣть барышъ. А ежели вмѣсто барышей буду терпѣть убытки, то сейчасъ же свою махину по̀ боку—и шабашъ! Понятно?

— Какъ не понимать. Адвокатъ не для того по судамъ изнуряется, чтобы кліентовъ не находить; докторъ не для того практикуетъ, чтобы къ нему не обращались за помощью и т. д. Но при чемъ же тутъ мужицкая сытость?

— А при томъ, что она побуждаетъ дѣло дѣлать. По-моему, дѣло для всѣхъ обязательно. Всякій долженъ именно «свое» дѣло дѣлать, а не забираться въ чужія хоромы, не мечтать. Да, государь мой! покойный батюшка получше насъ съ вами зналъ, какъ за «нихъ» взяться! И они не мечтали при немъ, а дѣлали дѣло, трудились. А для мечтателей у него былъ—жезлъ-съ!

— Это батюшка вашъ, а вы..

— Знаю съ. Нѣтъ у меня жезла — это дѣйствительно. Но поэтому-то я и приспособляюсь. Жезла не имѣю, такъ въ родѣ того стараюсь найти. Посмотрите на «нихъ»! Ободраны! обглоданы! ни избы, ни телѣги, ни сохи... срамъ!

— А вамъ жаль?

— Срамъ-съ!

— Да вѣдь этакъ, пожалуй, окажется, что вы, стыда ради, не только не посягаете на общую сытость, а добиваетесь ея!

— Я-то? я знаю, чего добиваюсь. Остепенить *ихъ* надо — вотъ что̀ я говорю!

— Понимаю. Но мнѣ кажется, что въ этомъ смыслѣ и безъ того сдѣлано больше, чѣмъ надо. Вы сами сейчасъ сказали, что повсюду, куда ни обернись,—ни кола, ни двора... Что̀ же можетъ быть степеннѣе этого?

— Я не объ этомъ, а объ дѣлѣ... Мнѣ не колы и дворы ихъ нужны,—это они ужъ какъ знаютъ,—а дѣло!

Онъ, видимо, желалъ высказать свою мысль до конца, но въ то же время нѣчто его останавливало. Не совѣсть, а какая-то не совсѣмъ еще исчезнувшая боязнь сболтнуть что-нибудь лишнее. Въ итогѣ оказывались недомолвки и противорѣчія, которыя глубоко его раздражали.

— Но неужто «они» не работаютъ, а только празднуютъ?—удивился я.

— Празднуютъ-съ.

— Допустимъ. Предположите однако-жъ, что мужикъ

пересталъ праздновать и всецѣло отдался «дѣлу» - должна же къ чему-нибудь эта метаморфоза его привести? Ну, напримѣръ, хоть къ относительному довольству?.. Думаете ли вы, что тогда такъ же легко будетъ завладѣть его сытостью, какъ теперь?

— А куда же онъ дѣнется, позвольте спросить? откуда онъ довольство-то возьметъ?

— Очень просто: будетъ работать для себя и у себя.

— Это въ западняхъ-то въ ихнихъ?

Онъ залился такимъ добродушнымъ смѣхомъ, что я и самъ догадался, что высказалъ нѣчто рискованное.

— Нѣтъ, это не такъ, — продолжалъ онъ: — не то вы совсѣмъ говорите. Никогда онъ отъ меня не уйдетъ и ни отъ кого, минуя меня, ничего не получитъ. Я не защищаю людей своего сословія. Слишкомъ многіе изъ нихъ въ трудную минуту выказали себя предателями и почти всѣ безъ исключенія — малодушными и непредусмотрительными. Но среди общей паники, среди общаго бѣгства, сама собою устроилась одна комбинація, которой предстоитъ громадное будущее въ смыслѣ остепененія. Эта комбинація — надѣльныя западни. И хотя теперь ужъ видно, что ея плодами воспользуются совсѣмъ не тѣ, которые ее придумали, но во всякомъ случаѣ нѣкто воспользуется!

— Или, говоря другими словами: съ одной стороны, вы требуете непрестаннаго труда, а съ другой — радуетесь условіямъ, которыя дѣлаютъ примѣненіе труда почти безнадежнымъ... Что-жъ, это тоже своего рода комбинація!

— Для труда всегда примѣненіе найдется. Вездѣ-съ. Не только свѣту въ оконкѣ, что крестьянскій надѣлъ. Куда ни обернитесь — вездѣ открытое поприще для труда. Я самъ лично не одной сотнѣ людей могу хлѣба дать. А надѣлъ только запутываетъ. И это когда-нибудь для всѣхъ будетъ ясно.

— Когда-то еще будетъ!

— Ничего, мы и подождемъ. Мы умѣемъ ждать. А въ ожиданіи будемъ остепенять «ихъ» на собственный страхъ. И не боимся-съ. Мнѣ и ножомъ, и ружьемъ, и краснымъ пѣтухомъ грозили, а я и сію минуту цѣлёхонекъ. Сначала грозились, потомъ бояться стали, а нынче ужъ и довѣріемъ осчастливливаютъ. Погодите немножко — чего добраго, и полюбятъ...

. . . . . .

Ничего другого я добиться отъ него не могъ. Впрочемъ,

мысль его была всѣмъ ясна, хотя онъ и опасался формулировать ее совершенно опредѣлительно. Вѣроятно, теперь, когда толки о «дѣлѣ» становятся все болѣе и болѣе настойчивыми, онъ высказываетъ свои пожеланія уже на чистоту. Какъ бы то ни было, но идеалъ «дѣла», осуществленія котораго онъ домогался, представлялся ему снабженнымъ всѣми аттрибутами крѣпостного права. Около этой упраздненной формулы ютились всѣ его помыслы, и никакой иной комбинаціи онъ не только придумать, но и случайно представить себѣ не былъ въ состояніи. Но такъ какъ крѣпостное право было вооружено жезломъ, а у него жезла не было, то онъ и подыскивалъ замѣняющее средство. И нашелъ его въ формѣ непосредственнаго дѣйствія на человѣческую сытость.

Онъ не разсчиталъ двухъ вещей: во-первыхъ, что жезлъ въ большинствѣ случаевъ только ранилъ, тогда какъ придуманное имъ замѣняющее средство — калѣчитъ и погубляетъ, и во-вторыхъ, что, разъ жезлъ выпалъ изъ рукъ за негодностью, гораздо выгоднѣе совсѣмъ объ немъ позабыть, нежели изнывать надъ пріисканіемъ замѣняющихъ средствъ одинаковаго съ нимъ воспитательнаго пошиба.

Однимъ словомъ, онъ вопіялъ о «дѣлѣ» и въ то же время убивалъ силу, на обязанности которой лежало созданіе этого дѣла. И, вдобавокъ, на это убиваніе употреблялъ средство, которое точно такъ же ежеминутно могло выпасть у него изъ рукъ, какъ нѣкогда выпалъ изъ рукъ «жезлъ»... Съ самаго того дня, въ который онъ сѣлъ на хозяйство, не было ни одной минуты, когда бы онъ не мечталъ объ дѣлѣ, не говорилъ себѣ: вотъ-вотъ сейчасъ оно придетъ... Но проходили годы, и «дѣло» не только не являлось на призывъ, но съ каждымъ часомъ все дальше и дальше уходило въ глубь. Однако-жъ и это не вразумляло его, а только злило, и онъ продолжалъ ждать, продолжалъ говорить: вотъ сейчасъ...

Ждетъ онъ и по-днесь. Что окрыляетъ его надежды? что заставляетъ его, несмотря на вразумленія дѣйствительности, упорно смотрѣть въ одну и ту же фантастическую точку?— отвѣтить на эти вопросы не трудно. И для меня во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что значительную роль въ этомъ упорствѣ играетъ голая злость.

Злость, злость и злость... Неизъяснимая, непреодолимая, съ одинаковою яростью гложущая и самого злеца, и пред-

метъ его озлобленія. Словно одна изъ казней египетскихъ, отъ которой некуда бѣжать. Вотъ единственный ясный мотивъ, который лежитъ во основаніи толковъ о «дѣлѣ». Онъ одинъ даетъ этимъ толкамъ жизненность, одинъ сообщаетъ имъ какое-то подобіе убѣжденія и даже страстности, и помогаетъ уловлять прозелитовъ въ средѣ, наобумъ изрекающей самые неожиданные приговоры и не признающей себя отвѣтственною за нихъ.

Клубкова я долженъ однако-жъ до извѣстной степени выгородить: онъ, по крайней мѣрѣ, можетъ назвать по имени объектъ своихъ вожделѣній. Это объектъ несостоятельный, опороченный опытомъ и въ самомъ существѣ своемъ безнравственный; но Клубковъ все-таки знаетъ его. Въ большинствѣ случаевъ и этого знанія нѣтъ. Вы видите массу сорвавшихся съ цѣпи людей, которые и на улицахъ и въ публичныхъ домахъ, и печатно и устно твердятъ объ «дѣлѣ» и которые, въ сущности, заражены лишь безыменномъ бѣшенствомъ. И никакого отвѣта на вопросъ объ дѣлѣ эти люди дать не могутъ, кромѣ одного: или повторяй на вѣру ихъ загадочное бормотанье, или слѣдуй по приглашенью въ участокъ...

Что-то тутъ есть ненормальное, почти страшное. Посылая проклятія пустопорожней фразѣ, мы по горло окунаемся въ пучину другой, не менѣе пустопорожней фразы, но фразы посконной, неуклюжей, юродствующей. Я не поклонникъ фразы, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда она представляетъ собой образецъ чеканки и округленности; но въ то же время я не могу не сравнивать. Въ прежней фразѣ, отъ которой мы отрекаемся, все-таки слышалось нѣчто, хотя неясное, недосказанное, но не идущее въ разрѣзъ человѣческой природѣ. Прежняя фраза не давала разрѣшеній, не указывала ни прямыхъ цѣлей, ни путей для достиженія ихъ; но она не возмущала, не отравляла, не засоряла мозговъ. Нынѣшняя посконная фраза прежде всего противна человѣческому естеству. Надо перестать быть человѣкомъ, чтобъ формулировать ее не краснѣя. Отъ этого-то такъ часто слышится рядомъ съ нею напоминаніе объ участкѣ.

Въ этомъ смыслѣ староста Андрей Иванычъ былъ совершенно правъ, говоря, что у Григорія Александрыча (который съ неменьшимъ нетерпѣніемъ, какъ и Клубковъ, чего-то ждалъ, но только не зналъ, какъ провести время въ ожиданіи) ничего не осталось, кромѣ «скверныхъ словъ».

Проѣзжая отъ Клубкова домой, я и къ нему заѣхалъ. Старикъ до того уже опустился, что даже о крѣпостномъ правѣ позабылъ. Никакихъ идеаловъ онъ не лелѣялъ, никакихъ осуществленій не домогался, а только проклиналъ и ругался замѣчательно скверными словами. И всѣ ругательства неизмѣнно заканчивалъ словами: «а вотъ погодите! ужо опять всѣхъ за дѣло засадятъ!»

Это было до того утомительно и однообразно, что я даже и въ споръ не вступалъ, а только ради шутки сказалъ:

— А помните ли, какъ въ старые годы пошехонцы счастія искали да въ трехъ соснахъ заблудились? Какъ бы и теперь того же не случилось! Поищутъ-поищутъ «дѣла», а кончатъ все-таки тѣмъ, что въ трехъ соснахъ заблудятся.

И представьте мое удивленіе: онъ не только не возразилъ мнѣ, но даже вполнѣ меня одобрилъ.

— Именно такъ!—воскликнулъ онъ, по-дѣтски хлопая въ ладоши:—браво! въ трехъ соснахъ... это вѣрно! Именно, именно такъ и будетъ!

Очевидно, что онъ перепуталъ и радовался совсѣмъ не тому. Но что касается до меня лично, то признаюсь откровенно, что только надежда на эту счастливую безалаберность и утѣшаетъ меня.

Годы уходятъ, а общественная мысль не только не просвѣтляется сознательнымъ отношеніемъ къ предстоящимъ жизненнымъ задачамъ, но все больше и больше запутывается въ массѣ безплодныхъ околичностей. И—что всего хуже—всецѣло проникается угрюмостью, нетерпимостью, человѣконенавистничествомъ. Фраза съ какою-то удручающею правильностью смѣняется фразою, и притомъ въ такой качественной постепенности, которая, въ виду фразы новоявленной, заставляетъ съ сожалѣніемъ вспоминать о фразѣ предъидущей, только-что признанной несостоятельною.

Неизбѣжность господства фразы надъ жизнью (мы даже изъ вопроса о безплодности фразы и необходимости «дѣла» ухитрились устроить «фразу») представляется до такой степени естественною, что большинство уже смотритъ на это явленіе какъ на законъ, не допускающій ни споровъ, ни возраженій, а требующій лишь безусловнаго подчиненія. Это предѣлъ, дальше котораго паденіе мыслительнаго уровня общества идти не можетъ. Начинается нелѣпое одностороннее торжество, въ которомъ пустомысліе изрекаетъ обя-

зательные афоризмы, сопровождаемые, со стороны наивныхъ, безпорядочными трубными звуками, а со стороны ловкихъ людей — всѣми аттрибутами нескрываемаго хищничества. Какъ акклиматизироваться среди этой безсмысленной, безстыжей оргіи? гдѣ найти силу, чтобы положить ей конецъ или хотя умѣрить ея наглость? Увы! личныя усилія разбиваются такъ легко, что даже самое восторженное самообольщеніе остановится передъ ничтожностью предстоящихъ результатовъ; а затѣмъ ни откуда—ни помощи, ни одобренія! Все кругомъ уже взято въ плѣнъ привычкою, все отжило, не живши, завяло, не испытавши цвѣтенія. Привычка съ изумительною быстротою овладѣла всѣми помыслами и всѣхъ выручила изъ затрудненія. Привычка спасла сердца отъ негодованія, освободила совѣсть отъ упрековъ и во всѣ человѣческія отношенія ввела проказу равнодушія. Равнодушіе—это своего рода благо, за которое цѣпляются, въ которомъ видятъ спасеніе. Ибо оно даетъ силу жить, не истекая кровью и не сознавая всей глубины переживаемаго злосчастія.

Благо равнодушнымъ! благо тѣмъ, которые въ сердечной вялости находятъ для себя миръ и успокоеніе! Личное ихъ благополучіе не только не подлежитъ спору, но можетъ считаться вполнѣ обезпеченнымъ. А ничего другого имъ и не нужно. Но пусть же они знаютъ, что равнодушіе въ данномъ случаѣ обезпечиваетъ не только ихъ личное спокойствіе, но и безсрочное торжество лгуновъ-человѣконенавистниковъ. И сверхъ того оно на цѣлую среду, на цѣлую эпоху кладетъ печать безсилія, предательства и трусости.

Но, какъ ни громадно сонмище равнодушныхъ, населяющихъ вселенную, я ни въ какомъ случаѣ не могу причислить къ нему моего друга Крамольникова. Напротивъ того, современные толки о непригодности мечтаній и необходимости «дѣла» до такой степени угнетаютъ его, что онъ даже не всегда соблюдаетъ надлежащую мѣру благоразумія въ выраженіи своихъ мнѣній объ этомъ предметѣ.

На-дняхъ сижу я утромъ въ трактирѣ «Ерши» и благодушествую. Передо мной—большой подовый пирогъ, за нимъ — графинчикъ очищенной, сбоку — двусмысленной формы сосудъ, наполненный жижей. Помочу въ рюмкѣ усы—и закушу пирогомъ, потомъ опять помочу усы—и опять закушу, а въ промежуткахъ обдумываю: не спро-

сить ли ветчинки? Словомъ сказать, сижу и занимаюсь современнымъ «дѣломъ». И никто меня не трогаетъ. И я никого не трогаю, и меня никто не трогаетъ. Какъ вдругъ, откуда ни возьмись—Крамольниковъ!

Крамольниковъ—мой давній пріятель; но встрѣчаться съ нимъ въ публичныхъ мѣстахъ—сущее наказаніе. Къ сожалѣнію, онъ ужасно любитъ кочующую жизнь и съ утра до вечера всюду заглядываетъ. И всякій разъ, какъ онъ меня застигаетъ внѣ предѣловъ моей квартиры, мнѣ начинаетъ казаться, что было бы лучше, если-бъ онъ мимо прошелъ. Ибо хотя я не принадлежу къ числу безусловно равнодушныхъ, но мѣру благоразумія все-таки знаю. А Крамольниковъ не знаетъ ея; а потому, когда встрѣчаешься съ нимъ при благородныхъ свидѣтеляхъ, то невольно приходитъ на мысль: ну, ужъ сегодня навѣрное участка не миновать!

Такъ было и теперь. Едва появился онъ на порогѣ, первая мысль, которая осѣнила меня, была такова: вотъ-вотъ онъ сейчасъ «ляпнетъ»!

— Насыщаетесь?—обратился онъ ко мнѣ, опускаясь на стулъ за тѣмъ же столомъ, за которымъ я завтракалъ.

— Ѣмъ.

— Буду ѣсть и я.—Человѣкъ! копченаго сига!—А сколько я, батюшка, срамословія сегодня наслушался! удивительно, какъ только сквозь землю не провалился!

При этихъ словахъ сердце такъ и захолонуло во мнѣ. Ну, непремѣнно сейчасъ «ляпнетъ»!

— Сдѣлалъ шагъ—куча! другой—двѣ кучи! въ сторону кинулся—три кучи! Маневрировалъ-маневрировалъ — проходу нѣтъ! Наконецъ вижу: «Ерши»! Шмыгнулъ въ подъѣздъ, и вотъ онъ я!

— Удивляюсь, Крамольниковъ, какъ у васъ все это образно... И какъ это вы успѣваете! еще двѣнадцати часовъ нѣтъ, а вы ужъ и наслушались, и нанюхались?

— То-то, батюшка, что нынче ужъ натощакъ срамословятъ. Не поѣвши хлѣба Божьяго, такъ и прутъ, и все съ захлебываніемъ, съ пѣной у рта, съ сжатыми кулаками, точно на супостата въ походъ собрались и заранѣе тризну по немъ правятъ!

«Ляпнетъ!»—опять стукнуло у меня въ головѣ.

— Все какого-то «дѣла», представьте себѣ, требуютъ. «Довольно мечтаній!—кричатъ:—не нужно фразъ! дѣло подайте намъ! дѣло!» А нѣкоторые даже прибавляютъ: «настоящее».

— А вы?

— А я говорю: рожна намъ нужно—вотъ что̀!

— Но почему же? По-моему, «дѣло», ежели оно...

— Знаю, что дѣло, «ежели оно...» Да они вѣдь совсѣмъ не объ томъ. Рожна они требуютъ, воистину только рожна! а «дѣло» тутъ—одинъ подвохъ.

— И опять-таки вы черезчуръ о̀бразно выражаетесь. Рожо̀нъ, подвохъ—о̀бразно, но не убѣдительно!

— Постойте. Взгляните въ окошко — что̀ вы видите? Вонъ мужчина въ кожаномъ фартукѣ сапоги тачаетъ—развѣ это не дѣло? Вонъ двое мужчинъ зеркало на головахъ по улицѣ несутъ—развѣ это не дѣло? Сейчасъ я въ банкирскую контору заходилъ; сидитъ мѣняло и, словно ученый скворецъ, твердитъ: купить-продать, продать-купить—развѣ это не дѣло? Чиновники отношенія, рапорты, предписанія пишутъ—надѣюсь, что это тоже дѣло! Объ чемъ же «они» скулятъ? чего требуютъ? кого хотятъ подсидѣть?

— А вотъ этого самаго и требуютъ. Чтобы всѣ «своимъ» дѣломъ заняты были.

— Но гдѣ же наконецъ тѣ люди, которые не были бы какимъ-нибудь дѣломъ заняты?

— Какимъ-нибудь... А надобно, чтобы «своимъ»... Не какимъ-нибудь, а именно своимъ собственнымъ.

— Да вѣдь всякое дѣло есть въ то же время и свое собственное...

— Ну, нѣтъ, этого не скажите! Вотъ вы, напримѣръ...

— А я — сига копченаго ѣмъ! неужто это мечтаніе? Копченый сигъ—и мечтаніе!.. пощадите! Но ежели и есть тутъ мечтаніе, то во всякомъ случаѣ не о такихъ «больныхъ фантазіяхъ» идетъ рѣчь, когда посылаются проклятія фразамъ и золотымъ снамъ! Напротивъ того, ежели я вмѣсто одного, двухъ сиговъ съѣмъ, то не только не назовутъ меня мечтателемъ, но даже въ заслугу мнѣ этотъ подвигъ вмѣнятъ.

— Но вотъ вы разговариваете...

— Разговариваю—потому что словесность имѣю. И пользуюсь ею, то-есть «дѣло» дѣлаю.

— Да вдобавокъ еще критикуете...

— А критикую потому, что одаренъ способностью мыслить. Не самъ себя одарилъ, а природа. Я же только пользуюсь этимъ даромъ, то-есть опять-таки дѣло дѣлаю.

— То-то что...

— И это знаю. Чего же, стало-быть, въ данномъ слу-

чаѣ домогаются? Очевидно, домогаются того, чтобы всѣ шили сапоги, всѣ носили на головѣ тяжести и всѣ твердили: купить-продать, продать-купить. Вотъ это—«дѣло»; а говорить, критиковать, мыслить—мечтаніе! Вѣдь этого домогаются? такъ?

— Но вѣдь это отчасти и правильно, потому что если-бъ всѣ занялись, напримѣръ, шитьемъ сапоговъ...

— Было бы прекрасно?—допустимъ. Но въ такомъ случаѣ сами-то печальники «дѣла» зачѣмъ же не мычатъ, а разговариваютъ? зачѣмъ они мыслятъ? Потому что вѣдь даже къ тѣмъ паскуднымъ заключеніямъ, которыя они предъявляютъ, нельзя придти иначе, какъ при посредствѣ процесса мышленія!

— Крамольниковъ! я съ вами согласенъ... разумѣется, не вполнѣ... Но согласитесь, что такой разговоръ въ «Ершахъ», когда кругомъ...

— Что такое «кругомъ»? Вездѣ надо говорить, государь мой! вездѣ-съ! Вотъ отлично! всякій бездѣльникъ будетъ и на улицѣ, и въ любой газетинѣ во всеуслышаніе всеобщую каторгу проповѣдывать (себя-то онъ изъ каторги, конечно, исключитъ!), а мы, для которыхъ это блаженство уготовывается, мы будемъ молчать?.. А впрочемъ, позвольте! могу я изъ вашего графинчика одну капельку для себя налить? — совершенно неожиданно прервалъ онъ начатую діатрибу.

— Ахъ, сдѣлайте одолженіе!

— Такъ вотъ я и говорю: всѣ эти вопли о вредѣ мечтаній и пользѣ «дѣла»—подвохъ, и кромѣ подвоха ничего въ нихъ нѣтъ. Встрѣтилъ я давеча Положилова: онъ тоже: «оставить надо мечтанія! за дѣло приняться пора!..» Свинья! Слушалъ я, слушалъ, да и ляпнулъ: а знаете ли вы, говорю, что самый опасный мечтатель—вы-то и есть!

— Это почему?

— Да развѣ это не самое грубое, не самое противоестественное мечтаніе: человѣка, одареннаго даромъ слова—заставить молчать? человѣка, одареннаго способностью мыслить—заставить не мыслить?

— Не то чтобы совсѣмъ не мыслить, но мыслить здраво и благопотребно,—поправилъ я.

— А притомъ и благовременно. Вотъ это-то и есть мечтаніе. Можетъ ли Положиловъ указать мѣру здравости, благопотребности и благовременности? Въ состояніи ли онъ преподать къ руководству хотя краткій списокъ здравыхъ,

благопотребныхъ и благовременныхъ мыслей? Можетъ ли онъ поручиться, что тутъ же, рядомъ съ нимъ, не объявится другой Положиловъ, который его благопотребность ему же въ непотребство вмѣнитъ и взамѣнъ того преподастъ къ руководству своего собственнаго издѣлія чушь? Неужели эта регламентація благопотребности—не безумнѣйшее изъ всѣхъ мечтаній? И притомъ такое, на которомъ нельзя остановиться, чтобъ не пройти сквозь цѣлую серію такихъ же безумныхъ мечтаній! Безуміе настойчиво, государь мой! оно не просто заявляетъ о себѣ, но не задумывается и надъ насиліемъ въ видахъ своего подтвержденія. Сегодня оно безуміе, на вѣтеръ лающее, а завтра — безуміе, заставляющее выслушивать свой лай и принимать его къ руководству... Могу я еще капельку изъ графинчика позаимствоваться? Я не то чтобы жаждалъ, а такъ...

— Ахъ, сдѣлайте милость!

— Продолжаю... Подвохъ въ этомъ случаѣ въ томъ состоитъ, что понятіямъ самымъ обыденнымъ и общепризнаннымъ, при помощи подтасовки, сообщается загадочный смыслъ. Никто никогда не отрицалъ, что и пахарь, и носильщикъ, и сапожникъ заняты не мечтаніемъ, а дѣломъ. Этого рода «дѣло» для всѣхъ видимое, осязательное и до такой степени присущее всѣмъ формамъ человѣческаго общежитія, что никогда еще міръ не оскудѣвалъ имъ и не оскудѣетъ никогда. Стало-быть, указывать на него, какъ на какой-то новоявленный идеалъ, по меньшей мѣрѣ безполезно. Да не объ немъ, очевидно, и рѣчь. Параллельно съ этимъ осязательнымъ дѣломъ, обезпечивающимъ матеріальное существованіе общества, идетъ другое дѣло, которое обезпечиваетъ его духовное существованіе. Вотъ на этомъ-то пунктѣ и разыгрывается тотъ изумительный турниръ, который, смотря по вѣяньямъ времени, иногда сохраняетъ характеръ состязанія, но чаще прямо принимаетъ формы приказательнаго чревовѣщанія. Въ періоды состязанія вопросъ ставится такъ: одни видятъ высшую задачу человѣческой дѣятельности въ содѣйствіи къ разрѣшенію вопросовъ всесторонняго человѣческаго развитія и эту задачу называютъ «дѣломъ»; другіе, напротивъ, не признавая неизбѣжности человѣческаго развитія, ту же самую задачу называютъ мечтаніемъ, фразой. Въ періоды чревовѣщаній ряды защитниковъ высшихъ задачъ постепенно рѣдѣютъ и наконецъ совсѣмъ умолкаютъ: напротивъ того, чревовѣщатели смѣло выступаютъ впередъ и, не встрѣчая ни от-

куда препятствія, открываютъ односторонній бой, наполняя при этомъ веси и грады всяческимъ сквернословіемъ и проклятіями. «Прочь мечтанія! за дѣло пора! за дѣло!»— раздается по всей линіи. Но какое же это «дѣло», къ которому такъ страстно несутся всѣ сердца? А вотъ какое: упраздненіе человѣческой мысли, доведеніе человѣческой рѣчи до степени бормотанія—только и всего. То-есть устраненіе тѣхъ именно качествъ, которыя человѣка дѣлаютъ человѣкомъ. А затѣмъ разсудите ужъ сами, кому въ данномъ случаѣ болѣе приличествуетъ кличка «мечтателей»: тѣмъ ли, которые, несмотря на мракъ, окутывающій будущее, все-таки не теряютъ изъ вида законовъ человѣческаго совершенствованія, или тѣмъ, которые осуждаютъ людей на то, чтобъ сидѣть, упершись лбомъ въ стѣну, и въ безмолвіи ожидать, пока она на нихъ повалится?

. . . . . .

Очень возможно, что Крамольниковъ и дальше разглагольствовалъ бы на ту же тему, но въ эту минуту, очень кстати, въ комнату вошло новое лицо, въ которомъ я съ удовольствіемъ узналъ безшабашнаго совѣтника Дыбу. Оказалось, что Крамольниковъ — старый знакомый Дыбы, который былъ его начальникомъ въ ту пору, когда они оба служили въ департаментѣ преуспѣяній и перспективъ.

— А! господинъ фрондёръ!—привѣтствовалъ его Дыба:— все еще по части преуспѣяній состязаться изволите?

Вмѣсто отвѣта Крамольниковъ вновь разсказалъ исторію слышанныхъ имъ въ это утро сквернословій и—что̀ меня крайне изумило—не только не огорчилъ Дыбу своимъ разсказомъ, но даже удостоился отъ него поощренія.

— Дѣйствительно,—сказалъ Дыба:—смѣха достойно! Толкуютъ объ дѣлѣ, а какое оно и на какой предметъ—объяснить не могутъ. Вотъ мы...

Онъ слегка застыдился, крякнулъ и проглотилъ для бодрости рюмку водки.

— А впрочемъ, съ другой стороны, — продолжалъ онъ, уже не краснѣя:—и дѣло, и не дѣло—все это и возможно, и достижимо, и даже... легко преоборимо... Только вотъ людей нѣтъ—это такъ!

Вечеръ шестой.

Фантастическое отрезвленіе

Собрались однажды пошехонцы въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ во время оно, по свидѣтельству Костомарова, у нихъ «сѣверныя народоправства» происходили и гдѣ впослѣдствіи, по совѣту «московскихъ курантовъ», выстроенъ былъ съѣзжій домъ съ соотвѣтствующей каланчой. Собрались и стояли въ великомъ недоумѣніи.

Невѣдомая какая-то сила согнала ихъ сюда—и не скопомъ, не по уговору, а каждаго лично за свой счетъ — какъ будто требуя, чтобъ они совершили нѣкоторое «сѣверное народоправство», въ которомъ якобы настояла безотлагательная нужда. Но такъ какъ «сѣверныя народоправства» давно сданы въ архивъ, куда допускается только Костомаровъ, то и самый церемоніалъ, которымъ они нѣкогда сопровождались, оказался сгорѣвшимъ въ одинъ изъ бывшихъ пожаровъ, вмѣстѣ съ «скрижалями» и прочею пошехонскою стариной. Слѣдовало ли при этомъ рѣчи держать и слѣдовало ли тѣ рѣчи слушать? или же всѣмъ разомъ говорить надлежало и никого никому не слушать? — Все это было когда-то установлено въ точности, но теперь, за давно прошедшимъ временемъ, никто ни объ чемъ не помнилъ. Да и говорить-то, признаться, разучились. Короче сказать, хотя и чувствовали пошехонцы, что имъ необходимо «приступить», но какъ и къ чему приступить— не знали.

И еще они чувствовали, что ихъ что-то жжетъ, что гдѣ-то у нихъ чешется, и что вообще въ ихъ жизнь вторглась какая-то обида. Но что̀ привело эту обиду и какъ отъ нея отвязаться—сказать не умѣли. Нужно кого-то къ отвѣту призвать, съ кѣмъ-то расправу учинить — вотъ что̀ было вполнѣ ясно; но въ какомъ направленіи чинить расправу и кого заставить отвѣтъ держать — этого зря опредѣлить было нельзя. А они именно только «зря» могли дѣйствовать. Потому что обида — вещь тонкая, незримая и невѣсомая. Она и по землѣ ползетъ, и на облакахъ летаетъ, и вихремъ ее примчитъ, и лихими людьми нанесетъ — какъ ты тутъ пальцемъ на нее укажешь? Одна ушла, а на ея мѣсто другая сѣла; другая ушла—третья... Поди, угадывай, люди ли тутъ виноваты, или такъ само собой прилучилось? А не то, можетъ-быть, и дѣдушки наворожили. На-

ворожили да легли на погостъ, а внуки живи да растворяй бѣдѣ ворота! Одно только несомнѣнно: до тѣхъ поръ ихъ источила обида, до тѣхъ поръ ихъ всяческая невзгода пристигла, что они, какъ полоумные, сами собой выбѣжали изъ домовъ и устремились къ каланчѣ. И, прибѣжавши— не знали, зачѣмъ прибѣжали.

Должно сказать, впрочемъ, что къ описанному выше недоумѣнію въ значительной мѣрѣ примѣшивались и опасенія. Никому не хотѣлось первому слово молвить, потому что каждый чувствовалъ, что за нимъ ой-ой блохъ много! Разинешь, пожалуй, ротъ, анъ тутъ тебя со всѣхъ сторонъ и обступятъ: «да никакъ ты самый обидчикъ и есть!» Куда ты тогда поспѣлъ?

Дѣло въ томъ, что хотя пошехонцы и отрезвились, но это произошло такъ недавно, что даже и посейчасъ они чувствовали себя съ ногъ до головы виноватыми. Много лѣтъ сряду они такъ козыряли, что, со стороны глядя, можно было подумать, что у нихъ и не-вѣсть какіе запасы всякихъ «правòвъ» напасены. А въ дѣйствительности оказалось одно легкомысліе. Не успѣли они оглянуться, какъ у нихъ простыми фосками всѣхъ до одного козырей выкозыряли и оставили одинъ-на-одинъ съ обидой. Чтобъ уйти отъ этой обиды, они и отрезвленіе-то приняли. Думали, что какъ предстанутъ они, безкозырные, бездумные, обнаженные отъ прошедшаго и будущаго, такъ сейчасъ же все какъ по маслу у нихъ и пойдетъ, — анъ не пошло. Встала обида поперекъ горла, и ничѣмъ ее проскочить не заставишь. Если-бъ въ другихъ муниципіяхъ отрезвленіе случилось, то обыватели сказали бы себѣ: нехорошо, конечно, мы сдѣлали, что безъ разсчета въ игру вступили да и карты вдобавокъ всѣмъ показывали: но такъ какъ это ужъ дѣло прошлое и аханьемъ его не поправишь, то теперь надо объ томъ позаботиться, какъ бы и впредь пальцемъ въ небо не попадать. И, сказавши это, рѣшили бы такъ: коли есть обида, то надо именно за нее и взяться, а не кругомъ да около шарить. Но въ Пошехоньѣ дѣло совсѣмъ иначе стало. Не мысль о будущемъ интересовала пошехонскія безшабашныя головы, а мечтанія о томъ, какіе бы они и по-днесь сладкіе куски ѣли, кабы въ ту пору сразу всѣхъ тузовъ не отдали. Кто ихъ этихъ кусковъ лишилъ? кто тотъ лукавый, который ихъ въ искушеніе ввелъ? Подать его! разыскать! вотъ мы ему, сатанину сосуду, глотку-то заткнемъ!

Ибо въ Пошехоньѣ такъ ужъ изстари повелось, что дѣло не волкъ—въ лѣсъ не убѣжитъ, а главнѣе всего надо счеты свести да рогами другъ изъ дружки кишки выпустить. Вотъ это и будетъ настоящее «дѣло». И дѣдушки пошехонскіе, ѣдучи на погостъ, сказывали, что при всякой бѣдѣ нужно первымъ дѣломъ «лукаваго» разыскать. Непремѣнно, дескать, полегчитъ отъ этого. Сначала бѣду какъ рукой сниметъ, а потомъ и пошло писать благополучіе...

Но тутъ именно и вышла заковычка, потому что всякій пошехонецъ болѣе или менѣе сознавалъ самого себя этимъ «лукавымъ». Всякій въ свое время былъ ежели не защитникомъ, то пособникомъ или укрывателемъ. Дыбомъ волосы становятся при воспоминаніи о томъ, какія дѣла были, съ разрѣшенія начальства, пошехонцами содѣяны! Стоило, бывало, только крикнуть: господа пошехонцы! на абордажъ!—всѣ, очертя головы, такъ и лѣзутъ. Стоило молвить: а вѣдь городничій-то много противъ прежняго форсу сбавилъ, - всѣ такъ и прыснутъ со смѣху: нынче, молъ, небось... не прежнее время.

Кто лѣзъ? кто хохоталъ? кто кричалъ?—*Всѣ* лѣзли, *всѣ* хохотали, *всѣ* кричали! Какъ тутъ сосѣда обвиноватишь, коли всякій самъ кругомъ виноватъ?

Это вѣдь только недавно опять сдѣлалось ясно, что всякій сверчокъ долженъ знать свой шестокъ; а было времечко, когда пошехонцы и отъ пословицъ совсѣмъ-было отвыкли. Живутъ безъ пословицъ—и баста. Скажутъ имъ: «эй, господа! уши выше лба на растутъ!» — а они въ отвѣтъ: «такъ что-жъ что не растутъ! ушамъ и не слѣдуетъ выше лба расти! мы объ ушахъ и не думаемъ!» Да вотъ подъ конецъ и узнали, что во всѣ времена ни о чемъ другомъ и рѣчи не было, кромѣ какъ объ ушахъ. Козырей-то истратили на то, чтобъ свои же карты бить, а какъ стало послѣ того и тѣсно, и бѣдно, и неловко — тутъ и спохватились: «кто тотъ лукавый, который насъ на игру науськалъ?»

Итакъ, собрались пошехонцы у каланчи и недоумѣвали. Одна мысль угнетала всѣхъ: вотъ мы и отрезвились, а все-таки легче намъ нѣтъ—долженъ же кто-нибудь быть этому причиненъ! А дальше прямой выводъ: безпремѣнно надобно того человѣка разыскать и горло ему перервать. Тогда всѣмъ будетъ легче. Но кому перервать и за что—на эти вопросы никто съ знаніемъ дѣла отвѣтить не могъ: воображенія не хватало. Перервать — только и все. Смо-

трѣли они на каланчу и ждали: не будетъ ли отъ нея какого-нибудь понятія? Но каланча, незыблемая и безучастная, глядѣла всѣмъ своимъ нескладнымъ столбомъ на пошехонское смятеніе и безмолвствовала. Ни звука оттуда не выходило, ни лица человѣческаго въ окнахъ не было видно. Только на самой вершинѣ ходилъ сторожъ дозоромъ, поигрывая отъ скуки пожарными сигналами, и думалъ: «ишь вѣдь, и отрезвиться-то порядкомъ не умѣютъ!»

День былъ осенній, студеный, смурый. Въ такіе дни добрый хозяинъ дома сидитъ, по домашности исправляется, но пошехонцамъ не зачѣмъ дома сидѣть, потому что они давнымъ-давно всю домашность, до послѣдняго пера спустили. Какимъ манеромъ спустили? куда? — никто въ ту пору не доглядѣлъ. Знаютъ только, что когда хватились— анъ нѣтъ ничего. Только и остался у нихъ что̀ инстинктъ, и этотъ инстинктъ влекъ ихъ туда, гдѣ въ оное время бунтовщиковъ съ раската сбрасывали. Задулъ вѣтеръ, полилъ дождикъ, а они все стояли и молчали. Думали: вотъ выйдетъ изъ каланчи городничій штабсъ-капитанъ Мазилка и начнетъ законъ разъяснять. А ежели закона нѣтъ, то хоть изъ пушки палить будетъ. Но Мазилка сидѣлъ въ каланчѣ и въ свою очередь думу думалъ.

Это былъ человѣкъ малаго роста и увѣчный, но храбрый. Коли кто передъ нимъ руки не по швамъ стоитъ, онъ такъ на него и скачетъ. Даже ежели большого роста человѣкъ, такъ и того достанетъ. Однако и онъ про «сѣверныя народоправства» вспомнилъ, какъ увидѣлъ, что пошехонецъ изо всѣхъ улицъ такъ валомъ и валитъ къ каланчѣ. И чѣмъ смирнѣе вели себя пошехонцы, чѣмъ глубже они отрезвлялись, стоя вокругъ каланчи, тѣмъ сильнѣе зрѣло въ немъ убѣжденіе, что въ этомъ-то именно «народоправства» и состоятъ. А сверхъ того вспомнилъ онъ и о томъ, что еще недавно въ газетѣ «Уединенный Пошехонецъ» удостовѣряли, что стоитъ только здравому смыслу пошехонцевъ воспрянуть—и все пойдетъ какъ по маслу. Вспомнилъ и испугался: а ну, какъ взаправду примутся пошехонцы здравый смыслъ предъявлять?

Размысливши какъ слѣдуетъ, онъ заперъ ворота съѣзжаго дома, выкатилъ пожарную трубу и на всякій случай велѣлъ держать кишку наготовѣ. А самъ забрался въ дальній чуланъ и заперся на ключъ.

Часы проходили за часами, а пошехонцы все стояли, ждали, не разинетъ ли кто рта.

Двое изъ самыхъ горластыхъ — Иванъ Безродный да Безчастный Иванъ—даже совсѣмъ-было раскрыли уста, но взглянули другъ на друга — и опять сомкнули. Очевидно, что тревога еще не дошла до той точки, когда отъ избытка чувствъ уста глаголютъ. Да и отваги надлежащей еще не было, той отваги, которая на вопросъ: кто здѣсь отступникъ? — помогаетъ съ легкимъ сердцемъ отвѣчать: вотъ онъ я.

Наконецъ истомились, назябли и начали ждать, скоро ли смеркнется. На этотъ разъ обстоятельства благопріятствовали пошехонцамъ. Осенній день, и безъ того короткій, подъ вліяніемъ хмураго неба, сталъ меркнуть раньше обыкновеннаго. Часовъ около четырехъ во многихъ домахъ замелькали огни, а затѣмъ и Мазилка, оправившись отъ страха, высунулъ голову изъ окна.

— «Народоправствъ» захотѣли?—гаркнулъ онъ во всю пасть: — здравый смыслъ проявлять задумали?! Вотъ я вамъ ужо̀...

При этихъ словахъ ворота съѣзжаго дома заскрипѣли, и обильная струя воды, пущенная изъ пожарной трубы, окатила и безъ того уже вымокшихъ вѣчевыхъ людей.

Законъ былъ объясненъ. Толпа испустила вздохъ облегченія и начала расходиться. Но и за всѣмъ тѣмъ у всѣхъ одна мысль въ умѣ застыла: что-то завтра будетъ? какъ бы и завтра не пришлось опять туда же бѣжать...

— —

Въ сущности, пошехонское отрезвленіе было столь же неожиданно, какъ и недавнее пошехонское либеральное опьянѣніе.

Я знаю, что многіе отличнѣйшіе умы вѣрятъ, что какъ ни малоустойчиво Пошехонье, но все-таки сокровенныя и задушевныя симпатіи его обывателей устремлены къ свѣту, а не къ тьмѣ. Я и самъ охотно этому вѣрю. Я вѣрю, что не только въ Пошехоньѣ, но и въ цѣломъ мірѣ благоволеніе преобладаетъ надъ злопыхательствомъ, и что въ концѣ концовъ послѣднее, всеконечно, изморомъ изноетъ. Но покуда злопыхательство даже въ минуты своего пораженія умѣетъ такъ ловко устроиться, что присутствіе его всегда всѣми чувствуется, тогда какъ благоволеніе въ подобныя минуты стушевывается такъ, что объ немъ и слыхомъ не слыхать. Вотъ разница. Поэтому «конецъ концовъ» представляется столь отдаленнымъ, что люди, для которыхъ живая жизнь не составляетъ праздной мечты, не считаютъ

даже возможнымъ разсчитывать на него: придетъ «конецъ», да не при насъ и не для насъ... Выводъ жестокій и отнюдь не героическій; но развѣ кто-нибудь въ правѣ требовать, чтобъ пошехонскія матери рождали сплошь героевъ?

А сверхъ того, меня еще больше смущаетъ та легкость, съ которою пошехонцы поддаются всякаго рода вѣяніямъ и которая мѣшаетъ имъ имѣть свою логически развивающуюся исторію. Если-бъ эти вѣянія были продуктомъ внутренняго процесса пошехонской жизни, то къ нему можно бы примѣнить принципъ вмѣняемости. Худы ли, хороши ли такія вѣянія, но они представляютъ подлинную дѣйствительность, а не воздушное мечтаніе. Критика поможетъ разобраться въ самой худой дѣйствительности и въ ней самой отыскать необходимыя поправки. Но въ томъ-то и дѣло, что вѣянія, которымъ подчинялись пошехонцы, имѣли чисто внѣшній характеръ. Даже городничій Мазилка — и тотъ пріѣзжаетъ, держа наготовѣ въ карманѣ какое-то вѣяніе, и пошехонцы безпрекословно подчиняются ему; даже газетчикъ Скомороховъ—и тотъ убѣжденъ, что всякаго пошехонца можно въ самое короткое время какъ угодно оболванить. И оболваниваетъ.

Увы! упованія Мазилокъ не напрасны. Пошехонецъ, который еще такъ недавно во всеуслышаніе выспреннія слова говорилъ, вдругъ, безъ всякаго колебанія, начинаетъ изрекать какіе-то отрезвленные афоризмы, самая фактура которыхъ удостовѣряетъ, что они не могли въ иномъ мѣстѣ начало воспріять, кромѣ какъ на съѣзжей. Нужды нѣтъ, что измѣнившаяся общественная рѣчь свидѣтельствуетъ объ измѣненіи общественной мысли и въ недалекомъ будущемъ предвѣщаетъ — шутка сказать! — измѣненіе всѣхъ общественныхъ отношеній,—всѣ эти измѣненія совершаются такъ просто, принимаются такъ наивно, что Мазилкамъ приходится только радоваться. Ибо ежели и встрѣчаются среди пошехонцевъ люди, которыхъ подобныя измѣненія приводятъ въ недоумѣніе, то и они безъ труда уразумѣваютъ, что на свѣтѣ есть особаго рода компромиссъ, называемый Лицемѣріемъ, который поможетъ имъ какъ-нибудь приладиться къ общему нравственному и умственному уровню. И, уразумѣвши это, лицемѣрятъ и отступничествуютъ безъ зазрѣнія совѣсти.

Вотъ отчего такъ трудно имѣть дѣло съ пошехонцами. Нельзя надѣяться на ихъ поддержку, нельзя разсчитывать, что обращенная къ нимъ рѣчь будетъ сегодня встрѣчена

съ тѣмъ же чувствомъ, какъ и вчера. Вчера существовало вѣщее слово, къ которому цѣлыя массы жадно прислушивались; сегодня—это же самое слово служитъ не призывнымъ лозунгомъ, а сигналомъ къ общему бѣгству. Да хорошо еще, ежели только къ бѣгству, а не къ другой, болѣе жестокой, развязкѣ.

И, право, преобидное это дѣло. Этой силой приводить къ нулю, сожигать до тла самыя горячія надежды, обладаетъ не что-либо устойчивое, крѣпкое, убѣжденное, а нѣчто мягкотѣлое, расплывчивое, подобно водѣ, отражающее все, что̀ ни пройдетъ мимо. Но что̀ еще обиднѣе: сами носители надеждъ не только подчиняются этому явленію, но даже не видятъ въ немъ никакой неожиданности. Развѣ это тоже не мягкотѣлость своего рода?

На-дняхъ именно пришлось встрѣтиться съ нѣкоторыми разновидностями этой пошехонской мягкотѣлости. Сперва простеца-пошехонца встрѣтилъ; спрашиваю: какъ дѣла?—и слышу въ отвѣтъ какія-то отрезвленныя рѣчи, все пословицы да все дурацкія. Изумляюсь.

— Какъ же это такъ, спрашиваю: — словно бы вы еще недавно совсѣмъ другія слова говорили?

— Другія? будто бы? А впрочемъ... Да надо же наконецъ и за умъ взяться! пора!—отвѣчаетъ онъ, и отвѣчаетъ такъ естественно, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ у него ума палата.

— Отрезвились?

— Да, отрезвились... пора! Все слова̀, одни слова̀...

— Понимаю: надоѣло? Въ чемъ однако-жъ безсловесное-то отрезвленіе ваше состоитъ?

— Да тамъ увидимъ. Не программы же въ самомъ дѣлѣ составлять? Видали мы эти программы, знаемъ! Достаточно и того, что «фразъ» больше не будетъ... За умъ, батюшка, взялись! за умъ!

Только и всего; и больше ничего у него нѣтъ. И эти-то слова не его, а Мазилкины. Произнося ихъ, онъ чмокнулъ мнѣ ручкой и заковылялъ во-свояси. И этому его Мазилка научилъ: не задерживайся, молъ, не калякай много! Да и произнесъ онъ ихъ какимъ-то раздвоеннымъ голосомъ: не то самъ надъ собой смѣялся, не то надо мной иронизировалъ. Тоже Мазилка научилъ: ты такъ калякай, чтобы во всякое время во всѣхъ смыслахъ понять было можно.

Словомъ сказать, какъ ни поверни отрезвленнаго пошехонца, отъ всякой части тѣла клоповникомъ пахнетъ.

Черезъ двѣ-три минуты встрѣчаю мягкотѣлаго интеллигента. Огорченъ, но предвидѣлъ.

— Что? какъ?

— Ни сѣсть, ни встать!

— Вотъ бѣда-то!

— Н-да... впрочемъ, это давно можно было предвидѣть!

На этотъ разъ я ужъ самъ чмокнулъ ручкой и пошелъ во-свояси. Но ему, вѣроятно, показалось, что я огорчился, и онъ догналъ меня.

— Ничего не подѣлаешь,—сказалъ онъ:—надо переждать. Мазилка сказывалъ, что ненадолго. Онъ вѣдь, Мазилка-то, и самъ...

Еще нѣсколько шаговъ — и еще пошехонецъ навстрѣчу. Этотъ какъ будто слегка ополоумѣлъ: озирается, нюхаетъ, ищетъ.

— Чего ищете?

— Да вотъ «человѣка» разыскиваемъ. Допросить, вишь, надо.

— Какого такого «человѣка»?

— Виноватаго. Мазилка...

Я не слушалъ дальше. Опять и опять Мазилка. Ужасно! ужасно! ужасно!

Я охотно признаю, что пошехонецъ еще не дошелъ до предательства, но онъ уже съ головы до ногъ опутанъ нитями апатіи, индифферентизма и повадливости, которыя для предательства представляютъ знатное подспорье. Въ такъ-называемую фразу онъ извѣрился; книга ему опостылѣла: ни въ какомъ умственномъ возбужденіи онъ потребности не ощущаетъ. Есть у него Мазилка, которому «лучше видно», и больше ему ничего не надо. Подъ его эгидой онъ и бредетъ въ сумеркахъ, куда глаза глядятъ. И думаетъ, что живетъ.

Спрашивается: какая вѣра въ «конецъ концовъ» устоитъ въ виду этого мягкотѣлаго организма, который только съ тѣхъ поръ и созналъ себя благополучнымъ, какъ утратилъ способность мыслить и словеса позабылъ?

Но возвращаюсь къ разсказу.

Воротились пошехонцы домой, вымокшіе, иззябшіе, сердитые. Нѣкоторые, впрочемъ, надѣялись, что во снѣ Богъ счастія пошлетъ; но такъ какъ легли спать на голодное брюхо, то сны видѣли лютые. То будто мохнатый звѣрь животы у нихъ выѣдаетъ, то будто купъ въ лотерею вы-

играли да лотерейный билетъ потеряли. Такъ ничего и не выспали. И на утро встали еще болѣе мрачные и обезкураженные.

Къ тому же и публицистъ Скомороховъ не молчалъ, а все пуще да пуще разжигалъ сердца пошехонцевъ. Именно въ это самое утро онъ разразился громовой передовицей:

«Говорятъ, что мы отрезвились,—писалъ онъ въ «Уединенномъ Пошехонцѣ»:—но есть два сорта отрезвленія: одно—страдательное, заключающееся въ пассивномъ уклоненіи отъ безчестныхъ приманокъ шутовского либерализма; другое—дѣятельное, которое преслѣдуетъ либерализмъ въ самомъ корнѣ, или, точнѣе, въ самыхъ носителяхъ этого шутовства. Первое изъ этихъ отрезвленій есть отрезвленіе неполное, робкое и въ практическомъ смыслѣ дающее лишь скудные результаты. Человѣкъ отрезвился, стряхнулъ съ себя иго отвратительной хмары, заслонявшей передъ его глазами здоровую дѣйствительность, сдѣлался преданнымъ и честнымъ членомъ своей муниципіи — конечно, это прекрасно и заслуживаетъ всяческаго поощренія. Но можно ли сказать по совѣсти, что на этомъ одномъ и долженъ завершиться процессъ отрезвленія? Нѣтъ, всякій, кому дороги интересы Пошехонья, не можетъ не сознаться, что личное отрезвленіе есть только первый этапъ на пути отрезвленія дѣйствительнаго и плодотворнаго. Недаромъ «Norddeutsche Zeitung», говоря о нашей склонности къ чрезвычайнымъ полетамъ въ область преуспѣянія, побуждаетъ насъ и впредь дѣйствовать въ томъ же направленіи. Недаромъ онъ усматриваетъ въ этомъ залогъ нашей способности выходить сухими изъ воды. Органъ желѣзнаго канцлера, который зорко слѣдитъ за каждымъ нашимъ шагомъ, не можетъ въ данномъ случаѣ иначе и поступить. Онъ *долженъ* назвать силою то̀, что̀, въ сущности, составляетъ нашу слабость: это его прямая выгода. Въ его интересахъ обольщать и убаюкивать насъ. Но мы обязаны стоять на-стражѣ противъ подобныхъ обольщеній; мы должны смотрѣть на нихъ какъ на засаду, устраиваемую ловкимъ врагомъ съ цѣлью застигнуть насъ врасплохъ. Поэтому, сдѣлавши первый шагъ въ смыслѣ отрезвленія, мы обязываемся не ограничиваться имъ, но идти къ намѣченной цѣли неуклонно, не обходя ни одного указанія, предъявляемаго строгой логикой. А логика говоритъ такъ: только то отрезвленіе цѣлесообразно, которое имѣетъ характеръ дѣятельный.

«Насъ часто укоряютъ въ томъ, что мы слишкомъ охотно довѣряемся «фразѣ», и надо сознаться, что укоръ этотъ вполнѣ нами заслуженъ. Шутовская либеральная суматоха, которая и понынѣ еще не признаетъ себя побѣжденною, чуть-было навсегда не осудила насъ на безплодіе, въ смыслѣ саморазвитія. Да и навѣрное успѣла бы въ своемъ дерзкомъ предпріятіи, если-бъ случайность не выдвинула впередъ забытый и забитый пошехонскій здравый смыслъ и не дала ему возможности восторжествовать. Что торжество получилось полное и безспорное (и притомъ въ самое короткое время)—въ этомъ нынче уже никто не сомнѣвается; но не слѣдуетъ забывать, что торжество, вооружая насъ значительными правами, налагаетъ на насъ и обязанности. Какія же это обязанности? Въ чемъ должна заключаться главная задача осѣнившаго насъ отрезвленія?—На эти вопросы мы можемъ дать только одинъ отвѣтъ: задача, намъ предстоящая, заключается въ томъ, чтобы отъ фразы перейти къ дѣлу. Не къ тому широковѣщательному, полному безплодныхъ обольщеній дѣлу, благодаря которому мы двадцать пять лѣтъ кряду висѣли на воздухѣ, а къ тому простому, вразумительному и для всѣхъ доступному дѣлу, которое приглашаетъ насъ не замыкаться въ личной благонамѣренности, но вывести эту послѣднюю на арену плодотворныхъ практическихъ примѣненій.

«И прежде всего намъ предстоитъ заявить безъ малѣйшихъ колебаній, что процессъ отрезвленія касается не только отдѣльныхъ индивидуумовъ, но *всѣхъ вообще обывателей, и притомъ въ равной степени. Всѣ* обязаны отрезвиться, даже тѣ, которые не чувствуютъ къ тому особенной склонности. Это необходимо для того, чтобы обезпечить задачи отрезвленія въ будущемъ. Задачъ этихъ покуда мы не называемъ, но имѣемъ полное основаніе сказать, что ихъ предвидится немало, и притомъ совершенно неожиданныхъ. Надо своевременно и безъ остатка устранить все, что̀ можетъ послужить препятствіемъ для всесторонняго разрѣшенія этихъ задачъ. Ибо отъ такого исхода зависитъ *общее* благо; а ежели кто не желаетъ этого общаго блага, тотъ, очевидно, не можетъ желать и своего собственнаго, личнаго блага. Такой отщепенецъ какъ бы говоритъ намъ: извергните меня изъ среды своей, ибо я одичалый членъ вашего общежитія! Не щадите меня, ибо я и самъ каждымъ шагомъ своимъ доказываю, что не желаю вашей пощады! Спрашивается: справедливо ли мы

поступимъ, ежели не выполнимъ требованія, предъявляемаго намъ самимъ отщепенцемъ?

«Будемъ же справедливы, будемъ дѣятельны. Выйдемъ изъ нашей замкнутости, ибо въ настоящемъ случаѣ она представляется не только неряшливою, но и преступною. Пусть каждый въ каждомъ прослѣдитъ успѣхи, сдѣланные отрезвленіемъ; пусть каждый каждому предъявитъ тотъ обязательный minimum, неподчиненіе которому должно угрожать очень серьезными (а не мнимыми, какъ было до сихъ поръ) послѣдствіями для неподчиняющагося. Да исчезнетъ тьма, да восторжествуетъ свѣтъ! — вотъ девизъ, который долженъ отнынѣ руководить нами. Говорятъ о свободѣ совѣсти, о правѣ на свободу изслѣдованія — прекрасно! Мы первые готовы защищать всѣ эти свободы, но не тамъ, гдѣ идетъ рѣчь объ *общемъ благѣ*. Въ виду этой послѣдней цѣли всѣ свободы должны умолкнуть и потонуть въ общемъ и для всѣхъ одинаково обязательномъ единомысліи.

«Viribus unitis res parvae crescunt. Впередъ!»

Передовица была написана ловко, гладко, съ огонькомъ. Собственно говоря, это была диффамація, во время чтенія которой пошехонцы чувствовали, какъ во всемъ тѣлѣ разливается зудъ. Но какъ только чтеніе диффамаціи оканчивалось, такъ передъ ошеломленными читателями назойливо возставалъ вопросъ: что̀ же симъ достигается? И они снова начинали перечитывать, и снова разливался у нихъ въ тѣлѣ зудъ. Во всякой строкѣ все было налицо: и подлежащее, и сказуемое, и связка; даже періоды, законченные и округленные, катились одинъ за другимъ какъ по маслу; одного только не было: что̀ симъ достигается?

— Ахъ, волки тя ѣшь, зудень чесоточный! — бормотали озадаченные пошехонцы: — и безъ него тошно, а онъ... вишь какъ зудитъ!

Тѣмъ не менѣе требованія диффамаціи были настолько настоятельны, что медлить было небезопасно. Пришлось опять собираться къ каланчѣ, и притомъ съ мыслью, что на этотъ разъ, пожалуй, и не отмолчишься. Какъ примется ужо̀ каждый каждаго исповѣдывать да каждый каждому припоминать — такое ли пойдетъ самоѣдство, что только держись! Въ виду этого многіе думали: хоть бы Согожа (рѣка, на которой Пошехонье стоитъ) разлилась послѣ дождей да проходы и проѣзды затопила, или бы мостъ провалился! Но Согожа продолжала скромно журчать по дну оврага, а мостъ хоть и не являлъ надлежащей для дви-

женія прочности, но пошехонцы изстари ужъ съ этимъ помирились: таковскій!

А Мазилка въ это самое утро имѣлъ съ Скомороховымъ совѣщаніе. Мазилка смотрѣлъ на дѣло глубже и солиднѣе; Скомороховъ плавалъ мелко, но зато цѣпко хватался за подробности.

— Знаю я, что за вами блохъ много, — говорилъ Мазилка: — да не ваше, сироты, дѣло другъ надъ дружкой расправу чинить. Мое это дѣло. Я здѣсь начальникъ — я и помыкать вами буду. Захочу — сегодня расправлюсь; не захочу—до завтра отложу. А вы, сироты, должны ждать и ни въ худую, ни въ хорошую сторону на власть мою не наступать. И ты это непригоже, зудень чесоточный, дѣлаешь, что другъ противъ дружки однообщественниковъ натравляешь!

— Ваше высокородіе! позвольте съ полною откровенностью доложить!—взывалъ Скомороховъ.

— Изволь, братецъ!

Разумѣется, Скомороховъ тутъ же сердце свое, какъ на ладони, выложилъ. Выходило такъ, что непремѣнно нужно общество пошехонское оживить. Не потому, чтобъ этого требовалъ интересъ казны, а потому, что, по обстоятельствамъ, избѣжать этого невозможно.

— Коли мы общество не оживимъ, такъ оно само себя оживитъ,—развивалъ свою мысль проворный пошехонскій публицистъ: — потребность такая въ немъ народилась, и ничего ты съ ней не подѣлаешь. Прежде этого не бывало, а нынче спятъ-спятъ пошехонцы, да вдругъ и проснутся. Такъ ужъ пусть лучше мы сами оживимъ ихъ... въ предѣлахъ. Пускай другъ дружку пощупаютъ, вреда отъ этого не будетъ!

— Ты говоришь: «въ предѣлахъ»—а вдругъ оно за предѣлы поѣхало?

— На этотъ предметъ, ваше высокородіе, пожарную трубу въ готовности содержать надлежитъ.

— Я-то готовъ, да ты вотъ... Смотри ты у меня, сорванецъ! на языкѣ у тебя медъ, да на душѣ-то... Петля, а не человѣкъ—вотъ ты что! Сколько разъ листья вонъ эта береза перемѣнила, столько же разъ и ты мѣнялся! Ну, да инъ быть по-твоему!

На этомъ совѣщаніе кончилось. Но Мазилкѣ до такой степени были несимпатичны проекты объ оживленіи общества, что онъ не выдержалъ и вдогонку уходящему Скоморохову крикнулъ:

— Только помни, что согласія моего не было! Это ты меня, зудень, раззудилъ, а я... не согласенъ!

Черезъ часъ послѣ этого площадь передъ каланчею уже кипѣла народомъ. Пошехонцы чуяли, что придется другъ друга изслѣдовать, и примѣривались. Но такъ какъ у всѣхъ былъ еще въ памяти недавній «шутовской либерализмъ», то приходилось дѣйствовать съ крайнею осторожностью. Заведетъ пошехонецъ одинъ глазъ на сосѣда— анъ и ему навстрѣчу сосѣдній глазъ глядитъ. Ну, и спасуютъ оба, уставятся глазами въ пространство и глядятъ, словно на умѣ ничего канальскаго нѣтъ. Однако урывочками да ущипочками порядочно-таки высмотрѣли... Эхъ, кабы Мазилка разрѣшилъ «секретъ» ему объявлять! Приходите, молъ, други милые, хоть днемъ, хоть ночью, завсегда моя дверь потихоньку для васъ открыта! То-то бы народу повалило! Такъ нѣтъ вотъ: извольте расправляться всенародно... сами!

Для Скоморохова этотъ моментъ былъ рѣшительный. Каждый день онъ доказывалъ, что пошехонцы созрѣли, что торжество здраваго смысла вполнѣ обезпечено: сталобыть, теперь приходилось подтвердить это на дѣлѣ. Поэтому онъ несказанно суетился, появляясь то въ одномъ, то въ другомъ концѣ толпы и ежемгновенно взывая: «Кто про кого что̀ знаетъ — сказывайте, православные, сказывайте!»

По-настоящему слѣдовало бы его, какъ перваго, который «пасть разинулъ», въ щепы расщепать; но пошехонцы не только не сдѣлали этого, но даже поощряли вызовы безшабашнаго писаки робкими улыбками. Скомороховъ былъ не свой между ними. Онъ явился откуда-то издалека и, покуда пошехонцы хлопали на него глазами — усѣлся и сразу взялъ засиліе. Всѣмъ онъ въ свое время былъ: и либераломъ и анти-либераломъ, и реформенникомъ и анти-реформенникомъ, и всегда съ успѣхомъ. Преднамѣренно смѣшивая развитіе съ измѣной, онъ утверждалъ, что только дураки не мѣняютъ убѣжденій, и, разъ заручившись этимъ афоризмомъ безцеремонно самъ себя побивалъ всякій разъ, когда это по обстоятельствамъ требовалось. Опасность онъ представлялъ великую, ибо тайну каждаго пошехонца зналъ, съ каждымъ и реформенно, и анти-реформенно по душѣ бесѣдовалъ и потому каждому прямо и безстыдно объявлялъ: ты меня не проведешь!

Однако пошехонцы не только не ободрились подъ влія-

ніемъ вызывающихъ скомороховскихъ рѣчей, но еще пуще вчерашняго заробѣли. Они хотя и трепетали передъ Скомороховымъ, но въ то же время чувствовали къ нему непреодолимую гадливость. Они уже настолько отрезвились, чтобы понимать, что не спроста негодный писачка передъ ними гарцуетъ, но еще не настолько созрѣли, чтобы признать его личность достолюбезною. Поэтому если у кого и чесался языкъ, чтобы вымолвить: «а ну-те, господа атаманы, давайте сказывать... Господи, благослови!»—то скомороховскія подстрекательства скорѣе унимали, нежели раздражали этотъ зудъ. И очень возможно, что дѣло взаимнаго изслѣдованія совсѣмъ бы не выгорѣло, если-бъ въ самую критическую минуту не показался вдали Иванъ Рыжій.

Рыжій опоздалъ на вѣче, да, признаться сказать, и теперь не спѣшилъ, а шелъ обыкновенной своей лѣнивой походкой, какъ будто напередъ зналъ, что никакого народоправства не будетъ. Это̀ былъ смирный и степенный обыватель, котораго политическія убѣжденія главнымъ образомъ въ томъ состояли, что ежели начальство, по упущенію, и неправильно чего-нибудь требуетъ, то и тогда слѣдуетъ требованіе его безпрекословно выполнить. Во времена о̀ны эта теорія представлялась не только безопасною, но даже обезпечивающею безнедоимный сборъ податей. Но уже и тогда находились пуристы, которые при словахъ: «ежели и неправильно начальство требуетъ»—сомнительно покачивали головами.

— То же бы ты, дуракъ, слово, да не такъ бы молвилъ! — участливо предостерегали его и предлагали измѣнить редакцію такъ: «всякое начальственное требованіе отъ природы правильно, а потому и слѣдуетъ его выполнить». Но онъ твердилъ: «по-моему — лучше!» и устоялъ на своемъ. Тѣмъ не менѣе до сихъ поръ ересь сходила ему съ рукъ, и даже Скомороховъ какимъ-то образомъ ее проглядѣлъ. Но теперь, какъ увидѣли православные, что онъ «идетъ не идетъ», а ногами «вавилоны выдѣлываетъ» да вдобавокъ еще руками машетъ, та̀къ и загорѣлись у всѣхъ сердца. Та̀къ и просіяло во всѣхъ умахъ: а вѣдь это онъ самый и есть!

— Иду!—откликнулся между тѣмъ Рыжій.

Часъ отъ часу не легче: первый пасть разинулъ (Скоморохова не считали). Онъ! онъ самый и есть! Что̀, бишь, онъ въ ту пору говорилъ? Какими такими бунтовскими рѣчами народъ сомущалъ?

Въ одно мгновеніе толпа поглотила Рыжаго и начала его перекидывать. Нѣкоторое время онъ мелькалъ, но потомъ вдругъ скрылся. Какого рода тутъ народоправство совершилось—неизвѣстно, но, къ счастью, Мазилка не дремалъ. Вторично отворились ворота съѣзжаго дома, и струя воды, болѣе обильная, нежели наканунѣ, окатила вѣчевыхъ людей.

Совершивши такое дѣло, пошехонцы сочли свою миссію конченною. Взаимно поощряя другъ друга веселыми подзатыльниками, они отправились во-свояси, въ полной увѣренности, что теперь, когда они уже фактически доказали свое отрезвленіе, они найдутъ дома не тюрю съ водой, какъ наканунѣ, а щи съ убоиной.

Но ни щей, ни убоины не было; даже тюри какъ будто убавилось. Задача усложнялась самымъ безнадежнымъ образомъ.

— —

Ибо пошехонская обида въ томъ главнымъ образомъ и состояла, что атаманы-молодцы ужъ давно ничего, кромѣ тюри съ водой, не ѣдали. Разумѣется, встрѣчались въ этомъ смыслѣ и исключенія—«особливо отмѣченные люди», какъ называлъ ихъ Скомороховъ,—но и тѣ прикидывались лазарями. По крайней мѣрѣ тюря была самымъ нагляднымъ фактомъ изъ всего, что̀ заставляло пошехонцевъ роптать на судьбу. Убоина до того поднялась въ цѣнѣ, что даже въ сердцѣ «правящихъ классовъ» не всякій могъ свободно распоряжаться ею. А было время—и большинство его помнило — когда и средній пошехонецъ мякоть ѣлъ самъ, а кости бросалъ собакамъ. Во многихъ семьяхъ были живы дѣдушки, которые передавали отощавшимъ внукамъ (и сами отощавшими желудками къ своимъ розсказнямъ тоскливо прислушивались) почти баснословныя преданія о древнемъ пошехонскомъ изобиліи, когда свиньи, куры, утки и проч. свободно бродили по улицамъ, а домой возвращались только для превращенія въ снѣдь. И все это пошехонцы *сами* ѣли: убьютъ скотину и ѣдятъ... *сами*. А нонче ежели есть у кого яичко, такъ онъ на него только поглядитъ да скорѣе на «элеваторъ» несетъ, а оттуда ужъ оно само собой на машину идетъ. Свистнула машина, и поминай какъ звали! Яичко твое нѣмецъ съѣстъ, а ты за него денежки получи да другое яичко неси! Смотришь, анъ рубль-то въ цѣнѣ и поправился!

Тѣмъ не менѣе относительно причинъ, обусловившихъ

исчезновеніе убоины, мнѣнія раздѣлились. Пошехонцы-горланы. тѣ, которые на вѣчахъ голосъ имѣли, утверждали, что бѣда въ томъ, что все Пошехонье поголовно чуть не двадцать лѣтъ кряду въ эмпиреяхъ витало, а что̀ подъ носомъ у него дѣлается — не видѣло. И что, слѣдовательно, ежели отъ эмпиреевъ вполнѣ отрезвиться, то и опять свиньи съ утками всѣ улицы запрудятъ. Но бабы пошехонскія съ этимъ не соглашались.—Что-то мы объ эмпиреяхъ не слыхивали,—возражали онѣ:—а вотъ что народъ нынче слабъ сталъ, послѣднюю тряпку изъ дому въ кабакъ тащитъ, такъ это мы знаемъ. Курочка-то еще не снеслась, а ужъ «онъ» надъ нею стоитъ, норовитъ, какъ бы яичко-то тепленькое къ кабатчику снести!

— Дуры вы, дуры!—кричали на нихъ мужики-горланы:—много вы смыслите! Кабы мы въ кабакъ не ходили, откуда бы казна-матушка деньгами разжилась?

— Казна-матушка сама знаетъ, гдѣ раки зимуютъ,—огрызались бабы:—и безъ васъ, пропойцевъ, довольно найдется! А вы побольше работайте да бабъ, съ пьяныхъ глазъ, поменьше калѣчьте!

Но находились и такіе, которые говорили: отъ эмпиреевъ и отъ вина — отъ всего отрезвиться не штука; но вотъ штука, что̀ потомъ дѣлать? Трезвому-то на голодный желудокъ, пожалуй, и еще тошнѣе покажется — какъ тогда поступить?

Въ виду этихъ разногласій всякъ началъ предлагать свое. Одни говорили, что надо элеваторы устроить; другіе: устроимъ элеваторы — пойдетъ воровство. Одни говорили: транзитъ закрыть надо; другіе: закроется транзитъ — пойдетъ воровство. Одни говорили: всему причина Финляндія; другіе возражали: тронь Финляндію — пойдетъ воровство! Словомъ сказать, выходило такъ: что̀ ни придумай—вездѣ окажется воровство. Но ни толку, ни убоины не выходило. Насилу-насилу старики угомонили расходившихся горлановъ.

— Уймитесь, атаманы-молодцы: — усовѣщевали они: — гого гляди, вы все Пошехонье вверхъ дномъ перевернете! Прежде чѣмъ объ элеваторахъ-то думать, спросите-ка себя: точно ли вы *всѣ* отрезвились? нѣтъ ли еще за кѣмъ блохъ?

Этого же мнѣнія былъ и Скомороховъ.

«Старики наши правы, — писалъ онъ на другой день послѣ приключенія съ Рыжимъ:—хотя отрезвленіе и провозглашается у насъ безспорно-совершившимся фактомъ

(не онъ ли, безсовѣстный, нѣсколько дней тому назадъ и провозгласилъ это!), но дѣйствительно ли мы всѣ отрезвились—на это и нынѣ никто, по совѣсти, утвердительно отвѣтить не можетъ. Напротивъ, можно скорѣе ожидать отрицательнаго отвѣта, а вчерашній случай съ Иваномъ Рыжимъ какъ нельзя убѣдительнѣе доказалъ это. Мы не отрицаемъ, что здравый смыслъ пошехонцевъ и на сей разъ восторжествовалъ, но тотъ же здравый смыслъ долженъ былъ подсказать имъ, что Рыжій не могъ злоумышлять одинъ, безъ пособниковъ и укрывателей, а между тѣмъ гдѣ эти пособники и укрыватели? Мы ихъ не видимъ по той простой причинѣ, что никто ихъ не искалъ. Нѣтъ, господа! одной жертвы недостаточно! Какъ ни прискорбно сознавать, что *общее благо* достигается только цѣною человѣческихъ жертвъ, но такъ какъ историческій опытъ возвелъ это правило на степень аксіомы, то не слѣдуетъ уже останавливаться ни передъ количествомъ, ни передъ качествомъ жертвъ. Многіе полагаютъ, что принадлежность къ «интеллигенціи», какъ смѣхотворно называютъ у насъ всякаго неокончившаго курсъ недоумка, обезпечиваетъ отъ изслѣдованія, но это теорія несправедливая. Это теорія, отживающая свой вѣкъ и совершенно непримѣнимая въ такомъ глубоко-демократическомъ обществѣ, какъ пошехонское. У насъ исключеніе въ этомъ смыслѣ могутъ составлять лишь тѣ «особливо отмѣченные», которыхъ имена слишкомъ неразрывно связаны съ историческими судьбами Пошехонья, или же тѣ, кои постояннымъ трудомъ и отличными способностями пріобрѣли выдающіяся по своимъ размѣрамъ матеріальныя средства. Но и эти исключенія допускаются единственно потому, что описанныя выше качества заключаютъ сами въ себѣ достаточный залогъ благонадежности. Затѣмъ *всѣ*, богатые и бѣдные, знатные и незнатные, интеллигентные и неинтеллигентные, *всѣ* должны подлежать изслѣдованію. И чѣмъ больше приведетъ за собой это изслѣдованіе искупительныхъ жертвъ, тѣмъ дѣйствительнѣе будутъ результаты».

Почитавши эту передовицу, сильнѣйшіе изъ горлановъ сейчасъ же пристроились къ сонму «особливо отмѣченныхъ» и затѣмъ устранили себя отъ дальнѣйшихъ хлопотъ по части отрезвленія. Испытывать же и истреблять другъ друга остались горланы средніе да та безымянная «горечь», которою кишѣли пошехонскіе пригороды и солдатскія слободки.

Поэтому третье пошехонское вѣче, состоявшееся у каланчи, было уже далеко не столь блестяще, какъ два предыдущія. Собралась по преимуществу рвань и дрань. Обманутые насчетъ плодотворныхъ послѣдствій вчерашней расправы съ Иваномъ Рыжимъ, оставленные Мазилкою и несдерживаемые «особливо отмѣченными» людьми, пошехонцы всецѣло поддались злобнымъ внушеніямъ Скоморохова, который, какъ и наканунѣ, гоголемъ мелькалъ во всѣхъ мѣстахъ и съ пѣной у рта взывалъ къ отмщенію. Онъ и самъ не отдавалъ себѣ отчета, во имя чего онъ взываетъ, но чувствовалъ, что по мѣрѣ того, какъ съ его языка срываются проникнутыя ядомъ слова, сердце его все больше и больше лютѣетъ. И сердце у него было порожнее, и умъ подобный упраздненной храминѣ, такъ что лютость во всякое время отыскивала въ нихъ свободное убѣжище и оттуда управляла всѣми его дѣйствіями.

Прислушиваясь къ его рѣчамъ, пошехонцы и съ своей стороны постепенно лютѣли. О вчерашней боязни взаимнаго самообличенія не было уже и рѣчи; напротивъ того, какая-то беззавѣтная смѣлость овладѣла всѣми умами. Казалось, всѣ понимали, что конецъ неизбѣженъ, и что ежели послѣ этого «конца» уцѣлѣютъ лишь немногіе, зато у этихъ немногихъ будутъ и элеваторы, и транзитъ, и щи съ убоиной.

Нѣкоторое время въ толпѣ раздавалось только глухое рокотаніе, но наконецъ атаманы-молодцы не выдержали и заговорили всѣ разомъ. Сначала раздались праздныя слова, потомъ пошли въ ходъ лжесвидѣтельства, а затѣмъ загремѣла и клевета. Клевета и по головамъ шла, и по землѣ ползла, и по-собачьи лаяла, и по-змѣиному шипѣла, настигая и уязвляя всякаго, кого по пути заставала врасплохъ. И по мѣрѣ того, какъ она разливала свой ядъ, толпа убывала и рѣдѣла. Но не въ бѣгствѣ обрѣтали пошехонцы спасеніе отъ нея, а на мѣстѣ таяли.

Явленіе это было такъ поразительно, что не могло не обратить на себя вниманія Мазилки. Замѣтивъ, что ревизскія души невѣдомо куда исчезаютъ, онъ совершенно основательно встревожился, встрѣтившись лицомъ къ лицу съ вопросомъ: ежели людишки другъ друга перебьютъ безъ остатка, кто же будетъ чинить исполненіе по окладнымъ листамъ?

— А вы бы не всяко лыко въ строку, атаманы-молодцы!—крикнулъ онъ съ вышки каланчи: — пошпыняли другъ дружку—и будетъ! Прочее можно и простить!

Въ третій разъ ворота съѣзжаго дома заскрипѣли, и въ третій разъ обильная струя воды окатила расходившихся вѣчевыхъ людей.

Хоронили Ивана Рыжаго. Четыре мужика, съ бѣлыми новинами черезъ плечо, черезъ весь городъ несли къ кладбищу сосновую домовину, въ которой лежала жертва фантастическаго пошехонскаго отрезвленія. Сначала за гробомъ шла только молодая вдова Рыжаго съ сиротами, но по мѣрѣ того, какъ погребальное шествіе подвигалось къ центру города, толпа за гробомъ росла и густѣла. Рыжій женился всего пять лѣтъ тому назадъ, но имѣлъ уже четырехъ дѣтей и былъ въ семьѣ единственный добытчикъ. Вдова его, красивая и кроткая женщина, въ одночасье потеряла и мужа и кормильца. Она усиливалась не плакать, но слезы сами собой лились изъ ея глазъ: она сдерживала рыданія, но тяжкіе, задушевные вопли сами собой вырывались у нея изъ груди. Она, очевидно, изнемогала отъ горя и боли, но такъ какъ ношатые шли шибко, то и она спѣшила за ними, спотыкаясь и неся въ одной рукѣ полуторагодовалаго ребенка, а другою рукой волоча за руку трехлѣтнюю дѣвочку, которая съ трудомъ поспѣвала за нею (грудной ребенокъ оставленъ былъ дома подъ надзоромъ старшей сестрёнки).

Зрѣлище было необыкновенно унылое и само по себѣ, и по обстановкѣ. Осеннее небо, отягченное сѣрыми облаками, такъ низко опустилось надъ городомъ, что, казалось, собиралось его задавить. Изъ облаковъ сѣялся мелкій, но спорый дождь; навстрѣчу шествію дулъ холодный вѣтеръ, который крутилъ и захлестывалъ старенькій покровъ, лежавшій на домовинѣ. Толпа шла за гробомъ угрюмая и сосредоточенно-безмолвная. Только «особливо отмѣченные» люди не присоединялись къ кортежу, но и они выходили изъ домовъ и набожно крестились. Мазилка, съ своей стороны, почтилъ память умершаго тѣмъ, что вышелъ на площадь во главѣ пожарныхъ и сдѣлалъ шествію подъ козырекъ.

Сознавала ли толпа въ эти скорбныя минуты, что смерть Рыжаго—дѣло ея рукъ, анализировала ли она этотъ фактъ, мелькалъ ли передъ нею призракъ потрясенной совѣсти—для нея самой эти вопросы были загадкой. Скорѣе всего она чувствовала себя подъ гнетомъ безотчетной и безысходной тоски, которая захватила ее всю, со всѣхъ сторонъ.

которая истребила въ ней мысль, забила воображеніе. Вчера, подъ напіемъ тоски, температура ея поднялась до истерическаго бѣшенства; сегодня то же самое напіе разрѣшилось упадкомъ духа, унынiемъ, безсиліемъ. И что всего важнѣе—толпа даже не искала въ самой себѣ помощи противъ удручающаго ее чувства, а только безпокойно озиралась, какъ будто желая засвидѣтельствовать, что ее насквозь пронизала какая-то безыменная боль.

Когда шествіе достигло кладбища, церковная ограда едва могла вмѣстить толпу. День былъ будній, и потому обѣдни не пѣли; гробъ прямо поставили у края свѣже-вырытой могилы. Началось отпѣваніе, и когда клиръ запѣлъ: «Со святыми упокой».—вся толпа, словно послушное эхо, повторяла за клиромъ щемящій душу напѣвъ. Во многихъ мѣстахъ раздались истерическія рыданія и крики, которые въ конецъ истерзали сердца. Что-то громадное вдругъ поднялось отъ земли вокругъ этого бѣднаго гроба, словно сама земля вопіяла о ниспосланіи невѣдомаго чуда...

И чудо совершилось: незамѣтное существованіе зауряднаго пошехонскаго обывателя нашло для себя апоѳеозъ—въ формѣ трупа.

Наконецъ замолкъ послѣдній звукъ, и толпа медленно сплыла съ кладбища...

П. Дзянич.

Оглавленіе

X ТОМА.

стр.

Письма о провинціи

(1868—1870 гг.).

Письмо первое 5
» второе 19
» третье 31
» четвертое 42
пятое 56
шестое 68
седьмое 85
» восьмое 98
» девятое 119
десятое 140
одиннадцатое 149
двѣнадцатое 160

Итоги 179
Сонъ въ лѣтнюю ночь 237
Похороны 277
Дворянская хандра 309

Пошехонскіе разсказы.

(1883—1884 гг.).

Вечеръ первый 341
Разсказы майора Горбылева 343
Вечеръ второй 365
Городничіе-безсребренники 367
Вечеръ третій. Въ трактирѣ «Грачи».
Комната первая 390
Комната вторая 401
Комната третья 414
Вечеръ четвертый. Пошехонскіе реформаторы.
I. Андрей Курзановъ 423
II. Никаноръ Беркутовъ 441
Вечеръ пятый. Пошехонское дѣло 450
Вечеръ шестой. Фантастическое отрезвленіе 479

PG
3361
S3
1905
v.10

Saltykov, Mikhail Evgrafovich
Polnoe sobranie sochinenii.
v. 10

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Заявленъ Отдѣлу Промышленности

Переплетная „НИВЫ", СПБ.